

# Русская литература

№ 2

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1988

*Журнал выходит с 1958 года*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Е. А. Яблоков. «Я — часть той силы...» (этическая проблематика романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита») . . . . .	3
А. И. Овчаренко. О психологизме и творчестве Юрия Трифонова . . . . .	32
З. И. Власова. Скоморохи и сказка . . . . .	58
О. В. Творогов. Что же такое «Влесова книга»? . . . . .	77

### ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Борис Зайцев. Жуковский (предисловие и примечания Ю. М. Прозорова)	103
--	-----

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. В. Разумовская. Дидро: Французские параллели, отзвуки в России . . . . .	125
К. Ю. Лапко-Данилевский. Новые данные к биографии Н. А. Львова (1770-е годы) . . . . .	135
А. В. Успенская. Место античности в творчестве А. А. Фета . . . . .	142
Е. Г. Бушканец. Молодой Л. Н. Толстой и культурная жизнь Казани 1840-х годов . . . . .	150
П. Г. Усенко. Польские соратники Н. Г. Чернышевского в русской журналистике 50—60-х годов XIX века . . . . .	155
М. Д. Эльзон. Существовала ли рукопись повести Н. С. Лескова «Амур в лапоточках»? . . . . .	163

*(См. на обороте)*

Л. Я. Лурье. Народовольцы и Глеб Успенский (новые материалы) . . . . .	165
К. М. Азадовский, Р. Д. Тименчик. К биографии Н. С. Гумилева (вокруг дневников и альбомов Ф. Ф. Фидлера) . . . . .	171
В. И. Глоцер. Письмо Чарской Чуковскому . . . . .	186
М. В. Черняков. О стихотворении Маяковского «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» (публикация О. Е. Партигул-Черняковой)	191
А. М. Грачева. Традиции Л. Толстого в творчестве И. Новикова (роман «Между двух зорь») . . . . .	198
Е. В. Свиясов. Античная лирическая поэзия в русских переводах и подражаниях XVIII—XX веков. О библиографии . . . . .	206

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

К. Д. Муратова. Эпистолярное наследие М. Горького . . . . .	216
Л. Н. Гумилев. Слависты и номадисты . . . . .	228
Я. С. Билинкис. Возможности историко-литературного исследования . . . . .	235
И. Н. Сухих. Движение концепции . . . . .	238

ХРОНИКА

В. К. Петухов. Русская литература и Великий Октябрь . . . . .	242
С. В. Березкина. Научно-практическая конференция, посвященная проблемам издания Полного собрания сочинений А. С. Пушкина . . . . .	244
Г. М. Фридендер. Советско-французский коллоквиум по литературным взаимосвязям России и Франции в XIX—XX веках (заметки участника)	250
А. К. Михайлова. Научные чтения памяти академика А. С. Бушмина в Воронеже . . . . .	252
Е. Г. Водлазкин. Конференция молодых ученых, посвященная вопросам славяно-русского рукописного наследия . . . . .	258
П. В. Бекедин. Вторые Шолоховские чтения . . . . .	260
Л. Н. Иванова. Научное заседание памяти Марфы Ивановны Маловой . . . . .	264

**Редакционная коллегия:**

*Н. Н. СКАТОВ* (и. о. главного редактора),  
*В. Н. БАСКАКОВ, Г. Я. ГАЛАГАН* (зам. главного редактора),  
*А. А. ГОРЕЛОВ, Г. А. ГОРЫШИН, В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА,*  
*Л. А. ДМИТРИЕВ, В. Ф. ЕГОРОВ, А. И. ПАВЛОВСКИЙ, А. М. ПАНЧЕНКО,*  
*В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР*

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

*Журнал выходит 4 раза в год*

## «Я — ЧАСТЬ ТОЙ СИЛЫ...»

(ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА М. БУЛГАКОВА  
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»)

Роман Михаила Булгакова был опубликован двадцать лет назад. К концу 70-х годов его изучение начало принимать систематический, академичный характер. Но в последнее время имя Булгакова вновь замелькало на страницах периодических изданий. Это вызвано, в частности, появлением целого ряда произведений литературы и кинематографа, авторы которых активно используют евангельские мотивы, сочетают в сюжетах фантастические, мифологические сцены с бытовыми. Оживился разговор о булгаковских традициях в советской литературе, который, однако, пока не принес ощутимых результатов. Более того: вновь стало очевидным, насколько неодинаково современные критики и литературоведы представляют себе роль евангельских реминисценций у самого Булгакова. Видимо, роман «Мастер и Маргарита» еще далеко не ясен читателю — так сказать, не уложился в общественном сознании, несмотря на огромную популярность. Пока еще открытым остается вопрос об интерпретации этого произведения в его целостности.

До сих пор в суждениях о романе просматривается характерная черта: неправомерно большое значение придается «буквально» прочитанным реминисценциям, недооценивается интегрирующее начало текста и его влияние на «привлеченный» культурно-исторический материал. Материал этот иногда настолько «перевешивает», что исследователь (видимо, неожиданно для самого себя) начинает навязывать сюжету булгаковского романа то, чего в нем заведомо нет. Так, в недавней статье читаем: «...в субботу исчезло тело Иешуа, в субботу же он появился перед своими учениками».<sup>1</sup> Ни о чем подобном у Булгакова речи не идет; стало быть, для исследователя роман Мастера — всего лишь «знак» Евангелия, не обладающий никаким самостоятельным смыслом.

Конечно, как и любой специальный комментарий, видение и понимание цитаций, реминисценций, аллюзий в тексте придает произведению объемность, глубину в сознании читателя. Но когда сфера влияния реминисценций чрезмерно расширяется (и даже вопроса о границах такого влияния в масштабах целого не ставится), возникает опасность того, что «центробежные» силы возобладают — и произведение в сознании реципиента утеряет целостность, образ разрушится.

Как показывает ход дискуссий последнего времени, для романа Булгакова, во всяком случае, такая опасность вполне реальна. Чем больше мы будем задумываться лишь о (несомненной!) традиционности «Мастера и Маргариты», тем интенсивнее будет эта книга в сознании читателей превращаться в конгломерат биографии автора, мировой литературы, оперы, мифологии, фольклора, живописи и т. п., становясь таким коллективным творением чуть ли не всего человечества.

Пусть поймут нас правильно: мы вовсе не против историко-культурного подхода к литературе. Но тот же самый подход требует учиты-

<sup>1</sup> Соловухина О. Образ художника и время. — Москва, 1987, № 3, с. 180.

вать, что, например, Христос Достоевского насилия не приемлет, а Христос Блока («Двенадцать») — предполагает, хотя поэма и не будет понята без учета влияния того же Достоевского.

Разумеется, логика художественного мира произведения «капиллярно» связана с реальностью и историко-культурной традицией, но художественный мир существует и квазисамостоятельно: смысл «частей» (откуда бы они ни брались) в новом единстве определяется новыми законами. Без этого мы не поймем, чем отличается в разработке мотивов бога и дьявола М. Булгаков от Гете или Достоевского, а, например, В. Орлов, Ч. Айтматов и В. Тендряков — друг от друга.

Учитывая актуальность проблемы булгаковских традиций в современной литературе, мы считаем, что даже уточнение некоторых понятий, связанных с содержанием романа «Мастер и Маргарита», было бы бесполезным. Разумеется, мы не претендуем на абсолютную новизну выводов: о романе написано много глубоких и интересных работ. Задача настоящей статьи — уточнить связь этической проблематики романа Булгакова с онтологией изображенного в нем мира.

Центральной проблемой романа, вслед за многими современными исследователями, мы считаем соотношение «Мир — Человек — Истина».

Вопрос об истине, который в Евангелии звучит как фундаментальный, у Булгакова не акцентирован. Сам Пилат считает свой вопрос: «Что такое истина?»,<sup>2</sup> — который он задал Иешуа, ненужным и вырвавшимся как-то помимо воли, бессознательно. Не очень значимым выглядит и ответ Иешуа: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти (там же). Но заметим, что эта «бытовая» ситуация содержит в себе единственный намек на чудо, совершаемое Иешуа: гемикрания Пилата исцелена. А в контексте всего романа ответ Иешуа подчеркивает важнейшую мысль о том, что никто из людей не может знать Абсолютной Истины, «последней» правды о мире, ибо взгляд человека слишком зависим от случайностей и человек не волен в своих мнениях.

По существу, Иешуа здесь иными словами повторяет то, что несколькими страницами ранее говорил Воланд Берлиозу, опровергая самонадеянное заявление Бездомного о том, что «жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле» якобы «сам человек и управляет»: «...вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... — и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует» (16).

Относительность человеческого знания, грозные вторжения хаоса в точно предугаданные, казалось бы, события — все это не дает оснований человеку преувеличивать свои силы. В то же время, как мы увидим в дальнейшем, М. Булгаков не склонен и преуменьшать их. Ведь совершенно ясно, что моральная несостоятельность многих человеческих поступков возникает не потому, что человек дезориентирован в хаотическом мире: даже «бесспорные» ситуации, в которых герой полностью разбирается, часто не имеют для него «программного» характера. Пилат погубил ни в чем не повинного Иешуа; то, что бродячий философ невиновен, для Пилата бесспорно. Было бы ошибкой полагать, что прокуратор действительно защищает незыблемость «власти императора Тиверия» (29), — похоже, о Тиверии он весьма невысокого мнения, судя по тому, как представляет себе кесаря: «На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец; на лбу была круглая язва, разъедающая

<sup>2</sup> Булгаков Михаил. Избранное. М., 1980, с. 24. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

кожу и смазанная мазью; запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой» (28). Только ли из трусости отдает Пилат Иешуа в руки синедриона? Вспомним: ведь Пилат — храбрый воин, и Крысобоя из беды выручил, рискуя жизнью, именно он.

Умный и проницательный мизантроп Пилат весьма точно оценивает окружающую его «объективную реальность». Она безысходна: недаром страшным (не от отчаяния ли?) голосом кричит Пилат, что царство истины никогда не настанет (30). Знаменитый пилатовский «рефрен»: «О, боги мои!.. Яду мне, яду!» (24) — прозвучит в «настоящем» времени романа именно тогда, когда повествователь, сам потрясенный нарисованным им зрелищем ночного ресторана в «Грибоедове», потеряв на мгновение веру в будущее, воскликнет: «Нет ничего, и ничего и не было! Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней бульвар... И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно... О боги, боги мои, яду мне, яду!..» (53).

Стоит остановить взгляд лишь на окружающем мире, начать по нему судить о «мире вообще» — и возникают мизантропия и отчаяние. Если понимать слово «истина» как «объективный факт», «то, что есть здесь и сейчас», то придется отметить, что не меньшее значение имеют в романе понятия «вера» и «правда». Иешуа прав, говоря прокуратору: «Беда в том... что ты слишком замкнул и окончательно потерял веру в людей... Твоя жизнь скудна, игемон» (25). Пилат обладает наличной «истиной», но «правды», связывающей с идеалом, у него нет.

По поводу различий между понятиями «истина» и «правда» интересное замечание было сделано С. Г. Семеновой. Правда, пшпет она, «это не просто *истина*, то, что *есть*, реальное положение вещей и их объективное отражение в нашем сознании, а благая, *должная истина*. В правде — выражение направляющей идеи».<sup>3</sup> Этой «направляющей идеи» нет у Пилата, зато она есть у Иешуа.

Связь человека с миром (истиной в широком смысле) осуществляется, таким образом, через «правду», включающую фактор веры в идеал. Идеал, разумеется, изменчив, зависит как от наличной ситуации, так и от человеческой индивидуальности, но все же без него существование человека невозможно.

«Правда» оказывает в сознании человека обратное влияние на картину мира. Недаром Иешуа говорит: «... рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины» (24). Слова «новый храм истины», если вдуматься, звучат двусмысленно: они не содержат полного отрицания «старой веры» и не гарантируют, что «новый храм» будет последним. Даже в образе Иешуа, наиболее «идеального» (в смысле связи с идеалом) героя, Булгаков акцентирует внимание *не на обладании* «абсолютным» знанием, *а на процессе поиска* такого знания. Странничество и «бездомность» Иешуа, подчеркнутые Ю. Лотманом, усиливают эту доминанту характера, «земная жизнь которого — вечная дорога».<sup>4</sup>

В контексте проблемы «человек и мир» одним из важнейших в романе «Мастер и Маргарита» представляется нам вопрос о поиске истины и самоопределении человека (его «веры» и «правды») по отношению к наличному и мыслимому миру.

Сущность мира в романе Булгакова весьма традиционным для русской литературы образом прямо соотносится со смыслом человеческой жизни. Проблема истины выступает прежде всего как этическая: мир

<sup>3</sup> Семенова С. Г. «Сердечная мысль» М. Пришвина. — Волга, 1980, № 3, с. 169.

<sup>4</sup> Лотман Ю. Заметки о художественном пространстве. — Учен. зап. Таргуск. ун-та, № 720, 1986, с. 40.

в сознании и деятельности человека не существует помимо должествования, оценки. Этическая (в безоценочном смысле) личность соотнесена с Универсумом. Связь, разумеется, здесь обоюдная: структура мира обуславливает этический императив, а через анализ поведения персонажа мы можем заключить о его субъективной (сознательно или бессознательно реализуемой) модели мира и адекватности этой модели объективной, вне субъекта существующей, реальности.

Замечено, что в «Мастере и Маргарите» «вера» персонажа прямо связана с его поступками, открыто в них проявлена. Повествователь чаще всего открыто влияет на отношение читателя к герою, так что, в первом приближении, «разночтений» большей частью не возникает. Сложнее соотносить между собой индивидуальные этические программы героев.

Попробуем вначале сделать вывод о строении того Универсума, в котором все персонажи существуют. На первый взгляд ясно лишь, что этот мир весьма фантастичен. Г. Лесскис в своей статье отмечал: «Иешуа выступает в двух ипостасях — материальной, человеческой, и мистической, трансцендентной. Во второй ипостаси он является протагонистом всего произведения, а его антагонистом является Воланд».<sup>5</sup> Но ведь в романе не только Иешуа, а множество персонажей существует «в двух ипостасях»: таковы и Мастер с Маргаритой, и Пилат, и Левий, и Банга, и гости бала... Одинаково осязаемы вполне живой Степа Лиходеев и умершая тридцать лет назад, по словам Коровьева (216), Фрида; персонажи романа Мастера и современные люди; наконец, мир земной, мир «потусторонний» и Воланд со свитой. Не случайно еще в конце 60-х годов раздались восхищенные голоса, говорившие об удивительном синтезе бытового и фантастического у Булгакова.

Синтез бытового и фантастического — не только внешне-формальный признак стиля. Вообще, говорить о фантастике, мистике, историчности деталей и т. п. можно лишь при том условии, что изображенная реальность так или иначе содержит для этого критерий, точку отсчета — некую «границу». Фантастика существует, только когда совершенно ясно, что может быть, а чего быть не может. Слово «мистика» лишено смысла вне представлений о «естественном» и «сверхъестественном». А ведь в художественном мире романа эти категории как раз малозначимы. Все рассказанное повествователем существует *объективно*, но с разных позиций может быть объяснено по-разному. Ошибаться и путаться могут персонажи (например, чрезвычайно противоречивыми окажутся сделанные разными людьми описания внешности Воланда — с. 12—13) — картина же, нарисованная повествователем, беспорно объективна. В сущности, в этом же состоит и заслуга Мастера — из множества напластований, сплетен, версий и т. п., складывавшихся веками, он сумел воссоздать объективную картину происходивших две тысячи лет назад событий.

Сама композиция сюжета романа Булгакова, легко смешивающая «посюсторонний» и «потусторонний» миры, прошлое и настоящее, переносящая действие с одного места на другое, создает впечатление равноправности, одинакового статуса всех сфер художественного мира (времени и пространства); онтологическая «однородность» всего изображенного еще раз подчеркивает относительность и бедность человеческих знаний о мире, особенно когда нужно «тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные объяснения явлений необыкновенных» (89). Недаром в «Эпilogue» с иронией описываются попытки объяснить происшедшие события «по-человечески».

<sup>5</sup> Лесскис Г. А. «Мастер и Маргарита» Булгакова (манера повествования, жанр, макрокомпозиция). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1979, т. 38, № 1, с. 56.

Эта ирония вполне понятна читателю, знающему истинную подоплеку многочисленных «чудес». Но, с другой стороны, нельзя не заметить, что «разумные» объяснения оказались вроде бы удовлетворительными для тех, кто ничего не знал о Воланде со свитой; жизнь, после их появления и исчезновения, в своих существенных параметрах не изменилась. Сгорел «Грибоедов»; у нескольких десятков человек были отмечены психические нарушения; сгорел дом № 302-бис по Садовой. Но в целом мир людей — осмеянный и, кажется, полностью дискредитированный автором романа — проявляет устойчивость и упорствует в своей, пусть «неправильной», логике. Значит ли это, что этот мир настолько закоптел в заблуждениях, что оказался уже неисправим? Ведь недаром некоторые исследователи склонны видеть в появлении в Москве антихриста предвесье Страшного Суда.<sup>6</sup> Или же относительная стабильность человеческого общества в романе свидетельствует о том, что оно — какое было оно ни было — тоже имеет право на существование? И это существование не нарушает неких «надмирных», вечных законов, а в первую очередь имеет свои собственные?

Для решения этого — очень важного — вопроса исследователи, задумываясь об общих законах бесконечно разнообразного мира, изображенного в романе, с самого начала обращали внимание прежде всего на две фигуры — Иешуа и Воланда, ввиду того что образы эти вызывают наибольшее количество историко-культурных ассоциаций. В 70-е годы были сделаны попытки, глубже проникая в суть произведения, пересмотреть трактовку образов Иешуа и Воланда как бога и сатаны.<sup>7</sup> В этих попытках мы видим осознание того, что роль религиозно-культурных реминисценций в романе была изначально преувеличена критикой.

И. Ф. Бэлза и Н. П. Утехин, несмотря на взаимную полемичность их работ, констатировали, что Воланд не только не занимает подчиненного положения по отношению к Иешуа,<sup>8</sup> но деятельность Воланда и К° нигде не вызывает у рассказчика (и читателя) негативного отношения; «Воланд — повелитель того „ведомства“, которое стоит на страже *правосудия*»,<sup>9</sup> — писал И. Ф. Бэлза. Таким образом, Воланд действует в силу некоторой необходимости, сущность которой важно понять.

Была замечена, кроме того, весьма последовательно выдержанная Булгаковым тенденция избегать в речи повествователя прямого отождествления Иешуа с евангельским Иисусом: если это и делается, то лишь в речи персонажей. Так, фраза Воланда: «Имейте в виду, что Иисус существовал» (19), — звучит в контексте предыдущего разговора Берлиоза с Бездомным, поскольку они употребляли это имя; в дальнейшем же рассказе Воланд, как бы цитирующий роман Мастера, будет употреблять имя «Иешуа». Отметим, что роман Мастера написан все-таки не об Иисусе Христе, а о Понтии Пилате: главным действующим лицом его является прокуратор.

Воланд в ряде случаев прямо отождествляется с сатаной, но опять-таки в речи персонажей. Левий, конечно, именуется его «духом зла и повелителем теней» (290), но Левий субъективен и догматичен, о чем

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> См.: Бэлза И. Ф. Генеалогия Мастера и Маргариты. — В кн.: Контекст-1978. М., 1978; Утехин Н. П. Исторические грани вечных истин («Мастер и Маргарита» М. Булгакова). — В кн.: Современный советский роман: Философские аспекты. Л., 1979.

<sup>8</sup> А такая «расстановка сил», как известно, возникала в процессе работы Булгакова над романом. См.: Чудакова М. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». — Вопросы литературы, 1976, № 1, с. 242—243.

<sup>9</sup> Бэлза И. Ф. К вопросу о пушкинских традициях в отечественной литературе (на примере произведений М. А. Булгакова). — В кн.: Контекст-1980. М., 1981, с. 233.

ему немедленно и напоминает собеседник. Уже эпиграф наталкивает на более сложное понимание фигуры Воланда. Что касается повествователя, то, кажется, лишь однажды он пытается дать Воланду какое-то «родовое» наименование. Вот Маргарита впервые видит «иностранца»: «Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на Патриарших убеждал в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на кровати» (205). Маргарита не осведомлена в подробностях об «интересной истории» (19) на Патриарших прудах, поэтому приведенный фрагмент не может восприниматься как несобственно-прямая речь. Но обратим внимание, насколько двойственна речевая позиция повествователя: с одной стороны, явная ирония по отношению к Ивану — как же «не существует», если вот он, сидит на кровати? С другой же стороны, витиеватая, косвенная форма речи свидетельствует как бы о нежелании прямо характеризовать Воланда. Повествователь словно сомневается в очевидном: как же сидит на кровати, если не существует? Возможно, здесь прослеживается и влияние фольклорно-мифологической традиции, в которой имя дьявола табуировалось, не произносилось.

И. Ф. Бэлза представил пару Иешуа—Воланд как «дуумвират», возведя такую трактовку к богомильскому учению. «„Ведомство Воланда“ у Булгакова, — пишет он, — построено на отчетливо выраженной дуалистической основе».<sup>10</sup> Этот вывод был бы правильным, если бы удалось доказать, что «ведомства» как Иешуа, так и Воланда действуют в силу общих для них моральных принципов; иными словами, Иешуа и Воланд должны одинаковым «способом» быть включены в структуру Универсума, различаясь лишь направленностью своей деятельности.

На деле же этого нет. Речь идет не о том, что разница между этими персонажами знаменует противостояние добра и зла; имеет место *принципиальное* различие между Воландом и Иешуа — они «из разного теста» и неравновелики, т. е. в общей системе мироздания стоят на различных ступенях.

«Наиболее загадочным эпизодом романа»<sup>11</sup> И. Ф. Бэлза считает сцену беседы Левия с Воландом, в которой Воланд, по мнению исследователя, проявляет известное милосердие, выполняя просьбу Иешуа, переданную Левию, «хотя она и вызывает в нем раздражение».<sup>12</sup>

Во-первых, мы хотели бы заметить, что «милосердие», якобы проявленное Воландом, на наш взгляд, противоречит идее абсолютной справедливости. Для нас эти понятия — милосердие и справедливость — скорее противостоят друг другу, нежели друг друга дополняют. Во-вторых, упомянутый И. Ф. Бэлзой эпизод, как кажется, не свидетельствует о «равноправии» Иешуа и Воланда. «Раздражает» последнего, вероятно, все-таки Левий Матвей, а не просьба. Просьба же со стороны Иешуа звучит не как скрытое приказание (вежливо оформленное), а именно как *просьба* о том, чего сам сделать почему-либо не можешь. Просьба эта — не единственная: Иешуа просил и за Пилата. Воланд говорит о Пилате: «...за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать» (307). Причем здесь просьбу Иешуа выполняет даже не Воланд, а «всего лишь» Мастер.

Для нас остается неизвестным, может ли сам Иешуа наказывать или миловать; зато мы видим, как он просит за других, обращаясь «по адресу». Вспомним слова Воланда: «Каждое ведомство должно заниматься своими делами» (229). Имеет место разделение функций: «свет» — сфера Иешуа, «покой» — Воланда. Причем понятия эти, вообще

<sup>10</sup> Контекст-1978, с. 205.

<sup>11</sup> Там же, с. 201.

<sup>12</sup> Там же, с. 204.

говоря, не антонимичны. Легко заметить, что полярно противоположные им состояния («тьма» и «движение») в романе М. Булгакова также «проходят по ведомству» Воланда; недаром образы ночи и полета сопутствуют этому персонажу. Вспомним хотя бы главу «Прощение и вечный приют»: «...Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, что это лунные цепочки и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд» (306).

Итак, из четырех важнейших онтологических координат романа лишь одна (свет) так или иначе связана с Иешуа. Да и эта связь не абсолютизирована. Укажем на два — не совсем, впрочем, ясных — момента: во-первых, в сцене допроса солнце, которое так мучает Пилата, не доставляет удовольствия и арестованному. «Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что *тот сторонится от солнца*» (24) (курсив наш, — Е. Я.). Этот эпизод можно рассматривать как бытовую деталь (вдобавок герой, возможно, предвидит свою мучительную смерть — под солнцем же), но, так или иначе, свет и для Иешуа — не только благо. А с другой стороны, и Воланд не чужд «свету»: знак скарабея на его груди (205) вызывает ассоциации с древнеегипетской культурой и распространенной в ней солярной символикой.<sup>13</sup>

Образ Воланда во многом построен с помощью объединения противоположностей. Об этом говорит уже его портрет; в первую очередь — глаза:<sup>14</sup> «Правый глаз черный, левый почему-то зеленый» (13). «Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотом искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый — пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодезь всякой тьмы и тьней» (205).

Атрибутом всевластия и вездесущности Воланда является глобус, который он демонстрирует Маргарите перед балом (209—210). Свидетельством авторитетности позиции Воланда служит и упоминавшееся полное совпадение оценок, даваемых им и его свитой, с объективно-авторскими оценками: ни одно решение «ведомства Воланда» не вызывает несогласия или протеста.

Напротив, мнения Иешуа такой полной авторитетностью не обладают. Как кажется, ход событий в романе Булгакова последовательно опровергает два важнейших этико-философских тезиса Иешуа: «...злых людей нет на свете» (26) и ««Нет» большего порока... <чем> трусость» (265).<sup>15</sup> Этот вывод мы попытаемся еще обосновать в дальнейшем.

<sup>13</sup> Переключка с древнеегипетской мифологией была отмечена И. Ф. Бэлзой, хотя в несколько ином плане. См.: Контекст-1978, с. 205.

<sup>14</sup> Глаза в булгаковских портретах — самая важная деталь. Примеры тому многочисленны, но, пожалуй, наиболее характерный — слова конференсье из сна Никанора Ивановича Босого: «...основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрывать истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она замечена, а вы пойманы!» (138). Это высказывание имеет прямое отношение и к проблеме связи рационального и иррационального, сознательного и бессознательного — об этом речь пойдет ниже.

<sup>15</sup> Последний тезис сам Иешуа формулировал не столь категорично — Аффраний передавал его слова так: «Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость» (247). В «хартии» Левия трусость превращается в *страшнейший* из пороков: Левий, по обыкновению, «подправляет» учителя.

Приведенные факты, видимо, подтверждают суждение Н. П. Утехина, высказанное в 1979 году: «Воланд М. Булгакова — это сама жизнь, выражение некоей изначальной субстанции ее... Воланд безусловно несет в себе и начала зла, но только в том смысле, в каком олицетворением его является сам Хаос, сама могучая ночь творенья, где зло в то же время — и обратная сторона Добра. Поэтому Воланд в романе как бы выражение самой диалектики жизни, ее сущности, некоей абсолютной истины ее. И в этом смысле он находится как бы по ту сторону добра и зла... По сути же он одинаково равнодушен, вернее, беспристрастен и к добру и злу».<sup>16</sup>

Итак, с оценочной точки зрения, Воланд «нейтрален». Давно было замечено, что его «ведомство» выполняет лишь функцию «катализатора», доводя явление до логического конца, до «идеи», которая вытекает все же из сущности самого явления, а не навязывается извне.

Прежде всего, Воланду подвластно *время*. Будучи выражением «самой диалектики жизни», он способен ускорять или замедлять процессы. «Праздничную полночь приятно немного и задержать» (237), зато неминуемо скорую смерть барона Майгеля можно еще ускорить: «... чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь» (222). Столь же свободно обращается «ведомство Воланда» и с пространством: здесь разнообразные перелеты, мгновенные переносы и, наконец, знаменитое коровьевское: «Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов» (203). Правда, Коровьев, как всегда, немедленно шутовски пародирует это, казалось бы, серьезное заявление, распространившись о квартирном вопросе.

Однако может ли Воланд, изменяя пространственно-временные, количественные параметры протекания событий, влиять на них качественно, навязывать или отменять?

Воланд в романе показан как (в тенденции) не принимающий решений. Объяснение этому, вероятно, в следующем: у него *нет позиции*, с которой можно было бы их принимать, т. е. вовлекаться в эмоционально-волевую сферу. «Всевластный» Воланд поэтому парадоксально несвободен. Он всеведущ и поступает в соответствии с необходимостью, но необходимость эта как бы лежит вне его.

Иллюзия полного господства, царения Воланда в мире неизбежно возникает потому, что Воланд в романе, естественно, обладает характером с относительно стабильными свойствами. (Хотя всякий желающий может на собственном опыте убедиться, что сказать об этом характере нечто конкретное и цельное весьма нелегко). В Воланде мы видим не «Универсум вообще», а, так сказать, самую сущность Универсума — и не в абстрактно-понятийной форме, а олицетворенную. Оттого Хаос, воплощаемый через этот образ, больше похож на Космос, ибо реализуется через цельный, завершенный образ (не символ): необходимо учесть это для дальнейших рассуждений. Характер Воланда создан так, что его доминанты — невозмутимость, монументальность, свобода перемещений во времени/пространстве, склонность к перевоплощениям (более мнимым, чем реальным) — проявляют скрытый смысл, в нем заключенный, соответствуют «глобальности» этого смысла.

Важно отметить и еще одно обстоятельство. Так или иначе, в свое время придется поставить вопрос о причинах появления в Москве Воланда и его свиты. Мы отказались видеть в этом факте предзнаменования Страшного Суда, но вопрос требует ответа. Пока что можно сказать лишь следующее: Москва — также часть Универсума, и в этом смысле Воланд в ней не «появляется» и из нее не «исчезает», но пребывает

<sup>16</sup> Утегин Н. П. Указ. соч., с. 220.

вечно, как и во всякой иной точке пространства/времени. То бесконечное путешествие, в котором он и его свита находятся и о котором он говорит Маргарите (209), связано, видимо, с актуализацией для того или иного места и времени кардинальных философских проблем. Тогда в этом месте и времени «появляется» Воланд как знак противостоящего человеческому сознанию Универсума. Об этом напоминает и «присутствие» Воланда на допросе Пилатом Иешуа, и его беседа с Иммануилом Кантом, имевшая место когда-то «за завтраком» (15). В настоящем времени сюжета романа Булгакова «эпицентр» философских и этических поисков человечества переместился в Москву.

Сам Воланд, находящийся «по ту сторону добра и зла», не включает и не может включать в сферу своих действий *этику*. Этика предполагает наличие перспективного идеала, «абсолюта» — с точки зрения этического субъекта. Воланд сам по себе — Абсолют, но его сущность — постоянное взаимоотношение сторон, а на таком фундаменте позитивная этика построена быть не может, ибо лишена целеполагания, стимула. Единственный «абсолютный» критерий Воланда — *sub specie aeternitatis* — критерий не человеческий и бес-человечный: распространение подобного релятивизма в человеческом мире вело бы к ужасным последствиям — к этому нам еще придется вернуться.

«Внеэтичность» Воланда обуславливает, в принципе, его «незлобивость». Он не наказывает и не прощает, хотя внешне его действия часто напоминают суд и исполнение приговора. Смерть Берлиоза, открывающая ряд «наказаний», — не убийство: Воланд лишь знает судьбу собеседника, причем не скрывает этого.<sup>17</sup> Он знает также судьбы буфетчика Сокова, барона Майгеля, Ивана Бездомного... У Воланда, как писал И. Ф. Бэлза, «всемогущество... сочетается с *всеведением*»: <sup>18</sup> он говорит лишь о том, что неминуемо наступит само — вскоре или в отдаленном будущем (характерен в этой связи его разговор с Коровьевым о постройке нового здания МАССОЛИТа — с. 292).

Все это не дает оснований говорить о «подведомственности» Воланду какого-либо специального «чистилища», где обитают грешники, например гости бала. Принцип «каждому будет дано по его вере» (221) ведет к тому, что «чистилищем» может быть лишь совесть человека (Пилат, Фрида), если, конечно, у человека есть совесть, что не обязательно. Совесть неразрывна с идеалом («правдой») и потому не имеет отношения к Воланду, как и милосердие. Гости Воланда, несмотря на их общую непривлекательность, верили при жизни, что со смертью существование не кончается, — поэтому и обрели это «посмертное» существование: правда, наслаждаться им они имеют возможность лишь раз в году. Не все гости бала — «злодеи»: оркестром дирижирует Иоганн Штраус, а с его именем, кажется, не связано ничего греховного или «инфернального» (это не то, что, например, легендарный Паганини). Сам Воланд, как помним, не любит балов: «Никакой прелести в нем нет и размаха также, а эти дурацкие медведи, а также и тигры в баре своим ревом едва не довели меня до мигрени» (224). И нельзя ответить, хороши для него гости или плохи: он не делает разницы между Фридой и, скажем, Тофаной или Малютой Скуратовым.

Единственный случай, когда, как кажется, можно говорить о каком-то проявлении «свободной воли» Воланда, — это давний проступок рыцаря, ставшего Коровьевым — Фаготом: «Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил... его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить

<sup>17</sup> Такую точку зрения высказал Н. П. Утехин. — Там же, с. 217.

<sup>18</sup> Контекст-1980, с. 232.

немного больше и дольше, нежели он предполагал» (305). Кажется, каламбур рыцаря задел Воюанда «за живое»? Но, с другой стороны, неясно, что значат слова «не совсем хорош»: имеются ли в виду эстетические достоинства или излишняя смелость по отношению к тайнам бытия. Может, каламбур-то был *слишком* хорош? Работа, выполняемая Коровьевым—Фаготом, не из легких; однако наказание ли это? Ведь рыцарь — человек — удостоился чести/участи (амбивалентность вполне в духе Воюанда), наряду с «демоном-убийцей» и «демоном-пажом» (305), войти в свиту Князя Тьмы.

Эмоциональной сущностью диалектического и внеэтического «воюандовского» мира является либо холодное равнодушие, бесстрашие, либо «абсолютный» смех, смех как самоцель, осмеивающий и сам себя, причем совершенно бескорыстно. Индифферентизм «с точки зрения вечности» и «абсолютный» смех здесь равновелики — и притом плодотворны: бесстрашие лишено уныния и пессимизма, а «глумление» парадоксально приводит к утверждению нового. Ситуация эта зафиксирована, в частности, в эпиграфе.

Вполне понятные попытки читателей и критиков говорить о моральности или аморальности тех или иных поступков Воюанда и К<sup>0</sup> понятны именно «по-человечески»: никакое явление, поступок или состояние мы не можем воспринять или выразить вне «эмоционально-волевого тона» (М. Бахтин),<sup>19</sup> т. е. внеэтически. Более «человекоподобные», чем он сам, спутники Воюанда дают еще больше поводов быть заподозренными в «моральности». Но ведь они и более антропоморфны, чем их повелитель: они по необходимости уподобляются миру, в котором воплотились, — в том числе и в типичных моделях поведения. Обратим все же внимание, что полного уподобления здесь нет и быть не может: вечное не растворяется во временном «без осадка». Поэтому спутники Воюанда потрясающе эксцентричны, и чем серьезней стараются быть, тем они смешнее. Эффекту показа неслиянности этих героев с окружающим миром служат и допускаемые ими анахронизмы, например: «Разве вы без шпаги пришли? — удивилась Гелла» (171).

Внеэтический, чисто «воюандовский» континуум не может быть соотнесен с понятиями «инфернальное», «сатанинское» в традиционном смысле этих слов. Антихрист вовлечен в этическую (то есть, по Булгакову, человеческую!) систему координат. Таков в романе, скажем, Абадонна — воплощение идеи Смерти, — имя которого уже этимологически значит «губитель».<sup>20</sup> Абадонна — это своеобразная переходная стадия от внеэтического мира Воюанда к миру человеческому, т. е. этическому. Хотя Абадонна и существует как «надмирная» сила разрушения и гибели, но изображен он как функция *человеческих* отношений и представлений. «Он на редкость беспристрастен, — говорит о нем Воюанд, — и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы... Кроме того, никогда не было случая, да и не будет, чтобы Абадонна появился перед кем-нибудь преждевременно» (210). Абадонна, таким образом, зависит от человеческих отношений. Если отвлечься пока от расхождений между Иешуа и евангельским Христом, то можно сказать, что Абадонна тождествен Христу по «субстанции», из которой создан: это отвлеченная функция морально-философских представлений человечества; эти представления исторически обусловлены, и Абадонна вечен лишь потому, что смерть — неотторжимый атрибут жизни. Поскольку в романе Булгакова

<sup>19</sup> Бахтин М. М. К философии поступка. — В кн.: Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984—1985. М., 1986, с. 109.

<sup>20</sup> Откр., гл. IX, ст. 11.

смерть — понятие относительное, то встреча с Абадонной для человека здесь — знак некоей «границы», за которой существование или прекращается, или начинается в какой-либо иной форме.

Мнимая «моральность» Воланда и К<sup>0</sup> должна, видимо, восприниматься как часть общей системы *условности* данного произведения; она проистекает из необходимости для автора «человеческими» средствами показать «вне-человеческое», причем показать не сугубо рассудочно, а «во плоти».

Итак, кратко рассмотрев некоторые аспекты образа Воланда в романе Булгакова, можно сказать, что онтологической сущностью его являются «единство и борьба противоположностей», бесконечность времени и пространства. Между прочим, стоит заметить, что основная задача данной статьи, сформулированная в ее начале, — уточнение некоторых понятий, — актуальна внутри самого художественного мира романа, поскольку Абсолютная Истина, олицетворяемая Воландом, в принципе *невыразима*. Множественность родовых названий, даваемых Воланду, хорошо демонстрирует тщетность попытки «объять необъятное», воплотить его в слове: «иностранец» — «профессор» — «черный маг» — «сатана»; наконец, просто «Воланд» — имя собственное, уникальное по определению.

«Спор о словах» имеет прямое отношение к проблематике романа, в котором показан путь человечества к постижению Истины. «О словах» («раб» — «ученик») спорят Левий с Воландом. «... Но вещи, о которых мы говорим, — замечает последний, — от этого не меняются» (290). Логические ошибки заводят в тупик даже красноречивый Берлиоз, утверждавшего: «... Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и... все рассказы о нем — простые выдумки, самый обыкновенный миф» (12). И ведь отчасти Михаил Александрович прав: действительно, *Иисуса* не существовало, и миф был создан, и выдумок вокруг этого много... Но выдумки-то не «простые», поскольку Иисус «как личность», оказывается, существовал — вернее, не Иисус, а Иешуа... и т. п. Даже то, в чем уверен, выразить настолько сложно, требуется столько оговорок уточнений, пояснений, что моментами закрадывается сомнение: а может, и в самом деле «мысль изреченная есть ложь»? Чтобы вынести эту «муку слова», героям Булгакова требуется не меньшее мужество, чем для иных испытаний. Вера в идеал дает силу не только делам, но и словам. Когда же человек (вроде Берлиоза) начинает игнорировать сложность процесса познания, начинает «рубить сплеча», тогда оказывается вдруг, что «ничего нет»: ни бога, ни дьявола — ничего (40).

Еще Л. Н. Толстой писал в романе «Война и мир»: «Рассказать правду очень трудно» (т. 1, ч. III, гл. 7), даже если в этом состоит единственная цель человека. Люди лгут не из порочности (*не только* из порочности): события излагаются очевидцами «так, как им хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слышали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было... Для того, чтобы рассказать все, как было, надо... сделать усилие над собой...» В сущности, это тоже ложь, но такая «ложь», по-видимому, гносеологически необходима, соприродна человеку, любому познающему субъекту. В этой связи характерны мучения Ивана Бездомного, пытающегося описать все, что происходило накануне вечером с ним и с Берлиозом: «Иван работал усердно и перечеркивал написанное, и вставлял новые слова, и даже попытался нарисовать Понтия Пилата, а затем кота на задних лапах. Но и рисунки не помогли, и чем дальше — тем путаннее и непонятнее становилось заявление поэта» (95). Точно так же искажает факты, очевидцем и участником которых был сам, Левий Матвей. Вспомним слова Иешуа: «... ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пьет. Но я однажды заглянул в этот перга-

мент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил» (23). Совершенно исключено, что Левий намеренно искажает слова Иешуа, видимо, он-то убежден, что фиксирует все точно: «он так видит».

Таким образом, наличие в романе Булгакова воплощенной Абсолютной Истины совсем не означает, что тем самым герои романа получили возможность услышать «последнее слово» о мире. Даже частный факт, объективная истина, переходя в субъективный план, подвергается искажению. А уж *передать* ее, выразить словом, не исказив, вообще задача из труднейших. Кстати, именно в этом одна из заслуг Мастера, творение которого отвечает самым высоким критериям объективности.

Но, как бы то ни было, идя путем заблуждений и ошибок, постигает ли человечество истину? И вообще, есть ли в мире некие законы, от которых зависит его существование и движение — если, конечно, движение присуще миру?

В контексте наших рассуждений о всеведении Воланда, о точном знании им судеб многих персонажей, о его абсолютной справедливости, наталкивающей на мысль об отсутствии свободы воли, целесообразно задуматься о роли *судьбы* и *случайности* в романе. В сюжете «Мастера и Маргариты» довольно много случайностей, причем весьма важных. Так, без выигранных Мастером денег не было бы, вероятно, в его жизни ни романа, ни Маргариты. «... Меня спасла случайность», — объясняет Мастер Ивану, рассказывая о том, как попал в клинику (123). В этом же рассказе читаем: «Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба и что созданы они друг для друга навек» (116).

Интересно, что в последнем примере случайность приобретает характер необходимости. Конечно, самое знаменитое заявление о всеобщей необходимости, царящей в мире, звучит еще на первых страницах романа, когда Воланд провозглашает: «Кирпич ни с того ни с сего... никому и никогда на голову не свалится» (17).

Значит ли все это, что в изображенном мире романа есть Нечто более высокое, чем сам Воланд? И если Воланд не может сопротивляться судьбе (речь, конечно, идет не о *его* судьбе: к нему неприменимо данное понятие), то может ли человек как-либо влиять на судьбу, в том числе на свою?

Заметим, что у Булгакова, в принципе, нет противопоставления понятий «судьба» и «случай» (последнее более употребительно). Таким образом, представление о судьбе не связано со всеобъемлющим фатализмом, с наличием «мировой воли». Судьба в «Мастере и Маргарите» — как, наверное, и в обыденном сознании — сочетает идею хаоса, «беспричинности», случайности с идеей всеобщей взаимозависимости и причинной обусловленности. Первая составляющая тяготеет к «ведомству» Воланда; что же касается второй, то она у Булгакова существенно связана с человеческими отношениями, с логикой характера персонажа, с его этической позицией: «... каждому будет дано по его вере». Человек несет свою судьбу «на себе» и «в себе» одновременно.

Мы не видим оснований говорить о том, что в романе есть сила, которая бы «авансом», целесообразно управляла событиями. Подобная точка зрения у Мастера и Маргариты («столкнула их... сама судьба»), но все-таки факты жизни этих героев еще не дают оснований видеть руку Провидения (если употребить это слово в «терминологическом», а не в обиходном смысле).

Зато есть в романе Булгакова примеры того, как герои пытаются как бы взять на себя функции судьбы, «подправить» ее, придавая при-

чпено обусловленным, нормально-логичным событиям видимость необъяснимых, беспричинных, «чудесных». Так, «добрые люди», которые «ничему не учились и все перепутали» (23), в том числе и Левий Матвей, «сотворили» из бродячего философа Иешуа богочеловека. Такова и история смерти Иуды и навязанная общественному мнению Пилатом версия его самоубийства, оказавшая, как известно, сильное воздействие на концепцию христианской морали. Причем у Булгакова Левия Матвею известна правда о смерти Иуды, однако «правда» Пилата оказалась жизнеспособнее.

В целом, случайности в романе, кажется, нигде не препятствуют саморазвитию явления (характера). Левий не успевает к Иешуа (причем дважды), как опаздывает Маргарита в ночь ареста Мастера, — но, с другой стороны, могли ли они чем-нибудь помочь тем, к кому спешили?

Недаром Воланд утверждает: «Все будет правильно, на этом построен мир» (307). Несмотря на временную «несправедливость», тягостность судьбы человека, время — главный инструмент Воланда — в конечном счете все расставляет по своим местам. Речь не идет о традиционном христианском «воздаянии» или «суде»: Воланд является лишь гарантом неостановимости времени, постоянства перемен. Но человеческая жизнь во времени — дело прежде всего человеческое.

Абсолютная Истина сама по себе у Булгакова не имеет практического (в широком смысле) значения — вернее, методологически значимо само ее наличие, поскольку в мире бесконечного движения никакое знание о мире не может быть окончательным. Напротив, человеческий «абсолют» — Идеал — не покрывает всей сути мира, однако его (идеала) значение огромно, поскольку обеспечивает человеческое существование вообще, как бы определяя движение человека «к самому себе».

В мире без человека существуют свет и тьма, но представления о них (условно говоря, ибо возможны ли представления без человека?) не являются этическими, лишены коннотаций. В человеческом же мире слова «свет» и «тьма» не мыслятся вне их переносных значений. Не потому ли не могут понять друг друга Левий и Воланд? Для Воланда Левий — «раб», догматик; для Левия Воланд — «старый софист» (290). А ведь они оба правы: только граница, лежащая меж ними, непроходима для обоих: Воланд не может «опуститься» (или возвыситься?) до этики, ибо в этом случае Универсум стал бы телеологичным, начал бы двигаться в одну сторону сам по себе; Левий же не может «возвыситься» до Воланда, ибо в Универсуме принципиально не может быть «двух Воландов». Воланд, естественно, понимает все это: «Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда» (290).

Ограниченность человеческого сознания, своеобразный «оптимистический трагизм» бытия человека состоит в том, что для него существование вне Идеала невозможно. Человек может лишь «выбрать» ту или иную систему этических координат и в ней поступать.<sup>21</sup> Выбор (разумеется, не всегда сознательный) и последовательное проведение своих принципов в жизнь требует от личности героизма, подвига: подобная личность моральна и свободна — таковы, например, Иешуа, Маргарита и Левий Матвей. Отказ же (в той или иной форме) от выбора не есть, понятно, переход во «внеэтическое» состояние; объективно это будет подлаживание под какую-нибудь наличную позицию, сколь угодно эклектичную и непоследовательную, субъективно же — движение по инерции, ведущее к аморализму. Персонажей подобного типа в романе много: это,

<sup>21</sup> «Это признание единственности моего участия в бытии есть действительная и действенная основа моей жизни и поступка» (*Багтин М. М. Указ. соч., с. 112*).

например, Пилат в истории с Иешуа, и многочисленные деятели искусства (МАССОЛИТ, Варьете), и — в известном смысле — Мастер.

При наличии непостижимой Абсолютной Истины никакая этическая концепция, никакая «вера» не может считаться изначально заданной, не может быть сведена к «внечеловеку» и существовать сама по себе, без носителя. В романе Булгакова нет модели возвращения к некогда утраченной Истине: хотя через две тысячи лет на страницах романа Мастера «вновь» возникнет фигура Иешуа, но о возобновлении в полном смысле говорить не приходится.

Связь человека с Идеалом, поиск Истины рождает различные экзистенциальные состояния и ведут к разным видам деятельности. Поэтому сближены у Булгакова такие понятия, как вера, любовь, подвиг, преданность, творчество и т. п. Принципиально неважно, что преданность очень напоминает рабство: «... тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит» (306). В самом деле: уместно, например, чувства Левия и Маргариты и их преданность назвать «собачьими», а те же качества Банга — «человечьими». Иешуа, кстати, не видел ничего оскорбительного в сравнении человека с собакой (23). Самозабвенное следование своей вере (это слово совсем не обязательно имеет религиозный смысл) для Булгакова гарантирует высокую моральность личности — независимо от объективных результатов поступка.

Проблема «человек и Идеал» связана прежде всего с образом Иешуа. Если воспринимать реминисценции именно как таковые и обращать внимание в первую очередь на факты сюжета, то можно сказать, что Иешуа — личность, безусловно, неординарная, но не более того. Будучи абсолютно искренним («Правду говорить легко и приятно» — с. 28), он погибает, видимо, неожиданно для себя — этим, как кажется, объясняется его поведение перед казнью. «Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой» (247), — рассказывает Афраний. Хотя Иешуа искренне верит в своего бога, но в его словах, как мы уже отмечали, странным образом заложена идея о том, что никакая вера не абсолютна: «... рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины» (24), — на смену одному храму создается другой, одну веру сменяет другая.

Булгаковский принцип использования евангельского сюжета прямо связан с тем, что в «Мастере и Маргарите» важное место занимает соотношение — и полемика! — *двух повествований об одних и тех же событиях*: Евангелия и романа Мастера. Разность «точек зрения» двух этих текстов имеет огромное значение. Характерно в этой связи замечание С. С. Аверинцева во время обсуждения «Плахи» Ч. Айтматова: «Иешуа не говорит ни единого слова, какое он мог бы сказать в евангельском тексте».<sup>22</sup>

Евангелие не игнорируется автором «Мастера и Маргариты», и взамен не сочиняется «собственное». Евангельская концепция мира присутствует у Булгакова *наряду* с романом Мастера. Видимо, мы вправе назвать Левия Матвея евангелистом — во всяком случае, потенциальным. Конечно, проповеди Иешуа слышали многие, и слова возымели действие — недаром Каифа связывает с появлением философа начало волнений в Ершалаиме. Но Левий, во-первых, ведет записи — прообраз будущей книги, а во-вторых, его имя прямо ассоциируется с одним из евангелистов. Думается, можно не говорить здесь именно о евангелии от Матфея: более важен традиционный, собирательный образ Иисуса, легенда о нем — так, в беседе Берлиоза с Бездомным речь идет об Иисусе «вообще». Булгаков делает совершенно правильный расчет на то, что широкая известность евангельских текстов позволяет лишь «намекнуть»

<sup>22</sup> Лит. газ., 1986, 15 окт.

на одного из создателей — и образ книги в целом возникнет в сознании читателя.

При этом, как мы помним, недостоверность текста Левия предсказывается самим Иешуа, который как бы провидит судьбу своего учения на долгие годы: «Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной» (23).

Объективность же Мастера удостоверяется «очевидцем» — Воландом. Его рассказ о допросе, составляющий вторую главу романа М. Булгакова и, видимо, первую — романа Мастера, как впоследствии узнает читатель, буквально, слово в слово совпадает с текстом, написанным Мастером. Воланд как бы не «ищет» новых слов, а цитирует документально точный текст.

Обратим внимание и на то, что способ фиксации истины в романе «Мастер и Маргарита» не важен: искусство здесь не выше других форм сознания, также создающих тексты. Из трех авторов (Левий, Мастер, Бездомный) лишь последний может быть назван собственно художником. Левий, как он сам полагал, писал «хронику», стремясь точно зафиксировать обстоятельства жизни и учение Иешуа, а получается у него нечто иное, не содержащее, во всяком случае, «правды факта», без которой хроники нет. Мастер (а вслед за ним и все остальные, и мы в том числе) называет свой текст «романом», но, строго говоря, пишет именно хронику, хотя и не был очевидцем событий. Кроме того, в содержании романа Мастера практически не выражен оценочный план — то, что называют «авторской позицией».

Характерно, что в судьбах трех авторов довольно быстро — скачкообразно — совершаются переходы от одного вида деятельности к другому: «... сборщик податей... бросил деньги на дорогу» (23), Мастер, благодаря выигрышу, из историка становится писателем, Иван за несколько часов перестает быть поэтом и даже испытывает к поэзии отвращение. Истина не «закреплена» за каким-либо одним видом духовной деятельности: все, в чем воплощается, «материализуется» вера, — истинно. Между иррациональным, интуитивным прозрением и рационализирующим словесным выражением неминуемо существует разрыв («... Язык может скрыть истину, а глаза — никогда!» — с. 137). Содержание угадывается, провидится, но идет поиск адекватной формы для его выражения. Будучи рационализирован, объект веры (Идеал) всегда лишь относительно истинен. В этой связи можно указать на такого, например, героя романа, как Банга. Пес явно чувствует нечто, в отношении его вполне можно говорить о духовной деятельности, но высказать что-либо он вообще не может. В сущности, это метафора извечных человеческих усилий.

Истина не задана: образ ее вырабатывается совокупным трудом человечества. Личностное, человеческое начало имеет у Булгакова столь важное значение, что в романе «Мастер и Маргарита» сказанное, облеченное в слова как бы получает статус реально существующего: человек *словом* как бы создает мир, ставясь творцом в высоком смысле. Как говорится, *se non e vero e ben trovato*: не будь Левия Матвея, не было бы созданного его нетвердой рукой Иисуса, не было бы мифа, а ведь он был и влиял на общественное сознание две тысячи лет, да и в настоящем времени романа имеет влияние — недаром Бездомный инстинктивно хватается за иконку, надеясь защититься от «консультанта» и иже с ним. Оттого Иван и не сумел своей поэмой разрушить миф: в «антирелигиозном» творении он, по существу, создал бога же. «Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж» (12). У Левия бог был добрым, у Ивана он непривлекателен; лишь в гениальном творении Мастера Иешуа «совпал с самим собой», утерав при этом божественные черты. «Угадав» на

месте Иисуса Иешуа, Мастер тем самым создал предпосылку «новой веры». В известном смысле Мастер завершил работу, начатую Левием в русле того процесса, о котором говорил Иешуа («рухнет храм старой веры»). В свое время творение Левия было «новым храмом»; теперь и он рухнул — время строить новый. Таким образом, появление романа Мастера (оставшегося, за исключением одного отрывка, никому не известным, кроме Алоизия и Ивана) знаменует и смену *этико-философских эпох*, когда на смену двухтысячелетнему мифу должно прийти новое учение, в центре которого окажется человек. В свете таких проблем появление в Москве Волада, видимо, уже не выглядит случайным.

Как автор романа, вобравшего в себя и Пилата, и Иешуа, Мастер, по существу, превзошел последнего в могуществе. Поэтому освобождает Пилата именно Мастер (правда, уже умерший). В силу человеческих законов (милосердие) Маргарита, будучи королевой бала, освобождает Фриду.

Но, объективно говоря, творения Левия и Мастера, конечно, не равноценны в смысле «качества», авторы эти несопоставимы по таланту: такое впечатление поддерживается на протяжении всего романа (хотя при этом Мастер все же «не заслужил света», а Левий — заслужил). Левий менее талантлив; он энергичнее, настойчивее Мастера. Вообще различий между ними, конечно, очень много, но нам важно подчеркнуть другое: в романе Булгакова усилие, приложенное человеком для достижения какой-либо цели, само по себе результата еще не гарантирует, но для оценки человека имеет большое значение. Поступок с его мотивами и результат, последствия поступка, т. е. субъективная и объективная стороны, как бы разграничены в плане их оценки. Конечно, честность намерений — еще не все, важен и результат; но все же именно намерение, стремление первично как во времени, так и для заключения о значимости поступка. Как говорил Ларошфуко, «любое, даже самое громкое деяние нельзя назвать великим, если оно не было следствием великого замысла».

Удар Булгакова-сатирика направлен поэтому не против субъективно честных поступков, пусть даже проблематичных по результату, но против деяний, заведомо неправедных. Если высшим проявлением моральности в «Мастере и Маргарите» может быть названо ощущение человеком Идеала, вера в широком смысле, то «полюс аморальности» — отсутствие их связи. Вера составляет внутреннюю сущность самого человека, и потому может относиться к очень разным внешним объектам: идеал в истории человечества принимает самые разнообразные формы. Но ни фанатизм, ни догматизм не осуждены в романе: верить можно во что угодно, даже не понимая многого в своей вере (Левий), но коль скоро такая способность вообще у человека есть, он не безнадежен.

В силу этого не подвергаются явной критике или осмеянию люди, верящие даже в объективно неправедное или бесполезное дело. Каифа, например, своими средствами борющийся с Пилатом и, видимо, с метрополией вообще, по-своему прав, настаивая на казни Иешуа. И. Ф. Бэлза отмечал: «Булгаков вводит политическую мотивировку в поведение Каифы».<sup>23</sup> Не совсем понятно, почему Г. Лесскис счел Каифу у М. Булгакова «антагонистом» Иешуа:<sup>24</sup> формально это так, однако сам Иешуа Каифе в принципе безразличен — первосвященник уничтожает опасность, грозящую Ершалаиму, «народу иудейскому» (34). И поступает, увы, справедливо, хотя Иешуа от этого не легче. С легким юмором рисует М. Булгаков чекистов, безуспешно стремящихся бороться с «нечистой силой». Их действия не приносят желаемых результатов, но сами

<sup>23</sup> Контекст-1978, с. 160.

<sup>24</sup> Лесскис Г. А. Указ. соч., с. 58.

эти люди, пытающиеся, например, арестовать Коровьева и Бегемота (в «квартире № 50», в ресторане «Грибоедова»), мужественны и самоотверженны.

Одна из широко обсуждающихся в романе проблем — проблема отступничества, измены человека своей «вере» (мы избегаем слова «предательство» по причинам, о которых скажем ниже). Ситуации отступничества, компромисса с совестью прямо соотносятся с мыслями Иешуа о том, что все люди добры и лишь трусость мешает им оставаться людьми. Думается, эти идеи можно понимать так, что любой человек, несмотря на явные недостатки, сохраняет «душу живу»; связь человека с Идеалом все-таки не прерывается, и вера живет в человеке, служа критерием оценки собственных поступков. Совесть, производное от веры, всегда «сигнализирует» об истинной нравственной стоимости поступка. Трусость же пытается заглушить голос совести — впрочем, эти попытки никогда, к счастью, не бывают вполне успешными. В этом — основа оптимизма Иешуа.

Насколько он прав, мы еще задумаемся, а пока обратимся к персонажам, судьбы которых, как кажется, вполне подтверждают мнение бродячего философа. Центральной фигурой здесь, конечно, будет Пилат. Важно подчеркнуть, что отступничество всегда в той или иной мере осознается самим отступником: совесть на время побеждена, но не уничтожена. Ощущение несвободы, внутренней раздвоенности часто порождает агрессивность и ярость, выдающую себя за пафос, т. е. маскирующуюся под сугубую убежденность. Так, Пилат в ярости — в бессильной ярости — кричит, что царство истины никогда не настанет (30): он уже понял, что Иешуа не спасти. Критики, травящие Мастера, «говорят не то, что они хотят сказать, и... их ярость вызывается именно этим» (120). Кстати, и полубольной Мастер знаком с этим состоянием: когда он рассказывал Ивану о своем аресте, «в глазах его плавал и метался страх и ярость» (122). Характерно, что люди, испытывавшие такую раздвоенность, — люди с высокоразвитым интеллектом: они не могут «не ведать, что творят». Тем тяжелее, в принципе, их драма — драма победы (пусть временной) инстинктов над разумом и духом, ибо главный инструмент принуждения — страх. Фрида убивает ребенка, видимо, выбирая «меньшее из зол». Банга, несмотря на самоотверженность, также подвержен чувству страха: правда, боится лишь грозы. Кажется, из первостепенной важности героев романа только двое не боятся ничего: Маргарита и Левий Матвей.

Ситуация морального компромисса весьма распространена в человеческой среде. Похоже, что для Булгакова поступок, сопровождаемый внешним принуждением (страх), хотя и тяжел, но простителен. Чувство страха, поборовшее человечность, впоследствии осуждается и вытесняется совестью. Так раскаивается во сне Пилат: «...трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок.

Вот, например, не трусил же теперешний прокуратор Иудей, а бывший трибун в легионе, тогда, в Долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли Крысобоя-Великана. Но, помилуйте меня, философ! Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудей?

— Да, да, — стонал и всхлипывал во сне Пилат.

Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить» (258).

Как мы уже подчеркивали, воздаяние в романе не носит случайного или фатального характера. Еще в одном из эпиграфов к «Белой гвардии» звучала эта мысль: «И судимы были мертвые по написанному

в книгах сообразно с делами своими».<sup>25</sup> Поскольку в «Мастере и Маргарите» человеческое существование может быть бесконечным во времени, то поступок человека определяет его судьбу как до, так и после смерти. Пилат проводит в одиночестве «двенадцать тысяч лун» (307); Фрида — тридцать лет.

В сущности, многие эпизоды романа подтверждают тезис Иешуа о неистребимости добра в человеке. Видимо, о том же говорит Воланд во время сеанса черной магии: «Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди» (104). И позже, после бала, Воланд тоже (с негодованием) говорит о милосердии: «Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки» (229).

Итак, возможность искупить вину и быть прощенными открывается для многих персонажей романа. Но для всех ли?

Теоретически говоря, если отступничество все же предполагает наличие веры, то это еще не безверие — не тот «полюс аморальности», о котором мы говорили выше. Ряд персонажей романа Булгакова не может быть включен в категорию «отступников», хотя они — определенно «отрицательные» герои. Прежде всего это Иуда и его «двойник»<sup>26</sup> — Алоизий Могарыч.

В системе евангельской морали одним из самых тяжелых считается, видимо, «иудин грех» — предательство. Но дело в том, что для двух вышеназванных персонажей традиционно применяемое к ним понятие «предатель» не совсем подходит. То, что в обыденной жизни называется предательством, зачастую может быть сведено к отказу от убеждений вследствие трусости или каких-либо иных причин (возможна ведь и сознательная, принципиальная перемена позиции, но извне это часто выглядит предательством). Трусость в романе Булгакова названа «пороком». Порок есть изъян, но, так сказать, органический. Что же касается действий Иуды и Алоизия (да и барона Майгеля), то, как нам представляется, более точное название для этих поступков — *провокация*. Морально-философской основой провокации являются релятивизм и цинизм.

Предателем может стать лишь друг, единомышленник; Иуда и Могарыч с самого начала не являются, а лишь притворяются друзьями Иешуа и Мастера. Мотивы предательства, как мы уже замечали, могут быть различными: например, в романе «Белая гвардия» герои, понявшие объективную бессмысленность борьбы за мифическую «белую идею» (Алексей Турбин, полковник Малышев), все же испытали чувство стыда за то, что не смогли, не нашли в себе сил пойти и послать других на бессмысленную смерть. Ничего подобного в «Мастере и Маргарите» нет. Мотив трусости не относится к Иуде или Алоизию. Очень важно, что провокаторы — не тупые, дегенеративные автоматы, а люди умные, красивые, даже обаятельные. Так, Иуда — «горбоносый красавец» (252); его мертвое уже лицо «представилось смотрящему белым, как мел, и каким-то одухотворенно красивым» (256) — и, кстати, напоминающим лицо преображенного Азazelло, которое тоже «белое и холодное» (305). Про Алоизия же Мастер рассказывает: «...нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизий» (119). Эти люди, таким образом, полностью ответственны за свои поступки. Им также присуще иногда чувство страха, а Иуде — даже любви, но главной движущей силой для них является алчность. Об Иуде Афраний сообщает: «У него есть одна страсть... Страсть

<sup>25</sup> Откр., гл. XX, ст. 12.

<sup>26</sup> Мотив «двойничества», в том числе этих персонажей, в романе Булгакова был рассмотрен Г. А. Лесским — см. указ. соч.

к деньгам» (248). У Алоизия Аззелло осведомляется: «Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу?.. Вы хотели переехать в его комнаты?» (233). Итак, жадность и зависть — вот пружины провокации.<sup>27</sup>

Приведенные рассуждения позволяют, кажется, ответить на вопрос, поставленный И. Ф. Бэлзой: «Почему Булгаков не следует традиционной версии о самоубийстве Иуды?».<sup>28</sup> Покончить с собой мог бы именно *предатель*, отступник, испытавший чувство раскаяния. Пилат, «подбрасывая» версию самоубийства, хотел обезопасить себя и своих «сотрудников». В Евангелие же история самоубийства вошла как одно из доказательств мысли Иешуа о том, что все люди изначально добры: дескать, даже Иуда раскаялся. То, что происходит в романе М. Булгакова «на самом деле» и зафиксировано Мастером, не подтверждает, а опровергает тезис Иешуа. Тип провокатора не содержит никаких внутренних предпосылок к раскаянию. Представший перед «ведомством Воладна» Могарыч напуган, конечно, однако не похоже, чтобы его «слезы раскаяния» (233) были искренними, — последующая деятельность Алоизия на посту финдиректора Варьете (315) подтверждает это. Единственная ценность и «абсолютная истина» для людей, подобных Иуде и Могарычу, — их собственная персона.

Мы уже отмечали, что объект веры не имеет в романе М. Булгакова существенного значения. Можно верить во что-то или же во что-нибудь прямо противоположное: вера и «контр-вера, если они не фальшивы, с субъективной точки зрения ничем не различаются. Иное дело, если нет веры ни во что, кроме как в наличное, здесь и сейчас данное свое собственное существование. Само слово «вера» тут неприменимо, ибо Идеал, «по определению», должен находиться за пределами налично данного и, как минимум, на грани понимания, ибо вера не рациональна.

В случае с Иудой и Алоизием ценностью признается лишь «эго» субъекта; речь идет о *без-верии* — полном отсутствии способности верить. В морально-философской системе романа Булгакова такое мироощущение выглядит как отказ признать основной постулат существования человека в мире, как стремление в этическом мире существовать «вне этики»: проблема далеко не новая для русской литературы.

Тенденция к подобному мироощущению прослеживается на деле у многих «отрицательных» героев «Мастера и Маргариты» — прежде всего из числа членов МАССОЛИТа и руководителей Варьете. Такие персонажи часто изображаются в процессе отрицания, но не утверждения чего-либо взамен: «отрицательные», они буквально «отрицатели», разрушающие, но не создающие. Так, Берлиоз пытается убедить Ивана в том, что Иисуса никогда не было, но не объясняет — что же *было*? Этим и вызвана реплика Воладна: «Ну, уж это положительно интересно... что же это у вас, чего ни хватисься, ничего нет!» (40). Травля Мастера разворачивается через отрицание не художественных достоинств его книги (они, наверное, и для критиков бесспорны), а самой *темы* романа. Рассказывая о разговоре с редактором, Мастер вспоминает: «Вопросы, которые он мне задавал, показались мне сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и откуда я взялся, давно ли пишу и почему обо мне ничего не

<sup>27</sup> Интересно, что мотив провокации в романе разветвлен: так, Каифа считает Иешуа вольным или невольным провокатором, полезным для интригана Пилата. С «провокатором» Иешуа синедрион борется с помощью провокации же (Иуда). Иуда, в свою очередь, наказан Пилатом через посредство Аффрания с помощью Низы, которая, похоже, является штатным агентом тайной службы прокуратора.

<sup>28</sup> Контекст-1978, с. 166.

было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос: кто это меня надоумил сочинить роман на такую странную тему?» (117). Что же касается сеанса «черной магии», то здесь, оказывается, «вся соль в разоблачении» (87). Недаром Аркадий Аполлонович Семплеяров настаивает: «Все-таки желательнее, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов...» (106).

Такая деструктивная направленность находит крайнее выражение опять-таки в «деятельности» Иуды и Алоизия. Провокация — тоже разрушение: маскируясь под веру, дискредитирует ее, разрушает в людях самую способность верить, убивает чувство доверия к окружающим, поселяет в душах страх и подозрительность. Основанная на без-верии, провокация, таким образом, есть преступление против веры.

Эгоцентризм провокатора носит «центростремительный» характер: прерываются живые контакты человека с миром как в пространстве, так и во времени — наступает состояние «войны против всех» как вокруг себя, так и в прошлом, и в будущем. Всеобъемлющий релятивизм, в отличие от диалектики, противостоит идее движения во времени и пространстве.

Релятивизм, как и вера, требует личной активности, но иного рода. Злобная суета — тоже форма борьбы: за собственное выживание. «Моменты истины» здесь неплодотворны и приводят лишь к нападкам на самого себя («унижение паче гордости»), а вслед за этим — к удвоенному озлоблению против окружающего. Так, Рюхин, рассказывающий Арчибальду Арчибальдовичу о поездке в клинику Стравинского, «понял, что тот хоть и задает вопросы о Бездомном и даже восклицает „ай-яй-яй!“, но, по сути дела, совершенно равнодушен к судьбе Бездомного и ничуть его не жалеет. „И молодец! И правильно!“ — с цинической, самоуничтожающей злобой подумал Рюхин» (63) (курсив наш, — Е. Я.).

Подобное мироощущение, в принципе, самоубийственно. Поэтому действия «ведомства Воланда», скажем, в отношении барона Майгеля не выглядят как произвольные, а реализуют тенденции, внутренне присутствующие этому типу. «... Есть предположение, — говорит Воланд о наушничестве барона Майгеля, — что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц» (222).

Такие люди неисправимы. Объективно циник изолирован от мира, сам себя «вычеркивает» из него; но осознать и оценить эту ситуацию он не может, ибо не обладает позицией для самооценки: сам для себя он всегда хорош и непогрешим. Поэтому Иуда не кончает (и никогда бы не покончил) с собой, и не убей его люди Африция, его убил бы Левий. В «Эпизоде» романа Булгакова мы узнаем о том, что «произошли многие изменения в жизни тех, кто пострадал от Воланда и его присных» (313): удалился от дел Жорж Бенгальский, приобрел «невероятную... отзывчивость и вежливость» (313) Варенуха, превратился в молчаливого женоненавистника Степа Лиходеев, Аркадий Аполлонович Семплеяров стал добросовестным грибным заготовителем и т. д. И только с Алоизием Могарычом подобной перемены не произошло. «И как раньше Римский страдал из-за Степы, так теперь Варенуха мучился из-за Алоизия. Мечтает теперь Иван Савельевич только об одном, чтобы этого Алоизия убрали из Варьете куда-нибудь с глаз долой, потому что, как шепчет иногда Варенуха в интимной компании, „такой сволочи, как этот Алоизий, он будто бы никогда не встречал в жизни и что будто бы от этого Алоизия он ждет всего, чего угодно“» (315). В случае с Могарычем Азazelло, кажется, «недотянул» по части наказания: как мы видим, принятые меры впрямь не пошли.

Поэтому мы и склонны утверждать, что максима Иешуа «злых людей нет на свете» (26) не выдерживает критики в романе Булгакова.

«Судящий о других по себе», Пешуа просто не может, видимо, представить себе человека, не верящего вообще ни во что (вот уж действительно: ни бога, ни черта — ничего нет!). Можно предать веру из трусости, но не иметь ее невозможно: это противоречило бы человеческой сущности, как понимает ее Иешуа.

Здесь уместно будет сказать несколько слов о давно замеченной исследователями «инфернальности» некоторых вполне «человеческих» сцен в романе М. Булгакова. В первую очередь это, конечно, сцена пляски в ресторане «Грибоедова», происходящая около полуночи, да еще под музыку фокстрота «Аллилуйя!». Эта вакханалия в изображении М. Булгакова явным образом напоминает шабаш («настоящий» шабаш, кстати, изображен куда привлекательнее). Внешне перед нами вроде бы люди, но человеческого в них, действительно, мало.

Вспоминая то, что говорилось нами об онтологической сущности образа Воланда в романе, и сравнивая с этим релятивизм некоторых «представителей рода человеческого», можно уловить ряд сходных черт. Но существеннейшая разница: «потусторонние» силы, вторгаясь в человеческий мир, справедливы и, в общем, «гуманны», а силы «поскосторонние», стремясь выйти из-под действия человеческих, нравственных законов, начинают являть собой квинтэссенцию зла. Казалось бы: идет «встречное движение» мирового Хаоса и людей, пытающихся отринуть этику, встать «по ту сторону добра и зла», но сколь различны результаты!

«Внеэтичность» волацдовского универсума оборачивается бездушным аморализмом; диалектика становится релятивизмом, ведущим к провокации и конформизму; индифферентность «sub specie aeternitatis» выглядит как жестокий эгоцентризм — унылый и далекий от какого-либо проблеска комического. «Словом, ад», — замечает повествователь (53), и он прав: поистине именно здесь сосредоточено инфернальное начало мира. И, заметим, «ад» этот создан опять-таки людьми, и к Воланду имеет отношение лишь потому, что к нему все имеет отношение.

Рассмотренные здесь эпизоды романа М. Булгакова заставляют вспомнить суждения А. В. Луначарского по поводу главного героя «Жизни Клима Самгина» М. Горького — книги, писавшейся в те же годы, что и «Мастер и Маргарита». Самгин для Луначарского — честолюбец и эгоцентрик, человек пустой, но желающий придать себе вес; «двух станов не борец, а только гость случайный», который «подходит к самому порогу предательства и даже воровато переступает его». <sup>29</sup> Интересно, что, сопоставляя Самгина с подобного типа героями русской литературы (Иудушкой Головлевым), Луначарский подчеркивает черты инфернальности, проступающие в них: «От этой пустоты веет таким холодом, таким ужасом, что Иудушка действительно приобретает сатанинские черты. Признать Иудушку чертом или его куклой, то есть представителем зла как такового, было бы и философски правильно, если бы мы условились считать злом именно пустоту, именно небытие, когда оно тщится под какой-то личиной выдавать себя за жизнь. Нужно сказать, что русский черт, особенно в руках интеллигенции, все больше приобретал именно такой характер. Нам некогда проводить параллели между блистательными западными чертями и скучными серыми бесами нашей литературы. Достаточно только припомнить Мефистофеля... Мефистофель может творить добро потому, что зло его колюче, жгуче... Русский черт, по крайней мере у интеллигенции, — всегда мелкий бес... Так это пошло еще от Гоголя...» <sup>30</sup>

<sup>29</sup> Луначарский А. В. Самгин. — В кн.: Луначарский А. В. О Горьком. М., 1975, с. 121.

<sup>30</sup> Там же, с. 98—99.

Объемистость приведенной цитаты объясняется тем, что рассуждения Луначарского, как нам кажется, удивительно уместны и в контексте разговора о романе Булгакова. Если, вслед за Луначарским, считать основным качеством характера «западного черта» его диалектическое мирозерцание, то Булгаков, опять-таки традиционнейшим для русской литературы образом, населяет «ад» в своем романе косными и бесполезными химерами. Но увы — химеры эти не бесплотны: они победительны и агрессивны и без боя не сдаются. А кроме того, это «адское» начало потенциально содержится в каждом человеке, так что борьбу неминуемо приходится вести «на два фронта».

Вспоминая о «наказаниях», которым был подвергнут ряд персонажей, нужно сказать прежде всего о довольно большом числе москвичей, пострадавших от «ведомства Воланда». Характерно, что почти все подобные ситуации связаны с помешательством или аффектом. Мотив отрезанной, оторванной головы, дважды возникающий в романе (Берлиоз, Жорж Бенгальский), заставляет задуматься о соотношении бессознательного, природно-инстинктивного, и интеллектуально-духовного (оппозиция «тело» — «голова»). Баланс двух этих начал, лежащий в основе человеческой природы, подвергается испытанию на прочность при столкновении человека с тем универсальным Хаосом, который воплощен в образе Воланда. Тот, в ком духовное, нравственное начало не сильно, не может сопротивляться хаосу и движется к безумию (в прямом или переносном смысле лишается головы). Пример Берлиоза здесь особенно показателен, ибо сам Берлиоз — «голова» МАССОЛИТА; его собственная голова, таким образом, — «голова головы». Естественно, что Маргарите «знакомство с Воландом не принесло... никакого психического ущерба» (267): духовное в ней преобладает, хотя Маргарита изображена вполне земной женщиной. Участники же пляски в ресторане «Грибоедова» предстают в состоянии, близком к аффекту, к экстазу шабаша: перед нами мир, стремящийся к хаосу, парадоксально идущий к самоуничтожению.

Следует отметить, что в романе Булгакова подсознательное и бессознательное, выплескиваясь наружу, обуславливают иногда стихийный протест против несправедливости, словно прорывается долго молчавшая человечность; подобным образом «прозревают», например, «девица» из филиала Зрелищной комиссии (156—157) и старичок в магазине Торгина (283). Как бы помимо воли задает Пилат во время допроса Иешуа вопрос об истине, и в голову его непонятно почему лезут мысли «о каком-то долженствующем непременно быть — и с кем?! — бессмертии...» (28). Вспомним, что раскаяние приходит к Пилату во сне, когда сознание его «молчит». Иван Бездомный, перенесший потрясение и аффект, в клинике Стравинского постигает правду насчет своих стихов: «...впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое отвращение к поэзии, и вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то неприятными» (75).

Изображение таких состояний человека, когда его рассудок «отключается» или работает «вполнакала», помогает Булгакову обнаружить истинную сущность характера. Конечно, погружения в хаос не изменяют характер кардинально: они лишь «катализируют», ускоряют медленно идущие процессы — в этом, как отмечалось, состоит основная функция «ведомства Воланда» в человеческом мире романа. Это значит, между прочим, что для автора «Мастера и Маргариты» жива надежда на улучшение «человека вообще». По мнению Воланда, ход времени не оказывает влияния на человеческую природу: «...люди как люди» (103). Но, во-первых, для Воланда, перед лицом вечности, никакого изменение не существенно; а во-вторых, одна и та же «природа» рождает Иуду, Пилата, Левия, Иешуа, Могарыча, Мастера и Маргариту: сама по себе

«природа», оказывается, ни плоха, ни хороша — просто активность человека, направленная как вовне, так и на самого субъекта, в силах превозмочь как холод бесконечности, так и двойственность человеческой «природы», подобно Маргарите, которая, по ее словам, «потеряла свою природу и заменила ее новой» (295).

Возвращаясь к оппозиции «свет—покой», необходимо поставить вопрос: награждены или осуждены в конце концов Мастер с Маргаритой — и за что?

Несмотря на явное сочувствие автора к Мастеру, есть, вероятно, своя логика в утверждении ряда критиков и читателей, которые полагают, что потерявший интерес к жизни и к своему роману Мастер недостоин света и как бы наказан покоем. При этом заметим, что покой — именно то, к чему герой более всего стремился; это, в частности, подтверждается словами Маргариты: «...слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной» (308). Можно еще сказать, что в обыденной речи понятие «покой» вообще-то не связывается однозначно с представлениями о наказаниях. И наконец, покой дан и Маргарите, а уж по отношению к ней ни о каких наказаниях говорить не приходится, ибо это самый светлый образ романа Булгакова.

Нужно, наверное, вспомнить о том, что проблема покоя как наказания или награды возникла еще в романе «Белая гвардия» (чего стоят одни только знаменитые «кремовые шторы»!).

Нам кажется, что для ответа на поставленный вопрос необходимо вначале представить характер Мастера и судьбу его в совокупности, не разрывая биографию героя и роман, им написанный. Видимо, не все исследователи считают такой подход правомерным. Например, О. Солоухина утверждает: «...приговор Мастеру... выносится как результат прочтения его романа, а не на основании оценки его жизненного поведения».<sup>31</sup> Цитировавший в своей статье М. М. Припшина исследователь, таким образом, находит возможным не связывать жизнь персонажа с «творческим поведением» его как художника. А ведь у М. Булгакова эти стороны личности всегда связаны, причем недостатки являются продолжением достоинств.

О. Солоухина замечает: «...личности Мастера, его собственного отношения к событиям не видно в его тексте, он как бы создает копию с натуры. Поэтому и Иешуа у него — просто человек...»<sup>32</sup> Смей думать, что Иешуа — «человек» все-таки не «поэтому»: Мастеру открылась истина, и он зафиксировал ее. И, подчеркнем, выступил здесь как потенциальный *богоборец*: ведь из романа Мастера явно следует, что Евангелие не содержит «правды факта» — стало быть, и вся евангельская концепция мира отрицается. Но соответствует ли собственное мироощущение Мастера той грандиозной задаче, которую он выполнил? Ведь, читая его роман, невольно начинаешь думать, что автор замахивается «перевернуть мир» — и, в общем, находит для этого «точку опоры». В самом деле: тут не просто «копия с натуры» — человеку открылась сущность процессов, происходивших тысячелетия назад! Неоспоримо могущество таланта, и естественно ждать от него дальнейших результатов.

Выше мы говорили, что в этической системе книги М. Булгакова мотивы поступка для оценки субъекта значат обычно больше, нежели результаты. В этом плане очень характерно, что почти полным молчанием обойдены в рассказе Мастера о себе причины и цели написания им романа. Слова Мастера (этот фрагмент дан в форме несобственно-прямой речи — лаконично, в «протокольном» стиле!) звучат так: «Нанял

<sup>31</sup> Солоухина О. Указ. соч., с. 177.

<sup>32</sup> Там же.

у застройщика две комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате» (113). Кажется, единственным мотивом здесь можно считать желание «уйти из современности», обрести иллюзорное существование в ином времени. Логика характера Мастера такому объяснению не противоречит: действительно, он — человек «не от мира сего», абсолютно не знающий (и не желающий знать) окружающей жизни. «Историк по образованию» (113), он не только в своей профессиональной деятельности, но и психологически постоянно стремится в прошлое, «в мир иной».

«И, наконец, настал час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь» (117). Постоянным качеством характера Мастера можно считать его стремление к укромности, незаметности собственного существования для окружающих. Если это и скромность, то **принимающая** уже болезненные формы. Поэтому слова «тайный приют», «подвал», «тайная жена» для этого героя более многозначительны, чем просто биографические реалии.<sup>33</sup> Мастер все время как бы прячется от жизни. Легко можно было бы найти предпосылки этого, вспомнив предыдущее творчество М. Булгакова и задумавшись о социально-психологической обстановке конца 20-х—30-х годов, но в самом романе «Мастер и Маргарита» подобное мироощущение героя никак не мотивировано; остается предположить, что оно присуще Мастеру чисто психологически. (Не в этом ли психофизиологическая предпосылка его будущего психического заболевания?) Герой боязлив и необщителен; друг — вероятно, первый в жизни — у него «завелся» (119) лишь в период тяжелых потрясений, связанных с судьбой романа. Характерно и, в общем, неудивительно, что этим «другом» оказался Алоизий Могаарыч!

Л. Яновская утверждает, что «жестокое одиночество Мастера» — «булгаковская трактовка подвига творчества, Голгофы творчества, как ее понимает автор».<sup>34</sup> «...Смысл творчества, — продолжает Л. Яновская, — все-таки не в успехе, а в чем-то другом. Цель творчества — творчество...»<sup>35</sup> Исследователь, как видим, сосредоточивается на субъективном аспекте деятельности Мастера. Но мы не можем найти подтверждений тому, что у Булгакова душевный «дискомфорт» героя в прошлом (т. е. до написания романа) необходимо был связан с его вдохновенным трудом. О «Голгофе» имело бы смысл говорить, если бы мы представляли цели Мастера, его принципы, и видели бы, что деятельность персонажа направлена на утверждение, реализацию, защиту этих принципов. Но информации об этом Булгаков читателю не дает, и, как нам кажется, не случайно. Создавая роман, Мастер не осознавал своих намерений и не ставил перед собой определенных целей. Поэтому, написав гениальную (бесспорно — учитывая трудность воплощения истины в слове) книгу, он, получается, еще не совершил «подвига».

Очень важно, что роман Мастера получился именно *«хроникой»* — это ставит Мастера на порядок выше, скажем, Левия Матвея, но это же самое заставляет задуматься о личности бывшего историка. Хроника лишена оценочной позиции: Мастер никого не стремится вознести или осудить. Пытаясь показать талантливость героя, О. Солоухина подчеркивает: «Роман Мастера существует „помимо рукописи“ в силу своей верности образу — то есть жизни».<sup>36</sup> Совершенно верно, но заметим: как комплимент это звучит весьма двусмысленно. Очень трудно создать

<sup>33</sup> Мы совершенно сознательно оставляем здесь в стороне автобиографический элемент в романе Булгакова.

<sup>34</sup> Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983, с. 304.

<sup>35</sup> Там же, с. 305.

<sup>36</sup> Солоухина О. Указ. соч., с. 177.

копию жизни — но стоит ли результат труда? Мы уже подчеркивали, что Воланд как бы цитирует текст, написанный Мастером. Опять-таки: похвала это или осуждение в адрес последнего? Видимо, то и другое. Воланд излагает *факты*. Но мы имели случай заметить: между фактом и «правдой» у Булгакова есть довольно существенная разница. Исказив факты и создав миф, Левий Матвей, слепо верящий в свою правоту, принес в мир «правду», ставшую на столетия «руководством к действию». Парадоксально, но роман Мастера *слишком фактичен*, «слишком хорош», чтобы стать «новой правдой» (новым мифом?): в этом его достоинство и недостаток одновременно.

То, чего не хватало роману и его автору, было сделано у Булгакова Маргаритой: именно она «извлекла» из книги Мастера этическую программу — сделала это в соответствии со своим пониманием, может быть, отчасти навязала что-то, но в данном случае прощительно все, ибо Маргарита защитила, утвердила свои принципы своей жизнью. Вспомним, как Мастер, рассказывая Ивану Бездомному о Маргарите, «шепотом вскрикивал, что он ее, которая толкала его на борьбу, ничуть не винит, о нет, не винит!» (118). Дав своему возлюбленному имя «Мастер», Маргарита тем самым как бы потребовала от него привести его миропонимание и поступки в соответствие с новой «моделью поведения», ибо быть Мастером — значит занять конкретную моральную позицию, причем позицию «борца», хотя бы за собственный роман. А Мастер, как известно, отказался от своего детища, давая повод быть обвиненным в отступничестве.

И только одно — очень важное — обстоятельство не дает нам права для подобных обвинений. С первого и до последнего момента своего пребывания на страницах романа (мы имеем в виду «земное» существование) Мастер не может полностью контролировать свою психику. Трудно назвать его безумным, но и полностью здоровым считать нельзя. Не выдержала здесь сама человеческая «природа», весьма хрупкая у людей, подобных Мастеру. «... Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал... Он мне ненавистен, этот роман» (236), — говорит он.

Мастер, так сказать, «неподсуден». Вернее, подлежит оценке *не с позиций справедливости, а с позиций милосердия*. И в чем бы ни был виноват герой «по справедливости», ничто уже не может быть в полной мере поставлено ему в вину.

Интересно брошенное вскользь предложение Воланда начать писать новый роман: «...если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия» (237). В контексте наших предыдущих рассуждений роман об Алоизии (значит, и о Иуде тоже?) стал бы дальнейшим шагом в исследовании глубин мирового зла. Но Мастер отказывается: «...неинтересно». А кроме того, взявшись писать о Могарыче, Мастер начал бы писать о настоящем, о современности (как в свое время Левий), а о настоящем безоценочно писать нельзя. Писать об Алоизии значило бы Мастеру самому стать героем своего нового романа, оценить не только Могарыча, но и себя самого. Для этого нужно, конечно, занимать в жизни более определенную позицию, чем та, которую теперь способен занимать Мастер.

Стремясь оборвать связи с миром, ища покоя, надеясь доживать век в арбатском подвале, герой М. Булгакова готов и на то, что Маргарита «образумится, уйдет» от него (237). Не будь сознание Мастера помрачено, мы сказали бы, что он эгоистически жертвует своей возлюбленной; при этом, по существу, все самоотвержение, вся любовь Маргариты оказываются ненужными и напрасными. «Я умоляю тебя, — жалобно попросила Маргарита, — не говори так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу» (236).

Поэтому выход, найденный Воландом по просьбе Иешуа, выглядит как максимально справедливый компромисс между «отступничеством» Мастера и подвигом Маргариты. На земле такой выход невозможен, и потому герои будут убиты. Покой — атрибут движения, и дать его может лишь Воланд, т. е. остановить время, дать «вечный приют», отнять память и — в известном смысле — предать забвению. Именно поэтому вскоре после расставания с Воландом «память Мастера, беспокойная, исколотая иглами памяти стала потухать» (309). Естественно, «вечный приют» связан с возвышенным, романтическим прошлым, куда Мастер так стремился при жизни и где Маргарита сможет не страдать, ибо не будет страдать он. Сама идея «мастера», не защищенная в полной мере жизненной практикой героя, не будет, однако, и дискредитирована.

Мы не можем согласиться с тенденцией навязать роману М. Булгакова сентиментальный пафос и тем самым снять с главного героя значительную долю ответственности. К этому, видимо, призывает О. Солоухина, утверждая: «Булгаков образами смиренных безумцев возвращается к гуманистическому пафосу русской литературы, подтверждает право „маленького человека“ на понимание и покой...»<sup>37</sup> Думается, автору «Мастера и Маргариты» ближе героический пафос. А что касается «маленького человека», то проблема эта для Булгакова весьма актуальна, но в решении ее он ближе не к Гоголю, а к Достоевскому и Чехову. Блистательна скрытая ироничность Геллы, которая сообщает о приходе буфетчика Сокова: «Рыцарь, тут явился маленький человек...» (166), — ибо включает все богатство смыслов, обретенных словами «маленький человек» в истории языка и русской культуры. Что же касается людей незаметных, но честно выполняющих свой долг, то автор, видимо, вовсе не склонен умиляться их «малостью» и рисует их с симпатией: таковы фельдшерца Прасковья Федоровна из клиники Стравинского или бухгалтер Варвара Василий Степанович Ласточкин.

Зато стремление человека «умалить» себя самого, действовать ниже своих способностей и возможностей вызывают в романе критику и насмешку — так же, как гордыня и преувеличение собственных сил. Поэтому и осведомляется Воланд: «Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал, в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать?» (237). И вторит ему Азазелло: «... вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером, ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!» (299). Иными словами, желание покоя простиительно Мастеру, но вряд ли идея покоя лежит в основе авторского идеала «Мастера и Маргариты».

Следует заметить, что в более ранних вариантах романа неоднозначность понятия «покой» была смещена Булгаковым в сторону его отрицания.<sup>38</sup> Поэтому несколько односторонним кажется утверждение Л. Яновской: «Мастер получает у своего автора награду, а не упрек».<sup>39</sup> Точнее будет сказать, что покой — это амбивалентная «награда». В свое время мы отмечали неясность того, награжден или осужден был рыцарь, ставший Коровьевым—Фаготом. Так же двойствен, хотя опять-таки в высшей степени справедлив по-человечески финал судеб Мастера и Маргариты. Но образ будущего в романе связан все же не с этими героями. А вопрос о будущем человечества необходимо должен быть поставлен, ибо, как мы пытались показать в начале работы, Булгаковым создан образ бесконечного мира.

<sup>37</sup> Там же, с. 181.

<sup>38</sup> Вопросы литературы, 1976, № 1, с. 242—243.

<sup>39</sup> Яновская Л. Указ. соч., с. 311.

Поэтому закономерным и символичным выглядит появление на последних страницах романа «рыжеватого, зеленоглазого» (315) профессора-историка Ивана Николаевича Понырева. Очевидно, образ исторической науки как символа «связи времен» являлся для автора важнейшим, если учитывать, что в «Мастере и Маргарите» речь идет о разрушении двухтысячелетнего мифа и о необходимости в связи с этим для человека по-новому строить свои взаимоотношения с миром.

Г. Лесскис, предлагавший достаточно пессимистическую интерпретацию «Мастера и Маргариты» и видевший в истории человечества у Булгакова модель ухода от вечной истины, утверждал: «...как Мастер оказался духовно слабее Иешуа, так и ученик Мастера — слабее ученика Иешуа. Он не написал „о нем (т. е. об Иешуа) продолжение“, как завещал ему Мастер, напротив, он „вылечился“... и только раз в год... ему чудесным образом открывается часть истины Мастера».<sup>40</sup>

Разумеется, Иван Николаевич Понырев не столь темпераментен, как Левий Матвей. Но это, так сказать, внешне. А в чем состоит более существенный общий критерий для их оценки? Думается, если оба они «ученики», то во главу угла должны быть поставлены учения, ими наследуемые. О сравнительной ценности «учений» Иешуа, Левия и Мастера у нас было время сказать. Добавим, что Левий в качестве ученика критикуется не только Воладом, но и Пилатом, который говорил: «Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил... Ты жесток, а тот жестоким не был» (266). Что же касается Ивана, то совет или просьбу Мастера «написать продолжение» Г. Лесскис понимает как «продолжение об Иешуа»: из контекста же этого вовсе не следует. Поскольку сам Мастер называл свою книгу романом о Понтии Пилате, гораздо логичнее предположить, что «он» (301) в реплике Мастера — именно *Пилат*, который две тысячи лет просидел в горах и «более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу» (307). Видимо, история возникновения этой «славы» и должна была бы стать продолжением романа Мастера: речь в нем пошла бы не о боге, а о людях, «создавших бога», о раскаянии Пилата. Иван становится историком, продолжив таким образом дело Мастера — но не как писателя, а как ученого: впрочем, мы подчеркивали, что «стиль» Мастера как бы сочетал научный и художественный подходы. Во всяком случае, нет оснований утверждать, что здесь «ученик», подобно Левию, искажил завещанные ему идеи.

Плодотворным представляется указание на связь образа Ивана Бездомного с фольклорной традицией: эти идеи развивает О. Солоухина. Однако слишком прямолинейно звучит мысль о том, что «Иванушка, побыв юродивым, Иванушкой-дураком, приник к народным корням, народной культуре, древним представлениям, к тому Дому и Роду, от которого он отрекался».<sup>41</sup> Будучи «Бездомным», Иван, по-видимому, ни от чего еще не отрекался: скорее, не сумел еще ничего приобрести — ни «Рода», ни «Дома». Что же касается «народной культуры», то понятие это национально-конкретно, а в нашем случае речь должна идти, скорее, об «общечеловеческих» ценностях. Да и «приник» Иван не к духовной культуре, а к самой Истории, к прошлому: ощутил его как настоящее, вслед за Мастером и Воладом, преодолел Время, стремясь духовно охватить мир в его целостности.

Показав в романе взаимодействие Универсума с человеческим Духом, Булгаков завершает книгу образом ученого, пребывающего в ситуации борьбы в нем сознательного и подсознательного — «ложной» гармонии (наличная реальность) и «истинной» дисгармонии (интуитивно

<sup>40</sup> Лесскис Г. А. Указ. соч., с. 59.

<sup>41</sup> Солоухина О. Указ. соч., с. 176.

ощущаемая бесконечность). Именно в мучительный для него период весеннего полнолуния, скитаясь под ночным небом (вновь мотив «бездомности!»), профессор Понырев старается вспомнить нечто забытое, как бы преодолеть пространственно-временную замкнутость окружающего мира. Из «Эпилога» следует, что приступы безумия оказывают на Ивана Николаевича разрушающее, но и стимулирующее воздействие, являясь, так сказать, залогом духовной жизни. В финальных эпизодах романа отражен вечный путь человечества в познании истины — путь, сочетающий память и мечту.

Подведем самые общие итоги.

В своем романе Булгаков художественными средствами ставит проблему постижения человечеством Универсума и самого себя. Истина о мире не сказана; ее поиск — бесконечный процесс. Процесс этот имеет «ступенчатый» характер: предыдущая эпоха «снимается» последующей, но самостоятельного значения не теряет, поскольку лишь совокупный духовный опыт человечества обогащает потомков. Модель «приближения» к Истине у Булгакова выглядит не как возвращение к «потерянному раю», а как расширение связей человека с миром, частью которого он является. Только такое движение «вперед» обеспечивает и адекватное постижение прошлого опыта. Развитие духовной культуры представлено в романе как появление новых принципов отношения человека к миру и другим людям. Первый из таких памятников этико-философской мысли — Евангелие, образ которого присутствует у Булгакова, второй — роман Мастера. Актуализация морально-философской проблематики для человека в художественной системе романа подчеркнута появлением Воланда как олицетворенной сущности мира.

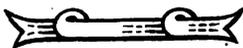
Человек постигает мир, сам для себя выстраивая исторически обусловленный «абсолют» — Идеал. Важнейшая моральная проблема — отношение человека и Идеала. Преодоление страха и слабости во имя любви, творчества, веры приводит к победе над хаосом. При этом человек становится вровень с судьбой — ему подчиняется даже случай, и Воланд выглядит лишь как исполнитель. Духовный полет человека побеждает даже время и пространство. В художественном мире романа такая победа, с одной стороны, — иллюзия, ибо наличие Воланда «гарантирует» вечность времени и непреодолимость его для человека. Заметим, однако, что сам Булгаков как автор романа образом «вездесущего» Воланда, который он создал, как бы снял проблему времени/пространства. Недаром через весь роман проходит идея полета. «Калейдоскопична» география событий: «перелеты» с одного места на другое совершаются самим повествователем часто и всегда фиксируются. Сама интонация повествователя: «...довольно, ты отвлекаешься, читатель! За мной!» (50); «За мной, мой читатель, и только за мной...» (176), — вызывает зрительный образ легкой, «летающей», походки.

По-видимому, сознание неостановимости времени лежит и в основе надежды — оптимистического взгляда на мир, зафиксированного в романе Булгакова. «...Вообще не бывает так, чтобы все стало, как было» (233), — говорит Мастер. В его устах эти слова звучат ностальгически, но в целом идущее время — благо. Это особенно понятно, если вспомнить об обстоятельствах личной судьбы писателя и его надеждах на будущее, в котором, как он понимал, его самого не будет.

Роман пронизан пафосом вечного движения и постижения человеком бесконечности. В связи с этим укажем, что эпиграф из «Фауста» Гете, частью которого мы озаглавили работу, традиционно толкуемый в связи с образом Воланда, должен быть отнесен прежде всего к булгаковскому Человеку. Разумеется, Воланд, как «основа», живет в человеческом мире, но только в этом последнем возможны представления

о добре и зле. «Сила, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» (40), — это человечество, идущее своей трудной дорогой. «Частью» этой силы, в принципе, может быть назван любой из людей, поскольку в целом она сочетает самые разные — в том числе диаметрально противоположные — тенденции.

Само существование человечества, бесконечность его пути обуславливают оптимизм автора «Мастера и Маргариты», хотя и нет оснований делать вывод о возможности с его точки зрения царства «абсолютного добра» на земле. Кроме того, движение к этому идеальному «царству» не совершается автоматически. Сам по себе мир ни хорош, ни плох, равно как и человеческая «природа». Лишь вера, любовь и творчество делают мир лучше. Лишь терпение и мужество приносят в романе «Мастер и Маргарита» бессмертие тем, «кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз» (304).



## О ПСИХОЛОГИЗМЕ И ТВОРЧЕСТВЕ ЮРИЯ ТРИФОНОВА

«Отломился целый литературный континент», — сказал Ю. Бондарев, провожая 1 апреля 1981 года Юрия Трифонова в последний путь. «Сейчас невозможно отдать себе отчет в величине этой потери, в ее значении, — писал в прощальной статье С. Залыгин, — но первое ощущение такое, будто в литературе не только что-то приостановилось, но и отброшено назад».<sup>1</sup> Он же сказал, что Трифонов был не просто писателем, а «литературным явлением, обозначаемым этим именем: Юрий Трифонов». «У многих своих читателей Трифонов изменил их представление обо всем том, что они обозначали словом „быт“. В то время как под бытом у нас часто понималось одно лишь мещанство, вообще нечто приземленное, а отсюда и бытописание полагалось занятием второстепенным, Трифонов сумел показать нам быт не только как повседневность, не только как психологию, но и как философию, почти всегда связанную с историей, опять-таки с историей и личности и с историей вообще».

Среди писателей, вступивших в литературу вскоре после войны, у Трифонова было редкостно счастливое начало. Первое же произведение — повесть «Студенты» (1950) — принесло ему известность и было удостоено Сталинской премии по предложению Александра Твардовского. А затем наступила длительная творческая заминка. Трифонов начал работу над большим романом о строительстве Туркменского канала, но материал долго не давался в руки, дело стопорилось. Сам писатель впоследствии с обезоруживающей откровенностью объяснил причину этой паузы, отвечая на вопрос С. Таска: «Как же все-таки меняется взгляд писателя Юрия Трифонова на мир после „Студентов“?». Он сказал: «Первая моя книга во многом недостоверна. И недаром после этого у меня наступил длительный спад. Я чувствовал, что должен писать иначе, „не выжимая успех“. А ведь успех был, его можно было эксплуатировать. Написать еще одну книгу в этом плане — „Аспиранты“, скажем. Но я понимал, что это неправильный путь. Мне захотелось уехать подальше от Москвы, взять какой-то новый материал. Так я поехал на одну из строек по заданию „Нового мира“. Основной материал — из него потом вырос роман „Утоление жажды“ — уже был собран, когда строительство неожиданно свернули... Через какое-то время у меня произошел разговор с Твардовским, тогдашним главным редактором „Нового мира“. Разговор вышел конфликтным. Когда я сказал Александру Трифоновичу, что уже много написал, но вот стройку законсервировали и что, мол, я еще раз хотел бы поехать от редакции в те края, чтобы собрать другой материал, Твардовский довольно резко мне ответил: „Ну и что ж, что законсервировали! Вот об этом и надо было написать“.

— Он как бы требовал от вас правды...

— Да, пожалуй. И это было правильно. Он поправил мой вывих. Я понял, что писать надо правду, то, что видишь. Так я и поступал во

<sup>1</sup> Лит. газ., 1981, 1 апр., № 14.

всех моих последующих книгах о Москве, о городской жизни, о том, что было мне по-настоящему близко и знакомо».<sup>2</sup>

Написанная Трифоновым в недели простоя пьеса о художниках, вероятно, по той же причине тоже не задалась.

Все же увидевший свет в 1962 году «туркменский роман» «Утоление жажды» вызвал много откликов в печати, подтвердил талантливость автора, но оказался и критикам, и читателям слишком традиционным. Так что настоящее признание писателю принесли последующие шесть повестей: «Обмен» (1969), «Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971), «Другая жизнь» (1975), «Дом на набережной» (1976) и «Старик» (1978). На этом этапе своими литературными наставниками Трифонов избрал Достоевского и Чехова. Материал, положенный в основу повестей, соприкасается своими корнями с теми слоями жизни, которые, казалось бы, окаменели в глубинах истории и вряд ли способны воздействовать на наше бытие или хотя бы на современный быт. Не боясь самых масштабных сравнений, Э. Проффер, автор предисловия к вышедшим в 1978 году в Нью-Йорке трем повестям Юрия Трифонова, писала: «Как Бальзака, Трифонова привлекает специфика быта: его герои так прочно впечатаны в свою социальную среду, что трудно представить их одних как индивидуумов без их родственников, друзей и сослуживцев».

Из только что названных повестей Трифонова первые четыре появились одна за другой на страницах журнала «Новый мир», сделав имя автора широко известным и за пределами нашей страны. Две другие, опубликованные журналом «Дружба народов», вызвали острейшую полемику в читательских кругах и самые фантастические предположения на страницах несоциалистической прессы. Ознакомившись с повестями Трифонова, западногерманский переводчик советской литературы на немецкий язык Александр Кемпфе высказал предположение: «Мне кажется, будет очень любопытно, а вместе с тем и довольно противно наблюдать, как буржуазная пресса прицепится к Трифонову». Слова эти оказались пророческими. Некоторые буржуазные газеты попытались представить произведения Трифонова как якобы направленные против самих основ социалистического общества и напечатанные лишь по недосмотру цензуры, другие, наоборот, высказывались против их издания, поскольку они «разрешены Москвой». «В борьбе с системой» — озаглавил статью о пьесе «Обмен» и повести «Дом на набережной» в «Washington Post» Питер Оснос (июнь 1976). Он развивал идею: «Не диссидент, а подвергает критике саму систему». «Трифонов никогда не был диссидентом, — почти с горечью писал Рене Дроммерт из западногерманской газеты «Zeit» (1981, 3 апреля), — но и не приспособливался лицемерно ко вкусам и мнениям начальства. Он действовал на зыбкой „ничейной земле“. Его беспристрастность была кажущейся, на самом деле за ней стояли непоколебимые нравственные принципы писателя. Трифонов был мастером намека и глубокого подтекста, он умел великолепно создавать атмосферу времени. Своих читателей он приучал к искусству, которое высоко ценил Ницше, — к искусству читать между строк». Этим не захотели довольствоваться ни Генрих Бёлль, ни Джон Апдайк. Они искали в повестях Трифонова направленности «против основ». Джон Апдайк выступил в еженедельнике «New Yorker» (1978, 11 ноября) с обширной статьей, изобилующей чудовищно торопливыми заключениями, которые нельзя назвать даже заблуждениями по невежеству. «Московские повести» — для него — рассказывают о «коммунистической буржуазии», страдающей от «советской тирании», и доказы-

<sup>2</sup> Лит. Россия, 1981, 17 апр., № 16.

<sup>3</sup> Русская литература, № 2, 1988 г.

вают, что коммунистическое влияние оказалось бессильным перед исконным животным началом в людях. «Типичный герой Трифонова считает себя неудачником, и окружающее общество не разубеждает его в этом. Это коммунистическое общество дает о себе знать узми правил и взаимозависимости, допуская маневренность в определенных ограниченных пределах, сказывается „стеснением в груди“ и „невыносимым тревожным зудом“... Но внутри этих рамок идет жизнь столь же индивидуалистическая и предприимчивая, как ваша и моя, и только упомянутые вскользь детали — „одна горбатенькая старушка с совсем подслеповатым древним личиком, про которую мать говорила когда-то, что она отчаянная революционерка, террористка, бросала в кого-то бомбу“, или изучение движения народовольцев 1879 года, — призваны напоминать героям о революционных деяниях и идеалах, под сенью которых они либо преуспевают, либо терпят поражение. Герои и героини Трифонова черпают мужество не в официально провозглашенной надежде, а в звериной живучести человека». Чтобы показать хоть немного убедительным, Апдайк выдвинул в центр своей статьи Лену из «Обмена», переводчика Геннадия из «Предварительных итогов» (состоящих, как он выразился, «главным образом из возвратов к прошлому»), «мнимого героя» Смолянова, превращающегося в «жалкого негодяя», и «несчастливого мечтателя» Реброва, становящегося «торжествующим соблазнителем» и «преуспевающим сценаристом» («Долгое прощание»). Это позволяет ему прибегнуть к следующей параллели: «Продвижение по службе и цена успеха — главная тема Трифонова, и его интерес к определенным нравственным проблемам напоминает нам о теме „человека в сером фланелевом костюме“ в американской литературе 50-х годов с ее несовместимостью работы, семьи, безрадостным выбором между жалким успехом и еще более жалким поражением». С «легкостью в мыслях необыкновенной» Апдайк проводит и другую параллель — уже между творчеством Трифонова и русской классической литературой XIX века, утверждая, что советского писателя в этом плане сближает с его предшественниками «необыкновенно гибкое, открытое отношение к человеческой природе, порождающей неожиданные поступки, которые воспринимаешь как неизбежные» (следуют ссылки на романы Льва Толстого, на «несомненную истину, ясно выраженную в русском понимании человеческой природы: „Я царь, я раб, я червь, я бог“», на «идею Достоевского, высказанную в „Бесах“, что „человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья“»). Столь примитивное представление Апдайка о русском и позволило ему уравнивать все русское с «терпением в несчастье, восхищением перед крайностями и благоговейным отношением к тайнствам страстей», олицетворить их в образах названных героев Трифонова и... противопоставить всей социалистической системе, несмотря на то что сам же он в начале статьи утверждал, что три повести, о которых он будет говорить, представляют «отчетливую и унылую картину жизни» лишь одной, определенной части общества — «профессиональной интеллигенции», и даже не всей ее, а тех слоев, что в США «называют верхушкой среднего класса».

Останавливаясь на статье Апдайка так подробно потому, что в ней спрессованы все расхожие идеи буржуазной прессы о творчестве Трифонова последнего периода.

И тут же оговорюсь: не только буржуазные газеты усиленно эксплуатировали в связи с Трифоновым формулу: «не диссидент, но...». В статье от 22 декабря 1977 года о повести «Дом на набережной» сотрудник «Unita» Джованна Спендель, правильно утверждая, что мещанство бичевали в советской литературе и М. Зощенко, и М. Булгаков, и Ю. Олеся, и В. Катаев, отличие от них Трифонова усматривает в том, что последний «выступает как суровый обвинитель и его произведения

проникнуты глубокой горечью», причем «главный удар ныне наносится по самим механизмам жизнедеятельности советского общества», «на скамье подсудимых оказываются не отдельные личности, а определенный образ жизни». Причину необычного успеха повестей Трифонова итальянский критик ищет также в том, что будто бы советский читатель устал от положительных героев, какими они *должны быть*, ощутив «почти физическую потребность увидеть свое отражение в зеркале литературы, увидеть картину повседневного быта. В этом тонкий секрет и болезненное очарование произведений Трифонова: искренность, с которой без всяких обиняков признается существование пошлости в человеческом бытии». Как будто существование ее, и в самых страшных формах, не признавалось М. Шолоховым, Л. Леоновым, не говоря о менее крупных советских писателях.

Споры о «Московских повестях» Юрия Трифонова сильно осложнились тем, что зарубежные критики, давно воспринявшие разделение наших писателей на две группы — деревенскую и городскую (сразу скажу, совершенно несостоятельное с научной точки зрения), отнесли Трифонова, наряду с Д. Граниным, А. Беком, З. Богуславской, к «урбанистам» и прямолинейно противопоставляли это «течение» И. Мележу, М. Стельмаху, В. Астафьеву, В. Белову, В. Солоухину, В. Шукшину, Е. Носову, В. Распутину, будто бы исповедующим неославянофильство, как утверждали многие участники дискуссии о советской литературе, проведенной в 1975 году на страницах французского журнала «La Nouvelle critique» (№ 81, 84). Неудивительно, что, даже по признанию сторонников подобного противопоставления, Трифонов и писатели этого ряда от такого соседства проигрывали. «Обличив» литературу «деревенщиков» и переходя к произведениям «урбанистов», участник дискуссии К. Фриу замечал: «Эта литература, возможно, и не обладает силой, аналогичной той, о которой мы только что говорили, однако она оказывает столь же зрелой перед лицом демонов схематизации. Она стремится изобразить подвижность конкретного факта и обладает острым чувством двусмысленности человеческих ситуаций и антигероизма». Другой участник дискуссии, А. Берелович, предложив определение «новая городская проза, или проза повседневности», утверждал: «Это течение чрезвычайно интересно тем, что оно дает представление о новой социальной сфере, пока еще не получившей отражения в литературе: о современном городе. Читатели находят в этой литературе картину своей повседневной жизни, в которой есть все элементы, из которых складывались прежние типы романов, но здесь они представлены по-новому: опять завод, частная жизнь — например, в „Сладкой женщине“ Велембовской, — но все как бы повернуто другой стороной. Прежде мы тоже встречались с проблемами любви и с профессиональными проблемами, но здесь они представлены гораздо более правильным образом, лишены прежнего романтического ореола. Эта литература также стремится показать механизм происходящего без громких фраз, без пафоса. Человек может быть добросовестен в работе, но это еще ничего не решает — такова проблематика повести Гранина „Дождь в чужом городе“. Герой — хороший инженер, он находит замечательные технические решения, а в личной жизни оказывается человеком „не слишком порядочным“. Гранин не осуждает его во имя великих принципов, не делает из него подлеца. Он констатирует».

Ниже мы еще вернемся к вопросу о том, действительно ли в произведениях подобного рода старые проблемы представлены более правильным образом. Сейчас же заметим, что именно так участники дискуссии в «La Nouvelle critique» истолковывали и «Московские повести» Ю. Трифонова. Они не были оригинальны в своих утверждениях. За много лет до дискуссии, развернувшейся на страницах «La Nouvelle critique», уже

утверждалось, что эта линия в советской литературе возникла как результат «художественного сопротивления гипотетической прозе» и что начало ей положено повестью Виталия Семина «Семеро в одном доме» (1965).

Категория «городской прозы» была безоговорочно воспринята американскими критиками и литературоведами. Обширную статью «Городская тема в последних произведениях русской советской прозы» профессор Джордж Гибан начал с утверждения, что деревенская проза заполонила советскую литературу и не позволяет по-настоящему увидеть, что город тоже не оставлен вниманием советских писателей, показывается ими «многолико и всегда отрицательно». Если деревенская проза, утверждал автор, представляет собой развитие некоторых великих русских традиций, особенно той из них, что была утверждена «Записками охотника» Тургенева, произведениями Бунина, Пришвина, то «городские писатели» развивают традиции Достоевского—Толстого—Чехова. Из «городских писателей» он особо выделял Трифонова, заявляя: «В отличие от многих советских авторов Юрий Трифонов не избегает и не упрощает насущных проблем нашего времени. Напротив, он полностью убеждает нас в том, что обладает самым близким знанием мелочей жизни и быта современных советских людей и главных моральных проблем — грехов действия и бездействия, в которые впадают многие представители средних и высших слоев городской социальной пирамиды; можно сделать ему комплимент и назвать его сегодняшним русским советским Генри Джеймсом...»<sup>3</sup>

Констатируя возрастающий интерес ряда советских писателей к внутренней жизни главного героя, к анализу его чувств, воображения и сознания, так же как и его отношения к окружающей среде и другим людям, адъюнкт-профессор русского языка и литературы в университете Джорджа Вашингтона (США) Нэдин Натова в статье «Повседневность и психология индивидуума в русской советской прозе 70-х годов» тоже писала, что, имея это в виду, «можно говорить о возрождении психологической прозы в современной советской литературе».<sup>4</sup> Однако из многочисленных произведений она оставила в стороне творчество Г. Кополова, А. Ананьева, В. Распутина, взяв для анализа лишь произведения, в которых внимание переносится с общественных проблем на семейную жизнь, бытовые заботы, «сущность человеческих характеров проверяется повседневностью»: «Дождь в чужом городе» Д. Гранина, «Пустошель» С. Крутилина, «Южно-американский вариант» С. Залыгина, «Неделя как неделя» Н. Баранской, «Никто никогда» Н. Давыдовой, «Сладкая женщина» И. Велембовской, «Сладок твой мед» Г. Семенова, «Московские повести» Ю. Трифонова. В них, по утверждению Н. Натовой, возрождается в советских условиях тема «русского человека на рандеву», личные интересы у многих главных героев преобладают над социальными и профессиональными; люди, как правило эгоистичные, стремятся к достижению личного благополучия любой ценой, что почти всегда кончается крушением иллюзорного счастья, героини, часто имеющие все, «чего могли только пожелать героини XIX века, в их числе Вера Павловна из известного романа Чернышевского», не испытывают тем не менее подлинного счастья. Мужчины же выступают нередко как люди слабовольные, не способные принести своим подругам истинное счастье.

Локальное, выборочное и одновременно несколько абсолютизированное изображение «быта» и «бытовщины» в названных повестях И. Велембовской, С. Крутилина, Д. Гранина и подход только с этой стороны

<sup>3</sup> Slavic Review, vol. 37, № 1, March 1978.

<sup>4</sup> The Russian Review, vol. 33, № 4, October 1974.

к «Московским повестям» Ю. Трифонова обусловили многозначительное, но в самой основе своей несостоятельное обобщение, предложенное Норманом Шнайманом в статье о советской литературе 70-х годов: «...обсуждение моральных основ советского общества стало одной из главных забот текущей советской литературы... Из этой литературы можно увидеть, что чем выше поднимается жизненный уровень советских людей, тем менее разборчивыми делаются люди в средствах, посредством которых они достигают своих эгоистических целей... Очевидно, что, несмотря на огромные достижения Советского государства в области индустриализации и образования, партии не удалось изменить сам дух человеческий. Возможно, в этом и состоит основной, самый важный смысл современной советской литературы».<sup>5</sup>

Вот как далеко зашел в своих обобщениях канадский профессор только потому, что принял часть, и далеко не самую главную, за целое, пройдя мимо таких характеров, как Танабай из повести «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова, Михаил Пряслин из тетралогии Ф. Абрамова, Апейка из «Полесской хроники» И. Мележа, Захар Дерюгин из дилогии П. Проскурина, Иван Савельев из «Вечного зова» А. Иванова... Впрочем, творчество и упомянутых канадским ученым писателей не подтверждает его выводов, едва будут названы «Липяги» С. Крутилина или «Искатели» и роман «Иду на грозу» Д. Гранина... Что касается творчества Ю. Трифонова, то к анализу его мы и переходим.

Надин Натова пишет: «В повестях Трифонова „Обмен“, „Предварительные итоги“ и „Долгое прощание“ у героев есть острое ощущение того, что характер жизни преходящ и нестабилен, и в настоящее время они подвергают себя и свой образ жизни тщательному анализу, в чем-то заставляющему вспоминать о классической русской психологической прозе XIX века... Повести Трифонова, как и рассказы Чехова, убедительно раскрывают трагедию хороших, но слабовольных людей, которые неспособны противостоять мелочам жизни и под давлением обстоятельств отказываются от своих моральных ценностей, от своих идеалов под натиском людей, „умеющих жить“».<sup>6</sup> Так думает не одна Надин Натова. Наиболее распространенный в европейской и американской буржуазной прессе взгляд на «Московские повести» Трифонова, как мне кажется, лучше других сформулировала швейцарская газета, когда писала: «Русский прозаик Ю. Трифонов относится к тем немногочисленным советским писателям, которые, находясь вне лагеря оппозиции, сумели тем не менее сохранить свою внутреннюю независимость. Представитель интеллектуальной прозы, в противоположность так называемым деревенским прозаикам, он не бежит от советской повседневности ни в идиллию, ни в конформистскую, поддерживающую установившийся порядок беллетристику. Напротив, с чувствительностью сейсмографа он регистрирует явления современной действительности, окружающего его мира. В «Московских повестях» Трифонов исследует людей и встающие перед ними проблемы методом психологического реализма, который очень далек от „социалистического реализма“, но тем более отвечает характеру познаваемой им реальности. Эта, идущая от Чехова, школа проникновения в жизнь приносит свои плоды в повести „Другая жизнь“... Писателя отличает не только тонкий анализ состояния души; он изображает с большой точностью и беспощадностью банальность средних слоев московских художников и интеллигентов...»<sup>7</sup>

Все другие отзывы и толкования мне кажутся лишь крайностями в ту или другую сторону, не исключая и статьи Г. Бёлля «Не братство,

<sup>5</sup> Canadian Slavonic Papers, vol. XX, № 1, 1978.

<sup>6</sup> The Russian Review, 1974, vol. 33, № 4.

<sup>7</sup> Neue Züricher Zeitung, 1977, 25.1.

не солидарность, а любовь к ближнему», посвященной анализу повести «Предварительные итоги». «Трифонов вновь подтверждает, — по мнению западногерманского писателя, — то, о чем посвященные уже давно догадывались: Советский Союз тоже населен этими странными существами, которые по привычному самомнению воображают себя „людьми“». Приходится даже считаться и с тем, что там есть коммунисты, хотя никто из персонажей, изображенных Трифоновым в его повести „Предварительные итоги“, не соответствует нашим представлениям об этом сорте людей».<sup>8</sup> Когда Трифонов отправился в Лоуренс (Канзас, США) для чтения лекций, газета «New York Times» встретила его статьей К. Уинги «Русский писатель, не диссидент, но критик общества» (1977, 23 окт.). Профессор В. Данхэм писала в связи с повестью «Долгое прощание»: «Решительно воздерживаясь от дидактики, от решений социальных проблем, от обобщения и особенно от приукрашивания действительности, Трифонов выступает как бытописатель, вооруженный чудесной сеткой, которой он ловит, как бабочек, многозначительные детали».<sup>9</sup> В цитированной выше статье Г. Бёльль пытается обратить такого рода детали против социалистического строя, с чем, кажется, не согласится ни один внимательный читатель «Московских повестей». Уязвима сама идея уравнивать социальные слои, изображаемые Ю. Трифоновым, с социалистической системой в целом. Профессор Нина Колесникова из Макмайстерского университета (Канада) не без основания во всех произведениях Трифонова, написанных в последний период, центральный конфликт определяет как «борьбу ценностей в сознании героя». Она же считает, что «Трифонов смотрит на своих героев скорее изнутри, чем снаружи», «отказывается выносить им открытый приговор, а просто изображает героев, какие они есть, предоставляя самому читателю делать выводы». Кажется, это самое объективное из всего, что написано о Трифонове за рубежами нашей страны, хотя, конечно, в работе Нины Колесниковой немало и спорных положений, например: «Достоинство повестей Трифонова в том, что они показывают сложность человеческой натуры, не разделяя людей на хороших или плохих, альтруистов или эгоистов, умных или глупых».<sup>10</sup> По мнению Иштвана Винтермантеля из Венгрии, в «Московских повестях» Трифонов показывает «малопривлекательные, маломасштабные фигуры и явления, омещанившуюся прослойку интеллигенции, погрязшую в повседневном быту».<sup>11</sup> Венгерский критик полагает, что писатель не дает искаженного представления о действительности, но и не осмысляет ее глубоко: перед нами лишь «зеркальное отражение, не более того». Так ли это?

Обычно, если не считать статьи Б. Панкина, о которой будет речь ниже, в советской, да и в зарубежной критике названные выше шесть повестей Трифонова не объединяются. Первые четыре у нас чаще всего рассматриваются как антимеркантистские (см. статьи о них В. Дудинцева, А. Бочарова, В. Сахарова, М. Синельникова), направленные против духовного меркантилизма в его современных модификациях.<sup>12</sup> «Произведения Ю. Трифонова, — говорится в учебном пособии для студентов, — посвящены в основном изображению современных форм „интеллигентного“ меркантилизма, их социально-психологическому исследованию».<sup>13</sup> «В замкнутом мире» — назвал свою статью о них Ю. Андреев,<sup>14</sup> «Измерения ма-

<sup>8</sup> Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1977, 28.V.

<sup>9</sup> Nation, 1978, 9.IX.

<sup>10</sup> Russian Language Journal, vol. XXXIV, № 118 (1980).

<sup>11</sup> Népszabadság, 1978, 8.IV.

<sup>12</sup> См.: Морозова Э. Ф., Попов В. П. На переднем крае. Львов, 1977, с. 167.

<sup>13</sup> Комина Р. В. Современная советская литература. М., 1984, с. 152.

<sup>14</sup> Лит. газ., 1971, 3 марта.

лого мира» — Г. Бровман.<sup>15</sup> «Дом на набережной» и «Старик» критикой связываются с тем, что социологи называют предвестьями, следствиями или последствиями культа личности.

Повести, во всяком случае их первые прочтения, дают основание и для такой дифференциации, и для такого истолкования. В них резко сжаты горизонты жизни, действуют люди, озабоченные собственным удачным устройством в жизни сильнее, нежели судьбой величайших идеалов; люди же идейные, бесребреники, выглядят чужаками, осколками прошлого, вызывающими усмешку у «умеющих жить», у тех, кто наделен «самым драгоценным» талантом: «жизнь устраивать, обставлять, как комнату мебелью». Последние подчас ведут свою родословную от бывших помещиков, промышленников, лавочников, нэпманов, нередко они захватывают в свои объятия, приручают детей, внуков и правнуков бывших революционеров, создателей социалистического общества. Им удается это сделать потому, что они напористы, цепки, изворотливы, бесцеремонны в средствах достижения поставленной цели. И беспощадны. Талант, совесть, честь, принципы — все, и свое, и чужое, будет ими отдано за удачу, чаще всего оборачивающуюся материальным и духовным комфортом. Наиболее опасная разновидность их — люди, искусно пользующиеся революционной терминологией, постоянно прибегающие к утвердившимся высоким истинам как к прикрытию своих низменных целей. И все они опасны тем, что заражают окружающих, ломают непокорных, растлевают их, обездушивают, обесмысливают их существование. Таковы родители «миловидной женщины-бульдога» Лены — Лукьяновы с их «постоянным недоверием и неустанным бдением» в самой напряженной, по верному ощущению Апдайка, повести «Обмен», умеющая «все организовать» Лариса Цебрикова в повести «Предварительные итоги», Смурный, Смолянов, Агабеков в повести «Долгое прощание», Геннадий Климук и его жена Мара в повести «Другая жизнь». «Я не согласен, — заявил Трифонов, — с теми критиками, которые писали, что в „московских“ повестях не видно авторской позиции. Взять „Долгое прощание“. Разве там неотчетливо мое отношение к такому, как Смолянов?.. Авторская оценка может выражаться через сюжет, диалоги, интонации. Нужно только иметь в виду одно важнейшее обстоятельство. Вряд ли требуется объяснять читателю, что эгоизм, корыстолюбие, лицемерие — дурные качества».<sup>16</sup> Людьми, зараженными всем этим, людьми, в общем-то бездарными, циничными, довольно плотно населены «Московские повести». Как правило, в изображении Трифонова они более удачливы в своих поползновениях, чем люди, им противостоящие. Наиболее циничные из них произносят громкие речи, направленные против мещанства. Быть может, поэтому лично мне в атмосфере «Московских повестей» трудно дышать, задыхаясь, я испытываю почти чувство отчаяния. «Выхода из этого душного мира торжествующего мещанства что-то не видно. Беспросветно это темное царство. Все хорошее, что раньше было в жизни героев Трифонова, стигнуло бесследно. Идеалы существовали когда-то давно, в прежнем светлом мире, озаренном отблеском костра.<sup>17</sup> Теперь все сломалось, посерело, в повестях Трифонова бродят духовные мертвецы, притворяющиеся живыми. Идеалов нет, человек измельчал и унижен, раздавлен жизнью и собственным ничтожеством. Его единственная радость — перебирать обломки прошлого, жить воспоминаниями об утерянном рае. Такова, собственно, „сверхзадача“

<sup>15</sup> Там же, 1972, 8 марта.

<sup>16</sup> Вопросы литературы, 1974, № 8.

<sup>17</sup> В романе «Старик» о героях прошлого сказано: «Неповторимые люди. Похожих на земле нет, время пережгло их дотла... Смыло, унесло, утопило, угрожало...» (примеч. В. Сахарова).

трифонового бытописания»,<sup>18</sup> — констатирует В. Сахаров, человек более молодой, чем я, и поэтому, видимо, более спокойный. В отличие от него, я в мире «Московских повестей» испытываю, как уже сказал, почти чувство отчуждения потому, что в них мне, как Ф. Кузнецову, недостает «общественно значимого, народного дела»,<sup>19</sup> а также потому, что в изображении Трифонова и многие другие люди, которых лично я не решился бы назвать мещанами, не так уж далеко ушли в своей сущности от мещан. В «Московских повестях» автор, по его собственному определению, стремился «изобразить как можно более многообразно и сложно весь слой обстоятельств, в которых человек живет. Вот, допустим, в „Обмене“ или „Предварительных итогах“. Эти люди многозначны. Во всяком случае, я к этому стремился: изобразить их взаимоотношения и на работе, и в семье, и со знакомыми, и с родителями, и их отношение к деньгам, к женщинам, — словом, целый ряд обстоятельств». <sup>20</sup> В своей многозначности они не так уж многозначны, поскольку в них чересчур сильны эгоизм, потребительское отношение к жизни, готовность поступиться совестью, согласиться на обмен ценностями ради того, чтобы удобно устроиться в жизни, — не очень широкая и плодотворная основа для многозначности. Противостоящие же им люди нередко слабовольны, не умеют постоять за себя и, почти всегда, тоже капитулируют перед повседневностью, идут на компромиссы, сделку с собственной совестью. Нет, не прошло даром ни для автора, ни для его героев оказавшееся опрометчивым утверждение: «Если тщательно распеленать, снимая пласт за пластом, всякий жизненный конфликт, в какие бы торжественные и красочные перья он ни рядился, внутри всего обнаружится жалкое и голенькое, цыплячье тельце эгоизма». <sup>21</sup> В книге «Требовательная любовь» А. Бочаров написал: «Можно — а на мой взгляд, и нужно — не соглашаться с такой глобализацией эгоизма. . .» <sup>22</sup> Я добавлю: против именно такой глобализации эгоизма, как основы философии индивидуализма, заострил свое последнее произведение «Жизнь Клим Самгина» М. Горький.

«Юрий Трифонов, — философствовал не без провокационной нотки по поводу творческой манеры нашего писателя Джон Апдайк, — пишет хорошо, хотя и просто. У него ровный тон, он редко поднимается до метафоры или обобщения. Его персонажи кажутся свободными в своих действиях и иногда довольно резко выходят за рамки сюжета. Трифонов слишком любит длинные вялые наплывы. Созерцательная интонация, с которой он пишет, столь безлична, в ней столько спокойного пораженчества, что некоторые патристически настроенные читатели и критики были встревожены, когда повести Трифонова появились в журнале „Новый мир“. Как явствует из предисловия Эллендеи Проффер, он человек вполне благополучный, человек системы, который уже в молодом возрасте обратился к аполитичному реализму, что в Советском Союзе рассматривается как повод для тревоги, а то и как потрясение основ. . .» Упомянутая Э. Проффер в предисловии к первым трем повестям, изданным в Нью-Йорке в 1978 году под общим заглавием «Долгое прощание», тоже отмечала как достоинство Юрия Трифонова то, что в его мире «нет ничего абсолютно черного или белого». Но действительно ли это достоинство его искусства?

В превосходной работе Б. Панкина «По кругу или по спирали? О повестях Юрия Трифонова „Обмен“, „Предварительные итоги“, „Дол-

<sup>18</sup> Сахаров В. Обновляющийся мир. М., 1980, с. 192.

<sup>19</sup> Октябрь, 1975, № 2, с. 199.

<sup>20</sup> Вопросы литературы, 1974, № 8, с. 175.

<sup>21</sup> Там же, с. 186.

<sup>22</sup> Бочаров А. Требовательная любовь. М., 1977, с. 299.

гое прощание“, „Другая жизнь“, „Дом на набережной“» была сделана единственная попытка заглянуть под внешний покров произведений талантливого писателя. Б. Панкин не согласился ни с теми, кто свел существо названных произведений к критике мещанства, ни с теми, кто ставил знак равенства между ними и бытописанием. «И не об испытаниях бытом идет в них речь прежде всего, как бы ни было это само по себе важно...» — оговаривался критик. Убедительно доказав, что далеко не все поступки той же Лены из «Обмена» диктуются мещанскими побуждениями, он попытался выявить в творчестве Ю. Трифонова более универсальную доминанту. По мнению Б. Панкина, эта доминанта выражается в том, что добро в современном мире остается таким же незащищенным, как тысячу лет назад, в то время как зло становится все более агрессивным и изворотливым. «Сергей — мужчина. В самом высоком и полном смысле этого слова. Парадокс же современного образа жизни, особенно жизни горожанина, в том и заключается, что в быту нашем, служебном, семейном, каком хотите, все меньше остается средств и способов выявления специфически мужского начала, мужского достоинства. Это, если хотите, издержки прогресса, самого развития цивилизации, спутник технократизации.

Бог с ней, с пощечиной, тем более с дуэлью. Но какие же новые способы изобрело человечество для того, чтобы и сегодня у каждого была возможность собственными силами — а не только силами общественности — доказать свою правоту, восстановить справедливость?»<sup>23</sup>

Включившись в посвященную прозе 70-х годов дискуссию, Василий Росляков заявил: «Юрия Трифонова наша критика нередко называет борцом с мещанством, поскольку его повести последних лет построены на материале семейного быта. Сегодня вообще много пишется о семейном быте, в эту сферу человеческих отношений уходят и молодые писатели. И мне лично это не нравится. Еще во время войны один пробующий писать человек возмущался: „Все небо в салютах, а вы об обедах!“ Да, живописание кухонных нескладниц, разладов между мужем, женой, детьми, родственниками и прочих трещин быта обидно поглощает силы и драгоценный талант некоторых молодых и уже немолодых писателей. Однако у Юрия Трифонова повести не замыкаются проблемами обмена жилплощади или семейного разлада. Как правило, у него семейная расколосованность имеет как бы закадровый выход или указание на расколосованность более широкую, чем семейная; трещины частного быта благодаря опыту и мастерству писателя вырисовываются как продолжение или как следствие трещин иного происхождения, образовавшихся за пределами семейного круга. Именно этим-то глубинным выходом из частного быта в быт общественный и характерны повести Трифонова. И именно это глубинное содержание, а не „нравственные искания“ и „борьба с мещанством“ сделали Трифонова одним из наиболее переводимых, одним из наиболее популярных советских авторов. Но магистральный ли это путь? Пусть ответят критики».<sup>24</sup>

Постараемся ответить на поставленный писателем вопрос.

Объединяя повести «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание» и «Другая жизнь» в единый цикл, озаглавленный «Московские повести», Трифонов, вероятно, исходил прежде всего из того, что все они созданы на московском материале, косвенно полемичны по отношению к таким произведениям советской литературы предшествующего периода, как пьесы А. Сурова, А. Софронова (при создании образа Смолянова использованы некоторые черты и авторов этих пьес). Но он,

<sup>23</sup> Дружба народов, 1977, № 5, с. 238, 251.

<sup>24</sup> Лит. обозрение, 1980, № 1, с. 39.

несомненно, имел в виду тематическую, проблемную переключку их, а также то, что, как правильно говорила Лили Дени, выступая в «La Nouvelle critique», «во всех повестях одна и та же схема отношений действующих лиц: слабый мужчина, рядом с ним сильная женщина (вызывающая или не вызывающая ненависть), которая использует свою силу, чтобы вытянуть из мужа все, что ей нужно. Они живут в городском окружении, именно эта обстановка и воздействие среды на персонажей позволяет показать неблагополучие города».

Стремление к материально-бытовому благоустройству, характерное для главной героини «Обмена», погоня за сладкой жизнью, типичная для главной героини «Предварительных итогов», готовность пожертвовать талантом, честью, любовью другого человека ради призрачного успеха на сцене и ради того, чтобы однажды ощутить себя богатой женщиной, как это случилось с героиней повести «Долгое прощание», и даже отчаяние женщины и жены, казалось бы, самоотверженно любившей человека, бескорыстно преданного науке, неутомимо стремившегося докопаться до истины, презиравшего интриганов и перевертней, дельцов, конъюнктурщиков всех званий и рангов, — отчаяние, обернувшееся «внезапной и быстрой» привязанностью к другому, о чем повествуется в произведении «Другая жизнь», — глубочайшими корнями уходят, вероятно, к единому источнику. Не скрывающие своих политических расчетов американские критики придумали для него даже специальное название «средний класс», и та же Э. Проффер, говоря о трениях между ним и настоящей советской интеллигенцией, пишет по поводу первой повести в упоминавшейся уже работе: «Мать и сестра Дмитриева воспринимают Лену как выходца из той среды, которую мы бы назвали буржуазной, и они осуждают ее за материализм».

Почти очевидно это и в отношении следующих двух героинь, но труднодоказуемо в случае с героиней повести «Другая жизнь». Ольга Васильевна так сильно любила Сергея Троицкого, что прощала ему все. «Вечно рвущийся куда-то неудачник. Боже мой, ну и что? Она никогда не попрекала его, не требовала чего-то неисполнимого. Нет средств на Ялту — будем жить в Василькове, у тети Паши. Нет денег на телевизор — будем слушать радио. Никогда в жизни не говорила ему: вот тот уже там-то, а ты еще здесь. Не заставляла его надрываться, выбиваться из сил, чужие успехи ее не задевали. Наоборот, говорила ему: не нужна нам твоя диссертация! Нам нужно твое здоровье. Оставайся младшим научным, только, ради бога, не мучайся, не гоношись, не тарань лбом стену, твой лоб для этого не пригоден».

Это фрагмент из мучительных ночных размышлений Ольги Васильевны, когда она, после смерти мужа, звено за звеном прощупывает их совместную жизнь, упорно твердя себе: «... жить дальше невозможно, умереть самой». Но вслушиваясь внимательнее в ее внутренний монолог (вся повесть представляет собой соединение несобственно-прямой речи и внутреннего монолога героини, длящегося примерно с трех до семи или восьми часов утра), даже в приведенный фрагмент из него, мы ощущаем в нем некий настораживающий диссонанс. Он прорывается и в определении «вечно рвущийся куда-то неудачник», и в совете: «... не тарань лбом стену».

Этот диссонанс намечается уже в самом зачине повести: «И опять среди ночи проснулась, как просыпалась теперь каждую ночь, будто кто-то привычно и злобно будил ее толчком: думай, думай, старайся понять! Она не могла. Ни на что, кроме самомучительства, не было способно ее существо. Но то, что будило, требовало упорно: старайся понять, должен быть смысл, должны быть виновники, всегда виноваты близкие, жить дальше невозможно, умереть самой. Вот только узнать: в чем она виновата? И еще другое, тайное и стыдное: неужели на этом

все кончилось? „Какая дура, как я могу думать о смерти, когда у меня дочь“».

Из дальнейшего ночного размышления героини узнаем: самой себе при жизни мужа она нередко признавалась, что Сережа нерасчетлив, «болтлив, неосторожен и сеял себе врагов» «шуточками, спорами, ядовитостями, неумением вовремя сдержаться и сообразить». Не раз вслух она советовала этому, как однажды выразилась, «неизжитому мальчику сорока лет» отдать найденные им уникальные материалы Кисловскому. Иначе говоря, не осуждая мужа ни за то, что он не защитил вовремя диссертации, ни за то, что не дал ей всех благ жизни, она любила его все-таки не за его главные принципы (один из них выражается в словах «так скучно думать о себе», другой: человек рождается для великих дел жизни, а не великих пустяков жизни). Это отчетливее всего проявилось в момент, когда он стал задумываться над тем, чтобы бросить все и начать другую жизнь. Сергей заговорил об этом в лесу. «У нее сжималось сердце, было страшно. Откуда, бог ты мой, возьмется другая жизнь? Переехать из дома в дом? Купить новый портфель? Начать ходить вместо той конторы в эту? Ведь, в сущности, повсюду одно и то же. Он ответил: э, нет! Так рассуждать — это все равно что говорить, будто все женщины одинаковы. Но ведь ужас прожить с женщиной, которая не мила. Большинство так живет, впрочем».

К этому, чтобы сильнее уличить героиню в мещанстве, можно бы добавить, что в свое время она приняла чуть ли не за безумие мужа его объяснение своей неудачливости «нитями, которые тянутся из прошлого», тем, что во всех его предках, из поколения в поколение «клокотало и пенилось несогласие», «заложенное в генетическом стволе».

Тем не менее нельзя не спросить: достаточно ли всего сказанного, чтобы назвать Ольгу Васильевну мещанкой, поставив ее в один ряд с такими людьми, как родители Лены из «Обмена» или Климух из «Другой жизни»? Сформулированный так, вопрос, на мой взгляд, не нуждается в ответе. Более того, он побуждает усомниться в правильности почти уже установившегося взгляда и на главных героинь первых трех повестей Ю. Трифонова только как на интеллигентных мещанок. Во-первых, не будем смешивать интеллигентность с наличием диплома об образовании. В этом отношении у большинства рассматриваемых героев так много отрицательных черт, что их даже полунинтеллигентами назвать можно с трудом. Во-вторых, героям присущи не только недостатки. У Ляли из «Долгого прощания» есть ведь и достоинства, как есть они и у героини «Другой жизни». Последняя не принимает принципа несогласия? Но ведь в той форме, как его понимает Сергей Троицкий, его не приемлет наша система в целом. Героиня не в ладах со своей свекровью, претендующей быть живым олицетворением поколения, совершившего Октябрьскую революцию? Согласимся, однако, что порой в этом олицетворении улавливается немало карикатурного, так что непозволительно даже поставить вопрос: не доросло или переросло новое поколение своих «отцов» в духовном отношении? И, наконец, безоговорочно причисляя к мещанству, называя лишь «внешне интеллигентными, вроде бы порядочными» таких людей, каковы главные героини рассматриваемых повестей Трифонова, не проявим ли мы чрезмерной беспощадности к тем советским людям, которые в *переходную эпоху* от старого к новому миру не смогли тотчас же освободиться от всех предрассудков? Думается, все это и имел в виду сам автор повестей, когда публично вмешался в спор критиков, став на защиту своих героинь. В статье «Выбирать, решать, жертвовать», явившейся ответом на критический разбор его произведения Л. Аннинским, он заявил, что писал не об интеллигентах, не о мещанах, а о «самых простых, обыкновенных» жителях современного советского города, и решительно протестовал про-

тив рассмотревшая главной героини повести «Обмен» как «отрицательного персонажа». «Автор осуждает не Лену, — писал Трифонов, — а некоторые качества Лены, он ненавидит эти качества, которые присущи не одной только Лене... Однако можно ли за это выбрасывать человека? Человек есть сплетение множества тончайших нитей, а не кусок голого провода под током, то ли положительного, то ли отрицательного заряда. Надо вырывать из живого тела нить за нитью, это больно, мучительно, но другого выхода нет». Десять лет спустя, в острейшем споре с Л. Аннинским, он снова решительно протестовал против квалификации критиком и Лукьяновых, и Дмитриевых... «Вы сделали вид, что я Дмитриевых боготворю, а я над ними пронизирую», — сказал он критику.

«Л. Аннинский. Иронизируете, конечно. Как и над остальными. Но лучше Ксении Федоровны там для вас никого нет. Вы Дмитриевых любите, а их противники вам чужие.

Ю. Трифонов. Я люблю людей живых. Если одни получились живые — слава богу. Если другие не получились — значит, моя вина как писателя.

Л. Аннинский. Что значит — „моя вина“? Если вы написали плохо, так я это и читать не стану.

Ю. Трифонов. Но „Обмен“ вы прочитали, однако не захотели увидеть то, что как раз написано: Лена обвиняет Дмитриеву, мать мужа, в ханжестве, а та Лену — в мещанстве. Так они же квиты! Почему вы этого не заметили?

Л. Аннинский. Потому что вы все-таки душой были на стороне Дмитриевой.

Ю. Трифонов. Да потому, что она умирает! А остальные остаются жить. Неужели это не ясно? Я же написал слова, я же написал *сцену!*

Л. Аннинский. Это-то ясно. Неясно другое: дядюшка Веры Лазаревны тоже вроде как умирает, однако ни слов, ни сцены... Он вам не очень важен, он другого типа человек. И потом — кто же читает слова, Юрий Валентинович? Вы пишете за словами реальность, и я на нее реагирую...

Ю. Трифонов. Нет, с вашей стороны была передержка: вы написали о схеме, какую себе замыслили, — их, мол, противопоставляют. Да ничего подобного! Я б сказал, что и те и другие хороши. Понимаете? И те и другие.

Л. Аннинский. Только одних вы при этом оплакивали, говорили, что они жертвы, а других обвиняли в том, что они чуть ли не правственные палачи». <sup>25</sup>

Вопрос, как видим, еще больше запутывается. Но оттого, что Дмитриевы, вернее, Ксения Федоровна не лишена недостатков, бояться констатировать зараженность Лены и ее мужа чертами мещанства тоже не следует. Конечно, когда шведский литератор Ларс Эрик Бломквист определяет «мрачный и равнодушный мирок», изображаемый в «Московских повестях», как мирок «советской буржуазии», он сильно упрощает все то, что волнует нашего писателя. Но когда он поражается тому, что Дмитриев «разменивает свою честь на несколько квадратных метров», когда он негодует по поводу того, что многим героям этих повестей «не свойственно иметь свое мнение, вмешиваться, стремиться к высшим идеалам», и квалифицирует это как «безделушки», «необыкновенно типичные для ограниченной, мелкобуржуазной психологии советского потребителя», <sup>26</sup> — он ведь прав.

<sup>25</sup> Новый мир, 1981, № 11, с. 235—236.

<sup>26</sup> ВЛМ, 1977, № 1.

Найдя своего героя — полуинтеллигентного горожанина с дипломом: инженера, музейного работника, актрису, кандидата наук, — Трифонов взял и показал его не в исключительной ситуации, а в повседневной жизни, когда тот проходит испытание мелочами, по-своему, если хотите, очень трудное испытание бытом, и рассказал много такого, мимо чего проходили другие писатели. Оказалось, что даже неплохие общественники бывают заражены и эгоизмом, и мелочностью, и тщеславием, и неуживчивостью. И еще оказалось, что и у нас все еще человеку принципиальному, искреннему, откровенному живется и работает труднее, чем интриганам, карьеристам. Честные работники Дмитриев, Троицкий, переводчик, ведущий повествование в «Предварительных итогах», оказываются неудачниками, а карьеристы, наглецы, подлецы, интриганы, вроде солидного работника со «стеклянностью» в глазах Агабекова, «магистра лицмерия» Смурного, предающего ради карьеры всех и вся Геннадия Климука, преуспевают. То была жестокая правда, сказанная Трифоновым с полным знанием определенных сфер нашей жизни. Тем более жестокая, что жертвам мещанства даже и сочувствовать нельзя. «У повестей Трифонова, — писал В. Сахаров, — чаще всего одна и та же сюжетная схема: мягкий интеллигентный человек попадает (разумеется, под влиянием женщины, которая водит его по жизни за руку) в тину мещанства и, протестуя, сопротивляясь и идя затем на маленькие компромиссы и большие предательства, запутывается окончательно и успокаивается. При этом обнаруживается, что и сам герой очень этого хотел». <sup>27</sup> Вот эта жестокая и сложная правда сказана писателем очень убедительно, ибо он сумел причудливо, но органично соединить в своих повестях бытописательство с углубленным психологизмом.

По мнению болгарского критика Светлозара Игова, «наиболее яркая черта реализма Юрия Трифонова — удивительное сочетание детального и проникновенного психологического анализа (продолжающего традиции Толстого, Достоевского, Пруста, Вулфа и др.) с социально-исторической концептуальностью, умение проникать сквозь косность быта в сущность бытия». <sup>28</sup>

В психологическом отношении произведения Трифонова сделаны более добротнее, нежели романы Анатолия Ананьева, представляющие собой результат взвинченного рефлексирования их автора. Еще Лев Толстой говорил, что в искусстве можно выдумывать все, что угодно, но только не психологию. Но если это так, то мы, мне кажется, не имеем права упрекать Юрия Трифонова ни в том, что в его повестях «царит внутреннее авторское спокойствие, отдающее душевным холодом», ни в том, что «личная правда и память» в них «не поверяются более высоким и объективным судом». <sup>29</sup> Именно такой суд и приводит автора к тому, что в конце повествования он теряет интерес ко всем своим героям, им овладевает угрюмое равнодушие.

Две из рассматриваемых четырех повестей написаны от первого лица, в двух других голос автора через несобственно-прямую речь сливается сплошь и рядом с голосом главного героя, что придает рассказу дополнительную убедительность. Вместе с тем это позволяет Трифонову ввести в произведение колоссальный бытовой материал, отразив через него все увлечения полуинтеллигентной среды, начиная с дешевого нигилизма, насмешки над всеми и всем, собирания икон, марок, старинных открыток и кончая суеверием, псевдорелигиозностью, увлечением парапсихологией, оккультизмом. Поразительно знание автором языка изображаемой среды, модных словечек и фразеологизмов. «В третьей,

<sup>27</sup> Сахаров В. Указ. соч., с. 181.

<sup>28</sup> Литературен фронт, 1978, № 44.

<sup>29</sup> Сахаров В. Указ. соч., с. 182, 183.

самой претенциозной повести „Долгое прощание“, — восхищался Ап-дайк, — легкость и честность, с которой Трифионов обращается со своим материалом, граничит с полным отказом от формы».

Неброская, чуть суховатая, кажущаяся почти стертой речь повествователя гармонирует с изображаемыми характерами. «Язык, — удивительно точно отмечала Л. Дени, — свободен, непринужден, автор пытается воспроизвести устную речь, не колеблясь, употребляет там, где нужно, арготизмы. Но этим все не ограничивается. Можно сказать, что в этом писателе есть нечто от Достоевского: крайняя внутренняя сложность персонажей, то, с каким трудом они стараются разобраться в себе, принимают решения. Так, мы наталкиваемся на чрезвычайно длинные абзацы, самозакручивающиеся фразы; трудность бытия отчасти передается через внешнюю затрудненность письма. Очень часто диалог дается не в обычной форме, не абзацами, а внутри параграфа, включенным в текст, не являющийся диалогом. Я полагаю, что прием этот не случаен, это обдуманная повествовательная техника. Она создает у читателя ощущение мучительного поиска смутного „я“, пленником которого является персонаж, „я“, в котором он унижен». Ларс Э. Бломквист тоже утверждает: «Язык его соблазнительно прост. Мимолетные разговоры в гостях, посещение родственников, быстрая смена эпизодов, жесты — все эти детали находят свое место в повествовании, которое строится вокруг острых ситуаций». А Генрих Бёлль сказал: «Стиль Трифинова сухой, как порох, сжатый...»

Быть может, с этим связаны некоторые специфические приемы раскрытия внутреннего мира героев, например излюбленное автором нагнетание глаголов: «И та сносила, терпела, простила, успокаивала». Учась пониманию сложности человека у Толстого и Достоевского, автор «Московских повестей» вместе с тем владеет самыми новейшими формами художественного изображения, используя приемы повествования с разных точек зрения и смешение временных планов, любит через не собственно-прямую речь переходить к внутренним монологам и диалогам, умело пользуется элементами потока сознания и автоматического письма, например в форме посланий, которыми забрасывает Лялю ее мать, сочиняя их «на манер Дос Пассоса» (Дж. Джойса?), не пользуясь никакими знаками препинания; сливает явь и сон (кошмарка размышления героини «Другой жизни» о ее отношениях с Сергеем Троицким). По верному наблюдению Б. Панкина, традиционные завоевания реализма здесь обогащаются новыми трансформациями вследствие приобщения автора «к современному стилевым течениям, тяготеющим к условности образов, разорванности композиции, интонационной ломке, потоку сознания». Важна и оговорка: «...порой это увлечение ретроспективой, наплывами, дымкой, смешением реального и воображаемого органично содержанию трифионовских повестей, порой же выглядит как своеобразная аппликация, дань модерну и моде на него».<sup>30</sup> Элемент рассказывания в повестях явно преобладает над изображением, но не воспринимается как недостаток писателя, умеющего иногда очень метко характеризовать своих героев (Тамара Игнатьевна — «тихая, длинная старуха с несчастной судьбой»). Впрочем, Трифионов не стремится выражать прямо свое отношение к изображаемому. Он «не рисовал скороспелые шаржи, а исследовал глубины человеческой души»,<sup>31</sup> — правильно утверждает М. Миньковская.

Чаще всего наиболее симпатичные нам герои произведений Трифинова не выдерживают напора захлестывающей их «мути» и «муры», вступают в сделку с собственной совестью, достигают процветания, испы-

<sup>30</sup> Дружба народов, 1977, № 5, с. 242.

<sup>31</sup> Литературен фронт, 1981, № 15.

тывая в душе либо свинцовую усталость, либо жжение; другие, почувствовав себя загнанными в угол, примиряются с жалкими итогами собственного бытия, успокаиваются «на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил»; кто-то считает, что времена, когда можно было жить одними великими идеалами, прошли, и смотрит на ветеранов революционной гвардии как на монстров, которые «кичатся непонятно чем, какими-то мифами, химерами»; еще кто-то утверждает, что жизнь мыслима только такой, какова есть, и другой не может быть. Сергей Троицкий говорит о другой жизни, автор выносит его слова в название произведения, заканчивает же его воспоминанием героини о том, как она и Сергей заблудились в лесу, прорывались на свет, где, казалось, «начиналась другая жизнь», и все глубже «залезали в черную топь». Вспоминает Ольга Васильевна. Но как к этому относится сам автор? Разделяет ли он ее мнение, что неоткуда взяться новой жизни?

Почти все советские и многие зарубежные критики упрекали писателя в том, что, справедливо показывая современную жизнь и современного человека в их противоречивости, он не ухватывал всего многообразия взаимосвязей, не обладал отчетливым отношением к этой противоречивости и сложности. Толстой, Достоевский, Горький, Шолохов воспринимали человека и мир в их бесприммерно сложных, противоречивых взаимообусловленностях, в противоборстве положительных и отрицательных начал, причем первые обладали всегда превосходящим потенциалом. В соотношении же, изображаемом Трифоновым, мы наблюдаем, как истинный талант отступает перед цинизмом, наглостью, душевной черствостью, а «дрянь-людишки» ломают и топчут настоящих людей.

Ларс Э. Бломквист также отмечал, что писатель, избрав в качестве героев своих произведений приспособленцев, людей, пораженных моралью собственничества, предельно ограниченных в своих связях с многообразием советской действительности, не обнаружил в последней сил, по-настоящему противостоящих им.

Здесь я вынужден сделать отступление в сторону. В середине 1970-х годов мне довелось совершить одну за другой поездки в Англию, ФРГ и США. Как всегда, во время перерывов на симпозиумах я выступал с лекциями о советской литературе и был ошеломлен интересом к только что появившимся на страницах советских журналов произведениям, посвященным преимущественно семейной, личной, интимной жизни советских людей. Задавалось множество вопросов о том, насколько, на мой взгляд, глубоко и всесторонне изображается эта часть советской действительности в косяком последовавших с легкой руки Трифонова повестях «Никто никогда» (1971) Н. Давыдовой, «Пустошель» (1973) Крутилина, «Сладкая женщина» (1973) Велембовской, «Дождь в чужом городе» (1973) Гранина с энергично жаждущей прочно устроить свою жизнь женщиной в центре их. За исключением Киры, характер которой психологически наиболее убедительно разработан Граниным, женщины в этих повестях — «хищницы среднего калибра» и не вызывают наших симпатий. И. Янская предлагала поэтому рассматривать названные произведения как «повести о человеческом ничтожестве, о цинизме в отношении к миру, о мелкости целей и средств для достижения»,<sup>32</sup> а С. Наровчатов связал их с темой укоренения деревенского человека в городе и предупреждал о рецидивах крестьянского анархизма.<sup>33</sup> Инженер Наталья Андреева так объясняла возникновение перекосов в подобных произведениях: «Мне думается, подобные „издержки“ в литературном хозяйстве можно объяснить не столько беллетристиче-

<sup>32</sup> Лит. газ., 1973, 25 апр.

<sup>33</sup> Лит. Россия, 1974, 8 марта.

скими штампами, сколько плохим знанием характера, особенностей современного производства — той первоосновы, которая рождает конфликты и „притирает“ характеры... Иные критики тем не менее склонны отнести подобные произведения к „рабочей тематике“, считают их даже симптомом „расширения границ рабочей темы“. По-моему, происходит скорее обратное: „семейная история“, „тема любви“ насыщаются тем, без чего трудно себе представить современного человека, — его работой, профессиональной деятельностью». <sup>34</sup> А. Марченко считала возможным сделать исключение для главной героини повести И. Велембовской, одновременно бросив упрек, что И. Велембовская не сумела глубоко и всесторонне осмыслить острую проблему притяжения городом миллионов крестьян и ответственности города за их духовное воспитание, так же, впрочем, как смяла, упростила и другую очень сложную проблему, принесенную в жизнь полной эмансипацией советской женщины, в результате чего семейный дом стал холодным, а пребывание женщины на работе превратилось либо «в малоприятную необходимость», либо «в узаконенный общественным мнением бессрочный „отдых“ от неубывающих трудностей домашней работы». <sup>35</sup>

Откровенно признаться, до встреч с иностранными читателями я не придавал особого значения этим произведениям, делая, пожалуй, исключение лишь для повестей Трифонова и великолепного психологического этюда Градина. О других был очень невысокого мнения, находя, что в них проникли даже элементы пошлости, вообще-то не свойственной нашей литературе. Встречи с зарубежными читателями, появление романа «Южно-американский вариант» С. Залыгина и вызванная им дискуссия, наконец, беседа с канадским профессором Норманом Шнайдманом, подарившим мне свою статью «Противоречивая проза 1970-х годов: проблемы семьи и любви в современной советской литературе», заставили меня всерьез задуматься над этим феноменом. Нельзя было не согласиться с мнением ученого: поток названных произведений и явился своеобразной реакцией на тот факт, что в свое время в советской литературе «проблемы брака, любви и семейной жизни отошли на второй план по сравнению с проблемами социалистического строительства, коллективизации и другими областями, которыми официально занимаются партия и правительство», тем более что «новая советская семья представляется нам, в основном, как счастливая семья с немногочисленными конфликтами; лица, виновные в разрушении семейного счастья, обычно рисовались черными красками». <sup>36</sup> В цитируемой работе констатировалось: «„Тихий Дон“ М. Шолохова — это одно из немногих послереволюционных произведений, в котором проблеме любви и брака отводится столько же внимания и она столь же ярко описывается, как и социально-политические проблемы романа. Именно в этом состоит причина его успеха». Но в ней констатировалось и другое: «Такое положение дел в советской литературе, при котором проблемы семейной жизни, брака и любви оставались второстепенными по сравнению с другими социально-политическими проблемами, резко изменилось после смерти Сталина». К сожалению, в качестве доказательства ученый сослался не на романы М. Стельмаха или И. Мележа, даже не на роман «Битва в пути» Г. Николаевой, где эти проблемы разрабатываются в реальных жизненных соотношениях и взаимобусловленности с социально-политическими проблемами, а на «Одну» С. Алешина, «Сладкую женщину» И. Велембовской, «Никто никогда» Н. Давыдовой, где «проблемы семьи, личности и, особенно, освобожденной советской женщины обсуждаются с беспощадной

<sup>34</sup> Лит. обозрение, 1979, № 12, с. 10.

<sup>35</sup> Новый мир, 1973, № 8, с. 266.

<sup>36</sup> Canadian Slavonic Papers, vol. XVIII, № 4 (December 1976).

откровенностью», но где, если воспользоваться наблюдением Н. Машовца, мало или совсем не показан «нравственно и психологически притягательный образец современного семейного уклада». <sup>37</sup> К этому прибавлю мнение канадского профессора: «Можно удивляться причинам такого интереса общественности к указанным произведениям. Художественные достоинства большинства из них не заслуживают такого внимания». <sup>38</sup>

В заслуживающих же такого внимания повестях Трифонова взята лишь определенная прослойка нашего общества и распространять ее особенности на всех советских людей, как пытался сделать Г. Бёллль, значит вычитывать в произведениях то, чего в них нет. К такому мнению склоняются и участники споров, вызванных первыми четырьмя повестями Трифонова и разгоревшихся с новой силой после выхода в свет двух следующих повестей — «Дом на набережной» и «Старик». Споры об этом приобрели остроту исключительную, поскольку, в изображении писателя, противоречия, отличающие личную жизнь наших людей, сопровождали ее на протяжении всего существования нового общества и всегда ставили каждого человека перед решающим выбором.

Волнующая Трифонова в рассмотренных выше повестях тема здесь получает новый поворот, а излюбленные герои оказываются перед еще более трудным выбором. Обращаясь к острым моментам идеологической борьбы внутри нашей страны, Ю. Трифонов показывает, как свинцовые мешчане, проникая даже в самую революционную среду, надевали маску последовательных, бескомпромиссных ее защитников и, в совершенстве владея ортодоксальной терминологией, неуязвимыми идеологическими штампами и стереотипами, соединенными с элементами изощреннейшей демагогии, не раз пытались изнутри поразить Советскую власть в самое сердце, скомпрометировать честнейших и убежденнейших ее творцов. Таков Друзев, в недавнем прошлом прокурор, назначенный после войны 1941—1945 годов на ответственный пост в учебную часть института, где заведующим кафедрой литературы и журналистики работает в прошлом лихой рубака-ковармеец, профессор Ганчук и где учился на последнем курсе Вадим Глебов, будущий доктор филологии.

Мир в изображении автора «Дома на набережной» отчетливо делится на два непримиримых, хотя и далеко не равных лагеря. В одном те, кто сумел «приспособиться» к нашему строю, не приняв его внутренне. Наиболее зловещей фигурой среди них является жена старого революционера Прохорова-Плунге, последовательно меняющая одного высокопоставленного мужа на другого. Ее собственный сын — Левка Шулепников — называет ее ведьмой. Алина Федоровна не только не оскорбляется, но гордится этим. В предвоенный период она — жена деятеля, живущего в привилегированном доме на Москворецкой набережной, после войны — замужем за заместителем министра, кажется, убравшим ее предыдущего мужа, как тот убрал своего предшественника. Война не поколебала ее положения, а лишь повысила материальную благоустроенность. Опа, Алина Федоровна, из дворянского рода чуть ли не князей Бяратинских.

Другой лагерь представлен прежде всего семьей старого профессора Николая Васильевича Ганчука, тоже живущего в доме на набережной. Став после гражданской войны литературным деятелем, он принимал участие во всех литературных боях, в которых выработывалось понимание литературного дела как общепролетарского дела.

Между этими лагерями и оказались молодые герои в предвоенные годы, когда учились в одной школе, хотя жили в разных, уже тогда

<sup>37</sup> Машовец Н. Общность цели: (Литература и критика). М., 1979, с. 96.

<sup>38</sup> Canadian Slavonic Papers, 1976, vol. XVIII, № 41.

очень разных домах. С обилием неотразимых подробностей описывает Ю. Трифонов жизнь мальчишек в «бумажных рубашонках, в полотняных туфлях на резиновом ходу». Начав повествование в третьем лице, он в дальнейшем не раз переключается на рассказ от первого лица. Правду сказать, читатель и в третьем лице тоже без труда узнает самого автора, прямо сообщающего, что он жил в описываемом доме на набережной и в период драматических событий накануне войны был переселен с бабушкой на окраину города, к счастью, на окраину города, а не в столь отдаленные места. Это придает повествованию неотвратимую достоверность и по-особому волнует читателя своей исповедальностью.

Большинство изображаемых Трифоновым «мальчишек» и «девчонок», так же как взрослых, — честные, самоотверженные советские люди. Школьники упорно постигают мир, проявляя удивительную и разностороннюю талантливость, как Антон, удивительную доброту, как Ярик, удивительную жалостливость, как Соня. Готовясь к защите Родины, они постоянно укрепляют собственную волю, смелость, мужество. Во время войны, в большинстве, они выполнили свой долг; те, кто остался жив, пошли в вузы. Среди них — Вадим Глебов и его одноклассник Левка Шулепников.

Тут Трифонов возвращается к центральной проблеме предыдущих повестей — проблеме горожанина с дипломом, который оказывается перед выбором: бескомпромиссная принципиальность и честность, даже в ущерб личному будущему, если хотите, личной карьере, или использование по видимости неодолимых обстоятельств, оправдывающих уступки совести, полупредательство и даже прямое предательство ради самосохранения и продвижения по научной (служебной) лестнице. Но возвращается уже обогащенный опытом создания определенных характеров в предыдущих повестях. Он пытается нарисовать синтезирующий характер Глебова, в котором есть черты, сближающие его почти со всеми воинствующими мещанами из «Московских повестей», особенно с Геннадием Климуком, но далеко не исчерпывающие его, поскольку Глебов, как определил его И. Винтермантель, «тип человека, умеющего, ничего не делая, многого добиваться».

Когда профессор Ганчук вступился за несправедливо обвиненного в космополитизме своего ученика Бориса Аструга, бывший прокурор Друзьев и его сподручный — аспирант Ширейко решили ударить по самому Ганчуку. Орудием мести они избрали Глебова, к тому времени ставшего завсегдаем в доме профессора. Вадим писал под руководством Ганчука дипломную работу, ухаживал за его дочерью Соней и даже решил на ней жениться. Когда же оказался перед дилеммой: получить стипендию Грибоедова, остаться в аспирантуре или лишиться всего этого, выступив в защиту научного руководителя, — выбрал первое. Под благовидным предлогом он не пришел на собрание, где распинали его учителя, не опроверг клеветнической статьи Ширейко, обвинявшего Ганчука в меньшевизме и заявлявшего, что от его научного руководства будто бы отказался Глебов.

Впрочем, Глебов предал учителя, предал свою любовь, все честное, светлое в самом себе еще до того, как не пришел на собрание. Предал уже тогда, когда стал обдумывать четыре варианта собственного возможного поведения в сложившейся ситуации. И даже еще раньше. Ведь жажда материального благополучия, привилегированного положения пробудилась в нем задолго до всей этой истории, тогда, когда он впервые посетил «дом на набережной». Недаром он до мелочей помнит, какая мебель, какие картины, какие ковры были в квартире у отца Левка Шулепникова. И неспроста инстинктивно ощущающая потенциальную нечестность и склонность Глебова к предательству Юлия Михайловна Ганчук, упрашивая его покинуть их дом и никогда в нем не появляться,

предлагает «откупное». «Ведь вам нужны деньги. Вы их любите, правда?.. Нет, стойте! Я сейчас принесу другое! — Тут она почему-то стала шептать: — Я вам дам одно кольцо, старинное, с сапфиром. Вы же любите буржуазные вещи? Золото? Кляйноды?»

По мнению писателя, таков грубый, но несомненный источник всех других качеств главного героя, не исключая ни его продуманной осторожности во всем, ни его склонности в каждом человеке искать прежде всего отрицательное (его отношение к Куно Ивановичу).

Исследователи находили сходство между Глебовым и Климом Самгиным. «Ю. Трифонов, — писали они, — пытается выяснить в Глебове самгинское начало. И такие свойства его природы, как склонность к предательству, постоянная зависть к более талантливым, удачливым или благополучным людям, чувство скрытого страха перед жизнью, толкающее его на неблагоприятные поступки, затаенное желание отгородиться от всего неприятного, стремление к душевному покою, и размышления типа: „Все было, может, не совсем так, потому что он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать. Этого не было никогда... забыто — не было никогда. В самом деле, а было ли?“, напоминающее знаменитое самгинское „А был ли мальчик? А может, мальчика-то и не было?“ — прозрачно намекают на сходство Глебова с Самгиным. Однако попытка развенчать самгинство в Глебове оказалась несостоятельной».<sup>39</sup>

При всей соблазнительности такой аналогии она не представляется убедительной уже потому, что духовное мещанство Клима Самгина не столь «грубо материальное», как у Глебова.

В самой повести есть страница, непосредственно связывающая разрабатываемый Трифоновым конфликт с одним из главных конфликтов творчества Достоевского. Тут же очень точно очерчивается его историческая трансформация. «Поверженный», но не сдавшийся, не утративший жизнелюбия Ганчук (Глебов всегда будет помнить, с каким наслаждением Ганчук ел в день своего «падения» пирожное) говорит, что «недооценивал Достоевского, что Алексей Максимович не прав и что нужно новое понимание... Он говорил что-то в таком духе: мучившее Достоевского — *все дозволено*, если ничего нет, кроме темной комнаты с пауками — существует донныне в ничтожном, житейском оформлении. Все проблемы перевернулись до жалчайшего облика, но до сих пор существуют. Нынешние Раскольниковы не убивают старух процентщиц топором, но терзаются перед той же чертой: переступить? И ведь, по существу, какая разница, топором или как-то иначе? Убивать или же тюкнуть слегка, лишь бы освободилось место? Ведь не для мировой же гармонии убивал Раскольников, а попросту для себя, чтобы старую мать спасти, сестру выручить и самому, самому, боже мой, самому как-то где-то в этой жизни...» И еще он говорил: «Там все было гораздо ясней и проще, ибо был открытый социальный конфликт. А нынче человек не понимает до конца, что он творит... Поэтому спор с самим собой... Он сам себя убеждает... Конфликт уходит в глубь человека — вот что происходит...»

Хотя, по выражению Ганчука, «проблемы перевернулись до жалчайшего облика», игнорирование их в нашем обществе недопустимо. От этого зависят чистота, честность, возвышенность человеческих отношений и — правильная оценка каждого человека.

Вадим Глебов, по прозвищу Батон, никогда не блистал особыми дарованиями. В повести утверждается даже, что за всеми его поступками отчетливо прослеживается «скелет поступков, его постоянный рисунок — это

<sup>39</sup> Морозова Э. Ф., Попов В. П. Указ. соч., с. 170.

рисунок страха». В другом месте повествователь дает еще одно объяснение и сущности, и успехов Глебова: «Он был совершенно *никакой*, Вади́к Батон. Но это, как я понял впоследствии, редкий дар: быть *никаким*. Люди, умеющие быть гениальнейшим образом *никакими*, продвигаются далеко. Вся суть в том, что те, кто имеет с ними дело, до-воображают и дорисовывают на *никаком* фоне все, что им подсказывают их желания и их страхи. *Никакие* всегда везунчики».

И в том, и в другом есть значительная доля правды, главная же часть ее заключается в том, о чем сказала Юлия Михайловна Ганчук самому Глебову, а именно, что «он умный человек, но ум его ледяной, никому не нужный, бесчеловечный, это ум для себя, ум человека прошлого». С носителем такого ума мы уже встречались в «Предварительных итогах», когда знакомились с социологом Гартвигом. Добавим лишь, что не только ум, но чувства — вся натура Глебова — это натура человека прежде всего для себя. В отличие от Левки Шулепы, тоже человека для себя, скатывающегося на дно жизни, у Глебова оказывается недостаточно воли, энергии, изобретательности, чтобы прикрыть неприглядную сущность самыми ортодоксальными терминами и трюизмами, защитить докторскую диссертацию, стать чуть ли не директором какого-то института и членом правления секции эссеистики Международной ассоциации литературоведов и эссеистов. Он — победитель... Он победил, предав учителя, растоптав свою единственную любовь. Из-за него погибли Юлия Михайловна, Соня... С ним не желает знаться даже Левка Шулепа... А поверженный ценой его предательства, оставшийся одиноким восьмидесятишестилетний Ганчук продолжает мыслить, продолжает неизбежно верить в красоту идеала, за который сражался всю жизнь. Он знает, что создаваемый нами новый мир еще очень далек от этого идеала, в нем все еще разражаются трагедии, но при всем этом и жить ради него, и бороться за него стоило. Так воспринимается внутренний смысл слов, что шепчет Ганчук над могилой дочери: «Какой нелепый, неосмысленный мир! Соня лежит в земле, ее одноклассник не пускает нас сюда, а мне восемьдесят шесть... А? Зачем? Кто объяснит? — Он стискивал мою руку цепкой клешней. — И как не хочется этот мир покидать...»

И все-таки только образа Сергея из «Другой жизни» да Ганчука явно недостаточно для того, чтобы читатель получил из творчества Ю. Трифонова четкое представление о соотношении добра и зла в нашем мире. «Камерность», «узость самого взгляда писателя» в «Доме на набережной», по справедливому наблюдению Г. М. Маркова, обусловили то, что «сюжетно-структурная основа повести, по существу, так замкнута в избранной автором форме, что ни героям, ни читателям не всегда удается с необходимостью полностью ощутить присутствие сил, способных разорвать безысходность некоторых судеб и ситуаций. В подобных случаях это вопрос уже не только формы, не только жанра, как такового, а вопрос и философского взгляда писателя».<sup>40</sup>

Вот почему и после создания образа Ганчука голоса тех, кто утверждал, что Трифонов смотрит на советскую действительность «негативным взором», не умолкли. А с появлением повести «Старик» зазвучали сильнее.

Автор назвал свое произведение романом. Назвал по какому-то странному недоразумению. Оно посвящено драматическому эпизоду из истории гражданской войны в СССР, в центре его — раскрытие очень сложного, противоречивого, отличающегося неповторимой индивидуальностью характера Мигулина. Все остальное подчинено этой основной цели. Поэтому видеть в произведении микроэпопею, «малый эпос, кото-

<sup>40</sup> Лит. газ., 1976, 23 июня.

рый захватывает крупные узловые точки нашего развития» (В. Росляков),<sup>41</sup> или концентрированное отражение главных закономерностей описываемого времени, на что почти всегда претендует роман, было бы неверно. Тем более что избранный для изображения эпизод дается в двойном преломлении — сквозь эпоху революции 1917 года и сквозь наше время, конкретнее, начало 1970-х годов.

Надо сразу же сказать, что наше время, в сопоставлении с взлетом первых лет революции, представляется автором отнюдь не в возвышенных тонах. В статье «Познать человека, познать время (о «Старике» Ю. Трифонова)» М. Синельников доказывал: «Изображение современного быта в „Старике“ заострено на разоблачении негативного, на выявлении потребительства, духовной ограниченности, проникающих глубоко в поры каждодневной жизни».<sup>42</sup> И в этом плане повесть смыкается с предыдущими произведениями писателя. Тот же критик пытался доказать, что «Старик» смыкается с ними и в другом: писатель и здесь по-прежнему «не вполне внимателен к позитивным тенденциям жизни и тем самым невольно недооценивает активность добра, возможности противостояния мещанству, всяческой бездуховности». В другом месте последнее названо «ослабленностью положительных начал», «укрепленностью», «нагнетённостью негативного».<sup>43</sup> С этим соглашались и другие критики, включая В. Сахарова.

Очевидец и участник великих событий 1917—1922 годов, Павел Евграфович Летунов, окруженный в конце жизни многочисленными родственниками, все свое время посвящает собиранию материалов о знаменитом в годы гражданской войны комкоре Сергее Кирилловиче Мигулине. Пользовавшийся колоссальной популярностью в самых разных слоях донского казачества, Мигулин с первых дней революции стал на ее защиту, сыграл решающую роль в разгроме каледнинщины. Тем не менее кое у кого из руководителей Южного фронта он вызвал недоверие. Возглавлявший в 1918 году Реввоенсовет страны Троцкий тоже считал, что Мигулин «ведет двойную игру». Подозрения сгустились в особенности после того, как Мигулин решительно выступил против директивы о «расказачивании» и превентивном ударе по возможной Вандее. Предвидя, что это может спровоцировать мятеж казачества, Мигулин протестовал яростно, не щадя и тех, кого называл «лжекоммунистами». Его отстранили от должности, отправили в Смоленск, потом, в критическую минуту, возвратили на Южный фронт, но пытались даже в момент прорыва конницы Мамонтова и общего наступления Деникина не допустить до непосредственных боев. В конце концов он в августе 1919 года двинулся навстречу врагу самостоятельно, за что был объявлен предателем революции, арестован и судим в Балашове.

Так же как в предыдущей повести, в «Старике» Ю. Трифонов начинает повествование от третьего лица, рассказывая нам о Павле Евграфовиче Летунове, напечатавшем в журнале маленькую заметку о Мигулине и вдруг получившем длинное письмо от жены Мигулина, а своей первой любви — Аси Игумновой. Затем повествование берет на себя сам Летунов. В одних случаях он оглядывается на прошлое с высоты нынешнего дня, в других — рассматривает его как непосредственный участник тех событий, начисто отрешаясь от современности, выступая перед читателем в облике юноши 1919 года. Наиболее сильная сцена: февраль девятнадцатого, станица Михайловская, где филипповцы изрубили девятнадцать красноармейцев, и среди них Асю, и куда ворвался Мигулин, чтобы собственным дыханием вернуть жизнь женщине, которая потом

<sup>41</sup> Московский литератор, 1980, 31 окт., № 41—42, с. 2.

<sup>42</sup> Вопросы литературы, 1979, № 9, с. 46.

<sup>43</sup> Там же, с. 49.

неколебимо будет вернуть в его честность, преданность революции. Писатель все время стремится разнообразить формы повествования. Повествователь на наших глазах выступает то как умудренный старик, то как неискушенный в большой политике юноша. Дело в том, что, при всей любви к Мигулину, Летунов в октябре 1919 года был членом суда, приговорившего Мигулина к расстрелу. У Летунова тогда не было сомнения, что в критической обстановке осени 1919 года поступок Мигулина означает предательство. Даже решительный протест старого революционера Ивана Спиридоновича Самойленко (он же комиссар Александр Данилов) против суда над Мигулиным, предваряемого провокационной статьей Троцкого, не мог поколебать этого убеждения. Потребуется пятьдесят лет, чтобы Летунов понял, что Мигулин стал жертвой *неполного доверия* со стороны таких начетчиков от революции, каковы Шягонцев, Браславский, Хуторянский, и, конечно, скрытых провокаторов, вроде Маслюка. Как бы там ни было, пятьдесят лет спустя он скажет: «Мигулин погиб оттого, что в роковую пору спшиблется в небесах и дали разряд колоссальной мощи два потока тепла и прохлады, два облака величиной с континент — *веры и неверия*, — и умчало его, унесло ураганным ветром...» Объяснение, конечно, не бог весть какое глубокое, особенно если учесть тот факт, что в разгар гражданской войны не только происходила прямая схватка противоположных социальных сил, но и предпринимались попытки с помощью коммунистической терминологии, ультраортодоксальных речей скомпрометировать революцию (Троцкий и его последователи). Трифонов, раскрывая трагическую страницу нашей революции, не бросает тени ни на величие, ни на человечность ее. Рассказчик ставит знак равенства между революцией, истиной и звездным часом своим и всего человечества. «Вот завертело когда-то вихрем, кинуло в небеса, и никогда уж больше я в тех высотах не плавал. Высшая истина там! Мало нас, кто там побывал. А потом что ж? Все недосуг, недогляд, недобег...»

Тут начинается наш спор и с Летуновым, и с самим Трифоновым. Летунов, делающий так много для посмертной реабилитации Мигулина, не вызывает у нас ни особой симпатии, ни даже уважения. Это знал и автор повести. Показателен его последний разговор с С. Таском о «Старике»:

«— В отношении вас, — говорил С. Таск, — критики единодушны: главная пружина вашего творчества — вопросы нравственности. Когда я читал „Старика“, у меня все время было двойственное отношение к вашему герою. Существует мнение: понять — значит простить. Старик Павел Евграфович то и дело поступает важными принципами, преступает нравственные законы. Однако порой возникает такое чувство, что автор в чем-то прощает, оправдывает героя по известной формуле — „обстоятельства выше нас“. Так ли это?»

— Вы правы, к старику и должно быть двойственное отношение. Он и жертва времени, и делатель его. Он и спасает память Миронова (прототип Мигулина, — А. О.), мучается воспоминаниями о несправедливости, которая была в отношении него допущена, и в то же время он сам был одной из тех сил, которые Миронова погубили. Это мне и хотелось показать — диалектический подход к жизни.

— То есть вы старались быть по возможности беспристрастным? Мол, вот как это все было, теперь судите сами?

— Я всегда стою на этой позиции. Я не хочу ничего разжевывать или объявлять моральный приговор. Эту работу должен проделать читатель. И потом, мы ведь о людях в жизни выносим обычно неоднозначное мнение. Одни оценивают человека так, другие — иначе». <sup>44</sup>

<sup>44</sup> Лит. Россия, 1981, 17 апр., № 16.

Представители современного нам поколения выступают в «Старике» как люди эгоистичные, направляющие всю энергию «до упора» на то, чтобы обеспечить себе «жизненные удобства». Наследники Летунова беспрерывно напоминают ему о необходимости «переговорить с Приходько» о том, чтобы им передали домик, освобождающийся в кооперативе. Недобитый в гражданскую войну юнкер Приходько ловко приспособился к новым условиям, заставляя старых революционеров испытывать тягостное чувство. Главное же, как представляется Летунову, никого из молодых не волнует тот мир, которым продолжает жить он. «Думал над странной фразой: „Все старики немного «чайники»“. Что этот неприятный человек имел в виду? От фразы исходила тревога. Шизофрения — понятно. Считают его шизофреником. Но при чем тут чайники? Бог ты мой, они сами больны, они больны непониманием, больны нечувствием, о чем мечтал человек с голым и мятым черепом — как его звали? — он говорил, что надо избавиться от эмоций». И — в другом месте, огорченный тем, что даже жена его спросила, кому это интересно сейчас знать правду о Мигулине: «Я объясню: то, истинное, что создавалось в те дни, во что мы так яростно верили, неминуемо дотянулось до дня сегодняшнего, отразилось, преломилось, стало светом и воздухом, чего люди не замечают, о чем не догадываются. Дети не понимают. Но мы-то знаем. Ведь так? Мы-то видим это отражение, это преломление ясно. Поэтому так важно теперь, через полвека, понять причину гибели Мигулина. Люди погибают не от пули, болезни или несчастного случая, а потому, что сталкиваются величайшие силы и летит искрами смерть».

Опровержением этих утверждений и героя, и писателя служит необычайный успех самого «Старика». Нельзя сказать, будто Юрий Трифонов написал совершенное в художественном отношении произведение. Центральный образ Мигулина по существу остался психологически нераскрытым. Он не нарисован, а только описан. Мы не наблюдаем героя ни в боях, ни в столкновении с недоброжелателями из военного окружения, не присутствуем ни на одной из его бесед с Даниловым и обо всем знаем по рассказам других, в объективности которых у нас есть основания сомневаться. Ведь даже самый верный Мигулину человек на вопрос: куда тот двинулся в августе 1919-го и чего хотел? — отвечает молчанием, а Летунов, посвящающий конец своей жизни реабилитации Мигулина, в 1921 году, когда Мигулин снова был арестован по обвинению в подготовке контрреволюционного восстания (и на этот раз расстрелян), на вопрос следователя, допускает ли он возможность восстания, ответил: «Допускаю!» В цитированной выше статье «Пламя и пепел истории» Светлозар Игов резонно замечал: «„Правдоискательство“ Павла Евграфовича из повести „Старик“ в какой-то мере следствие его „нечистой“ совести, потому что, хотя он и горел в пламени революции, он не был ярким языком этого пламени, таким, каким был Мигулин, который невольно вызывает большую любовь».<sup>45</sup> Все это тем досаднее, что автор подталкивает читателя к поиску аналогий между Мигулиным и такими реальными историческими деятелями, как герои гражданской войны Миронов и Думенко. Но это же свидетельствует о том, что на самом деле великая правда революции остается для нашего народа основой его существования, что именно здесь прежде всего проявляется его подлинное упорство.

К сожалению, вот такие, не всегда твердо поставленные в творчестве Трифонова акценты и порождают спорные, а порой прямо противоположные истолкования его произведений. «Хороший писатель. Но — не летал», — сказал о Трифонове В. Солоухин. Сам автор «Москов-

<sup>45</sup> Литературен фронт, 1978, № 44.

ских повестей» считал достоинством их абсолютную достоверность. На вопрос, продолжает ли его мучить недостаток воображения и если да, то чем писатель его компенсирует, Трифонов отвечал: «Не то что мучит... он существует. Я считаю, что компенсировать его не надо. Каждый писатель должен работать в тех пределах, в которых ему работается лучше всего. Хуже нет, как стремиться быть кем-то другим. Я знаю свои возможности. Я действительно не фантазирую, стремлюсь к реалистическому изображению жизни. Вот в этих границах и работаю. Хотя... со временем я начал предпринимать попытки выхода из этих границ. Скажем, в повести „Другая жизнь“ есть такие... выходы метафизического свойства. Наверное, я буду продолжать этот поиск...»<sup>46</sup>

Преждевременная смерть помешала писателю добиться успеха в этом направлении. Его «роман в тринадцати главах» «Время и место» («Дружба народов», 1981, № 9—10) оказался в значительной мере «повторением пройденного» по содержанию и — объемной повестью в жанровом отношении. Горечь, оставляемая произведением в душе читателя, почти неоценима.

«Трифонов был писателем очень суровым, — утверждает Сергей Залыгин. — Он был писателем, по пути которого пойти нелегко и отнюдь не соблазнительно».<sup>47</sup> «Похоже, — писал в связи с «Другой жизнью» В. Дудинцев, — работая над своей цепью бытовых повестей, автор в какой-то степени оказался в плену у среды, служащей ему моделью». На мой вопрос, как определить главную особенность творчества Ю. Трифонова, известный критик В. Чалмаев с несвойственной ему резкостью ответил: «Релятивизм, доведенный до крайности. У него старые люди, оставшиеся верными своей молодости, выглядят чужаками, смешными людьми, воспринимаются современной молодежью как монстры, новое же поколение жаждет материального довольства и ни во что другое не верит. Впрочем, идейная стойкость стариков тоже предельно относительна: Мигулина-то погубил человек, больше всего восхищавшийся им». Не менее категорично мнение П. Проскурина: «Я перестал читать Юрия Трифонова. Перестал потому, что он в своем творчестве вторичен, живет ветхой идеей всеразрушения, обо всем пишет с затаенной иронией, все развенчивает, а за критикой его ничего положительного не скрывается. Списывает действительность, но ничего существенного в ней не открывает».

Исследователи «Московских повестей» обобщают: «Сквозной темой всех этих произведений является обмен нравственных ценностей, человеческого достоинства, положительных душевных качеств на житейский и духовный комфорт, нравственные компромиссы, ведущие, по существу, к деградации человека как личности. В каждой повести эта тема имеет свои акценты, свои повороты, свою смысловую нагрузку, но всегда читатель убеждается в том, что в основе нравственного размена лежит эгоистическое стремление героев сохранить свой душевный покой, глубокий, часто скрытый, эгоизм и равнодушие к людям».<sup>48</sup>

Со всем этим хочется и нужно спорить. В Чалмаеву можно бы ответить, что молодое поколение в повестях Трифонова представлено и такими светлыми фигурами, как Сергей Троицкий, Соня Ганчук, а старое — профессором Ганчуком, писателю, что за критикой Трифонова все-таки скрывается мечта о свободном от какой-либо рутин, непрерывно развивающемся обществе людей, упорно освобождающихся от эгоизма, карьеризма, развивающих в себе потенциал человечности, доброты.

Было бы неверным отрицать, что даже в самых резких и критических высказываниях о творчестве Трифонова есть доля истины, обуслов-

<sup>46</sup> Лит. газ., 1981, 1 апр., № 14.

<sup>47</sup> Там же.

<sup>48</sup> Морозова Э. Ф., Попов В. П. Указ. соч., с. 168.

ленная действительной сложностью его. Но эта сложность не должна мешать читателю увидеть главное. Фрэнсис Коэн по поводу повести «Предварительные итоги» писал: «Критика? Конечно. Осуждение современного советского общества? На мой взгляд, нечто гораздо более положительное, более продуктивное: исследование безо всякого снисхождения... тех сторон жизни сегодняшнего общества, которые нуждаются в изменении».<sup>49</sup> Трифонов всегда стремился к тому, чтобы помочь сделать нашу жизнь динамичнее, богаче и чище. Современная жизнь обедняется оттого, что не все лучшее, ценное берется из прошлого — говорили многие советские писатели, в особенности пишущие о деревне. В нашей действительности недостаточен динамический обновляющийся элемент, в ней больше, чем нужно, от старого, часто оно доминирует, захватывая в плен даже по натуре хороших людей, превращая их в обывателей, мещан, порой мещан поневоле, — возражали другие писатели. Среди них — Юрий Трифонов. Каждым своим произведением он как бы спрашивал: удалось ли нам формы новой жизни сделать такими, чтобы они способствовали развитию в человеке только человеческих его начал?

<sup>49</sup> L'Humanité, 1976, 20.IV.



## СКОМОРОХИ И СКАЗКА

Народная культура средневековья, и в особенности фольклор, в последнее время привлекает все более пристальное внимание ученых. Наибольший интерес вызывает именно русское устное творчество народа, классическое фольклорное наследие. «Специалист по фольклору, независимо от сферы своих интересов, обнаружит в России столь богатый и разнообразный материал, какой едва ли найдешь в Западной Европе», — пишет Э. А. Уорнер.<sup>1</sup>

Английский исследователь Рассел Цгута считает, что своеобразие устной народной культуры в России в значительной мере определяется деятельностью скоморохов. «Скоморохи фактически остаются на Западе неизвестными... Это тем более досадно, что скоморохи имеют для России едва ли не большее значение, чем шпильманы для Германии и жонглеры для Франции», — пишет он во вступлении к своей книге о русских скоморохах и в заключение повторяет эту мысль, придавая ей еще более глубокое значение: «Чтобы до конца оценить русскую литературу, надо прежде всего познакомиться со скоморохами».<sup>2</sup>

Значительно ранее высказывали подобную точку зрения советские исследователи. Д. П. Тихомиров писал: «Мы не должны упускать из виду большой культурной работы скоморохов в Московской Руси». Он предполагает, что «в конце концов скоморох-певец превратился на севере в сказителя былин, на юге в кобзаря-бандуриста... скоморох-гудец — в музыканта».<sup>3</sup>

Вопрос о скоморохах и сказке составляет часть большой проблемы о влиянии скоморохов на процесс формирования устной народной культуры слова, о их роли в создании национального фольклорного фонда.

Древнейшие сказочные формы генетически связаны с синкретическим искусством. В них уцелели элементы мифологического сознания. Генезис сказки связан с постепенным высвобождением из обрядово-мифологического материала. О древней связи сказки с обрядом говорят многие факты, обнаруженные учеными в XIX и начале XX века.<sup>4</sup>

Уже само «сказывание» у многих народов еще в XIX веке связано с оберегами и запретами. В ночную и вечернюю пору оно служило оберегом: сколько сказок рассказано, столько магических кругов положено вокруг избы, где звучит сказка. Злые духи, особенно черти и лешие, любят сказки и, слушая их, не причиняют зла.<sup>5</sup> Сказочники упоминают, что нельзя рассказывать сказки днем, опасно — летом. Если все-таки возникает такая необходимость — нельзя произносить присказок и некоторых других обязательных формул. В Котельничском уезде Вятской

<sup>1</sup> Цит. по: Научно-реферативный сборник: Театр. М., 1983, вып. 1, с. 19—21.

<sup>2</sup> Там же, с. 26—28.

<sup>3</sup> Тихомиров Д. П. История гуслей: Очерки. Тарту, 1962, с. 12.

<sup>4</sup> Новиков Н. В. О проблеме традиционного и индивидуального в советской фольклористике, преимущественно в сказковедении. — В кн.: Русский фольклор. М., 1961, вып. 6, с. 63—80; Зеленин Д. К. Религиозно-магическая функция фольклорных сказок. — В кн.: С. Ф. Ольденбургу: К 50-летию научно-общественной деятельности. Л., 1934, с. 215—240.

<sup>5</sup> Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. Л., 1979, № АА 1920. Ср.: Рошьяну Н. Традиционные формулы сказки. М., 1974, с. 122.

губернии, Екатеринбургском — Пермской еще в начале XX века сохранялся старинный обычай «сказывания» сказок на свадьбах; в Яранском и Уржумском уездах — на посиделках и «беседах» (вечерних сборищах молодежи).<sup>6</sup>

На каком-то далеком этапе эволюции сказка, наряду с другими видами фольклора, включается в репертуар скоморохов. Влияние их на сказку в процессе развития и формирования русской сказочной традиции, как и в бытине, отмечали многие исследователи.<sup>7</sup> Надо полагать, не без влияния работ В. Ф. Миллера вопрос о скоморохах как исполнителях и создателях сказки и, шире, о сказочниках-профессионалах поставил Н. Л. Бродский в одной из своих ранних работ. Он писал: «На народной сказке лежит такой своеобразный отпечаток, тип ее настолько характерен, что невольно приходишь к заключению о сложении сказки в профессиональной среде, отличной от той, которая теперь ею забавляется». Указывая на отшлифованность, клишированность и богатство русских сказочных формул, исследователь заметил, что она... сложилась в среде профессиональных сказочников.<sup>8</sup> Поэтика сказки вырабатывалась столетиями, пока не прекратилось ее развитие и она «не застыла в неподвижных формах», которые начали со временем разрушаться. Позднейший сказочник «только запоминает готовые формулы», комбинируя их по своему вкусу. «Разгуливая в чудесно выстроенном, крепко сколоченном сказочном здании и беспрепятственно расходуя щедро рассыпанные, кем-то накопленные богатства», он «забыл и строителей этого здания, и кропотливых собирателей этих богатств».<sup>9</sup>

Связь скоморохов со сказкой просматривается уже в глубокой древности. В церковных и государственных документах осуждается «баяние басен» и «сказывание небылых сказок», которое составляло существенный элемент семейных и общинных обрядовых празднеств. Сохранились упоминания о награждении придворных бахарей отрезами материи. Известно, что И. В. Грозный также держал при дворе сказочников. Гипотезу о том, что именно «баяние басен» входило в репертуар скоморохов, разделяют многие советские ученые.<sup>10</sup>

В науке существует мнение, что окончательное становление сказочной формы происходило с XI по XVII век, т. е. в период, известный активным участием скоморохов в народной семейной и общественной жизни. Слово «сказка» в его современном значении впервые встречается в документах только в XVII веке (известная запретительная царская грамота 1648 года, направленная против всех проявлений искусства ско-

<sup>6</sup> Зеленин Д. К. 1) Сказочники и сказки Вятской губернии. — В кн.: Зеленин Д. К. Великорусские сказки Вятской губернии. Пг., 1915, с. XIX—XX (далее в тексте — Зел. В.); 2) Великорусские сказки Пермской губернии. Пг., 1914, с. XXVIII (далее — Зел. П.). Еще в XVII веке сказки рассказывались на свадебном пиру знатных бояр (см.: Сказания современников о Дмитрие Самозванце. СПб., 1834, ч. 5. Записки С. Маскевича).

<sup>7</sup> Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности. М., 1897, т. 1, с. 31—32. (Он высказал гипотезу о влиянии скоморохов на русский эпос. Его гипотезу разделяли также ученые, как А. Д. Григорьев, Н. Е. Ончуков, А. В. Марков и др.); Максимов С. В. Заметки по поводу издания народных сказок. — Живая старина, 1897, № 1, с. 48—56; Савченко С. В. Русская народная сказка. Киев, 1914, с. 25—30.

<sup>8</sup> Бродский Н. Л. Следы профессиональных сказочников в русских сказках. — Этнографическое обозрение, 1904, № 2, с. 1—18.

<sup>9</sup> Там же, с. 2, 18.

<sup>10</sup> Соколов Б. М. Русский фольклор: Курс лекций для студентов вузов. М., 1930, вып. 2. Сказки, с. 22; Андреев Н. П. Фольклор и его история. — В кн.: Русский фольклор: Хрестоматия. 2-е изд. М.; Л., 1938, с. 13—14; Азадовский М. К. Русские сказочники. — В кн.: Литература и фольклор. Л., 1938, с. 209; Померанцева Э. В. Судьбы русской сказки. М., 1965, с. 25, 119; Молдавский Д. М. Народная сатира. Л., 1967, с. 84—86 и др.

морохов). В письменных документах до этого времени были употребительны слова «басня», «баять» (сказывать), отсюда и название сказочника «бахарь». Зато в народном языке слова «сказка», «сказывальщик» встречаются настолько часто и наряду с такими понятиями, как «Русь», «русская косточка», «царство-государство», что допустимо предположить более раннее их употребление, чем XVII век. Известно, что документы с значительным опозданием фиксируют новые слова и понятия, возникающие в разговорной речи, и только тогда, когда лексические новации стали широко употребимы, вошли в общественный обиход и общественное сознание.

Упоминаются в сказках слова «кафтан», «сапоги», «колпак», которыми иногда якобы награждают сказочника (финальные формулы и присказки).<sup>11</sup> Сказочные формулы с употреблением названных слов и других в контексте того же хронологического ряда не могли возникнуть ранее появления этих понятий в устной речи.<sup>12</sup> Таким образом, лексические данные также указывают на период русского средневековья.

Характеризуя фольклор Киевского периода, А. И. Никифоров писал: «Особую группу среди профессионалов составляли скоморохи».<sup>13</sup> По замечанию Н. В. Новикова, «русские бахары и особенно скоморохи имеют много общих черт с певцами средневековой Европы, в частности с ирландскими бардами», о которых Ф. Энгельс с одобрением писал, что они «обогатили литературу произведениями, пронизанными национальными настроениями».<sup>14</sup> Эта формулировка достаточно четко выразила значение ирландских бардов в истории народной литературы. Значение скоморохов в истории фольклора восточных славян, и русского в особенности, определяется выразительностью и емкостью созданных ими песенных, сказочных и былинных сюжетов, мотивов и формул. Этот вопрос не нашел еще в науке достаточной разработки.

Разнообразие и выразительность русских сказочных формул, богатство мотивов в присказках, уникальность сюжетики (более 1050 сюжетов из 2400, учтенных по печатным сказочным собраниям исследователями восточнославянской сказки, не отмечены указателями Аарне — Томпсона) неоднократно привлекали внимание сказковедов. Участие скоморохов в выработке сказочной формы запечатлелось в инициальных и финальных формулах, присказках, байках. Содержание последних обычно не связано с сюжетом, их назначение — привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, что характерно и для других произведений, исполняемых скоморохами. «Кто будет сказку слушать — тому сладко кушать; соболю, куница да красная девица».<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Все три слова в широком употреблении с XIV века (см.: Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986, с. 78, 83, 89; Россия XV—XVII веков глазами иностранцев. Л., 1986, с. 110, 144, 173). Арабский писатель и путешественник Ибн-Фадлан, описывая похороны знатного русса в X веке, называет его верхней одеждой из парчи «хафтан» (Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М.; Л., 1939, с. 81). «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера (с учетом материалов словаря И. И. Срезневского) также фиксирует употребление этих слов в XIV—XV веках, судя по названным там памятникам письменности.

<sup>12</sup> Ср.: «Ни в сказке сказать...», «Скоро сказка сказывается...», «Это не сказка, а присказка»; «сказка-складка», «сказка-присказка» и др. Или «гуси с Руси», «русская кость бренчит», «русским духом пахнет». Установлено, что мотив узнавания человека по запаху (кровь, кость, мясо, дух и пр.) есть только в восточнославянских сказках (когда подчеркивается национальность). «В фольклоре же других народов встречаем выражения: „Человечье мясо“, „Человеческий запах“ без указания национальной принадлежности» (Рошину Н. Указ. соч., с. 117). См. также: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986, с. 64—66.

<sup>13</sup> Никифоров А. И. Фольклор Киевского периода (лекции). — Архив АН СССР, ф. 747, оп. 1, № 78.

<sup>14</sup> Новиков Н. В. Указ. соч., с. 77.

<sup>15</sup> Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. М., 1984, т. 1, № 134 (далее — Аф.). Профессионализм сказочников — явление глубоко традиционное в культуре

Иногда внимание мобилизуется возгласом: «Слушай-послушай!» или «Слушайте-послушайте!». Абрам Новопольцев, единодушно признанный наследником скоморошьего стиля сказывания, перебивает повествование шутливыми замечаниями («А спросите-ка гуся, не забнут ли ноги?») и при переходе к новому эпизоду после слов: «Это покинем, ново начнем» — употребляет инициальные формулы.<sup>16</sup>

Выразительно характеризуют исполнителей концовки. «Байка про старину стародавнюю» содержит такие формулы:

Кто богат да скуп: пива не варит,  
Нас, молодцов, не кормит, не поит —  
Тому бог даст кошечье вздыханье,  
Собачье взрыданье.  
Небогатому, да тароватому —  
Кто пиво варит, нас, молодцов, поит,  
Даст бог на поле приплод, на гумне примолот,  
В квашпе спорину, на столе сдвижину.

(Аф., № 428)

Абрам Новопольцев одну из сказок заканчивает так: «Тут и сказке конец, сказал ее молодец, а нам, молодцам (курсив мой, — З. В.), по стаканчику пивца, за окончанье сказочки по рюмочке винца» (Сад., № 4). В связи с цитированным сказковед С. В. Савченко заметил: «Эта обмолвка о „молодцах“ в устах одного сказочника естественно указывает на застывшую традицию и именно традицию скоморошью: „молодцы“ здесь — это те потешники-скоморохи, которые бродили по деревням, рассказывали сказки и веселые небылицы и заканчивали их откровенным указанием на необходимость угостить „молодцов“. Еще резче выступает эта традиция у женщин-рассказчиц, которые заканчивают повествование известной концовкой: „Я там была, мед-пиво пила, по усам текло“. Недаром каждая сказка заключается указанием на пир и на то, что там был и рассказчик, но вина, мол, ему не попало в рот, отсюда намек: не поднесете ли?».<sup>17</sup>

Сказочный материал классических собраний фольклора богат текстами, сохранившими те или иные следы скоморошьеи обработки. Это абсурдные мотивы небылиц в составе инициальных и финальных формул («Снег горел — соломой тушили»), награждение сказочника «ледяной лошадкой, репным седельцем и гороховой плеткой»,<sup>18</sup> которое означает, что он ничего не получил. В основе многих рифмованных потешек использованы мотивы небывальщин, трансформированные в микро-сюжеты:

Жил-то жил жилец,  
На кустике дворец.  
У ево пять овец,  
Да шестой жеребец,  
Седьмая коза — оловянные глаза,  
Телица-пестрица,  
Да Авдотьюшка-сестрица.

(Смирнов, № 246)

Небыличные мотивы образуют некоторые ритмичные и рифмованные докучные сказки: «Жили да были бараб да овца, Поставили на кочку стожок сенца. Поглядели — неладно! — Опять с конца».<sup>19</sup>

народов Востока и Индии и известное уже в древности (см.: *Ольденбург С. Ф.* Странствование сказки. — Восток, 1924, кн. 4, с. 159).

<sup>16</sup> Сказки и предания Самарской губернии / Собраны и записаны Д. Н. Садовниковым. СПб., 1884, № 4 (далее — Сад.).

<sup>17</sup> Савченко С. В. Указ. соч., с. 27—28 (курсив мой, — З. В.).

<sup>18</sup> Смирнов А. М. Сборник великорусских сказок архива Русского географического общества. Пг., 1917, вып. 1—2, № 49, 238 (далее — Смирнов).

<sup>19</sup> ИРЛИ, Р. V, к. 229, п. 1. Возможно, что именно со скоморошьеи традицией связано существование в устном сказочном репертуаре инициальных и финаль-

Хорошо известная по скоморошинам-пародиям конкретно-бытовая заниженность образности («Высота, высота потолочная, Синее море — в лохани вода») <sup>20</sup> присуща сказочным формулам выдающихся мастеров. Если в лирических песнях «добрый конь наступчивый», «виноходный конь» (иноходец), то в сказках эти эпитеты прилагаются к курице и поросенку, усиливая комизм сугубо житейской и не удобной для печати, по нашим понятиям, ситуации: «Тут начиналась сказка, начиналась побаска от сивки и от бурки, и от курицы-виноходки, от зимняка-поросенка наступчатого. Вот поросенок наступает, сказывальщика с г... сбивает...»

Имеются тексты со скоморошьей установкой на истолкование действий и поступков героев. В особенности это касается мотивов хмельного «пития». Так, Савченко видит влияние скоморохов в трактовке отдельных образов северной сказки: Пастух идет к морю, где ждет царевна, обреченная на съедение змеею, и рассуждает: «Царевну змеей съел, а платье никуда не дел — мне на пропой годится». Наградой за подвиги герою дается, по его просьбе, разрешение пить беспощадно по всем кабакам. Иногда пьяница оказывается героем целой сказки, таков «Ивашко, белая рубашка, горький пьяница» (Сад., № 1; Аф., № 296 и др.). Богатство сказочной традиции в местах, отмеченных пребыванием там в разные исторические периоды скоморохов, подтверждает гипотезы о их участии в сюжетосложении и выработке формульности сказки. Запреты на профессию вынудили скоморохов «разбрестись по различным отдаленным углам Руси»; быть может, в связи с этим стоит также богатство былинного предания и обилие прекрасных сказок, обнаруженных здесь. Осевши, скоморохи, естественно, передали и свои запасы окружавшим их крестьянам, самым даровитым и талантливым, ибо хорошим сказочником может быть далеко не всякий заурядный человек.<sup>21</sup>

После работ В. Ф. Миллера, С. В. Савченко, статьи Н. Л. Бродского, сказочных сборников с репертуаром отдельных мастеров возникает в науке интерес к личности сказочника. Вопрос об изучении индивидуального художественного мастерства, о соотношении традиционного и конкретно-исторического, вносимого рассказчиком, ставится как первоочередная задача науки. Сказки публикуются только по репертуару отдельных мастеров (по существу, положения Н. Л. Бродского и С. В. Савченко были приняты без возражений).<sup>22</sup> Лишь Никифоров в своих лекциях и специальной статье отметил, что «взгляд В. Миллера на скоморохов как на главных творцов и хранителей фольклора в древности нуждается в ограничении».<sup>23</sup>

Позднейшие исследователи также объясняли влиянием скоморохов некоторые особенности сказочной формы. Э. В. Померанцева отмечала особое «скоморошеское балагурное направление в русской сказке» и, анализируя ее стиль, писала: «На выработке традиционных приемов ска-

---

ных формул с эротическими мотивами. Образность некоторых из них идет из глубины веков и близка некоторым моментам языческой обрядности (ср.: «Скомраси и игрепы... в личинах ходяще и срамные в руках носяще» и почти карнавальные святочные образы в присказке «Жил царь Картаус. Надел на х. арбуз, на арбуз огурец и поехал во дворец», достаточно известной в устной традиции. — См.: *Никифоров А. И.* Пинежская сказка. — Архив АН СССР, ф. 747, оп. 1, п. 34).

<sup>20</sup> Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Л., 1958, № 27 (далее — К. Д.).

<sup>21</sup> *Савченко С. В.* Указ. соч., с. 30.

<sup>22</sup> Сказки и песни Белозерского края / Записали Б. и Ю. Соколовы. СПб., 1915 (далее — Сок.). См. также аннотацию на статью Бродского: *Русская мысль*, 1904, № 10, отдел XXII (библиогр. обозрение), с. 347.

<sup>23</sup> *Никифоров А. И.* 1) Современный заонежский сказочник-повествователь. — *Этнографічний вісник*. Киев, 1930, кн. 9, с. 183—185; 2) *Фольклор Киевского периода*, л. 9.

зочной поэтики, и прежде всего волшебной сказки, сказалось то, что сказки, очевидно, входили в репертуар древнерусских профессиональных артистов — плясунов, песельников, рассказчиков и бахарей-скоморохов, свидетельства об искусстве которых мы имеем с XI по XVIII век. Жизнь сказки в устах профессионалов... несомненно содействовала выработке стабильности сказочной поэтики.<sup>24</sup>

Д. М. Молдавский видит влияние скоморошьей традиции в зачинах и концовках, в пристрастии выдающихся мастеров сказки к рифме и ритму («скомороший ясак»), в иронической интерпретации даже драматических мотивов, наконец, «в ощущении своего профессионализма».<sup>25</sup> П. Н. Берков, вслед за В. П. Адриановой-Перетц, связывал со скоморохами существование фольклорной пародии, в том числе сказочной.<sup>26</sup>

Несмотря на этот, почти столетие существующий взгляд на скоморохов не только как на исполнителей, но и творцов сказочных форм, нет ни одной специальной работы, посвященной изучению данного вопроса. Неоднократно указывалось на недостаток исследований, раскрывающих эволюцию не только сюжетов, но самой сказочной формы. «Для изучения сказки мы должны привлекать в качестве объяснительного материала историю хозяйства, экономику и связанные с ними социальные явления... Элементы сказки надо сравнивать с элементами материального производства, с явлениями социального строя, с обрядами, обычаями, верованиями народа, у которого найдена сказка». — писал В. Я. Пропп.<sup>27</sup>

Известный современный сказковед Л. Г. Бараг находит недостаточно исследованной «систему художественных стилистических средств рассказчиков»: «Нет работ, посвященных стилистическому анализу сказок в связи с сюжетными жанровыми особенностями и мастерством рассказывания».<sup>28</sup> Изучение проблемы «скоморохи и сказка» помогло бы ответить на некоторые вопросы сказочной поэтики в ее конкретном выражении. Главная причина неисследованности влияния скоморохов на сказку — трудность получения необходимых данных. Следы художественного присутствия скоморохов растворяются со временем и исчезают уже к концу XVIII—началу XIX века, когда, по мнению исследователей, сказка не только остановилась в своем развитии, но и начала утрачивать каноническую стройность сюжетов, традиционную чеканность формул, ритмическую повествовательную основу. С постепенной утратой и забыванием технических приемов сказывания начинается размывание стилистических средств, укорачивание формул и исчезновение их из устного фонда народного слова. Последние публикации новых записей сказок отличаются бедностью языка и образности, полным отсутствием сказочных формул.

Конечно, полностью учесть накопленный сказочный материал исследователю трудно: он не всегда доступен и необозримо велик. Между тем именно в случайно пропущенном тексте могут сохраняться существенные элементы повествования для выводов по такой сложной теме, как «скоморохи и сказка». Но даже неполный обзор материала дает возможность для определенных заключений и убеждает в необходимости продолжения разработки поставленной темы.

<sup>24</sup> Померанцева Э. В. Указ. соч., с. 25, 119.

<sup>25</sup> Молдавский Д. М. Указ. соч., с. 84—86.

<sup>26</sup> Берков П. Н. Из истории пародии XVIII—XX веков. — В кн.: Вопросы советской литературы. М.; Л., 1957, вып. 5, с. 229.

<sup>27</sup> Пропп В. Я. К вопросу о происхождении волшебной сказки. — Сов. этнография, 1934, № 1—2, с. 130 (курсив мой, — З. В.).

<sup>28</sup> Бараг Л. Г. Этническое и межэтническое в сказочном эпосе восточнославянских народов. — В кн.: Проблемы фольклора. М., 1975, с. 220.

Прежде всего следует выяснить, сохранился ли в сказках, нашел ли в них хоть какое-то отражение сам по себе образ скомороха, запечатлелись ли в них те или иные черты его искусства, сюжеты с печатью скоморошней традиции? Учет такого рода материала позволит проследить дальнейшую его эволюцию и поставить вопрос о степени сохранности конкретных художественных приемов, присущих скоморошьему стилю сказывания. Нереально рассмотреть все эти вопросы в пределах одной статьи. В данной работе предпринята попытка проследить, какое отражение нашел в сказке образ скомороха, а также атрибутировать в качестве скоморошских отдельные сказочно-легендарные сюжеты.<sup>29</sup>

\* \* \*

Вопрос об отражении в сказке образа скомороха имеет свои трудности. Пожалуй, главная из них даже не огромный объем материала, а то, что слово «скоморох» после запретительных грамот вытеснялось; исчезал, размывался и образ скомороха. Как станет ясно из дальнейшего, это понятие заменялось другими, не всегда близкими по смыслу: «бес», «шут», «колдун», «старец», «странник», наконец, «солдат». Соответственно менялся и текст. Лишь немногие сказки из районов Севера, Урала и Поволжья сохранили и образ скомороха, и само понятие. Тем не менее следы былого присутствия скоморохов в сказке прослеживаются иногда в отдельных фрагментах. Так, некий солдат взялся изгнать бесов из богатого и просторного дома. Их 12 во главе с атаманом. Бесы ведут себя странно: «Зачали все комеди приставляти. У бесов испрошли все комеди. — Давай, солдат, приставляй ты: у нас все вышли». Изгнанные солдатом из дома, они поселились в лесу «на Круглом острове», где стало происходить «какоей-то мленьё». «Атаманишко» потребовал от солдата заклатья, чтобы не беспокоить их в лесу, и солдат уступил (Зел. В., № 40). Поскольку представления скоморохов назывались в церковных «словах» «позоры некакы бесовскы» и, кроме того, известно, что во главе скоморошских ватаг стоял атаман, мы вправе предположить, что в данном эпизоде сохранился отголосок скоморошских представлений.<sup>30</sup>

В древности скоморохи совмещали в одном лице играца и певца, плясуна и гудца. Играющими и одновременно приплясывающими изображены скоморохи на фресках Софийского собора в Киеве. «Русский скоморох на миниатюрах рукописей (в заглавных буквах) играет на гусях, водит зверей, борется, трубит в трубу, позже — водит медведя, фиглярствует и т. д.», — писал А. И. Никифоров.<sup>31</sup> По этому признаку — одновременному владению разными видами искусства — можно установить изображение в тексте скомороха, если даже он не назван. В сказке из

<sup>29</sup> За пределами данного исследования остается анализ мотивов сказочных небылиц, присказок, богатейшего фонда сказочных формул, сказок-дразнилок и сказок-пародий. Специфика этого материала требует учета максимального числа вариантов и уводит от основной темы данной работы.

<sup>30</sup> Ср. эпизод из церковно-учительной легенды «О пляшущем бесе» (список XVI века): «Яко некогда седящу ми в келии своей и делающу ми рукоделия, и пояс псалтырь из уст, и видево отрока, влезша дверцами моими, срачина в скомрашь одежи; истав предо мною, нача плясати... И рече ми: „Старче! Добро ли я пляшу?“ И паки рече: „Горазд ли ты есмь и како пляшу?“ И не отвещавшу ми ничто же к нему» («Понеже, пояс псалтырь, дремах», — З. В.). Когда старец начал читать известную молитву «Да воскреснет Бог», скоморох исчез. Характерно, что старец счел его за беса. Так же отзывается о скоморохах предподобный Нифонт (XIV век): «Яко же труба, гласящи, собирает вон, молитва же творима совокупляет ангели божия, а сопели, гусли, песни неприязньскы, плясанья, писканья собирают около себе студныя бесы» (Памятники старинной русской литературы / Под ред. Н. И. Костомарова. СПб., 1860, вып. 1, № 15 — «О пляшущем бесе»; № 186 — «О бесовском князе Лазиконе»).

<sup>31</sup> Никифоров А. И. Фольклор Киевского периода, л. 9.

Пудожского уезда упоминается «молодец на сером коне: и стоя стоит, и в гусли играет, и песни поет, и пляшет».<sup>32</sup>

Н. Ф. Финдейзен заметил по поводу заставки с гусяром в евангелии 1358 года: «Костюм (темно-синий кафтан, красные сафьяновые сапоги) и головной убор, приплясывание и дополнительная надпись „Гуди гораздо!“ именно говорят за то, что в данном случае мы имеем перед собою изображение поющего, играющего и пляшущего скомороха».<sup>33</sup> Характерно, что в сказках (финальные формулы) рассказчик награждается синим кафтаном, красными сапогами или башмачками, красным колпаком («дурацкий колпак»), после чего его выталкивают в шею (Аф., № 250, 292, 432). По-видимому, атрибутами скоморошьей одежды могли награждать только скомороха. Финальная формула с кафтаном произносилась даже в XIX веке без изменений и женщинами-сказочницами: «А мне дали красный колпак, как зачали меня в шею толкать; а дали мне синий кафтан, ворона летит, говорит: „Синь кафтан!“ А я думала: „Скинь кафтан“, взяла и скинула».<sup>34</sup> Сказочница, по-видимому, не осознавала, что колпаки и кафтан носили мужчины, и просто повторяла привычную сказочную формулу-концовку от своего лица.

Со временем в среде скоморохов произошла дифференциация по профессиональному признаку (гусяры, дудари, сопельники, гудочники, домрачей и пр.). Но внутренняя организация скоморошских ватаг сохранялась: во главе стоял атаман, был мехоноша, запевала, певцы и игрецы (актеры), бахари и музыканты.<sup>35</sup>

Народным музыкальным инструментам далекого прошлого в сказках уделяется много внимания. Их звучание необычно, оно всегда волшебное, дивное, божественно прекрасное. В такой оценке сохраняются следы сакрального отношения к музыке, уцелевшего от времени, когда сами инструменты считались священными и запретными. Известно, что такие инструменты изготовлялись иногда даже из человеческих костей.<sup>36</sup> В сказках есть примеры того, что струны делаются из человеческих жил (Смирнов, № 4).

С изменением характера общественных отношений изменилось и отношение к музыке, зазвучавшей на празднествах, игрищах и свадьбах. В сказках музыкальные инструменты изображаются всегда как предметы волшебные. Это «чудесный» рожок, «чудесная» скрипка, игра которой восхищает даже черта в аду (Аф., № 212, 230, 271); «райская», «говорящая», «волшебная» дудочка вызывает таинственное существо «Сам — с локоть» (Зел. П., № 43), поет, выговаривая слова, обличает виновников злодеяния.<sup>37</sup> Ее срезают из тростинки купцы, бурлаки, мужики (Аф., № 245, 246, Зел. П., № 76), пастушок либо овчары, вытеснившие скоморохов, когда-то восстанавливавших справедливость.

Гусли в сказках — «чудо чудное, диво дивное» и называются «гусли-самопевцы», «самогуды», они сами «пляшут, сами песни поют, сами

<sup>32</sup> Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. СПб., 1867, ч. 4, с. 206.

<sup>33</sup> Финдейзен Н. Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М.; Л., 1928, вып. 2, с. 122; см. также: Кашиш Н. П. Значение книги в древней Руси. — В кн.: Книга в России. М., 1924, ч. 1, с. 45.

<sup>34</sup> Худяков И. А. Великорусские сказки. СПб., 1862, вып. 1, № 21.

<sup>35</sup> Северодвинская «Повесть о гордом Аггее», известная в двух списках как «редакция со скоморохами», упоминает о существовании в скоморошьей ватаге атамана («повелел в особой палате вечеряти») и мехоноши (Аггея): «Они же прияша его и даша ему службу — мех носить... С голоду умрети имам, они мя сыто кормят» (Ромодановская Е. К. Повести о гордом царе в рукописной традиции XVII—XIX веков. Новосибирск, 1985, с. 340—341). См. также: Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. СПб., 1883, гл. VI—X.

<sup>36</sup> Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки, с. 105.

<sup>37</sup> В некоторых вариантах «Утушки» с мотивом «Брата Романа убили» убийцу обличают скоморошки, сделав гудок из тростинки с могилы убитого.

пшть подают» (Аф., № 38, 204, 215—216; Зел. В. № 4—5). В польском языке слово «гусли» и производные от него, по замечанию И. Д. Беляева, имели значение колдовского действия. Эпитет «самогуды» образован, возможно, от слова «гудок» (старинный смычковый инструмент). Упоминаются в сказках сказочный рог и трубы (Аф., № 186, 212, 315 и др.). В рог трубят богатыри, вызывая несчетную силу войска. Трубы употребляли на свадьбах, отсюда устойчивый образ трубы в свадебных песнях: «Затруби, трубонька, затруби, золоченая» или «Затрубили трубоньки рано по заре, Заплакала Анна по русой косе» и в пословицах: «С трубами свадьба и без труб свадьба».<sup>38</sup>

Музыканты в народных сказках — удачливые, талантливые умельцы. Их игра необыкновенна, все живое принимается плясать: и люди, и животные, и предметы, даже стадо свиней (Аф., т. 3, доп. II, № 24, 26, 35). На такую оценку музыки и музыкальных инструментов несомненно влияло мастерское исполнение скоморохов-профессионалов. Напевы некоторых плясовых песен, отличающихся задорным, веселым и быстрым ритмом, Н. Ф. Финдейзен обоснованно относил к традиции скоморохов.<sup>39</sup>

Владеют в сказке этими волшебными звучащими инструментами загадочные персонажи, преимущественно старики странного вида. Они-то и награждают ими героя сказки. Таков «старичок, который спустился с неба на сером коне» (Зел. II., № 5, с. 46) или седой старик с рогами. Когда крестьянский сын Ванька попросил у него гусли-самогуды, то «у старика глаза на вершок выкатились, рот до ушей раскрылся, а рога на лбу так и запрядали» (Аф., № 238). Внешний вид старика напоминает изображения скоморохов раннего средневековья в их рогатых шутовских колпаках с бубенчиками.

В довольно редкой сказке «Гусляр-приказчик» игра на гусях так хороша, что народ валом валит в лавку послушать чудесную музыку, благодаря чему и торговля идет с небывалым успехом.<sup>40</sup> Иногда гусляр сам описывает волшебные свойства инструмента: «Мои гусли не простые: за одну струну дернешь — синее море станет; за другую дернешь — корабли поплывут; а за третью дернешь — будут корабли из пушек палить» (Аф., № 215). Это метафорическое изображение высокой степени выразительности гусельной игры. Конечно, на гусях играли не только скоморохи, но и дружинники, и, вероятно, были любители среди населения слобод и посадов. Однако игра профессионалов, особенно талантливых, несомненно превосходила любительскую.

Встречается в сказках и образ мастера-гусельщика, владеющего и умением играть: «Старик взял дощечку, навязал струны, остановился у кабака и давал разные песни наигрывать. Что тут народу собралось — видимко-невидимо!» (Аф., № 230). Традиция играть и петь у кабаков возникла едва ли не со времени их учреждения во времена И. Грозного.

<sup>38</sup> Беляев И. Д. О скоморохах. — Временник ОИДР. М., 1854, кн. 20, с. 70; Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и обряды. М., 1839, вып. 4, с. 130.

<sup>39</sup> Анализируя плясовую песню «У ворот, ворот, ворот» с припевом «Ай, Дунай мой Дунай, Ай веселый Дунай» и известными стихами: «Я гудочик под полу, под правую сторону... Я ударю во струну во серебряную», — исследователь спрашивает: «Какая же это хороводная песня? Все элементы скоморошества в ней налицо: и короткий четырехтактный развеселый напев с припевом „Ай, Дунай мой Дунай“... и содержание песни шутовское, чисто скоморошье, тем более что рассказ ведется от своего лица». В заключение, рассмотрев целый ряд песен, он замечает: «Несомненно только, что приведенные напевы — не подлинный репертуар их (скоморохов, — З. В.), а только перепевы и варианты, пережившие целый ряд поколений...» (Финдейзен Н. Ф. Указ. соч., с. 168—169).

<sup>40</sup> Ончуков Н. Е. Сказки Тавдинского края. — ЦГАЛИ, ф. 1366, оп. 1, № 15; Аф., т. 3, поп. II, № 37; Сказки Красноярского края / Сб. М. В. Красноженовой. Л., 1937, № 8, с. 81—92.

Она нашла отражение в сказках и отмечалась путешественниками в XIX веке. У кабаков же рассказывались разные небывальщины и давались небольшие представления. Так, «Ванька-запечник, царский сын... всякие премудрости врет и представляет по кабакам и питейным домам».<sup>41</sup>

Иногда герой сказки заказывает мастеру: «Сами бы гусли играли, а под их музыку все бы волей-неволей плясали» (метафорическое изображение высокого мастерства игры, которая так легко исполняется, что усилия незаметны). Мастер согласен принять условия, но с уговором: «Как стану я гусли настраивать — чтоб никто не спал! А коли кто уснет да по моему оклику не встанет, с того голова долой!» И хотя гусельный мастер жил в дремучем лесу, среди слушателей оказались два боярина, которые и поплатились головами (Аф., № 216). Включение в сказку социальных мотивов, вопреки логике повествования, не исключение, а скорее норма, ибо «производные формы в волшебной сказке связаны с действительностью. Целый ряд трансформаций объясняется вторжением ее в сказку».<sup>42</sup>

Редки образы талантливых исполнителей-гуслиаров. В редком сказочном сюжете «Гуслиар на Груманте» герой, оставленный на острове промышленниками, так хорошо играл на гуслиях, что заставил плясать невидимку: «Слышно, что кто-то пляшет — только платье шумит» (Аф., № 228; т. 3, доп. II, № 37).<sup>43</sup>

Сказочники, и в особенности сами скоморохи, не только допускали вторжение действительности в сказку, но и перелицовывали традиционные мотивы, так что возникал новый смысл и звучание. Такова уникальная сказка «Веселой», известная только в русской традиции, где соединены известные мотивы: союз человека и животных; подкарауливание ночного вора (Зел. П., с. 352).<sup>44</sup>

Центральный мотив — приготовление пива в озере — из анекдотов о дураках. Им замысел не удается, а Веселому по особой сказочной логике удалось, и пиво заваривается. Начало сказки лаконично сообщает о нелегком положении скомороха: «Жил-был Веселой. Все он гулял везде по селам. Всё на него говорят, што бы где ни потерялось, а он сном этого дела не знает. Берет себе скрыпочку, идет путем-дорогой». Передана обстановка, в которой находились поздние скоморохи, преследуемые и утрачивающие доверие народа. Волк и медведь напрашиваются к Веселому в товарищи, и все трое бредут лесной дорогой. Увидев возы с толокном, бурей опрокинутые в озеро, они натаскали хмелю, заварили пиво, стали поживать да пиво попивать, а когда стало оно по ночам убывать, то укараулил вора Веселой: «Отправился со своей скрыпочкой, станвится к сосне. Подходит баба-яга... сбрасывает ведро, коромысло с себя, давай уезживать-плясать». Сказка, видимо, местного происхождения (образ «вятских» мужиков с возами толокна).

<sup>41</sup> Живая старина, 1897, № 1, с. 119. С. П. Шевырев, путешествуя по Вологодскому краю, спрашивал: «Рассказывают ли у вас на посаде сказки? — Бывает иногда. — Да где же больше рассказывают? — Да по трактирам шляются такие сказочники; веселят народ» (*Шевырев С. П. Поездка на Кирилло-Белозерский монастырь* в 1847 году. М., 1850, ч. 1, с. 33).

<sup>42</sup> *Пропл В. Я. Фольклор и действительность*. М., 1976, с. 159.

<sup>43</sup> См. также: *Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии*. М., 1874, ч. 2, № 9, с. 234; *Озаровская О. Э. Пятиречье*. Л., 1931, № 23; см. также: *Бородина-Морозова Э. Г. Сказания и песни о Груманте*. — В кн.: Север. Архангельск, 1947, № 9.

<sup>44</sup> Сюжет в «Сравнительном указателе сюжетов. Восточнославянская сказка» не отмечен. Указанные мотивы встречаются в сказках с другими сюжетами.

\* \* \*

Следы сказочного творчества скоморохов обнаруживаются в репертуаре бродячих артелей переходящих ремесленников: швецов, бурлаков, плотников, пимокатов (катанщиков), пастухов, коновалов. Данные писцовых книг свидетельствуют, что скоморохи обитали в ремесленной среде городских посадов, пригородных слобод.

В XV веке в г. Яме из 89 городских дворов 28 принадлежали ремесленникам, среди них — шесть скоморошьях. «Интересно распределение этих 28 дворов между „средними“ и „молодшими“ людьми, — пишет В. Н. Бернадский. — Пастухи и скоморохи отнесены к „молодым“ людям. Записаны они только по имени, без отчества: Игнатко-пастух, Захарко-пастух, Родивонко-пастух, Игнат-скоморох, Олексейко да Родивон — скоморохи, а в одном случае писец ограничился даже кличкой («Зеленя-скоморох»). Лишь один из скоморохов и один из пастухов удостоились того, что их записали с отчеством («Олухнов Куземка-скоморох, Денисов Ондрей-пастух»). К „молодым“ людям отнесены писцом и швейники (трое портных и швец), чье производство не требовало оборудованной мастерской и кто, вероятно, обычно работал на дому у заказчика».<sup>45</sup>

В XVI веке скоморохи отмечены писцовыми книгами в г. Торопце. Их занятие было, видимо, прибыльным. «В 1540 году из 597 человек тяжелых людей шестеро были скоморохами. Они в писцовой книге не названы по отчеству... но без сомнения не принадлежали к числу бедняков: трое из них имели свои собственные дворы, один владел двором совместно с другими (шабрами), остальные двое жили на чужих дворах, но все шестеро жили в отдельных избах».<sup>46</sup> Портных было немного, между ними епанечники.

В XVII веке число портных доходило уже до 19 человек. Это увеличение происходило, возможно, за счет присоединения к ним скоморохов.

Иная картина в положении скоморохов была в это же время в Вятском крае. В переписной книге по г. Хлынову за 1615 год («бобыли Миронко Веселой, Нефедко Плясов, Колупайко-Скоморох») записаны среди красильников, шапошников, седельников, банщиков, овчинников. Упомянуты опустившиеся до положения нищих Веселые Фтюря и Ивашко, а также вдова Анютка Бесова.<sup>47</sup>

Когда по грамоте царя Алексея Михайловича Успенскому вятскому монастырю возвращали принадлежавшие ему прежде земли, то в городской посад велено было переселить пятерых портных и с ними одного скомороха. Приказывалось «землю монастырскую очистить»: «И в нынешнем во 159 году сентября в 21-й день по нашему указу... из слободы, которая в посаде около монастыря... да в ней из девяти человек портных мастеров пять человек да скомороха взять в посад, лутчих прожиточных людей». Местные власти распорядились выселить в посад конкретных лиц. При этом у двух портных фамилии указывают их скоморошье происхождение: «Баженко Панкратов, сын *Гусельников*, Левка Левонтьев, сын *Смычков*» (курсив мой, — Э. В.). В местном указе о выселении сказано: «...ис портных мастеров пять человек лутчих и прожиточных людей да скомороха Данилко Ларивонова з детми и с братьею, и с племянники и со внучаты велели взять в Хлынов на посад».<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Бернадский В. Н. Новгород и Новгородская земля в XV веке. М.; Л., 1961, с. 128—129.

<sup>46</sup> Торопецкая старина: Исторические очерки г. Торопца с древнейших времен до конца XVIII века / Исследование Ивана Побойника. М., 1902, с. 271, 324.

<sup>47</sup> Труды Вятской ученой архивной комиссии. Вятка, 1906, вып. 3—4, с. 6—7, см. также: с. 14, 17, 21.

<sup>48</sup> Там же, с. 66—67.

Все эти примеры показывают, что репертуар скоморохов расходился и закреплялся в среде городских ремесленников, какими были они и сами.

Возникшие некогда контакты швецов и скоморохов образовали со временем прочную традицию, в результате которой швецы стали в какой-то мере наследниками и хранителями произведений скоморошьего искусства, так же как и пастухи, репертуар которых обогатился особыми заговорами, оберегами и другими полезными навыками сохранения и бережения стад. Писатель-этнограф С. В. Максимов обратил внимание на это обстоятельство еще в середине XIX века.<sup>49</sup> Наблюдавший многократно в детские годы работу заходящих швецов на селе, он позднее дал убедительный социальный анализ самого явления. «Натруживая грудь и спину и подвернувши под себя ноги калачом», швецы «...ведут свою бесшумную и скучную работу, располагающую к задумчивости, порождающую привычку к самоуглублению, как у олонецких сказителей... С другой стороны, налаженная деревенская привычка... требует коротать докучное осеннее время длинными-предлинными сказками, мудреными загадками и веселыми прибаутками». Описывая галицких швецов по личным впечатлениям, писатель замечает, что один из них поменьше работает, побольше балагурит. Пословицы о швецах указывают еще одну общую у них с поздними скоморохами черту: ловкость рук и вороватость: «Нет воров супротив портных мастеров: им только мерку снять да задаток взять». Или: «Мы швецы-портные — воры клетные: день с иглой, а ночь с обротью (ищем поймать лошадь о трех ногах)».<sup>50</sup> Однако подобные действия вели к плохой репутации, которая, как известно, «по дорожке бежит», и тогда от худой славы приходилось «податься в бурлачину». Если в селе оказывалось много работы, то швецы снимали на определенный срок свободную избу. Образ «швальной» избы запечатлен в пермской игровой песне:

Утка шла по бережку,  
Серая шла по крутому,  
Детонек вела за собою:  
— Детоньки, постойте,  
Маленьки, постойте,  
Я схожу недалечко —

В ту избу во швальную.  
В той избе во швальной  
Шьют швецы-портные:  
Пуговки золотые,  
Петельки шелковые,  
Басенки бают баские.<sup>51</sup>

В основе некоторых сказочных сюжетов, возможно имеющих источником устно-поэтические традиции скоморохов, заключены различные способы вымогательства. Именно такую сказку, оценив ее уникальность, опубликовал С. В. Максимов и позднее ввел ее в свой рассказ «Швецы»,

<sup>49</sup> «В среде народа выработался на место отживших свой век скоморохов свой класс хранителей и распространителей сказки в тех деревенских бродячих ремесленниках, которые известны под именем швецов» (Максимов С. В. Заметка по поводу издания народных сказок. — Живая старина, СПб., 1897, вып. 1, с. 112—113). Аналогичны наблюдения Д. К. Зеленина о «пимокатах»: «Мы катам валенки, дак бабы домогаючча: россажи-ко, катанщик, сказочку». Один из его сказочников швец Н. И. Козлов выучился сказкам, портняжничая (см.: Зел. В., с. XXI).

<sup>50</sup> Максимов С. В. Собр. соч.: В 22-х т. СПб., 1909, т. 13, ч. 1, с. 52—53. В плясовой песне, записанной от бывшего бурлака, поется:

Нет таких, братцы, воров — как портных-то мастеров!  
Ани пьють-едять гатова, носять краденая:  
Сукны-бархаты краять да все ястатачки таять,  
Ани земских жен дарять да зеленым вином паять.

(Рязанский краеведческий музей,  
коллекция Е. Ф. Грушина.  
См. его запись 1902 года  
в дер. Свинчус Рязанской губернии)

<sup>51</sup> Записано от П. Е. Безматерных из дер. Филихины Оханского уезда Пермской губернии. — ИРЛИ, Р. V, к. 229, п. 3, № 1, л. 1.

считая своеобразным шедевром: «В сказке — кстати портных о портном — уберегся и былинный прием рассказа, и основной характер сказок — чрезмерная небывальщина и широкий размах фантазии».<sup>52</sup>

Писатель обратил внимание на специфические черты скоморошьего стиля: ритмичность сказа, особую фантастичность, необычный тип художественности.

В центре сказки образ портного-сказочника и царя, желающего услышать такую сказку, которой никто не слышал, и обещающего за это дочь и полцарства. Однако охотников не находится, но приходит швец (из кабака) и требует: «Извольте меня напоить-накормить, я вам буду сказывать». Сообщив, что его «батюшка был богатого живота человек» и построил такой сказочный дом, что «голуби по шелому ходили, с неба звезды клевали», а во дворе «от ворот до ворот за целый день голубь не мог перелетывать», швец спрашивает, слышали ли такую сказку царь и бояре. Узнав, что не слышали, рассказчик откладывает продолжение ее до следующего вечера. На другой вечер, снова потребовав угощения, швец повторяет присказку и добавляет еще один эпизод: во дворе был «выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом другой; во трубы трубят и в рога играют, а друг у друга лица не видят и голосов не слышат». Затем сказывание вновь откладывается до следующего вечера. Царь, видя, что швец — «человек непутный», предлагает боярам солгать, т. е. сказать, что слышали сказку, и в этом расписаться. В третий раз швец, повторив ранее сказанное, добавляет: «И на дворе была выращена кобыла, по трое жеребят носила и все третьяков. И он (отец швеца, — З. В.) в ту пору жил гораздо богато! И ты, надежда-царь, занял у него 40 тысяч. Слышали ли такую сказку вы, господа бояре, и ты, надежда царь великий?» Бояре дают расписку, что слышали, царь оказывается в трудном положении: надо отдать полцарства и дочь, либо 40 тысяч денег. Он отдал деньги. «И пошел этот портной опять в кабаки с песнями». В варианте Соколовых, записанном также от швеца Парамона Богданова, концовка иная: «Живет — деньги и кони — и шить не ходит!» (Сок., с. 270).

На скоморошье происхождение сюжета указывают два момента. За швецами не закрепилась репутация пьяниц — ведь они зависели от заказов населения и, следовательно, рисковали заработком. Скоморохи же обычно требуют в награду «рюмочку винца, стаканчик пивца»; проповеди отцов церкви называют их иногда «скаредными пьяницами». Показательна в этом отношении старинная пословица: «Аршин сукна шведам, а кувшин винца певцам».<sup>53</sup> В рассматриваемой сказке швец не просит — требует угощения. Требовательный тон, сопровождаемый угрозой какого-либо наказания хозяину, особенно показателен для колядок и виноградий, волоческих и выюниных песен и в фольклоре ведет свое начало от традиции скоморохов.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Сказка была записана ссыльным петрашевцем Д. И. Баласогло в 1849—1850 годах в Сенногубском уезде Олонецкой губернии. — Живая старина, 1897, вып. 1, с. 52—54, 112—113. Ср. также мотив финальной формулы: «Стали жить да быть да колпаки кроить; тебе дали, мне послали...» (Аф., № 246).

<sup>53</sup> Симоны П. К. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и пр. XVII—XIX столетий. СПб., 1889, с. 76. В былинах мотивы пьяного разгула рассматриваются нередко также как влияние скоморошьей традиции. См.: Миллер В. Ф. Указ. соч., с. 310; Аникин В. П. Об историческом изучении былин. — Русская литература, 1984, № 1, с. 118.

<sup>54</sup> Традиция требовать угощения и платы складывалась в условиях раннего средневековья, когда скоморохи были еще организаторами и зачинщиками обрядовых празднеств, участниками свадеб и похорон. По звуку рожков, сопелей, бубнов и «струнному гудению» начинались русалии, празднества на Иванов день (Акты исторические. СПб., 1842, т. 1, № 18). Требование платы было для них естественным, это был их заработок, и население признавало за ними право на вознаграждение.

Сюжеты, отразившие разные формы вымогательства платы, денег, влезаются в сказочные небывальщины. Такой тип сюжета характерен именно для этой разновидности сказок. Реализация этого сюжетного типа в приведенной выше сказке не только оригинальна, но и уникальна. Кроме текста, сохраненного записью Д. И. Баласогло, только Б. и Ю. Соколовыми записана в Вологодской губернии присказка, контаминированная из мотивов разных небылиц. Она включает и краткое упоминание центрального мотива изложенной выше сказки:

На острове ходит бык,  
Его пасут два пастуха:  
Один сидит на рогу,  
Другой — на другом.  
Затрубят —  
У друг-дружки голосу не слышно.

(Сок., № 147)

Отсутствие близких вариантов в сказочных сборниках скорее подтверждает, нежели опровергает гипотезу о сложении этой сказки скоморохами. Ведь так же уникальны «Путешествие Вавилы со скоморохами» и «Старина о большом быке», записанные в Архангельской губернии.<sup>55</sup>

Фрагмент Соколовых из Вологодского региона (появление скоморохов в Вологде связано с пребыванием там Грозного, намеревавшегося сделать Вологду столицей) также может служить косвенным подтверждением скоморошьяго происхождения сюжета. Возможно, что некогда была известна здесь и сказка о царе и портном, но со временем утратилась, оставив в памяти лишь полужабытый мотив. О скоморошьем происхождении текста свидетельствует и форма, и содержание присказки — контаминация небылиц в стихах.

Сюжет о награждении за ложь известен на Севере, но его художественная реализация иная.<sup>56</sup> В вариантах его уже нет столь отчетливо выраженных черт скоморошьяго стиля.

\* \* \*

Среди легендарных сказок имеется сюжет, не только посвященный скомороху, но и утверждающий святость его профессии, нужность ее людям. Это «Вавила-скоморох» (Сад., № 98) или «Вавила Московский» (Смирнов, № 17). Известен в двух записях вариант этой же сказки из дер. Юбра Пинежского уезда; 1-я сделана О. Э. Озаровской от Т. Кобелевой, 2-я через 25 лет от нее же Н. И. Рождественской.<sup>57</sup> Эти три варианта и отмечены в «Сравнительном указателе сюжетов». Самый полный из них представлен в записи Д. Н. Садовникова и заключается в следующем. Пустынник 30 лет молится богу и наконец приходит к мысли, что превзошел всех святостью, но тут узнает от Николая-угод-

<sup>55</sup> Отсутствие в народной среде понятий об авторстве, о сочинении объясняется тем, что в устной прозаической и поэтической народной традиции не было осознанного авторства, хотя объективно оно имело место, о чем свидетельствуют немногие из дошедших до нас произведений скоморохов, где повествование ведется от первого лица. Подобный факт отмечен в исландской культуре раннего средневековья и характерен для ранней стадии фольклора всех народов (см.: *Стеблин-Каменский М. И.* Культура Исландии. Л., 1967, с. 133—134).

<sup>56</sup> Сравнительный указатель сюжетов... № 1920 С: «Барин (царь) награждает за ложь (неслыханный рассказ). Вариант, где мужик также получил 40 бочек серебра и золота, записан А. И. Никифоровым в Косм-озере (в сборник не вошел) (ИРЛИ, Р. V, кол. 120, № 87).

<sup>57</sup> *Рождественская Н. И.* Сказы и сказки Беломорья и Пинежья. Архангельск, 1941, № 27. Вариант Озаровской см.: *Кривополенова М. Д.* Былины; Скоморошины; Сказки. Архангельск, 1950, с. 143.

ника, что есть Вавила-скоморох, труд которого угоднее богу. Старец находит Вавилу и видит, что он все силы и время отдает людям, сам питается сухой коркой и водой, спит на жестком ложе, укрываясь власяницей, а пляшет в сапогах с гвоздями. Старец пытается подражать ему, но, не в силах вынести такой образ жизни, возвращается, а к умирающему Вавиле прилетает ангел в виде голубя и сообщает, что бог наградил его: «Ты будешь Вавило-скоморох, голубиный бог».<sup>58</sup>

Своим содержанием сказка опровергает легенды церковно-учительской литературы, направленные против скоморохов. В одной из них повествуется, как скоморохи пришли в монастырскую слободу, устроили представление («начаша играти во всякие свои игры и глумитися всякими глумы, яко же их диавол научил») и просили платы. Женка Наталия отказалась дать им денег и была наказана: «Наведоше на нея болезнь люту» — у нее опухло лицо.<sup>59</sup>

Скоморохам же посвящены, как известно, некоторые назидательные повести славяно-русского «Пролога». Известная легендарная повесть (22 февраля) о скоморохе Вавиле, имевшем двух жен, но раскаявшемся. Он роздал имущество, стал столпником, а жены последовали за ним.<sup>60</sup> Другая повесть (15 мая) — о Гаяне-скоморохе, хулившем Богородицу и наказанном ею, — послужила сюжетом для известной фрески в Мелетовской церкви Успения (на фреске имя скомороха — Ант).<sup>61</sup> Легенда о епархе Феодуле и миме Корнилии (3 декабря) повествует о раскаянии богатого епарха Феодула, который 30 лет был столпником в пустыне и узнал, что не он угодил богу, а мим Корнилий из Дамаска. Он находит Корнилия, чтобы узнать от него средство к спасению.

Такое средство — самоотверженное служение людям. Среди легенд о скоморохах эта отличается своим смыслом: она не отвергает самой профессии и указывает путь к спасению, не изменяя своему призванию, не отрекаясь от него. Именно такой смысл заключен и в сказках про Вавилу-скомороха. В них осуждение подвижничества как формы иждивенчества, паразитирующего потребительства (говоря современным языком) выражено вполне отчетливо. Пустынный, которого содержат на свой счет сыновья, назван «кормным боровом». Ему доставляют «каждый день провянт. Он напьется, наестся, выйдет на завалинку, спит». Бездействию и себялюбивому эгоизму пустынного противопоставлен неустанный труд скомороха. Он возвращается с веселых празднеств при пении первых петухов, его тело и ноги болят от пляски (гвозди в сапогах и на ложе в данном случае — художественная метафора для изображения подлинно подвижнического скоморошьего ремесла, сознательно противопоставленная аналогичному художественному образу житий). По варианту сказки из Шенкурского уезда, ноги скомороха «до костей проколочены» (Смирнов, № 17). В пинежской сказке о мастерстве его гово-

<sup>58</sup> Записано от Василия Авдеева в с. Новиковка Самарской губернии Ставропольского уезда в 1870-х годах.

<sup>59</sup> Книга о чудесах преподобного Сергия / Творение Симона Азарьяна. СПб., 1888, вып. 70, с. 46—47, № 14. (Памятники древнерусской письменности).

<sup>60</sup> Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. — Сборник ОРЯС АН. СПб., 1879, т. 20, № 4, с. 68 (указано А. А. Морозовым). См.: Кривополенова М. Д. Былины; Скоморошины; Сказки, с. 143. В оглавлении сборника XVII века (собрание В. К. Трутовского) значится «Слово о свирельнику о скоморохе Вавиле», но текста нет.

<sup>61</sup> Лихачев Д. С. Древнейшее изображение скомороха и его значение для изучения истории скоморошества. — В кн.: Проблемы сравнительной филологии: Сб. статей к 75-летию В. М. Жирмунского. М.; Л., 1964, с. 462—466; Бегин Л. В. Композиция на тему повести об Анте-скоморохе в росписи церкви Успения в Мелетове. — В кн.: Византия; Южные славяне и древняя Русь; Западная Европа: Сб. статей к 75-летию В. Н. Лазарева. М., 1973, с. 333—338; Новгородские былины. М., 1978, с. 443—445.

рят: «Как пляшет, извивается — дак страсть! Нихто так не пляшет, как скоморох». Когда живущие с ним сестры разубавают уставшего до изнеможения скомороха, «кровь из сапогов чехнула прямо на пол...».

Основная мысль сказки, утверждающей нужность и святость скоморошьяго ремесла, высказана также в известной былине «Вавило и скоморохи», возникшей, как считают исследователи, значительно ранее сказки.<sup>62</sup> В былине мифологические и волшебнo-фантастические мотивы даются как факты реальные. Источник ее сюжета Б. М. Соколов видел в апокрифической и житийной литературе, известной, по его мнению, скоморохам и ими использованной.<sup>63</sup> Как известно, источником для славяно-русского «Пролога» с легендами о скоморохах послужил сборник греческого писателя Иоанна Мосха (VI век), распространенный на Руси в XI веке под названием «Синайский патерик», или «Лимонарь», и изданный только в 1787 году.

Таким образом, истоки сказочного и былинного сюжетов восходят к религиозно-философским спорам первых веков христианства на Руси.

Казалось бы, знакомство с книжными источниками противоречит расхожему представлению о скоморохах, сложившемуся под влиянием их поздних характеристик. Однако источники многих уцелевших скоморошьях мотивов указывают, что репертуар их формировался в глубокой древности не только на основе устных мифологических и бытовых преданий, но и под влиянием книжных сведений. Прямое свидетельство о грамотности скоморохов раннего средневековья содержит «Слово о вере христианской и жидовской», известное в двух вариантах. Скоморох вызвался вступить в диспут о вере с еврейским философом и начетчиком. Князь, желавший посрамления философа, усомнился, однако, в способностях и знаниях скомороха и сказал ему: «... Жидовин мудр бе человек и учен философии, а ты, скоморох, не учен грамоте, ни писания не знаешь; то твоя наука — что скоморошить и у христиан деньги выманывать. — И рек скоморох:

— Княже мой, господине! И христиан обманывать надобно умеючи; збодливаго обманить, а середнаго возвеселить, а скупаго добра и податливаго учинить. *А не учась и у христиан ничего не добыть и головы своей не прокормить. И то, господине, училсь памятно и по книгам отчасти*» (курсив мой, — З. В.).<sup>64</sup>

В былине «Вавило и скоморохи» есть мотив: где-то существует таинственное «иншее» царство царя Собаки, куда зовут скоморохи Вавилу для поединка с Собакой. Мотив истолковывался различно: проводились аналогии с былинным образом «Собаки Калина-царя» и даже Иваном Грозным. Академик М. П. Алексеев находил «крайне неудачными существующие истолкования мотива, представленного в замечательной „скоморошьей“ русской былине», и указывал на имеющиеся к нему параллели у Плиния, Плутарха, в египетских источниках, а также у Иоганна Паули, у Снорре Стурлусона, в шведских и норвежских сагах и хрониках. Рассказ о царстве царя Собаки, имевший мифологическое, культовое значение, позднее утраченное, превратился в конце концов в политический анекдот. Он был записан Ю. Крижаничем в Тобольске от соотечественника одновременно с ним шведского полковника Филиппа фон Зейца:

<sup>62</sup> Известна в двух записях от М. Д. Кривополеновой: в 1900 году А. Д. Григорьевым (Архангельские былины и исторические песни. М., 1904, т. 1, № 73) и в 1915 году О. Э. Озаровской (Бабушкины старины. Пг., 1916).

<sup>63</sup> Соколов Б. М. О житийных и апокрифических мотивах в былинах. — Русский филологический вестник, 1916, № 3, с. 113—118.

<sup>64</sup> Летописи русской литературы и древности. М., 1859, т. 3, с. 66—78 (опубликовано два варианта с предисловием Н. С. Тихонравова, указавшего на подобное произведение в немецкой литературе XV века). Ср.: Буслеев Ф. И. Исторические очерки народной словесности и искусства. СПб., 1861, т. 1, с. 500.

«О некоторых рассказывают, будто у них некогда царем был пес. Избиратели долго не могли согласиться в выборе царя и заключили: кто первый войдет к ним, тот и будет царем... Вошел ловчий пес, и они его короновали, говоря: „Будет восседать, а мы будем править“».<sup>65</sup>

Мифологический мотив получил вторую жизнь, превратившись в анекдот, и просуществовал до XVII века. Можно было бы предположить, что именно на позднем этапе он и был услышан и использован скоморохами. Однако все сказочно-мифологическое содержание быliny говорит о каком-то более раннем периоде ее сложения, о периоде самоутверждения скоморохов в спорах религиозно-философских. О том же свидетельствует и сказка о святом скоморохе. Только актуальностью поставленного в ней вопроса, противопоставлением активной деятельности бесплодному столпничеству и народной симпатией к скоморохам можно объяснить длительную жизнь сказки.

Сказочно-легендарный сюжет о святом скоморохе реализовал в своем творчестве Н. С. Лесков. Его повесть «Скоморох Памфалон» представляет одну из лучших художественных обработок византийских легенд. В ней писатель сохранил народную трактовку сюжета. Он писал С. Н. Шубинскому, рекомендуя повесть: «Перечитал и изучил для нее немало и воспроизвел картину столкновения благородного сердца с фетишизмом и ханжеством».<sup>66</sup> В повести автор осуждает эгоизм личного душепасаательства. Какими бы плохими ни были мир и общество, человек должен жить в нем, творя добро, и только этим может он вписать себя «в книгу жизни вечной». Спасение вне мира и людей невозможно. В сказке ангел принимает душу Вавилы и сообщает, что он «голубиный бог». В повести Лесков уподобляет ангелу самого скомороха: «Можно сразу видеть, что скоморох — человек доброго сердца... Вчера вечером он видел Памфалона, готового на скоморошество, с завитою головою и с лицом, разрисованным красками, а теперь скоморох спал, смыв с себя скоморошье мазанье, и лицо у него было тихое и прекрасное. Ермию казалось, будто это совсем не человек, а ангел».<sup>67</sup>

Народная сказка и повесть Лескова сходны в высокой оценке удивительного по глубине и силе человечности скоморошьего мастерства.

Диапазон распространенности сказочно-легендарного сюжета о святом скоморохе (Ставропольский уезд Самарской губернии, Шенкурский и Пинежский — Архангельской) отмечен свидетельствами о пребывании в этих краях скоморохов, что наложило особый отпечаток и на песенный фольклор указанных районов. При учете архивных вариантов сказки диапазон ее бытования увеличивается.

Текст под названием «Иван Веселый» был записан П. А. Городцовым 12.XII.1906 года в Тавдинской слободе от Ф. Л. Сазонова и в 1907 году скопирован Н. Е. Ончуковым для своего сборника «Сказки Тавдинского края (Среднее Приуралье)».<sup>68</sup>

Более широко была известна эта сказка на Севере. Со временем образ скомороха вытеснился образом богобоязненного пахаря. Варианты с таким изменением были записаны Н. Е. Ончуковым (№ 196) и

<sup>65</sup> Из сочинения Ю. Крижанича «Политика, или Беседы о правлении». Цит. по: Алексеев М. П. Юрий Крижанич и фольклор. — В кн.: Литература и общественная мысль древней Руси: Сб. статей. К 80-летию В. П. Адриановой-Перетц. Л., 1969, с. 299—304.

<sup>66</sup> Цитируется по статье М. П. Чередниковой «Об источниках легенды Н. С. Лескова „Скоморох Памфалон“» (Русский фольклор. Л., 1972, вып. 13, с. 111). Самое раннее название — «Повесть о великодушном скоморохе», первый вариант в графиках назван «Повесть о боголюбезном скоморохе» (Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11-ти т. М., 1958, т. 8, с. 174—231, примеч. 579—585).

<sup>67</sup> Там же, с. 201.

<sup>68</sup> ЦГАЛИ, ф. 1366, оп. 1, № 80, легенда 10, л. 17—19.

А. И. Никифоровым в Заонежье.<sup>69</sup> Элементы этого сюжета, уже забытого, встречаются и у других собирателей. Так, в записной книжке Л. Н. Толстого имеется текст, полученный от В. П. Щеголенка: «Согрешил монах. Пришел к старцу эпитимью принять. Один говорит: не могу — велик грех — посылает к иному, и тот не принимает, посылает к иному. Последний посылает к Петру <апостолу?» П<етр> у кабака с гармоньей лежит. Дал выпить, плясать заставил, а в сапогах гвозди».<sup>70</sup>

Такой элемент, как пляска в сапогах с гвоздями, встречается только в сказке о святом скоморохе. Появление этого элемента в легенде про монаха-грешника и старца, отказывающегося дать эпитимью, — следствие контаминации разных легендарно-сказочных мотивов и образов (к ним следует отнести и такой персонаж этой легенды, как пьяный апостол Петр с гармоньей у кабака). Контаминация различных мотивов в былинах, а не только легендах, присуща художественной манере В. П. Щеголенка, видимо слыхавшего в молодости сюжет сказки о скоморохе. Во всяком случае тенденция искупить тяжкие прегрешения пляской под гармонь в сапогах с гвоздями отразила народное представление, выраженное в сказке о скоморохе, что труд для людей — благо.

Предварительный обзор сказочного материала по теме «скоморохи и сказка» выявил существование в сказочном фонде отдельных сюжетов, где героем предстает скоморох, скоморошских мотивов с большей или меньшей долей их последующей трансформации и сказочных формул, по-разному запечатлевших забытую ныне роль скоморохов в народной общественной жизни.

Новые для науки варианты сказки о скоморохе, сохранившиеся в архивах Н. Е. Ончукова и А. И. Никифорова, представляют дополнительный материал для изучения судеб сюжета и публикуются как приложение к настоящей статье.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### ИВАН ВЕСЕЛЫЙ

В пустыне спасался праведник; двенадцать лет он никуда не выходил, и Господь питал его: каждый день ястреб убивал утку или другую дичь и приносил праведнику.

Наступил день св. Пасхи. Пуст<ы>нник вышел из кельи и видит: летит ястреб за уткой и говорит: «Господи, помоги мне поймать эту утку для праведника твоего». Ниоткуда взялся другой ястреб и сказал: «Господи, помоги мне поймать утку для Ивана Веселого». Второй ястреб поймал утку и унес. Удивился праведник: «Неужели какой-то Иван Веселый дороже меня в очах божиих? А я и не знал о нем. Пойду посмотрю, кто таков».

Пошел праведник в селение. Как раз началась литургия, а на краю села, в избушке, звуки скрипки, и кто-то даже притопывает ногою. «Господи, идет служба в церкви, а тут играют на скрипке, да еще и притопывают!»

<sup>69</sup> В сборник сказок А. И. Никифорова не включена. Записана в д. Комлево Космозерской волости в 1926 году от П. Н. Филипповой (ИРЛИ, Р. V, к. 120, п. 17, № 125).

<sup>70</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90-та т. М., 1952, т. 48, с. 213. В той же записной книжке имеются и другие фрагментарные записи от В. П. Щеголенка, с любопытными элементами скоморошьяго влияния: «Восемь полтей тараканьих да семь стягов комарьих. Передом сечет, задом волочет. Сорок кадушек соленых лягушек, сорок шестов собачьих хвостов. Шуба соболя да шуба сомовья» (с. 221) или: «Три матер. Мехоноша» (с. 244) и др.

Выстоял праведник литургию, выходит из церкви и спрашивает: «Где живет Иван Веселый?» — «А вон, на краю села, в избушке».

Оказалась та избушка, где играли на скрипке. Пошел праведник к избушке, взшел, поздоровался; на столе та самая утка, которую убил ястреб. Праведник говорит: «Сегодня утром я был вразумлен, что ты заслужил у Бога больше меня. Скажи, чем ты заслужил? Вот я сегодня слышал, что когда люди шли в церковь — ты играл на скрипке, и еще и притопывал». — «Весело я сегодня играл, — говорит Иван, — да ведь и праздник-то очень большой. Я и притопывал, правда. А ты надень-ко мои сапоги!»

Праведник надел сапоги — а там гвозди. «Теперь ляг на мою кровать». Праведник лег — а на кровати были натканы гвозди. Поклонился пустынный Ивану в ноги, понял его заслуги перед богом и ушел в пустыню.

В той стране тогда был царь Ирод. У него было много дочерей, любивших танцевать. Но кто ни приходил во дворец из музыкантов, никто не мог угодить плясуньям, и царь казнил музыкантов. Музыканты перестали уже и приходиться. Однажды Иван Веселый взял два ведра, повесил на коромысло и пошел за водой. На мостике через речку он увидел двух скоморохов, идущих к Ироду играть для его дочерей. Иван Веселый попросил их поиграть на скрипках. Скоморохи поиграли — игра не понравилась Ивану. Он взял их скрипки, разломал и бросил; переломил коромысло надвое и сделал две скрипки. Скоморохи пришли во дворец, стали играть. Дочери Ирода заплясали и не могли остановиться. Ирод сначала только хлопал в ладоши, потом сам пустился в пляс. И дочери, и сам Ирод заплясались до смерти.

### БЕЗ НАЗВАНИЯ

Тридцать лет старец спасался. Стал ангел прилетать. Загордился и спрашивает ангела:

— Есть ли свыше меня кто-нибудь?

— Есть, и молодой. У него дом хороший. Он обрабатывает землю, крестьянствует и три раза псалтырь попевает прочесть.

Ну, он усумнился... Он решил отправиться к тому. Пришел. Хозяйка стряпает.

— Где у тебя крестьянин?

— Пашет.

Он сел. Стало тоскливо ему ждать.

— Покажи, где он пашет?

— Там, в поле.

Показала, куды идти. Приходя — он пашет. Как проедет борозду: «Господи, благослови», приеде: «Слава тебе, господи». Он и говорит:

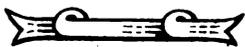
— Крестьянин, время обедать.

— Нет, — скажет, — рано: на небесах обедня идет... Садись. А он все: поспе — «Господи, благослови», приеде — «Слава тебе, господи».

— Время обедать?

— Нет. Ну вот, стань на правую ногу.

Он стал и слышит, как на небе от обедни начинают расходиться. Приехали домой — стал молиться богу: три раза в землю, три раза в пояс. Он опять ждет, когда тот псалтырь читать будет. И ночевать остался. Он и увидел, как он только молился, а не читал псалтыри.



## ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «ВЛЕСОВА КНИГА»?

В октябре 1987 года газета «Книжное обозрение» опубликовала материалы «Круглого стола» с участниками общественного совета «Молодежь и книга». В числе других выступил писатель Ю. Сергеев, напомнивший о судьбе «Влесовой книги» (Ю. Сергеев назвал ее «Велесовой»): «Ее давно пора издать. Но пока приходится слышать одни разговоры о том, не подделка ли это. Сомневающихся много. Непонятно другое, почему же тогда сомневающиеся не возьмут и не проанализируют книгу, не докажут, что „Велесова книга“ имитирована кем-то? В связи с судьбой „Велесовой книги“ вспоминается история „Слова о полку Игореве“. Ведь в свое время и „Слово“ называли подделкой».<sup>1</sup> И далее Ю. Сергеев напоминает, что в его романе «Становой хребет» рассказывается, как один из героев произведения, Егор, обнаруживает «в одном из заброшенных селений языческую библиотеку».

Прервем цитату из выступления писателя и обратимся к самому роману. Там есть такая сцена. Уже упомянутый Егор обнаруживает пещеру, вдоль одной из стен которой «тянулись широкие полки с уложенными на них бесчисленными берестяными листами и какими-то стопками дощечек. Егор подошел ближе. Берестяных грамот было такое множество, что они казались поленицами дров. Егор взял одну дощечку, с большим трудом стал разбирать слова древнего письма (старославянскому чтению он учился в гимназии): „Богу Святовиду славу рцем, он ведь бог Прави и Яви, а потом поем песни, так как он есть свет, через койи мы видим мир“...»<sup>2</sup>

В своем выступлении Ю. Сергеев сообщает далее, что во второй книге романа его герой «возвращается домой и читает эту библиотеку». «Я хочу, — продолжает он, — художественно дать читателю надежду на то, что у нас еще до христианства была величайшая культура».<sup>3</sup>

Объясним суть дела. Судя по словам, которые прочел на дощечке Егор, они слегка перефразируют текст «Влесовой книги», о которой и говорил Ю. Сергеев. «Влесова книга» — это «языческая летопись», написанная на деревянных дощечках, которая будто бы была обнаружена в 1919 году. Начиная с 1976 года эта «таинственная летопись», как ее окрестили в газете «Неделя», была предметом широкого обсуждения в нашей прессе. Ученые убеждали, что перед нами подделка, но писатели не верили им, сравнивали судьбу «Влесовой книги» с судьбой «Слова»,<sup>4</sup> требовали ее «тщательного всестороннего анализа».<sup>5</sup> С правоммерностью такого требования нельзя не согласиться. И хотя лингвистам оказалось достаточным и незначительного отрывка текста, чтобы серьезно и основательно сомневаться в подлинности «Влесовой книги» (далее сокращенно: ВК), необходимо было знакомство с *полным текстом* памятника. Но его основные издания, вероятно известные авторам журнальных публикаций, отсутствовали в наших библиотеках.

<sup>1</sup> Книжное обозрение, 1987, № 40, 2 окт., с. 14.

<sup>2</sup> Наш современник, 1987, № 1, с. 75.

<sup>3</sup> Книжное обозрение, 1987, № 40, 2 окт., с. 14.

<sup>4</sup> Впервые это сравнение употребил поэт И. Кобзев в 1977 году (см. ниже).

<sup>5</sup> Жукот Д. Из глубины тысячелетий. — Новый мир, 1979, № 4, с. 281.

Поэтому мы очень признательны Б. А. Ребиндеру, инженеру из г. Руаяя (Франция), нашему соотечественнику по рождению, который прислал в Отдел древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР необходимые материалы, выразив горячую заинтересованность в их объективном анализе.

Мне было поручено исследовать «Влесову книгу» с той же тщательностью и объективностью, с какой должен изучаться любой исторический источник. Я рассмотрел историю вопроса, познакомился с публикациями ее текста и архивными материалами Ю. П. Миролюбова (изданными Н. Ф. Скрипником) и его сочинениями, рассмотрел язык ВК и ее содержание, попытался установить некоторые источники. Эта работа будет опубликована в 43-м томе «Трудов Отдела древнерусской литературы».<sup>6</sup> В нее включено и полное издание текста ВК, ибо только такая публикация позволит отменить всякие претензии к ученым, которые будто бы намеренно скрывают текст ВК от всех интересующихся.

Предлагаемая статья, естественно, не охватывает всех вопросов: отсутствует текст ВК, археографический и текстологический анализ, анализ языка, приводятся только некоторые данные об исторической концепции ВК. Здесь освещены лишь те проблемы, которые могут быть интересны наиболее широкому кругу читателей.

#### ИСТОРИЯ НАХОДКИ И ПУБЛИКАЦИИ «ВЛЕСОВОЙ КНИГИ» ЗА РУБЕЖОМ

Название «Влесова книга» дано рассматриваемому памятнику одним из энтузиастов его изучения и публикации С. Лесным. С. Лесной — псевдоним доктора биологических наук, специалиста по систематике двукрылых С. Парамонова. Парамонов бежал из Киева в 1943 году,<sup>7</sup> впоследствии жил в Австралии. Под псевдонимом С. Лесной он опубликовал несколько дилетантских книг о истории Руси и «Слове о полку Игореве». В его сочинении «Влесова книга...»<sup>8</sup> наиболее подробно изложена история находки и публикации памятника. История эта такова.

В 1919 году полковник белой армии А. Ф. Изенбек обнаружил в разоренной помещицкой усадьбе<sup>9</sup> деревянные дощечки с письменами на них. Он приказал денщику собрать дощечки в мешок и увез их с собой. В 1925 году А. Ф. Изенбек, проживавший в Брюсселе, познакомился с Ю. П. Миролюбовым. Инженер-химик по образованию, Ю. П. Миролюбов не был чужд литературных занятий: он писал стихи и прозу, но большую часть его сочинений (посмертно опубликованных в Мюнхене) составляют разыскания о истории и религии древних славян. Миролюбов поделился с Изенбеком своим замыслом написать поэму на исторический сюжет, но посоветовал на отсутствие материала. В ответ Изенбек указал ему на лежащий на полу мешок с «дощечками»: «Вон там, в углу, видишь мешок? Морской мешок? Там что-то есть...» (с. 23). «В мешке я нашел, — вспоминает Миролюбов, — „дощьчки“, связанные ремнем, пропущенным в отверстия» (там же). И с той поры Ю. П. Миролюбов в те-

<sup>6</sup> Основные итоги своей работы я изложил в статье «Что стоит за „Влесовой книгой“?» (Лит. газ., 1986, 16 июля, с. 5).

<sup>7</sup> См.: Шарлемань Н. В. Сергей Парамонов о «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, 1960, т. 16, с. 611.

<sup>8</sup> Лесной С. «Влесова книга» — языческая летопись доолеговской Руси: (История находки, текст и комментарий). Виннипег, 1966, вып. 1. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

<sup>9</sup> Изенбек якобы не помнил точно ни фамилии владельцев усадьбы, ни ее местонахождения. Впоследствии Б. А. Ребиндер высказал предположение, что это была усадьба Задонских Великий Бурлук (ныне это селение в западной части Харьковской области). См.: *Rehbinder Boris. Vie et religion des slaves le livre de Vles. Paris, 1980, p. 15—19.*

чение пятнадцати лет занимался переписыванием текста с дощечек. Изенбек не разрешал выносить дощечки, и Миролюбов переписывал их либо в присутствии хозяина, либо оставаясь в его «ателье» (Изенбек разрисовывал ткани) запертым на ключ. Миролюбов переписывал, с трудом разбирая текст и реставрируя пострадавшие дощечки. «Стал приводить в порядок, склеивать...», — вспоминал Миролюбов (с. 8). Он вспоминал также: «Я... смутно предчувствовал, что я их как-то лишусь, больше не увижу, что тексты могут потеряться, а это будет урон для истории... Я ждал не того! Я ждал более или менее точной хронологии, описания точных событий, имен, совпадающих со смежной эпохой других народов, описания династий князей, и всякого такого материала исторического, какого в них не оказалось» (с. 25). Какую часть текста ВК Миролюбов переписал, С. Лесной установить не смог. В 1941 году Изенбек умирает, и дальнейшая судьба дощечек неизвестна. Проходит двенадцать лет. И вот в ноябре 1953 года в журнале «Жар-птица», издававшемся русскими эмигрантами в Сан-Франциско (первоначально на ротатипе), публикуется следующая заметка:<sup>10</sup>

### КОЛОССАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ

При некотором нашем содействии — воззвании к читателям журнала в сентябрьском номере журнала — и журналиста Юрия Миролюбова отыскались в Европе древние деревянные «дощечки» V века с ценнейшими на них историческими письменами о древней Руси.

Мы получили из Бельгии фотографические снимки с некоторых из «дощечек», и часть строчек с этих старинных уник уже переведена на современный русский язык известным ученым-этимологом Александром А. Кур<sup>11</sup> и будет напечатана в следующем, декабрьском номере нашего журнала.

Редакция.

Из этого сообщения можно было понять, что дощечки нашлись или что, во всяком случае, редакция получила фотоснимки с них. Но в январском номере журнала за 1954 год было опубликовано письмо Ю. П. Миролюбова, в котором, в частности, говорилось, что «фотостатов мы не могли с них (видимо, с досок, — О. Т.) сделать, хотя где-то среди моих бумаг находится один или несколько снимков. Если найду, то я их с удовольствием пришлю. Подчеркиваю, что о подлинности дощечек судить не могу».<sup>12</sup> В дальнейшем в журнале появится еще несколько сообщений о «фотостатах», весьма противоречивых: в 1957 году (октябрьский номер) Миролюбов признает, что «фотографии текстов немногочисленны, репродукции неясны»; в январе 1959 года А. Кур упоминает «фотостатные снимки других дощечек», которые у него имеются. По сведениям С. Ляшевского, Миролюбов сделал фотографии с двух дощечек.<sup>13</sup> Так или иначе, но опубликован был (в январе 1955 года) единственный «фотостат» — те самые десять строк с дощечки под № 16, которые воспроизводит в своей книге С. Лесной; этот же снимок был прислан на экспертизу в Академию наук СССР и помещен в статье Л. П. Жуковской

<sup>10</sup> Текст воспроизводится по изданию: Влес книга: Літопис дохристиянської Русі—України. Лондон; Гага, 1972, ч. VI, с. 27.

<sup>11</sup> Издатель журнала «Жар-птица» А. Кур — это эмигрант, генерал А. Куренков. С. Лесной утверждает, что А. Кур — «ассиролог», и сожалеет, что в эмиграции он не имел условий для серьезной научной работы. Упоминается его сочинение, опубликованное в № 5—7 того же журнала за 1957 год под названием «Отрывочная, но истинная история наших предков». Б. А. Ребиндер (Op. cit., p. 10) указывает, что А. Кур был секретарем Музея русского искусства в Сан-Франциско.

<sup>12</sup> Влес книга: Літопис... ч. VI, с. 27.

<sup>13</sup> Там же.

в журнале «Вопросы языкознания».<sup>14</sup> Невольно создается впечатление, что издатели вводили читателей в заблуждение: то заманивали их обещаниями продемонстрировать имеющиеся фотоснимки, то, напротив, утверждали, что их нет, они утрачены и т. д.

Странно и другое: объявив о находке дощечек в ноябре 1953 года, редакция не спешит публиковать тексты. В течение трех лет публикуются лишь статьи А. Кура, в которых в общей сложности воспроизведено около 100 строк из ВК, но публикация полного текста отдельных дощечек началась лишь с марта 1957 года и продолжалась до 1959 года, когда журнал «Жар-птица» прекратил свое существование.

В 60-х годах о ВК упоминает С. Лесной в своих книгах «История руссов в неизвращенном виде» (Париж; Мюнхен, 1953—1960; материалы о ВК в вып. 7—10) и «Русь, откуда ты? Основные проблемы истории Древней Руси» (Виннипег, 1964). Затем он посвящает ей специальную работу — уже упомянутое издание «Влесова книга...». В 1963 году С. Лесной опубликовал тезисы своего предполагаемого сообщения о ВК на V Международном съезде славистов,<sup>15</sup> однако на съезде не присутствовал и доклада о ВК не делал.<sup>16</sup> После смерти С. Лесного о ВК на Западе забыли. Интерес к ней вновь пробудился в середине 70-х годов, когда были изданы несколько выпусков серии «Влес книга». По сообщению Б. А. Ребиндера, к моменту его знакомства с энтузиастом изучения ВК Н. Ф. Скрипником «имелось два перевода на русский. Один сделал Лазаревич, а другой Соколов в Австралии. Перевод на украинский сделал Кирпич. Имелся также перевод на английский, сделанный Качуром, а также на украинский, бытующий в Канаде».<sup>17</sup> С этими публикациями нам познакомиться не удалось, но перевод ВК на русский язык, осуществленный Б. А. Ребиндером (автор любезно прислал нам три выпуска своей работы «Влесова книга», изданной на ротапринте), опиравшимся на все предшествующие издания и переводы, свидетельствует о том, что серьезного научного анализа текста ВК и ее содержания не проводилось.

Посмертная публикация сочинений Ю. П. Миролюбова, осуществленная в Мюнхене в 1974—1984 годах, вносит важные коррективы в приводимые здесь сведения, но сочинения эти, вероятно, не были известны ни Ребиндеру, ни Лесному. Поэтому мы обратимся к их анализу в заключительной части работы, а пока «примем на веру» версию, изложенную С. Лесным.

### «ВЛЕСОВА КНИГА» В СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

В 1960 году С. Лесной прислал в Советский славянский комитет фотографию с одной из дощечек ВК. Академик В. В. Виноградов поручил экспертизу снимка палеографу и языковеду Л. П. Жуковской. Она располагала весьма ограниченным материалом (на дощечке читалось всего десять строк текста), однако смогла прийти к принципиально важным выводам. Во-первых, было отмечено, что фотография сделана, видимо, не непосредственно с дощечки, а с прориси. Во-вторых, Л. П. Жуковская указала, что если по палеографическим данным (хотя они и вызывают сомнение) нельзя прямо судить о подделке, то данные языка свидетельствуют о том, что «рассмотренный материал не является под-

<sup>14</sup> См.: *Жуковская Л. П.* Поддельная докириллическая рукопись: (К вопросу о методе определения подделок). — *Вопросы языкознания*, 1960, № 2, с. 143.

<sup>15</sup> Тезисы С. Лесного «О „Влесовой книге“» были опубликованы в кн.: *Славянска филология*, т. 4. Доклады, сообщения и статьи по литературознанию. София, 1963, с. 321—323. Том был подписан к печати в июне 1963 года, за три месяца до съезда.

<sup>16</sup> См.: *Славянска филология*, т. 6. Отчетни материали. София, 1965.

<sup>17</sup> *Rehbinder Boris*. Op. cit., p. 14.

линным».<sup>18</sup> С. Лесной весьма своеобразно оспорил этот довод: он посчитал, что соображения эксперта не имеют основания уже потому, что «он этого языка не знает» (с. 36). Этот глубокомысленный вывод повторяют и некоторые наши журналисты, так же, как и С. Лесной, не понявшие, на чем основано суждение Л. П. Жуковской: не на странности или исключительности форм, а на сочетании в тексте разновременных языковых фактов, которые не могли сосуществовать ни в одном реальном славянском языке, по крайней мере в языке восточнославянской группы, на отражение которого претендует ВК.

После публикации статьи Л. П. Жуковской о ВК в нашей стране надолго забыли. Вспомнил о ней поэт И. Кобзев в 1970 году. Впрочем, его сведения о ВК в тот момент были весьма ограничены: он полагал, например, что ВК была обнаружена в Австралии.<sup>19</sup>

Ажиотаж вокруг ВК начинается в 1976 году. Можно предположить, что авторам статей об этом памятнике стали каким-то образом доступны публикации текста и переводы ВК, появившиеся незадолго перед тем на Западе. В 1976 году газета «Неделя» печатает статью В. Скурлатова и Н. Николаева. Ей предпослано небольшое вступление от редакции, в котором мы, в частности, читаем: «Содержание ее (ВК, — О. Т.) столь необычно, что не укладывается в рамки существующих представлений о древности славянской письменности. И, может быть, поэтому недоверие было первой реакцией некоторых ученых».<sup>20</sup> Заметьте: «первой реакцией». Значит, была и другая, последующая реакция? К тому же, если это реакция «некоторых ученых», то, значит, есть и другие ученые — поверившие? Так уже в первой статье о ВК выдвигается тезис, будто бы ученый мир по отношению к ВК разделился на сторонников и противников ее подлинности. Нам еще придется не раз говорить о полной безосновательности такого утверждения, а сейчас остановимся на собственно «научных» суждениях, к которым привело редакцию и авторов статьи знакомство с ВК.

Прежде всего отметим, что ВК не дает основания «по-новому поставить вопрос о времени возникновения славянской письменности». Редакция подчеркивает, что ВК доходит «до времен Асклда, Дироса и Ерека (Рюрика)». Следовательно, ВК не могла быть написана ранее середины IX века, если, конечно, не представлять себе процесс написания дощечек растянувшимся на века (такие попытки объяснения различий в языке ВК выдвигались). К тому же дощечки исчезли, и датировать их нет возможности. Можно было бы попытаться доказать, что алфавит ВК старше, чем известный нам кириллический алфавит. Но опубликованный снимок с дощечки не дает никаких оснований для такого вывода.

«Необычность содержания» ставит перед исследователями совершенно иной вопрос: о соответствии этого содержания современным научным представлениям о происхождении славянских народов. В. Скурлатов и Н. Николаев без каких бы то ни было оговорок выступают в роли доверчивых читателей ВК. Она, по их словам, «изображает совершенно неожиданную картину далеского прошлого славян, она повествует о русах как „внуках Дажьбога“, о праотцах Богумире и Оре, рассказывает о передвижении славянских племен из глубин Центральной Азии в Подунавье, о битвах с готами и затем с гуннами и аварами, о том, что трижды Русь погибнувшая восстала. Она говорит о скотоводстве как основном хозяйственном занятии древних славяно-русов, о стройной и своеобраз-

<sup>18</sup> Жуковская Л. П. Поддельная докириллическая рукопись, с. 144.

<sup>19</sup> Кобзев И. О любви и нелюбви. — Русская речь, 1970, № 3, с. 49.

<sup>20</sup> Скурлатов В., Николаев Н. Таинственная летопись: Гипотеза на проверку: «Влесова книга» — подделка или бесценный памятник мировой культуры? — Неделя, 1976, № 18, с. 10.

ной системе мифологии, миропредставлении, во многом неведомом ранее. Придумать такое вряд ли под силу какому-либо заурядному мистификатору».

Обратим внимание на способ подачи исторической концепции ВК широкому читателю. Создается впечатление, что, сообщая о «многочисленном неведомом ранее», она *восполняет* недостаточность наших сведений о древнейшей истории славян. Таких сведений действительно до обидного мало. Однако дело в другом: историческая картина, изображенная в ВК, самым решительным образом противоречит всей сумме знаний, добытых совместными усилиями археологов, лингвистов, этнографов, историков. Знаний, опирающихся на многочисленные факты и источники и положенных в основу современных представлений об этногенезе индоевропейских народов, и славян в частности.<sup>21</sup> Более того, не указав на противоречия ВК современным научным представлениям, В. Скурлатов и Н. Николаев пишут буквально следующее: «Оригинальна версия о степном центральноазиатском происхождении наших предков. В трудах недавно умершего Г. В. Вернадского и других историков—„евразийцев“ допускается эта возможность». Перед нами — иллюзия научного обоснования историографической концепции ВК. Широкому читателю, не имеющему представления ни о научной школе «евразийцев» (с весьма антисоветской политической платформой), ни о том, что концепция «евразийцев», выдвинутая в 20—30-х годах нашего века, в настоящее время почти не имеет последователей даже в западной науке, ссылка на труды Г. Вернадского преподносится как научный аргумент в пользу ценности сведений ВК.<sup>22</sup>

Мы так подробно остановились на этой газетной статье не случайно. Во-первых, в ней «заложены» все основные направления, по которым в дальнейшем будет разворачиваться «защита» ВК от науки, во-вторых, она — главный источник для многих исследуемых публикаций, авторы которых свои сведения о ВК черпали в основном из данной статьи.

В 1976 году в «Неделе» появляется еще одна подборка мнений о ВК. В ней представляет интерес выступление писателя В. Старостина, которое вносит в пропаганду ВК новый, эмоциональный, нюанс: «... для меня и в маленьких отрывках, но большой смысл открылся. Одни имена уже неподдельны и неподражаемы: Богумир, Славуна, а вместо Рюрика — Ерек; дивно прекрасен оборот „прибежищная сила“ — все это мог создать только народ. А найдись бы творец да сотвори все это пусть и в недавние времена единственно из сердца своего — значит, такой человек безмерно даровит. И в том и в другом случае „Влесова книга“ бесценный дар, и недопустимо замалчиванием отстранять от нее читателей и писателей».<sup>23</sup>

В 1977 году в журнале «Вопросы истории» свое суждение о ВК высказали академик Б. А. Рыбаков, В. И. Буганов и Л. П. Жуковская.<sup>24</sup> К сожалению, критика ВК была основана лишь на лингвистических и палеографических наблюдениях Л. П. Жуковской, сделанных ею еще в 1959 году, а с содержанием памятника авторы смогли познакомиться,

<sup>21</sup> См., например, последние обобщающие работы: *Филлин Ф. П.* Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962; *Седов В. В.* Происхождение и ранняя история славян. М., 1979; *Рыбаков Б. А.* Новая концепция предыстории Киевской Руси (тезисы). — История СССР, 1981, № 1, с. 55—75; № 2, с. 40—59 и др.

<sup>22</sup> Подробнее о концепции «евразийцев» см.: *Шушарин В. П.* Современная буржуазная историография древней Руси. М., 1964, с. 199—202, 260—264 и др.; *Миرون Б. Н.* Некоторые схемы истории СССР в современной англо-американской буржуазной историографии. — В кн.: Критика новейшей буржуазной историографии. Л., 1976, с. 58—60.

<sup>23</sup> Документ или подделка. — Неделя, 1976, № 33, с. 7.

<sup>24</sup> *Буганов В. И., Жуковская Л. П., Рыбаков Б. А.* Мнимая «Древнейшая летопись». — Вопросы истории, 1977, № 6, с. 202—205.

возможно, лишь по статье В. Скурлатова и Н. Николаева. Тем не менее они отмечают наивность рассказа ВК о славянских праотцах Богумире и Оре, их сыновьях и дочерях, от имен которых будто бы пошли названия славянских племен.<sup>25</sup>

Предостережению ученых не вняли. В том же году писатель Д. Жуков упоминает о «возобновлении изучения „Влесовой книги“, „содержание которой столь необычно, что оно не укладывается в существующие представления о древности славянской письменности“ (это цитата из предисловия к статье В. Скурлатова и Н. Николаева, — *О. Т.*) и потому стало предметом научных споров (? — *О. Т.*) и даже (?? — *О. Т.*) обвинений в мистификации».<sup>26</sup> Нетрудно заметить, как читатель «подталкивается» к выводу, что «обвинения в мистификации» — досадное недоразумение.

В том же году «Литературная Россия» публикует письмо поэта И. Кобзева.<sup>27</sup> «Уже на протяжении многих лет судьба этой древнерусской рукописи волнует умы и сердца людей...», — патетически начинает он свою статью. И. Кобзев утверждает, что на V Международном съезде славистов состоялся подробный разговор о ВК, «обоснованно и серьезно поднимался вопрос о необходимости тщательного изучения этого литературного памятника». Это, как будет показано ниже, совершенно не соответствует фактам. Далее И. Кобзев кощунственно соотносит судьбу ВК с судьбой «Слова о полку Игореве», в подлинности которого также сомневались, и утверждает, что «отрицательную роль сыграли выступления в печати *некоторых слишком уж осторожных скептиков* (курсив мой, — *О. Т.*), которые еще до ознакомления советских читателей с полным текстом летописи объявили ее „подделкой“ и „мистификацией“...» Снова читателя дезориентируют: крупнейшие советские ученые анонимно зачислены в разряд «некоторых слишком уж осторожных скептиков», однако умалчивается, что в действительности им противостоят лишь «некоторые» псевдоспециалисты, поспешившие оповестить о ВК советских читателей, не попытавшись хотя бы в самых общих чертах сопоставить ее «концепцию» с данными современной науки.

В 1979 году о ВК вновь напоминают, на этот раз в журнале «Техника — молодежи».<sup>28</sup> Тон обсуждению задает сама редакция. Статья О. Скурлатовой «Загадки „Влесовой книги“» она предпосылает такое обращение: «На протяжении последних десятилетий идет непрекращающийся спор, связанный не столько с подлинностью дощечек (а об этом не спорят? — *О. Т.*), сколько с их содержанием, имеющим весьма большое значение для истории страны. Публикуя статьи... мы, отнюдь не настаивая на ее (ВК, — *О. Т.*) подлинности, даем повод нашим читателям поломать голову над разгадкой столь увлекательной тайны».<sup>29</sup> Редакция поступила весьма безответственно, во-первых, убеждая читателей в будто бы непрекращающемся десятилетиями и, как можно подумать, научном споре вокруг ВК, а во-вторых, заигрывая с ними, предлагая «поломать голову» над решением загадок этногенеза славян и тем самым призывая к дилетантскому обсуждению сложнейших проблем, требующих глубоких специальных знаний. Статья О. Скурлатовой содержит в основном пересказ статьи В. Скурлатова и Н. Николаева, но автор вносит и свой вклад в решение «увлекательной тайны». Для

<sup>25</sup> Там же, с. 205.

<sup>26</sup> Жуков Д. Тысячелетие русской литературы. — Огонек, 1977, № 13, с. 29.

<sup>27</sup> Кобзев И. Где прочесть «Влесову книгу»: Письмо в редакцию. — Лит. Россия, 1977, № 49, с. 19.

<sup>28</sup> Скурлатова О. Загадки «Влесовой книги». — Техника — молодежи, 1979, № 12, с. 55—59. Эта статья вошла также в сборник «Тайны веков» (М., 1983, вып. 3, с. 26—33).

<sup>29</sup> Техника — молодежи, 1979, № 12, с. 55.

О. Скурлатовой словно нет сомнений в подлинности и достоверности ВК. Она убежденно пишет: «Во „Влесовой книге“ четко засвидетельствовано (здесь и далее курсив мой, — О. Т.), что наши предки „водили скот от Востока до Карпатской горы“. Таким образом, не Припятские болота, куда нас пытаются загнать некоторые археологи, а огромный простор Евразийских степей вплоть до Амура — вот наша истинная прародина. 400 лет назад русские лишь вернулись в родное Русское поле, которое тысячелетиями принадлежало нашим предкам. В том-то и заключается великая историческая ценность Влесовой книги, что она явно свидетельствует о нашем исконном присутствии на нынешней территории страны».<sup>30</sup> Трудно даже комментировать этот безответственный пассаж!

В этом же году появляется рецензия Д. Жукова на книгу Н. Р. Гусевой «Индуизм. История формирования. Культурная практика» (М., 1977). Рецензент, в частности, упоминает и о ВК. В книге Гусевой, по его словам, нет «промежуточного звена» «между теми, кто нам известен под именем древних славян, и их предками, которые соседствовали с арьями, ушедшими в далекую Индию». По мнению Д. Жукова, «не должна быть упущена возможность заполнить этот пробел и при помощи недавно найденной „Влесовой книги“... Подлинность „Влесовой книги“ подвергается сомнению, и это тем более требует ее публикации у нас и тщательного всестороннего анализа во избежание ненужных, ненаучных наслоений».<sup>31</sup> С этим предложением нельзя не согласиться. Анализ нужен, но, может быть, стоило бы и пропаганду ВК не развешивать так широко до окончания этого анализа.

В 1980 году в журнале «Русская речь» появляется статья чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филина и доктора филологических наук Л. П. Жуковской, где вновь анализируется язык ВК и на основе этого анализа делается весьма определенный вывод: «Это совершенно явная и грубая подделка, в которой нет ни „тайственности“, ни „загадок“».<sup>32</sup> Но лингвистическая аргументация защитникам ВК кажется недостаточной.

Статья В. Осокина, опубликованная в 1981 году в солидном журнале «В мире книг», не только оставляет без внимания мнение историков и лингвистов, но и является своего рода заключительным аккордом в гимне славословий ВК.<sup>33</sup> Автор стремится придать этому сомнительному сочинению статус ценнейшего источника, который остается без должного внимания лишь по упрямому недоверию «некоторых ученых». Неточностей и передежек в статье очень много,<sup>34</sup> но на двух из них необходимо остановиться специально. Вслед за И. Кобзевым В. Осокин упоминает о «большом интересе» ученых, который ВК вызвала на V Международном съезде славистов, на котором будто бы «достаточно обоснованно и серьезно поднимался вопрос о необходимости тщательного изучения этого литературного памятника» и «решено было подробно изучить это — во многих отношениях таинственное — произведение».<sup>35</sup> После такого утверждения невольно начинаешь проникаться уважением к ВК и недоверием к ученым-скептикам.

Но в том-то и дело, что все сказанное не соответствует действительности: как говорилось выше, на съезде С. Лесной не присутствовал,

<sup>30</sup> Там же, с. 57.

<sup>31</sup> Жуков Д. Из глубины тысячелетий, с. 281.

<sup>32</sup> Жуковская Л. П., Филин Ф. П. «Влесова книга...» Почему не Велесова? (Об одной подделке). — Русская речь, 1980, № 4, с. 117.

<sup>33</sup> Осокин В. Что же такое «Влесова книга»? — В мире книг, 1981, № 10, с. 70—73.

<sup>34</sup> Неверно утверждение о существовании фотокопий ВК, неверно, что она охватывает историю древних славян с V века до н. э. по VI—VII века н. э., неверно, что «Влесовой книгой» назвал дощечки А. Кур, и мн. др.

<sup>35</sup> Осокин В. Указ. соч., с. 71. См. также: Кобзев И. Где прочитать «Влесову книгу», с. 19.

доклада не читал, поэтому никакого обсуждения и тем более решения съезда о необходимости изучать ВК не было и быть не могло. Не случайно в книге, опубликованной в 1966 году, через три года после съезда, С. Лесной не упоминает ни одного западноевропейского ученого, который бы ознакомился с ВК или так или иначе высказался бы о необходимости ее изучения. Другая серьезная неточность состоит в следующем. Автор утверждает, что «историки» А. Кур и С. Лесной «отсылают все материалы (фотографии и дешифровки) в Москву, в Славянский комитет, для консультации с советскими учеными».<sup>36</sup> Не было этого благородного жеста А. Кура и С. Лесного: в Москву была прислана фотография с одной стороны одной дощечки (да и то, как предположила Л. П. Жуковская, не с самой дощечки, а с прориси с нее). Если бы В. Осокин был прав, то мы могли бы с полным основанием упрекать советских ученых в том, что, располагая бесценными документами (фотографиями с дощечек, да еще расшифровками текстов), они «отстраняют от них и читателей и писателей», как сетует писатель В. Старостин.

Подчеркивая значимость ВК, В. Осокин информирует далее: «Сейчас мы, члены комиссии по охране памятников при Московской писательской организации, привлекаем к изучению Деревянной книги (так автор именуется ВК, — О. Т.) специалистов самых разных профилей, а не только языковедов».<sup>37</sup> Неясно, кто же из специалистов помог московским писателям разобраться с ВК? Пропагандой ее в нашей стране занимались и занимаются в основном писатели и журналисты: И. Кобзев, В. Осокин, Д. Жуков, О. Скурлатова. В. Вилинбахов (впрочем, высказывавшийся о ВК с осторожностью) был единственным специалистом-историком среди защитников ВК.<sup>38</sup> «Специалист в области польского языка» (как представляет ее читателям В. Осокин) Г. С. Белякова защитила диссертацию на тему «Экранизация произведений польской классической литературы» — и также не может выступать как авторитетный эксперт по истории славянских языков. В. Старостин — не «исследователь былин», а писатель-популяризатор: ему принадлежат книги пересказов былин, адресованные детям.<sup>39</sup>

Мы не хотим бросать тень на научные возможности названных выше авторов, но все же стоит отметить, что все они (за исключением В. Вилинбахова) по роду своих интересов далеки от тех областей научного знания, которые необходимы для комплексного, всестороннего анализа ВК, а специалисты — лингвисты и историки древней Руси — академик Б. А. Рыбаков, В. И. Буганов, Ф. П. Филин и Л. П. Жуковская единодушно называют ВК фальсификатом. Как можно говорить после этого о «некоторых ученых», «слишком уж осторожных скептиках», которые будто бы на равных правах спорят с теми, кто в книгу «верит»?

Здесь необходимо упомянуть еще одно имя. Ученик и сотрудник А. В. Арциховского В. Л. Янин, а также близко знавший его академик Б. А. Рыбаков никогда не слышали от покойного археолога высказываний в пользу ВК.<sup>40</sup> А сообщение О. Скурлатовой о том, что А. В. Арци-

<sup>36</sup> Осокин В. Указ. соч., с. 71.

<sup>37</sup> Там же, с. 73.

<sup>38</sup> В. Вилинбахов — кандидат исторических наук, автор ряда статей о народных преданиях Новгорода, русском фольклоре, истории огнестрельного оружия на Руси.

<sup>39</sup> Старостин В. А. 1) Дива былинные: Сказы и рассказы про русские народные былевые творения. М., 1974; 2) Илья Муромец: Богатырские былины для среднего школьного возраста. М., 1979; 3) Легучий корабль: Сказы. Кострома, 1961; 4) Русь богатырская: Былинные сказанья. М., 1979.

<sup>40</sup> Об этом мне сообщил в личной беседе Б. А. Рыбаков. Д. С. Лихачев также специально обращался с аналогичным вопросом к В. Л. Янину.

ховский «считал вполне вероятным», что ВК «отражает подлинное языческое прошлое славян»,<sup>41</sup> появилось после смерти ученого и представляется крайне сомнительным.

Следует признать, что сомнения в подлинности ВК все же закрадывались в душу ее пропагандистов. В. Вилинбахов, например, размышлял: «Допустим, что „Влесова книга“ действительно поздняя фальсификация. Снимет ли это всякий интерес к ней? Думаем, что нет, так как неизбежен вопрос: является ли она плодом чистой фантазии или же в ее основу легли, хотя бы фрагментарно, сведения, заимствованные из какого-то иного, действительно древнего источника, не сохранившегося до наших дней».<sup>42</sup> Хотя, на наш взгляд, это последнее предположение можно отнести как нереальное, все же здесь мы встречаем серьезную постановку вопроса о значимости ВК. В. Скурлатов и Н. Николаев ставят вопрос проще: «Впрочем, даже если бы „Влесова книга“ оказалась подделкой, то и в этом случае она заслуживала бы уважения как интересная мистификация».<sup>43</sup> О том же говорит и И. Кобзев; по его мнению, «подлинный дух древности убедительно присутствует» в ВК, но если допустить «теоретически», что она может быть подделкой, то «и в этом случае разве становится для нас менее интересным это оригинальное и мудрое творение?»<sup>44</sup>

Мистификации могут быть профессионально сделанными, талантливыми (сказать этого о ВК никак нельзя), но все же главный вопрос в другом: какую цель преследовал мистификатор, кого и в чем хотел он убедить. Мы попытаемся объяснить в дальнейшем мотивы и цели создания ВК.

В заключение нашего обзора стоит упомянуть еще об одном направлении в изучении ВК — попытке на ее основе «разгадать тайны» древнего славянского алфавита. Отсылая к статье Н. Дико и А. Сучкова<sup>45</sup> и к убедительной критической заметке В. Н. Миротворцева,<sup>46</sup> обратим внимание лишь на следующее. ВК, подлинность которой ни один из ее защитников и пропагандистов не попытался подтвердить сколь-нибудь обстоятельным научным анализом, становится в руках физика Л. Сотниковой уже основанием для создания новой, поражающей воображение несведущих людей концепции о «триедином строе» древнерусской азбуки. Одна легенда порождает другую.

### «ДОЩЕЧКИ ИЗЕНБЕКА» И ИХ ПУБЛИКАЦИИ

Обратимся теперь непосредственно к ВК, так как всесторонний анализ и дощечек, и помещенного на них текста уже сам по себе поможет нам ответить на вопрос об их подлинности.

По сведениям Ю. П. Миролюбова, ВК представляла собой комплект дощечек с нанесенным на них текстом. С. Лесной цитирует письмо Ю. П. Миролюбова от 11 ноября 1957 года (напомним — написанное по крайней мере через 16 лет после гибели или пропажи самих дощечек), в котором сказано следующее: «Дощечки были приблизительно одинакового размера, тридцать восемь сантиметров на двадцать два, толщиной в полсантиметра. Поверхность была исцарапана от долгого хранения. Местами они были совсем испорчены какими-то пятнами, местами покоробились, надулись, точно отсырели. Лак, их покрывавший, или же

<sup>41</sup> Скурлатова О. Указ. соч., с. 55.

<sup>42</sup> Вилинбахов В. Стоит об этом говорить. — Неделя, 1976, № 33, с. 7.

<sup>43</sup> Скурлатов В., Николаев Н. Указ. соч., с. 10.

<sup>44</sup> Кобзев И. Где прочитать «Влесову книгу», с. 19.

<sup>45</sup> Дико Н., Сучков А. Расшифрована тайна бога света? — Московские новости, 1984, № 6.

<sup>46</sup> Миротворцев В. Н. Еще раз о так называемой Влесовой книге. — Русская речь, 1984, № 5, с. 110—117.

масло поотстало, сошло. Под ним была древесина темного дерева. Изепбек думал, что „дощечки“ березового дерева. Я этого не знаю, так как не специалист по дереву. Края были отрезаны неровно. Похоже, что их резали ножом, а никак не пилой... Текст был написан или нацарапан шилом, а затем натерт чем-то бурым, потемневшим от времени, после чего покрыт лаком или маслом. Может, текст царапали ножом, этого я сказать не могу с уверенностью. Каждый раз для строки была проведена линия, довольно неровная. Текст был писан под этой линией... На другой стороне текст был как бы продолжением предыдущего, так что надо было переворачивать связку „дошек“ (очевидно, как в листах отрывного календаря, — С. Л.). В иных местах, наоборот, это было, как если бы каждая сторона была страницей в книге. Сразу было видно, что это многостолетняя давность. На полях некоторых „дошек“ были изображены головы быка, на других солнца, на третьих разных животных, может быть, лисы или собаки, или же овцы. Трудно было разобрать эти фигуры» (с. 23—24).

Трудно предположить, чтобы дощечки IX века пережили бы все превратности судьбы: толщина в 5 миллиметров (!) придавала бы им необычайную хрупкость. А ведь они были раздавлены «солдатскими сапогами», а потом совершили многотрудный вояж в «морском мешке», в каковом пребывали еще несколько лет, связанные ремнем (!), пока их просмотром не занялся Миролюбов. Но закроем пока глаза на все эти странности, ибо нас ожидают в дальнейшем странности не меньшие.

Сколько же было дощечек-«уник», если использовать выражение «Жар-птицы»? Неизвестно. С. Лесной лишь уклончиво пишет, что «дощечки Изепбека» полнее «текста Миролюбова», так как Миролюбов по неуказанным причинам некоторые стороны дощечек не переписал (а может быть, и целые дощечки), и сетует: «Даже такие элементарные вещи: сколько же было дощечек и их обломков, не сказано ни слова» (с. 25). В то же время в специальной таблице, опубликованной в книге «Русь, откуда ты?», он исходит из числа 35 дощечек, а Миролюбов в книге, возможно оставшейся неизвестной С. Лесному, назвал число 37 (см. ниже).

Попытаемся разобраться. Допустим, что дощечки существовали, и на каждой из них текст читался с двух сторон. В этом случае естественно обозначения дощечек с помощью номера и буквы: 1а (лицевая сторона) и 1б (оборотная сторона дощечки). Но среди опубликованных дощечек есть также дощечки 4в, 4г, 4д, 6в, 6г, 6д, 6е и т. д. Если, повторяю, считать, что текст был написан на обеих сторонах дощечки, то окажется, что в «Жар-птице» было опубликовано 30 дощечек. Но в архиве Миролюбова сохранился машинописный текст не только этих дощечек, но еще дощечек, пронумерованных как 8/1, 8/2, 8/3, 14, 19, 21, 22, 23 и др., всего 16 дощечек, только в этих случаях Ю. П. Миролюбов отказался почему-то от букв, обозначающих лицевую и обратную сторону. Подсчет числа дощечек затруднителен, но их было (если они действительно существовали) явно около пятидесяти.

Но самое главное в другом. Наличие двух текстов — изданного в «Жар-птице» и текста, сохранившегося в архиве Миролюбова в машинописном виде, дает нам возможность их сравнивать. Естественно предположить, что машинописный текст как-то связан с оригиналом набора и ему можно больше доверять, чем журнальному, в котором, по словам Лесного, были допущены опечатки.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Об этом же пишет и Н. Ф. Скрипник, разбиравший архив Миролюбова: «К нашему большому удивлению, выяснилось, что между обоими вышеназванными текстами имеются сотни различий, какие никак нельзя объяснить обычной редакционной правкой» (Влес книга: Літопис дохристянської Русі—України. Лондон; Гага, 1975, ч. VII, с. 1).

Сравнения текстов журнального (далее Ж) и машинописи (далее М)<sup>48</sup> приводят нас к поразительным выводам. Приведем лишь некоторые из них:

1. Имеются случаи, когда в Ж указано на дефекты дощечки: «текст разрушен», «текст сколот», «ряд букв стерлись или соскоблены», а в М на том же самом месте читается исправный текст. Как при наличии таких помет можно объяснить, что именно машинописный текст оказывается полнее изданного? Ведь дощечки давно погибли, и машинопись была единственным источником для издания.

2. Необъяснимы случаи, когда в одном и том же тексте М и Ж различаются не *буквами* (что можно объяснить опечатками, редакторскими поправками и т. д.), а *словами*. Например (первое чтение Ж, второе — М): *земіа — доржава, по рієце — по данаіу, два роді — два вієтва, січа — бітва, ліудіє — народ, до сверзи — до небі* и т. д. Произвольная правка текста в одном из вариантов не вызывает сомнения.

3. Как объяснить такое явление: в Ж текст разделен на нумерованные строки, имитирующие подлинник (переносится на следующую строку порой одна буква!), а в М текст имеет пространственные вставки, которые в эти строки никак не укладываются.

4. Как объяснить, что границы текста, относящегося к разным сторонам дощечки, в М обозначены знаком абзаца (чернилами), разрезающим в большинстве случаев машинописную строку? Это еще одно подтверждение того, что и деление на «дощечки», и нумерованные строки в Ж — фикция.

Итак, сопоставление текстов М и Ж убеждает нас в том, что в издании читателя мистифицируют. Если мы все же допустим, что машинописный текст воспроизводит рукописную копию, которую сделал когда-то Миролюбов, то окажется, что издатели исключали фрагменты этого текста, заменяя их (зачем?!) пометами о дефекте «дощечек», вместо одних слов вписывали другие (не говоря о многочисленнейших буквенных заменах), произвольно меняли границы текста на «дощечке» и т. д.

Анализ ВК свидетельствует, что язык, которым она написана, не мог существовать. Нет такого языка, который не имел бы устойчивой фонетической системы, единых правил грамматики, так нарушал бы хорошо изученные закономерности развития всех славянских языков. Доказательства этих положений будут приведены в нашей статье в «Трудах Отдела древнерусской литературы». Здесь же мы ограничимся тем, что приведем два небольших фрагмента текста, сохраняя орфографию и деление на слова в точном соответствии с М: «Слва бгу перуну огнкудру іже стрѣліє на взіє вьрзе а верна предведе во стьзѣ понежде есе тоіє вѣиым шєстьє соуд а іако злтроуи млєств вєсправдѣн єст» (дощечка 11б); «тєщашуть рієцє вєлкє на русѣ а мнєга вода є журшєсть спѣва стародавнїа о ты болярї яквы не сен бояща до поль годє ідшїа а ляты мнєга сен прѣщїа о волнєсть руську» (дощечка 7ж).

### ИСТОРИЯ СЛАВЯН ПО «ВЛЕСОВОЙ КНИГЕ»

С. Лесной не устал восхищаться ВК: «В дощечках Изенбека все оригинально и непохоже на нам уже известное» (с. 29). Но дело не в том, что историография ВК коренным образом расходится с научными представлениями об истории Европы в античности и раннем средневековье (защитники ВК в этом-то и видят ее ценность), а в том, что, даже доверившись этому сомнительному источнику, мы встретимся с не-

<sup>48</sup> Фотокопии с публикаций в «Жар-птице» и с бумаг из архива Ю. П. Миролюбова опубликованы в VI и VII частях того же издания.

разрешимыми противоречиями в самом его тексте. Приведем один достаточно выразительный пример. В советских публикациях (в «Неделе», в журналах «Техника — молодежи» и «В мире книг») постоянно пересказывается текст с дощечки под № 9. Там рассказывается, что старец Богумир имел жену Славуну, трех дочерей — Древу, Скреву и Полеву и двух сыновей — Севу и Руса. От этих-то детей Богумира и произошли племена русичей: древляне, кривичи, поляне, северяне и русы. Далее говорится, что эти племена образовались в Семиречье,<sup>49</sup> где жили русичи, за морем (?) в краю зеленом. И происходило это за 1300 лет до Иерманариха.<sup>50</sup> Из края зеленого упомянутые племена переправились через Ра реку (Волгу?), пришли к морю Готскому (переводчики ВК полагают, что речь идет о Черном море). На берегах этого моря, возле Дона, они встретились с готами. А следом за славянами двигались гунны<sup>51</sup>...

Поклонников ВК восхитил этот рассказ, легендарность которого призывали даже Лесной и Миролюбов. Но дело опять-таки не в этом, а в том, что, вопреки рассказанному, на дощечках 4а и 10 потомком Богумира назван один Орь, от которого пошли какие-то «три рода». На дощечках 4г и 36а говорится, что у Оря было три сына: Кий, Пащек (Щеко) и Горовато (Хорев). Из дощечки 36а следует, что Пащек был праотцем чехов, а Горовато — хорватов. Значит, если поверить, что древнерусские племена произошли от детей Богумира, то окажется, что другие славянские народы — чехи и хорваты — также происходят от них (ведь Орь — потомок Богумира). Древляне и поляне, происхождение названий которых объяснено было на дощечке 9, на дощечках 4б и 7а упоминаются вновь, но на этот раз говорится, что «древичами» (древлянами) их называли потому, что они живут в лесах, «а на полях наше имя было поляне». Подобных противоречий в ВК множество.

Весьма странна и хронология ВК. Она противоречит не только данным современной науки, но и принципам средневекового летоисчисления, и элементарной арифметике. Желая потрясти воображение, создатели ВК оперируют, как правило, огромными временными масштабами в 500, 1000, 1300 и 1500 лет (см. дощечки 4б, 5а, 7б, 7в, 7г, 8, 9а, 17а). Причем совершенно непонятна система отсчета лет. Во всех хронологических системах античности и средневековья отсчет времени велся от древнейшего события к последующим: от основания Рима, от первой олимпиады, от «сотворения мира» и т. д. В ВК мы, напротив, находим в основном отсчет от последующего события к предыдущему: «за 1500 лет до Дира», «за 1300 лет до Германариха» и т. д.

Обратим внимание и на следующее. Создатели ВК замахнулись на изложение истории наших предков за 1800 лет. Но у них не хватило выдумки заполнить событиями столь значительный временной диапазон, и в ВК рассказывается по существу лишь о двух периодах — IX—VIII веках до н. э. и о времени начиная с III века н. э., со времени прихода в Причерноморье готы. Но и тут ВК оказывается не в ладах ни с логикой, ни с арифметикой. Если Богумир жил за 1300 лет до Германариха (погибшего в 375 году н. э.), то, следовательно, время Богумира — IX век до н. э. Но на другой дощечке говорится, что от праотца

<sup>49</sup> По мнению О. Скурлатовой, Семиречье — это область Центральной Азии, откуда «часть наших предков... шла через горы на Юг (судя по всему, в Индию), а другая часть пошла на запад, „до Карпатской горы“» (Скурлатова О. Указ. соч., с. 57).

<sup>50</sup> В традиции интерпретаторов ВК это лицо отождествляется с готским королем Эрманарихом (ум. в 375 году н. э.).

<sup>51</sup> По современным научным представлениям, в начале первого тысячелетия до н. э. славяне обитали в Центральной Европе, а не за Волгой; готы, двигаясь с севера, достигли степей северного Причерноморья в начале III века н. э., а не в IX веке до н. э., как вытекает из рассказа ВК.

Оря (как мы помним — сына Богумира!) до Диры прошло 1500 лет. Дир, согласно преданиям, жил в IX веке н. э. и, следовательно, Оря жил в VI веке до н. э., три века спустя после Богумира. По свидетельству дощечки 5а, за 1500 лет до Диры наши предки поселились на Карпатах, где прожили 500 лет, а на дощечке 7г говорится, что от «исходу» от Карпат до Аскольда (современника Диры) прошло 1300 лет.<sup>52</sup> Примеры подобных несообразностей можно продолжить.

Есть и еще особенность ВК, также раскрывающая «методику» ее создания. Говоря о длившихся сотнями лет (!) битвах русичей с готами, гуннами, римлянами, греками, автор ВК умудряется избежать всякой конкретности: не назван по имени ни один римский и византийский император или полководец, ни один вождь гуннов, а из готских вождей упоминаются лишь Германарих (дощечки 5б, 6д, 9а, 14, 23, 27), имя которого хорошо известно по разным источникам, и Галарех (?), которого комментаторы ВК отождествляли с вестготским королем Аларихом (ок. 370—конец 410).

Подробности войн с Римом и Византией в ВК отсутствуют, видимо, не случайно: история этих стран слишком хорошо известна, и любая конкретизация событий грозила немедленным разоблачением фальсификата. Поэтому автор ВК ограничивается лишь общими ссылками на «римлян» и «греков», а из географических ориентиров упоминает лишь хорошо известную по русским летописям и византийским источникам Курсунь (Херсонес), город Сурож (упомягая его в той огласовке, в какой византийская колония Сугдея впервые поименована в «Слове о полку Игореве») да неведомую «землю Трояню», которую, однако, никак не локализует.

Итак, перед нами сочинение крайне примитивное, свидетельствующее не только об ограниченности знаний его создателя, но и об отсутствии у него даже литературной фантазии: не случайно в ВК встречаются постоянные возвращения к одним и тем же коллизиям, к одним и тем же именам и «фактам», без каких-либо попыток представить более конкретную картину событий, охарактеризовать — пусть в типичных для средневековой историографии традиционных «портретах» — исторических деятелей, воспроизвести эпизоды какой-либо битвы и т. д. Трудно найти среди средневековых хроник и летописей даже самого низкого уровня произведение столь же убогое по мысли, с таким же отсутствием логики повествования, столь же бедное при обращении к конкретным фактам, столь же «безлюдное», столь лишенное топонимических ориентиров. Словом, и анализ «историографии» ВК говорит о том, что перед нами неудачно смонтированный фальсификат.

#### ИСТОЧНИКИ «ВЛЕСОВОЙ КНИГИ»

Защищая подлинность ВК, ее сторонники выдвигают, как им кажется, неотразимый аргумент. Если автор — фальсификатор, то откуда он мог почерпнуть столько сведений, «написать целую историю народа в его отношениях с добрым десятком иных народов: греками, римлянами, готами (годью), гуннами, аланами, костобоками, берендеями, ягами, осами, хазарами, дасунами, варягами и т. д. Он также описал взаимоотношения между рядом славянских племен: русами, хорватами, борусами, карпами, киянами, иломерами, антами, русколунами и т. д.» (с. 30).

Знакомясь с текстом ВК, мы убеждаемся, что история этих отношений изложена невнятно, лишена конкретности, а большинство перечис-

<sup>52</sup> Точнее, здесь сказано, что Аскольд жил за 1300 лет «до исхода из Карпат» (вероятно, это случайный недосмотр создателя ВК; он хотел сказать — «после»).

ленных тут племен и народов упомянуто в ВК один-два раза в крайне неясном контексте.

Вот несколько цитат из ВК (цитирую по М), в которых говорится о взаимоотношениях славян с их соседями: «біа ту сѣща веліка енззіце а кустобце се разити со злоіе утечеце» (дощечка 5б); «од орие то се обящи нашої оце со борусои дораріеце до непреноі а карпанеске држава» (дощечка 6а); «себто по стоі дваденсенте лятоі бране годе напираема задѣ (бяца) егуншти а бренде шедша до полуноце мезе раріека дивуна а тамо то препадне іерманрех а гуларех вед ю на нове земле» (дощечка 6б). Приведем перевод тех же фраз, сделанный Б. А. Ребиндером: «И была тут сеча великая. Языцы и Костобоки сражались со злыми убегающими»; «От Ория — это наш общий отец со борусами и от Волги до Днепра» (дальнейшие слова читаются только в М и у Ребиндера не переведены); «Это было через сто двадцать лет. Готы бились с Гуннами (?) и отошли к северу между Волгой и Двиной и там осели (?). Иерманарех и Гуларех вели их на новые земли».<sup>53</sup>

И тем не менее на источниках ВК стоит хотя бы кратко остановиться, ибо экзотические этнонимы и упоминания о неведомых историкам деяниях наших предков завораживающе действуют на иных читателей.

Основные исторические коллизии ВК суть отражение разного рода фантазий и домыслов на темы праистории славян, выдвигавшихся еще в XIX веке и особенно распространенных в кругу русских эмигрантов в 20—50-х годах нашего века. Миролюбов в своих сочинениях (о которых речь пойдет далее) ссылается на ряд книг и статей, посвященных этой тематике, в заглавиях которых постоянным спутником слова «история» являются определения «истинная»; «неизвращенная», «подлинная» и т. д., иначе говоря, отличающаяся от научной, документально обоснованной истории славян. Источником для некоторых сюжетов ВК могли стать, например, сочинения популярного в прошлом веке, но весьма несерьезного историка Д. Иловайского. В ВК наши предки выступают под именами русколанов или борусков, и у Иловайского мы найдем пространные рассуждения о тождестве роксалан, упоминаемых в греческих и римских источниках, со славянами, отождествление роксалан с антами и прямые указания типа: «роксаланское или русское племя», «роксаланский или русский народ» и т. д. У него мы найдем упоминания о битвах роксалан-русичей с готами и гуннами, а также с римлянами, найдем объяснение названия Пруссия как «Порусье» и связь этого названия с этнонимом «боруски».<sup>54</sup> Мы можем прочитать у него, например, что «в течение восьми веков (с I по IX век, — О. Т.)... роксаланский или русский народ пережил, конечно, много испытаний и много перемен. Он выдержал напоры разных народов и отстоял свою землю и свою самобытность, хотя и не раз подвергался временной зависимости, например от готов, гуннов и отчасти от авар». Далее говорится, что роксаланский народ «построил себе крепкие города и положил начало государственному быту с помощью своих родовых князей, из которых возвысился над другими род киевский».<sup>55</sup>

Составителями ВК были использованы и серьезные исторические источники, однако недобросовестно. Из древнейшей русской летописи «Повесть временных лет» взяты имена князей (Аскольда, Дира, Кия, Щека, Хорива и сестры их Лыбедь, превращенной в приемника Кия — Лебедяна), оттуда же взяты названия племен (древляне, поляне, дулебы

<sup>53</sup> Знаки вопроса в скобках принадлежат переводчику, заключенное в скобки в цитате с дощечки 6б читается в машинописи Миролюбова.

<sup>54</sup> Иловайский Д. Разыскания о начале Руси. М., 1876, с. 336—337.

<sup>55</sup> Там же, с. 109—110.

и др.), сведения о нашествии хазар. Имя «праотца» Оря, возможно, заимствовано из Ипатьевской летописи, где рассказывается о половецком певце Оре. Персонажи ВК — Рус, Славуна и Скиф — восходят к легендам XVII века, где говорится о братьях Славене и Скифе, или о Славене и Русе, имя Бравлина заимствовано из Жития Стефана Сурожского и т. д. Что же касается некоторых этнонимов, упомянутых в ВК и производящих впечатление на неискушенного читателя своей экзотичностью, то отыскать их не стоило особого труда. Такие этнонимы, как скифы, анты, роксаланы (обратившиеся под пером авторов ВК в «русколань»), борусы, языги, костобоки, карпы (так, согласно ВК, назывались русичи в то время, когда обитали в Карпатах), восходят в большинстве своем к античным источникам, в частности к «Географии» Клавдия Птолемея (III век), и постоянно упоминаются во всех сочинениях, посвященных проблемам происхождения славян, начиная со знаменитых «Славянских древностей» П. И. Шафарика. Там, например, говорится о роксоланах, языгах, костобокх, карпах, борусках, причем все эти племена упоминаются неоднократно.<sup>56</sup>

Одним из источников ВК было также «Слово о полку Игореве». Русичи в ВК неоднократно именуется «Дажьдбожьими внуками» (см. дощечки 1, 3а, 7б, 7в). Если в «Слове» говорится: «Въстала Обида въ силахъ Дажь-Божа внука, вступила дѣвою на землю Трояню», то в ВК есть фраза: «зме (т. е. землю, — О. Т.) Трояню сме не дахом сен ромиема а да не встане обиденосце Дажбовем внуцем» (дощечка 7б). При этом здесь не просто упоминание сходных риторических фигур или словесных формул, как предполагал С. Лесной, обративший внимание на сходство «Слова» и ВК, а именно внутренне не мотивированное совпадение нескольких лексем: встать, обида, земля Трояня, Дажьдбожь внук. Такой же параллелизм связывает фразу «Слова»: «часто врани граяхуть, трупия себѣ дѣлячи, а галици свою рѣчь говоряхуть, хотяъ полетѣти на уедие» и фразу ВК: «то галици и врани од яди летяй» (дощечка 5б). Если в «Слове» жены сетуют, что им своих мужей «ни думою сдумати, ни мыслию смыслити», то в ВК «жены рещут: благвие утратитихом о разумьство наше». Если в «Слове» «ветри, Стрибожи внуци веють съ моря», то в ВК «стрібоі свищацуте во стпіях» (дощечка 5б); если в «Слове» «готскія красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю», то в ВК «у сине море стягша до берзе (вм. березе, брезе? — О. Т.) годъ (готы, — О. Т.)... одержаца на нь побѣдну пісне» (дощечка 7б). Каждая из приведенных параллелей, взятая сама по себе, могла бы показаться случайным совпадением, но само число таких совпадений говорит о несомненной связи памятников. Если в «Слове» мы встретим «века Трояни», «тропу Трояню», «землю Трояню», то в ВК также «земля Трояня» (дощечки 7б, 7в) и «троянов вал» (дощечка 7ж), без какой-либо попытки их локализации. Есть в ВК также «внук Троян(ов)» (дощечка 3б) и «век Троянов» (дощечки 3б и 7ж). Мы встретим в ВК и такие обороты, как «жале плакатися» (дощечка 1), «жале вел(и)ка с карину» (дощечка 8), встречается редкий этноним «русичи» (дощечки 8 (2), 8 (3), 14, 21), есть имя Горислав (дощечка 25); коней ВК обычно называет «комони»; встретим мы там и такие обороты, как «воины испияше воде живе» (дощечка 7д), «слава тєкопєть по русїєм» (дощечка 24), «туга велика» (дощечка 14). В ВК упоминается не только Калка (при этом она раздвоилась на Калку Великую и Калку Малую), но и Каяла: «мимоиде Каялѣ иде ду Нѣпрѣ» (дощечка 38а).

Стоит заметить, что большая часть параллелей к «Слову» встречается именно на тех дощечках, которые не публиковались в «Жар-птице».

<sup>56</sup> Славянские древности: Сочинение П. И. Шафарика / Перевод с чешского И. Боянского. М., 1837, т. 1, кн. 2, с. 41, 43, 47, 51, 52, 59—61, 124, 125 и др.

Нельзя ли предположить, что именно эти дискредитирующие ВК параллели и могли явиться причиной того, что публикация данных дощечек была признана нецелесообразной?

#### КОГДА И ЗАЧЕМ БЫЛА СОЗДАНА «ВЛЕСОВА КНИГА»?

Но в запасе у защитников ВК остался еще один аргумент. «Если мы представим, что „Влесова книга“ — фальсификация, — писал С. Лесной, — мы не можем найти ни малейшего объяснения для ее создания в наше время, даже если это время будет рассматриваться очень широко, хотя бы в пределах двух столетий» (с. 32). Аналогичный вопрос задавал и И. Кобзев: «С какой целью стал бы кто-то заниматься столь кропотливым и изощренным трудом подделки древней книги, если никому она не принесла за долгие годы ни славы, ни доходов, ни другой своекорыстной выгоды».<sup>57</sup> Даже если мы отклоним соображения меркантильного характера, вопрос «зачем» все равно не может перед нами не встать. Зачем создано это огромное (более трех печатных листов) сочинение?

Некоторые данные для ответа на этот вопрос содержат сочинения переписчика, комментатора и издателя ВК Ю. П. Миролюбова. Сочинения Ю. П. Миролюбова вышли в свет в Мюнхене в 1974—1984 годах, в девяти томах, уже после смерти автора (в 1970 году), и, вероятно, остались неизвестными С. Лесному и другим защитникам ВК. Первые три тома содержат рассказы, стихи и этнографические зарисовки обрядов и религиозных праздников в русской деревне. Остальные тома — работы Миролюбова, посвященные «праистории» славян и религии древних «русов». Нет смысла подробно характеризовать эти крайне дилетантские штудии, но стоит упомянуть основные выводы автора. Миролюбов утверждает, что «славяно-русы... являются древнейшими людьми на Земле» (т. 9, с. 125), что «прародина их находится между Сумером (Шумером? — О. Т.), Ираном и Северной Индией», откуда «около пяти тысяч лет тому назад» славяне двинулись в «Иран, в Загрос, где более полувека разводили боевых коней», затем «ринулись конницей на деспотию Двуречья, разгромили их, захватили Сирию и Палестину и ворвались в Египет» (т. 7, с. 186—187). В Европу, согласно Миролюбову, славяне вступили в VIII веке до н. э., составляя авангард ассирийской армии: «ассирийцы подчинили все тогдашние монархии Ближнего Востока, в том числе и Персидскую, а персы были хозяевами Северных земель до Камы. Ничего нет удивительного, если предположить, что славяне были в авангарде ассирийцев, оторвались от главных сил и захватили земли, которые им нравились» (т. 4, с. 160—161). Поэтому, признается Ю. П. Миролюбов, «придется поворачивать всю историю» (т. 7, с. 187). Легкость, с которой обращается со всемирной историей Ю. П. Миролюбов, говорит сама за себя, и, думается, не нужно пояснять, что никаких серьезных научных доказательств в его книгах мы не найдем.

Вторая, не менее «значительная» идея Миролюбова состоит в том, что религия древних славян — это «испорченный временем, обстоятельствами, событиями и переменной местожительства ведизм». После того как предки славян покинули прародину, их «жречество огрубело, забыло ведический язык», который «стал быстро меняться», и «скоро уже было невозможно записать по-санскритски сказанное по-славянски» (т. 4, с. 92—93). Миролюбов считает, что «славяне должны были обладать, хотя бы вначале, своей письменностью. Не могло ведь быть, чтобы, выйдя из арийских степей, зная и даже сохраняя ведизм, славяне не знали бы письменности, на которой веда была писана» (т. 4, с. 177). Таким обра-

<sup>57</sup> Кобзев И. Где прочитать «Влесову книгу», с. 19.

зом, важный вывод основан лишь на ничем не доказанном отождествлении древних славян с древними индийцами. Все интересы и пристрастия Миролубов обращены в самое отдаленное прошлое. Даже от древнерусской литературы, хорошо известной и изученной, он попросту отмахивается как от несуществующей: «Русский языческий эпос исчез... есть у нас только „Слово о полку Игореве“, „Задонщина“». Далее Миролубов называет еще «христианский эпос» — «Голубиную книгу» и «Хождение богородицы по мукам»; кроме того, упоминает он «какое-то языческое сочинение» — «Книгу о князем утерпении», виденную его родителями «еще в прошлом веке» (т. 6, с. 244).

Поэтому мы с нетерпением жаждем узнать об источниках, на основании которых Миролубов «переворачивает» мировую историю и историю отечественной культуры. Читая его сочинения, мы видим немалое число совпадений с ВК: это и рассказ о праотце Оре, и утверждение, что русичи всегда мыслили о себе как о «Дажь-божьих внуках», и сведения о битвах с готами и костобоками, и мн. др. Особенно сближают «концепцию» Миролубова и ВК сведения о древнерусском языке, причем стоит подчеркнуть, что это сходство проявилось не только в упоминании основных мифологических персонажей (Перуна, Стрибога, Велеса, Сварога и др.), что совершенно естественно, но и в совпадении имен и понятий, которые известны нам лишь из ВК и сочинений Миролубова. Так, он неоднократно пишет о «Яви», «Прави» и «Нави», тут же подчеркивая, что, «несмотря на все усилия, автору этой статьи не удалось разыскать даже следов подобных верований в народе... Позже только в „Дошьяках Изенбека“ удалось найти упоминание о „Яви, Прави, Нави“» (т. 9, с. 31).<sup>58</sup>

Нагляден и другой пример. Миролубов, ссылаясь на «Традицию», отмеченную им в народных верованиях, утверждает, что у «Деда Лесовика есть помощники», среди которых именованы, в частности, Кустич, Листич, Травнич, Стеблич, Кветич, Ягодич, Грибнич» (т. 5, с. 42); в другом контексте также упоминаются Травич, Сенич, Цветич, Стеблич, Листич (т. 6, с. 201). Искусственность этих именовании несомненна, но в то же время все они встречаются, в ряду других, в ВК, на дощечке 15б. К нашему изумлению, в большинстве случаев, рассказывая историю древних славян или реконструируя древнеславянскую мифологию, Миролубов ссылается не на ВК, а на совершенно иные источники. Сведения о языческом пантеоне он получил якобы не только «в народе», но и от «старой Прабки Варвары, то есть от няни, воспитательницы отца» (т. 6, с. 13). Именно Прабка Варвара поименно вспоминает все языческие божества: «Огника, Огнебога, Индру, Сему и Ряглу, Дажба» и «всех Сварожичей» (т. 3, с. 51). Миролубов специально подчеркивает: «Мы не делаем никаких ссылок, потому что все эти объяснения слышали от Прабы Варвары, которая — одна — стояла целого факультета истории и фольклора» (т. 3, с. 65). Сведения о праистории славян-русичей Миролубов почерпнул от другой старушки, обитавшей у них «на летней кухне» в 1913 году, — Захарихи.

Таким образом, реконструкция славянской истории и мифологии основана у Миролубова на рассказах двух старушек да на наблюдениях за обычаями жителей трех сел — Юрьевки, Антоновки и Анновки. Видимо, и сам Миролубов чувствовал ненадежность этих источников для решения поставленных им грандиозных научных задач, чувствовал и попытался «научно» обосновать их достоверность. Объясняя, почему языческие традиции сохранились в селе Юрьевке, Миролубов пишет: «Ду-

<sup>58</sup> Миролубов объясняет эти понятия так: «Явь» — действительность, реальность, видимый мир; «Правь» — невидимый «костяк» реальности, на котором та держится; «Навь» — потусторонняя, лишенная «Прави» «Явь» (т. 9, с. 31).

мается оттого, что ближайшая станция железной дороги была верстах в ста, а Днепр с его пароходами находился в пятидесяти верстах, если не больше. Городская „культура“... юрьевцев не коснулась. Они остались вне ее влияния, как бы застыв на целую тысячу лет в своих традициях» (т. 4, с. 138). Не стоит недоумевать, как может *тысячелетняя* традиция сохраниться в украинском селе, столь удаленном, впрочем, от железной дороги, и пр. Сам Миролюбов, в другом месте, говорит, что село это находилось на Днепре, вблизи Кобеляк (т. 9, с. 22), верстах в десяти от железной дороги. С пафосом предъявленное «научное» обоснование оказывается не только безграмотным, но и лживым.

Но, размышляя над источниками, на которых строит свои концепции Миролюбов, мы не можем не задаться вопросом: а разве ВК, посвященная тем же самым проблемам и неоднократно текстуально перекликающаяся с его «фольклорными источниками», не была использована им как источник первоисточенного значения, более надежный хотя бы уже потому, что автор ВК старше «Прабы» Варвары и Захарихи по крайней мере на 1100 лет? И вот тут начинаются загадки.

Сочинение «Ригведа и язычество», завершенное в октябре 1952 года, заканчивается следующей знаменательной фразой: «Большого о славянах мы не знаем и считаем пока нашу тему законченной. Может быть, новые данные и заставят нас к ней вернуться, но пока мы этот труд заканчиваем, так как лишены источников, могущих нам служить в этом вопросе» (т. 4, с. 251). А ВК, разве она не явилась таким источником? Этот вопрос тем более имеет основания, что некоторые фрагменты этой книги текстуально совпадают с ВК.

Когда же Миролюбов рассуждает о происхождении славянской грамоты, то тут мы видим как бы подготовку к «обретению» ВК. Он пишет: «Мы утверждаем, что такая грамота (предшествующая кириллице, — О. Т.) была и что она, может быть, будет даже однажды найдена! И значит, заранее говорим, что крики критиков окажутся совершенно лишними» (т. 4, с. 178). И наконец, последнее: на единственной фотографии «дощечки» обращало на себя внимание, что буквы написаны не на строке, а «подвешены» к горизонтальной черте, как в алфавите деванагри.<sup>59</sup> В рассматриваемой книге мы находим этому объяснение. «Однажды старый дед на хуторе к северу от Екатеринослава нас уверял: „В старовину люди грамоте знали! Другой грамоте, чем теперь, а писали ее крючками, вели черту богами, а под нее крючки лепили и читать по ней знали!“» (т. 4, с. 134). И далее следует рассуждение о том, что древнейшая славянская грамота была сходна с санскритским письмом. Напомним, забегая вперед, что о зависимости графики ВК от «санскрита» Миролюбов будет говорить неоднократно.<sup>60</sup>

Итак, можно заключить, что в 1952 году ВК еще не существовала, но уже велась, вероятно, подготовка к ее созданию: продумывалось ее содержание, а вопрос о типе письма был уже решен — оно должно было включать элементы «санскритского» и готского письма. С этой задачей создатели ВК не справились, но следом этого является написание букв под чертой на дощечке 16.

<sup>59</sup> Любопытно, что Миролюбов постоянно говорит о «ведическом» письме и о санскрите как языке, имеющем свою письменность. Это не так: деванагри — система письма, используемая для записи санскритских текстов, — возникла в начале второго тысячелетия нашей эры. Веды были созданы 1000—1200 лет до нашей эры, а записывать их начали несколькими веками позднее, используя для этого разные системы письма.

<sup>60</sup> См. в его письме С. Лесному от 26 сентября 1953 года: «... это были греческо-готские буквы... среди коих были и буквы санскритские»; об этом же Миролюбов пишет и в своих сочинениях (т. 5, с. 25; т. 8, с. 236).

В сочинении «Русский языческий фольклор. Очерки быта и нравов», законченном, вероятно, до конца 1953 года, встречаем первое сообщение о ВК, которое приведем полностью: у русичей «письмена были тоже разными, так как единства в них могло и не быть из-за различных условий торговых центров. В одних из них могли пойти в основу знаки готской письменности, а в других ведической. Мы ничего точного об этом не знаем, но логика стоит за это (! — *О. Т.*). Впоследствии нам выпало большое счастье видеть „дошки“ из коллекции художника Изенбека, числом 37, с выжженным текстом. Частью буквы напоминали греческие заглавные буквы, а частью походили на санскритские. Текст был слит. Содержание трудно поддавалось разбору, но по смыслу отдельных слов это были моления Перуну, который назывался временами „Паруном“, временами „Впаруной“, а Дажьбог назывался „Дажбо“ и „Даже“. Текст содержал еще описание, как „Велс учил деда земе рати“. На одной из них было написано о „Купе-бози“, вероятно Купале, и об очищении „омовением“ в бане и жертвой „Роду рожаниц“, „иже ест Дедо свенту“. Были строки, посвященные „Стрибу, кий же дыха яко хще“, а также о „Вышенбг, иже есь храниц живот наших“. Подробный разбор дощечек, которые нам удалось прочесть до их исчезновения, будет нами дан отдельно. „Дощки“ эти были подобраны Изенбеком во время гражданской войны в разгромленной библиотеке князей Задонских или Донских, точно нам неизвестно, да Изенбек и сам не знал точного имени хозяев разгромленного имения» (т. 5, с. 25).

Итак, во время написания этой книги какие-то «дощечки» существовали. Но вот что примечательно. Во-первых, история знакомства с «дощечками» представлена иначе: нет ни слова о том, что Миролюбов в течение 15 лет тщательно копировал огромный и трудный текст, здесь всего лишь воспоминание о выпавшем «счастье видеть» и смутное обещание дать подробный разбор тех дощечек, «которые... удалось прочесть». Значит, история переписки и обработки текста была сочинена Миролюбовым позднее. Во-вторых, содержание дощечек определено как «моления Перуну», и, судя по цитатам, далее приведенным, в «дощечках», возможно, были лишь тексты молитвенного или, во всяком случае, религиозного содержания.

В 1954 году Миролюбов работает над книгой «Русский христианский фольклор. Православные легенды», вошедшей в 8-й том его сочинений. Автор задается вопросом: если в древности не было письменности, то как же «записывал свои торговые счета Новгород? Он ведь греческих букв не знал». И далее: «На этот вопрос дают ответ брюссельские (странное определение! — *О. Т.*) „Дощьки Изенбека“. Грамота действительно существовала, и была она основана на смеси готических, греческих и ведических знаков. Эта грамота («ранняя») была сродни грамоте „Дощек“» (т. 8, с. 167).

Мы найдем в этом томе и еще одно обращение к ВК, также касающееся вопросов графики. Миролюбов пишет об алфавите дощечек, настаивая на наличии в его составе готских (рунических) букв и букв «санскритских». «Откуда они попали в эти „Дощьки“, нас не интересует, — продолжал он. — Мы их видели лично, до исчезновения „Дощек“, и читали тексты, видимо, писанные жрецом, как думает проф. А. Кур» (т. 8, с. 235). Далее говорится, что в «дощечках», «как в санскрите», имеется «общая черта, под которой написаны каленым железом, видимо, буквы слитно и без разделения на фразы». Итак, снова подчеркнуто, что «дощечки» писаны жрецом, что близко к версии о молитвенных текстах, в них будто бы содержащихся. Важно, что Миролюбов говорит здесь о выжженном тексте, тогда как в письме к С. Лесному от 11 ноября 1957 года он говорит уже, что текст был «нацарапан шилом» (см. выше). И наконец, любопытное заключение: «Так как эти „Дощьки“ были обна-

родованы нами в „Жар-птице“ (Сан-Франциско, Америка), то этика требует, чтобы мы воздержались от их изучения или построения наших догадок, теорий и т. д. Мы говорим о них в данной книге лишь вскользь. Остальное мы предоставляем г. А. Кур, кому, по его специальности, надлежит о них знать больше, чем всем остальным» (т. 8, с. 236).

Но почему же Миролюбов столь ценный для его темы материал по истории русов и их религии предпочитает черпать из иных источников — рассказов Прабы Варвары, конюха Михайлы и Захарихи, «большая часть сказов» которой «представляет собой описание войн, нашествий и случаев из скотоводческого периода жизни славяно-русов», как подчеркивает он позднее (т. 9, с. 123)? Ведь все эти темы раскрываются и в ВК. И почему Миролюбов передоверяет дальнейшее исследование источника, якобы им найденного, переписанного и изученного, А. А. Куру? Ответ, возможно, содержится в кратком замечании, следующем сразу же за описанием того, как выглядели на дощечке буквы а и б: «Эти буквы взволновали мнение славистов. Одни из них утверждают, что такие буквы — „выдумка“, а другие, что они относятся к V веку! Кто прав? Мы думаем, что нельзя заранее отрицать, как нельзя и утверждать, без тщательного изучения текстов. Архаичность языка, однако, вполне подтверждает догадку, что это самостоятельно выработанный нами алфавит» (т. 8, с. 236). Итак, видимо, еще до публикации фотографии дощечки (в январе 1955 года) возникли споры: кто-то поддержал датировку V веком (именно эта дата отразилась в приведенном выше сообщении журнала «Жар-птица»), а другие сразу же определили ее текст как фальсификат. Миролюбов обеспечивает себе отступление, отсылая интересующихся к Куру, так как для него важны не столько «дощечки», сколько содержащиеся в них «факты», и чтобы спасти эти «факты» для своей концепции, он жертвует «дощечками» и переносит «исторические свидетельства» из вызывавшей подозрение ВК в «сказы» Захарихи, реальность которых проверить уже никому не удастся.

Такая же картина ожидает нас и в сочинении «Русская мифология. Очерки и материалы», работа над которым была закончена в августе 1954 года. В этой работе Миролюбов также ссылается по преимуществу на Прабу Варвару и Захариху.<sup>61</sup> ВК упоминается вскользь (т. 6, с. 175, 185, 186, 214, 215), но затем, после утверждения, что «сказы Захарихи — единственное, что мы знаем из этих преданий прошлого» (т. 6, с. 277), вдруг появляется специальная глава «Еще о „дощьках“ Изенбека», которую приводим почти полностью. Миролюбов пишет: «Нами не раз были упомянуты в этом труде „Дощьки Изенбека“. Мы не касаемся их определения, ни характера их языка, который сильно отличается от всех известных нам записей X-го и других веков, но мы можем сказать на-верное, что текст содержит учение язычества, воспоминания минувших, особенно ярких событий нашего народа, имена его вождей и призывает на защиту земли Русской всех, кто считает себя потомками Русколани, государства, бывшего где-то на Севере... Есть в „Дощьках Изенбека“ и некоторые мифы, которых мы нарочно не касались в наших трудах, считая, что ими должны заниматься другие, а не мы. Мы вообще не хотели публиковать текста „Дощек Изенбека“, потому что такие публикации всегда вызывают дружное возмущение тех, кто даже „Слово о полку Игореве“ считает подделкой. Критиков мы боялись, потому что обладали

<sup>61</sup> Трудно удержаться и не привести «научного аргумента» в пользу достоверности сказов: «Их нельзя отнести за счет ее (Захарихи, — О. Т.) собственной фантазии, так как она утверждала, что сама научилась им от древней старухи, когда была еще девчонкой»; к тому же в сказах упоминаются «всякие такие вещи и события, которых Захариха, простая женщина, придумать сама не могла» (т. 6, с. 106).

незапятнанным именем и не желали его делать нарицательным в устах невежественных людей. Не желали мы публикации текстов и из политических соображений, ибо наличие этих текстов может быть использовано нашими политическими врагами, большевиками. Однако судьба решила иначе, и тексты будут опубликованы А. А. Кур, который сопровождает их своими объяснениями... Серьезное изучение как языка „Дошек“, так и их содержания, исторического значения, или религиозного, вероятно, придет значительно позже, когда улягутся „страсти“. Этим мы хотим сказать, что никаких, слишком радикальных выводов из текстов мы лично не делаем и считаем, что сделать их можно будет лишь значительно позднее, когда ученые привыкнут к документу. Это отнюдь не является отрицанием „Дошек“, ибо мы уверены, что они будут в будущем признаны весьма важными, но мы хотим лишь заявить, что их содержание нами не изучено и никаких теорий на их основании мы не строим» (т. 6, с. 279).

В 1967 году Миролюбов завершает работу над очередным сочинением — «Материалы к праистории Русов», — вошедшим в 7-й том собрания его сочинений. Это столь же дилетантское творение, как и другие сочинения Миролюбова.<sup>62</sup> ВК упоминается в нем лишь по одному поводу. Пересказывая легенду о Богумире (Миролюбов рассматривает ее как легенду, не более), он противопоставляет ВК и «сказы» Захарихи, причем оказывается, что Захариха точнее воспроизводит древний арийский миф, чем ВК (т. 7, с. 78).

В работе, написанной в конце 60-х годов, в книге «Славяно-русский фольклор», составившей 9-й том его сочинений, Миролюбов также занимает весьма осторожную позицию. Он по-прежнему опирается в основном на «сказы» Захарихи и лишь после этого пишет: «Позже судьба свела нас уже за границей с покойным художником Алп Изенбеком, как его звали бельгийцы в Брюсселе. У него оказалась рукопись (? — О. Т.) „Дошэки Изенбека“. Этот документ мы изучали, переписывали, и хотя „Дошэки Изенбека“ пропали во время смерти художника (полковника артиллерии, командира Марковского дивизиона) или, может, изъяты гестапо вместе с 600 его картин» (фраза заканчивается именно так, — О. Т.). Миролюбов оправдывается перед С. Лесным, упрекавшим его в том, что он не смог сберечь дощечек, тем, что спас хоть «тень» их «в виде их копии от руки». И далее Миролюбов пишет: «Мы не занимаемся вопросами „подлинности“, разборами, выписками из „авторитетов“ с указанием страниц. Мы считаемся лишь с содержанием „Дошек Изенбека“ и Сказов Захарихи. Содержание же таково, что независимо от того, подлинные они или нет (?! — О. Т.), оно должно быть изучено. Записывая в этой небольшой книге Традицию, свидетелями которой мы были (имеются в виду пересказанные Миролюбовым предания, легенды и обычаи, — О. Т.), мы можем сказать, что ни Сказы Захарихи, ни „Дошэки Изенбека“ ей не противоречат. Наоборот, есть как бы взаимодополнение между всеми этими документами» (т. 9, с. 123—124).

Итак, предложим свое объяснение тому, как возникла ВК. В 1952 году, когда Ю. П. Миролюбов работал над своим сочинением «Ригведа и язычество», ВК еще не существовала (ему мог быть известен лишь «образец» для будущей книги, о чем ниже). Но идея о желательности подобной «находки» уже родилась. Поэтому Миролюбов, с одной стороны, сетует на то, что он «лишен источников», а с другой —

<sup>62</sup> Здесь мы встретим очень любопытное рассуждение о ценности гадания (!) как средства прогнозирования жизни общества: «Если жизнь людей управляется Большими Числами, вернее, законами этих чисел, то сейчас же возникает вопрос о благоприятных и неблагоприятных периодах. Отыскание благоприятного периода и есть цель гадания» (т. 7, с. 53) и т. д.

не только утверждает, что существовала древнейшая письменность, которую впоследствии «забыли», но и высказывает уверенность, что «она будет однажды найдена», предвкусывая посрамление «критиков». В 1954 году работа уже ведется, и Миролюбов невольно «проговаривается» об этом в своих сочинениях. Так, допуская, что древнейшая письменность славян использовала готские и «санскритские» («ведические») буквы, он пишет: «Мы ничего точного об этом не знаем, но логика стоит за это» (т. 5, с. 25), а сразу после цитируемой фразы говорит о «дощечках». При чем же логические допущения, если дощечки с древнейшей письменностью он уже видел?

ВК создавалась, вероятно, в течение нескольких лет, но Миролюбов и Кур поспешили объявить об этом еще до того, как окончательно отработали все элементы своей версии. И поэтому мы встречаем в сообщениях о ВК много противоречий: то говорится, что текст на дощечках был выжжен или написан каленым железом, то, что он был «нацарапан шилом»; сначала Миролюбов упоминает о «выпавшем счастье видеть» и «прочесть» дощечки, в которых многое ему было трудно понять и разобрать, а спустя два года утверждает уже (в письме к Лесному), что он в течение 15 лет переписывал текст ВК и изучал его. О содержании ВК сначала говорится весьма неопределенно, подчеркивается религиозный характер текстов («моления Перуну»), а затем оказывается, что в переписанной Миролюбовым обширной книге содержится история русов почти за две тысячи лет.

Первоначально создатели ВК предполагали, для убедительности, воспроизвести «фотографии» дощечек. Но публикации «прориси» с «дощечки» в 1954 году и «фотостата» в 1955 году, видимо, вызвали критику. И тогда Миролюбов и Кур были вынуждены отступить: Миролюбов заявляет, что фотографии потерялись, а сообщение о том, что все же три фотографии были сделаны, так и не было подкреплено их публикацией. Текст сочинялся с трудом. Вот почему, объявив о находке дощечек в 1953 году, Миролюбов и Кур приступили к их планомерной публикации лишь с марта 1957 года, а до этого публиковались лишь фрагменты.

Критика сенсационной находки испугала Миролюбова. Ему важно было спасти те идеи и «факты», которые были включены в ВК и нужны были ему для обоснования своих историографических и религиоведческих «концепций». И чтобы спасти концепции, он предал «дощечки». Именно поэтому он ссылается в основном на своих информантов — Прабу Варвару и Захариху, а также на собственные этнографические наблюдения (их проверить было уже невозможно), а о дощечках говорит вскользь, препоручает их изучение и защиту их подлинности Куру.

Так постепенно затухает ярко вспыхнувшая в 1953 году сенсация в сочинениях одного из основных ее создателей — Миролюбова. Но любопытно отметить и диаметрально противоположную метаморфозу во взглядах на ВК С. Лесного. В 10-м выпуске своей «Истории „русов“ в неизвращенном виде» (Париж, 1960) Лесной буквально подводит к выводу о фальсификате: он подчеркивает, что Миролюбов и Кур упорно не допускают к текстам ученых, что странно прервалась публикация ВК, что «все попытки выяснения подробностей пресекаются», он требует передать «Русскому музею» в Сан-Франциско текст ВК и фотокопии, довести до конца публикацию и т. д. (с. 1162—1165). Но, видимо, Миролюбов сумел переубедить Лесного. Во всяком случае, последний уже в 1963 году намеревался выступить с докладом о ВК на Съезде славистов, в 1964 году посвятил ей большой раздел в своей книге «Русь, откуда ты?», а два года спустя вышла в свет его работа «Влесова книга...». Однако нам неизвестно, чтобы ВК заинтересовала кого-либо из европейских или американских ученых: Лесной, как и Миролюбов, работал в изоляции от специалистов.

И все же повторим наш вопрос: зачем создавали ВК? Трудно предположить, чтобы стимулом для этого трудоемкого предприятия стали чисто научные интересы (история славян или языческая религия в ее связях с «ведизмом»): создавать *фальсификат*, чтобы на его основе заниматься *научными* разысканиями, — такой путь маловероятен. Ведь самые смелые домыслы дилетантов основываются, как правило, на вольном истолковании *подлинных* источников. Нельзя ли предположить, что сыграли свою роль чисто идеологические мотивы? Миролюбов писал: чтобы найти силы для борьбы с советским строем, «явлением демоническим и антихристианским», нужно «таить в себе божественное начало» (т. 3, с. 110—111), нужно помнить, что «в русской душе — источник мистического прозрения прошлого вечного» (там же). И поэтому задачу редакции «Жар-птицы» он формулирует как «изучение славянского прошлого, возможно более далекого», заявляет, что он и его единомышленники хотели бы это прошлое «разыскать» (т. 9, с. 9). Разыскать «нужное» прошлое не удалось, и его пришлось создавать самим. Не в этом ли разгадка истории «Влесовой книги»?

Но если мы правы, и создание ВК преследовало чисто идеологические задачи, то необходимо решительно отделить от создателей ВК тех любителей отечественной истории, которых ввела в заблуждение мистификация Миролюбова и Кура. Они, эти любители, надеялись увидеть в ВК ценнейший исторический источник, который позволяет проникнуть в такие глубинные пласты нашей истории, о которых не сообщают ни летописи, ни свидетельства европейских историков-современников. Этих поклонников ВК подвела доверчивость и ограниченные знания сложнейших проблем этногенеза, истории античности и средневековья, истории языка, истории религиозных воззрений и философии.

Другое дело те журналисты и писатели, которые, выступая в защиту ВК, не только не обратились за консультацией к специалистам, но, напротив, открыто критиковали науку, обвиняя ученых в предвзятости, чрезмерном скептицизме и даже отсутствии патриотизма. Такая позиция тем более недостойна, что опиралась на неточную, а в ряде случаев откровенно искаженную информацию. История ВК, думается, напечалит всем о том, что в погоне за сенсацией не следует пренебрегать элементарными правилами научных исследований и научной этики.

#### ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Итак, я попытался доказать, что та «Влесова книга», о которой спорили в нашей печати в 70-х годах, вовсе не бесценный исторический источник, а мистификация, при этом созданная в весьма близкое от нас время.

Но как же быть с теми оговорками и противоречиями в высказываниях Ю. П. Миролюбова, которые дают основание допускать, что какие-то дощечки (с молитвенными текстами, выжженными железом, а не процарапанными ножом) он все же видел? Не относится ли к их числу та единственная дощечка (напомним: она значительно отличается по объему содержащегося на ней текста от остальных), фотографию которой он решил опубликовать?

Еще в 1960 году, задумываясь над возможным образцом подделки, Л. П. Жуковская назвала в этой связи имя А. И. Сулакадзева.<sup>63</sup>

Коллекционер и собиратель А. И. Сулакадзев (умер в 1830 году) был известен не только своим собранием рукописей и раритетов (среди которых были и такие, как дубинка Добрыни, камень с Куликова поля,

<sup>63</sup> Жуковская Л. П. Поддельная докириллическая рукопись, с. 144.

на котором будто бы отдыхал Дмитрий Донской, и т. д.), но прежде всего своими подложными приписками, с помощью которых он придавал подлинным рукописям особую ценность, искусственно их удревяя или принося в них уникальные известия.<sup>64</sup> Не чужд был Сулакадзев и изготовления поддельных рукописей. Его подделки смутили даже престарелого Г. Р. Державина, опубликовавшего фрагменты из них с факсимильным воспроизведением текста (вероятно, с рисованной копии) и со своим поэтическим переводом.<sup>65</sup>

Археограф и библиограф Е. Болховитинов упоминает эти сулакадзевские подделки в своем «Словаре»: «Некоторые и у нас хвалились также находкой якобы древних славено-русских рунических писем разного рода, коими написан Боянов гимн и несколько провещаний новгородских языческих жрецов, будто бы пятого века. Руны спи очень похожи на испорченные славенские буквы». <sup>66</sup> В статье «Боян», вошедшей в «Биографии российских писателей», Е. Болховитинов также упоминает сочинение Сулакадзева: «Недавно появилось было найденный целый древлеславянский гимн Боянов князю Летиславу, писанный на пергаминном свитке красными чернилами, буквами руническим, доньше у нас бывшими в неизвестности. (Мнимый подлинник сего гимна и еще целая книга нескольких древних оракулов новгородских, писанных также на пергамене, находятся у г. Сулакадзева. — Прим. Е. Болховитинова). В сем гимне довольно подробно сам Боян о себе рассказывает, что он потомок Славенов... что отец его был Бус... что старый Словен лично видывал его и проч., но гимн сей в свет еще не издан и критикою не удостоверен, а потому за историческое доказательство принят быть не может». <sup>67</sup> Но если Е. Болховитинов словно бы колеблется в вынесении окончательного приговора, то выдающийся лингвист А. Х. Востоков совершенно безапелляционен в своем суждении о языке одного из сочинений Сулакадзева: «...исполненное небывалых слов, непонятных словосокращений, бессмыслицы, чтоб казалось древнее». <sup>68</sup> Характеризуя язык сочинений и приписок Сулакадзева, М. Н. Сперанский также писал, что «они часто представляют бессвязный набор слов, показывающий бессилие автора справиться с самыми простыми оборотами старинной речи». <sup>69</sup>

Как видим, язык сулакадзевских подделок напоминает нам по общему своему характеру язык ВК. Но их сближает не только это. И у Сулакадзева и у создателей ВК тот же интерес к языческой древности, те же псевдославянские имена, <sup>70</sup> та же переключка со «Словом о полку Игореве», тот же изобретенный алфавит, будто бы сходный с рунами (именно «рунический» алфавит, как помним, неоднократно упоминал Миролюбов), тот же характер написания слов с пропуском гласных букв (ср. во фрагментах, опубликованных Г. Р. Державиным: плъ, блгъ,

<sup>64</sup> См. о нем: *Пыпин А. Н.* Подделки рукописей и народных песен. СПб., 1898; *Сперанский М. Н.* Русские подделки рукописей в начале XIX века: (Бардин и Сулакадзев): — В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1956, с. 62—74, 90—101.

<sup>65</sup> *Державин Г. Р.* О лирической поэзии. — В кн.: Чтения в Беседе любителей русского слова. СПб., 1812, кн. 6, с. 5.

<sup>66</sup> [Болховитинов Е.] Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-русской церкви. СПб., 1827, т. 2, с. 59.

<sup>67</sup> [Болховитинов Е.] Биография российских писателей. — Сын отечества, 1821, ч. 70, с. 174—175.

<sup>68</sup> Переписка А. Х. Востокова. — В кн.: Сборник ОРЯС. СПб., 1873, т. 5, вып. 2, с. 392.

<sup>69</sup> *Сперанский М. Н.* Указ. соч., с. 71.

<sup>70</sup> Приведем в качестве примера заголовок одной из рукописей Сулакадзева: «Перуна и Велеса вещания в киевских капищах жрецам Мовеславу, Дровославу и прочим», повествующей якобы «о событиях V или VI века», как указывал Сулакадзев.

слвы, злымъ, жрцу и т. д.). Но самое любопытное, что написания букв в рукописи Сулакадзева, как можно судить по публикации Г. Р. Державина (приведшего, видимо, клише с копии), чрезвычайно близки к написаниям на фотографии «дощечки», опубликованной Миролюбовым. Особенно велико сходство необычной по начертанию буквы, которая у Сулакадзева означала букву «в», а у Миролюбова — «б».

Но нас ждет еще одно любопытное совпадение. Не все раритеты Сулакадзева были написаны на пергамене. В каталоге своей библиотеки, перечисляя «исполненные или пока только задуманные подделки», как скажет о них А. Н. Пыпин,<sup>71</sup> Сулакадзев назовет и такие: «Патриарси. Вся вырезана на буковых досках числом 45»; или: «О Китоврасе; басни и кощуну», с примечанием: «На буковых досках вырезано и связаны кольцами железными, числом 143 доски, 5 века на славенском».<sup>72</sup>

Весьма вероятно, что подделки Сулакадзева (если они действительно были не только задуманы, но и исполнены и дошли до современников Миролюбова) или описания их (у Державина, Болховитинова, Пыпина) помогли Миролюбову в создании описания «Влесовой книги» и ее графики, натолкнули и на саму идею «деревянной книги». Наконец, допустимо, что А. Ф. Изенбек или кто-нибудь иной показывал Миролюбову какую-то поддельную дощечку с текстом псевдоязыческих пророчеств. Что такие тексты Сулакадзев сочинял, свидетельствуют его современники.

Но этот вопрос требует дальнейших разысканий.

---

<sup>71</sup> Пыпин А. Н. Указ. соч., с. 10.

<sup>72</sup> Там же, с. 11, 13.



# ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Борис Зайцев

## ЖУКОВСКИЙ

(ПРЕДИСЛОВИЕ И ПРИМЕЧАНИЕ Ю. М. ПРОЗОРОВА)

Борис Константинович Зайцев (1884—1972) — один из немногих крупных русских писателей XX века, имя которого пока еще ничего не говорит широкому читателю, а в сознании историков литературы редко вызывает представления, идущие дальше «общих». Самые подробные исторические очерки русской литературы начала XX века, не исключая многотомных, не содержат монографических глав, посвященных Зайцеву, и ограничиваются краткими сообщениями о его творчестве, упоминаниями в образах.<sup>1</sup> Шесть с половиной десятилетий произведения Зайцева на его родине не издавались, столько же времени о нем не писали... Зайцева, пожалуй, еще нельзя назвать забытым писателем, но помнят о нем все меньше и меньше.

Причина этой утраты «читателя в потемстве», постигшей талантливого писателя, столь же очевидна, сколь и трагична. В 1922 году, находясь в зените литературной известности и обладая почти общепризнанным писательским авторитетом, Зайцев, к тому времени автор семи многократно перепечатанных книг прозы и председатель Всероссийского союза писателей, навсегда покинул Россию. Поэт последнего поколения русской дворянской интеллигенции, он не принял того пути, по которому пошла его страна после 1917 года. Творчество Зайцева оказалось в советскую эпоху отодвинутым за ту стену отчуждения, которая отделила нас от литературы послереволюционного русского зарубежья, причем за эту стену отошли и семь его знаменитых в свое время до-революционных книг.

Гражданская идеология Зайцева, наследница дворянского либерализма XIX века, едва ли сохранила на сегодняшний день какую-либо живую энергию. Со всеми своими достижениями и заблуждениями она сдана в исторический архив, и может быть, поэтому наступило время вспомнить, узнать, оценить тот творческий вклад, который писатель внес в дело отечественной литературы и

культуры. Побуждение к этому тем более настоятельно, что обширное литературное наследие Зайцева оставлено им, в посмертной надежде, русской словесности и русскому читателю. Творчество Зайцева, при всем драматизме отразившихся в нем противоречий, несло в себе прежде всего патристическую одухотворенность, и не только потому, что он писал ностальгические книги и писал их до конца своих дней на русском языке. Этому есть и другие подтверждения.

В лаконичных «Биографических сведениях», написанных в 1916 году по просьбе С. А. Венгерова, Зайцев отметил, что для него «одним из крупнейших фактов духовного развития были путешествия в Италию и страстная любовь к итальянскому искусству, природе и городу Флоренции».<sup>2</sup> Нет необходимости говорить о том, насколько эта очарованность Италией национальна как факт биографии русского писателя, — достаточно указать на Н. В. Гоголя или А. К. Толстого. Подробность эта, впрочем, попутна, а дело в том, что Флоренция породила в лице Зайцева одного из примечательных русских поклонников и знатоков Данте. В «Биографических сведениях» Зайцев называет Данте, наряду с Гете и Флобером, наиболее значимым для него писателем Запада. Приверженность Зайцева к поэзии Данте не прошла бесследно для русской литературы: в 1922 году московское издательство «Вега» выпустило его сочинение «Данте и его поэма». А в 1961 году во Франции вышел в свет плод многолетней работы Зайцева-дантолога — выполненный ритмической прозой русский перевод «Ада» из «Божественной комедии». Это последнее издание более всего и свидетельствует о той, хочется сказать, идеалистической преданности русскому слову, которая отличала Зайцева и побуждала его к трудам, как будто бы не имевшим практического смысла в условиях нерусского мира, но таившим в себе высшее предвидение своего русского назначения.

В эмиграции (с 1924 года и до смерти — в Париже) Зайцеву суждено было

<sup>1</sup> См., например: Русская литература конца XIX—начала XX в.: 1901—1907. М., 1971, с. 162—163; Русская литература конца XIX—начала XX в.: 1908—1917. М., 1972, с. 154, 198—201.

<sup>2</sup> Русская литература XX века: 1890—1940 / Под ред. проф. С. А. Венгерова. М., 1916, т. III, кн. VIII, с. 66.

пережить не только свой литературный круг (центром которого, можно предполагать, был И. А. Бунин), но и многих литераторов младших поколений; умер он в возрасте 91 года почти нашим современником. В России его творческая деятельность продолжалась 21 год (если отсчитывать от публикации в 1901 году его первого рассказа «В дороге»), за рубежом — полвека. Среди многочисленных произведений Зайцева, созданных в эмигрантский период, особенно значительны его романы «Золотой узор» (1926) и «Дом в Пасси» (1935), мемуарная книга «Москва» (1939), автобиографическая тетралогия («Путешествие Глеба», 1937; «Тишина», 1948; «Юность», 1950; «Древо жизни», 1953), несколько изданных в разных странах сборников повестей и рассказов. Характерной частью зайцевского творчества, постоянно обращенного после 1922 года к русскому прошлому, личному и историческому, стали биографии русских писателей. Их у Зайцева три: «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951) и «Чехов» (1954). Все они для Зайцева не случайны и, более того, содержат в себе важные ключи к пониманию его литературной родословной.

Когда в 1906 году вышла первая книга рассказов Зайцева,<sup>3</sup> вызвавшая необыкновенно широкую для литературного дебюта прессу, критика приветствовала в ее авторе писателя, «сразу обретшего свой лик».<sup>4</sup> Молодой Зайцев, и это нельзя было не заметить, создал особый тип лирической новеллы и сумел обогатить даже ту высокоразвитую культуру малых прозаических жанров, которая существовала в русской литературе после Чехова. Новелла Зайцева могла наполняться тяжелой натуралистической предметностью, как «Волки» или «Черные ветры», или, напротив, образами отрпечно-идеальными, как «Тихие зори» или «Миф»; порой она достигала, согласно отклику Ю. Айхенвальда, «удивительного сочетания натурализма и поэтичности»,<sup>5</sup> как «Священник Кронид» или позднейший «Полковник Розов». В любом, однако, случае генеральным ее свойством было образование волнующей психической атмосферы, по своему смыслу неизмеримо более «экзистенциальной»,<sup>6</sup> чем источавшая эту атмосферу

эмпирическая материя повествования. «И подчас кажется, — писал о Зайцеве известный в начале века критик, — что именно эта воздушная перспектива настроения есть самый важный для него предмет изображения».<sup>7</sup> Достаточно очевидно, что подобного рода музыкально-психологическая аура, возникавшая в произведениях писателя, и произвела на свет распространенное представление об его импрессионизме. Своей причастности к импрессионизму Зайцев, впрочем, и сам не отрицал, хотя в «Биографических сведениях» относил это увлечение только ко времени своих первых выступлений в печати.

Если в классической русской литературе XIX века искать имена, которые могли вызвать сочувствие такого писателя, как Зайцев, то в первую очередь должен быть назван Чехов, старший его современник и предмет поклонения. Это подчеркнуто и личным признанием Зайцева: «Из литературных симпатий юности (и до сих пор) самая глубокая и благоговейная — Антон Чехов».<sup>8</sup> Известно, что один из своих юношеских рассказов, еще рукописный, двадцатилетний Зайцев отправил в 1901 году, с сопровождающим письмом,<sup>9</sup> по ялтинскому адресу Чехова. Сохранился черновик телеграммы, которой Чехов Зайцеву отвечал: «Холодно, сухо, длинно, не молодо, хотя талантливо. Чехов».<sup>10</sup> Вместе с тем факты биографических взаимоотношений двух писателей не должны закрывать от нас того обстоятельства, что следы воздействия чеховской новеллистики в жанрово как будто бы родственных ей рассказах Зайцева обнаружить довольно трудно. Зайцев, фабулы которого, словно растворяясь, исчезали в волнах лирических эмоций, не воспринял, в частности, искусства Чехова-фабулиста. Но зато чеховская драматургия, с ее наклоном к тому, чтобы принести действие в жертву «настроению», сделалась своеобразным указанием для Зайцева и его новеллистической прозы. Это отметила уже Е. А. Колтоновская, проницательный критик предреволюционных лет, автор нескольких статей о Зайцеве: «Воздушные, скупые на слова, поэтичные рассказы Зайцева вполне соответствуют чеховским „драмам настроений“».<sup>11</sup> Все это проливает некоторый свет на мотивы появления в позднем

<sup>3</sup> Зайцев Борис. Рассказы. СПб., 1906, кн. 1.

<sup>4</sup> Морозов М. Старосветский мистик. — В кн.: Морозов М. Очерки новейшей литературы. СПб., 1911, с. 155.

<sup>5</sup> Айхенвальд Ю. Борис Зайцев: Наброски. — В кн.: Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. 3-е изд. М., 1917, вып. 3, с. 205.

<sup>6</sup> Термин Л. Я. Гинзбург. См.: Гинзбург Л. Я. Частное и общее в лирическом стихотворении. — В кн.: Гинзбург Л. Я. О старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1982, с. 16—42.

<sup>7</sup> Горнфельд А. Г. Лирика космоса. — В кн.: Горнфельд А. Г. Книги и люди: Литературные беседы. I. СПб., 1908, с. 19.

<sup>8</sup> Русская литература XX века: 1890—1910, т. III, кн. VIII, с. 65.

<sup>9</sup> См. в кн.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30-ти т. Письма: В 12-ти т. М., 1980, т. 9, с. 526.

<sup>10</sup> Там же, с. 222.

<sup>11</sup> Колтоновская Е. А. Борис Зайцев. — В кн.: Русская литература XX века: 1890—1910, т. III, кн. VIII, с. 77.

творчестве писателя очень личной для него книги «Чехов».

С Тургеневым, о котором Зайцев написал свою первую историко-литературную книгу, его также соединяли нити преемственности и внутреннего родства. Целый ряд персонажей Зайцева, и особенно, как полагала та же Е. А. Колтоновская, герой рассказа «Спокойствие»,<sup>12</sup> своей типологической природой были весьма близки тургеневским «лишним людям». Ничего похожего на вторичность в населении рассказов Зайцева, впрочем, не было, ибо писатель проследивал даже уже и не развитие типов дворянской интеллигенции на поздних стадиях ее исторического бытия, а ее жизнь после того, как это развитие совершило свой полный круг и подвело потомков «лишних людей» к последним пределам. С отменной исторической зоркостью, кстати сказать, Зайцев изобразил трагедию «внуков Лаврецкого», достигнувших культурного совершенства, но вместе с тем, а может, вследствие того испытавших буквальную, физическую атрофию всех жизненных сил, самой способности к жизни. Зайцев, как и Тургенев, схватывал, таким образом, «быстро изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя»,<sup>13</sup> если использовать известную тургеневскую формулу, но тем не менее мы бы ошиблись, если бы вообразили, что в Тургеневе Зайцева больше всего пленял дар общественно-исторической типизации. Как и из Чехова, Зайцев извлекал из Тургенева не самое, возможно, главное, но свое. На этот отбор традиций, последовательно совершавшийся Зайцевым, обратила внимание в посвященной ему статье «Тварное» З. Н. Гиппиус: «Так видел бы природу *современный* Тургенев, вернее, так бы он описывал ее, — Тургенев без романтизма, без нежности и... без тенденции, — если сказать грубо; без осмысливания, — если выражаться шире и вместе с тем точнее».<sup>14</sup>

В автобиографической повести Зайцева «Заря» автобиографический герой, очень юный, переживает сильнейшее волнение под воздействием прочитанной им «Первой любви» Тургенева: «И со светлой тоской в сердце, с наветывающей слезой бродил он в зеленом саду; весь этот день окрасился для него бледно-зеленоватым. А видение — Зинаида — осталась на всю жизнь. Это была первая великая радость искусства».<sup>15</sup> Впол-

не оправданно, что в элегии дворянского детства, — а именно таковой была повесть «Заря», — Зайцев обратился к традициям усадебной поэтичности и вспомнил о тургеневском лиризме. Но не одна тематика вызвала у писателя эту оглядку на «Первую любовь»; лиризм прозаического повествования, открытый Тургеневым, оказывался для Зайцева кардинальной ценностью тургеневского художественного опыта вообще. В этом не оставляет сомнений небольшое эссе о Тургеневе, которое Зайцев написал в 1918 году и в котором он прямо противопоставил лишенную, по его мнению, «зерна очарования» общественную тему Тургенева его лирическим страницам. «„Тургеневское“, некоторый тончайший эфир его души, пронизывает все написанное им и сквозь недостатки, устарелость приемов, нередко — слабость архитектуры (в больших вещах) остается очаровательным и вечным»<sup>16</sup> — таково теоретически осознанное зайцевское отношение к Тургеневу. С такой точки зрения и общий образ Тургенева рисовался Зайцеву по-особенному; это был для него «образ спокойствия и меланхолии, созерцательного равновесия и меры, без сильных страстей, облик благосклонный и радующий — изяществом, глубокой воспитанностью духовной; женственный и как бы туманный».<sup>17</sup>

Трудно отказать Зайцеву в проникновенности созданного им тургеневского образа, хотя и вряд ли всестороннего. Его коснулось веяние субъективной идеализации, и, вероятно, поэтому он так похож на образ Жуковского. Парадокса здесь, правда, нет: ведь и в Чехове, и в Тургеневе, и в Жуковском Зайцев по преимуществу искал и находил свое отражение. Прежде всего зеркало хотел он видеть в литературных предшественниках; он выбирал среди них тех, в ком мог узнавать свое и себя, и проходил мимо, если кто-то не давал ему такой возможности, как прошел, например, мимо Достоевского. Мимо Жуковского он, однако, пройти не мог, хотя понял это не сразу.

Сведений о том, каким образом Жуковский входил в первоначальный кругозор Зайцева и входил ли вообще, пока нет. Среди русских писателей, влияние которых на свое творчество признавал Зайцев и имена которых он перечислял в «Биографических сведениях», Жуковский не значится, хотя, вместе с Чеховым и Тургеневым, в этом перечне названы еще Пушкин, Гоголь, Толстой и Тютчев. Ассоциации, связанные с Жуковским, не приходили на ум и много-

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> *Тургенев И. С.* Предисловие к романам. — Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Соч.: В 15-ти т. М.; Л., 1966, т. 12, с. 303.

<sup>14</sup> *Антон Крайний [Гиппиус З. Н.]*. Литературный дневник (1899—1907). СПб., 1908, с. 383.

<sup>15</sup> *Зайцев Борис*. Рассказы. СПб., [1911], кн. 3, с. 123.

<sup>16</sup> Художники слова о Тургеневе: Б. К. Зайцев. — В кн.: Тургенев и его время: Первый сборник под ред. Н. Л. Бродского. М.; Пг., 1923, с. 15.

<sup>17</sup> Там же, с. 15—16.

численным критикам ранней прозы Зайцева, если не считать названия одной из посвященных ему статей Е. А. Колтоновской — «Поэт для немногих».<sup>18</sup> Это название, конечно, отсылает память читателя к заголовкам нескольких сборников Жуковского 1818 года — «Für Wenige» («Для немногих»), но и только. Между тем если учесть, к чему притягивались симпатии Зайцева в творчестве Чехова и Тургенева, то появление Жуковского в одном ряду с этими писателями окажется не только не странным, но и почти неизбежным. Поэзия Жуковского в качестве начального звена включается в ту не вполне осознанную литературно-критическую мысль, но действительно существующую историко-литературную цепь, последующими звеньями которой были и Тургенев с его лирической прозой, и Чехов с «драмами настроений», и, наконец, Зайцев с импрессионистской новеллой. Это была завоеванная для русской литературы романтизмом и ставшая в ней органичной традиция психологического искусства, которое воздействовало на читателя и выбором предмета, и эстетикой слова, но, в дополнение к этому, располагало еще образными средствами, зарождавшимися вне логической конкретности предметов и слов и как бы даже нематериальными. К поэтике такого типа вели, разумеется, вполне материальные пути: целенаправленное разрушение рациональной понятийности словаря или символизация изображаемых объектов, тем не менее оба этих ведущих для указанной традиции приема имели ускользающий, не дающийся простому осознанию, лишенный наглядности облик и казались оттого превышением возможностей словесной материи.

Обратившись к Жуковскому, основоположнику психологизированного художественного образа в русской литературе, Зайцев тем самым обратился к первоисточнику своего стиля и своего мироощущения. Вот некоторые из тех определений, которыми он пытается выразить в своей книге существо личности и поэзии Жуковского: «меланхолия чистая и прекраснородушная», «легкокрылый какой-то», «лазурность», «нечто нежно-пейзажно-меланхолическое, полное легкости и музыки», «влажная стихия поэзии», «спиритуальная легкость», «прозрачная синеватость и печаль»... Вся эта невесомая суггестивная лексика дает Жуковскому и что-то от атмосферы Зайцева, но художественно-психологический строй двух художников оказывается настолько единороден, что образ Жуковского не только не искажается, а яснее. Поэтическая субъективность в данном случае не туманит предмета,

она познает его успехом самопознания. Остается добавить, что никакой литературной «вольности» в этом нет, — на такой путь познания искусства первым среди русских писателей вступил сам Жуковский. Именно Жуковский, размышляя над интерпретацией Лафонтена в баснях Крылова, сумел в характеристике Крылова описать и Крылова, и себя самого, основы своего переводческого метода («О басне и баснях Крылова», 1809). Именно Жуковский, в переводах своих, мог создавать психологический и стилистический образ переводимых поэтов и при этом ничего не нарушать в характерности и единстве собственной поэтической системы.

Книга Зайцева «Жуковский» не содержит в себе историко-литературных открытий или новых теоретических истин. Интерес и достоинство ее не в этом. Это книга мастера о мастере. При широкой осведомленности ее автора в биографической литературе о Жуковском, в его и до сих пор разбросанной по десяткам старых изданий переписке, в документах эпохи он отдает здесь предпочтение не столько анализу, сколько вчувствованию, проникая в мир Жуковского путями интуитивной рефлексии. Порой это позволяет Зайцеву делать историко-литературные наблюдения с такой степенью точности, которой не достигает самая пунктуальная фактография. Нужно было уловить что-то поверх документальных данностей, чтобы, например, указать, как это сделал Зайцев, на то, что внутренняя связь Жуковского и Гоголя, укреплявшаяся с годами, была более безусловна, чем окруженная легендой близость Жуковского и Пушкина. Видение писателя заслуживает тем большего внимания, что исторический мир, изображенный в его книге, хотя и воссоздавался им в середине XX века, не был для него миром «другого солнца». Это был до известной степени его мир, памятный отчасти по опыту, отчасти по семейному преданию, любобыванный не археологическим любопытством, но сыновним чувством. В 1904 году, рецензируя книгу А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и „сердечного воображения“», сверстник Зайцева Александр Блок заметил, что созданный Веселовским образ Жуковского «следует отнести на счет *любви* не менее, чем на счет стремления к „научной правде“».<sup>19</sup> Если в блоковских категориях оценивать другую книгу о Жуковском, принадлежащую перу Зайцева, то нужно будет определенно признать, что в ней «любовь» доминирует над «стремлением к „научной правде“». В этой любви есть, однако, то, что делает правду одушевленной и углубляет само понятие правды.

<sup>18</sup> См.: Колтоновская Е. А. Новая жизнь: Критические очерки. СПб., 1910, с. 72—85.

<sup>19</sup> Блок Александр. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1962, т. 5, с. 571.

«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева»,<sup>20</sup> — писал Ю. Айхенвальд. Туманность, долго закрывавшая от нас эту звезду, начинает сегодня рассеиваться...

### Мишенское и Тула

Ока берет начало несколько южнее Орла. Худенькая еще в Орле и скромная, скромно восходит прямо на север, к Калуге. Там возрастает Угрой. Медленно, неустанно пронизывает извилами зеркальными Русь через Рязань до Волги — светлая душа страны.

На полпути между Орлом и Калугою протекает через уездный городок Белев. Он небогат, незнатен. Чем ему похвалиться? Собором, острогом, убогой гостиницей да садами над Окой, с яблонями и вишнями?

Ничего выдающегося, но хороший край, Окою украшенный. Как бы перепутье между лесами Брянска, Полесьем и хлебно-степными просторами за Орлом, к Ельцу. Ни леса, ни степи. В меру полей, перелесков, лугов, деревень, барских усадеб. Ничего дикого и первобытного. В необъятной России как бы область известной гармонии — те места Подмосковья, орловско-тульская-калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла.

А всего в трех верстах от Белева, в том же соседстве Оки неторопливо-прозрачной, село Мишенское, в конце XVIII века принадлежавшее Афанасию Ивановичу Буину, одно из многих его поместий. Все здесь широкого размаха: огромный дом с флигелями, оранжереи, пруды, парк, роща дубовая. Недалеко сельская церковь — как бы своя. Речушка, конечно, в Оку впадающая, вид на далекие пышные луга. Просторная, бесшумная, во многом бестолковая помещичья жизнь.

Сам Афанасий Иванович человек добрый и благородный, ничего в нем сурового, несмотря на суровое крепостное время. Конечно, все довольно просто: охота, водочка, развлечения деревенские. И слабость явная — по женской части.

Он женат на Марии Григорьевне Безобразовой. Нередкое вообще в русской жизни сочетание, в те времена особенно: мужа неплохого, но распущенного, и женщины, несущей бремя покорно и безответно, «подымающей» дух дома.

Одиннадцать раз рожала Марья Григорьевна, шесть раз, за короткое время, пережила горе смерти детей, среди них единственного сына, уже студента Лейпцигского университета. Но остались четыре дочери, в Мишенском и возраставшие: Авдотья, Наталия, Варвара и Екатерина.

Женская половина, конечно, и более просвещенна, и духовно культурнее: без арапников и доезжачих, пейзажков и водочки. Дочерей ведет Марья Григорьевна в религиозном духе и в духе литературной образованности. Сама читает много, но лишь русские альманахи и журналы (какие названия! «Приятное и полезное препровождение времени», «Распускающийся цветок», «Иппокрена, или Утехи любословия»). Девицы же насыщаются и французским: «Новая Элоиза» Руссо, «Адель и Теодора» г-жи Жанлис, и в подобном роде — чувствительное и романтическое. Все с детства хорошо говорят по-французски, дом полон гувернанток и учителей. Доносятся иногда звуки и крепостничества — то рекрутский набор, то продажа людей, а то, может, и наказание. Но в те времена все это уживалось. Впрочем, дом Буиных совсем не был суровым. Скорее мирный дом.

Разумеется, сохранились и черты древние: приживалки, бедные родственники, даже домашний шут был у Афанасия Ивановича, Варлашка, — смешил во время обеда.

Жил у них в доме небогатый дворянин из Украины, полудруг, полуслужащий, полуприживал Андрей Григорьевич Жуковский. Скромный человек, богобоязненный, хорошо играл на скрипке, аккомпанировал одной из дочерей, Варваре Афанасьевне, игравшей на фортепиано и «изрядно» певшей. Был и «управителем» богослужебного пения в доме и в церкви. Этот Андрей Григорьевич оказался не зря в доме Буиных. Да и русской литературе принес смирный дар свой.

В 1770 году Марья Григорьевна родила младшую дочь Екатерину, а в следующем рекруты уходили из Мишенского на войну с турками. Одному из них сказал на прощанье Афанасий Иванович полу в шутку: «Вот, идешь воевать, турок бить — ты бы мне турчанку с войны привез, да помоложе».<sup>1</sup>

Война оказалась удачная. Все, что надо было, забрали, что надо — сожгли и разграбили. Взяли город Бендеры. Народу при этом перебили достаточно, и воитель из Мишенского ухитрился захватить в плен не одну, а двух турчанок, сестер, вовсе молоденьких: на глазах старшей, Сальхи — а было ей всего шестнадцать лет — убили ее мужа. Фатьме, младшей, едва исполнилось одиннадцать. Воитель сам был собственностью Афанасия Ивановича; турчанки — собственностью воителя. Но, возвратившись в Мишенское с награбленным, турчанок передал он Афанасию Ивановичу. Может быть, тот велел поднести ему чарку водки.

Так в Мишенском появилась Турция. Грабителям предстала она в облике очаровательном и трогательном: Сальхи, молодой вдовы — «прекрасной, ловкой, кроткой, добронравной»,<sup>2</sup> и бедной де-

<sup>20</sup> Айхенвальд Ю. Указ. соч., с. 205.

вочки Фатмы, захиревшей и скоро умершей: бог знает, что испытала она на войне и в плену.

Сальха же выжила. Ее сделали няней младших детей Бунина, Варвары и Екатерины. Ее странная звезда медленно начала подыматься. Умерла прежняя домоправительница, Сальха заняла ее место — русские девушки-госпожи обучили ее русскому языку. Она поселилась отдельно, во флигеле сбоку.

Не в характере Афанасия Ивановича было бы пропустить такую Сальху. Нравился он ей или не нравился, нам неизвестно. Может быть, что и нравился. Все равно, если бы и нет, пленница безответна и беззащитна. Но безответной привыкла она быть и на родине, в Бендерах своих, как и все женщины ее народа. Она стала ему близка. Можно думать, что просто даже он полюбил эту милую, молодую, прелестную Сальху. Во всяком случае, так она сделалась ему необходима, что и сам он к ней переехал во флигель.

Времена были не такие, чтобы Марья Григорьевна могла от него уйти. Ей оставалось терпеть. Она и терпела. Спротивляться могла лишь отчуждением от мужа и холодом, отделением своих детей от отцовского мира. Варе и Кате запретили бывать во флигеле. Сальха появлялась в большом доме только по вызову, принимая хозяйственные распоряжения. Так что жизнь ее, тихая и покорная, полная труда и порядка, шла в этом флигеле незаметно, так бы незаметно и прошла, если бы...

Одна за другой появлялись у нее девочки, ненадолго, и умирали. Их было три. Безвестно родились, ушли безвестно. Но вот 29 января 1783 года явился на свет божий мальчик. Этот не умер.

Очевидно по просьбе самого Бунина, Андрей Григорьич Жуковский, в это время в доме у них уже не живший, явился через два дня после рождения младенца к Марье Григорьевне для переговоров: хотел быть приемником турецкого мальчика, крестной же матерью предлагал Варю Бунину — ей тогда минуло пятнадцать.

Не так легко было согласиться, но Марья Григорьевна согласилась. И выиграла. Добром, прощением взяла. Жизнь ее была нелегка. Она знала, что такое горе. Последнее ею испытанное была смерть единственного сына, студента в Лейпциге. Теперь посылался ей новый сын, плод «греха» и обиды. Как-то будет он, разумеется, не могла себе и представить. Но вот зов услышала. Маленький, новый, подупленный беззащитный человек... Сердце ее дрогнуло и открылось. «Безмолвно усыновила она его в своей душе».<sup>3</sup>

Так все и вышло. Андрей Григорьич и Варя крестили его. Имя ему нарекли Василий, по-гречески царь. Но по-русски звучит мягко, скорей женственно.

Младенца, явившегося на свет от союза барина русского со смиренной турчанкой, записали: Жуковский. Василий Андреевич Жуковский.

\* \* \*

Мальчик явился в семью знаком мира. Полюбив его, Марья Григорьевна вполне приняла положение. Афанасий Иванович вернулся в большой дом. Отношения их стали лучше — над чем-то поставлен крест. К Сальхе же Марья Григорьевна и вообще благоволила: подкупал и характер турчанки, и то, что она ведь неправославная, в Турции там у них всюду гаремы, сошлась не по своей воле, покорность и кротость проявляла полнейшую. Теперь же, когда хозяйка дома приняла сына ее как родного и повела его наравне с собственными детьми, у Сальхи к Марье Григорьевне отношение стало прямо благоволивое. Сальху, впрочем, она перестала быть: ее окрестили тоже, имя дали Елизавета Дементьевна. Она обратилась просто в ключницу Буниных.

Сыну этой Елизаветы Дементьевны было два года, когда крестная его, Варя Бунина, вышла замуж за Петра Николаевича Юшкова и переехала в Тулу. Там родилась у ней, несколько преждевременно, дочь Анна, девочка слабенькая, едва живая. Ее взяла бабушка Марья Григорьевна в Мишенское. Она оказалась первой подругой детства Васи Жуковского, его «одноколыбельницей», как он потом выражался (маленьким, он ложился иногда к ней в кровать, когда она плакала, и успокаивал ее). Другая подруга была Маша Вельяминова, дочь Наталии Афанасьевны Буниной, вышедшей замуж за Вельяминова.

Так среди девочек, в тишине и раздолии барской России, под благословением Оки, начал свою жизнь мальчик Жуковский. Был он характером жив и весел, лицо нежное, темные глаза, темные, хорошо вившиеся от природы волосы, ранняя склонность к мечтательности (несколько и рассеян) — светлое дитя, вызывающее расположение. Царственный оттенок имени его имел характер мирный и возвышенный.

Выясниться это могло лишь позже. Про эти же младенческие годы его можно сказать, что они шли в воздухе мягкой женственности.

Но вот появляется и «мужественное», тоже довольно рано, в облике неприглядном. Первый его учитель, немецкого происхождения, но из Москвы, из *портняжного заведения*, учит его грамоте. Мальчику шесть лет. Учитя он неохотно. Учитель сердится, ставит его на колени (на горох), пускает в ход даже розги. Но Жуковский счастливее в этом Ивана Тургенева, столько в детстве терпевшего от собственной матери: духу Мишенского жестокость

несвойственна. И Марья Григорьевна, и крестный Жуковский вынести такого обращения с мальчиком не могли. Коль скоро приехал, так же незамедлительно и отослан Яким Иваныч в портняжную свою мастерскую на Балчуге или в Хамовниках.

Андрей Григорыч пробует сам учить крестника. Нельзя сказать тоже, чтобы удачно. Голова ученика занята другим. Вместо дела рисует он на стене фигуры — с ранних лет в нем сидела страсть к рисованию, прошла через всю жизнь. Вот однажды увидел он в комнате Елизаветы Дементьевны икону божией матери Боголюбской. Никого вокруг не было. Он ее срисовал мелом на полу, и, по-видимому, удачно. Сам ушел. А когда горничные явились, то были поражены: крестьясь, с молитвою побежали сообщить православной турчанке о чуде. Она спокойно все объяснила — у мальчика руки испачканы были мелом.<sup>4</sup>

Андрей Григорыч очень его полюбил. Очевидно, что обращался не так, как Яким Иваныч. Близость была большая — есть глухое упоминание, что одно время крестник жил даже с ним, отдельно от семьи, «на чердачке во флигеле».<sup>5</sup> Почему вышло это — неясно. А как будто показывает, что не совсем естественно было положение мальчика в семье. Да иначе и быть не могло.

В дальнейшем не видно Андрея Григорыча. Незаметно, бесшумно ушел он из жизни крестника. След же, конечно, оставил (благодарный).

А вокруг произошли некоторые перемены. Афанасий Иваныч получил место в Туле. Туда переехали всей семьей, Мишенское осталось для лета. На учения мальчика это отозвалось тем, что его отдали в Туле в пансион Роде, полупансионером. Учился он там неудачно.

Крупнейшим же событием этого времени оказалась для него смерть Афанасия Иваныча, в марте 1791 года. Не то чтобы любил он его или был близок. Скорее обратно — далек, да и неясно восьмилетнему мальчику, кто это, барин не барин, отец не отец — некое неопределенно-высшее существо. Но это была первая встреча со смертью. Встреча торжественная. Духовенство и ризы, погребальные свечи, церковное пение, траур, могила в часовне, стоявшей на месте старой церкви (похоронили в Мишенском, где тогда и жили — весну и лето). А затем постоянные службы заупокойные, куда ежедневно ходил он с «бабушкой» и полуплемянницей, «одноколыбельницей» Аней Юшковой. Церковь сельская чуть не через дорогу (позже он сам и нарисовал ее, рисунок сохранился). Этот храм — первое пристанище души его, начало длинного и не без сложностей духовного пути. А натура видна с первых лет. Ему нравились нежный херувим на царских вратах. После Херувимской, когда врата

затворяются, подходил он к ним и деловал херувима в обе щеки. Аня достать не могла — он ее подымал и прикладывал.

Но не вечно же серьезное и возвышенное. Он ребенок живой, веселый, вокруг него девочки — кроме Ани, Дуни и Маша, Катя Юшковы, сестры Вельяминовы, еще разные по соседству. Жизнь для них в Мишенском очень привольная, много игр и забав. Есть даже и военные, где он командует: ставит сверстниц во фронт, заставляет брать укрепления, сажает под арест (между кресел). Они живут очень дружно со своим «дядюшкой», который им довольно странно приходится, как бы и свой, но и сын турчанки, обратившейся в Елизавету Дементьевну, скромно позвякивающую ключами.

Года два продолжается для него так: летом Мишенское, на зиму опять переезжают в Тулу, опять пансион Роде, теперь уже полный, домой только в субботу.

Но затем и его, и Аню совсем поселяют в тульском доме Юшковых, Марья же Григорьевна остается с частью внучек и Елизаветой Дементьевной в Мишенском.

\* \* \*

Барвара Афанасьевна Юшкова, «крестная», была милая, образованная женщина, умница и натура поэтическая. Любила и музыку — музыка еще в Мишенском процветала, при Андрее Григорыче Жуковском со скрипкою его и хоровым церковным пением.

В Туле размах оказался шире. Барвара Афанасьевна занялась даже городским театром, вводя там усовершенствования, а у себя устраивала литературно-музыкальные вечера.

Литература в доме ее почиталась, и сама она была направлением передового — сентиментализм только еще появился. На вечерах ее читали новые произведения Карамзина, Дмитриева и других того же духа. Интересовалась она и текущею литературой альманахов, журналов.

Крестник учился уже не в пансионе Роде, закрышемся, а в народном тульском училище.

Старший преподаватель училища этого, Феофилакт Покровский, человек образованный, сам немного писавший (сотрудничал в «Полезном и приятном препровождении времени» под псевдонимом «Философ горы Алаунской»), не приучил мальчика к науке и вообще его не понял. «Я помню, — писал старый Жуковский старой Анне Петровне Зонтаг, бывшей Ане Юшковой, — как он запретил мне ходить в училище, но совсем не помню, что было причиною его ко мне неприятни».<sup>6</sup>

Особенного, разумеется, ничего не могло быть. Просто был он ребенок

своеобразный, со своими вкусами. А ему вдалбливали нелюбимое (например, математику). Заинтересовать не умели, ничего не вышло, училище пришлось бросить.

Но у Юшковых достаточно было гувернанток и учителей. Французский язык знал он с раннего детства, немецкому учился теперь дома, да и еще многому другому.

Главное же, что было в доме Варвары Афанасьевны, это дух культуры и уважения к искусству. Это скорее доходило до турецкого мальчика, чем математика философа Алаунского. Доходило и что-то в нем возбуждало. Возбуждение с ранних лет рвалось выразиться. Зимой 1795 года крестнику было всего двенадцать лет. Очевидно, он уже много читал и недетского — сочинил, например, подражая, пьесу «Камилл, или Освобожденный Рим», которую и поставил сам, к приезду Марьи Григорьевны в гости из Мишенского.

Занятие замечательное. Сам он и автор, режиссер, актер — играет Камилла. Девочки в белых рубашках, с шарфами, лентами, изображают сенаторов в тогах. Место представления — столовая дома Юшковых. Сцена освещена церковными свечками, горят также плешечки из скорлупы грецких орехов с налитым туда воском. Занавес — простыня. Кулисы и декорации — мебель из других комнат. В первом ряду зрителей бабушка Марья Григорьевна, гость почетный, в чепце с лентами. А с непочетных берут при входе по гривеннику на расходы.

Героиню, Олимпию, играла довольно полная тульская девица в белой рубашке поверх розового платья. Красная шаль на голове изображала порфиру. Это была какая-нибудь миловидная и здоровая Anastasie или Eudoxie соседней семьи дворянской, но тут обращалась в царю. Камилл перед собранием сенаторов дает отчет о своей победе. Приводят Олимпию, раненую, с распущенными волосами. «Познай во мне, — говорит она, — Олимпию, Ардейскую царю, принесшую жизнь в жертву миру!» «О боги, Олимпия, что сделала ты?» — восклицает Камилл. «За Рим вкусила смерть!» И Anastasie падает мертвая.

Так прославили в Туле Рим. Пьеса имела успех шумный. Автор и актеры в восторге. Автор — как и многие молодые авторы, — сорвав успех в одной пьесе, решает написать другую. Насколько же это интереснее, чем зубрить правила арифметики у философа горы Алаунской!

Выбирается произведение еще более подходящее (по духу чувствительности): простодушный, идиллический роман Бернардена де С.-Пьера «Павел и Виргиния». Драматург двенадцатилетний выкроил из него пьесу «Г-жа де ла Тур». Теперь уж он опытный режиссер,

труппа у него закаленная, он гораздо увереннее и крепче. Но театр вещь коварная. Не все знаешь заранее, подымая занавес, — оттого столь и суеверны актеры.

Все вышло не так, как ждали. Возможно, что исполнители не совсем поняли роли и сплеховали в игре. Но решил дело случай, непредусмотренный.

На сцену явился десерт, изображавший завтрак действующих лиц. Перестаралась ли Варвара Афанасьевна — был ли десерт слишком вкусен, обилие? Слишком ли проголодались все эти Анеты, Машеньки, Anastasies? — Летописец сообщает кратко: «Актеры вышли из ролей и представление расстроилось»<sup>7</sup> — разумеется, к ужасу будущего романтика, занялись больше десертом, чем искусством. И насколько «Камилл» прошумел, настолько провалилась «Г-жа де ла Тур». Автор был очень недоволен. Зейдлиц, первый его биограф, трогательный и верный друг, считает, что неуспех этот на домашнем спектакле, казалось бы пустяковый, оставил след в сердце автора навсегда: робость некоторую, неуверенность в себе.<sup>8</sup> С этого раза он всегда отдает сочинения свои сперва на суд сверстниц-девушек («девический ареопаг», будто бы повлиявший даже на общий склад поэзии его), а потом на суд друзей-профессионалов. Во всяком случае, опыт с неудачей был ранний. Разумеется, и плодотворный.

\* \* \*

Может быть, частью плодотворно было и странное положение его в семье. Пусть наравне с девочками воспитывается и учится, и любит его Марья Григорьевна (полуматерински), все-таки он не совсем равный. Кто отец его? В очень ранних годах это еще не имеет значения, но вот время идет, он уже автор «Камилла», вопрос должен вставать — и перед ним, и перед девочками. Кто же этот Вася Жуковский, полубратец, полудядя, и свой, да не очень? В какой-то момент, конечно, все станет ясным. Очень возможно, что в женской половине дома юшковско-бунинского это вызовет даже сочувствие к нему с тенью укора Бунину старому. Все же отрок, чья мать турчанка-ключница, хоть и уважаемая, но полуприслуга, полурабыня, отец же незаконный — такой ребенок ступенью ниже настоящих барских детей.

В жизненном смысле для молодого Жуковского это было труднее, в нравственном же полезнее: удаляло от кичливости, высокомерия, барства. Скромно пришел в жизнь, скромно ее проходит. В Пушкине, даже в Иване Тургеневе все же сидел помещик, «дворянин», от которого надо было освобождаться (Пушкина — смерть и страдания ее освобождали). Жуковский сразу явился странником, почти не укорененным в

быту крепостничества. Не приходилось ни знатностью, ни богатством гордиться. Он, может быть, первый из «интеллигентов» российской литературы.

Этого интеллигента, однако, в конце 1795 года решила направить Марья Григорьевна по военной части. (Сын он был Елизаветы Дементьевны, а судьбою его распоряжалась «госпожа» — он ее звал всегда: бабушка).

Знакомый майор Постников повез его в Кексгольм, в Финляндию, где стоял Нарвский полк, — в нем некогда служил и Афанасий Иваныч. Туда был записан Жуковский с самого своего рождения.

Кое-какие следы предприятия этого сохранились. Сам Жуковский вспоминал через много лет, как проездом, в Петербурге, видел императрицу Екатерину на великолепном празднике в честь Потемкина. Уцелели и письма его из Кексгольма к матери, простодушно-ребячески, почтительные и в наивности своей милые. Мать он называет «Милостивая государыня, матушка Елизавета Дементьевна»,<sup>9</sup> спрашивает о ее здоровье, говорит о своем («здоров и весел»). Описывает и свою жизнь: «Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласкам». (Дар располагать к себе был щедро ему дан — с ранних лет).

«Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шедши за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали. Еще скажу вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем».

Подписывается он: «Навсегда ваш послушный сын Васинька».<sup>10</sup>

В другом письме сообщает, что у них был «граф Суворов, которого встречали пушечной пальбой со всех бастонов крепости. Сегодня у нас маскарад, и я тоже пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович».<sup>11</sup>

От родных он вдали, но ему там неплохо. В следующем письме, от января 1796 года, пишет: «У нас здесь, правду сказать, очень весело; в Крещение была у нас Иордань, куда ходили с образами, и была пушечная пальба и солдаты палили из ружей... Всегда ваш послушный сын Васинька».<sup>12</sup>

Правда, что развлечения больше в пальбе, но, очевидно, драматург и режиссер тульский не очень и требовательен, мир же, перед ним открывающийся, вовсе для него нов.

Войти в этот военный мир ему не предстояло. Екатерина умерла, на престол вошел Павел и отменил прием в войска малолетних. Постников отвез «Васиньку» обратно в Тулу. Ему надлежало учиться другому — не ружейным приемам и не арифметике философа Алаунского.

## Университетский пансион

В 1779 году поэт Херасков, тогда куратор университета Московского, основал при нем Благородный пансион — нечто вроде гимназии и лицея, исключительно для дворянских детей. К концу XVIII века, после некоторых перемещений, пансион обособился между Тверской и Большою Никитской, в приходе церкви Успения на Овражке, в доме Шаблыкина. Главный вход с Вражского переулка (позже Газетного). Во дворе особняк, а у входа небольшой белый флигель — квартира инспектора. Очевидно, свой сад, целая усадьба. В особняке жили, учились, воспитывались юные дети дворян российских.

Заведение было особенное, в своем роде единственное. Им управлял «директор университета» Тургенев и инспектор Прокопович-Антонский, люди культурнейшие, настроения возвышенного. Они ставили себе целью не только обучить, но и воспитать, просветить душевно. Где-то на горизонте тень знаменитого Новикова, мистика, масона, узника Шлиссельбургского, просветителя и «друга человечества».

Удивительно обучение этого пансиона: в шести классах преподавали тридцать шесть предметов. От математики до мифологии, от закона божия до наук военных. Но главное — литература, история, знание языков. Были уроки и искусств: музыки, живописи. Особенное внимание обращено на языки — русский в первую голову и живые иностранные. На них ученики обязаны были даже говорить в самом пансионе.

Для многопредметности поправка была такая, что не все обязательно. Учащиеся, по своим склонностям, выбирали группу знаний. Над всем же — дух воспитания и просвещения нравственно-религиозного. Он живым был потому, что живые люди вели дело. В Италии XV века Витторино да Фельтре, известный педагог, создал свою Casa gioiosa,\* учебное заведение, проникнутое духом гуманности и свободы, — оно воспитало ряд людей замечательных и знаменитых, оставило в Возрождении светлый след. Московский пансион, хоть и иного оттенка, имел с ним общее. И знаменитостей выпустил тоже немало. Среди них: Жуковский, Лермонтов, Грибоедов.

Для Жуковского вышло отлично, что судьбой его распорядилась не мать, а «бабушка». Эта бабушка у смертного ложа Афанасия Ивановича обещала некогда не расставаться с Елизаветой Дементьевной, а «Васиньку» вести как сына.

Обещание выполняла. Заботясь о будущей его независимости, выделила ему из наследства каждой дочери по 2500 р.,

\* Радостный дом (итал.).

т(ак) ч(то) к совершеннолетию у него появились, хоть и небольшие, все же свои средства. Главное же, ввела в культурный круг того времени. В Благородный пансион отдавала как бы и в родственное заведение: Юшковы были знакомы с Тургеневым. Конечно, отлично знали характер пансиона.

Для Жуковского трудно представить себе школу более подходящую. Порядок, спокойствие и размеренность, хорошие учителя, товарищи любопытные, благочестие, литература и искусства... — можно подумать, что прямо готовили будущих писателей.

Некогда Яким Иванович ставил его на колени за нерадивость, философ горы Алаунской удалил из народного училища, но вот теперь все оборачивается по-иному. Из тридцати шести предметов выбирает он не математику и фортификацию, а что сердцу ближе («словесное отделение» пансиона). И преуспевает в высшей степени. Уже через год, на акте 1798 года, признан голосом всего класса первым.

Это первенство не было случайным. Оно прочно, ибо связано с натурою его — поэзией.

Прокопович-Антонский, благожелательный масон, был первым председателем Общества любителей российской словесности. Для заседаний Общества этого отдавал залу пансиона, а распорядителями были ученики. Наблюдали за порядком, усаживали гостей и т. п. Литература взрослых шла сама к ним, ею они дышали, впитывали ее. Среди них самих основалось Собрание воспитанников — литературное общество молодежи. Тут уж они не только слушали, но и выступали сами. На этих собраниях автор «Намилла» заявил себя сразу, и в 1799 г(оду), при первом же открытом заседании, выбран был председателем, произнес речь. Так до конца председателем и остался.

Собрания эти происходили часто, раз в неделю, а иногда и дважды: значит, интерес был большой. От шести до десяти вечера заседали, читали произведения свои, переводы из иностранных авторов, обсуждали, спорили. Прокопович-Антонский всегда присутствовал. Иногда приглашал и знаменитостей литературы — Карамзина, Дмитриева.

Окончив, ученики шли ужинать — ужин для них подавался отдельно, позже. Разговоры и споры продолжались за ужином, а затем в спальнях. Спать, может быть, и мешали. Но как возбуждали, в высокую сторону, юные души!

Сохранился документ, касающийся жизни юнцов этих. (Старобельский мещанин Коханов спас в Харькове в мелочной лавке от рук лавочника протокол одного заседания юношеской Академии 18-го мая 1799 года).

«Председатель В. А. Жуковский (ему шестнадцать лет) открыл заседание речью „О начале обществ, распростра-

нения просвещения и об обязанностях каждого человека относительно к обществу“». Потом читали стихи воспитанника Лихачева «Ручеек» — передала отзыв. Жуковский «внес, сверх месячных работ, перевод из Клейста в стихах», некто Поляков тоже отрывок перевода. Жуковский читает замечания свои на сочинение секретаря Родзянки: «Нечто о душе». Возникает обмен мнений. С некоторыми замечаниями его соглашались, с некоторыми нет. А в заключение Александр Тургенев читает Державина «Россу по взятии Измаила»... «Председатель В. А. Жуковский назначил чередного оратора, чем и кончилось заседание».<sup>13</sup>

\* \* \*

Жуковского времен пансиона можно представить себе юношей тоненьким, изящным, с вьющимися волосами, очень миловидным и благовоспитанным. Как и все вокруг, а вернее, даже больше товарищей ведет он жизнь труда. В пансионе встают в 5 утра, в 6 уже за повторением уроков, в 7 на молитве и так далее, классы, занятия весь день с большой точностью, до 9 вечера, когда «после ужина и молитвы» предписано «спать ложиться благопристойно, без малейшего шума». Все вообще в пансионе «благопристойно»: не ссориться, не шуметь, быть вежливым, законопослушным.

Это для него и нетрудно — как раз таков склад его душевный, с добавлением истинной, врожденной скромности.

Не видно, чтобы мечтательность мешала тут занятиям его учебно-литературным: надо думать, что в них было нечто, утолявшее и мечтательность, и фантазию — все учение и все выступления в Собрании воспитанников вращались ведь вокруг литературы и искусства.

Как и в Мпшенском, находился он здесь в не совсем естественном положении. Товарищи его — вплоть до ближайших друзей Андрея и Александра Тургеневых, принадлежат к крупному русскому барству. Все это — старое дворянство, с вотчинами, крепостными, более чем обеспеченной жизнью. Вопросы материального для эти юношей нет. Предки их давние и всем известные. Жуковский происхождения сомнительного, «усыновленный» маленьким дворянином. Платят за учение его Бунина и Юшкова, денег карманных у него мало. В этом он один из последних в пансионе. Приходится подрабатывать переводами. Правда, снобизма в заведении не было. И к счастью, жизнь его так сложилась, что внутренней стесненности не оказалось, самолюбие не задето. Не видно, чтобы он страдал от своей относительной бедности и незнатности. Товарищи его любили. Культ дружбы вообще начался для него с этого пансиона.

Духовная же его одаренность всеми ценилась и признавалась. Сверстники выбрали его председателем, начальство поручало ему и Костомарову даже некоторое водительство над учениками. Им предписывалось, чтоб они давали вечерние молитвы «лучшим из старшего возраста». Чтобы читались избранные места из Св. Писания и других нравственных книг. Тут же указывалось: «Утренние и вечерние размышления на каждый день года» протестантского проповедника Штурма, «Книга премудрости и добродетели» Додслея.<sup>14</sup> «Все сие послужит к величайшей вашей пользе, к назиданию вашего сердца».<sup>15</sup>

Жуковский читал, значит, и сам, и другим мистические толкования Христофора Христиана Штурма, одного из последователей Клопштока. Это — хвалебные гимны творцу. Величие бога в природе: гусеница, муравей, «обыденная муха». Жизнь моря, красота лугов, гром и т. п. — все проявление и обиталище бога. Книга Додслея также проникнута религиозно-мистическим духом.

Если представить себе общий облик духовный Жуковского, на протяжении всей его жизни, то вполне можно думать, что именно эти чтения мистиков, в раннем и нежном возрасте, залегли глубоко, вошли чуть ли не основным в окончательное сложение его души.

\* \* \*

Наибольшая слава того времени, разумеется, Державин. Подоблачное, поднебесное, откуда летят громы, голос трубный, скорее природно-стихийный, чем человеческий. Слог крупнозернистый. Все мужественно, прямо, сильно, иногда дико, иногда пугано, в общем величественно, масштаба перворазрядного. Легче удивляться ему, чем любить. Для скромного мальчика Жуковского это некий Синай, перед которым он благоговеет, чью оду «Бог» переводит на французский язык, к самому же Синаю относится со священным ужасом. Но это не его мит. Сам он иной закваски. Из другой породы душ. Державинско-екатерининское, век «орлов» и прямолинейного грандиоза отходил. Карамзин более выражал эпоху. Карамзин мог сесть вечером на берегу Эльбы под Дрезденом и, созерцая заход солнца, вдруг от умиления заплакать. Но он выразил в России новый уклон души — на западе проявившийся уже и раньше.

К сердцу, душе человека, мимо громов, побед, государств, космоса — к великому космосу сердца — уклон вглубь. На него юный Жуковский сразу откликнулся. Это свое для него, родное и дорогое. Державину благоговение, самому жить в воздухе Карамзина, карамзинистов.

Оду свою «Благодеяние России» он читал в пансионе в 1797 году — ему было четырнадцать лет. Произведение,

разумеется, детское. Внешне — из владений Державина: восхваление Павла, в тоне напряженно-возвышенном. Есть строки, прямо Державина напоминающие («Зиять престали жерла медны»), но пропето все голосом иным, и не в том дело, что голос это еще слишком юный и не установившийся, а в том, что выражает он совсем иную душу. Для нее не «жерла» характерны, а

С улыбкой ангельской, прелестной,  
В венце, сплетенном из оливо,  
Нисшел из горних стран эфира  
Сын неба, животворный мир.

Певец, так поющий, никогда по державинскому пути не пойдет.

Рядом, того же года, мотив и иной, совсем уж духа интимного. По форме — первый намек на летучий, сквозной строй Жуковского взрослого. Это «Майское утро».

Белорумяна  
Всходит заря  
И разгоняет  
Блеском своим  
Мрачную тьму  
Черных ночи.<sup>16</sup>

Подымается солнце, воздадим хвалу жизни, посмотрим, как бабочки вьются, пчелы летят, все живет и все дышит («да будет» всему творению, как и у Штурма, всегдашнее благословение Жуковского) — но дальше горлица стонет по погибшем другу. Меланхолический звук заканчивает стихотворение:

Жизнь, друг мой, бездна  
Слез и страданий.  
Счастлив стократ  
Тот, кто достигнув  
Мирного берега,  
Вечным спит сном.

В «Майском утре» этом есть, конечно, Дмитриев, тот известный в свое время сладковато-изящный карамзинист Дмитриев, лирик и баснописец, важный сановник и впоследствии министр, который бывал в пансионе на собраниях воспитанников, слушал молодого Жуковского, одобрил его, пригласил к себе и ободрил. Дмитриевский «Стонет сизый голубочек» в Жуковском засел не напрасно, как и все карамзинское. Если это еще подражание, то уже показавшее в полуребеске легкого и нежного музыканта слова.

Замечательно, что уже в ранних, ученических стихах Жуковского черты будущего его облика во многом обозначены. «Добродетель», «К Тибуллу», «К человеку» — стихи несколько более поздние. Во всех них одно: да, мы мгновенны, смертны, «вся наша жизнь лишь только миг», «в тени ветвистых кипарисов брожу средь множества гробов», «Тибулл, все под луною тленно» и т. п. — но над всем высшее и оно побеждает. Смерть не последнее. Она

преодолевается (для Жуковского этого времени) силою нравственной:

Тогда останутся нетленны  
Одни лишь добрые дела.

И еще позже, в 1800 году:

Любя добро и мудрость страстно,  
Стремясь друзьями миру быть,  
Мы живы в самом гробе будем.

Важно не то, как именно решает юноша мировые вопросы, важно устремление его души: преодоление смерти. Всегда, с ранних лет, при веселом и живом характере, подверженном, однако, приступам меланхолии, ощущал он остро брешность жизни. И всегда жило в нем сознание, что есть нечто сильнее смерти.

\* \* \*

Его первые шаги в литературе не были трудны. Печататься он начал очень рано, с четырнадцати лет, и без усилий. Сохадкий и Подшивалов издавали журнал «Приятное и полезное препровождение времени» — там помещались и лучшие из писаний молодежи Благородного пансиона. Жуковский, глава и председатель Собрания воспитанников, легко принят был сотрудником. Правда, в этом было еще нечто детское («Мысли у гробницы» появились с подписью: «Сочинил Благородного учив. пансион. воспитанник Вас. Ж.») — все же это начало литературы, открывающаяся дорога. Пансион и тут ему помогал, да и вообще шаг Марьи Григорьевны, поместившей его сюда, оказался для всей его жизни решающим. Он возрастал в тишине и труде, в воздухе культуры, любви к поэзии. Это было важнейшее, важнее самих наук, усердно им изучавшихся. В пансионе была своя атмосфера, ею он и напитывался, с ней приезжал летом в Мишенское — там гость и брат дорогой для всей юной женской части населения. Девицы Юшковы и Вельминовы обожали его — десятилетняя Дуня Юшкова, позже Киреевская, мать известных славянофилов бр. Киреевских, писала ему в пансион, называя «Юпитером моего сердца». Приезжая из Москвы, начиненный возвышенностями и прекраснодушием, он читал им и собственные писания, и произведения Фон-Тенеля, Бернардена де С.-Пьера и др. Был это, разумеется, для деревни некий духовный пир.

А в Москве сам он, через тот же пансион, вошел в общение с замечательными людьми, глубокий след в нем оставившими.

У директора университета Ивана Петровича Тургенева бывал Жуковский запросто, «по воскресеньям приходил читать переведенные украдкою по че-

тыре пьесы вдруг».<sup>17</sup> Это потому вышло, что с сыновьями его, Александром, учившимся в пансионе в одном с ним классе, и с Андреем, студентом университета, он вел близкую дружбу. О Тургеневе же отце сохранились у него воспоминания светлейшие.

Еще гораздо больше значила дружба с Андреем и Александром — это просто часть его внутренней жизни, воспитание лучших, чистейших свойств.

Андрей был старше его, крепче, мужественнее, с характером кипучим, по складу, видимо, поэт. Александр мягче и сентиментальнее, раскидистей и беспорядочней. Андрей более центр кружка молодежи тогдашней, коновод, собственным путем идущий, других за собой увлекающий. Он задает тон, утверждает литературные вкусы. Для Жуковского он на первом месте. Александр во втором. Очень одарен, переменчив, сосредоточиться трудно, нечто от дилетанта в нем, но доброта и очарование огромные. Этот — на всю жизнь, сорок с лишним лет, до самой смерти переписка. Плющ вокруг древа — так вместе и прожили, с пансионских времен.

Через тот же пансион познакомился он с Карамзиным, к которому благоговение сохранил на всю жизнь. Оттуда же и знакомство с Дмитриевым — тот выслушивал его стихи, делал замечания благосклонные, поддерживал. Дмитриева называл он впоследствии своим учителем — главнейше в мастерстве стиха, а Карамзина «евангелистом» — этот как бы открывал ему самому его душу.

В 1800 году Жуковский блестяще окончил пансион, имя его было записано на золотую доску. Прокопович-Ангонский весьма к нему благоволил: выйдя из пансиона, Жуковский даже жил у него некоторое время в маленьком белом флигеле у входа в дом Шаблыкина, что в приходе Успения на Овражке.

## Поэт

Александра, Андрея Тургенева, других юношей дружественных, как братья Кайсаровы, Блудов, несла среда, их взрастившая. Кончил учение — сразу в «архивные юноши», Министерство иностранных дел (тогда называлось: Иностранная коллегия). Открытая дорога к власти, почестям, саноновичеству. Тетушки, дядюшки опекают по службе, крепостные крестьяне трудятся в поместьях, чтобы гладко шла юная жизнь.

У Жуковского такой гладкости не могло быть. Предстояло решать, чем же зарабатывать. Стихами не проживешь. Переводами для книгопродавца Зеленникова тоже. Он избрал нечто скромное, в скромности своей даже безнадежное: поступил в «Контору соляных дел», на очень маленькую должность канцелярского служащего. Занятие не из трудных, но уж слишком ничтожное. Он находился там под начальством князя

Долгорукова, который имел уже о нем представление как о даровитом молодом поэте. Чиновника из него, разумеется, не вышло, служба скользяла бесследно. Позже он заметил о ней кратко: «Я вошел в главную дурацкую Соляную контору городским секретарем в 1800 году, вышел из нее титулярным советником в 1802».<sup>18</sup> Нельзя, однако, сказать, чтобы жизнь его за эти полтора года была пуста. Напротив, как приготовление, даже плодотворна. «Ты, кажется, не можешь не быть доволен своей участью, — пишет ему Тургенев: удивление, независимость, легкая служба... Окружен Греем, Томсоном, Шекспиром, Попе и Руссо! И в сердце — жар поэзии!»<sup>19</sup>

Вне канцелярии — под знаком дружбы и литературы прошло это время. В 1800 году основалось в Москве избранною молодежью Дружеское литературное общество. Его столпы — Андрей Тургенев, Мерзляков, Жуковский. В него входят и студенты университетские, и воспитанники Благородного пансиона. Получился целый кружок — кроме главарей — братья Кайсаровы, Родзянко, Журавлев и еще другие, среди них странный и жуткий тип, странным образом затесавшийся к юношам-энтузиастам и сентименталистам: Воейков, циник и насмешник, хромой, некрасивый, ядовитый, чем-то прикидывавшийся, чем-то до времени их юное прекраснородушие обманывавший. На Девичьем поле был у него свой дом, особняк, там летом 1800 и 1801 годов устраивались пирушки сочленов Общества — собрания, их участникам запомнившиеся похорошему. О них писал Андрей Тургенев, вспоминая и ветхий дом, и глухой дикий сад, являвшийся убежищем друзей, которых соединит Феб. Там давали они обеты вечной дружбы и любви к родине. Мерзляков говорит о ненастных сентябрьских вечерах, когда скрипели от ветра старые березы, а они

С любезной трубой и вином  
Родные песенки певали  
И с бурей голос соглашались.<sup>20</sup>

Все это — в тоне возвышенном. Не просто встречи молодежи, а молодежи к чему-то стремящейся, ищущей в духовном и литературном мире. Для Жуковского это как бы продолжение подготовительных годов, воспитание вкуса, ума, чувств. В этом Дружеском обществе от Андрея Тургенева получает он первые, вероятно, толчки в сторону германской поэзии, медленно до него дошедшей и такую важную роль сыгравшей впоследствии.

Здесь же крепнет культ дружбы — тоже для него сила огромная.

Но все это кратко. Жизнь их разводит. Андрей Тургенев уезжает в Петербург, брат Александр и А. Кайса-

ров — за границу, в тот Геттинген, откуда молодые люди того времени выходили «с душою прямо геттингенской». Там будут они насыщаться германской наукой и входить в воздух германского романтизма и литературы. Жуковскому же неуютно в Москве, в Соляной конторе, без Дружеского литературного общества, с одним князем Долгоруковым и его снисходительным поощрением. До какой-то минуты все это терпится. Но для юноши «с демоном», как Жуковский, долго тянуться не может. Вот он складывает чемоданы — в них рукописи, в них собрания сочинений Шиллера, Гердера, Лессинга, да много другого, французского еще, вроде Флоризана, Жанлис, — и в апреле 1802 года, по просяхающим российским дорогам, при зелени нежной, весенней, грачах на полях, жаворонках в небе — домой, в Мишенское. Что будет дальше — неведомо, но надо учиться, писать, работать. К Оке, Белеву, поэзии.

В Мишенском многое переменялось. Старого Афанасия Иваныча давно нет. Марья Григорьевна, как и прежде, глава семьи, почитаемая «бабушка». Девочки же полуплемянницы (Юшковы, Вельяминовы) стали девушками, чувствительными, изящными. Как в матерях их, они образованны и начитанны, поклонницы Руссо и Карамзина, склонны ко вздохам и туманной меланхолии. (Барышня того времени, нервная и восторженная, у которой умер отец, — в душевном волнении, чтобы достаточно выразить горе, могла же сбегать в подмосковную деревню и там водвориться у знакомых «поселян», захватив с собой Библию и Руссо: ненадолго, разумеется).

Мишенское для «Базилия» не дурацкая Соляная контора. Здесь живет он среди милых сверстниц родственных, среди книг, полей, лугов, холмов приокских. Ничто не указывает на грубость или распущенность быта мишенского — стиль Афанасия Иваныча отошел. Никаких псарей, выпивок, похождений. Царство женщин, и в высоком духе. Гений-хранитель ведет юношу путем чистым, вдали от соблазнов крепостной жизни. Он и вообще как бы вне ее. Полон внутренним своим — и тем и живет. Иногда весел, иногда грустит. Ведет жизнь поэта и ласкового сверстника барышень. Как и во времена вакаций Благородного пансиона, читает им вслух. Как и тогда, новое, возвышенное, одушевленное идет в деревенский угол именно от него, образованного и изящного Базилия. Но, конечно, он и к одиночеству стремится, уходит и сам к какому-нибудь Гремучему ключу, «сочиняет» стихи, есть даже «холм» его любимый, где он этим занимается: барышни все высмотрели и знают.

Демон не зря увел его из Конторы соляных дел. Наступал час прорыва плотины — жуткий для юноши и решающий час. Стихи в Благородном пансионе, оды

на актах — это все еще полудетское. Рокковое лишь начинается.

Оно состоит в том, что, наконец, силы молодости прорываются целиком. Они несут стихийно, как любовь, страсть. Они выражают, вне его воли, созданный облик поэта, еще юношеский, но уже ответственный. С «этого» начинается Жуковский, остающийся в литературе.

Раньше ученик, теперь молодой художник. Он взял для начала своего чужое — элегию Грея, английского сентименталиста середины XVIII века. Эта элегия не со вчерашнего дня его тревожила — подымала органическое, стихийное. Он ее и ранее перевел. Но тогда не был еще готов. А теперь время пришло. Опять за нее взялся, она его возбудила, он перевел-претворил заново, в не своем свое выразил.

Уже бледнеет день, скрываясь за горою,  
Шумящие стада толпятся над рекой;  
Усталый селянин медлительной стоюю  
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный  
[свой].

Как будто и прежде, но сказано иным голосом, уже взрослого. Элегия длинна, певуча, есть в ней нежное колыбельное стихов и все овеяно меланхолией чистой и прекраснородушной. На деревенском кладбище спят «поселяне», люди безвестные, но, может быть, и неведомые гении, так и упешдые, не проявив себя, — как уйдет и сам юный певец кладбища этого, томно бродящий и близ реки и близ ивы —

Он кроток сердцем был, чувствителен  
душою...

Кладбище воспевал английское, но по русским полям бродил легкий певец, легкокрылый какой-то, с вьющимися от природы волосами, мечтательными глазами. Забирался на взгорье, недалеко от Оки. Там вздыхал, может быть, «проливал слезы» — и сочинял. Девушки-сверстницы из Мишенского любили имена мифологические. Называли этот «холм» Парнас.

Однажды Базиль и принес с Парнаса свою элегию. Прочитал им вслух. Вызвал всеобщий восторг. Произведение было послано Карамзину. Карамзин автора знал и благоволил к нему. Издавал в Москве «Вестник Европы», первый, лучший тогдашний журнал. Карамзин — старший и уже знаменитый, но и свой, родной, тоже «чувствительный». Как-то он отнесется? Что скажет? Прежний перевод Жуковского не очень ему нравился...

Тут Базиль не мог бы пожаловаться на одиночество: все Мишенское, вся молодая и чистая, такая светлая девичья его часть была с ним. Вместе надеялись, вместе волновались и ждали. Ответ Карамзина был ясен. В VI-ой кн. «Вестника Европы» на обложке его ро-

зовой стояло: «Сельское кладбище».<sup>21</sup> Подпись полная — уже не «воспитанник Благородного пансиона...», а просто фамилия, несколько иного даже начертания: Жуковский, а не Жуковской, как раньше. Это был уже тот Жуковский, который входил в русскую литературу, чтобы занять в ней свое место.

Девушки были в восторге. Радость всеобщая. Их поэт, свой с детства — признан, как же не радоваться.

Карамзин тоже почувствовал, что восходит новая звезда. Через несколько времени, в статье о Богдановиче, он приводил стих из «Сельского кладбища» как образцовый.<sup>22</sup>

\* \* \*

Владимир Соловьев находил, что лирическая наша поэзия, России XIX века, родилась близ Белева, из легких строф молодого Жуковского.<sup>23</sup> Новый, прекрасный звук в лирике русской явился с Жуковским — Карамзин не был поэтом, Дмитриев недостаточно значителен. Звук этот — воздыхание, нежное томление, элегия и меланхолия. Откуда взялось все это у Жуковского, светлого и совсем не болезненного?

Разумеется, много тут от самого духа времени. Загадочно сложение человеческих душ. Несомненно, что тогда по вершинам российским прошло дуновение меланхолии, чувствительности, обостренной отзывчивости на трогательное и печальное. Жуковский — сын своего времени, его выразитель. Иначе быть не могло.

Но и собственная жизнь отозвалась. Нельзя думать, что уж так идиллически ясно прошло детство его и юность. Странное положение в семье (да и в обществе) давно было шипом внутренним. Его не обижали, воспитывали и учили, считалось, что любят. Но, видимо, недостаточно. Как-то с прохладцею, может быть, и снисхождением. Ему же хотелось большего.

В дневнике его 1805 года записано: «Не имея своего семейства, в котором я бы что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привык отделять себя от всех, потому что никто не принимал во мне особенного участия, и потому, что всякое участие казалось мне милостью. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем».<sup>24</sup>

«Не был любим никем» — это преувеличение. Но ему так казалось, и это мучило. Что Марья Григорьевна, что крестная Варвара Афанасьевна, что другие сводные сестры могли его полюбить, прохладно и покровительственно, это понятно. Но родная мать? Та самая Елизавета Дементьевна, бывшая Сальха, которая до могилы так е Буниными и оказалась связанной?

С матерью не совсем ладилось у него тоже. Детские его письма, кроме почтительности и послушания, не говорят ни о чем. Почтительным и послушным остался он навсегда. Но этого ему мало. «Самое общество матушки, по несчастью, не может меня делать счастливым: я не таков с ней, как должен быть сын с матерью; это самое меня мучит и мне кажется, я люблю ее гораздо больше заочно, нежели вблизи».<sup>25</sup>

Слишком уж они разные. Слишком она ключница, для нее Бунины благодетели. Он же поэт и ее незаконный сын (хоть незаконный, но сын). И в этой юной полосе жизни, после дурацкой Соляной конторы, в милом Мишенском все же нечто отравляет его отношения с матерью. Елизавета Дементьевна при господах даже есть не может — вечное напоминание о неправильности и ее, и его положения. Это угнетало за нее. А за себя — ранило молодое самолюбие.

Для Тургеневых, Кайсаровых, Блудовых будущее бесспорно. Для Жуковского крайне туманно. Игра молодых сил, неясность положения, фантазия, чувствительность — все извлекает из души, даже помимо устремления эпохи, звуки томно-меланхолические. Смерть, разлука, любовь к другу, собственная судьба — все так остро в такие годы. Все еще только слагается, взгляда на мир прочного нет, а живое сердце, горячее, смутно предощущает уж горести, бедны, величие бытия. Бытие же само предлагает примеры грозных своих дел.

В грусти «Сельского кладбища» многое было от эпохи, но вот и сама жизнь выступает. Блестящий Андрей Тургенев, любимец отца, любимец приятелей своих, поэт, будущий деятель дипломатии русской, — все как будто раскрыто перед ним в жизни — двадцати двух лет умирает внезапно, в июле 1803 года. («Распотевши поел мороженого»<sup>26</sup> и через четыре дня скончался).

«Дружба есть добродетель», — говорил Жуковский, опять выражая нечто от времени своего. Дружба тогда считалась священной, ей было поклонение. Все эти прекраснотушные молодые люди, допускские Ленские, были возбудимы необычайно. (Уехал в 1801 году) Андрей из Москвы в Петербург. На другой день друг его, Андрей Кайсаров, заходит к его брату, Александру Тургеневу, желая утешить в разлуке с Андреем. Александр тотчас заплакал. Тогда Кайсаров «обнял его, как брата любезного моего Андрея, уговаривал его и сам заплакал».<sup>27</sup> Он обнимает его и целует руки. Тот тоже плачет и целует Кайсарова. Входит старый Тургенев, отец, Иван Петрович. Увидев, что они плачут, и сам заплакал. А ведь Андрей уехал всего только в Петербург).

Андрея этого Жуковский просто обожал. Он любил очень и Александра, дружил с Мерзляковым, но откровенно сознавался им обоим, что к Андрею у

него чувство выше, глубже, необыкновеннее... «Не будучи с ним вместе, я его воображал со сладким чувством... ему подавал руку с особенным, приятным чувством».<sup>28</sup> Андрей на два года его старше. Он мужественнее, сильнее. Заражает энтузиазмом своим, любовью к литературе, возвышенностью всего склада: Жуковский сам энтузиаст, но тихий. Андрей — проживи он дольше — мог быть и в дальнейшем его «руководцем».

И такой друг внезапно уходит. Можно себе представить, как это воспринималось. Плакали и целовали при отъезде в Петербург — как же ответить на вечную разлуку?

О горе Жуковского знало, конечно, опять Мишенское, берега Оки, холм Парнас и милые девушки. Поэзия наша узнала в стихотворении «На смерть Андрея Тургенева».

В сем мире, без тебя, с душою, благ  
лишенной,  
Я буду странствовать, как в чуждой  
стороне.

Без друга для него жизнь не жизнь. Встретятся они «во гробе». Он ждет этой минуты, как счастья.

Надежда сладкая, прелестно ожиданье!  
С каким веселием я буду умирать!

Жуковскому было всего двадцать лет, когда написались эти стихи, не лучшие у него. Последняя строка вызывает улыбку, но и сочувствие. Так ли уж, правда, приятно умирать, даже для свидания с другом, юноше, ничего еще настоящего не испытавшему? Когда Жуковский — еще «весь впереди», с назначением узнать и славу, и любовь, и горе, и разлуку — писал простодушный свой стих, был он, конечно, правдив — как поэт. А большего ведь нельзя и требовать. Жизненно это значения не имеет.

Кое-что он мечтал сделать для памяти Андрея: издать его письма, которые всюду возил с собой, перечитывая в Белеве; хотел написать краткую историю его жизни. Предлагал отцу посвящать день смерти Андрея какому-нибудь обряду — он должен был напоминать им «любезнейшего человека», соединял бы всех в общем чувстве. Хорошо бы, если бы они все в этот день думали и делали одно. (О церковном поминовении Андрея не упоминается. Религиозность «Базиля» была еще слишком туманной и от церкви далекой. То, что заупокойная литургия или даже панихида лучше соединяла бы друзей в общем чувстве, ему не приходит в голову).

Думал и поставить Андрею памятник, на что Мерзляков, живший тогда в Москве, возражал, что лучше пусть будут они сами «могилами живому, вечно живому духу нашего друга».<sup>29</sup>

В писании Жуковского незабвенность Андрея сохраняется — трогательная и преданная. Через шестнадцать лет — в стихотворении «Надгробие». Через сорок пять, на закате его самого, в полных любви строках прозы: воспоминание о кроткой, непритворной и доброжелательной душе друга, об остроте его ума, в которой ничего не было ранящего, способного кого-нибудь обидеть в беседе, ибо соединялась она с «нежностью сердечной».<sup>30</sup>

Андрей был крепче, властней и сильнее, чем изображает его здесь Жуковский. Что-то он дал ему от себя. Это не умаляет любви, сохранившейся до полувека.

\* \* \*

«Вадим Новгородский» — первый опыт Жуковского в художественной прозе. Вещь неоконченная, напечатан в «Вестнике Европы» 1803 года, с простодушным примечанием Карамзина: «Молодой автор этой пьесы и мой приятель, г. Жуковский, известен читателям „Вестника Европы“ по Греевой элегии, им переведенной».<sup>31</sup>

Не приходится скорбеть, что «Вадим» незакончен. Повесть — не мир Жуковского. Он лишен здесь главной своей прелести — воздушно-музыкального стиха. Остаются «чувствительность» и сладость, вполне карамзинские. Карамзину должно было это нравиться. Сейчас отрывок интересен только как летопись души: введение к нему — опять отзвук смерти Андрея. («Я не зрел твоей могилы; в отдаленном краю осыпает ее весна цветами — по тень твоя надо мной...») и т. д.).

Это все та же меланхолически-мечтательная линия жизни внутренней. Она сильна и бесспорна в юном Жуковском, но не одна в нем. Никкак нельзя представлять его себе только томным певцом, героем-поэтом «Сельского кладбища», скитающимся непрестанно у «светлых вод» и развесистых ив, оплакивая себя и погибших друзей. В нем была и другая сторона, он любил жизненность, порядок, деятельность — но разумную, недаром плохо учился в детстве и хорошо в Благородном пансионе. Он и в Мишенском в эти годы много работал, читал, учился, переводил, сам писал.

В Москве живет Мерзляков, приятель по Дружескому литературному обществу, старше его лет на пять, уже бакалавр и преподаватель в университете. Из мишенско-белевского уединения Жуковский с ним переписывается. Мерзляков трезвый, даже не без едкости, практический человек, с литературе склонный к классицизму, с романтизмом Жуковского не мирившийся,<sup>32</sup> все же принадлежавший к кругу Андрея Тургенева. Переписка живая, бодрая, есть в ней струйка, связанная и с Андреем, но вообще она очень *жизненна*: Мерзляков занят литературными делами Жу-

ковского. Устраивает ему переводы, торгуется с издателями, зовет в Москву — «Вестник Европы» лишается Карамзина, надо работать там. Видно, что дела материальные весьма занимают Жуковского — иначе и быть не могло, хоть и в Мишенском, все же он должен жить и имея свой заработок. Для него, разумеется, важно, даст ли Зеленников за «Ильдигерду» пять рублей за лист или больше. Правда, что, занимаясь с учениками, Мерзляков представляет себе Жуковского под Белевым в виде Анакреона или Овидия, но Анакреону (на которого, кстати, Жуковский совсем похож не был) на что-то существовать надо, и он трудится неустанно. Кроме Шписа и Коцебу («Мальчик у ручья», вышедший в 1801 году), над которыми работал и раньше, переводит — несколько позже — «Дон Кихота» в переделке Флориана. Это труд уж обширный. В 1804—1806 годах «Дон Кихот» вышел в шести небольших томах. Стихи романсов и песен в нем переданы очень легко и гармонично.

В это как раз время ездит он летом к Карамзину, гостит у него подолгу в подмосковном Кунцево со знаменитыми его дубами, лесами, папоротниками — перед Карамзиным благоговее, это старший брат, друг и наставник. Мерзляков зовет его к себе в деревню, тоже гостить. Жуковский отговаривается неотложностью занятий. Но обещает все-таки приехать — тут и выясняется, что Жуковский строит себе в Белеве домик.

Это кажется неожиданным. Меланхолические певцы будто бы думают только о том, с каким весельем станут они умирать. Оказывается, не совсем так. Они строят и дома.

Со стороны внешней постройка белевская — дело рук Марьи Григорьевны Буниной. Она настояла на том в свое время, чтобы у «Васиньки» оказалась к совершеннолетию хоть небольшая, все же *своя* сумма денег. Со стороны внутренней — очевидно, Жуковский хотел именно своего угла *вполне*, где бы мать не была ключницей Буниных, а он был бы полным хозяином. Поэтому и начал постройку в Белеве, на Казачьей улице. С берега Оки открывался там чудесный вид на реку, луга, окрестности. Все так выбрано, чтобы нравилось поэту. Но поэт, на время становясь строителем, вполне мог интересоваться и тем, сколько стоит какой-нибудь тес на крышу, где дешевле достать стекло. Летом 1804 года дом еще не готов. «Нам не надо, — пишет ему Мерзляков. — твоего дома, если он не отстроен: мы проживем в палатке. Стихи твои будут нагревать сердца наши».<sup>33</sup> (Мерзляков так писал, но в конце концов ни он, ни Воейков, у которого он жил тогда в Рязани, в белевскую «палатку» не приехали).

Жуковский же, наблюдая за постройкой, продолжал и писать. Он еще совсем одинок, единственная любовь его — Му-

за. Ей он и отдается. Молод, по чувству, что дело серьезное. 1804 год заканчивается большим стихотворением «К поэзии»:

Чудесный дар богов!  
О пламенных сердец веселье и любовь,  
О прелесть тихая, души очарованье,  
Поэзия!..

По словесному одеянию предвозвещает кое-что здесь Пушкина. По содержанию это гимн художеству вольному, независимому, вознесение поэта на ту же высоту, куда и Пушкин его поставит. Это отчасти программно. Вроде и обета поэтического.

Друзья небесных муз! пленимся ль  
суетой?

Презрев минутные успехи —  
Ничтожный глас похвал, кимвальный  
звон пустой,

Презревши роскоши утех  
Пойдем великих по следам.

Независимым поэт *обязан* быть, он возжигает сердца, славит героя, украшает бытие, громит «жестоких и развратных». Награда — слава в потомстве. Дается же эта слава и свобода бедностью. Оттого и презирает он «роскоши утех». Оттого в Белеве нужен ему не дворец, а домик.

## С Протасовыми

Старшая дочь Бунина, Авдотья Афанасьевна, еще в начале восьмидесятых годов вышла замуж за Алымова, начальника таможи в Кяхте, — и уехала туда с ним. Выпросила у родителей разрешение взять с собой младшую сестру Екатерину, девочку лет двенадцати. Для чего отпустила эту Катю Марья Григорьевна за тридцать земель, из раздолья мишенского в алымовский сибирский дом? Возможно, и для того, чтобы девочка подрастающая не видела связи отца с Сальхой и не знала о ней.

Екатерина Афанасьевна, тогда еще Катя Бунина, попала в Сибири совсем в другой мир. Сестра ее в замужестве не оказалась счастливой. Детей не было, с мужем она жила неважно. Некий сумрак глухого севера лежит над отрочеством и юностью Екатерины Афанасьевны в доме Алымовых.

Дух жизни строже. Нет ни крепостных, ни разлива помещичьего, ни побочной семьи. Но в самой законной семье тоже нет света и радости. И притом дикий, далекий край, одиночество, мечтательность...

Странно, но и волнующе подумать, что где-то в азиатских дебрях, близ Кяхты, русская девочка-девушка утешается и живет внутренне Жан-Жаком Руссо. Нельзя сказать, чтобы в той полосе жизни своей была она религиозна церковно. Но, конечно, «религия души»

в ней жила, направляясь по другому руслу. Евангелием ее оказалась «Новая Элоиза». Это была главная, если не единственная книга, которую она читала в доме начальника кяхтинской таможни. Знала ее чуть ли не наизусть — рядом с ней и «Адель и Теодору» Жанлис. Видимо, много и в одиночестве думала, видела жизнь сестры незадачливую — и слагала в девушку самостоятельную, замкнутую и крепкую. Несколькo и суровую. Что надумала среди сибирских пихт и лиственниц, под музыкальное сопровождение Руссо, то уж и сдeлает. Сама себе владыка.

Так прожила она восемь лет и, наконец, с той же сестрою Авдотьей, разошедшейся с мужем, в 1790 году возвратилась в Мишенское. Тут нашла много перемен. Мать с отцом помиралась, Афанасий Иваныч жил в большом доме, а не с Сальхой во флигеле. Сальха обратилась в тихую и степенную Елизавету Дементьевну. Кроме того, бегал кудрявый и милый мальчик Вася Жуковский, который тут-то и оказался ей братом. Она была старше его на четырнадцать лет. Он считал ее вроде тетюшки, называл на вы — «Екатерина Афанасьевна». Она его — ты, Васенька. Ни она, ни он не подозревали, как свяжет их в дальнейшем судьба.

Через год Бунин скончался. Еще через год Екатерина Афанасьевна вышла замуж за Андрея Протасова, орловского уездного предводителя дворянства.

Так что жизнь снова отдала ее от Мишенского и мира Буниных. Новый мир вряд ли ей был близок — Андрей Иваныч любил жить широко, шумно. Да и положение обязывало. Балы, обеды предводительские, открытый дом... — так полагалось. Но азартная игра в карты, предприятия спекулятивные, с надеждой вдруг стать миллионером, а в действительности разоряя и залезая в долги, — этого у предводителя могло и не быть. К несчастью для Екатерины Афанасьевны, у Андрея Иваныча как раз было.

Все это привело к тому, что он запутался, разорился и умер. В страшный год Аустерлица (1805) она осталась вдовой с двумя девочками, Машей и Александрой, двенадцати и десяти лет. Долгов оказалась куча. По векселям наросло вдвое и втрое против того, что было под них получено. Екатерина Афанасьевна все приняла. Долги — так платить. Не в ее духе увертываться, выворачиваться. Она стала распродавать именина. Скоро осталось одно Муратово, Орловской губернии. Но там не было господского дома — жить негде. Разумеется, недалеко Мишенское со всей широтой его жизни. Но, по-видимому, от своих она отошла сильно — да и правда, вся юность ее и ранняя зрелость прошли вне дома. Характер сдержанный, гордый, обязываться не хотела. Приняла решение устроиться хоть и скромно, но

самостоятельно. Для этого наняла в Белеве небольшую дом и там с детьми поселилась.

Замкнутая и одинокая жизнь для нее не новость. В сибирском уединении, в чтении и размышлениях о важнейшем — религии, нравственности — выработался характер цельный, не без властиности. Он теперь и проявился.

В Белеве можно представить себе ее жизнь как полумонашескую. Очень мало похоже на орловскую. Портрет показывает нам молодую Екатерину Афанасьевну женщиной видной, скорее изящной, одетой по моде того времени, нечто действительное и решительное в лице, очень привлекательное. Пусть небогатая теперь, но знатная барыня — это нельзя скрыть. Живет спокойно, с достоинством. Много работает — отлично рисует, вышивает шелками и бисером целые картины по собственным рисункам. Воспитывает детей. К этому времени входит в русло религиозности православно-церковной, с некоторой внутренней прямолинейностью и честностью. Девочек ведет довольно строго, в духе церковном, сама ходит с ними аккуратно на богослужения.

Несомненно, была она на виду, пользовалась уважением и влиянием. Вот случай, рисующий и положение ее в Белеве, и характер.

В городе вспыхнул пожар, при сильном ветре. По тем временам средства тушения были ничтожны — две-три бочки с водой да какая-нибудь кибитка. Огонь двигался, остановить его не удалось. Он уже подобрался к церкви, под которой был сложен в подвалах порох, до трехсот пудов. «Порох надо убрать», — заявила Екатерина Афанасьевна начальнику белевской полиции. «У меня нет людей». — «Как нет людей? А арестанты в остроге?»

Градоначальник не возражал, но, видимо, не оказался расторопным. Считал ли он это ненужным, робел ли чего, но сам за арестантов не взялся. Екатерине же Афанасьевне действовать разрешил. По тем патриархальным, да еще провинциальным нравам не показалось странным, что вдова предводителя орловского явилась в тюрьму и вывела арестантов. Провела через город к церкви, еще державшейся. И наблюдала, как тащили они из подвалов мешки с порохом, бросали в Оку. Скоро занялась и сама церковь, сгорела.

\* \* \*

Молодой, «появившийся» поэт Жуковский был еще появившимся человеком Жуковским. Он еще только слезался. Много было для него туманно, а хотелось ясности. Сил много, благодатных сил молодости. Напряжение их изливается в областях высших — вековые вопросы мучают, и жизнь хочется создать достойно. Хочется и учиться, и путешествовать, и завести семью. Есть планы поездки за границу с Мерзляко-

вым, в Геттинген для университета. Есть думы и томления о боге, вере — все надо выяснить и решить.

Тяготения религиозные проявились у него уж в детстве, во времена смерти Бунина, поцелуев херувима на царских вратах, позже чрез духовные гимны Штурма в Благородном пансионе. Далее — переживание смерти Андрея Тургенева. Душа расположена. «Счастье — в вере в бессмертие».<sup>34</sup> Это для юноши Жуковского уже ясно, но самой веры, полной и настоящей, еще нет. Пантеистическое же не удовлетворяет. За гробом он хочет с Андреем встретиться. Однако если «по смерти душа, как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющей все своею беспредельностью, должна к ней приобщиться и в нее кануть, как в океан капля, то какая утешительная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного смертью со своими любезными?»<sup>35</sup>

Если только капля, то с Андреем не встретишься. Нужно бессмертие личное. А это так трудно для разума, так трудно понять и так, кажется, невозможно представить себе... — это гораздо безумнее азиатской «капли». Да, он знает: религия необходима. «Она нужнее и действительнее простой умственной философии; но только хочу, испытаю и увижу».<sup>36</sup> А пока что — колебания. Им, оказывается, помогли и некоторые впечатления жизни: не все так розово было и в Мишенском. Он живо себе представляет, «какое блаженство должна давать прямая религия».<sup>37</sup> Это в теории. А в действительности с ранних лет видел он христиан только по имени, не имевших понятия, как ему казалось, «о возвышенности чувств христианских». Чувства их и расходились «с правилами и словами».<sup>38</sup> Так что закваска его христианская была кое-чем и отравлена.

Но вот дружба цельная, трещин в ней никаких. В дружбе — стремление к добродетели, выход из одиночества и нередко тоска славных приокских мест, с детства знакомых. Пусть друзья далеко — Александр в Германии, Мерзляков в Москве, Блудов, Кайсаров тоже далеко, все-таки они и с ним, в духе и переживании. Может он чувствовать и одиночество свое, находят на него полсы упадка. Ничего не клеится и работать дома не хочется — все-таки есть кому написать и есть от кого получить ответ.

Жуковскому двадцать два года. Еще ничего по части сердца. (Случайное, очень беглое и сентиментальное увлечение в 1803 году) М. Н. Свечиной — типа *amitié amoureuse* \* — не в счет). Никаких Лаян, Дорид пушкинской юности. Никак не коснулась его Афродита Пандемос. Тургенев Иван Сергеевич, вовсе

\* Влюбленная дружба (франц.).

не бурного темперамента, все же с ранней юности прошел чрез крепостную распущенность. Жуковский был незаконным сыном, но у него самого не было незаконных детей. В этом юность его вообще такова, будто он подготовлялся к монашеству.

Но, конечно, он к нему не готовился и оно было ему вполне чуждо. Напротив, много и серьезно думал о любви, семье. Представлял себе, несколько сентиментально, с прекраснодушием и нежностью желаемую жизнь: для заработка трудиться, читать, заниматься садоводством, иметь верного друга или верную жену. Спокойная, невинная жизнь. Занятия литературой. Любопытно еще в программе — и характерно для всего Жуковского: «Удовольствие некоторых умеренных благоденный» (этим будет заниматься всю жизнь, и даже «неумеренно»). Наконец, «счастье семьи, если она будет».<sup>39</sup>

Это несколько вяло, но у Жуковского вообще голубая кровь, не в смысле барственности, а по отсутствию кипения жизненного. Это избавило его от многого тяжелого и грубого мужской юности. Мучеником пола он никогда не был — в этом его чистота, счастье и некоторый ангельский характер природы. Это же и лишало той силы, которая дается стихией. Его лазурность есть одновременно и разреженность.

Он мечтал о любви, и женщине, и семье — возвышенно и туманно. Судьба вела его так, как надо. В деревенском уединении были у него и некоторые знакомства приятные (например, сосед барон Черкасов, который нравился ему просвещенностью и умом). Но для сладостного излияния сердца все это неподходящее. А сердцу пора уже было изливаться.

\* \* \*

В 1793 году, в самом начале бурь, надвинувшихся на Европу, в орловской глуши родилась у Екатерины Афанасьевны Протасовой дочь Маша. Через два года другая, Александра. Обе они возрастали в тишине и довольстве барства русского (разорение Андрея Ивановича было не за горами, но девочки этого, разумеется, не чувствовали). Были они разные, и по внешности, и по характерам. Старшую, Машу, изображения показывают миловидной и нежной, с не совсем правильным лицом, в мелких локонах, с большими глазами, слегка вздернутым носиком, тонкой шеей, выходящей из романтически-мягкого одеяния — нечто лилейное. Она тиха и послушна, очень религиозна, очень склонна к малым мирам сего — бедным, больным, убогим. Русский скромный цветок, кашка полей российских. Александра другая. Эта — жизнь, резвость, легкий полет, гений движения. Собою красивее, веселее и открытой сестры, шаловливей.

Везде, где проносится, — смех и забава, ее надо иногда и унять. Она может кататься верхом, грести в лодке, брить кошкам усы — последнее даже любит. Ее звонким голосом полон белевский дом.

В 1805 году Маше было двенадцать, Александре десять лет. Надо учиться, а средства скромны, это не Мишенское время старого Бунина.

Но вот оказалось, что все складывается правильно — учитель есть, совсем рядом, свой же близкий, Вася Жуковский, бескорыстный, бесплатный, поэт — уже с некоторым именем. Екатерина Афанасьевна согласилась. Уроки начались.

Домик Жуковского в Белеве был уж готов. Но, видимо, он в нем не жил. Надо полагать, там поселилась мать его, Елизавета Деметьевна. Ему же удобнее было в Мишенском, из Мишенского он ходил пешком ежедневно за три версты в Белев на урок к Протасовым. Охотно видишь в весенне, летние дни романтическую фигуру в плаще, может быть, в шляпе широкополой, из-под которой кольцами вьются кудри, шагающую среди тульских полей к скромному домику в Белеве, — там ждет строгая маманька и две тоненькие девочки.

Уроки скучная вещь. Но вот бывают же и нескучные. Эти белевские были такими именно. Нельзя представить себе, чтобы для девочек приход ежедневный милого, ласкового учителя юноши, юноши поэта, который на полах плаща своего приносил в дом всю поэзию и природы, среди которой только что брел, и души русской, — чтобы приход этот не был праздником. Это не пьалпы, не вышивание матери, не нянюшкино бормотание. Целый мир новый являлся, в очаровательном облике. Открывал он им и еще миры — прошлого и настоящего.

В теплом веянии дней майских, июньских девочки записывали гусиными перьями в ученические тетрадки выдержки из поэтов, историков, имена прославленных корифеев Европы. Можно ли было быть невнимательной, не приготовить заданного?

Учитель учил их так, будто и им предстоял путь поэзии и литературы, — нечто от своего благородного пансьона внес в белевское преподавание. История, философия, изящная словесность. При том некоторая система (для «романтика» этого всегда типичная): утром история и сочинения. Вечером философия и литература. Понятия о натуре человека и логика. Теология и нравственность, грамматика, риторика, изучение поэтов, эстетика. Позже (уроки продолжались года три, девочки подросли) — сравнительный литературный метод. Во всяком случае, в Белеве читали Шиллера и Бюргера, Гете, Шекспира. Трагедии Расина чередовались с Корнелем и Крепильоном, оды Горация с Державиным.

На уроках присутствовала и Екатерина Афанасьевна. Частью это был надзор, частью самообразование.

Девочки, быстро вытягиваясь в девушки, усердно, легко воспринимали. Юный учитель и сам обучался с ними. Он в то время еще не был силен в германской литературе, возрос на французской, и язык немецкий знал не блестяще. Все это совершенствовалось на глазах Екатерины Афанасьевны. Девочки делали успехи, учитель был ими доволен и они им довольны, но о чем Машенька мечтала, оставаясь одна, ложась спать или в звездную ночь глядя из окна девичьей своей комнаты в сторону Оки и Мишенского, куда ушел в летнем сумраке Базиль со своею позней, — этого мать не знала. Знала подушка, может быть, немного сестра Сапа. Но все это еще так неясно, и томно, и обольстительно. Не жизнь, а мечтательное преддверие жизни. Может быть, в чем-то эта скромная Маша — полевая кашка — предваряла и Таню Ларину, и Лизу Калптину.

В том же роде и чувства «Базиля», чем дальше, тем больше. Вот он сам говорит — ему слово: «Что со мной происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл! Отчего? Оттого, что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершенстве».<sup>40</sup>

Вряд ли, записывая, угадывал, что будет для него этот «ребенок», с которым, когда вырастет она, мог бы быть счастлив, — о жизни семейной, дружеской и возвышенной юный Жуковский уж думал по поводу Машеньки. Думал и о том, как мысли о ней будут оживать его и «веселить» во время путешествия. Думал и о Екатерине Афанасьевне, ее отношении ко всему этому — и ничего не угадал: как мечтатель, прозорливостью вообще не отличался.

Сердце его возжигалось, но поэзия еще в ущербе: за весь 1805 год всего три стихотворения. Следующий, однако, 1806-й, богаче. Писание идет разными пластами. Самый обширный — басни: Флориапа, Лафонтена. Усердно переводит их, печатает в том же «Вестнике Европы», где появилось «Сельское кладбище». Это — скорее для заработка. Для большой литературы дает он очаровательную элегию «Ручей»,<sup>41</sup> нечто нежно-пейзажно-меланхолическое, полное легкости и музыки. Вдохновлено печалью прохождения и жизни, и того, что в ней особенно высоко: дружбы. («И где же вы, друзья?..») Это — мужское стихотворение, опять мелькает тень Андрея на фоне идеализированного приоскокого пейзажа, как бы и прпетого.

Ручей, виющийся по светлому песку,  
Как тихая твоя гармония приятна!..

Тихая эта гармония проникает всю элегию — «как тихо веянье зефира по водам» — может быть, именно она привлекла Чайковского. Слова знаменитого друга Лизы с подругой в «Пиковой даме» взяты отсюда:

Уж вечер... облаков померкнули края,  
Последний луч зарп на башнях  
умирает...

«Легковзвонность» Жуковского принимает здесь оттенок зеркально-прозрачный, отблеск солнца вечеряющего лежит на всем, всему сообщает прелесть, одухотворенность...

Не для «внешней» литературы еще один слой писания его, отныне долго он будет соуществовать, поэтапно, по разным записочкам п альбомам, явному ходу поэзии. Это могив Машеньки, прославление белевской Беатриче. Вот он дарит ей, на 16-ое января, альбом стихов. В середине заглавного листа рисунок сепией: мужчина, женщина, холмик с вазой, деревня. Наверху надпись: «Памятник прямой дружбы». И затем, на обороте листа, четверостишие:

Мой друг бесценный, будь спокойна!  
Да будущего мрак тебя не ушатит!  
Душа твоя чиста! ты счастья достойна!  
Тебя всевышний наградит.

В летописи литературы не так значительно, в летописи сердца важно: первое звено цепи, его к ней и ее к нему приковывавшей. Знала ли об этом Екатерина Афанасьевна? Вряд ли могла бы одобрить хоть и вовсе невинное и поэтическое, все же возжигание чувств в полуробенке. А оно продолжается. Того же октября 1806 года и другое стихотворение, ею же вдохновленное («Младенцем быть душою...»), полное того же лучеиспускания. За весь 1807 год всего одно четверостишие, но это еще ясней и ярче. («М. при подарке книги»):

На новый год в воспоминанье  
О том, кто всякий час мечтает о тебе,  
Кто счастье дней своих, кто радостей  
исканье  
В твоей лишь заключил, бесценный друг,  
судьбе!

Какое может быть уж тут сомнение? Маше скоро пятнадцать. Своего полудядю-наставника знает она слишком хорошо — иначе как всерьез ко всему в нем относиться не может. Обращая к ней эти стихи он, конечно, брал на себя ответственность. Но легкомыслия в этом не было.

«L'Amor che muove il Sole e l'altre stelle» \*<sup>42</sup> — любовь все движущая и его

\* «Любовь, которая движет солнце и звезды» (итал.).

вела, давала право. Права на чувство он у Екатерины Афанасьевны не спрашивал. Но она, если бы узнала об этом стихотворении, должна была бы ужаснуться.

А в то время ход жизни его вел к тому, что из белевских краев предстояло удалиться. Звала литература. Точнее, в ней практическая деятельность. Он в деревне не мог больше оставаться. И уехал в Москву.

*Продолжение следует*

## Примечания

Текст печатается по изданию: *Зайцев Борис*. Жуковский. Париж: YMCA-PRESS, 1951. Орфография и пунктуация текста, частично устаревшие, приведены в соответствии с нормами современного правописания; опечатки исправлены; слова, пропущенные в поэтических цитатах, восстановлены в квадратных скобках.

<sup>1</sup> Источником этого предания и большинства изложенных в этой главе фактов детства Жуковского является мемуарный очерк А. П. Зонтаг «Воспоминания о первых годах детства Василия Андреевича Жуковского» (далее: «Воспоминания»), написанный в 1854 году в форме писем к П. А. Вяземскому. См.: *Русская мысль*, 1883, № 2, с. 266—285.

<sup>2</sup> Неточная цитата из «Воспоминаний» (с. 268).

<sup>3</sup> Измененная цитата из «Воспоминаний» (с. 270).

<sup>4</sup> Впервые и наиболее подробно этот эпизод рассказан в очерке, приписываемом М. П. Погодину, но принадлежащем, с большой степенью вероятности, А. П. Зонтаг, — «Несколько слов о детстве Василия Андреевича Жуковского». См.: *Москвитянин*, 1849, ч. III, № 9, кн. 1, отд. 1, с. 4—5.

<sup>5</sup> Указано в «Воспоминаниях» (с. 273).

<sup>6</sup> Цитируется письмо Жуковского к А. П. Зонтаг от 15 апреля 1851 года (в кн.: *Уткинский сборник*. I: Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904, с. 130).

<sup>7</sup> Измененная цитата из кн.: *Зейдлиц К. К.* Жизнь и поэзия В. А. Жуковского: 1783—1852. СПб., 1883, с. 15.

<sup>8</sup> Там же, с. 15—16.

<sup>9</sup> Жуковский писал «Дементеевна». См.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т. / Под ред. А. С. Архангельского. СПб., 1902, т. 12, с. 56—58.

<sup>10</sup> Там же, с. 56—57 (письмо Жуковского к матери от 20 ноября 1795 года).

<sup>11</sup> Там же, с. 57 (письмо Жуковского к матери от 20 декабря 1795 года).

<sup>12</sup> Там же, с. 57.

<sup>13</sup> Протокол № 11 Собрании воспитанников Московского университетского благородного пансиона от 18 мая 1799 года

опубликован П. А. Ефремовым в издании: *Соч. В. А. Жуковского*. 8-е изд. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1885, т. 5, с. 524—525 (библиографические примечания).

<sup>14</sup> Указывая на авторство Р. Додсли, Зайцев следует данным В. И. Резанова. См.: *Резанов В. И.* Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1906, вып. 1, с. 34—36. В других источниках «Книга премудрости и добродетели, или Состояние человеческой жизни» (М., 1786) приписывается Ф.-Д.-С. Честерфильду. См.: *Тихонравов Н. С.* О пребывании В. А. Жуковского в Университетском благородном пансионе и о первых годах его жизни в Москве. — В кн.: *Соч. Н. С. Тихонравова*. М., 1898, т. 3, ч. 2, с. 152.

<sup>15</sup> Излагается и цитируется предписание «От надворного советника, профессора и главного смотрителя Университетского благородного пансиона Прокоповича-Антонского воспитанникам: Сергею Костомарову и Василию Жуковскому». Напечатано в составе публикации «Акт, бывший в Университетском благородном пансионе ноября 14-го дня 1798 г.» (*Москвитянин*, 1847, ч. 3, с. 63—64).

<sup>16</sup> У Жуковского «ночи». Написание «ночи» в данной строке в изданиях Жуковского не встречается.

<sup>17</sup> Цитируется письмо Андр. И. Тургенева к Жуковскому от 31 декабря 1802 года в изложении В. М. Истрина. См.: *Истрин В. М.* Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев. — В кн.: *Архив братьев Тургеневых*, вып. 2: Письма и дневник А. И. Тургенева геттингенского периода (1802—1804 гг.). . . СПб., 1911, с. 64. Подлинный текст письма (фрагмент) приведен в кн.: *Веселовский А. Н.* В. А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображения». Пг., 1918, с. 50—51.

<sup>18</sup> Цитируется письмо Жуковского к А. И. Тургеневу от конца января—начала февраля 1818 года (в кн.: *Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу*. М., 1895, с. 186).

<sup>19</sup> Цитируется письмо Андр. И. Тургенева к Жуковскому от 1802 года. Фрагмент письма, включающий цитируемые строки, опубликован в кн.: *Веселовский А. Н.* Указ. соч., с. 50.

<sup>20</sup> Цитируется стихотворный фрагмент из письма А. Ф. Мерзлякова к Ал. И. Тургеневу и А. С. Кайсарову от 17 сентября 1802 года. Письмо опубликовано в статье М. И. Сухомлинова «А. С. Кайсаров и его литературные друзья» (*Изв. Отд. русского языка и словесности Академии наук*, 1897, т. 2, кн. 1, с. 25—27).

<sup>21</sup> *Вестник Европы*, 1802, ч. 6, № 24, с. 319—325.

<sup>22</sup> В статье «О Богдановиче и его сочинениях» Н. М. Карамзин процитировал строку «любезного переводчика Грейвой *Элегии*» «Дарил несчастных он чем

только мог — слезою!» (Вестник Европы, 1803, ч. 9, № 9, с. 8).

<sup>23</sup> Имеется в виду стихотворение В. С. Соловьева «Родина русской поэзии. По поводу элегии „Сельское кладбище“», в примечании к которому автор оценил стихотворение Жуковского как «начало истинно человеческой поэзии в России». Впервые опубликовано: Вестник Европы, 1897, № 11, с. 347.

<sup>24</sup> Дневниковая запись Жуковского от 26 августа 1805 года. — В кн.: *Жуковский В. А. Полн. собр. соч.*: В 12-ти т., т. 12, с. 131—132. См. также: *Дневники В. А. Жуковского / С примечаниями И. А. Бычкова*. СПб., 1903, с. 27.

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> Цитируется дневниковая запись А. И. Тургенева от 22 января (2 февраля) 1804 года. — В кн.: *Архив братьев Тургеневых*, вып. 2, с. 259.

<sup>27</sup> Излагается и цитируется письмо А. С. Кайсарова к Андр. И. Тургеневу от 3 июля 1802 года. Фрагмент письма, содержащий приведенные Зайцевым факты, опубликован в исследовании В. М. Истрина «Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев» (в кн.: *Архив братьев Тургеневых*, вып. 2, с. 102—103).

<sup>28</sup> Цитируется письмо Жуковского к А. И. Тургеневу от 11—16 сентября 1805 года. — В кн.: *Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу*, с. 14—15. См. также: *Жуковский В. А. Полн. собр. соч.*: В 12-ти т., т. 12, с. 83.

<sup>29</sup> Цитируется письмо А. Ф. Мерзлякова к Жуковскому от 24 августа 1803 года (*Русский архив*, 1871, № 2, стлб. 0140—0141).

<sup>30</sup> Излагается, с использованием цитаты, прозаическое примечание Жуковского к его посланию «Тургеневу, в ответ на его письмо» (1813), написанное в 1848 году. Упомянутое здесь же стихотворение «Надгробие И. П. и А. И. Тургеневым» написано Жуковским в 1818 году.

<sup>31</sup> Повесть Жуковского «Вадим Новгородский» была опубликована в «Вестни-

ке Европы» (1803, ч. 12, № 23—24, с. 211—234).

<sup>32</sup> Имеются в виду классицистские вкусы А. Ф. Мерзлякова, побудившие его, в частности, к нападкам на романтическую балладу как жанр, не имеющий «правил», в полемической статье «Письмо из Сибири». Впервые опубликована: Труды Общества любителей российской словесности, 1818, ч. 11, с. 52—70, за подписью «Неизвестный».

<sup>33</sup> Цитируется письмо А. Ф. Мерзлякова к Жуковскому от 7 июля 1804 года (*Русский архив*, 1871, № 2, стлб. 0147).

<sup>34</sup> Резюме основного мотива дневниковой записи Жуковского от 17 июля 1805 года и его письма к А. И. Тургеневу от 8 января 1806 года. См.: *Дневники В. А. Жуковского*, с. 21—22; *Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу*, с. 18; *Жуковский В. А. Полн. собр. соч.*: В 12-ти т., т. 12, с. 127—128, 86.

<sup>35</sup> Цитируется, с незначительными неточностями, письмо Жуковского к И. П. Тургеневу от 11 августа 1803 года (в кн.: *Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу*, с. 9—10).

<sup>36</sup> Цитируется письмо Жуковского к А. И. Тургеневу от 31 августа 1805 года (там же, с. 7).

<sup>37</sup> Цитируется письмо Жуковского к А. И. Тургеневу от 8 января 1806 года (там же, с. 18). См. также: *Жуковский В. А. Полн. собр. соч.*: В 12-ти т., т. 12, с. 86.

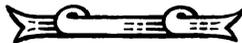
<sup>38</sup> Там же.

<sup>39</sup> Цитируются, с незначительными изменениями, дневниковые записи Жуковского от 13 июня и 10 июля 1805 года (в кн.: *Жуковский В. А. Полн. собр. соч.*: В 12-ти т., т. 12, с. 121, 124; см. также: *Дневники В. А. Жуковского*, с. 12, 16).

<sup>40</sup> Дневниковая запись Жуковского от 9 июля 1805 года (в кн.: *Жуковский В. А. Полн. собр. соч.*: В 12-ти т., т. 12, с. 122; см. также: *Дневники В. А. Жуковского*, с. 13).

<sup>41</sup> Имеется в виду элегия «Вечер».

<sup>42</sup> Последняя строка «Божественной комедии» Данте (145-й стих XXXIII песни «Рая»).



# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. В. Разумовская

## ДИДРО: ФРАНЦУЗСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ, ОТЗВУКИ В РОССИИ

1749 год — это год первого конфликта Дидро с властями: с 24 июля по 3 ноября он был заключен в Венсенский замок. Причиной ареста Дидро, как сейчас признается почти всеми исследователями его творчества, послужило «Письмо о слепых в назидание зрячим» (1749), которое словно подводило первые итоги необычайно быстрой эволюции Дидро-философа: от теизма и почитания Шэфтсбери (вольный перевод его трактата «Исследование добродетели, или заступ», 1745), деизма («Философские мысли», 1746) и скептицизма («Прогулки скептика», 1747) — к материализму, основанному на новейших открытиях естественных наук и их философской интерпретации. Помимо «Письма о слепых» причиной преследований Дидро некоторые ученые, например Артур Вилсон,<sup>1</sup> называют также и его роман «Нескромные сокровища».

Современниками Дидро высказывалась, однако, и несколько иная точка зрения на этот предмет. Так, парижский адвокат Эдмон-Жан-Франсуа Барбье, положивший себе за правило систематически выявлять и собирать все сочинения, которые парламент приговаривал к сожжению и которые полиция тщательно выскивала в столичных типографиях, в июле 1749 года заносил в свой журнал: «Арестован г-н Дидро, человек умный и писатель; его подозревают в том, что он автор сочинения, озаглавленного „Тереза-философка“... В этой книге, которая очаровательна и хорошо написана, есть беседы о естественной религии, которые крайне смелы и являются очень опасными. Г-н Дидро обвиняют также и в других сочинениях подобного рода, как, например, „Философские мысли“». <sup>2</sup> Слухи, получившие отражение на страницах журнала Барбье, не были лишены некоторого основания. Генеральный лейтенант полиции Никола-Рене Беррье отдал распоряжение комиссару Мише де Рощбрюну арестовать бумаги Дидро в надежде найти среди них рукописи сочинений «непри-

стойных, эротических»; ожидания эти не оправдались. Жак Дюприло, тщательно изучивший историю печатания, распространения и преследований «Терезы-философки», обнаружил, что в архивах полиции по делу «Терезы-философки» имя Дидро не упоминается; однако именно к этому делу приложено письмо-донос на Дидро как на автора «Философских мыслей», послужившее поводом к его преследованиям.<sup>3</sup>

История публикации «Терезы-философки» и поныне заключает в себе немало неразрешенных загадок. Возможно, что впервые она была напечатана в Льеже в 1748 году, к концу того же года переиздана в Париже и, по-видимому, в Гааге.<sup>4</sup> Имя автора «Терезы-философки», на протяжении всего XVIII века публиковавшейся анонимно (Жак Дюприло пишет, по крайней мере, о «дюжине» изданий книги до революции 1789 года — Т, I, I), до сих пор нельзя считать окончательно установленным. Мнение Барбье об авторстве Дидро, несмотря на общность многих философских идей книги и мировоззрения Дидро в 1748 году, следует отнести все же к категории недоразумений. В настоящее время большинство авторитетных ученых (например, Анри Куле, Пьер Фошери, Жак Рюстен)<sup>5</sup> атрибути-

<sup>3</sup> Duprilot J. Présentation. — Thérèse-philosophe / Fac-similé de l'édition de Paris (?), vers 1780. Genève; Paris, 1980, p. IV, XXVIII—XXXIX. В дальнейшем ссылки на это издание см. в тексте: Т (текст романа имеет двойную пагинацию в соответствии с разбивкой его, в издании XVIII века, на два тома).

<sup>4</sup> Thérèse philosophe, ou Mémoires pour servir à l'histoire du Père Dirrag et de M<sup>lle</sup> Eradice. La Haye, [1748]. В заглавии романа заключены анаграммы имен реально существовавших лиц: иезуита Ж.-Б. Жирапа (осужденного в Эксе в 1731 году) и его юной ученицы М.-К. Кадьер. (В издании «vers 1780» вторая часть заглавия снята, поскольку, очевидно, реалии 1731 года к тому времени были забыты).

<sup>5</sup> См.: Coulet H. 1) Le Roman jusqu'à la Révolution; T. 1—2. Paris, 1967—1968, t. 1, p. 387; 2) Marivaux romancier. Paris, 1975, p. 78; Fauchery P. La Destinée féminine dans le roman européen du XVIII<sup>e</sup> siècle. 1713—1807: Essai de gy-

<sup>1</sup> См.: Wilson A. M. Diderot: The Testing Years (1713—1759). New York, 1957, p. 104—108.

<sup>2</sup> Barbier E.-J.-F. Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718—1763), ou Journal de Barbier... 4<sup>e</sup> série (1745—1750). Paris, 1866, t. 4, p. 377—378.

руют этот роман маркизу д'Аржану без каких-либо оговорок. От себя добавим, что сличение «Терезы-философки» со всем остальным обширным романным творчеством д'Аржана 1730—1740-х годов свидетельствует о полной близости как их основных философских идей, так и художественной формы, которая у д'Аржана вообще обладает определенной стабильностью.

В том же 1748 году Дидро публикует свой первый роман — «Нескромные сокровища». Попытаемся сравнить эти два произведения; такой сопоставительный анализ, сколько известно, никогда не проводился.<sup>6</sup>

Оба эти романа 1748 года имели сходную судьбу: большинство современников аттестовало их как несерьезные, поверхностные, чисто эротические и глубоко аморальные произведения. Относительно романа Дидро такое мнение продолжало держаться примерно до середины XX века (в нашем отечественном литературоведении и искусствоведении оно, сколь ни парадоксально, сохраняется и поныне). Серьезное изучение «Терезы-философки» началось только в последние годы, хотя об этом романе даже у крупнейших ученых и сейчас можно встретить отзывы как о книге «непристойной» (Лоран Версини), «циничной» (Анри Куле).<sup>7</sup>

Оба эти произведения роднит в известной степени близкая, схожая философская концепция человека и мира. «Нескромные сокровища» явились для Дидро первым сочинением, где он выразил свои материалистические воззрения, которые через год, в «Письме о слепых

в назидание зрячим», получат законченную философскую аргументацию и будут развиты впоследствии в других его произведениях. Маркиз д'Аржан, автор большого числа философско-моральных трактатов и романов, увидевших свет преимущественно в 1730—начале 1740-х годов, напротив, как бы подводил некоторые итоги своих просветительских концепций: с 1744 года он живет в эмиграции в Берлине, где занимает несколько официальных постов при дворе Фридриха II и уже сравнительно реже публикует новые произведения, особенно романы.

«Нескромные сокровища» и «Терезу-философку» сближает прежде всего материалистическая (при деистической окраске у д'Аржана) концепция мира. Дидро признает материальность мира, считая человека высшей формой модификации материи. Он отказывается от рационалистического понимания сознания, проявляющегося, согласно учению Декарта, во врожденных интуициях. И наделяет сознанием человеческий организм в целом. Просвещенная Мирзоза, главная героиня романа, утверждает, что душа человека сосредоточивается в мозге, управляющем при помощи нервов всеми органами тела; при этом постепенно формируется из ощущения и памяти в суждение. Так Дидро утверждает мысль о единстве бытия и сознания, т. е., в конечном итоге, о материальности мира.<sup>8</sup> Маркиз д'Аржан, объединивший с помощью деизма Бога и природу в одно (Т, I, 121, 127), заявляет, вполне в духе механистических представлений XVIII века, что все в мире материально; понятие духовности — лишь химера, это всего лишь модификация материи; все в мире зависит от различных модификаций материи (Т, I, 72—73).

Отрицая схоластическое мировоззрение, метод априори («Всякая не основанная на опыте система — химера», VI, 19), Дидро утверждает роль сенсуалистского, опытного знания. Научно, материалистически разрабатывая теорию сна (сон отражает объекты внешнего мира, которые при бодрствовании запечатлели свои знаки в мозге, VI, 159), Дидро провозглашает в своем романе материалистическое понимание мира, который познается при помощи ощущений: все наши представления, знания — всего лишь отражение существующих вне нас предметов внешнего мира; источник наших знаний — наши ощущения, а источник ощущений — материальный мир; способность к ощущению свойственна материи независимо от ее сложности; движение и материя существуют

*pécomythie romanesque*. Paris, 1972, p. 139, 164, 308, 333, 659; *Rustin J. Le Vice à la mode: Etude sur le roman français du XVIIIe siècle de «Manon Lescaut» à l'apparition de «La Nouvelle Héloïse»* (1731—1761). Paris, 1979, p. 85, 133—134, 138, 157, 173.

<sup>6</sup> Литература о «Терезе-философке» вообще крайне скудна. Помимо нескольких общих трудов по истории романа во Франции в XVIII веке, в первую очередь упомянутых выше исследований Пьера Фошери и Жака Рюстена, где ей уделено значительное внимание, и указанного введения Жака Дюприло, имеющего преимущественно исторический и книговедческий характер, можно назвать комментированное научное издание романа, которое нам, к сожалению, не удалось держать в руках: *Argens, marquis de. Thérèse philosophe... / Première édition revue, corrigée, expurgée, annotée, augmentée d'une préface et de commentaires par Roger d'Oliba*. Paris, 1961.

<sup>7</sup> *Versini L. Laelos et la tradition: Essai sur les sources et la technique des «Liaisons dangereuses»*. Paris, 1968, p. 54, 186; *Coulet H. Le Roman jusqu'à la Révolution*, t. 1, p. 387.

<sup>8</sup> *Diderot. Les Bijoux indiscrets*. — *Diderot. Oeuvres romanesques*. Paris, 1959, p. 83, 103—108. В дальнейшем ссылки на это издание см. в тексте: VI.

вечно в пространстве и времени; движение — неотъемлемое свойство материи (VI, 158—163). Маркиз д'Аржан также заявляет в «Терезе-философке», что наши мысли о том или ином предмете зависят от организации нашего тела и от внешнего мира; идеи же наши зависят от ослепания, слуха, зрения, обоняния, вкуса (Т, I, 73). От ощущений зависят воля, вся духовная жизнь; наши физические инстинкты определяются только ими; ощущения же — это свойство материи (Т, II, 85, 66, 71). Понятия о добре и зле физическом, как и о добре и зле нравственном, мы приобретаем лишь при помощи ощущений (Т, I, 40). Даже наказание человеку, нарушающему установленный порядок, совершается механически, посредством ощущений, влияющих на впечатления души (Т, I, 123).

В связи с признанием материальности мира и провозглашением сенсуалистического принципа познания и Дидро и д'Аржан единственно правильным методом в науке и философии считали метод экспериментальный. Сама структура романа Дидро, его интрига основаны на эксперименте:<sup>9</sup> любая гипотеза должна быть проверена опытом, недаром слово «эксперимент» постоянно (более двадцати раз) встречается на страницах романа. В главе XXXII «Соп Мангоюля, или Путешествие в Страну гипотез» (VI, 114—117) разоблачается умозрительный метод познания и утверждается опытное знание мира. Автор романа о Терезе-философке также призывает использовать «факел опыта» в познании мира и в борьбе с предрассудками умозрительного мышления (Т, I, 26, 84, 81).

Солидарность Дидро и д'Аржана можно проследить и в их концепции человека и его природы. Оба они исходят из понятия полной детерминированности психологии, морали, поступков людей. Поскольку в мире царит закон причинности, считает Дидро, жизнь человеческого организма predetermined. Люди — это только автоматы, одаренные способностью ощущать, памятью и их производным — мозгом (VI, 180, 61, 111, 138). Такие соображения и легли в основу представлений Дидро о взаимозависимости душевной и телесной жизни человека. Именно анатомия predeterminedляет наши психические явления; от нее целиком зависят наше поведение; человека по жизни ведет темперамент, а не сердце и голова, им управляет инстинкт (VI, 18, 19, 24, 27, 78, 83—85, 95, 158, 166, 178, 191, 192, 224). Автор «Нескромных сокровищ» убежден, что «без хорошо организованного тела не может быть любви» (VI, 226). Он регистрирует физи-

ческое состояние своих героев, обращается к медицинским терминам и понятиям (VI, 14, 209, 75, 232). Разделяя широко распространенные в его время воззрения, Дидро склонен объяснять биологические явления законами механики, в частности открытым Ньютоном законом всемирного тяготения (VI, 173).

Маркиз д'Аржан в своем романе также именуется организм человека «машиной», изучает его «механизм», «исправное» или «испорченное» состояние, грубую или тонкую организацию (Т, I, 19, 23, 29, 30, 39, 84). Устройство органов, расположение фибр, определенное движение жидкостей формируют психический тип (Т, I, 29). Все потребности человека зависят от непреложных законов природы (Т, I, 90). Потребности темперамента столь же сильны, как чувство голода или жажды (Т, I, 136). Люди, таким образом, отнюдь не свободны, все наши поступки с необходимостью детерминированы (Т, I, 136; II, 72). И д'Аржан в духе времени поясняет это чисто механистическим примером: любое физическое желание столь же непреодолимо движет человеком, как в механике вес в четыре фунта перевешивает вес в один фунт (Т, I, 25).

Исходя из этих представлений, и Дидро и д'Аржан говорят в своих романах о нравственности. Размышляя о добродетели и пороках, Мирзоа не считает, что добродетель основана лишь на одной химере (VI, 19). Подлинной добродетели способствует правильное, основанное на гуманных началах, воспитание (VI, 187). В своем понимании нравственности Дидро быстро избавляется от авторитета Шефтсбери (нравственность заключена в самой природе человека); мораль для Дидро становится наукой социальной: он связывает мораль не только с физическим состоянием организма, но и с той средой, в которой живет человек. Отсюда и сатирико-обличительная направленность его философского романа. Дидро осуждает абсолютизм и церковь, политику правительства и несправедливые законы, распущенность нравов и прерассудки. Такими же глазами смотрит на мир и маркиз д'Аржан. Мораль человека, его счастье или несчастье зависят от модификации материи и идей (Т, II, 73). Добродетель и порок зависят от темперамента и воспитания (Т, II, 85; I, 182; I, 96). Для формирования ума и сердца нужны полезные примеры и мудрые советы, хотя в каждом человеке в зародыше есть то, что непременно должно проявиться. Разумный человек обязан способствовать всеобщему благу (Т, II, 86). Д'Аржан пишет о социальных причинах пороков (Т, I, 33), он борется с предрассудками, особенно с церковными, с позиций разума (Т, I, 138, 34, 140—156). Цель добродетели — добиваться общественного благоденствия (Т, I, 149, 156; II, 63). На первой странице романа д'Аржан признается, что

<sup>9</sup> Об этом см.: *Ellrich R. J. The Structure of Diderot's «Les Bijoux indiscrets»*. — *Romanic Review*, 1961, v. 52, № 4, p. 279—289.

он не боится открывать истины, полезные для общества (Т, I, 3).

Так Дидро и д'Аржан, в один и тот же год и независимо друг от друга, выразили в своих романах основные положения передовой просветительской философии XVIII века.

Перенесемся в Россию. «Тереза-философка», приписываемая некогда перу Дидро, проникла и на страницы русской литературы. Правда, следов ее отражения или хотя бы упоминания о ней в русской литературе XVIII века нам пока обнаружить не удалось; зато хорошо известно использование заглавия этого романа и имени его главной героини в творчестве Достоевского.

В Париже, куда судьба забросила Алексея Ивановича, главного героя «Игрока», только что выигравшего на рулетке двести тысяч франков, его французская подруга — авантюристка мадемуазель Blanche de Cominges вводит его в круг своих знакомств, в числе которых «были и Hortense и Lisette и Cléopâtre — женщины замечательные во многих и во многих отношениях и даже далеко не дурные».<sup>10</sup> Далее сообщается, что мадемуазель Blanche знакомит героя «с Hortense, которая была слишком даже замечательная в своем роде женщина и в нашем кружке называлась „Thérèse-philosophe...“» (многоточие автора, — М. Р.; Д, V, 306).<sup>11</sup> Состоявшаяся вскоре

свадьба мадемуазель Blanche и генерала прошла «без особенного торжества, семейно и тихо», «Hortense, Cléopâtre и прочие были решительно отстранены» (Д, V, 309).

Что же можно заключить из этих скудных упоминаний «Терезы-философки»? Полагаем, что читателям времен Достоевского они едва ли могли сказать нечто большее, чем читателю наших дней. Современный комментариий к соответствующему месту «Игрока» (Д, V, 404) тоже мало в чем помогает: тут с ссылкой на французский библиографический источник XIX века дается полное заглавие романа (с небольшой опечаткой),<sup>12</sup> называются привычные имена Монтиньи и д'Аржана, сам роман определяется всего лишь как «книга эротического содержания».

Чем же была замечательной «во многих и во многих отношениях» и «слишком даже замечательной в своем роде женщиной» Hortense, прозванная «Thérèse-philosophe», почему она была «даже далеко не дурной», хотя и принадлежала к окружению мадемуазель Blanche, которую Алексей Иванович презирает за алчность и наглость? Тереза-философка из романа маркиза д'Аржана не только живет, но и рассуждает о жизни. Это женщина очаровательная, но и познающая жизнь, рассудительная, философствующая. «Философом», сначала чуть проницательски, а потом — в искреннем восхищении, называет мадемуазель Blanche и Алексея Ивановича, «учителя», поскольку он не корит ее за отношения с Альбертом, делает вид, что не замечает ни ее алчности, ни ее двуличия. Привлекала ли к себе Hortense «учителя» своей философией или превратностями жизни (как Тереза маркиза д'Аржана), судить трудно, но последнее как бы подтверждается тем, что на «приличную» свадьбу она допущена не была.

После слов о том, что Hortense «называлась „Thérèse-philosophe“», автор, как помним, ставит знаменательное многоточие. Что оно может означать? Возможно, ответ заключен в непосредственно следующих за этим словами: «Впрочем, нечего об этом распространяться; все это могло бы составить особый рассказ, с особым колоритом, который я не хочу вставлять в эту повесть» (Д, V, 306). Слова эти сказаны как бы от имени Алексея Ивановича, но могут пониматься и как сказанные от имени автора романа, что подтверждается дальнейшим творчеством писателя.

«Игрок» диктовался Достоевским в октябре 1866 года (замысел возник осенью 1863 года, Д, V, 398), а в 1868—1869 годах в планах и набросках к незавершенному роману «Атеист» (на последующих этапах работы получившему

<sup>10</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1973, т. V, с. 304. В дальнейшем ссылки на это издание см. в тексте — Д.

<sup>11</sup> Укажем попутно, что Hortense — еще одно заимствование иностранного литературного имени в творчестве Достоевского (так зовут одну из героинь романа Кребийона младшего «Заблуждения сердца и ума»), не отмеченное автором специальной работы на эту тему (см.: *Альтман М. С.* Иностранные имена героев Достоевского. — В кн.: Русско-европейские литературные связи. М.; Л., 1966, с. 18—26), где заимствованным именам в «Игроке» отведено значительное место. Добавим сюда имя Cominges, также не упоминаемое М. С. Альтманом (имя главного героя романа мадам де Тансен «Мемуары графа де Коммэнжа», 1735, переведенного на русский язык в XVIII веке Я. Б. Княжнинным). Об использовании в «Игроке» в пародийных целях имен героев романа аббата Прево «История шевалье де Грие и Манон Леско» см.: *Дороватская-Любимова В.* Французский буржуа: (Материалы к образу Достоевского). — Литературный критик, 1936, № 9, с. 211—213; *Debreczeny P.* Dostoevskij's use of «Manon Lescaut» in «The Gambler». — *Comparative Literature*, 1976, v. 27, № 1, Winter, p. 1—18 (статья написана в значительной степени на основании русских и советских исследований).

<sup>12</sup> «D. Dirrag» вместо «P. Dirrag» (т. е. Père Dirrag).

название «Житие великого грешника»), которому он придавал очень большое значение («Этот роман — все упование мое и вся надежда моей жизни», Д, IX, 503, письмо к С. А. Ивановой от 14 (26) декабря 1869 года), он снова обращается мыслями к «Терезе-философке».

Первое упоминание «Терезы-философки» встречается здесь в подробном плане <3> романа «Житие великого грешника» от 20/8 декабря 1869 года. Речь идет о детстве героя, которого «пазывают извергом» и который «держит себя извергом». Он испытывает «страстное желание удивлять всех неожиданно наглými выходками» (Д, IX, 126). «Thérèse-philosophe» пазывается здесь в перечне людей и впечатлений, оказавших, по-видимому, наибольшее влияние на формирование характера героя (Д, IX, 126).

Достоевский отмечает в герое «зародыши сильнейших страстей телесных» (Д, IX, 127). Герой читает романы (Д, IX, 134). Возможно, и «Тереза-философка» входила в круг его чтения и имела сильное влияние на его нравственное и интеллектуальное воспитание: «Преподавание от мальчика — — —» («Thérèse-philosophe» — избил его за это, а книжку удержал у себя») (Д, IX, 134). И далее (план <4>): о пребывании мальчика в монастыре, куда он отдан для исправления, и об общении его с Тихоном («Дружба с мальчиком, который позволяет себе мучить Тихона выходками», Д, IX, 138). Тихон узнает о «Thérèse-philosophe». «„Thérèse-philosophe“ смутила Тихона: „А я думал, что уже закалялся“» (Д, IX, 138).

Трудно, конечно, по этим фрагментам, фиксирующим нюансы, оттенки изощреннейшей мысли Достоевского, пытаться реконструировать весь ход его рассуждений, а тем более — установить, во что бы это могло вылиться в законченном произведении, но некоторые соображения можно сформулировать. Достоевский хочет писать житие, считает, что «житие — вещь до того важная, что стоило начинать даже с ребяческих лет» (Д, IX, 133). «Тереза-философка» — тоже своего рода житие, житие Терезы; оно посвящено выявлению и объяснению «сильнейших страстей телесных», столь мучивших и «волченка и нигилиста», героя «Жития великого грешника», развитаго и развращенного. Неудивительно, при таком понимании, что французский роман, не только непристойно-эротический, но и философско-теоретический, объективный сухой трактат о формировании личности и влияния природных инстинктов на психику, так привлекал болезненное воображение тринадцатилетнего мальчика и мог смутить даже святого Тихона.

В «Терезе-философке» д'Аржана ярко выражена просветительская концепция природы человека, детерминированной, целиком зависящей от общих законов природы. Эта философия не могла быть

поддержана Достоевским, который безоговорочно не принимал идею детерминизма. Достоевский отрицал просветительскую философскую концепцию человека, но она, по-видимому, все-таки чем-то привлекала его, и он считал необходимым спорить с нею, а не просто не замечать ее, не упоминать о ней.

«Тереза-философка» была во времена Достоевского едва ли не большей библиографической редкостью, чем в наши дни (когда существуют современные переиздания и более полные и подробные курсы французской литературы XVIII века). Достоевский был, вероятно, одним из немногих людей своего поколения (и не только в России), кто читал эту книгу, и воспоминания о ней он сохранил надолго. Произошло ли его знакомство с «Терезой» в одном из московских пансионов, где он воспитывался, или в Инженерном училище, или в более поздние годы, — ответить пока трудно. Но книга эта в какой-то период его жизни произвела на него, по всей вероятности, достаточно сильное впечатление, и это могло отразиться на разных этапах его творчества.

Однако, как уже упоминалось, «Тереза-философка» не принадлежала перу Дидро. Но Достоевский обращался также и к «Нескромным сокровищам». Сравнительный анализ двух романов 1748 года выявил их значительное совпадение по многим важнейшим пунктам. Тема «Достоевский и Дидро» была впервые поставлена в 1966 году А. Л. Григорьевым,<sup>13</sup> который указывает и на несколько более ранних, но предельно лаконичных сопоставлений этих двух имен в работах В. В. Розанова, Л. П. Гроссмана, А. С. Долинина.<sup>14</sup> Через несколько лет после А. Л. Григорьева обширное исследование на тему «Лебедев и племянник Рамо» (имеется в виду Лебедев из романа «Идиот») публикует В. Я. Кирпотин.<sup>15</sup>

Все исследователи литературных реминисценций в творчестве Достоевского отмечают его прекрасное знакомство с европейскими литературами и, в частности, с французской литературой XVIII века. «В раннем возрасте, — пишет Л. П. Гроссман, — этот прилежный читатель

<sup>13</sup> Григорьев А. Достоевский и Дидро (к постановке проблемы). — Русская литература, 1966, № 4, с. 88—102.

<sup>14</sup> Розанов В. В. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Изд. 3-е, СПб., 1906, с. 31; Гроссман Л. Библиотека Достоевского: По неизданным материалам. С приложением каталога библиотеки Достоевского. Одесса, 1919, с. 122; Долинин А. С. Комментарий. — В кн.: Достоевский Ф. М. Письма: В 4-х т. М.; Л., 1930, т. 2, с. 453.

<sup>15</sup> Кирпотин В. Лебедев и племянник Рамо. — Вопросы литературы, 1974, № 7, с. 146—184.

всех мировых классиков самым основательным образом прошел школу французского романа».<sup>16</sup> Об отражении в его творчестве французской литературы XVIII века, «которую знал и ценил Достоевский (поэзия Парни, Кребийона, романы Лэве де Кувре, Дидро, Шедерло де Лакло, маркиза де Сада)»,<sup>17</sup> пишет Р. Г. Назиров. «Достоевский по характеру своего образования и своих чтений хорошо знал французских философов-просветителей XVIII века»,<sup>18</sup> — справедливо заключает В. Я. Кирпотин. Число подобных высказываний можно умножить. П. П. Семенов (будущий Семенов-Тянь-Шанский), встречавший Достоевского еще в кружке Петрашевского, вспоминал впоследствии о его «большой начитанности» и отмечал, что он был «образованнее многих литераторов того времени».<sup>19</sup> Что касается собственно Дидро, то его сочинения, скорее всего, были знакомы Достоевскому еще с юности, и впоследствии он снова не раз к ним обращался, например, по-видимому, в кружке М. В. Петрашевского, где они имелись в составе собранной сообществом членами кружка библиотеки.<sup>20</sup> Наконец, об этом же говорится в цитируемом в этих случаях обычно письме Достоевского к Н. Н. Страху из Флоренции от 18/6 апреля 1869 года: «Вы вот спрашиваете в письме Вашем, что я читаю. Да Вольтера и Дидро всю зиму и читал. Это, конечно, мне принесло и пользу, и удовольствие».<sup>21</sup>

Правда, Достоевский прямо называет имя Дидро только в «Братьях Карамазовых». При первой встрече с Зосимой Федор Павлович, который всячески злит и хочет вывести из себя своего спутника либерального помещика Мнусова, приводит анекдот о раскаянии безбожника Дидерота (Д, XIV, 39), а затем еще дважды упоминает о нем.<sup>22</sup> Дидро

в романе Достоевского — философ-атеист, имя которого широко известно и авторитетно и даже окружено анекдотами.

Однако отношение Достоевского к Дидро и сложнее и многообразнее. Исследователи творчества Достоевского признают, что «в литературном наследии Достоевского и Дидро есть много точек соприкосновения».<sup>23</sup> Прежде всего отмечается привлекавшая Достоевского у Дидро философская критика религии и его открытия в области психологии, особенно обнаружение сложных противоречий человеческого сознания. По мнению В. Я. Кирпотина, следы чтения Дидро «довольно легко можно найти» у Достоевского.<sup>24</sup>

Но в поисках таких «следов» и А. Л. Григорьев, и В. Я. Кирпотин, и их многочисленные предшественники, упомянутые выше, основное внимание уделяют одному только произведению Дидро — философскому роману-диалогу «Племянник Рамо» (1761—1776, опубликован в XIX веке).<sup>25</sup> При этом изучается возможное воздействие главного образа романа Дидро на образы героев повестей и романов Достоевского: если В. Я. Кирпотин рассматривает параллель племянник Рамо — Лебедев («Идиот»), то круг произведений Достоевского, возводимых в той или иной степени к персонажу Дидро, в работе А. Л. Григорьева значительно шире («Ползунков», «Село Степанчиково», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы»). Еще в одной из работ<sup>26</sup> сопоставляются, на наш взгляд несколько излишне формально, «Племянник Рамо» и «Бобок».

Исследователями намечается следующий, примерно, круг идей и тем, затронутых или поставленных в «Племяннике Рамо» и интересующих Достоевского при работе над своими произведениями: шут-паразит, живущий за чужой счет, его презрение к общепринятым нормам морали, а также к окружающим его людям и, в известной степени, их беззащитность перед ним; отношение этого героя к самому себе — это и независимая от общества, по-своему сильная, и — глубоко страдающая личность; диалектическое переплетение, таким образом, самых взаимоисключающих психологических ситуаций, являющееся отражением представлений Дидро о диалек-

жает: «...про Дидерота иногда можно!» (Д, XIV, 41, 42). К этому же эпизоду восходят и два упоминания имени Дидро в рукописных редакциях романа (Д, XV, 204, 210).

<sup>23</sup> Григорьев А. Указ. соч., с. 88.

<sup>24</sup> Кирпотин В. Указ. соч., с. 152.

<sup>25</sup> В. Я. Кирпотин привлекает еще для своего анализа диалоги Дидро «Разговор отца с детьми» (1770) и «Он и Я».

<sup>26</sup> Баггин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979, с. 166.

<sup>16</sup> Гроссман Л. Русский Кандид: К вопросу о влиянии Вольтера на Достоевского. — Вестник Европы, 1914, № 5, с. 192.

<sup>17</sup> Назиров Р. Г. Трагедийное начало в романе Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». — Филологические науки, 1965, № 4, с. 35. Не вполне понятно, о какой «поэзии Кребийона» говорит исследователь.

<sup>18</sup> Кирпотин В. Указ. соч., с. 151.

<sup>19</sup> Семенов-Тянь-Шанский П. П. Мемуары, т. 1. Детство и юность (1827—1855). Пгр., 1917, с. 201—202.

<sup>20</sup> См.: Семевский В. И. 1) М. В. Буташевич-Петрашевский. — Голос минувшего, 1913, т. VIII, с. 53—54; 2) М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922, ч. 1, с. 166—170. Ср. также: Григорьев А. Указ. соч., с. 88, 93.

<sup>21</sup> Достоевский Ф. М. Письма, т. 2, с. 186.

<sup>22</sup> В ответ на слова старца: «Не лгите», Федор Павлович уточняет: «То есть это про Дидерота, что ли?» и продол-

тической сложности психологической природы человека. Не все из этих сближений и сопоставлений кажутся нам в равной степени убедительными. Нам представляется, что несомненное и неоднократное обращение Достоевского к творчеству Дидро охватывало и более широкий круг идей, и более широкий круг произведений французского писателя-просветителя, разумеется, в той мере, в какой последние Дидро было воспринято позднейшими философами середины XIX века.

В своем научном и художественном творчестве Дидро неизменно пользуется методом, который у современных исследователей получил название «парадокса».<sup>27</sup> Утверждая новую истину, противоречащую традиционным представлениям, Дидро постоянно сталкивает старое и новое; то, что поначалу кажется непривычным и абсурдным, и заключает в себе истину, а то, что некогда представлялось по традиции ясным, оказывается простой химерой.

«Записки из подполья» заканчиваются словами: «Впрочем, здесь еще не кончатся „записки“ этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться» (Д, V, 179). Достоевский, разумеется, не случайно называет «парадоксалистом» своего измученного и озлобленного героя. Рассуждения его могут показаться и странными, и неожиданными, резко противоречащими традиционным, общепринятым мнениям. Можно предположить и чисто научное понимание парадоксальности записок — как выявление противоречия, которое и утверждает истинность высказываний, и ставит ее под сомнение. Парадоксалист отрицает какое-то мнение, которое кажется всем несомненно правильным, противопоставляет ему новый, необычный, оригинальный взгляд на вещи. Автор «Записок» решительно высказывается против природной детерминированности человека, целиком подвластного силе ощущений, т. е. против просветительской трактовки человека, нашедшей свое воплощение в учении Дидро о фатализме. Этот метод парадокса получил наиболее полное выражение в научно-философских работах зрелого Дидро: «Мысли об объяснении природы», «Сон Даламбера», «Философские принципы материи и движения», «Элементы физиологии», «Опыты о Сенеке». Но не менее ярко он выражен и в его художественных, правильнее, наверное, сказать, научно-художественных произведениях — философских романах «Племянник Ра-

мо» (который, несомненно, хорошо знал Достоевский), «Жак-фаталист», а также и в его раннем романе — «Нескромные сокровища». Знакомство Достоевского с этим последним произведением требует, очевидно, особых доказательств. Постараемся представить их.

Стремясь опровергнуть и опорочить ненавистную ему теорию детерминизма, споря со своими вечными оппонентами, герой «Записок из подполья» раздраженно их передразнивает: «... тогда, говорите вы, сама наука научит человека... что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши... и что, сверх того, на свете есть еще законы природы; так что всё, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко» (Д, V, 112—113). Мысль эта очень раздражает героя повести Достоевского, и он продолжает: «Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтоб самому себе подтвердить... что люди всё еще люди, а не фортепьянные клавиши, на которых... играют сами законы природы собственноручно» (Д, V, 116—117). В ответ на эти мысли своих воображаемых оппонентов, которые неумолчно звучат у него в ушах, герой «Записок из подполья» горячо возражает, снова и снова возвращаясь к этому, упрямо повторяет, кричит (ему кажется, что это «они», его оппоненты, кричат, Д, V, 117), «что он человек, а не штифтик!», что человек — это «человек, а не фортепьянная клавиша!» (Д, V, 112, 117).

Современные комментаторы «Записок из подполья»<sup>28</sup> справедливо соотносят эту навязчивую идею героя повести, опровергающего сенсуалистский детерминизм, с философским диалогом Дидро «Разговор Даламбера и Дидро» (1769, опубликован в XIX веке). Именно здесь Дидро высказывает мысль, ставшую впоследствии широкоизвестной (ее цитирует, в частности, В. И. Ленин), что всякое живое существо — «простая машина для подражания», что человек, философ, представляет собой инструмент, клавишин; но «инструмент-философ одарен чувствительностью; он в одно и то же время и музыкант, и инструмент. Будучи чувствительным, он обладает мгновенным сознанием издаваемого им звука; как животное, он обладает памятью об этом звуке... Вообразите себе клавишин, обладающий способностью

<sup>27</sup> Venturi Fr. Jeunesse de Diderot (1713—1753). Paris, 1939, p. 128; Эрар Ж. Научное знание и роман или парадоксы Дени-фаталиста. — В кн.: Век Просвещения. М.; Париж, 1970, с. 171—195; Длу-гач Т. Б. Дени Дидро. М., 1975, с. 36—42.

<sup>28</sup> См.: Григорьев А. Указ. соч., с. 97; Кирпотин В. Указ. соч., с. 152; Д, V, 384 (примечания Е. И. Кийко).

ощущения и память, и скажите, разве бы он не стал тогда сам повторять тех арий, которые вы воспроизвели бы на его клавишах? Мы — простые инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства — в такой же степени клавиши, по которым ударяет природа, нас окружающая, и которые часто ударяют по себе самц. Вот, по моему мнению, всё, что происходит в клавесине, организованном подобно вам и мне».<sup>29</sup>

Таким образом, как будто бы совершенно прав В. Я. Кирпотин, который пишет: «Первоначально сравнение человека с фортепьяно, а чувств его с клавишами было сделано Дидро в „Разговоре Даламбера с Дидро“».<sup>30</sup> Однако этот вывод исследователя нуждается в некоторых уточнениях. Во-первых, как можно заметить из внимательного сличения двух текстов, Достоевский пишет о фортепьяно, а Дидро — о клавесине;<sup>31</sup> и, во-вторых, сравнение человека с клавесинном, а его чувств с клавишами впервые было сделано Дидро не в «Сне Даламбера» (напомним, что «Разговор Даламбера и Дидро» — часть философского диалога-трилогии «Сон Даламбера»), а в романе «Нескромные сокровища», где оно преследует ту же цель — доказательство материнальной природы ощущений. А то, что Достоевский внимательно прочел не только «Сон Даламбера», но и «Нескромные сокровища», доказывается одним из эпизодов в рассуждениях героя «Записок из подполья».

В своем нескончаемом споре со сторонниками механистического сенсуализма герой повести Достоевского упоминает не только «фортепьяно» (т. е. клавесин), но и «орган». Он горячо протестует против того, что человек — «не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика» (Д, V, 112), ибо «человек без желаний, без волн и без хотений» (какими, по его представлениям, видят людей его воображаемые оппоненты) «тотчас же обратится... из человека в органный штифтик или вроде того», в «штифтик в органном вале» (Д, V, 114; ср.: Д, V, 117). Орган, «органый штифтик» нигде не упоминается в «Сне Даламбера» и в таком контексте в других сочинениях зрелого Дидро, зато этот образ занимает весьма значительное место в «Нескромных сокровищах».

<sup>29</sup> Diderot. Le Rêve de D'Alembert. Paris, 1962, p. 14—15.

<sup>30</sup> Кирпотин В. Указ. соч., с. 152.

<sup>31</sup> Фортепьяно, хотя и сконструированное впервые уже в начале XVIII века, во времена Дидро не было еще распространенным инструментом, как клавесин — в середине XIX века. Можно поэтому понять замену Достоевским клавесина фортепьяно, труднее объяснить подобную замену в современных русских переводах «Сна Даламбера».

Говоря о теме клавесина и органа в «Нескромных сокровищах», следует упомянуть имя незуита отца Луи-Бертрана Кастеля (1688—1757), физика и математика, много занимавшегося также вопросами эстетики, члена Академий Лондона, Бордо и Руана, постоянного сотрудника «Мемуаров Треву» и «Меркюр де Франс», и одно из его изобретений — так называемый «зрительный клавесин». Идея создания «зрительного клавесина» занимала отца Кастеля всю жизнь. Первую статью на эту тему, вызвавшую большую полемику, он опубликовал еще в 1725 году в «Меркюр де Франс». В 1735 году, вдохновленный участием Монтескье, он печатает в «Мемуарах Треву» серию статей на эту тему, озаглавленных «Новые опыты по оптике и акустике».<sup>32</sup> Кастеля занимает и чисто философское обоснование его изобретения: идея о возможности достижения полной аналогии звуков и красок, т. е. акустических и зрительных ощущений, и экспериментальное, практическое воплощение этой аналогии. В конце концов ему удалось сконструировать свой инструмент, он демонстрировался в Париже и Лондоне;<sup>33</sup> Дидро живо интересовался этими опытами, с любопытством наблюдал за демонстрацией инструмента, и это отразилось в его первом романе, писавшемся как раз в это время. Первое упоминание об отце Кастеле в «Нескромных сокровищах» мы встречаем в главе XXIX, где, наряду с другими предметами, говорится о наследственности, о воздействии на организм образа жизни, о полной детерминированности человека-марионетки (VI, 60—67). Султан Мангоголь именует отца Кастеля «черным браминном, очень оригинальным, наполювину разумным, наполювину безумцем». Этот «добряк», который «прикладывал ум ко всему», избрал некий клавесин, где «распределял цвета по лестнице звуков и, при помощи цветов, намеревался воспроизвести для глаз сонату, аллегро, престо, адажио,

<sup>32</sup> Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts... Paris, 1735, Août, I, p. 1444—1482; Août, II, p. 1619—1666; Septembre, p. 1807—1839; Octobre, p. 2018—2053; Novembre, p. 2335—2372; Décembre, p. 2642—2768.

<sup>33</sup> Об истории создания «зрительного клавесина», его теоретической основе и техническом устройстве см.: Chouillet-Roche A.-M. Le Clavecin oculaire du Père Castel. — XVIII<sup>e</sup> siècle, t. 8. Paris, 1976, p. 141—166. Об отце Кастеле см. также: Schier D.-S. Louis-Bertrand Castel, anti-newtonian scientist. — Cedar Rapids, Iowa, 1941; Trousson R. Deux Discours du P. Castel à propos du «Discours sur les sciences et les arts». — In: Essays on Diderot and the Enlightenment in Honor of Otis Fellows, edited by John Pappas. Genève, 1974.

кашпабле с такою же степенью приятности, с какой воздействовали бы эти хорошо написанные пьесы на слух» (VI, 62). Клавесин отца Кастеля упоминается здесь Дидро для подтверждения его сенсуалистского восприятия мира и всеобщности ощущений.

Вторично клавесин отца Кастеля упоминается в «Нескромных сокровищах» в главе XLII «О снах», где утверждается материалистическая природа сна как отражения накопленных за день ощущений. Среди «сновиденный-мечтаний» — произведений Платона, Гермеса Трисмегистуса, отца Жана Ардуэна, Ньютона — названа и «Общая математика» «некоего брамина» (VI, 162), т. е. отца Кастеля. Дидро задается вопросом: «О чем мечтал отец С... (Кастель, — М. Р.), когда начал создавать свой орган цветов?» (VI, 162). Итак, автор «Нескромных сокровищ» пзобретение Кастеля называет то клавесином, то органом, но упоминает о нем всякий раз тогда, когда говорит об ощущениях, при помощи которых познается окружающий мир, которые формируют мысль и полностью предопределяют существование человека (VI, 159).

И не случайно Дидро вспоминает о нем и в своих более поздних трудах, которые развили и углубили философские идеи, впервые выраженные в «Нескромных сокровищах», в таких, как «Письмо о глухих и немых» (1751),<sup>34</sup> трилогия «Сон Даламбера».<sup>35</sup>

Парадоксальность утверждений Дидро и других философов века Просвещения заключалась в их новизне, опровергающей традиционные представления. Парадоксальность героя «Записок из подполья» в том, что, отрицая детерминизм природы, инстинкта, ощущений, он сам находится под властью детерминизма психологического, «самостоятельного хотенья» (Д, V, 113), «неограниченного... тщеславия» (Д, V, 124), а также осознания, что во все времена «порядочный человек должен быть трус и раб» (Д, V, 125); влияния «истерической жажды противоречий» (Д, V, 127), ощущения, «что это ведь уж непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя» (Д, V, 151). Так один

парадоксаллист опровергает другого; по в своей полемике с механистическим детерминизмом века Просвещения Достоевский, как бы и не замечая этого, сам впадает в «детерминизм», но уже на новом уровне, обусловленном новым уровнем представлений о природе человека к середине XIX столетия.

Тот же психологический детерминизм в значительной мере определяет и судьбу Алексея Ивановича, рассказчика и главного персонажа «Игрока». Страсть к игре доводит его «до судорог»; он сам понимает, что он — «погибший человек» (Д, V, 312, 317), и в одно и то же время надеется «воскреснуть» и осознает невозможность этого.

Такой детерминизм можно попытаться проследить и в поведении Раскольникова («Преступление и наказание»).<sup>36</sup> «Все это вздор, — сказал он с падеждой, — и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, — и вот, в один миг крепнет ум, яснее мысль, твердеют намерения! Тыфу, какое всё это ничтожество!..» (Д, VI, 10—11). Перед признанием Соне Раскольникова давит «мучительное сознание своего бессилия перед необходимостью» (Д, VI, 312). В подготовительных материалах к роману этот фатализм еще более ощутим: «...меня пмменно тянуло рискнуть. Со злости, может быть, с животной злости, которая не рассуждает» (Д, VII, 76). И далее: «Я должен был это сделать. (Свободы воли нет. Фатализм)» (Д, VII, 81). Или: «Али есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас» (Д, VII, 137). А когда Достоевский пишет: «Многообразие наслаждений и уголений. Совершенное сознание и анализ каждого наслаждения, без боязни, что оно оттого ослабнет, потому что основано на потребности самой натуры, телосложения» (Д, VII, 158), — то невольно вспоминается цитированное выше рассуждение из «Нескромных сокровищ»: «Без хорошо организованного тела нет любви. Обдумываемый образ Свидригайлова. Достоевский заносил в черновую тетрадь: «А чтоб он не очень куражился, то ужасно любят мнение о том, что человек сам одна только механика» (Д, VII, 161). Это также, как помним, очень близко к понятию «автомат», «машина», которые использовали в применении к человеческому организму и автор «Нескромных сокровищ», и автор «Терезы-философии». Наконец, в самом тексте романа Свидригайлов признается, что в разврате «есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подвер-

<sup>34</sup> Diderot. Oeuvres complètes: T. 1—20 / Publiées par J. Assézat et M. Tourneux. Paris, 1875, т. 1, p. 356—357.

<sup>35</sup> Дидро вспоминает о Кастеле для доказательства единства материальной природы (Diderot. Le Rêve de D'Alembert, p. 43). Материальная природа ощущений доказывает Дидро и при помощи сравнения животного с клавесином (Ibid., p. 89). Дружеские личные отношения между Дидро и отцом Кастелем сохранялись до самой смерти последнего (см.: Diderot. Correspondance: T. 1—16 / Editée par G. Roth. Paris, 1955, т. 1, p. 115—116, 130—131).

<sup>36</sup> Обратим внимание на хронологическую близость этих произведений: «Записки из подполья» — 1864, «Игрок» — 1866, «Преступление и наказание» — 1866.

женное фантазии» (Д, VI, 359). Подобную точку зрения на природные инстинкты разрабатывал и маркиз д'Аржан.

В подготовительных материалах к третьей (окончательной) редакции «Преступления и наказания» (1866), в диалоге Порфирия Петровича и Раскольниковых Порфирий Петрович говорит: «... всё бы это было хорошо, если бы человек был вроде машины или если бы, например, управлялся одним рассудком. Рассудок — славная вещь. Рассудок может так же фокусы загадывать, что где их угадать какому-нибудь бедному следователю. Но видите ли: натура не выдерживает — вот это-то следователю и помогает. Человек отлично сойдет — тут бы и триумф, а он вдруг в обморок упадет» (Д, VII, 183—184).

В повести «Село Степанчиково и его обитатели» в «Воплях Видоплясова» содержится просьба к Сергею Александровичу похлопотать в пользу Видоплясова у дядюшки «и подействовать на него „моею машиною“, как буквально изображено было в конце этого послания» (Д, III, 92). Этот отрывок сопоставляется с заметками «Сибирской тетради» (№ 454): «подействуйте, батюшка, своею машиною» (Д, IV, 247). Достоевский много раз обращается в «Селе Степанчикове» к «Сибирской тетради» (Д, III, 504), однако можно предположить, что «машина» здесь может иметь и значение организма, тела, личности, т. е. именно в понимании философии Просвещения XVIII века.

В «Записках из Мертвого дома» дворянин-отцеубийца, характерной чертой которого была «зверская бесчувственность», называется «феноменом»; «тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще не известное науке, а не просто преступление» (Д, IV, 16). В этом же романе о каторжнике Орлове сказано: «Очевидно, внутренняя, душевная его энергия сильно помогала натуре» (Д, IV, 47).

Так детерминизм, критикуемый Достоевским, и от которого он тем не менее не может полностью отказаться, определяет у него в некоторых случаях и физическую, и духовную сущность человека.

Число произведений Достоевского, в которых отразилось чтение Дидро, можно, вероятно, пополнить. В этом нет ничего ни удивительного, ни сенсационного. Отечественные исследователи творчества Достоевского давно выявили в общем виде и объяснили нам эту черту его таланта; кажется, что по этому вопросу между ними нет и никаких расхождений. Как писал об этом в 1919 году Л. П. Гроссман, «не история заимствований должна здесь привлекать внимание исследователей, а выяснение формирующих книжных впечатлений, воспитавших автономную творческую личность

Достоевского. Рост его духовной организации во многом объясняется не подражаниями, а восприятием тех заражающих влияний, которые никогда не представляли волновать его творческую восприимчивость».<sup>37</sup> Б. Г. Реизов в 1927 году отмечал, что Достоевский «принадлежал к тому типу писателей, которые вдохновляются к творчеству не столько сырым материалом действительности, сколько художественной переработкой его в произведениях литературы; впечатления от прочитанного «входили в его творчество главным компонентом».<sup>38</sup> К этому выводу присоединяется и В. Я. Кирпотин (1974): «Достоевскому и вообще было свойственно вбирать и перерабатывать для своих целей материалы, почерпнутые из книг, на идеологическую жизнь он смотрел как на законную и неотъемлемую часть действительности».<sup>39</sup> В наше время (1979) один из крупнейших знатоков творчества Достоевского — Г. М. Фридлендер — признает, что Достоевский «не смотрел на свою художественную работу как на плод одних лишь собственных творческих усилий, но видел в ней продолжение коллективной работы писателей разных стран и эпох, проявление общих по своему смыслу тенденций и закономерностей развития национальной и мировой литературы».<sup>40</sup> Наконец, автор статьи, опубликованной в 1983 году, пишет: «У Достоевского, как известно, находят и будут находить все новые и новые примеры „использования“, „разработок“ и т. п. образов, деталей, идей и т. д. и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя, и Некрасова, и Тургенева, и Тютчева, и Фета, и Толстого... Как, впрочем, и Данте, Шекспира, Сервантеса, Гете, Бальзака, Диккенса... Дело, однако, не в заимствованиях... Духовная культура человечества, в том числе и художественно-словесная, созданная и создаваемая его предшественниками и современниками, для Достоевского — такой же законный материал, как и реально-историческая действительность прошлого и настоящего, материал,

<sup>37</sup> Гроссман Л. Библиотека Достоевского, с. 24—25.

<sup>38</sup> Реизов Б. Г. О западном влиянии в творчестве Достоевского: Некоторые западные источники романа «Униженные и оскорбленные». — Известия Северо-Кавказского гос. ун-та, 1927, т. 1 (XII), с. 95—96; ср. также его же: 1) Борьба литературных традиций в «Братьях Карамазовых». — В кн.: Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970, с. 139—158; 2) «Униженные и оскорбленные» Ф. М. Достоевского и проблемы зарубежной литературы. — Русская литература, 1972, № 2, с. 62—76.

<sup>39</sup> Кирпотин В. Указ. соч., с. 152.

<sup>40</sup> Фридлендер Г. Достоевский и мировая литература. М., 1979, с. 141.

преобразуемый мощным гением, созидающим особый, дostoевский образ мира».<sup>41</sup>

Что же касается Дидро, нам удалось, кажется, несколько расширить наши представления о круге чтения Дидро русским писателем, на разных этапах

<sup>41</sup> Селезнев Ю. Лесков и Достоевский — В кн.: В мире Лескова. М., 1983, с. 127—128.

его жизни, включив сюда и такие произведения, которые редко (а в нашей стране — впервые) привлекают внимание исследователей («Нескромные сокровища»). Роман «Тереза-философка» не принадлежит перу Дидро, но такое — совместное — рассмотрение может, думается, помочь понять общее отношение Достоевского к просветительской литературе XVIII века.

К. Ю. Лапко-Данилевский

## НОВЫЕ ДАННЫЕ К БИОГРАФИИ Н. А. ЛЬВОВА (1770-е годы)

В жизни Николая Александровича Львова 1770-е годы — важнейший период формирования его личности, многочисленных знакомств в литературных и административных кругах Петербурга, поездок за границу. Рабочая тетрадь писателя,<sup>1</sup> хранящаяся в ИРЛИ, свидетельствует также о том, что это десятилетие было временем творческого становления, напряженных поисков, изучения разнообразных произведений западноевропейской литературы XVII—XVIII веков. Однако нужно констатировать, что биография Н. А. Львова 1770-х годов недостаточно разработана, в частности еще не был разыскан ни один из документов, раскрывающих его продвижение по службе. При описании жизненного пути выдающегося русского писателя и архитектора XVIII столетия исследователи, используя одни и тот же круг источников, излагают основные события интересующего нас времени следующим образом: в конце 1760-х—начале 1770-х годов Н. А. Львов приезжает в Петербург, поступает в бомбардирскую роту Измайловского полка, обучается в полковой школе; в 1771 году с товарищами по полку Николаем Осиповым, Петром и Николаем Ермолаевыми издает рукописный журнал «Труды четырех разумных общников», где появляются его первые поэтические опыты; в середине 1770-х годов переходит на службу в Коллегию иностранных дел; в 1776—1777 годах вместе с И. И. Хемницером и М. Ф. Соймоновым отправляется в Париж через Германию и Бельгию, откуда возвращается в августе 1777 года; в 1779 году под наблюдением Г. Р. Державина производилась перестройка зала общего собрания в Сенате, для украшения которого Н. А. Львовым были придуманы сюжеты барельефов, выполненных А. Рашетом; к 1780 году относится дебют в качестве архитектора — Н. А. Львов участвует в конкурсе по проектированию собора св. Иосифа в Моги-

леве, сама императрица отдает его решению предпочтение — 1 ноября проект утвержден; в начале 1780-х годов поэт переходит на службу в Главное управление почт, впоследствии он все большее внимание уделяет архитектурной деятельности.<sup>2</sup>

Служебное продвижение поэта фиксируется в «Месяцесловах с росписями чиновных особ» с 1777 года.<sup>3</sup> До 1779 года находим в числе титулярных советников капитана Николая Львова, с 1780-го по 1781-й его фамилия в списке секретарей 8-го класса, в 1782 году он советник посольства в Дрездене, а с 1783 года — коллежский советник при Главном почтовых дел правлении.

Основным источником сведений для всех биографов Н. А. Львова был краткий очерк его жизни, написанный Федором Петровичем Львовым (1766—1836), двоюродным братом поэта,<sup>4</sup> в начале 1820-х годов. Приведем в отрывках часть этого очерка, касающуюся интересующего нас десятилетия: «Будучи записан гвардии в Измайловский полк, он пустился в Петербург и явился в столицу в тогдашней славе дворянского сына, то есть: лепетал несколько слов французских, по-русски писать почти не умел, и тем только не дополнил славы сей, что к счастью не был богат, и, следовательно, разными прихотями избалован не был. Являсь в полк, помещен он был в бомбардирскую роту, и ходил наряду с другими учениками в полковую школу...

Тут уже острота разума его отыскала

<sup>2</sup> Будылина М. В., Брайцева О. И., Харламова А. М. Архитектор Н. А. Львов. М., 1961, с. 7—9; Никулина Н. И. Николай Львов. Л., 1971, с. 5—31; Глушков А. Н. А. Львов. М., 1980, с. 3—42.

<sup>3</sup> Месяцеслов с росписями чиновных особ на лето 1777. СПб., б. г., с. 79.

<sup>4</sup> Далее ссылаемся на рукопись (ОР ГПБ, ОРК, XVIII, ед. хр. 11, 10 л.), так как в обеих публикациях текст очерка искажен (Сын отечества, 1822, ч. LXXVII, № 17, с. 108—121; Москвитин, 1855, № 6, с. 179—185).

<sup>1</sup> ИРЛИ, 16.470/CIV620, 133 л.

ему товарищей, на него похожих. Склонности, однако упражнения составили из них кружок, в котором труды ученические, прерыв друг пред другом оказываемые, составляли молодых их лет блаженство. Тут выростали переводы; тут совершались первые опыты в стихотворстве, в рисованье, в музыке и проч.; тут же открывалось в нем врожденное чувство ко всему изящному... Из первых благотворителей его был ближний родственник г-на Львова, почтенный летам и заслугами известный действительный тайный советник Михайло Федорович Соимонов, который приютил его к себе как сына и брал его в чужие края с собою. По возвращении его, переведен он был в Коллегию иностранных дел, и тут не менее г-на Соимонова известный муж, дарованиями украшенный, и в службе высокими чинами отличный, Коллегии иностранных дел член, Петр Васильевич Бакушин, а потом князь Александр Андреевич Безбородко соделались опорамн его благосостояния... Во время служения его по дипломатической части, неоднократно посылан он был в чужие края. Он был и в Германии, и во Франции, и в Италии, и в Гишпании, везде все видел, замечал, записывал, рисовал и где только мог и имел время, везде собирал изящность, рассыпанную в наружных предметах... Через несколько времени по привязанности его к князю Безбородко перешел он служить в Санкт-Петербургский почтамт, где князь был главным начальником, и был у него при особых поручениях, которыми нередко удостоивала его императрица Екатерина.<sup>5</sup>

Статья Ф. П. Львова создана через много лет после описываемых событий, к тому же ее автор появился в Петербурге лишь в конце 1777-го—самом начале 1778 года, так как в формулярном списке указано, что он вступил «в лейб-гвардии Преображенский полк подпорщником 1778 2 генваря»,<sup>6</sup> т. е. о событиях более ранних мемуарист мог судить лишь понаслышке.

Н. А. Львов изображен его двоюродным братом в соответствии с романтическим представлением о гении, подчеркивается его феноменальная одаренность — за что бы он ни взялся, все ему удается, он шутя справляется со множеством дел: «Он любил и стихотворство, и живопись, и музыку, и архитектуру, и механику. Словом, он был любимое дитя всех художеств, всякого искусства; казалось, что время за ним не поспевало! Так быстро побеждал он грубую природу и преодолевал труды на пути знания необходимого».<sup>7</sup>

<sup>5</sup> ГИБ, ОСПК, XVIII, ед. хр. 11, л. 2, об.—6.

<sup>6</sup> ГА Калининской области, ф. 645, оп. 1, л. 2370, л. 81—82.

<sup>7</sup> ГИБ, ОСПК, XVIII, ед. хр. 11, л. 3, об.

В очерке Ф. П. Львова «Н. А. Львов» заметно влияние идей, господствовавших в эстетическом сознании начала XIX века, что особенно ощутимо, когда речь идет о заглавном герое. Это обстоятельство наряду с хронологической дистанцией от описываемого десятилетия могло послужить причиной искажения мемуаристом последовательности событий. Сразу же бросается в глаза, что А. А. Безбородко назван князем, хотя этот титул был дан ему значительно позже — при императоре Павле.

Лишь одно из утверждений Ф. П. Львова: «Михайло Федорович Соимонов... приютил его к себе как сына и брал его в чужие края с собою», — казалось, было подтверждено документально: в 1873 году Я. К. Грот опубликовал дневник И. И. Хемницера, который велся во время путешествия по Европе в 1777 году.<sup>8</sup> Однако никого из более поздних исследователей не насторожил тот факт, что первое упоминание о Н. А. Львове относится ко времени пребывания в Париже: «28 апреля я с Николаем Александровичем были во французском театре...»<sup>9</sup>

Внести уточнение позволяет интереснейший документ, выпавший из поля зрения исследователей. Это опубликованная в 1887 году в «Горном журнале» автобиография спутника И. И. Хемницера в 1776—1777 годах видного ученого и руководителя горных разработок Михайла Федоровича Соимонова (1730—1804).<sup>10</sup> Об отъезде своем на лечение за границу мемуарист писал в ней следующим образом: «Ее императорское величество, увидя Соимонова в большой еще слабости, спросить изволила, кто с ним едет, а он донес, что один, то государыня сказать созволила, что в такой слабости одному ехать не можно, и приказала взять кого из родных его, но, узнав на тот раз, что никого из родных не было, повелеть приказала отправить с ним горного майора Хемницера с жалованьем на все то время, покуда Соимонов вне государства пробудет... По сему приговору Соимонов отправился в Париж через Гагу, Роттердам, Люрден в Валансьен, лежащий на границе французов, оттуда через Брюссель, а предучи в Париж, нашел там племянника двоюродного Н. А. Львова, ныне служащего тайным советником и кавалером, возвратившегося из Гишпани, куда отправлен был с депешами от Коллегии иностранных дел, который пробыл с ним три месяца в Париже в сию бытность».<sup>11</sup>

Далее М. Ф. Соимонов описывал свое пребывание в Париже, его рассказ в

<sup>8</sup> Соч. и письма И. И. Хемницера. СПб., 1873, с. 371—394.

<sup>9</sup> Там же, с. 383.

<sup>10</sup> Соимонов М. Ф. Автобиография. — Горный журнал, 1887, октябрь, с. 147—169.

<sup>11</sup> Там же, с. 161—162.

значительной мере дополняет сведения, которые можно почерпнуть из дневника И. И. Хемницера. Об окончании же парижской «диссипации» мемуарист рассказывает несколько ниже: «По наступлении же теплого времени по письму господина Гобиуса отправился в Лейден, взяв с собою и объявленного выше племянника своего в Россию, а сам остался пользоваться водами, употребляя оные сперва из Совеньера и Тресбена, а потом из Пугагона».<sup>12</sup>

Информация, сообщаемая Соймоновым, существенно корректирует общепринятую версию о совместной поездке Хемницера, Соймонова и Львова за границу. Оказывается, встреча со Львовым состоялась в Париже, куда поэт приехал из Испании после выполнения дипломатического поручения.

Важнейшим источником знаний о поэте в 1770-е годы являются письма М. Н. Муравьева к отцу и сестре, сохранившиеся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея, до сих пор полностью не опубликованные. Их текст позволяет говорить о дружбе в течение ряда лет между двумя выдающимися деятелями русской культуры XVIII столетия, о том, например, что Н. А. Львов способствовал росту интереса своего молодого друга к итальянской литературе и театральным представлениям в доме видного сановника Петра Васильевича Бакунина-Меньшого. Приоритет введения в научный оборот этих данных принадлежит Л. И. Кулаковой, которая в своей статье «М. Н. Муравьев»<sup>13</sup> впервые коснулась неизвестной страницы взаимоотношений двух русских поэтов XVIII века. К сожалению, в сборнике «Письма русских писателей XVIII века» (1980) опубликована лишь часть писем М. Н. Муравьева (с 8 мая 1777 года по 19 марта 1778 года); как указывается Л. И. Кулаковой и В. А. Западным в комментариях, М. Н. Муравьев особенно много сообщил о Львове в 1776 году.

Биографы Н. А. Львова использовали муравьевский архив в высшей степени несистематично, поэтому необходимо сделать краткий обзор этих материалов (как опубликованных, так и оставшихся в рукописи), несколько отступив от изложения истории изучения жизни поэта.

Первое упоминание имени Н. А. Львова содержится в письме от 14 января 1776 года: М. Н. Муравьев узнает о приезде своего друга, а через несколько дней встречает его, и выясняется, что Львов живет в доме Юрия Федоровича Соймонова.<sup>14</sup>

21 января 1776 года сообщается, что Н. А. Львов живет уже в доме М. Ф.

Соймонова.<sup>15</sup> Частые встречи поэтов продолжаются до 28 февраля, когда Н. А. Львов уезжает «на четыре недели в отпуск»,<sup>16</sup> в это время он знакомится с родными М. Н. Муравьева. После его возвращения в начале апреля<sup>17</sup> встречи молодых людей возобновляются. Львов дает Муравьеву для чтения несколько итальянских книг, некоторые из которых дарит.<sup>18</sup> Позднее в дневниках Муравьев делает об этих событиях следующую запись: «Учение итальянского. 1776. Николай Александрович Львов».<sup>19</sup>

20 сентября 1776 года М. И. Муравьев пишет сестре: «Николай» Александрович на сих днях поедет в Париж, Мадрид и Лондон»,<sup>20</sup> что подтверждает указание М. Ф. Соймонова, цитированное выше.

О возвращении Н. А. Львова сообщено 7 августа 1777 года: «Дни с четыре тому назад, как я нечаянно встретился на улице с Николаем Александровичем Львовым, который тогда дни два еще, как приехал из чужих краев, живет по-прежнему у Бакунина, который в отсутствие Никиты Ивановича (Панина, — К. Л.-Д.) сам по посторонним делам своего департамента докладывает государыне».<sup>21</sup>

Осенью 1777 года Н. А. Львов работает над переводом «Инков» Ж.-Ф. Мармонтеля,<sup>22</sup> который так и не был завершен. В то же время он активно участвует в домашних спектаклях в доме П. В. Бакунина-Меньшого, куда часто приглашает М. Н. Муравьева.<sup>23</sup>

19 января 1778 года Н. А. Львов читал другу комедию «Сильф, или Мечта молодой женщины»,<sup>24</sup> высоко оцененную М. Н. Муравьевым.

После этого упоминания имени Н. А. Львова становятся все реже в письмах его друга — 8 июня 1778 года сообщается о их встрече;<sup>25</sup> к этому же времени, видимо, относится следующий отрывок в недатированном письме: «Вчера было очень хорошее утро, и мы его препроводили с Николаем Александровичем и Капнистом, молодым человеком, его приятелем, в Летнем Саду, где мы завтракали. Там заведен прекрасный кофейный дом».<sup>26</sup>

<sup>15</sup> Там же, л. 15.

<sup>16</sup> Там же, л. 21, об.

<sup>17</sup> Там же, л. 46, об.

<sup>18</sup> Там же, л. 11, 30, 50.

<sup>19</sup> ГПБ, ф. 449, ед. хр. 30, л. 12.

<sup>20</sup> ГИМ, ф. 445, ед. хр. 48, л. 117.

<sup>21</sup> Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 268.

<sup>22</sup> Там же, с. 227, 340; ГИМ, ф. 445, ед. хр. 48, л. 81.

<sup>23</sup> Письма русских писателей XVIII века, с. 328, 331, 332, 334.

<sup>24</sup> Там же, с. 341; ГПБ, ф. 499, оп. 1, ед. хр. 37, л. 37, об.

<sup>25</sup> ГИМ, ф. 445, ед. хр. 51, с. 59.

<sup>26</sup> Там же, с. 76.

<sup>12</sup> Там же, с. 163.

<sup>13</sup> Кулакова Л. И. М. Н. Муравьев. — Учен. зап. ЛГУ, 1939, № 47, серия филолог. наук, вып. 4, с. 4—42.

<sup>14</sup> ГИМ, ф. 445, ед. хр. 48, л. 9, 10.

Затем имя Н. А. Львова исчезает из писем М. Н. Муравьева к родным, но не исчезает из его дневников, хранящихся в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Записанный Н. А. Львовым в рабочую тетрадь 26 марта 1778 года стихотворный перевод оды Сафо<sup>27</sup> копируется Муравьевым,<sup>28</sup> который переводит то же самое стихотворение 30 октября 1778 года.

К началу 1780-х годов относится следующая запись в дневнике М. Н. Муравьева: «Николай Александрович Львов был при путешествии государыни в Белоруссию 1780 в мае, и в годность знаем».<sup>29</sup>

На продолжение знакомства в конце 1770-х годов указывают письма В. В. Ханынова к М. Н. Муравьеву, хранящиеся в ГИМ. 21 января 1779 года он выражает сожаление, что не знаком с Н. А. Львовым, надеется, что осуществит свое желание через П. А. Соймонова, а вскоре сообщает о состоявшейся между ним и Н. А. Львовым беседе.<sup>30</sup>

Завершая обзор, необходимо указать, что материалы архива М. Н. Муравьева при всей их важности не дают ответа на ряд вопросов, встающих перед биографом Н. А. Львова: отсутствуют сведения о начале 1770-х годов, о времени перехода в Коллегию иностранных дел и т. д.

Возвращаясь к истории изучения биографии Н. А. Львова интересующего нас периода, в первую очередь следует назвать публикацию в 1960 году А. В. Кокоревым текста рукописного журнала «Труды четырех разумных общников». На основании свидетельства Ф. П. Львова и данных о службе Н. П. Осипова в Измайловском полку, содержащихся в Русском биографическом словаре,<sup>31</sup> публикатор сделал вывод о том, что составители журнала служили в этой воинской части.<sup>32</sup>

В 1974 году появляется статья Л. И. Кулаковой «Творчество Н. А. Львова 1770-х—начала 1780-х гг.», в ней документально доказано участие Н. А. Львова в «Санкт-Петербургском вестнике», одном из наиболее интересных журналов конца 1770-х годов.<sup>33</sup>

В 1977 году вышел из печати 12-й сборник «XVIII век» со статьей И. Ф.

Мартынова «Журналст, историк и дипломат XVIII века Григорий Лсоптльевич Брайко».<sup>34</sup> Г. Л. Брайко был главным редактором «Санкт-Петербургского вестника», а его активными помощниками — Я. Б. Княжнин и Б. Ф. Арндт. Одной из тем статьи стало участие писателей львовско-державинского кружка в этом журнале; сделан ряд атрибуций, на наш взгляд убедительных; кроме того, исследователем был найден в Архиве внешней политики России указ о назначении 23 апреля 1781 года секретаря восьмого класса Николая Львова советником русского посольства в Дрездене.

Из вышеизложенного явствует, что окончательно решить вопросы, встающие перед биографом Н. А. Львова, невозможно без привлечения новых документов, расширения источниковедческой базы исследования. Архив канцелярии Измайловского полка за эти годы не сохранился, поэтому единственно возможным был поиск документов, связанных со службой П. А. Львова в Коллегии иностранных дел. В Архиве внешней политики России нам удалось найти ряд таких материалов, среди них нужно в первую очередь назвать копию служебного аттестата, выданного посту при переходе на службу в Главное управление почт:<sup>35</sup> «1782 года апреля в 22. По указу ее императорского величества в Коллегии иностранных дел определено: дать находившемуся в ведомстве оной Коллегии посольства советнику Николаю Львову по прошению его аттестат следующего содержания:

#### Аттестат

1782 года апреля в 30. По указу ее императорского величества и по определению Государственной Коллегии иностранных дел дан сей аттестат находившемуся в ведомстве оной Коллегии посольства советнику Николаю Львову в том, что в службе состоит с 1759-го году, сначала в лейб-гвардии Преображенском полку, где произошел от бомбардир до сержантов, и находился при означенной Коллегии в курьерской должности, откуда неоднократно посылан был в разные иностранные государства к обретающимся там ее императорского величества министрам, и возложенные на него комиссии исправлял с отличным усердием и исправностью, 1775 года 10 июля на поднесепном от означенного полку ее императорскому величеству докладе и на оной последовавшей высочайшею ее величества конфирмациею пожалован он Львов с прочими от армии капитаном и 1776-го 5 июня по прошению его, а по определению помянутой

<sup>27</sup> ИРЛИ, 16.470/СIV б. 20, л. 39.

<sup>28</sup> ГПБ, ф. 499, ед. хр. 37, л. 26.

<sup>29</sup> Там же, ед. хр. 30, л. 47.

<sup>30</sup> ГИМ, ф. 445, ед. хр. 232, л. 1, об. 5, об.

<sup>31</sup> Русский биографический словарь. СПб., 1914, т. Лабзина—Лященко, с. 778.

<sup>32</sup> Кокорев А. В. «Труды разумных общников». — Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской, т. 86, 1960, вып. 7, с. 4—5.

<sup>33</sup> Проблемы изучения русской литературы XVIII века, вып. 1. Л., 1974, с. 45—54.

<sup>34</sup> XVIII век, сб. 12, Л., 1977, с. 225—241.

<sup>35</sup> АВПр, ф. ВКД, оп. 2/6, ед. хр. 1563, л. 4—5, об.

Коллегии в рассуждении знания его ита-  
лианского, французского и немецкого  
языков принят в оную тем чином для  
употребления его на оных языках в пе-  
реводах и других делах; по его способ-  
ностям 1779 года 5 мая при издании но-  
вого Коллегии Иностранных дел стала  
высочайшим имянным ее императорско-  
го величества указом пожалован в сек-  
ретари осмого класса па ваканцию того  
чина при оной Коллегии, 1781-го апреля  
21-го высочайшим же имянным ее импе-  
раторского величества указом пожалован  
в чине посольства советника к дрезден-  
скому министерскому посту, по высочай-  
шей ее величества воле он остался здесь  
и был употреблен при Кабинете, а ми-  
нувшего марта 10-го дня по высочайше-  
му же имянному ее императорского ве-  
лчества указу определен в Главное поч-  
товых дел правление на место советника.  
Во все время бытности своей в ведомстве  
Коллегии поручаемые ему дела и долж-  
ности исправлял при благородном по-  
ведении с отличною точностию, таковым  
же прилежанием и похвальным усерди-  
ем, во свидетельство чего и даю ему по  
прошению его настоящий аттестат:

Подписано по сему:

граф Иван Остерман  
Александр Безбородко  
Петр Бакунин.

Первым моим побуждением после  
обнаружения этого документа было про-  
верить данные о службе поэта в Пре-  
ображенском полку, противоречащие  
версии Ф. П. Львова. Канцелярия этой  
воинской части, в отличие от Измайлов-  
ского полка, сохранилась в Центральном  
государственном военно-историческом  
архиве в Москве. Ожидания подтверди-  
лись — в списке сержантов Преображен-  
ского полка, представленных к произ-  
воджению, упомянут Николай Львов,  
10 июля 1775 года он был определен в  
армию.<sup>36</sup>

В списке штаб-, обер- и унтер-офице-  
ров Преображенского полка за 1775 год  
находим следующие данные о сержанте  
от бомбардир Николае Львова: начало  
службы — январь 1759 года, служба в  
гвардии с 1770 года, в чине сержанта  
с 23 июля 1774 года, имеет 70 душ кре-  
стьян.<sup>37</sup> В этом же документе указаны  
сведения о преобразенцах Гавриле Дер-  
жавине, Николае, Петре, Андрее и Ва-  
силие Капнистах, что позволяет отнести  
их первое знакомство с Н. А. Львовым  
к началу 1770-х годов.

Очень важной представляется дата  
начала службы в гвардии (1770 год),  
в связи с тем, что в 1950-х годах  
Н. И. Никулиной в ходе работы над  
диссертацией удалось найти черновик  
начала автобиографической записки

Н. А. Львова, где писалось: «В действительной службе я с 1769 года».<sup>38</sup> Видимо, 1769 годом следует датировать приезд в Петербург и хлопоты по вступлению в действительную службу. Записка составлялась в начале 1800-х годов, и потому подобная aberrация весьма правдоподобна.

Кроме того, в Архиве внешней политики России находится ряд материалов, позволяющих документировать службу Н. А. Львова в качестве курьера. Из «Реестра находившихся при Коллегии иностранных дел курьерам» узнаем, что для такого рода поручений определен по именному указу «с 29 марта 1773 <года> бомбардир-роты сержант Николай Львов», а также то, что он «живет в доме Михайлы Васильевича Бакунина».<sup>39</sup>

В ведомостях денег, выдававшихся курьерам Коллегии иностранных дел, содержатся следующие записи:

«28 марта 1774 в Гамбург лейб-гвардии сержанту Николаю Львову в оба пути 300 <рублей>».<sup>40</sup>

«10 ноября 1775 отправленному в Копенгаген курьером капитану Львову с возвратом 200 <рублей>».<sup>41</sup>

«<Видимо, декабрь> 1775 капитану Львову 200 сверх оных выданных ему 200 червонных, по возвращении его выдано еще за излишнюю поездку в Гамбург и Эттин».<sup>42</sup>

После возвращения из последней поездки Н. А. Львов встретился в середине января 1776 года с М. Н. Муравьевым, как нам указывалось выше.

Собственноручной росписью зафиксировано получение лишь одной депеши: «1775-го года ноября 14 числа принял я, нижеподписавшийся, из Канцелярии его сиятельства графа Никиты Ивановича (Панина, — К. Л.-Д.) одну пакету для доставления в Ейтин министру Местмахеру, а другой в Копенгаген чрезвычайному посланнику Сакену, в чем и расписался Николай Львов».<sup>43</sup>

Окончание службы в качестве курьера стало причиной следующего прошения Н. А. Львова (сохранился автограф):

«В Государственную Коллегию про-  
срашних дел от капитана Николая Льво-  
ва

#### Покорнейшее доношение

С 1773-го года находился я в Государственной Иностранной Коллегии при отправлении курьерской должности, ныне ж 12-го числа июля месяца, будучи

<sup>38</sup> Там же, ф. 37, оп. 11, д. 120, л. 101, об.

<sup>39</sup> АВПР, ф. ВКД, д. 84, л. 161, об.

<sup>40</sup> Там же, д. 5684, л. 26, об.; л. 39, об.

<sup>41</sup> Там же, л. 28, об.

<sup>42</sup> Там же, л. 37, об.

<sup>43</sup> Там же, д. 5829, л. 20.

<sup>36</sup> ЦГВИА, ф. 2583, ед. хр. 569, л. 91.

<sup>37</sup> Там же, ед. хр. 577, л. 25, об. — 26.

из гвардии Преображенского полку выпущен и пожалован от армии капитаном, службу мою при оной Коллегии продолжать более не смогу. А как прежде меня вышедшие из сей должности получали денежное награждение, то и я покорнейше прошу Государственную иностранных дел Коллегию за мою службу, которую я отправлял исправно, приказать оное и мне выдать. К сему доношению капитан Николаи Львов рuku приложил.

Июля 31 дня  
1775 года.<sup>44</sup>

К сожалению, документов, которые позволили бы восстановить круг обязанностей, возложенных на Н. А. Львова в конце 1770-х годов в Коллегии иностранных дел, обнаружить не удалось. Однако вряд ли можно сомневаться, что поездка Н. А. Львова за границу в Лондон, Мадрид и Париж в 1776—1777 годах была вызвана дипломатическим поручением. Найденные материалы не дают оснований не доверять свидетельству М. Ф. Соймонова, скорее, наоборот.

Что касается начала 1780-х годов, то в работах биографов Н. А. Львова установлено, что в апреле 1780 года поэт отправился в свите Екатерины II в Могилев, где 30 мая как автор проекта участвовал в торжественной церемонии закладки фундамента собора св. Иосифа, возведение которого должно было увековечить встречу русской царицы и австрийского императора. По всей видимости, вместе с двором молодой архитектор возвратился в столицу, откуда в декабре того же года был послан опять в Могилев, чтобы «удобство храма с местоположением согласить».<sup>45</sup>

Дату возвращения Н. А. Львова из Могилева точно установить невозможно, так как следующее по времени появление его имени в документах Коллегии иностранных дел относится ко второй половине марта 1781 года, когда своей подписью Н. А. Львов подтвердил знакомство с «Определением Коллегии иностранных дел, от 17 марта 1781 года учиненным, о запрещении знакомства служащих той коллегии с чужестранными министрами и повершенными в делах».<sup>46</sup>

23 апреля 1781 года, судя по копии указа<sup>47</sup> (а не 21-го, как проставлено в аттестате), состоялось назначение Н. А. Львова советником посольства в Дрездене, вскоре затем отмененное. Вместо этого поэт командирован в Италию, как о том свидетельствуют «Путевые запи-

ски», хранящиеся в рукописном отделе Пушкинского Дома, на их первом листе читаем: «В Ливурну в другой раз приехал 1781-го года, июля 7-го».<sup>48</sup> Итальянская поездка и ее отражение в дневнике — тема отдельного исследования, поэтому мы ограничимся перечислением городов, в которых побывал поэт: Пиза, Флоренция, Болонья, Венеция; на обратном пути Н. А. Львов приехал в Вену 29 июля 1781 года, где 3 августа познакомился с П. Метастазо.<sup>49</sup>

В Архиве внешней политики России удалось найти документ, фиксирующий первую служебную командировку Н. А. Львова после его возвращения из-за границы. Это копия с копии распоряжения И. А. Остермана от 7 сентября 1781 года:

«Советника посольства Н. А. Львова по возвращении его из Италии ее императорское величество высочайше указать соизволили отправить в Могилев, где присутствие его нужно для исполнения плана им сочиненного церкви Святого Иосифа, на память известного знаменитого свидания заложеной, и покуда он при сей комиссии останется, счислить его на определенном ему месте советника посольства

подлинный подписал по сему  
граф Иван Остерман  
с копиею читал регистратор  
Петр Алсуфьев

Сентября 7-го дня  
1781 года».<sup>50</sup>

Краткое служебное распоряжение убедительно свидетельствует, что в начале 1780-х годов Н. А. Львов, обремененный заботами по возведению собора св. Иосифа в Могилеве, лишь числился при Коллегии иностранных дел. Возможно, он выполнял и другие поручения, какие именно, пока установить не удалось.

10 марта 1782 года Н. А. Львов был определен в Главное почтовых дел правление,<sup>51</sup> служба в котором открывает следующий этап биографии поэта и архитектора.

В ходе поисков нами установлено, сколь велико было жalousьство Н. А. Львова во время службы в Коллегии иностранных дел. В переводческой должности ему был назначен годовой оклад в 400 рублей, как явствует из ведомостей за 1778 год.<sup>52</sup>

С 5 мая 1779 года в качестве секретаря майорского ранга и вплоть до окончания службы в Коллегии он получал 700 рублей в год.<sup>53</sup> Столь значительное увеличение оклада, как и вообще

<sup>44</sup> Там же, д. 5685, л. 246.

<sup>45</sup> Будылина М. В., Брайцева О. И., Харламова А. М. Указ. соч., с. 119.

<sup>46</sup> АВПР, ф. ВКД, оп. 2/6, д. 5002, л. 221.

<sup>47</sup> Там же, д. 5004, л. 237.

<sup>48</sup> ИРЛИ, Р 1, оп. 15, ед. хр. 166, л. 1.

<sup>49</sup> Там же, л. 2, 14, 54, 62, 65, 79.

<sup>50</sup> АВПР, ф. ВКД, оп. 2/6, д. 268, л. 109.

<sup>51</sup> Там же, д. 5506, л. 2; д. 1792, л. 5.

<sup>52</sup> Там же, д. 2914, л. 49, об.

<sup>53</sup> Там же, л. 63.

быстрое продвижение по службе, следует, видимо, отнести на счет протекции П. В. Бакунина-Меньшого.

Для сравнения укажем, сколько платили пекоторым чиновникам Коллегии иностранных дел в 1779 году: управляющий по иностранным делам министр Н. И. Папин имел годовой оклад в 7000 рублей и 1200 рублей столовых; вице-канцлер И. А. Остерман — 6000 жалования и 600 столовых; братья Бакунины — по 3000 рублей; Д. И. Фонвизин и А. И. Морков — по 1200; секретарь десятого класса Григорий Брайко — 600 рублей в год.<sup>54</sup> Из «Реестра с жалованьем за 1780 год» узнаем, что капитанского ранга секретарь Василий Рубанов получал 550 рублей.<sup>55</sup>

Обнаруженные материалы позволяют представить ранний период биографии Н. А. Львова не как собрание отдельных фактов, а как цепь взаимосвязанных событий; однако и теперь остается много лакун, заполнить которые невозможно без дальнейших архивных разысканий. В свете новых данных необходимо также пересмотр сложившихся представлений о творческом пути поэта — в первую очередь это касается рукописного журнала «Труды четырех разумных общников», составлявшегося Н. А. Львовым совместно с Николаем и Петром Ермолаевыми, а также с известным впоследствии литератором Н. П. Осиповым (1751—1799). Среди стихов и переводов, принадлежащих молодым людям, наибольший интерес представляет стихотворение Н. А. Львова, написанное, видимо, под арестом. В нем перечислены фамилии соучеников по военной школе (Сумароков, Харламов, Навакшенов, Ермолаев, Аплечев),<sup>56</sup> что, возможно, позволило со временем выяснить, где происходил выпуск рукописного журнала. Отметим сразу, что в канцелярии Преображенского полка лиц с подобными фамилиями обнаружить не удалось.<sup>57</sup>

Хорошо известна лишь биография Н. П. Осипова. По данным «Русского биографического словаря» в 1770-х годах он служил в Измайловском полку. Связи друзей молодости не прерывались: на протяжении всей жизни: в 1791 году Осипов выпустил «Подробный словарь для сельских и городских охотников и любителей ботанического и увеселительного садоводства», который открывало следующее посвящение:

«Его высокоородию милостивому государю Николаю Александровичу Львову Милостивый Государь!

Удостоите принять благосклонно слабую сию жертву моего к Вам почтения,

<sup>54</sup> Там же, л. 83—86.

<sup>55</sup> Там же, л. 107.

<sup>56</sup> Кокорев А. В. Указ. соч., с. 7.

<sup>57</sup> См.: ЦГВИА, ф. 2583, оп. 1, д. 554, 577, 578.

усердия и благодарности, кои я считаю себя Вам навсегда обязанным. Вы еще в юношеских забавах посеяли во мне нечувствительным образом склонность угаживаться в переводах, что теперь служит для меня не только приятным препровождением времени, но некоторым образом составляет большую часть моего содержания и доходов...»<sup>58</sup>

О Петре и Николае Ермолаевых ничего не известно. В первой части журнала «Санкт-Петербургский вестник» за 1778 год нами найдено указание, что в лейб-гвардии Измайловском полку указом от 7 января пожалованы «в армию из сержантов... Николай Ермолаев, Петр Ермолаев... в капитаны».<sup>59</sup> Учитывая скорость чиновпроизводства, можно с большой долей уверенности предположить, что это участники «Трудов четырех разумных общников».

Все вышеуказанное позволяет предположить, что школа (очевидно, бомбардирская), неоднократно упоминаемая в стихах молодых людей, объединяла солдат разных гвардейских полков. Однако никаких материалов о подобном учебном заведении обнаружить в ЦГВИА не удалось.

В заключение статьи хотелось бы прокомментировать указание в канцелярии Преображенского полка о том, что у Н. А. Львова было 70 душ крестьян. В «Экономических примечаниях по Новоторжскому уезду» (именно здесь были его владения) мы находим сведения, что Н. А. Львову принадлежали пустоши Заходец (169 десятин 455 сажень; совместно с матерью и сестрами Маршей и Елизаветой) и Пусторадово (137 десятин 1390 сажень; совместно с матерью).<sup>60</sup> По всей видимости, в полку поэтом было указано родовое село Черенчицы, числившееся за его матерью Прасковьей Федоровной Львовой (18 дворов, 60 душ мужского пола, господский деревянный дом и т. д.).<sup>61</sup> Причем количество душ было преувеличено. В «Экономических примечаниях» отражены итоги межевания Тверской губернии, состоявшегося в 1775—1781 годах, поэтому приведенные данные относятся к интересующему нас отрезку биографии Н. А. Львова.<sup>62</sup>

Кроме того, матери поэта принадлежали следующие земельные угодья в Новоторжском уезде: пожни Подборница (1 десятина 1020 сажень) и Лежница

<sup>58</sup> Подробный словарь... собрано... Николаем Осиповым. СПб., 1791, ч. I, с. 1.

<sup>59</sup> Санкт-Петербургский вестник, 1778, январь, с. 86.

<sup>60</sup> ЦГАДА, ф. 1355, оп. 1, ед. хр. 36/1712, л. 83, об., 92.

<sup>61</sup> Там же, л. 93.

<sup>62</sup> Милос Л. В. Исследования об экономических примечаниях. М., 1965, с. 310.

(3 десятины 496 саженьей); а также в совместном владении с соседями: пожни Сытинуха и Плотинуха (вместе 4 десятины 1237 саженьей), Венюха (4 десятины 1938 саженьей), Смоличевка (6 десятин 20 саженьей), Богданушка (2 десятины 1500 саженьей), полпустошь Баклапиха (13 десятин 1358 саженьей).<sup>63</sup>

Как мы видим, семья, в которой вырос Н. А. Львов, располагала более чем скромным достатком (не случайно столь

<sup>63</sup> ЦГАДА, ф. 1355, оп. 1, ед. хр. 36/1712, л. 56, об.; 58, 93, 57, об.; 90, об.

велико число родственников и знакомых, у которых жил поэт в 1770-е годы, — Ю. Ф. и М. Ф. Соймоновы, М. В. и П. В. Бакунины), что объясняет исключительное значение государственной службы для поэта. Как представляется, без детального знания именно этого аспекта биографии подробное описание жизни выдающегося литератора и архитектора XVIII века невозможно. поэтому настоятельная задача, стоящая перед исследователями, — введение в научный оборот новых материалов, документирующих служебные поручения Н. А. Львова в 1780—1790-е годы.

А. В. Успенская

## МЕСТО АНТИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ А. А. ФЕТА

Интерес к классической древности зародился у Фета, скорее всего, еще в гимназические годы; именно в период обучения в частной классической гимназии Крюммера в лифляндском городе Верро (ныне — Выру) Фет получил основательное знание древних языков, особенно латыни. В 1838 году он поступил на философский факультет Московского университета, где углубил и расширил знакомство с античностью. К этому же времени относятся и его первые поэтические опыты, в том числе в антологическом роде. Важным этапом знакомства с античностью явилось для Фета творчество Гете. В таких антологических стихотворениях Фета, как «Нептуну Леверье» или «Когда петух...», влияние Гете выдает и своеобразный вольный стих, отсутствие рифмы, и более прямые соответствия, напоминающие оды Гете эпохи «бури и натиска». Влияние Гете на антологическую поэзию Фета единогласно признавали все современники, быть может даже несколько преувеличивая его. Рецензент «Отечественных записок» П. Кудрявцев писал о первом сборнике Фета «Лирический пантеон»: «Для нас всего отраднее и утешительнее в этом случае знакомство, и как кажется с первого взгляда, знакомство очень близкое и родственное автора этих стихотворений с древней лирической музой, и потом — с вдохновенною музою Гете, которая в спокойной величии часто так близко подходит к своей, уже отягченной годами, но вечно юной подруге. Переводы из Гете и Горация служат тому доказательством».<sup>1</sup> Имя Горация названо рядом с Гете не случайно. Не менее важ-

ное значение для творческого развития Фета имело серьезное, ничем не опосредованное знакомство с самой «древней музой».

Первое место среди античных авторов, повлиявших на творческое становление Фета, принадлежит бесспорно Горацию. Уже на втором курсе Фет пробовал, и очень успешно, переводить его. Позднее Фет вспоминал, что его профессор, Дмитрий Львович Крюков, читавший с ними Горация, сделал на занятии несколько переводов, что произвело на Фета большое впечатление, и вскоре он сам перевел 14-ю оду I книги, озаглавленную им «К Республике». Профессора — Д. Л. Крюков, С. П. Шевырев, И. И. Давыдов — одобрили первые опыты поэта. Для самого Фета эти переводы стояли в одном ряду с его оригинальным творчеством: в 1840 году он помещает в «Лирическом пантеоне» оды 5-ю и 25-ю I книги Горация. В 1844 году С. П. Шевырев печатает в «Москвитянине» целую подборку од из I книги, написав в предисловии: «Мы до сих пор подобного перевода еще не имели... г. Фет в своем переводе воспроизводит нам дух поэта римского — и передает его с близостью неизмерною». В 1849 году в «Москвитянине» напечатаны еще две оды, 10-я и 14-я, из II книги Горация. В следующие годы Фет, вообще отошедший от литературы, мало работал над Горацием. Однако в 1853 году, во время пребывания в водолечебнице в Лопухинке, Фет все-таки закончил перевод всех четырех книг од. В 1856 году этот перевод был напечатан в «Отечественных записках» (т. 104—107). На следующий год в «Библиотеке для чтения» выходит «Песнь столетию», а в 1863 году — 11-й эпод.

Интерес к творчеству Горация был тесно связан с идейно-философскими

<sup>1</sup> Отечественные записки, 1840, № 12, отд. 6, с. 40—42.

воззрениями Фета, которому были близки горацянские мотивы, его философия «золотой середины». Но тема эта достаточно обширна и заслуживает особого рассмотрения.

Глубокий интерес к античной литературе Фет сохранил на всю жизнь. Им были переведены (а перевод — лучшая форма знакомства с иноязычным произведением, считал Фет) весь Гораций, сатиры Ювенала, весь Катулл, элегии Тибулла, Проперция, «Метаморфозы», «Тристии» и некоторые из «Любовных элегий» Овидия, почти весь (за исключением некоторых эпиграмм) Марциалл, отрывки из Лукреция, «Энеида» Вергилия, сатиры Персия и комедия Плавта «Горшок».

Таким образом, огромная работа над переводами из античной литературы все время шла параллельно с оригинальным творчеством и, конечно, оказывала на него определенное влияние, причем не только на те произведения, которые сам Фет выделит в раздел «Антологические стихотворения». Многие стихотворения, собранные под рубриками «Элегии и думы» и «Вечера и ночи», несут несомненные следы влияния античности, хотя на первый взгляд это может быть не так очевидно.

Важно отметить, что связь поэзии Фета с его переводами из Горация — одновременно обращение к поэтическому опыту античной Греции. Гораций не даром видел свою высшую заслугу в том, что он «... Princeps Aelium carmen ad Italos deduxisse modos» («несет эолийскую первым переложил на италийский лад»). В сущности, Гораций сам по себе представляет прекрасную поэтическую антологию античной лирики. Античность оказала влияние на творчество Фета не только через Горация, бывшего спутником Фета с юпитеских лет и до конца жизни (Пушкинская премия 1884 года за первый в России полный перевод Горация). Заметно также если не влияние, то какая-то перекличка мотивов, образов, композиции, построения лирики Фета с творчеством Овидия, Катулла, поэтов Греческой Антологии.

Необходимо заметить следующее. Античность в традиционном понимании человека XIX века как бы распадалась надвое: мир Греции — мир искусства, гармонии, красоты; и мир Рима — закона и разума во всех его взлетах и падениях. Такое понимание античности было характерно и для Пушкина. «Свободой Рим возрос, а рабством погублен», — блестяще формулировал Пушкин еще в Лицее. Рим в его поэтике был символом политики, героизма, тираноборства, угнетения и невинного страдания. Эти «римские» мотивы остались чуждыми творчеству Фета (за исключением достаточно традиционных стихотворений «Италия» и «На развалинах цезарских палат»). Греция была ему ближе по духу.

Однако знакомство с Грецией, и в частности с Греческой Антологией, было в достаточной мере опосредованным. Хотя Фет знал греческий язык, но далеко не так свободно, как латынь (из-за двойки на экзамене по греческому языку он даже остался на второй год в университете), во всяком случае, оставив огромное число переводов латинских авторов, из греков он перевел эпиграмму из Адриана и одну из анакреонтических песен.

Как бы то ни было, Фет искал и находил Древнюю Грецию отчасти в творчестве Гете, а в основном — у римских поэтов. При этом «Рим», т. е. комплекс идей, составлявших для него это понятие, был не просто чужд ему, но враждебен. Так, он писал Тургеневу: «...разругал Древний Рим, т. е. римлян. Какие бессердечные, жестокие, необразованные мучители тогдашнего мира — что ни эпизод, то гадость. Самая „virtus“ их такая казарменная, их любовь к отечеству такая узкая. Сципионы, Катоны при молодцеватости ужасные звери, а первый даже заматовый казенные деньги губернатор, грубый обжора... Иерусалим горит, Греция, куда они сами ездят учиться, распотана, а они со всех концов света бичами и палками стонуют золото и мраморы для чепуховых подражаний грекам и строят круглый пантеон, к которому прищепнули четырехугольный ящик!»<sup>2</sup>

О Горации же Фет писал так: «Я изучал Горация, я любовался правдиво-слабой, жирной эпикурейской фигурой, либерально-набожным сластолюбцем, паполненным преданиями... того героического строя, который двигал всем классическим миром...»<sup>3</sup> — т. е. и в Горации, не слышном симпатичном по-человечески римлянином, находит он некий стержень — возвышенно-героический дух Греции, ее предания, обремененные в безукоризненную поэтическую форму (и любуются, конечно, им, а не «жирной фигурой» придворного поэта).

Рассмотрим, как отразилась эта римская поэзия, и даже шире — античный мир, в оригинальном творчестве Фета.

Жанр антологической поэзии имел к 40-м годам XIX века такое распространение в русской поэзии, что найти в нем свое лицо было не просто. Именно к этому времени относятся первые опыты Фета в антологическом роде. Фет пробовал разные грани антологического жанра, причем не последовательно, а одновременно экспериментировал сразу в нескольких направлениях. Одним из таких направлений представляется группа элегий: «Право, от полной души я

<sup>2</sup> Письмо к Тургеневу от 18 янв. 1858 г. — В кн.: Фет А. А. Собр. соч.: В 2-х т. М., 1982, т. 2, с. 200—201.

<sup>3</sup> Письмо к Л. Толстому от 1 янв. 1870 г. — Там же, с. 229.

благодарен соседу...» (1842), «Скучно мне вечно болтать о том, что высоко, прекрасно...» (1842), «Друг мой, бесильные слова, одни поцелуй всеильные...» (1842), «Рад я дождю, от него тучнее мягкое поле...» (1842), «Слышишь ли ты, как шумит крылами угольное стадо?...» (1842), «Лозы мои под окном разрослись живописно и даже...» (1847), «Странное чувство какое-то в несколько дней овладело...» (1847), «Целый заставила день меня промечтать ты сегодня...» (1857).

Эти стихотворения и по размеру (элегический дистих), и по способу поэтического видения мира принадлежат жанру антологической поэзии. Атрибутов античности в них практически нет, сюжеты оригинальные, и найти в античной лирике какие-либо определенные соответствия для них было бы трудно. Это и не удивительно: Фет следует здесь не за античными образцами, а скорее, за антологией нового времени. Аполлон Григорьев писал о стихотворении «Лозы мои под окном...»: «Кто, кроме даровитого ученика Гете, мог написать подобное стихотворение?»<sup>4</sup> Однако не стоило бы преувеличивать непосредственное влияние «Римских элегий» Гете. Скорее, речь может идти о чем-то более общем — о восприятии античности в духе нового времени как мира гармоничного, легкого, изысканного: «...спокойное, отрешенное от страстей, „гармонически“ уравновешенное, созерцательное отношение художника к миру. Место поэтического экстаза занимает холодноватая рассудочность, определяющая рациональную, ясную композицию произведений, „пластический“ стиль. Выдвигаются описательные задачи: описания статуй, картин становятся любимыми темами. Существенно, что и люди описываются как статуи, и жизненные темы даются в статике картин»<sup>5</sup> Действительно, в названных стихотворениях сильна риторика: чувства декларируются, а не изображаются, причем декларация эта носит достаточно традиционный характер: «...любить — состояние, еще и какое! Чужое, полное нег!.. Дай бог нам вечно любить!»; «Друг мой! Бесильные слова, — один поцелуй всеильный...»; «...губки и бледные ручки Так холодны, что нельзя не согреть их своими устами»<sup>6</sup>.

Жизненные сцены статичны. В стихотворении «Странное чувство какое-то...» образ девушки напоминает картину, она могла бы называться, скажем, «Девушка с пальцами». Все описание подчинено стремлению красиво расположить

живописные детали: «Всю озирю тебя, всю — от пробора волос До перекладины пялец, где вольно, легко и уютно, Складки раздвинув, прильнул маленькой ножки носок». Поднявшись обаянно застывшей гармонии, «застывает» и лирический герой: «...уж не в силах ничем я шевельнуться...» (с. 5).

В стихотворении «Целый заставила день...» фигуры девушки и мальчика тоже неподвижны, они как бы застыли в красивых позах:

Златоволосый, как ты, на твоих он  
играет коленях,  
В вожжи твой пояс цветной сияясь,  
шалун, обратись.  
Крепко сжимая концы ленты одною  
ручонкой,  
Веткой левкая тебя хочет ударить  
грудой.

Это описание настолько антологично, что Фет тут же сам отсылает нас к его отдаленному первоисточнику:

О Афродита! Не твой ли здесь шутит  
кудрявый упрямец?

■ ■ ■ ■ ■  
Мне еще памятен образ Амура и нежной  
Психей!

(с. 10)

Элегии Фета и по композиции напоминают античную лирику. Почти все они имеют обращение к кому-нибудь: «Друг мой!» или, например, «Ты... Пловий Юштер» и т. п. Такие обязательные обращения характерны, например, для оды Горация.

В начале элегий, как правило, формулируется основная идея, потом идут развернутые доказательства, примеры, отвлеченные рассуждения, затем вывод, примиряющий крайности, иногда с оттенком дидактики.

Природа, наряду с любовью, — важнейшая тема творчества зрелого Фета, необычайно тонко чувствовавшего ее. В антологических элегиях такого типа, однако, природа дана весьма условно, она находится где-то на периферии поэтического зрения, и картины ее почти не выходят за рамки привычного поэтического антуража: «утренний запах цветов, птичек звонкие песни» (с. 5), «листья в глазах да цветы» (с. 10), «расцветающий сад» (с. 119) и т. д. И разросшиеся лозы за окном (с. 7) — то ли реальная примета юга, то ли литературный штамп. Это не удивительно: античная поэзия довольно редко дает пейзажи, но чаще — эмоции и рассуждения. Интересно, что позже, когда пейзажная лирика займет в творчестве Фета большое место, картины русской природы даже «попадут» в переводы. Строки Горация: «Iam nec prata rigent, nec fluvii strepunt hiberna nive turgidi» (IV, 12) («Уже не цепенеют поля, и реки шумят,

<sup>4</sup> Отечественные записки, 1850, № 2, отд. 5, с. 67.

<sup>5</sup> Бухштаб В. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. Л., 1974, с. 70—71.

<sup>6</sup> Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1937, с. 5, 122, 123 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

вздувшиеся от зимнего снега») Фет переводит так: «Оттаяли поля, и речки на просторе без снегу тихая сияет полоса». Это уже совсем другая речка, и сам пейзаж, скорее, средней полосы России.

Группа стихотворений, традиционно называемых «ночными элегиями», показывает еще одно направление поисков Фета в русле антологической поэзии. Такие стихотворения, как «Долго еще прогорит Вespera скромная лампа» (1842), «Каждое чувство бывает понятней мне ночью, и каждый...» (1843), «Любо мне в комнате ночью стоять у окошка в потемках...» (1847), находятся как бы на рубеже между антологическими стихотворениями и оригинальным творчеством поэта.

С антологией эти элегии, кроме античного размера, роднит еще многое: это и камерность обстановки (комната, ложе), и ограниченность предметных деталей, и внешняя статичность лирического «я», находящегося в медитативном состоянии.

В Греческой Антологии ночь вызывает, как правило, совершенно определенный круг ассоциаций и образов. Прежде всего, здесь нет места полутонам, чему-то зыбкому, неясному, почти нет и описаний природы. Звезды, луна — «Вespera скромная лампа», ложе, лампада, появившись в элегии, сразу же провоцируют и основную тему — любовь, ее превратности, взмены, горе несчастного влюбленного. Лампада — его собеседник и одновременно некий всевидящий символ ночи, наблюдающий за людьми, в частности за неверной возлюбленной. Так, например, звучит эта тема у Мелеагра:

Мать небожителей, Ночь! Об одном я  
тебя умоляю,  
Лишь об одном я прошу, спутница  
наших пиров:  
Если другой кто-нибудь обладает  
чарующим телом  
Гелиодоры моей, с ней ее ложе деля,  
О, да погаснет их лампа, и пусть, как  
Эндимион, вяло  
И неподвижно лежит он у нее на груди!

или:

Звезды и месяц, всегда так чудесно  
свелящий влюбленным!  
Ночь и блуждавший ночных маленький  
спутник-игрун!..<sup>7</sup>

Лампада (свеча), луна, одинокое ложе — все эти детали «ночных элегий» Фета несомненно имеют своим первоисточником Греческую Антологию. Но образы конкретны, чувственны, они буквально вызывают зрительные, звуковые, даже обонятельные ощущения. При этом в них нет декларативности, не-

сколько отвлеченной, рассудочной риторики древней поэзии.

В комнату звуки плывут; я предаюсь им  
вполне.  
Сердце в них находило всегда какую-то  
влагу,  
Точно как будто росой ночи омыты они.  
(с. 124)

Само время суток — ночь — углубляет импрессионистские тенденции Фета, элегия передает мельчайшие оттенки личных переживаний, настроений и ощущений.

Странно, что ухо в ту пору как будто  
не слушая слышит;  
В мыслях иное совсем, думы — волна  
за волной,  
А между тем еще глубже сокрытая сила  
объемлет  
Лампу, и звуки, и ночь, их сочетавши  
в одно.  
(с. 124)

В этих элегиях Фет уже несколько отошел от традиционного антологического жанра. В них явственно проступают черты иной художественной системы, той, которая главенствует в цикле «Мелодий», — неясность, иррациональность, неопределенность.

Есть у Фета группа стихотворений, по внешнему виду совершенно оригинальных. Фет не включал их в состав раздела «Антологические стихотворения», да и размер их — шестистопный ямб, хотя и пришел из античности, но был к этому времени достаточно освоен русской поэзией, чтобы не вызывать прямых ассоциаций с антологией. Поэтому и в дальнейшем никто не пытался выявить их связь с античностью. Но в этих стихотворениях при внимательном чтении явственно прослеживается некое подводное течение, позволяющее утверждать, что такая связь существует. Причем возникает впечатление, что влияние античной поэзии здесь не опосредовано позднейшими подражаниями антологии.

Рассмотрим стихотворение «Я знаю, гордая, ты любишь самовластье...» (1847). Античные реалии здесь практически отсутствуют, кроме строки: «Через всю толпу рабов у пышной колесницы...» и последних строк:

Он скован, — ты поешь, ты блещешь  
красотою,  
Для взоров божество, — сирена под  
водою.  
(с. 6)

Но в этом стихотворении так явственно звучат мотивы античности, особенно характерные для од Горация (конкретно — оды 5-я и 8-я I книги), что можно

<sup>7</sup> Греческая эпиграмма. М., 1960, с. 161, 158 (перевод Л. Блуменау).

говорить о сознательной ориентации Фета на жанр «подражания древним».

Гордая, своеправная красавица, губящая юношу: «Lydia, dic per omnis te deos oro, Sybarin cur proferes amando perdere...» (I, 8) («Лидия, скажи ради всех богов, зачем Сибарипа спешить любовью погубить?»).

Сравним:

Я знаю, гордая, ты любишь самовластье;  
Тебя в ревнивом сне томит чужое  
счастье;  
Свободы смелый лик и томный взор  
любви  
Маяят наперерыв желанья твои.

И далее: «Я... разгадал с тех пор, Где жертву новую твой выбирает взор. Несчастный юноша!» и т. д. (с. 5). Затем развертывается целый комплекс мотивов и образов, очень характерный для античной антологии: чистый, доверчивый юноша и своеправная красавица, коварная и переменчивая, как море; любовь к ней захватывает юношу внезапно, как безмятежно плывущего в челноке по спокойному морю шторм.

Есть у Фета и не совсем понятный образ — «берега, манящие соблазном», который расшифровывается лишь в этой условной системе: в шторм скалстый берег таит смертельную опасность для корабля. Для юноши, захваченного страстью, любовью, манящая его, заставляющая отклониться от своего пути означает гибель. Эти две линии — пловец в бурном море и влюбленный юноша — интересно переплетаются в 5-й оде I книги Горация:

heu quotiens fidem  
mutatosque deos flebit et aspera  
nigris aequora ventis  
emirabitur insolens,  
qui nunc te fruitur credulus aurea,  
qui semper vacuam, semper amabilem  
sperat, nescius aurae  
fallacis miser, quibus  
intemptata nites...

(«О, сколько раз будет плакать из-за клятв и переменчивости богов и грозного моря черному ветру удивится, не ослыдавший, тот, кто сейчас легковверный, тобой, золотой, наслаждается, кто надеется на тебя, то свободную, то любящую, не замечающий ветерка обманчивого. Несчастны те, пред кем ты, коварная, блистаешь...»)

Есть у Фета и чисто образные заимствования. Например, он называет море «выбким стеклом». Сравним со 2-й одой VI книги Горация: «vitreus pontus» буквально — «стеклянное море», т. е. прозрачное или блестящее. Интересно, что когда Фет специально занимался переводом этой оды, он передал этот эпитет в общем точно: «хрустальная влага», но при этом смысл сравнения стал менее понятным. Видимо, «выбкое стекло»,

этот не совсем привычный образ моря, был заимствован из античной поэзии не осознанно, а в общем контексте «подражания древним».

Не исключено, что стихотворение «Я знаю, гордая...» Фет написал под влиянием стихотворения А. Майкова, которое в 1847 году мог хорошо знать (сборник Майкова вышел в 1842 году).<sup>8</sup> Майков включил его в раздел «Подражания древним», оно представляет собой перевод 5-й оды I книги Горация, причем довольно точный. Правда, 1-я и 3-я строки принадлежат только Майкову, у Горация о челноке — ни слова. Майков, вдохновленный сравнением неверной возлюбленной с морем, а несчастной любви с бурей, предельно конкретизирует несколько отвлеченные образы, создает еще более развернутую метафору: чистый юноша не просто уподобляется неопытному пловцу в неверном море, но и является таковым («...чей челнок к скале сей приплывает?»). Захваченный созданной им яркой картиной, поэт как бы перевертывает метафору, и уже море у него сравнивается с неверной женщиной: «...как оно обманчиво блеснит, подобно женщине, темно и лицемерно!». Таким образом, некоторыми деталями элегия Фета, возможно, обязана переводу Майкова, особенно превращением несколько отвлеченной метафоры в яркую картину.

В ранней редакции этого стихотворения античный колорит у Фета был более очевиден, последняя строчка звучала так: «...И пенишь темный понт зубчатой чешуею» (с. 634). В измененном виде эта строка в значительной степени утратила связь с античностью: сирена больше похожа на Лорелею Гейне, чем на персонажа греческих мифов, причем не понятно, почему сиреной женщина становится «под водою», ведь в традиционной мифологии это полуженщина-полуптица. Происходит разрушение античного образа. Надо сказать, что и по настроению эта элегия не во всем следует Горацию: в описании «гордой красавицы» у Фета сквозит мягкая, почти добродушная ирония, чего начисто лишены обращения к жестоким красавицам у Горация. Фет дает психологический портрет девушки, показывает противоречивые движения ее души, а не просто констатирует ее «жестокость». Рассмотрим еще одно стихотворение (1847).

Ее не знает свет, — она еще ребенок;  
Но очерк головы у ней так чист и тонок,  
И столько томности во взгляде кротких  
глаз,  
Что детства мирного последний близок  
час.

<sup>8</sup> Сочинения Аполлона Майкова. СПб., 1842, с. 142.

Дохнет тепло любви, — младенческое око  
Лазурным пламенем засветится глубоко,  
И гребень, ласково-разборчив, будто сам  
Пройдет медлительней по пышным

волосам,  
Персты румяные, бледнея, подлиннеют...  
Блажен, кто замечал, как постепенно

зреют  
Златые гроздия, и знал, что виноград  
Сбирая, он вопьет их сладкий аромат!

(с. 6)

И по содержанию, и по композиции его можно соотносить с 5-й одой II книги Горация, правда гораздо более откровенной. В стихотворении Фета нет героя-мужчины, который у римского поэта сравнивается с быком, кипящим любовной страстью (у Горация это очень яркий образ, исполненный чисто античной эротики: «... nec tauri uentis in uenem tolerare pondus»), нет и сравнения девушки с телкой, так подробно обыгранного Горацием. Откровенная эротика подобного рода, достаточно грубоватая, не была свойственна русской поэтической традиции, чужда она и поэзии Фета. Зато образ созревающей виноградной грозди — девушки-подростка — Фет заимствовал.

Интересно, что ода Горация также является переложением из Греческой Антологии стихотворения поэта Филодема:

В почке таятся еще твое лето. Еще не  
темнеет  
Девственных чар виноград. Но начинают  
уже  
Быстрые стрелы точить молодые Эроты,  
и тлеться  
Стал, Лисидика, в тебе скрытый на  
время огонь.  
Впору бежать нам, несчастным, пока  
еще лук не натянут!  
Верьте мне, скоро большой тут запыляет  
пожар.<sup>9</sup>

Фет сохраняет общую композицию и греческого и латинского вариантов: молодая, еще не созревшая девушка; скоро наступит для нее время любви и она станет первой красавицей. Во всех трех стихотворениях девушка-подросток сравнивается с созревающей виноградной гроздью. Действительно, стихотворение Фета можно назвать переложением. Но перелагая античный образец на язык нового времени и собственного поэтического мироощущения, Фет меняет и образность, и лирическое настроение. Стихотворение окрашено в нежные, мягкие тона: «очерк головы... так чист и тонок», взгляд «кротких глаз», «младенческое око», детство «мирное», «тепло любви», а не огонь или пожар, как у

Филодема, даже «пламя» и т. е. «лазурное».

В стихотворении нет общей латинскому и греческому подлинникам какой-то изначальной, заданной дисгармонией между влюбленными: «*curret enim ferax aetas et illi quos tibi dempserit adponet annos*» («ибо бежит паденное время и те годы, что у тебя отнимает — ей прибавит»). У Филодема: «Впору бежать нам, несчастным, пока еще лук не натянут!»

Как уже отмечалось, у Фета нет и следа грубой эротичности оды Горация, а также и декларативности, обобщений, свойственных греческому стихотворению. У Филодема красота девушки лишь декларируется: «Верьте мне, скоро большой тут запылет пожар». У Горация она тоже лишь заявлена: «... любимая больше ветреной Фолои и Хлориды, белой шеей сверкающей». Совсем иначе у Фета: он создает зримый, яркий портрет молодой девушки, который совершенно лишен всего дисгармоничного, враждебного лирическому герою (в античной поэзии неприступность красавицы нередко становилась общим местом, штампом).

Стихотворение «Помедли... люди спят; медлительной царией...» (с. 4) (в редакции 1855 года «Постой, здесь хорошо! зубчатой и широкой...» — с. 633) в сущности не является антологическим, но внутренняя связь с античностью просматривается и здесь. На примере этого стихотворения можно наблюдать, как в творчестве Фета сливаются два казалось бы несоединимых направления его творчества: антология, с ее ясностью, отчетливой формой, гармоничным расположением деталей, стремлением возвести конкретный образ к обобщенному устойчивому типу, и «мелодия», с их тягой к подсознательному, неопределенному и неопределимому.

Тема моря настолько часто развивалась и варьировалась античными авторами, что Фет, с его глубоким знанием античности, обращаясь к ней, не мог миновать определенных ассоциаций. В стихотворных сборниках Фета разделы «Мелодии», «Гадания», «Весна», «Снега», «Лето», «Осень» практически лишены античных мотивов, даже мифологических имен и названий, в то же время в разделе «Море» постоянно встречаются имена: Аврора, Амфитрита, Феб, Фетида.

Противопоставление Земли и Моря — одна из традиционных тем античной поэзии: тут и эпитафии погибшим морякам, и нравучительные сентенции, и зарисовки с природы, и в то же время стихотворения, поднимающие какие-то общечеловеческие проблемы. Ведь суша и море — те первостихии, с которыми человек имеет дело на протяжении всей жизни. Море в античной поэзии часто становилось символом самой челове-

<sup>9</sup> Греческая эпиграмма, с. 168 (перевод Л. Блуменау).

ской жизни: человек — пловец в бурном, ненадежном море, дом его — утлый челн, а внезапно налетающая буря — превратности судьбы, в том числе и духовной жизни.

Этот комплекс идей и настроений в полной мере отразился в 5-й идиллии Мосха. В России она была достаточно известна, хотя бы в переводе Н. Кошанского, сделанном в 1811 году.<sup>10</sup> Впрочем, Фет мог познакомиться с ней в подлиннике еще в годы учения. Эта идиллия содержит в спрессованной форме целый свод самых разных вариаций античного понимания темы Земли и Моря, и ассоциации с ней, возникающие при чтении стихотворения Фета, не случайны. За реалистическими картинками бурь на море, спокойствия суши, труда рыбаков в этой идиллии встает картина более отвлеченная и общая: сущность мироздания, парадоксы мировосприятия, наконец, история человеческой души. Не случайно эта идиллия привлекла внимание Пушкина. Его подражание Мосху, стихотворение «Земля и Море» (1821), — один из предвестников русской антологической поэзии.

Сопоставление стихотворения Фета с идиллией Мосха не преследует все же цель указать его непосредственный источник. Скорее, речь может идти о более общем влиянии античной лирики — композиционном, мировоззренческом, о перекликающемся с античностью образом строе и стилистике этого стихотворения.

Предложим наш перевод стихотворения Мосха:

Если дыхание ветра колышет лазурное море,  
Робкой волнуясь душою и взор от земли отвращаю.  
Моря спокойная гладь мапит и ничуть не пугает.  
Но загрохочет седая пучина, и вспенится, горбясь,  
Моря поверхность, беснуясь валы огромные взвоют —  
Снова на брег, на деревья смотрю и от моря бегу я.  
Снова земля мне желанна и лес мне теплостый приятен.

<sup>10</sup> Кошанский Н. Цветы греческой поэзии. М., 1811, с. 341. Это стихотворение также перевели: анонимный автор (1816), К. Масальский (1820), М. Загорский (1822), Д. С-н (1832), В. Канонерский (1833), В. Завелейский (1837), М. Л. Михайлов (1847). Сведения об этих переводах были любезно предоставлены мне Е. В. Свиясовым и содержатся в его библиографии «Античная лирическая поэзия в русских переводах и подражаниях. 18—20 вв.», которая в настоящее время готовится к печати. Интересно отметить, что перевод М. Л. Михайлова был создан примерно в одно время со стихотворением Фета.

Сосны поют там, склоняясь от сильного ветра порывов.  
Сколь же тяжелой рыбак живет долей, ведь дом его — лодка,  
Труд его — море, а рыба добычей неверною служит.  
Мне же приятнее сон под платаном с густою листвою,  
Слушаю я у источника пение лод говорливых,  
Радует шум этот пахаря, вовсе его не пугая.<sup>11</sup>

В первой части стихотворения Фета трижды повторенное слово «Помедли... медлительной царицей... все медлит...» не создает монотонности, но рисует картинку совершенно застывшей, спокойно-неподвижной вселенной, где движение, если и есть, — его не воспринять человеческому глазу. Это картина не мертвенного окаменения, а древнего Космоса, взаимосвязи, гармонии всего в природе («И ветер, и облака, и горы, и леса»).

Картина крайнего звездного покоя сменяется другой крайностью (вторая строфа): шум, резкое движение, колышание огромных валов — первобытный хаос, бесформенный, шевелящийся. «Вал огромный», отвесные берега, даже береговой камень — и тот вероломный. Мир пришел в раздор и противоречие с собой, что-то древнее, изначально враждебное человеку видится в этих картинках. Впечатление усиливается от неожиданного, странного словосочетания «хриц морской» (как хребет живого существа): море уже не просто враждебная стихия, а как бы огромное, злобное чудовище.

Поселянина из идиллии Мосха тишина и покой на море могут ввести на какое-то время в заблуждение:

Τὰν ἄλα τὰν γλαυκὰν ὄταν ὤνεμος  
ἀτρέμα βάλλῃ,  
Τὰν ζρένα ταν δειλὰν ἐρεθίζουμι...

(Лирический герой стихотворения Фета более осторожен — или более опытен — строфа, в которой говорится о море, начинается словами: «Я не пойду туда...»). Но кажущаяся гармония тут же сменяется у Мосха страшной бурей — истинным лицом стихии: вспенившийся горб моря, огромные беснующиеся валы, пучина моря названа «седой», это какое-то древнее неустовое чудовище.

В третьей строфе Фет возвращается к тишине, Космосу, «святости звездолюбивых дум и тихой радости немого созерцанья». Напряжение спадает, чтобы

<sup>11</sup> Полный перевод идиллии Мосха был осуществлен М. Е. Грабарь-Пассек в кн.: Феокрит; Бион; Мосх. М., 1958 (Литературные памятники). Однако настоящим переводом нам хотелось бы уточнить некоторые нюансы подлинника.

под конец зазвучать снова: «Я не пойду туда: там моря вечный шум».

Мосх в качестве антитезы буре показывает картину мирной суши: леса, долины. Здесь и сильный ветер не страшен, он может лишь заставить петь пинии. В обоих стихотворениях суша представлена как особый самостоятельный мир, он живет своими законами, противоположными законам другого мира — моря. Мосх обретает гармонию, возвращаясь на сушу, но ненадолго: он снова начинает говорить о море, подробно рассказывает о труде рыбака. Все, что соприкасается с морем, недружелюбно по отношению к человеку: «рыба добычей неверною служит». У Фета даже суша вблизи моря и та становится «вероломной».

Как видим, композиционно стихотворения в основных своих частях очень близки. Надо сказать, что оба они невелики по объему: у Мосха 13 строк, у Фета — 12. Очевидно, рассматривая глобальную, общечеловеческую тему, поэт стремится формулировать мысль предельно ясно: резкое противопоставление крайностей, колебания между ними, попытка гармонизировать их и отказ от одной из крайностей как единственно возможный выход.

Образно-лексический строй стихотворения Фета, особенно его второй строфы, также соотносится с антологической традицией. Сравним: у Фета — «хрищ морской»; у Мосха — «вздыбившийся горб моря» («ὁ θάλασσα χυρτὸν ἐπαρρίζη») у Фета — «огромный вал»; у Мосха — то же самое («τὰ χύματα μαχρά»). У Фета шум моря враждебен человеку («Я не пойду туда: там моря вечный шум»); у Мосха — то же самое: «грохочет седая пучина», этот шум противопоставляется шуму ветра на суше: под ветром поют пинии, у Фета ветер — один из элементов, составляющих сушу: «И ветр, и облака, и горы, и леса».

Есть, пожалуй, и реминисценции из Горация: «камень вероломный» можно соотнести с выражениями «infamis scorulus» (I, 3) или «litus iniquus» (II, 10). Частый в античной поэзии мотив возлюбленной, изменчивой и жестокой, как море, скрыто присутствует и у Фета. (То, что стихотворение обращено именно к женщине, явствует из его второй редакции (1855 год): «Одна передо мной, под мирными звездами, ты здесь, царяща чувства, властительница дум...» — с. 633). Женщина эта стремится к морю, возможно, как к родственной ей стихии.

Сравним с 33-й одой I книги Горация: «Myrtale... fretis acrior Hadriae, curvantis Calabros sinus» («Миртала... суровее пролива Адрии, бурливей изгибов Калабрии»).

Н. Кошанский в комментариях к своему переводу 5-й идиллии Мосха заметил: «Слова Мосховы (о жизни на море, — А. У.) относятся не к одним рыбакам, но ко всем мореплавателям».<sup>12</sup> Мореплавание же в этой системе образов не что иное, как жизнь человека, причем не только физическая (существование), но и духовная. В стихотворении Мосха конфликт между двумя стихиями и одновременно между двумя мировоззрениями. Но его Земля и Море все-таки не лишены конкретности, если здесь присутствует символика, то она легко читается: бурной, полной неожиданных опасностей доле герой предпочитает тихую жизнь в стороне от движения, от превратностей судьбы.

Фет переводит конфликт в интеллектуально-философскую плоскость. Море в данном случае — это прежде всего беспорядок, отсутствие гармонии жизни, вселенский раздор, пагубно действующий на душу. Земля — а точнее ее ночной покой — дает простор душе, ищущей гармонии, божественной, а потому даже не вполне определенной словами: «неясного сознания какой-то святости звездолубивых дум». Интересно, что Тургенев, призывая Фета «исправить» это стихотворение, добился вполне традиционного антологического мотива «женщина и море», заменив им это, казавшееся непонятным или ненужным противопоставление двух полюсов существования вселенной и одновременно двух ипостасей человеческой души.

Таким образом, античность оставила след не только в переводном, но и в оригинальном творчестве поэта. Фет разрабатывал разные направления антологической поэзии, раскрывал ее многосторонние возможности: от элегий, воплощающих главным образом представление об античности как мире гармонии и красоты, достаточно традиционных для того времени, до стихотворений, где на основе внимательного знакомства с классическими образцами, глубокого понимания античности, ее мировоззрения Фет создает совершенно оригинальные произведения со своим, присущим именно Фету звучанием.

<sup>12</sup> Кошанский Н. Указ. соч., с. 244.

## МОЛОДОЙ Л. Н. ТОЛСТОЙ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАЗАНИ 1840-х годов

Как известно, братьев Толстых — Николая, Сергея, Дмитрия и Льва — и их сестру Марию после смерти родителей (Мария Николаевна скончалась в 1830-м, Николай Ильич Толстой в 1837 году) воспитывали тетки, сестры отца, сначала старшая — Александра Ильинична, затем младшая — Пелагея Ильинична, жившая в Казани со своим мужем помещиком В. И. Юшковым.

В 1841 году Пелагея Ильинична привезла молодых Толстых в Казань. Старший из братьев, Николай, перевелся в Казанский университет из Московского, где он до этого учился. Мария была определена в только что открывшийся в Казани Родионовский институт благородных девиц. В 1843 году в университет поступили Сергей и Дмитрий, а в 1844 году вслед за ними и Лев Николаевич.

В Казани Л. Н. Толстой прожил до апреля 1847 года.

Казанскому периоду жизни Л. Н. Толстого посвящен ряд исследований.<sup>1</sup> Вниманию их авторов привлекала прежде всего тема «Толстой и университет». Они подробно характеризуют университетскую профессию, быт и нравы студенчества, проникновение в университет передовых идей 1840-х годов, анализируют успехи и неудачи (главным образом неудачи) Толстого-студента. Культурная жизнь Казани 1840-х годов, без учета которой нельзя составить достаточно полного представления об этом периоде жизни Льва Николаевича, рассмотрена в этих работах крайне скупо.

Следует иметь в виду, что на культурную жизнь города в середине 1840-х годов наложили свой отпечаток последствия пожара 24 августа 1842 года. В жаркий ветреный день пламя от загоревшегося деревянного купеческого дома на Большой Проломной улице (ныне улица Баумана) быстро перекинулось

на соседние здания и охватило целые кварталы. По официальным данным, за два дня сгорело 28 общественных зданий и 1300 жилых домов.

Толстые во время пожара были в пмении Юшковых Панове, в сорока верстах от города. Вскоре Лев Николаевич писал в Ясную Поляну Т. А. Ергольской: «Вот мы и снова в Казани, которая в весьма жалком виде. Что касается зданий, огнем уничтожено все, что было красного. Наша улица, которая не из лучших, уцелела; однако ж, дом наш был в опасности, так как все вокруг нас стало жертвой огня». Лев Николаевич добавлял, что из Панова «был виден ночью огонь, а днем дым».<sup>2</sup> «Дом наш» — это дом Горталовых на Поперечно-Казанской улице, который с осени 1841 года арендовали Юшковы.

Быстро началось восстановление города. Справлялись и выравнивались улицы, вместо сгоревших деревянных домов строились каменные здания. 14 сентября 1844 года в присутствии многочисленной публики во дворе университета был заложен памятник Г. Р. Державину. В мае 1845 года состоялась закладка нового здания Дворянского собрания и губернаторского дворца в кремле. Осенью того же года началось строительство нового здания театра. Постепенно входила в свое русло культурная жизнь.

Важнейшим источником ее изучения являются «Казанские губернские ведомости». Издание «Ведомостей» началось в 1838 году. С 1843 года наряду с «официальной» частью стала выходить и их «неофициальная часть». В неофициальной части печатались статьи об истории, географии и статистике края, материалы о сельском хозяйстве и промышленности, широко была представлена местная хроника. Неофициальная часть имела своего редактора (официальную часть подписывал вице-губернатор). Первые номера неофициальной части подписывал И. А. Соколов, в сентябре 1843 года ее редактором стал Н. И. Второв, которого в свою очередь в августе 1844 года сме-

<sup>1</sup> См., например: *Загоскин Н. П.* Граф Л. Н. Толстой и его студенческие годы. — Ист. вестник, 1894, № 1, с. 76—123; Великой памяти Л. Н. Толстого Казанский университет: 1828—1928. Казань, 1928; *Гусев Н. Н.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954 (глава пятая — «Казанский период жизни Л. Н. Толстого»); *Эйхенбаум Б. М.* Из студенческих лет Л. Н. Толстого. — Русская литература, 1958, № 2, с. 69—84 (то же в кн.: *Эйхенбаум Б. М.* О прозе. Л., 1969, с. 91—116); *Галаган Г. Л.* Толстой и петрашевцы. — Русская литература, 1965, № 4, с. 137—148.

<sup>2</sup> В Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание) письмо не вошло. Было опубликовано в 1939 году Г. Волковым с ошибочной датировкой — 2 марта 1842 года, хотя, как видно из содержания, письмо написано после пожара 24—25 августа. В комментариях неверно указывается, что речь в письме идет о доме Киселевских. См.: Лит. наследство, 1939, т. 37—38, с. 137—138.

плл А. П. Артемьев. «Ведомости» выходили еженедельно. Неофициальная часть имела самостоятельную нумерацию полос, с 1844 года — столбцов (два столбца на каждой полосе); она была сплошной для всех пятидесяти двух номеров года.

«Казанские губернские ведомости», особенно материалы их неофициальной части, несомненно привлекали внимание публики. Конечно, «Ведомости» получали и в доме Юшковых.

В декабре 1843 года в неофициальной части «Ведомостей» была напечатана статья И. Второва «Мои воспоминания о Казани». В статье рассказывалось о знакомстве казанского помещика В. И. Полянского с Вольтером. В подстрочном примечании указывалось, что Полянский — «родной дядя почтенному Вл. Ив. Юшкову» (№ 50, с. 322; здесь и далее ссылки на неофициальную часть даются непосредственно в тексте). Материалы «Ведомостей» свидетельствуют, что В. И. и П. П. Юшковы занимали достаточно видное положение в казанском обществе. Так, они фигурируют в списке самых почетных лиц губернии, внесших пожертвования в пользу детских приютов. — вместе с губернатором, вице-губернатором, председателем казенной палаты, губернским предводителем дворянства, тремя генералами и несколькими наиболее влиятельными помещиками губернии (1844, № 5, стлб. 39—42). Вскоре В. И. и П. И. Юшковы были утверждены почетными членами попечительства этих приютов.<sup>3</sup> В литературе о Толстом не отмечено, что В. И. Юшков был некоторое время предводителем дворянства Ланского уезда (в этом уезде и находилось село Паново). В 1846 году «Ведомости» сообщили, что Юшков уволен с этой должности по собственной просьбе.<sup>4</sup>

Несомненный интерес для биографов Л. Н. Толстого представляет отдел объявлений. Так, опубликованное в августе 1843 года объявление: «В доме г-жи Киселевской на Арском поле сдается в наем бельэтаж с антресолями, на год и более...» (1843, № 33, с. 191) позволяет точно датировать переезд Юшковых с братьями Толстыми из дома Горталовых в дом Киселевских.

«Казанские губернские ведомости» содержат ценнейшие сведения о концертной и театральной жизни города.

Уже на следующий год после пожара в Казани начались концерты. В феврале 1843 года прошел концерт местного скрипача-виртуоза Д. Севастьянова. В конце 1843 года дал концерт Сакмейер, за ним потянулись и другие гастролеры. Большой интерес публики

вызвали представления в сентябре 1845 года труппы Карла Раппо. В первом отделении сам Раппо в ряде акробатических номеров демонстрировал свою силу, во втором его труппой были представлены «живые картины» на мифологические сюжеты (1845, № 40, стлб. 387—390). Напомним, что в третьей главе «Юности» Николаевка Иртенев мечтает стать «сильней Раппо», — это несомненный отзыв казанских впечатлений молодого Толстого.

Для театральных спектаклей после пожара был приспособлен дом Власьева на Большой Красной улице. 19 мая в этом доме открыла свой первый сезон труппа Е. Ф. Стрелкова. Художественный уровень спектаклей был низким, посещался театр плохо. Желая привлечь в театр публику, Стрелков пригласил на гастроль известных петербургских и московских актеров.<sup>5</sup> Весной 1845 года в Казани гастролеровал А. Е. Мартынов. Игра Мартынова произвела на молодого Толстого огромное впечатление. В ноябре 1886 года в беседе с А. А. Стаховичем Толстой говорил, что видел Мартынова еще студентом в Казани и что ставит его выше всех из русских актеров.<sup>6</sup> Аналогичное мнение он высказал в разговоре с другим собеседником в январе 1892 года: «За всю свою жизнь я не видел актера выше Мартынова».<sup>7</sup> К сожалению, в «Ведомостях» содержатся лишь упоминания о Мартынове (1845, № 20, стлб. 196), развернутых отзывов о его игре в газете напечатано не было. С отъездом Мартынова интерес публики к театру снова остыл.

Зато внимание местного общества неизменно привлекали любительские спектакли и концерты. Устраивались они в Институте благородных девиц, университете, некоторых частных домах. Сбор шел обычно в пользу «недостаточных» воспитанниц института, нуждающихся студентов, только что открытых в городе детских приютов и на другие благотворительные цели.

Лев Николаевич постоянно бывал в Институте благородных девиц, где воспитывалась его сестра Мария Николаевна. Его тепло принимала начальница института Екатерина Дмитриевна Загоскина. Толстой поддерживал приятельские отношения с ее детьми. Горячая дружба связывала Толстого с племянником Загоскиной Дмитрием Александровичем Дьяковым.

<sup>5</sup> Общую характеристику труппы Стрелкова см. в кн.: Крути И. Театр в Казани. М., 1958, с. 76—87.

<sup>6</sup> Стахович А. А. Ключки воспоминаний. — В кн.: Толстовский ежегодник. М., 1912, с. 28—29.

<sup>7</sup> Пчельников М. П. Из дневника. — В кн.: Международный толстовский альманах. М., 1909, с. 276.

<sup>3</sup> Казанские губ. ведомости, 1844, часть офиц., № 12, стлб. 122—123.

<sup>4</sup> Там же, 1846, № 12, стлб. 122; № 19, стлб. 203.

Первый большой концерт в институте состоялся 28 ноября 1843 года. Всего было распространено около пятисот билетов, из них 61 на 365 рублей, как сообщали «Ведомости», был продан П. И. Юшковой.<sup>8</sup> Вот как описывала газета сам концерт: «Увертюра сыграна и гром аплодисментов приветствовал гг. Александра и Василия Васильевича Черниковых. Гг. Черниковы сыграли нам на двух фортепианох дуэт соч. братьев Герц. Выбор пьесы, точное ее исполнение, а главное, неподдельное чувство игры гг. Черниковых привели всех в восторг... Девушка Элеонора Николаевна Броневская спела... арию из оперы „Жизнь за царя“ „Ах, не мне бедному...“, и спела ее превосходно; потом девушка Варвара Андреевна Корейша исполнила в совершенстве на фортепиано с аккомпанементом оркестра фантазию Калькбреннера... Во второй части концерта д-ца Наталья Александровна Ростовская привела нас в восторг искусством, с каким она исполняла на фортепиано фантазию Тальберга... Потом Александр Васильевич Черников и Дмитрий Николаевич Севастьянов сыграли дуэт на фортепиано со скрипкой соч. Осборна и Берси». В числе других участников концерта в газете названы Е. К. Ломан, А. М. Львова, Е. И. Леонтьева, И. А. Зыбин (1843, № 50, с. 317—320).

В следующем сезоне такой же концерт в институте был устроен 11 марта 1845 года. «Громкие рукоплескания встретили Клару Августовну Шенберг и Василия Васильевича Черникова: они сыграли на фортепиано в четыре руки фантазию Калькбреннера „Le fou“; прекрасная, живая, исполненная чувства игра доставила всем неизъяснимое удовольствие». Затем исполнились произведения Россини, Шуберта, Тальберга, Беллини (1845, № 14, стлб. 137—139). Интересно, что фантазия «Le fou» упомянута в главе XXX «Юности» — ее играет там сам герой повести.

Третий благотворительный концерт в институте состоялся 15 февраля 1846 года (1846, № 9, стлб. 68).

В марте 1846 года концерт в пользу бедных студентов состоялся в актовом зале университета. Были исполнены произведения Листа, Беллини, Доницетти и других известных композиторов. Э. Н. Броневская была названа «нашей Вгардо». Особый успех, по свидетельству газеты, выпал на долю В. А. Корейши, М. Н. Апехтиной, Н. А. Ростовской и Н. Н. Галкиной, исполнивших квартет Черни на четырех роялях под аккомпанемент оркестра (1846, № 12, стлб. 122—125).

Наряду с любительскими концертами устраивались любительские спектакли. Готовились они обычно на два вечера.

Так, в марте 1845 года в актовом зале университета были даны два вечера в пользу детских приютов. В первый шли водевили «Горе от тещи», «Ложа на последний дебют Тальони» и оперетка «Кетли», во второй — водевили «Путаница», «Отец, каких мало» и драма «Матрос». В «Ведомостях» перечислены участники спектаклей, в их числе братья Сергей и Лев Николаевич Толстые. Вместе с ними роли исполнили К. А. Шенберг, А. М. Львова, Е. Д. Зарембо, Дьяков, Зыбин, Черников и др. (1845, № 11, стлб. 95—98). Иногда спектакли шли в частных домах. Так, 2 и 4 февраля 1846 года в доме Е. Н. Поспеловой были поставлены: в первый вечер — «Кетли» и «Макар Алексеевич Губкин», во второй — «Шила в мешке не утаишь»<sup>9</sup> и «Его превосходительство» (1846, № 9, стлб. 67). 2 и 7 декабря 1846 года, по сообщению газеты, в доме А. А. Фукс были поставлены: в первый вечер — «Муж, каких много», и жена, каких мало», «Новички в любви» и «Покойник-муж и жена его», во второй — «Майко», «Кетли» и «Макар Алексеевич Губкин» (1846, № 52, стлб. 650). К сожалению, имена участников этих спектаклей в газете не названы.

Особым успехом у публики пользовались вечера так называемых «живых картин». Первый вечер «живых картин» прошел в актовом зале университета 19 апреля 1846 года. «Успех картин, впечатлительнее, произведенное ими на зрителей, — писали «Ведомости», — превзошло все ожидания... Выбор картин и выполнение их заслужив похвалы всеобщие и притом совершенно беспристрастные. Давно, очень давно наше общество не получало таких приятных впечатлений, как в этот вечер». Поскольку многие желающие не сумели попасть на вечер, 25 апреля состоялось его повторение.

Лев Николаевич принимал участие в двух картинах. Вот как излагает рецензент «Ведомостей» содержание картины «Магазинщицы»: «В мансарду швец забрался повеса-сержант и прислуживает. Он помогает одной магазинщице разматывать нитки, а другая, в полной уверенности, что девушка в шестнадцать лет пристала всякая шапка, надела шляпу сержанта, а на его голову положила только что отделанный вепок. Обе смеются...» Вместе с Л. Н. Толстым (исполнившим роль сержанта) в этой «картине» играли М. Н. Мертваго и З. М. Молостова.

<sup>9</sup> Водевиль «Шила в мешке не утаишь» — девушки под замком не удержишь» был известен как произведение Н. А. Перепельского. Однако настоящее имя его автора — Н. А. Некрасов — к тому времени было уже раскрыто в печати. См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т. Л., 1983, т. 6, с. 687—689.

<sup>8</sup> Казанские губ. ведомости, 1843, часть офиц., № 50, с. 339.

Вторая картина называлась «Предложение жениха». «Старик рыбак поймал в свои сети молодца и представляет его своей дочери. Простак детина почтительно вытянулся, закинув руки за спину; он рисуется... Отец взял его за подбородок и с простодушно-хитрою улыбкою поглядывает на дочку, которая потупила в смущении свои взоры». Рецензент добавлял: «Эффект этой картины был необыкновенный. Раз а три требовали ее повторения и долго не умолкал гром рукоплесканий. Лучше всех в этой картине был отец (А. А. Демпльн); чрезвычайно пафоса также и жених (гр. Л. Н. Толстой)». Роль дочери в этой картине исполняла Е. К. Ломан. Заметим, что только А. А. Демпльн (лектор французского языка в университете) и Л. Н. Толстой особо выделены рецензентом из всех исполнителей картин (1846, № 18, стлб. 174—180). В картинах участвовали также Марья и Сергей Николаевич Толстые. В числе исполнителей были В. Н. Загоскина, О. Е. Крюднер, Е. Д. Зарембо, В. А. Корейша, Э. Н. Броневская, Е. Я. Сорнева, А. И. Нератов, П. Н. Лобачевский и др.<sup>10</sup>

22 декабря 1846 года в том же зале состоялся вечер, на котором были показаны новые «живые картины». «Ведомости» откликнулись на эту постановку развернутой рецензией (1847, № 1, стлб. 10—13). К сожалению, имена исполнителей картин в этот вечер нам неизвестны. Неясно, был ли тогда Лев Николаевич на сцене в числе исполнителей пьес, находившихся среди публики в зрительном зале.

Участники любительских спектаклей и концертов составляли тот круг дворянской молодежи, в котором вращался Лев Николаевич в студенческие годы. Все они занимали определенное положение в местном обществе. Э. Н. Броневская — дочь генерала, П. Н. Галкина — дочь директора первой гимназии, В. Н. Загоскина — дочь начальницы Института благородных девиц, П. А. Зыбин — адъютант губернатора, В. А. Корейша — дочь подполковника, О. Е. Крюднер — родственница полицмейстера, П. Н. Лобачевский — сын ректора университета, Е. К. Ломан — дочь городского архитектора, А. М. Львова — дочь директора второй гимназии, З. М. Молодцова — племянница попечителя Казанского учебного округа, А. И. Нератов — сын генерала, студент, Е. Я. Сорнева — классная дама Института благородных девиц, В. В. Черников — чиновник губернского правления и т. д.

Большое внимание «Казанские ведомости» уделяли книжной торговле. На Воскресенской улице (теперь улица Ленина) в доме Месетни-

кова располагалась книжная лавка и библиотека А. Г. Мясникова. В библиотеку выписывались почти все периодические издания. «Ведомости» отмечали, что по собранным здесь комплектам можно изучать «исторически, в последовательном порядке» всю русскую литературу и журналистику. Книжки и журналы из библиотеки Мясникова за определенную сумму выдавались на дом. Напротив, в здании духовной семинарии находилась лавка столичного книгопродавца Андрея Глазунова. Управляющий лавкой И. К. Костяков с 1845 года повел дело самостоятельно — рядом с лавкой Мясникова он открыл свой магазин русских и иностранных книг. Стены его «от полу до потолка уставлены книгами всех возможных форматов и оберток... писали «Ведомости». — Рекомендуем каждому входящему правый угол магазина, где поставлены чинно в ряд замечательнейшие произведения словесности Франции и переводы произведений других литератур» (1845, № 20, стлб. 200). Несомненно, многие из книг, которые были прочитаны Львом Николаевичем в Казани, были приобретены в магазинах Мясникова и Костякова.

«Ведомости» систематически печатали объявления о новых поступлениях в эти магазины. В числе этих поступлений фигурируют «Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов, под редакцией Некрасова, с полиграфическими рисунками, 2 части. СПб., 1845...» (1845, № 29, стлб. 287) и подготовленный при участии петрашевцев «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Николаем Кирилловым. Выпуск первый. СПб., 1845...» (1845, № 27, стлб. 275). Магазины Костякова широко рекламировались книги на французском языке, получаемые из Парижа.

Хроникер «Ведомостей» не раз отмечал бедность литературной жизни города. Местные литераторы собирались обычно в салоне А. А. и К. Ф. Фуксов. Прочитанные на одном из таких вечеров воспоминания хозяйки салона Александры Андреевны о приезде А. С. Пушкина в Казань в 1833 году были опубликованы в «Губернских ведомостях» в январе 1844 года. В этих воспоминаниях внимание Льва Николаевича могло привлечь сообщение о том, что Пушкин, будучи в Казани, обедал у своего знакомого по Петербургу литератора Э. П. Перцова. Толстой бывал в доме Перцовых.

В неопубликованных воспоминаниях одного из младших братьев Эраста Петровича, Петра Петровича, рассказывается об этом так: «В Казани жил три брата Толстых у тетушки своей Пелагеи Ильиничны Юшковой, урожденной графини Толстой. Квартировали они в доме Киселевского на углу Большой Красной улицы и Арского поля. Занимали

<sup>10</sup> Афиша спектакля 25 апреля 1846 года воспроизведена в кн.: Гусев Н. Н. Указ. соч., вклейка между с. 224 и 225.

они весь бельэтаж, нижний этаж был занят семейством хозяина дома Киселевского. У Киселевского раз в неделю, по вторникам, собрались их знакомые, устраивались танцы, пели, играли на фортепьяно, весело проводили время; приезжало несколько молодых девиц, бывших воспитанниц Родионовского института. На этих скромных, но веселых вечерах бывали два брата Толстых — Сергей и Лев Николаевичи. Вот тут-то я с ними и познакомился. Лев Николаевич был одноклассником с братом моим Константином и часто посещал нас.<sup>11</sup>

В доме Перцовых Толстой мог услышать какие-то рассказы о Пушкине. До пожара 1842 года в доме Перцовых останавливался несколько раз приезжавший на гастроли в Казань М. С. Щепкин, много рассказывавший о Н. В. Гоголе. Не исключено, что некоторые из этих рассказов продолжали передаваться в этом доме. Интерес к творчеству Гоголя и к личности писателя был в эти годы в Казани очень большим.

В «Губернских ведомостях» публиковались сведения «О прибывших в город Казань и выехавших из него». В одной из таких публикаций — за период с 27 мая по 5 июня 1846 года — фигурировал прибывший из Петербурга и поселившийся в номерах Акчурина, а затем выбывший в вотчину коллежский секретарь Панаев (1846, № 24, стлб. 245 и 246). Вместе с И. И. Панаевым через Казань в Спасский уезд направлялись А. Я. Панаева и Н. А. Некрасов. Льву Николаевичу не было суждено тогда встретиться с Некрасовым. В Спасском уезде, в имении Григория Михайловича Толстого (однофамильца Льва Николаевича) Некрасов и Панаев обсуждали с хозяином вопрос о приобретении журнала, который стал бы органом кружка Белинского.<sup>12</sup> В конце 1846 года в «Казанских губернских ведомостях» было напечатано объявление о преобразова-

нии журнала «Современник» и приеме подписки на «Современник» на 1847 год. В тексте объявления впервые на страницах «Ведомостей» были названы имена В. Г. Белинского, Искандера (А. И. Герцена), И. С. Тургенева, А. И. Гончарова (1846, № 49, стлб. 592—597).

Толстой, несомненно, стал постоянным читателем «Современника» с 1847 года. Не случайно в перечне произведений, имевших на него влияние в возрасте с 14 до 20 лет, наряду с произведениями Пушкина и Гоголя названы повести Д. В. Григоровича «Антон Горемыка» и А. В. Дружинина «Полинька Сакс», напечатанные в «Современнике» в 1847 году, и «Записки охотника» И. С. Тургенева, печатание которых началось в журнале в том же году. Все эти три произведения оказали на Л. Н. Толстого, по его же словам, «очень большое влияние».<sup>13</sup>

В русле «натуральной школы» шли и первые литературные опыты молодого Льва Николаевича, о которых он сообщал в письме к брату Николаю Николаевичу летом 1846 года из Ясной Поляны, куда он поехал на каникулы. В числе своих работ — философских рассуждений, статей и «Примечаний насчет хозяйства» — Лев Николаевич называет и замыслы «Что нужно для блага России» и «Очерка русских прав». Уже заглавие второго замысла — свидетельство восприятия им эстетических принципов «натуральной школы».

Интересно и указание на «стихотворения». «Ты, вероятно, удивишься тому, что я говорю о стихотворениях. Я попытался в дороге сочинять, и мне это удалось. Путешествие вдохновляет». К сожалению, ни материалы к «Очерку русских прав», ни стихотворения Толстого, о которых он пишет, до нас не дошли.<sup>14</sup>

Все сказанное свидетельствует, что без привлечения материалов о культурной жизни Казани 1840-х годов нельзя полно и всесторонне рассмотреть студенческий период биографии Л. Н. Толстого.

<sup>11</sup> ЛО Архива АН СССР, разряд IV, оп. 1, ед. хр. 971, л. 305. Старшего из братьев, Николая, весной 1844 года уехавшего из Казани, П. П. Перцов не запомнил, Дмитрий Николаевич в светских развлечениях участия не принимал.

<sup>12</sup> Поездка Н. А. Некрасова в 1846 году в Казанскую губернию подробно рассмотрена в статье К. И. Чуковского «Григорий Толстой и Некрасов» (Лит. наследство, 1946, т. 49—50, с. 365—396).

<sup>13</sup> Гусев Н. Н. Указ. соч., с. 236—243.

<sup>14</sup> В Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого письмо не вошло. Опубликовано Г. Волковым с ошибочной датой — середина мая 1847 года (Лит. наследство, 1939, т. 37—38, с. 138—141). Время написания письма установлено Н. Н. Гусевым (Гусев Н. Н. Указ. соч., с. 211).

П. Г. Усенко

## ПОЛЬСКИЕ СОРАТНИКИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО В РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 50—60-х годов XIX века

Вопрос о выступлении польских революционеров в русской журналистике как о важном проявлении их участия во всероссийском общественно-политическом движении XIX века специально еще не рассмотрен в историографии, хотя сам факт выхода в России написанных ими работ отражен в различных научных и научно-популярных трудах. В частности, внимание биографов такого выдающегося деятеля освободительного движения 1860-х годов, как Зыгмунт (Сигизмунд) Сераковский, не могли не привлечь его публикации в петербургских журналах.<sup>1</sup> Сотрудничеству Сераковского в «Современнике» посвящены отдельные исследования историко-литературного характера.<sup>2</sup>

В настоящей статье автор ставит задачу освещения связи польских соратников Н. Г. Чернышевского с русской подцензурной печатью 50—60-х годов XIX века как одной из форм взаимодействия передовых представителей России и Польши в их совместной борьбе против царизма, за революционно-демократические идеалы.

Накануне революционной ситуации 1859—1861 годов главным очагом всероссийского единения прогрессивных сил стал петербургский революционно-пропагандистский центр во главе с Чернышевским, сложившийся как интернациональный и по составу, и по стремлению решать социальные проблемы в интересах крестьян разных национальностей. Среди его наиболее активных деятелей — поляки Зыгмунт Сераковский и Ян Станевич. Два близких друга (оба «соизгнанники оренбургские»)<sup>3</sup> Т. Г. Шевченко), они ярко воплотили идею рус-

ско-украинско-польского революционного сотрудничества, став плечом к плечу с лучшими сыновьями России и Украины.

Более семи лет провел каждый из них в оренбургских линейных батальонах (Сераковский в 1848—1856 годах, Станевич в 1850—1857 годах). Тесное общение с солдатами — в прошлом крепостными крестьянами, близость к Шевченко и ссыльным петрашевцам оказали огромное влияние на формирование их мировоззрения. После ссылки они входят в круг сотрудников журнала «Современник» — органа всероссийской демократии, провозгласившей, что «связь по принадлежности к одной и той же партии гораздо крепче, нежели связь по национальности».<sup>4</sup>

Сотрудничество З. Сераковского в «Современнике» началось почти сразу после возвращения в Петербург в 1856 году. В августе, перед поездкой за границу, Н. А. Некрасов передал Н. Г. Чернышевскому свои редакторские права в журнале. Одним из первых шагов нового редактора стало введение недавнего политического ссыльного в число авторов «Современника». «Иностранцы» известия, — сообщал Чернышевский Некрасову в письме от 5 ноября 1856 года, — составляет Сераковский — если помните, Вы встретили его у Вашей сестры. На первый раз он составил «Иностранцы» известия» не совсем искусно — но будет полезным сотрудничком как человек неглупый и образованный!».<sup>5</sup>

Обозревая в «Современнике» (№ 11, 12 за 1856 год и № 1, 3, 4, 5, 7 за 1857 год) события в различных странах, польский революционер-демократ обращал внимание читателя на тяжелое материальное положение парижских рабочих, на угрозу голода, вставшую перед ирландскими крестьянами, на пауперизм в Англии и Швейцарии. Резким контрастом этим бедствиям и страданиям «измученных и голодных» являлась картина из жизни представителей буржуазии, колко названных им «счастливыми мира сего».<sup>6</sup> Зыгмунту Сераковскому было абсолютно ясно, что при капитализме обнищание трудящихся масс — такое же закономерное явление, как и концентрация богатства в руках эксплуататоров. «Если цель жизни *наживаться*, не у каждого достанет твердости *наживаться* законным, приличным образом»<sup>7</sup> — так

<sup>1</sup> См., например: *Смирнов А. Ф.* Сигизмунд Сераковский. М., 1959; *Дьяков В. А.* Материалы к биографии Сигизмунда Сераковского. — В кн.: Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов. М., 1960, с. 63—124; *Усенко П. Г.* Русско-украинско-польские революционные связи в 50-х—начале 60-х гг. XIX века: Деятельность Зыгмунта Сераковского: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев, 1981; *Marciniak Z.* *Zygmunt Sierakowski.* Warszawa, 1956.

<sup>2</sup> *Кушаков А. В.* Сигизмунд Сераковский — сотрудник «Современника». — Русская литература, 1958, № 3, с. 148—152; *Усенко П. Г.* К вопросу о сотрудничестве З. Сераковского в «Современнике». — Советское славяноведение, 1981, № 1, с. 24—33.

<sup>3</sup> *Шевченко Т. Г.* Повне збір. творів: В 6-ти т. Київ, 1964, т. 5, с. 220.

<sup>4</sup> *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 16-ти т. М., 1949, т. 6, с. 339.

<sup>5</sup> Там же, т. 14, с. 327.

<sup>6</sup> *Современник*, 1857, № 5, с. 101.

<sup>7</sup> Там же, 1856, № 12, с. 273.

оценивал Сераковский действия «порядочных» буржуа, легко превратившихся в соучастников крупных хищений, подчеркивая, что их образ жизни соответствует грабительской, хищнической сущности буржуазного общества.

Вместе с таким глубоким критиком капитализма, каким был Н. Г. Чернышевский, Зыгмунт Сераковский на страницах «Современника» неустанно, на самых разнообразных примерах разоблачал антипародный характер буржуазных политических институтов, обращая внимание на то, что, несмотря на формальное провозглашение демократических свобод, власть в капиталистических странах узурпируется богачами. Факты, приведенные в «Заграничных известиях», показывали, что на президентских выборах в США «свобода подачи голосов была на деле уничтожена».<sup>8</sup> Объяснялось и красноречие ораторов, агитировавших за очередного кандидата в президенты: «1000 ораторов по 500 долларов каждому за три месяца».<sup>9</sup> Письменное слово тоже становилось предметом купли-продажи. С сарказмом рассказывал Сераковский о типичном представителе «свободной» буржуазной печати — известном французском журналисте Э. Жирардене: «Г. Эмиль Жирарден служил всем партиям и достиг своей цели, нажил... честь и слава победителю!».<sup>10</sup>

Н. Г. Чернышевский подчеркивал, что З. Сераковский «разделял все убеждения» Н. А. Добролюбова.<sup>11</sup> «Смотрите на крестьян с уважением и надеждой... Дайте ему (крестьянину, — П. У.) возможность свободно развиваться»<sup>12</sup> — эти ключевые фразы из «Заграничных известий» З. Сераковского тождественны известному добролюбовскому тезису: «Не препятствуйте только развитию крестьян, как умственному, так и хозяйственному».<sup>13</sup> В том и другом случае выражалось признание решающей роли народных масс в развитии общества.

И Добролюбов, и Сераковский — оба они, придя в «Современник» почти одновременно, выступили на стороне Чернышевского в его последовательной борьбе с либералами. «Жизнь выше искусства», — писал Зыгмунт Сераковский в полном соответствии с положениями, выдвинутыми Чернышевским в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Он вместе с русскими революционными демократами высмеивал либеральную болтовню и бичевал тех, кто ею прикрывал свою

боязнь освободительного движения. «У него все, и успех, и гениальность, и любовь, — все должно быть умеренно» — так едко был охарактеризован в «Заграничных известиях» тип «сладенького» либерала, который «не любит сильных увлечений».<sup>14</sup>

«Заграничные известия», как и другие отделы «Современника», заставляли читателя задумываться над несовершенством существовавших в России порядков, что, как отмечено в советской историографии,<sup>15</sup> подводило к мысли о необходимости революционно-демократических преобразований в стране. При таком взгляде на «Заграничные известия» в значительной степени важно указание на особые приемы их составления, содержащиеся в письме Зыгмунта Сераковского польскому публицисту Ипполиту Скимборовичу от 10 (22) декабря 1856 года (передано в Варшаву через друга З. Сераковского — полковника русской армии О. Х. Гувальда). В этом документе, свидетельствующем о стремлении укреплять связи революционеров Польши и России, отчетливо слышны отголоски той борьбы с цензурой, которую успешно вел «Современник». «Может, я бы взялся писать вам „Известия“ из Петербурга... если думаешь, что в Варшаве пройдет хотя бы то, что в Петербурге, и что это принесет какую-нибудь пользу», — писал Сераковский и, намечая пути дальнейшего межнационального сотрудничества в журналистике и своего активного участия в этом процессе, указывал на существование в печатном органе, издаваемом русскими революционерами-демократами, особых приемов подготовки материалов, которыми овладел и он со своими польскими единомышленниками: «Итак, в „Современник“ — отчеты о нашей литературе, в твой журнал — отчеты о русской или об интересных заграничных известиях из петербургских журналов. Гувальд тебе расскажет, как мы их составляем. Помни, что в русской литературе есть поэты, как Некрасов, о котором тебе расскажет Гувальд. Помни, что это мой брат. Нам нужно договориться и жить вместе — общими усилиями».<sup>16</sup>

Сераковский стал одним из создателей знаменитого «эзопова языка» революционно-демократической журналистики России, необходимого в то время для общения с читателем в обход цензуры. Описание зарубежных событий использовалось им как форма подцензурной постановки тех острейших вопросов, которые в России середины XIX века «сводились к борьбе с крепостным пра-

<sup>8</sup> Там же, 1857, № 4, с. 97.

<sup>9</sup> Там же, № 1, с. 143.

<sup>10</sup> Там же, 1856, № 12, с. 273.

<sup>11</sup> Цит. по: Шаганов В. Н. Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и в ссылке. СПб., 1907, с. 23.

<sup>12</sup> Современник, 1857, № 7, с. 130.

<sup>13</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9-ти т. М.; Л., 1962, т. 2, с. 241.

<sup>14</sup> Современник, 1857, № 1, с. 142.

<sup>15</sup> Дьяков В. А. Сигизмунд Сераковский. М., 1959, с. 29.

<sup>16</sup> Цит. по: Писарев Г. Три письма Сигизмунда Сераковского. — Исторический архив, 1961, № 4, с. 227—228.

вом и его остатками».<sup>17</sup> Уже в первом своем публицистическом выступлении в журнале, редактируемом Н. Г. Чернышевским, Зыгмунт Сераковский смело назвал освобождение крестьян и наделение их землей «соответствующими стремлениям и духу народа».<sup>18</sup> Прямо говорить об интересах крестьян не представлялось возможным, но именно этими интересами диктовались публицистические выступления «Современника» на главном в то время направлении общественной борьбы.

В таком контексте автор «Заграничных известий» часто обращался к материалам о США. Положение в этой стране польский революционер считал таким же тяжелым для трудящихся масс, как и положение в царской России. В обеих странах зрела необходимость уничтожения подневольного труда, что позволяло, обращаясь к американским проблемам, освещать и вопросы российской действительности.

Зыгмунт Сераковский широко использовал слово «невольничество», например в статье «Взгляд на внутренние отношения Соединенных Штатов»: «Одно можно сказать положительно, что в настоящее время вопрос о невольничестве в Северной Америке самый важный и не терпящий отлагательства. Если бы даже удалось отстранить его на время, он возродился бы с новой силой, угрожая непрерывными волнениями и смутами, доколе не будет решен окончательно».<sup>19</sup>

Подцензурная оценка крепостного права, данная Сераковским, совпадает с бесцензурной — герценовской. А. И. Герцен в предисловии ко второму изданию «Крещеной собственности» писал о крепостном праве как о «язве» и «пятне» России. Польский революционер-демократ употребляет те же слова, пользуясь шифром «Америка—Россия»: «Одно пятно видно на ее (Америки), — П. У. знаменити, уселяном звездами, — невольничество, вот ее язва в настоящем и угроза в будущем».<sup>20</sup>

В одном из сообщений Сераковского («Современник» за март 1857 года) зашифровано непосредственное обращение к Герцену: «В Англии совершенно полная свобода книгопечатания. Каждый англичанин может печатать все, что ему заблагорассудится. Но книга, памфлет является одним, двумя, десятью изданиями, — следовательно, она не производит такого влияния, как журнал или газета, которая каждый день может твердить одно и то же».<sup>21</sup> Читателям той поры не составляло труда понять заключенный здесь подтекст. В Англии, в Лон-

доне, пахидилась Вольная русская типография, издания которой, несмотря на противодействие царского правительства, получили широкое распространение в России. «Полярную звезду» встречали с энтузиазмом, переписывали и пересказывали. Вот почему, коль речь зашла о свободе книгопечатания в Англии, читатель «Современника» (а он чаще всего становился в читателем как «Полярной звезды»), так и других изданий А. И. Герцена должен был подумать о русской вольной печати в Лондоне.

«Заграничные известия» выражали солидарность с Герценом, поддержку его деятельности, понимание нужности и полезности расширения форм революционной пропаганды, призывали к созданию нового действенного революционного печатного органа, каким впоследствии и стал «Колокол». В словах Сераковского заключалось мнение целого круга единомышленников, составившего революционно-демократическое ядро редакции «Современника». За единство действий с основателем Вольной русской типографии выступали и Чернышевский, и Добролюбов, который, как известно, распространял лондонские издания, корреспондировал в «Колокол».

Сопоставления в «Современнике» явлений российской действительности с зарубежными привлекли внимание графа Е. Е. Комаровского, наблюдавшего в Министерстве народного просвещения за направлением периодических изданий. В рапорте от 23 мая 1857 года он, процитировав «Заграничные известия» Сераковского, назвал их «крайне предосудительными». В результате последовало решение князя П. А. Вяземского, бывшего тогда товарищем министра народного просвещения, «поставить о вышеизложенном на вид цензующему журнал „Современник“ цензору Санкт-Петербургского цензурного комитета статскому советнику Лажечникову и редактору сего журнала, внушив особенно последнему, чтобы он впредь был осторожнее при выборе статей для своего журнала».<sup>22</sup> Статья З. Сераковского «Поэты бедных» вообще была запрещена цензурой.<sup>23</sup>

Известный участник освободительного движения 1860-х годов В. Н. Шаганов писал, что с деятельностью Зыгмунта Сераковского связана работа революционеров-демократов в журнале «Военный сборник», который с мая 1858 года начал выходить при штабе Отдельного гвардейского корпуса в Петербурге, став своеобразным приложением к «Современнику».<sup>24</sup> Сама идея вхождения Чернышевского в редакцию «Военного сбор-

<sup>17</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.

<sup>18</sup> Современник, 1856, № 11, с. 149.

<sup>19</sup> Там же, 1857, № 4, с. 67.

<sup>20</sup> Там же, № 7, с. 127.

<sup>21</sup> Там же, № 3, с. 176.

<sup>22</sup> ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1, д. 4151, л. 1—3.

<sup>23</sup> Боград В. Э. Журнал «Современник»: 1847—1866. М.; Л., 1959, с. 539.

<sup>24</sup> Шаганов В. Н. Указ. соч., с. 7.

ника», как можно предположить, была разработана им вместе с Сераковским, ставшим к тому времени слушателем Академии Генерального штаба. Стремление именно Зыгмунта Сераковского заинтересовать Н. Г. Чернышевского армейскими проблемами нашло отражение в романе «Пролог». Показательно, что в февральском номере «Современника» за 1858 год вместе с объявлением о предстоящем выходе «Военного сборника» появился рассказ «Чудо „Морского сборника“», который был программным для будущего журнала: в нем намечались его главные темы — критика феодальных порядков, установленных в армии, отставание человеческого достоинства солдата, обличение невежества крепостников, борьба с рукоприкладством, обкрадыванием нижних чинов их начальниками. В этом литературном произведении представлен тип командира, «деснице которого судьба вверила ежели не жизнь и смерть, то, по крайней мере, счастье и несчастье целой тысячи людей»,<sup>25</sup> причем антиподом жестокого майора Нурки, истязавшего солдат, выступал подполковник Травка, — выпускник Военной академии, т. е. того петербургского учебного заведения, в котором Сераковский с помощью поступившего туда же Станевича создавал интернациональную революционную организацию.

Гонорар за рассказ, подписанный псевдонимом «Иван Путинка», получил Ян Станевич, и на этом основании в литературе утвердилась мысль, что автором «Чуда „Морского сборника“» был он. Не отрицая вполне возможного его авторства, все же следует иметь в виду, что атрибуция текстов по записи в конторской книге «Современника» не гарантирует абсолютной точности. Не исключено, что авторов в данном случае было несколько, а Станевич представлял их как секретарь организации. Соавторами могли стать и Зыгмунт Сераковский, и еще один «соизгнанник оренбургский» Т. Г. Шевченко — Эдуард Желиговский (во всяком случае, заслуживает особого внимания то, что Иван Путинка — имя и фамилия, производные от Ивана Пупнева, героя вышедшего в Петербурге в 1858 году романа Желиговского «Сегодня и вчера»).

Н. Г. Чернышевский и возглавляемый им петербургский центр вели борьбу за армию, понимая, что от ее позиции в значительной мере зависит судьба революции. Участие в «Военном сборнике» явилось важным шагом в этом направлении. В списке авторов, придавших журналу острый антиправительственный характер, — близкие к Чернышевскому и Добролюбову офицеры. Материалов за подписями Сераковского и Станевича в «Военном сборнике» (впрочем, как и в «Современнике») не было (автор ста-

тей, обозначенный инициалами «З. С.», — не Зыгмунт Сераковский, а С. П. Зыков),<sup>26</sup> но, безусловно, среди многих работ, опубликованных анонимно, есть и написанные ими.

Тесные контакты З. Сераковский налажил в это время с генералом А. П. Карцовым (Карцевым),<sup>27</sup> а ведь оберквартирмейстер Отдельного гвардейского корпуса Карпов не только сам выступил на страницах первого номера «Военного сборника» со статьей «Взгляд на состояние русских войск в минувшую войну», но и, будучи непосредственным начальником над редакцией журнала, формировал ее состав. Поскольку же именно Карпов пригласил Н. Г. Чернышевского на редакторский пост, есть основания считать, что на этот выбор повлиял Зыгмунт Сераковский, который как раз в 1857 году, в подготовительный для «Военного сборника» период, был прикомандирован к Отдельному гвардейскому корпусу.

«Опять здесь поднимается вопрос о „Военном сборнике“»,<sup>28</sup> — писал 24 февраля 1857 года Карцов начальнику Главного штаба Кавказской армии Д. А. Милютину. Дело в том, что в 1854 году был издан отдельный том «Военного сборника», но тогда идея первого периодического издания для офицеров не получила развития. В 1857 году генерал Милютин, впоследствии пазывавшийся единоличным инициатором журнала, находился далеко от Петербурга. Кто же снова поднимал вопрос о «Военном сборнике»? Не исключено, что инициатива исходила из круга «Современника», в частности от Сераковского: им или кем-то из его знакомых, например старшим адъютантом штаба Отдельного гвардейского корпуса Яном (Иваном) Савицким или Н. Н. Обручевым, совмещавшим преподавание в Военной академии со службой по Гвардейскому штабу, мысль о «Военном сборнике» могла быть подана командованию Отдельного гвардейского корпуса.

«Военный сборник» сразу же приобрел огромную популярность среди прогрессивно настроенных военнослужащих. Первый номер вышел двумя изданиями, однако все заказы на него так и не были удовлетворены. По достижении шеститысячного тиража подписку пришлось прекратить, тем не менее журнал доходил практически до всех офицеров. Наиболее передовые из них становились деятельными проводниками идей журнала в жизнь, посылали в редакцию свои одобрительные отклики. Демократизм этого издания способствовал росту и укреплению оппозиционных настроений в армии.

<sup>26</sup> Русская старина, 1910, № 4, с. 143.

<sup>27</sup> Русско-польские революционные связи: В 2-х т. М., 1963, т. 1, с. 204.

<sup>28</sup> ГБЛ, ф. 169, карт. 65, д. 2, л. 56.

С растущим влиянием «Военного сборника» не могли примириться реакционеры. Военный цензор Л. Л. Штурмер запрещал печатать в петербургских газетах и журналах выписки из него, отзывы на его материалы. В своем доносении начальству он утверждал, что редактируемые Н. Г. Чернышевским издания в целом составляют «вредное направление русской литературы». После того как Александр II ознакомился с рассуждениями Штурмера, «Военный сборник» был скован двойной цензурой — специальной военной и общей (гражданской). Появились требования раскрывать псевдонимы, что грозило провалом всей подпольной работы в армии. В ответ на это Чернышевский и его соратники в декабре 1858 года демонстративно прекратили издание «Военного сборника». Дело еще раз дошло до Александра II, и царь подтвердил свою безоговорочную поддержку ревностных охранителей самодержавия, передав издание журнала из штаба Отдельного гвардейского корпуса непосредственно военному министерству. Новым главным редактором с января 1859 года был назначен П. К. Меньков, который постарался резко изменить направление журнала, за что вскоре получил «высочайшую благодарность» и чин генерал-лейтенанта.<sup>29</sup>

По воспоминаниям Н. Д. Новпцкого, сокурсника Зыгмунта Сераковского и Яна Станевича по академии, приблизительно в это же время Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов «с радостью» ожидали расширения работы в военной печати, так как Н. А. Некрасов намеревался приобрести газету «Русский инавалид».<sup>30</sup> Предпринималась попытка превратить в демократический орган и «Артиллерийский журнал». Активно сотрудничал в этом издании В. Ф. Лугинин — «товарищ и приятель» выдающегося польского революционера, выпускника Артиллерийской академии Зыгмунта Падлевского. О последнем известно, что он был близок к Сераковскому, Станевичу и Шевченко. (Видимо, не случайно братьев Лугининых называют прототипами созданного Чернышевским образа Нивельзига — одного из центральных в «Прологе».)<sup>31</sup>

Обращает на себя внимание письмо, помещенное в «Артиллерийском журна-

ле» и подписанное криптонимом «И. С.», что соответствует инициалам Яна (Ивана) Станевича: «...первое преобразование „Артиллерийского журнала“ должно состоять в том, чтобы сделать его занимательным. Но что такое занимательное чтение? Что занимательно для одного, не интересно для другого. Как и всегда, большинство должно взять перевес, а для большинства занимательное чтение составляет литературная статья, хорошо рассказанная и не имеющая предметом своим вздора. Поэтому введение в „Артиллерийский журнал“ литературного отдела есть первый шаг его к успеху. Но настоящее общество, кроме литературного отдела, интересуется и современным ходом событий, поэтому „Артиллерийский журнал“ должен быть журнал политический. Итак, я предполагаю введением двух новых отделов в „Артиллерийский журнал“ сделать его для большинства занимательнее».<sup>32</sup>

Поиск возможностей сочетания легальной и нелегальной работы в армии шел еще в одном направлении. Не либеральному князю Н. А. Орлову и тем более не особам царской фамилии, как нередко утверждалось в буржуазной историографии,<sup>33</sup> а польскому (п одновременно всероссийскому) революционеру-демократу Сераковскому принадлежит инициатива официальной постановки вопроса о ликвидации в России крепостнической системы наказаний: с его докладной запиской об этом правительство познакомилось в ноябре—декабре 1860 года<sup>34</sup> — более чем за три месяца до того, как русский посланник в Брюсселе князь Орлов подал Александру II свою записку «Об уничтожении телесных наказаний в Российской империи и Царстве Польском». Позиция польских, русских и украинских революционеров-демократов по отношению к варварской «зеленой улике» шпирутенов и розог была общей. Н. Г. Чернышевский называл телесные наказания «противными здравому смыслу».<sup>35</sup> Т. Г. Шевченко гневно заклеймил их в рисунке «Наказание шпирутенами» из серии «Притча о блудном сыне».<sup>36</sup> Борьба против побоев являлась одним из основных пунктов программы «Колокола».<sup>37</sup>

<sup>32</sup> Артиллерийский журнал, 1862, № 3, с. 185—186.

<sup>33</sup> См., например: *Голицын Н. С.* Телесные наказания в России и их отмена. — Русская старина, 1890, № 4, с. 73—83; *Тимофеев А. Г.* Реформа телесных наказаний в русском праве. 2-е изд. СПб., 1904, и др.

<sup>34</sup> ЦГВИА СССР, ф. 801, оп. 99/73, 1860 г., д. 180, л. 117—118.

<sup>35</sup> *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 16-ти т., т. 6, с. 494.

<sup>36</sup> См.: Шевченківський словник: В 2-х т. Київ, 1977, т. 2, с. 142—143.

<sup>37</sup> Колокол, 1857, 1 июля.

<sup>29</sup> ЦГВИА СССР, ф. 1, оп. 1, д. 1306, л. 72, 79.

<sup>30</sup> *Новицкий Н. Д.* Из далекого миновавшего. — В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М., 1982, с. 174.

<sup>31</sup> См. подробнее: *Новикова Н. Н.* 1) Революционеры 1861 года. М., 1968; 2) Братья Владимир и Святослав Лугинины в годы первой революционной ситуации. — В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1974, с. 135—163.

А. И. Герцен, описывая, несомненно со слов самого З. Сераковского, его военную службу в Отдельном оренбургском корпусе, отмечал: «Там коротко изучил он ужасное положение полкового крепостного, военного раба, называемого солдатом. В дали, в которой не было ни контроля, ни посторонних, кроме киргиз, он наглядился на телесные наказания, и с тех пор им овладела одна мысль, дошедшая у него до фанатизма, до *idée fixe*, — добиться уничтожения палок, розог, шпицрутенов и пр. в русской армии».<sup>38</sup>

«Казарма в России, — писал В. И. Ленин, — была сплошь да рядом хуже всякой тюрьмы; нигде так не давили и не угнетали личности, как в казарме; нигде не процветали в такой степени истязания, побои, надругательство над человеком».<sup>39</sup> В таких условиях долгие годы пребывали и Станевич, и Сераковский, сделавший именно здесь свои первые шаги по пути революционной пропаганды в армии. В уста героя романа Н. Г. Чернышевского «Пролог» Болеслава Соколовского, прообразом которого был Зыгмунт Сераковский, вложены замечательные слова, подчеркивающие его интернационалистские черты: «Я военный; — так или иначе, по своей ли воле или по капризу судьбы, я военный русской службы и сжился с жизнью моих сослуживцев; и полюбил их; — за то, что судьба привела меня полюбить их, я благодарю судьбу».<sup>40</sup>

Чернышевскому принадлежит и такой рассказ о личных побудительных причинах по-особенному острого отношения своего польского соратника к вопросу о телесных наказаниях. «Сераковский получил от начальства дозволение в воскресные дни читать Евангелие солдатам — так передает слова Н. Г. Чернышевского его со товарищ по каторге С. Г. Стахевич. — Чтение и беседы после чтения имели одним из своих косвенных последствий, что некоторые слушатели восчувствовали бремя жизни с незнакомою им до того острою; им невмоготу стало тянуть солдатскую ляжку, и они бежали в Персию. Часть бежавших была поймана; их привели обратно, наказали шпицрутенами; некоторые из них под шпицрутенами и умерли. Это был для Сераковского один из толчков, побудивших его стремиться, насколько позволяют силы и обстоятельства, к уничтожению телесных наказаний в войске».<sup>41</sup>

Борьба за искоренение телесных наказаний, которую неустанно вел З. Се-

раковский, своим острием направлялась против самодержавия. Облегчение положения солдат, «самого бедного, самого жалкого», по словам Т. Г. Шевченко, словесия,<sup>42</sup> позволяло значительно расширить круг возможных участников революционного движения за счет вовлечения в общественную жизнь армейской массы, создавало предпосылки для роста революционной пропаганды. Конечной целью своей работы в среде военнослужащих и соответственно своих выступлений в военной печати революционер-демократы видели превращение армии из оплота царизма в защитницу народных интересов, в один из очагов революции.

В июне 1860 года З. Сераковский, окончивший академию и прикомандированный к департаменту Генерального штаба, был направлен военным министерством за границу для участия в Лондонском международном статистическом конгрессе, а также для «изучения форм военного судопроизводства и собрания историко-статистических сведений об армиях главнейших государств Европы».<sup>43</sup> По мере накопления и обработки своих исследований он посылал в Петербург отчеты-донесения, ставшие основой четырех его статей, опубликованных в журнале «Морской сборник» (январь—апрель 1862 года) под общим названием «Извлечение из писем о военно-уголовных законодательствах и о военных учреждениях главнейших европейских государств».

В Лондоне Зыгмунт Сераковский познакомился и подружился с А. И. Герценом, с которым обсуждал свои записки перед тем, как предать их гласности.<sup>44</sup> Оригиналы материалов З. Сераковского обнаружить пока не удалось, но составить определенное представление о них позволяют упомянутые публикации в «Морском сборнике». Из них особенно выделяется та, что отнесена в тексте к появлению 1860 года. Она имеет подзаголовок «Франция», но в ней только изредка упоминается собственно французское военно-уголовное законодательство, да и то в тесной связи с делами России. В служебной переписке военного министерства соответствующий документ, полученный от Сераковского из Парижа, прямо именуется особой запиской «по предмету уничтожения у нас (т. е. в русской армии, — П. У.) телесных наказаний».<sup>45</sup> Когда речь шла о зарубежных странах, бдительность цензуры несколько притуплялась. С уче-

<sup>38</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1959, т. 17, с. 218.

<sup>39</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 12, с. 112.

<sup>40</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16-ти т., т. 13, с. 117.

<sup>41</sup> Цит. по: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, с. 331—332.

<sup>42</sup> Шевченко Т. Г. Повне зібр. творів: В 6-ти т., т. 5, с. 16.

<sup>43</sup> ЦГВИА СССР, ф. 801, оп. 99/73, 1860 г., д. 180, л. 27.

<sup>44</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т., т. 17, с. 220.

<sup>45</sup> ЦГВИА СССР, ф. 801, оп. 99/73, 1860 г., д. 180, л. 120.

том этого обстоятельства в русской печати широкое распространение получили письма из-за рубежа, иностранные известия и т. п. Их форма давала возможность выразить то, что нельзя было прямо сказать о России. Достаточно вспомнить итальянские корреспонденции Н. А. Добролюбова, статьи Н. Г. Чернышевского о Франции, Австрии, Сербии или «Взгляд на внутренние отношения Соединенных Штатов» самого Зыгмунта Сераковского и его же «Заграничные известия» в «Современнике». В том же ряду стоит «Извлечение из писем о военно-уголовных законодательствах и военных учреждениях главнейших европейских государств».

Выступление революционеров-демократов за раскрепощение армии получило широкий общественный резонанс. Следует отметить, что по времени выход статей Зыгмунта Сераковского в «Морском сборнике» совпал с появлением в «Военном сборнике» реакционных «Кавалерийских очерков» флигель-адъютанта Эмилия Витгенштейна, имевших целью сохранение прежней системы жесточайших наказаний. Князь Витгенштейн бесцеремонно заявлял, что дисциплина в армии должна основываться на грубом физическом насилии, рукоприкладстве и шпицрутенах: «Телесные наказания, по своей непродолжительности и удобству исполнения, представляют неисчислимые выгоды; против упрямства, злобы и умышленного неисполнения обязанностей они вполне радикальное средство. Их можно назначать и на бивуаках, при кратковременной остановке, и под самым неприятельским огнем, избегая слишком медленной процедуры и проволочек».<sup>46</sup>

Помещение подобных суждений на страницах «Военного сборника», журнала, ранее редактировавшегося Н. Г. Чернышевским, возмутило передовую часть русских офицеров. В газетах появились негодующие отклики. Одним из самых обстоятельных среди них было выступление полковника Отдельного гвардейского корпуса Михаила Лелюхина, подписавшегося инициалами «М. Л.». «Мы помним, — писал он, — с каким восторгом наше общество приветствовало первые номера журнала „Военный сборник“, в котором молодое поколение офицеров горячо восстало против грубого обращения с солдатами. Одновременно и другие литературные органы проводили в массы своих читателей гуманные идеи. Все это не могло не действовать благотворно на деятелей во всех сферах общества... И вот... в том же журнале, в котором проводились идеи человеческого обращения с солдатами, мы прочитали приведенные выше строки!» В своем выступлении против «Кавалерийских очерков» и редакции журнала, опубликовавшего их, Лелюхин приводил

обширные цитаты из статей Сераковского и «Военного сборника» под редакцией Н. Г. Чернышевского. Прекрасно зная настроения офицеров, воспитанных Чернышевским, М. Лелюхин писал: «Итак, храбрый защитник отечества, во мнении князя Витгенштейна, розги так же необходимы для тебя, как соль ко щам, как масло к каше. Но мы уверены, что за тебя раздается могучее слово в нашей литературе».<sup>47</sup>

И действительно, в печати вскоре появился гневный протест 106 офицеров разных родов войск и разных национальностей. Их письмо 29 марта 1862 года было опубликовано в газете «Северная пчела», а затем перепечатано в «Морском сборнике» и «Колоколе». Обращаясь к обласканному царем главному редактору «Военного сборника» генералу Менькову, офицеры заявили, что, помещая «Кавалерийские очерки», защищавшие телесные наказания, его журнал распространяет невежество и проводит «взгляды, доказывающие возмутительное непонимание духа русского солдата и потребностей общества».<sup>48</sup>

Выступление 106 офицеров, формально являющееся нарушением запрещения действовать в армии «скопом», вызвало целую волну цензурных репрессий: власти запретили публикацию каких бы то ни было связанных с этим делом новых материалов.<sup>49</sup> Между тем изучение военной печати 60-х годов позволило обнаружить, что революционерам-демократам удалось нанести сильный удар реакции — и, совершенно для нее неожиданно, через тот же «Военный сборник» Менькова. Против телесных наказаний на его страницах выступил Ян Станевич, который после окончания Военной академии остался в ней помощником библиотекаря. В обнаруженной нами «Ведомости напечатанных сочинений гг. офицеров Генерального штаба и статей, помещенных в периодических изданиях» сказано, что штабс-капитану Станевичу принадлежит авторство появившихся в «Военном сборнике» за 1862 год заметок по поводу статей Сераковского.<sup>50</sup>

Эти «Заметки...» заслуживают самого пристального изучения. Не случайно военный цензор Л. Л. Штурмер, особенно остро реагировавший на проявление антиправительственных мыслей (это он первым донес на «Военный сборник», редактировавшийся Н. Г. Чернышевским), сразу же обратил на них внима-

<sup>47</sup> Северная пчела, 1862, 27 марта.

<sup>48</sup> Там же, 29 марта. См. также: Дьяков В. А., Смирнов А. Ф. Протест 106 офицеров. — В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1960, с. 224—237.

<sup>49</sup> ЦГИА СССР, ф. 773, оп. 1, 1862 г., д. 65, л. 1—8.

<sup>50</sup> ЦГИА СССР, ф. 38, оп. 3, д. 368, л. 99.

<sup>46</sup> Военный сборник, 1862, № 2, с. 441.

ние пового военного министра Д. А. Милютина, приведя обширные выписки из них и указав, что здесь еще дальше развиваются положения, ранее высказанные З. Сераковским в «Морском сборнике».<sup>51</sup>

Значительно более яркими красками и, главное, с более определенным указанием на то, что все им сообщаемое относится к России, Ян Станевич рисует положение в армии. «На страхе построена была вся система иерархического подчинения. Сила устрашения должна была постоянно увеличиваться в отношении, обратном ступеням иерархической лестницы. Система эта формулировалась, наконец, знаменитым афоризмом: „Солдат должен бояться начальника более, нежели неприятеля“. Для воплощения этой идеи в дело необходимо явился целый ряд жестоких дисциплинарных наказаний, помимо всякого суда, единственно по доброй воле начальника... Чтобы громы начальства были страшны, нужно было в тех же руках оставить и молнии».<sup>52</sup>

Называя статистику преступлений и наказаний за них «диагностикой общественной жизни», Ян Станевич использовал факты, собранные Зыгмунтом Сераковским, для того, чтобы подвести читателя к выводу о необходимости переустройства всего общества, к мысли о том, что притеснение народа вызовет ответную реакцию, противодействующую силе угнетения.

Показательно совпадение мыслей Станевича с теми, которые хотел провести через цензуру Добролюбов. Цензор «Современника» изъясил из его рукописи «Народного дела» фразу: «Нет такой вещи, которую бы можно было гнуть и тянуть бесконечно: дойдя до известного предела, она непременно изломится или оборвется. Так точно нет на свете человека и нет общества, которого нельзя было бы вывести из терпения».<sup>53</sup> Через полгода после смерти Добролюбова эта мысль была отражена в «Военном сборнике». Станевич лишь выразил ее по-своему: «Некоторые механические законы совершенно применяются и в мире нравственном. Известно, что всякое тело имеет предел сжимаемости, за которым возбуждается уже или реакция, противодействующая силе, или разрушение тела».<sup>54</sup>

Выступление польских революционеров на страницах русской военной печати было подчинено задаче пробужде-

ния и развития прогрессивных, демократических сил в армии, подготовке к открытому вооруженному выступлению против царизма. Чем больше обострялись классовые противоречия в стране, тем восприимчивее становилось войско к революционной пропаганде. Однако надежды на крестьянскую революцию, которую поддержала бы армия, не оправдались. Крестьяне не пошли дальше разрозненных волнений, войско осталось верным защитником царизма. Лишь лучшие представители армии приняли активное участие в освободительном движении в России, в польском восстании 1863 года. «Любопытно, — отмечал в своих воспоминаниях Н. В. Шелгунов, — что офицеры дали наибольшее число освободившихся людей».<sup>55</sup>

Военная сила царизма была враждебной и русскому, и украинскому, и польскому, и другим народам, но солдаты (в основном, бывшие крепостные) сами испытывали социальный гнет в специфических условиях казарменного быта. Деятельность революционных демократов в армии являлась формой их связи с народом, ей принадлежала важная роль в расширении круга борцов с царизмом, в ослаблении самодержавия. Революционная ситуация на рубеже 50—60-х годов XIX века пошатнула феодально-крепостнический строй в Российской империи. Царское правительство было вынуждено пойти на уступки демократическим силам: это и «крестьянская реформа», и ряд других. В частности, 17 апреля 1863 года в армии были отменены телесные наказания, хотя и с оговорками. Самодержавие по своей крепостнической сути не могло отказаться от взгляда на вооруженные силы как на средство физической расправы над непокорными, продолжая насилием закреплять рабскую психологию в самом войске, а с его помощью — в крестьянстве. Борьба революционеров за раскрепощение солдатских масс продолжалась.

Участие З. Сераковского и его польских единомышленников в русской журналистике — показатель революционно-демократического интернационализма: польские революционные демократы пришли к пониманию необходимости сплочения представителей разных народов, входивших в состав Российской империи, в борьбе против самодержавно-крепостнического строя. Вместе с Н. Г. Чернышевским выступали не просто союзники, а соратники в общем деле социального и национального освобождения.

<sup>55</sup> Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: В 2-х т. М., 1967, т. 1, с. 132.

<sup>51</sup> Там же, ф. 167, оп. 1, д. 4, л. 73—85.

<sup>52</sup> Военный сборник, 1862, № 6, с. 369.

<sup>53</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9-ти т., т. 5, с. 249.

<sup>54</sup> Военный сборник, 1862, № 6, с. 371.

М. Д. Эльзон

## СУЩЕСТВОВАЛА ЛИ РУКОПИСЬ ПОВЕСТИ Н. С. ЛЕСКОВА «АМУР В ЛАПОТОЧКАХ»?

В творческой истории произведений Н. С. Лескова одна из неясных страниц — проблема двух редакций «Жития одной бабы».

Под таким названием (с подзаголовком «Из гостомельских воспоминаний») повесть была впервые опубликована в «Библиотеке для чтения» (1863, № 7—8). В 1868 году, в предисловии к «Повестям, очеркам и рассказам», Н. С. Лесков оповестил, что во втором томе, наряду с другими, уже опубликованными произведениями, будет напечатан и «опыт крестьянского романа» «Амур в лапоточках».<sup>1</sup> Однако этого не произошло. Более того, ни «Житие одной бабы», ни «Амур в лапоточках» при жизни Н. С. Лескова не выходили отдельными изданиями, ни то, ни другое писатель не включил ни в переиздание 1873 года, ни в Собрание сочинений 1889—1890 годов. Только в 1924 году в издательстве «Время» была издана книга (обложка Б. М. Кустодиева), на титульном листе которой значилось: «Н. С. Лесков. Амур в лапоточках. Крестьянский роман. Новая неизданная редакция с послесловием П. В. Быкова». Небольшой критико-биографический очерк изобладал мемуарными вкраплениями. По поводу впервые издаваемой редакции публикатор писал: «Своему „опыту крестьянского романа“ Лесков придавал немалое значение. Пересматривая это произведение и устраняя его недостатки, он стал с течением времени все больше и больше подчеркивать выводы, порою сильно волновавшие его. Собрав однажды тесный кружок литературных друзей, Николай Семенович прочел им роман и тут же заявил о намерении переделать его коренным образом. Намерение свое Лесков осуществил. Значительно изменив роман, он предполагал выпустить его отдельным изданием, но не решился сделать этого в силу существовавших в то время (конец 80-х годов) тяжелых цензурных условий. Отказавшись от мысли напечатать роман при жизни, Лесков принес его в дар пишущему эти строки. „Вы составили мне, — сказал Лесков, — полную библиографию всех моих работ —

труд огромный; вы при жизни редактировали ревностно полное собрание моих сочинений, за что я и принес вам мою печатную благодарность<sup>2</sup>. . . Только этого мало, и я считая справедливым принести вам в дар переделанное «Житие одной бабы», которое я назвал «Амуром в лапоточках». Простите и не судите! Вам он, быть может, пригодится со временем, когда наступят для крестьянства иные дни и когда интерес к нему возрастет». Последнее не раз повторял мне Николай Семенович, наделявший меня теплой дружбой».<sup>3</sup> В заключение П. В. Быков назвал издание «Амура в лапоточках» «как нельзя более своевременным, так как, помимо высоких художественных достоинств, этот роман имеет также и крупное историческое значение, рисуя потрясающую картину отошедшего в вечность крепостного крестьянского быта».<sup>4</sup>

Издание не прошло незамеченным. Так, в рецензии И. Кубикова (И. Н. Деметьева) отмечалось, что в повести представлен «яркий клочок кошмарного старого быта: он дает нам представление о степени крестьянского бесправия в далекую от нас эпоху!»<sup>5</sup> «Свободный от присущих Лескову недостатков, — отмечал в заключение критик, — роман „Амур в лапоточках“ может быть отнесен к категории лучших произведений писателя».<sup>6</sup>

В более содержательной, но столь же лаконичной рецензии Б. М. Эйхенбаума<sup>7</sup> был дан предварительный текстологический анализ обеих редакций. «Новая редакция, — говорилось в рецензии, — вносит очень мало изменений в стиль повести — переделка состояла, главным образом, в сокращении. Повесть вырав-

<sup>2</sup> Имеется в виду заметка «Товарищеский подарок» («Новое время», 1888, 3 окт., № 4525; Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11-ти т., т. 11, с. 238—239), но она посвящена указателю «Библиография сочинений Н. С. Лескова» (СПб., 1889). Поскольку в указателе приведен ряд анонимных публикаций писателя и, кстати, отсутствует известная статья о пожарах («Северная пчела», 1862, 30 мая, № 143), можно полагать, что Н. С. Лесков консультировал составителя.

<sup>3</sup> Лесков Н. С. Амур в лапоточках. Л., 1924, с. 127—128.

<sup>4</sup> Там же, с. 128.

<sup>5</sup> Печать и революция, 1924, № 6, с. 238.

<sup>6</sup> Там же, с. 239.

<sup>7</sup> Русский современник, 1924, № 3, с. 260—261.

<sup>1</sup> Стебницкий М. [Лесков Н. С.]. Повести, очерки и рассказы. СПб., 1867, т. 1, с. II. Предисловие датировано 21 февраля 1868 года (в «Хронологической канве...» указано 14 февраля и отмечено, что книга вышла 16 февраля — см.: Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11-ти т. М., 1958, т. 11, с. 809); этот же год указан на обложке. На титульном листе — 1867 год.

пена по линии фабулы. . . Видно, что Лесков хотел придать этой вещи больше стройности и последовательности. Стилистическая пестрота, по-видимому, не смущала его. . . Некоторые изменения показывают, что в новой редакции Лесков хотел даже ослабить впечатление сказа.<sup>8</sup> «Будущему редактору полного собрания сочинений Лескова. . . — указывал Б. М. Эйхенбаум, — предстоит решить, какой из этих двух текстов должен быть „основным“».<sup>9</sup>

Однако отношение к текстам определилось много раньше: при подготовке «избранного» Лескова Б. М. Эйхенбаум предпочел «Житие одной бабы»,<sup>10</sup> а Л. П. Гроссман — «Амура в лапоточках».<sup>11</sup> Обстоятельный анализ обеих редакций содержался в статье Н. С. Плещунова.<sup>12</sup> Об «Амуре в лапоточках» как о достоверном лесковском тексте писали В. А. Десницкий,<sup>13</sup> Б. М. Другов,<sup>14</sup> А. Н. Лесков.<sup>15</sup> «Не случайным» считает переименование повести И. В. Столярова.<sup>16</sup> Как достоверный лесковский текст «Амур в лапоточках» фигурирует и в указателях.<sup>17</sup>

Комментируя «Житие одной бабы» в первом томе 11-томника Н. С. Лескова, Б. М. Эйхенбаум, проанализировав рассказ П. В. Быкова, охарактеризовал его как «неясный и не вполне правдоподобный», а текст издания 1924 года — как не могущий «считаться вполне авторитетным и исправным».<sup>18</sup> Это не помешало ему, однако, привести здесь же большой фрагмент из второй редакции как достоверный лесковский текст.<sup>19</sup>

<sup>8</sup> Там же, с. 261.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Лесков Н. С. Избр. соч. М.; Л., 1931, с. 3—169, 743—745.

<sup>11</sup> Лесков Н. С. Избр. произв. 2-е изд. Л., 1934, с. 198—274, 376.

<sup>12</sup> Плещунов Н. С. Заметки о стиле повестей Лескова: IV. Две редакции романа Н. С. Лескова из крестьянской жизни. Баку, 1928, с. 55—62. (Литературный семинарий А. В. Багрия; Вып. IV; отд. отт.).

<sup>13</sup> Десницкий В. А. Крестьянские рассказы Н. С. Лескова. — Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1938, т. 14, с. 187—189.

<sup>14</sup> Другов Б. М. Н. С. Лесков. 2-е изд. М., 1961, с. 33.

<sup>15</sup> Лесков А. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, с. 175, 574.

<sup>16</sup> Столярова И. В. Повесть Н. С. Лескова «Житие одной бабы». — В кн.: Русская и зарубежная литература. Омск, 1965, с. 63.

<sup>17</sup> Шестериков С. К библиографии сочинений Н. С. Лескова. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1926, т. 30, с. 295; Лесков и Орловский край / Сост. Л. К. Андреева. Орел, 1980, с. 18.

<sup>18</sup> Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11-ти т., т. 1, с. 502, 503.

<sup>19</sup> Там же, с. 503—504.

Сомнения в правдоподобности рассказа П. В. Быкова усугубляются при не проводившемся до сих пор сопоставлении с его другими воспоминаниями о писателе. Я имею в виду специальную главу в известной книге П. В. Быкова «Силуэты далекого прошлого» (1930). Здесь П. В. Быков, напомнив о своей работе по библиографированию произведений Н. С. Лескова, сообщил: «Собрание сочинений своих Лесков выпустил под моей редакцией, положившись на мой выбор, скажу искренно, довольно строгий. За мою „товарищескую помощь“ он выразил мне благодарность печатно, а устно вспоминал об этом постоянно при всяком случае, а иногда и без всякого повода».<sup>20</sup> П. В. Быков явно преувеличил свою роль в подготовке собрания сочинений Лескова, о чем свидетельствует сохранившееся письмо к нему Н. С. Лескова от 14 июля 1890 года, в котором, в частности, говорится: «В каком-то году — не помню, в каком именно, — я поместил в „Художественном журнале“ Николая Александрова рассказ под заглавием „Тупейный художник“. Его, кажется, нет в Вашей библиографии, а он необходимо нужен на наполнение огромной прорехи VI тома и его никак не могут разыскать».<sup>21</sup>

В приведенном фрагменте из главы воспоминаний обращает на себя внимание то, что здесь ничего не сказано о подаренной рукописи. О ней говорится раньше: «И в первой половине своей литературной деятельности, в шестидесятых годах, Лесков недолго сидел над рукописью, но тогда он редко делал существенные поправки в корректуре. Но зато потом, помещая свои вещи в какой-нибудь сборник своих беллетристических произведений, он правил их немилосердно. Незадолго до смерти подарил он мне на память начатую им переделку своего большого рассказа „Житие одной бабы“, напечатанного в „Библиотеке для чтения“ и названного им по-новому: „Амур в лапоточках. Опыт крестьянского романа“».<sup>22</sup> Можно только гадать, каким образом «начатая» переделка превратилась в «коренную».

Окончательно ответить на вопрос, поставленный в заголовке сообщения, позволяют неизвестные ранее документы, связанные с историей издания 1924 года.

В архиве издательства «Прибой» сохранилось письмо заведующего Госиздатом О. Ю. Шмидга к С. М. Заксу-Гладневу от 15 января 1924 года, в котором говорится, что «издание предложенного П. В. Быковым „Словаря псевдонимов русских писателей XVIII и XIX вв.“ для

<sup>20</sup> Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. М.; Л., 1930, с. 162.

<sup>21</sup> ГПБ, ф. 118, № 536, л. 2. «Тупейный художник» был зафиксирован в указателе.

<sup>22</sup> Быков П. В. Указ. соч., с. 161.

Госиздата в настоящее время невозможно», поскольку «очень незначительное количество листов», отведенное для издания «исторической литературы», «предоставлено для современной литературы». Что касается «Амура в лапоточках», продолжал О. Ю. Шмидт, то Госиздат «просит прислать рукопись или копию» «на просмотр», поскольку «без этого не может согласиться на издание».<sup>23</sup> Здесь же находится копия сопроводительного письма к П. В. Быкову от 18 января 1924 года<sup>24</sup> (привожу текст по оригиналу, сохранившемуся в архиве П. В. Быкова, поскольку в копии отсутствует подпись): «Тов. П. В. Быкову. Детское Село. 18 янв. 1924 г. Согласно обещанию спешу Вам переслать полученное мною из Москвы письмо заведующего Госиздатом тов. О. Ю. Шмидта. С совершенным уважением С. Закс-Гладнев. Приложение: Письмо О. Ю. Шмидта».<sup>25</sup>

Из письма О. Ю. Шмидта следует, что П. В. Быков предлагал издать имеющуюся у него рукопись Н. С. Лескова (поскольку копия могла быть снята только с нее). Получив копию письма О. Ю. Шмидта, П. В. Быков месяц спустя обратился в Ленинградское отделение Госиздата со следующим прошением:

«В Ленинградское отделение Госиздата  
П. В. Быкова, жит(ельствующего)  
в Детском Селе по Новой улице,  
д. № 4, кв. 2

#### Заявление

Незадолго до смерти Н. С. Лесков указал мне на невошедшее ни в одно издание его сочинений свое произведение „Амур в лапоточках (Житие одной бабы. Опыт крестьянского романа)“, напечатанное им впервые в „Библиотеке для чтения“ за 1863 год. В настоящее время я хотел бы осуществить волю покойного и издать через посредство какого-нибудь частного издательства это произведение, почему прошу дать разрешение в том смысле, что со стороны Ленингосиздата нет препятствий к изданию этого произведения Н. С. Лескова в частном издательстве.

16 февраля 1924 г.

Петр Быков»<sup>26</sup>

На письме — резолюция заведующего редактором Ленгосиздата Д. Н. Ангерта: «См. Препятствий не встречается».

Совершенно очевидно, что никакой «воли покойного» П. В. Быков не исполнил, как ясно и то, что рукописью «Амура в лапоточках» он не располагал (иначе, конечно же, предоставил бы копию Госиздату или сообщил о «подарке» в прошении). Следовательно, изменения, произведенные в тексте «Жития одной бабы», Н. С. Лескову не принадлежали. Поэтому говорить об «Амуре в лапоточках. Опыт крестьянского романа» можно только как о раннем неосуществленном замысле писателя.

<sup>23</sup> ЛГАЛИ, ф. 33, оп. 1, № 4, с. 35.

<sup>24</sup> Там же, л. 27.

<sup>25</sup> ГПБ, ф. 118, № 706. Текст — машинопись, подпись — автограф. Письмо О. Ю. Шмидта (копия) в частях архива П. В. Быкова, находящихся в ЦГАЛИ, ИРЛИ и ГПБ, отсутствует.

<sup>26</sup> ЛГАЛИ, ф. 35, оп. 1, № 214, л. 271. Текст — лиловыми чернилами, неустановленным почерком; подпись — черными чернилами, рукой П. В. Быкова.

Л. Я. Лурье

## НАРОДОВОЛЬЦЫ И ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ

(НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

В 1907 году в издательстве А. Ф. Маркса вышло полное собрание сочинений Г. И. Успенского. Автором биографической статьи о писателе был в нем известный книговед Н. А. Рубакин.<sup>1</sup> Сохранились записанные Рубакиным (вероятно, в связи с работой над статьей) воспоминания об Успенском на-

родовольцев В. Н. Фигнер и А. Н. Шипицына.<sup>2</sup> Записи эти Рубакин в статье не

<sup>1</sup> ГБЛ, ф. 358.158.10, л. 1—4. Описание см. в кн.: Воспоминания и дневники XVIII—XX в.: Указатель рукописей. М., 1976, с. 375, 411. Обращался Рубакин с просьбой рассказать о встречах с Успенским и к Г. А. Лопатину, но тот сделать этого по разным обстоятельствам не смог (см.: *Давыдов Ю. В. Герман Лопатин: Его друзья и враги.* М., 1984, с. 195).

<sup>1</sup> Глеб Иванович Успенский: Материалы к его биографии. — В кн.: Успенский Г. И. Полн. собр. соч. 6-е изд. СПб., 1908, т. 2, с. I—CIV.

использовал. Наверное, не пригодились они потому, что противоречили убеждению Рубакина в чрезвычайной близости Успенского к «Народной воле».<sup>3</sup>

Вера Николаевна Фигнер впервые встретилась с Успенским в конце лета 1879 года на петербургской квартире их общего знакомого, народовольца А. И. Иванчина-Писарева. В сентябре того же года Фигнер уехала из Петербурга и вернулась туда только в июле 1880 года. С этого времени по май 1881 года Фигнер и Успенский виделись довольно часто. Затем Вера Николаевна снова уехала; в феврале 1883 года ее арестовали. Больше они с писателем не встречались.

Итак, знакомство длилось в общей сложности меньше года, встречи не были регулярными. И тем не менее роль Фигнер в жизни и творчестве Успенского весьма значительна. Фигнер послужила прототипом «девушки строгого, почти монашеского типа» из знаменитого рассказа «Выпрямил». «Энергичная женщина, великая подвижница», причислявшаяся Успенским к «великим людям», «радетелям о русской земле», Фигнер являлась ему во время болезни в образе несущей облегчение страданий «монахини Маргариты».<sup>4</sup>

Впечатление Фигнер от Успенского куда менее восторженно. Воспоминания революционерки о писателе окрашены «нестесняющейся прямотой», свойственной, по меткой характеристике В. Вересаева,<sup>5</sup> и ее мемуарам и поведению в повседневной жизни. Разочарование, которое Фигнер испытала в ходе знакомства с Успенским, объясняется несколькими причинами.

Во-первых, это резкое различие, проводимое Фигнер между своими товарищами-народовольцами и «радикалами» (как бы близко к подполью они ни стояли); в отношении к последним всегда чувствуется известный холодок. В другом месте Фигнер писала о причине своей неудовлетворенности встречами с Успенским: «... мои мысли в то время были так сконцентрированы на заговорщической деятельности, что я не могла понять, что от всякого надо требовать по способностям, и меня страшно огорчало, что Успенский только писатель, публицист и художник».<sup>6</sup> Приво-

димая ниже фраза Фигнер: «... он был сочувствующим революционному движению, но не партийным» тем самым значима для ее системы оценок.

Во-вторых, для ярчайшей семидесятницы Фигнер был неприемлем бытовой уклад предшествующего поколения, к которому принадлежал Успенский и большинство его окружения. Она писала: «Между людьми 60-х и 70-х годов была целая пропасть по отношению к... психическому укладу и общественным навыкам... они были индивидуалистами в сравнении с нами... не прочь были хватить рюмочку, что уже совершенно не входило в нравы нашего поколения...»<sup>7</sup> Ригоризм, свойственный Фигнер и ее сверстникам, отчетливо проступает в публикуемых воспоминаниях.

В-третьих, Г. И. Успенский не воспринимался народовольцами ни как властитель дум, ни даже как крупнейший писатель (в отличие, скажем, от И. С. Тургенева и отчасти Ф. М. Достоевского). Как раз в эти годы взгляды писателя на крестьянство осуждались большинством публицистов, близких к подполью (Г. Плехановым, И. Каблицем, П. Червинским).<sup>8</sup> Спор между Фигнер и Успенским о «шоколадном мужике», о котором она вспоминает, лишнее тому подтверждение.

Взаимоотношения Успенского с «Народной волей» были сложными. Характерно, в частности, что особенная личная близость соединяла его с теми из революционеров, кто стоял вне главных организационных центров революционного народничества, — «партизанами» революции Г. Лопатиным, Н. Грибоедовым, О. Веймаром, П. Григорьевым. Преклоняясь перед человеческой цельностью таких людей, как Фигнер, Успенский и идеологически и практически не был полным союзником народовольцев.<sup>9</sup>

Публикуемые воспоминания Фигнер содержат ряд эпизодов, отчасти появившихся в печати в составе других ее мемуарных произведений — в «Запечатленном труде» (пребывание у писателя днем 1-го марта),<sup>10</sup> в статье «С горстью золота среди нищих» (спор о «шоколадном мужике» и признание правоты Успенского в этом споре),<sup>11</sup> в выступлении «На вечере... в память 25-летия со дня смерти

<sup>3</sup> Оценку статьи Н. А. Рубакина см. в кн.: *Чешихин-Ветринский В. Е. Глеб Иванович Успенский*. М., 1929, с. 248.

<sup>4</sup> См.: *Иванчин-Писарев А. И. Хождене в народ*. М.; Л., 1929, с. 322—332, 389—390; Глеб Успенский: Материалы и исследования. М.; Л., 1938, т. 1, с. 227; Глеб Успенский / Редакция и комментарии А. С. Глиники-Волжинского и Г. А. Лемана. М., 1939, с. 180, 447, 510 и др.

<sup>5</sup> *Вересаев В.* Собр. соч.: В 5-ти т. М., 1961, т. 5, с. 383—394.

<sup>6</sup> *Фигнер Вера*. Полн. собр. соч.: В 7-ми т. 2-е изд. М., 1932, с. 401.

<sup>7</sup> Там же, т. 5, с. 123, 124.

<sup>8</sup> *Козьмин Б. П. Отзвуки критики и отклики читателей*. — В кн.: Успенский Г. И. Полн. собр. соч.: В 14-ти т. [М.], 1940, т. 5, с. 425—468.

<sup>9</sup> Показательно такое его высказывание о «Народной воле»: «Не могу... не могу идти с ними... не верю, что это приведет к правде» (Цит. по: *Легкова Е.* Про Глеба Ивановича. — В кн.: Звенья. М.; Л., 1935, т. 5, с. 695).

<sup>10</sup> *Фигнер Вера*. Полн. собр. соч., т. 1, с. 234.

<sup>11</sup> Там же, т. 3, с. 120—121.

Г. И. Успенского) (общая характеристика вечеров у писателя как «вялых»)<sup>12</sup>. Но есть в них и ряд новых бытовых подробностей жизни писателя, и несколько фактов, неизвестных биографам Успенского и историкам «Народной воли» (состав гостей в Сивковом доме, празднование на квартире Успенского именин Перовской и Фигнер 17 сентября 1880 года и т. д.).

### Рассказ, записанный со слов В. Н. Фигнер о Г. И. Успенском<sup>13</sup>

Мы встречались с ним в Санкт-Петербурге в 1880—81 годах. Встречались при неприятной обстановке, которая оставляла тяжелое впечатление. Я бывала у него и видела его в компании техника Лодыгина,<sup>14</sup> С. Н. Кривенко,<sup>15</sup> толстомясой, хотя и красивой Сумкиной,<sup>16</sup> богатой жены управляющего самарским имением Сибирякова. Она им, по-видимому, интересовалась, но он ею, кажется, нет. Его страстно любила жена его Александра Васильевна Успенская. Это был человек очень хороший, душевный, но, по отзывам, недалекий. Она была учительницей, кажется, в Тверской губернии.<sup>17</sup> Я приходила к Глебу Ивановичу (и много молодежи без меня), но ни разу мне не удалось слышать его удивительных рассказов, о которых так много говорили. Глеб Иванович не казался мне таким, каким я знала его по его сочинениям. На вечерах

в этой компании было скучно, как обыкновенно в радикальской компании. Пили вино. Тогда Глеб Иванович пил изрядно. Я всегда встречала его «с запахом», хотя не пьяным.<sup>18</sup> У него на Забалканском проспекте<sup>19</sup> бывали революционеры О. Веймар<sup>20</sup> (это был человек чрезвычайно смелый, но не принадлежавший к партии), Перовская,<sup>21</sup> Гельфман,<sup>22</sup> Герман Александрович Лопатин<sup>23</sup> и другие. Однажды, 17 сентября 1880 года, когда Глебу Ивановичу и его дети были в Чудове, а в его квартире были лишь Александра Васильевна, мы праздновали в этой его квартире мои именины и еще Софьи Перовской. Были

<sup>18</sup> Успенский, по словам А. И. Иванчина-Писарева, объяснял свое отношение к алкоголю так: «Литературный труд сопряжен с такими тяжелыми переживаниями, что писателю часто необходимо прибегать к наркотическим средствам (табаку, вину, брому, хлоралгидрату), чтобы привести себя в норму и снова взяться за работу» (*Иванчин-Писарев А. И. Указ. соч.*, с. 359). Ср.: «Успенский был... питух и кутла. Он отнюдь не принадлежал к числу тех запойных пьяниц, как Помяловский, Демерт, Решетников» (*Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.; Л., Б. г., с. 305*).

<sup>19</sup> Доходные дома, построенные для домовладельца А. Д. Сивкова («Сивки»), занимали квартал между Обводным каналом, Угловым переулком и Забалканским (ныне Московским) проспектом. Семья Успенских поселилась здесь в августе 1879 года. До конца лета 1880 года Успенские занимали квартиру 45 в доме 105/4 по Обводному каналу, а затем переехали в другую квартиру в том же доме, окнами на канал, где жили до весны 1881 года, когда перебрались в Сябрицы (*Успенский И. И. К воспоминаниям о Г. И. Успенском. — В кн.: Глеб Успенский, с. 360, 362; Бройтман Л. Поиск привел на Обводный. — Смена, 1984, № 260, 11 ноября*).

<sup>20</sup> О. Э. Веймар (1845—1885) — врач; не входя в «Землю и волю», оказывал крупные услуги революционерам. Арестован 3 апреля 1879 года и, следовательно, видется с Фигнер у Успенского не мог.

<sup>21</sup> С. Л. Перовская (1854—1881) — член Исполнительного комитета «Народной воли».

<sup>22</sup> Г. М. Гельфман (1854—1882) — агент Исполнительного комитета «Народной воли».

<sup>23</sup> Г. А. Лопатин (1845—1918) — виднейший участник революционного движения 1860—1880-х годов. Близкий приятель Успенского. 15 марта 1879 года в очередной раз арестован, и быть на именинах у Фигнер (см. ниже) не мог.

<sup>12</sup> Там же, т. 5, с. 467—471.

<sup>13</sup> ГЛ, ф. 358.158.10, л. 1—2.

<sup>14</sup> А. Н. Лодыгин (1847—1923) — изобретатель электрической лампочки накаливания. В 1878—1884 годах работал в мастерской П. Н. Яблочкова в Петербурге. Двоюродный брат С. Н. Кривенко. Участник встречи И. С. Тургенева с писателями-народниками на квартире Успенского в феврале 1880 года. Был близок к народовольцам; у него весной 1883 года скрывался Г. А. Лопатин.

<sup>15</sup> С. Н. Кривенко (1847—1906) — литератор, народоволец, близкий друг Успенского.

<sup>16</sup> Е. А. Сумкина, жена К. М. Сумкина, кредитора Успенского, управляющего имением Сибиряковых в селе Сколково Самарской губернии, где Успенский в 1878—1879 годах служил письмоводителем сельского ссудно-сберегательного товарищества. Между Успенским и Сумкиной сохранились дружеские отношения (ср. письмо Сумкиной к Успенскому: «... помимо того, что я дорожу Вами как хорошим человеком, я благоговею перед Вашим дивным талантом». — ИРЛИ, ф. 313, оп. 3, № 319).

<sup>17</sup> А. В. Успенская в 1869—1870 годах работала сельской учительницей в Орловской, а в 1878—1879 годах в Самарской губернии.

тогда Желябов,<sup>24</sup> Саблин,<sup>25</sup> Лопатин и другие». Но когда в другой раз мы просили у Глеба Ивановича квартиру для наших собраний, он воскликнул: «Не дам, не дам! Боюсь!» Так что он был сочувствующим революционному движению, но не партийным. У нас бывали споры о мужике. Я тогда смотрела на мужика глазами Златовратского и Засодимского, и мне не нравились мрачные краски Глеба Ивановича. Я спорила с ним по возражала ему, и он воскликнул однажды: «Вот, Вера! Николаевна! требует от меня шоколадного мужика». Я была у Глеба Ивановича в день 1 марта. Событие произвело на него огромное впечатление. Он почувствовал великое значение партии Народная Воля для России, но не определил, в какую сторону это значение определится. Это свое настроение (по крайней мере я так поняла его) Глеб Иванович выразил картинно так: «Ну что же теперь-то сделает с нами Вера Николаевна?» (То есть партия). Пришел Иванчин-Писарев,<sup>26</sup> сообщил о событии. Я ушла от Глеба Ивановича и видела на улицах настроение электричества. Вскоре после того я уехала из Санкт-Петербурга.

Вера Николаевна повторила: «Глеб Иванович сочувствовал революционным целям, но активного участия не принимал».

«Во мне было много сентиментального, когда я спорила с Глебом Ивановичем», — сказала, улыбаясь, Вера Николаевна. — Златовратский и Засодимский соответствовали моим идеалам».

В Самарской губернии Глеб Иванович пробыл всего лишь несколько месяцев. Об этом-то он и говорит, что ему одну службу пришлось бросить принципиально, раскусив ее суть (сельское ссудно-сберегательное товарищество). В «Книжке чеков» Глеб Иванович резко осудил свои занятия в Самарской губернии.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> А. И. Желябов (1851—1881) — член Исполнительного комитета «Народной воли».

<sup>25</sup> Н. А. Саблин (1850—1881) — агент Исполнительного комитета. Знаком с Успенским с 1875 года. Застрелился при аресте 3 марта 1881 года.

<sup>26</sup> А. И. Иванчин-Писарев (1849—1916) — народовец, литератор. Познакомился с Успенским в 1875 году.

<sup>27</sup> Ошибка мемуаристки: «Книжка чеков» напечатана в 1876 году (до поездки в Самарскую губернию — см. прим. 16), в ней Успенский критически оценивает свою службу в Калуге на железной дороге. Фигнер имеет здесь в виду очерк Успенского «Мученики мелкого кредита» (ср. с тем, что она писала из тюрьмы О. Н. Фигнер: «О ссудо-сберегательных товариществах стоит только прочесть

Глебу Ивановичу был знаком с Саблиным. Есть отрывок в каком-то его очерке, где он описывает страшный призрак, стоящий у кровати, кровавый, и из него сочится по капле кровь. Это образ застрелившегося Саблина. (В 1881 году 28—29 лет).<sup>28</sup>

Александра Васильевна очень страдала из-за того, что Глебу Ивановичу бросал деньги, оставлял семью без них, иногда в семье пятачка не было. Обожанием Александры Васильевны Глебу Ивановичу несколько тяготился. 1.IX/1906.

Алексей Николаевич Шипицын (1860—1922) примкнул к народофильскому движению в начале 1880-х годов. В 1882 году за участие в студенческих волнениях исключен из Петербургского университета.<sup>29</sup> Входил в «Молодую партию „Народная воля“», нес обязанности секретаря «Политического „Красного креста“» — организации, призванной помогать материально ссыльным и каторжанам и устраивать их побеги.<sup>30</sup> В 1884 году арестован и привлечен к двум дознаниям — по делу С. Н. Кривенко и по «Делу о А. Н. Шипицыне и А. Саввиной». Провел около полутора лет в одиночном заключении и был административно выслан на три года в Архангельскую губернию.<sup>31</sup> В ссылке в Мезени жил вместе с будущим писателем А. С. Поповым (Серафимовичем) и рабочим революционером П. А. Моисеенко.<sup>32</sup> По окончании ссылки, в 1888 году, поселился в Томске, откуда был родом, стал заметным сибирским журналистом, сотрудничал в «Сибирском обозрении», «Сибирской газете», «Восточном обозрении», «Томском листке».

«Я лично близко знал Глеба Ивановича и часто встречался с ним в Петербурге... в начале 80-х годов, когда я был еще студентом Петербургского уни-

в „Отчестственных записках“ несколько страниц о них Успенского». — *Фигнер Вера*. Полн. собр. соч., т. 6, с. 91—92).

<sup>28</sup> Имеется в виду отрывок из рассказа «На старом пепелище», написанного в 1876 году, за пять лет до самоубийства Саблина: «...почудилось мне, что в головах моей кровати о железно (кровать была железная) что-то чуть-чуть стукнуло, как стучит капель... Раз и два... (я думал об одном застрелившемся товарище)... Уж не кровь ли это каплет? — мелькнуло у меня, и я проворно вскочил с постели — так мне стало жутко» (*Успенский Г. И.* Полн. собр. соч.: В 14-ти т., 1949, т. 4, с. 128).

<sup>29</sup> ЦГИА, ф. 472, оп. 38, № 28, л. 13.

<sup>30</sup> *Попов И. И.* Минувшее и пережитое. Пбг., 1924, т. 1, с. 94, 96, 111, 121—127.

<sup>31</sup> ЦГИА, ф. 1405, оп. 534, № 1338; оп. 85, № 10944; оп. 87, № 10128.

<sup>32</sup> *Моисеенко П. А.* Воспоминания: 1873—1923. М., 1924, с. 158—161.

верситета», — писал Шипицын в мемуарной заметке, не учтенной в библиографии мемуаристики об Успенском.<sup>33</sup> Знакомство произошло, по-видимому, через С. Н. Кривенко и С. Е. Усову, близких друзей писателя и одновременно активных народовольцев начала 1880-х годов.

Во время поездки Успенского в Томск летом 1888 года Шипицын снова встретился с Глебом Ивановичем. Вероятно, некий «Ш» из письма Г. И. Успенского А. И. Иванчину-Писареву от 30 июля 1888 года, определяемый комментаторами полного собрания сочинений как «неустановленное лицо», — А. Н. Шипицын («... очень добрый парень, но произвольно произвел меня в неподобающий чин: учителя и указателя путей»)<sup>34</sup>.

Как и воспоминания Фигнер, воспоминания Шипицына не предназначались для немедленной публикации и потому лишены «хрестоматийного глянца», они интересны описанием тяжелого быта Успенского в начале 1880-х годов, неординарной роли в жизни писателя его ближайшего друга Н. К. Михайловского.

## Воспоминания о Г. И. Успенском

А. Н. Шипицына<sup>35</sup>

Я носил Глебу Ивановичу воспоминания политических, предлагал ему писать очерки «Ревлюционные» типы). Глебу Ивановичу очень ухвятился за эту мысль, но дело не наладилось. Этими письмами воспользовался позднее Ф. Волховский.<sup>36</sup> Я часто бывал у Глеба Ивановича. Это был болезненно впечатлительный человек. Для «Русской мысли» я делал для него вырезки. Принес однажды такую, где рассказывалось, как крестьяне выдали властям учителя, своего ходатая, который

<sup>33</sup> Шипицын А. Н. Двадцать пять лет назад. — Сибирская жизнь, 1913, № 241, 242 (2—3 ноября). Воспоминания посвящены открытию Томского университета, закрытию «Сибирского обозрения» и участию в этих событиях Г. И. Успенского. Ср.: Фриджес Л. М. Описание мемуаров о Г. И. Успенском. — В кн.: Глеб Успенский, с. 616—642.

<sup>34</sup> Успенский Г. И. Полн. собр. соч.: В 14-ти т., 1954, т. 14, с. 151—152, 637.

<sup>35</sup> ГБЛ, ф. 358.158.10, л. 3—4.

<sup>36</sup> Имеются в виду, вероятно, материалы «Политического „Красного креста“, секретарем которого был Шипицын. Возможно, речь идет о привлечении Успенского в газету «Народная воля», где в это время писали Н. К. Михайловский и С. Н. Кривенко. Ф. В. Волховский (1846—1914) — революционер-народник, с 1878 года — в ссылке. С Шипицыным и Успенским познакомился в Томске, где сотрудничал в «Сибирском обозрении». В 1889 году бежал за границу; много печатался в эмигрантской прессе.

им же помог добыть землю. Глебу Ивановичу даже забегал по комнате, схватившись за голову: «Это черт знает что такое! Это ужасно! Ужасно!» И эти слова Глебу Ивановичу повторял много раз, сливал их в один звук и хватался за голову.

Н. К. Михайловский сильно виноват в питии Глеба Ивановича. Он его спаивал. Например, однажды он приехал к Глебу Ивановичу в Чудово из Любани, где был тогда в ссылке.<sup>37</sup> С 2 часов ночи пили до 5 (хотя Глебу Ивановичу должен был через 3 дня сдать статью), затем Николай Константинович увез Глеба Ивановича в СПК-тербург (тайком). Остановились в «Пале-Рояле»,<sup>38</sup> но Глебу Ивановичу велел тайком лакею разбудить его в 6 1/2 часов, а затем тайком от Николая Константиновича удрал обратно в Чудово.

Глебу Ивановичу был очень целомудрен и чрезвычайно стеснен перед женщинами. Чистоты был необыкновенной, хотя насчет греха говорил: «Ничего не поделаешь! Ничего не поделаешь! Так ведется еще от Адама!» А. В. Успенская была очень ревнива, а барышни иногда ухаживали за Глебом Ивановичем. Одна даже перерядилась торговой яблоками и явилась в таком виде в Чудово. Вышел скандал. Александра Васильевна, разумеется, тут же признала в торговке барышню. Этому помог и сам Глебу Иванович, который вышел к ней и удивился переодеванию. За это Глебу Ивановичу влетело, хотя он и не был виноват. Другой раз Николай Константинович нарочно посадил какую-то влюбленную в Глеба Ивановича барышню во время катания на тройках рядом с ним. Глебу Ивановичу был в страшном смущении и молчал, и не знал, что говорить и делать, и ему это было неприятно. Своими сочинениями Глебу Ивановичу был очень недоволен и о них говорил: «Разве так надо писать? Это отрезки, отрезки!»

\* \* \*

С начала 1880-х годов Г. И. Успенский проявлял острый интерес к пере-

<sup>37</sup> Н. К. Михайловский был выслан из Петербурга в Выборг в декабре 1882 года; в июне 1883 переведен в Любань, где находился до марта 1885 года.

<sup>38</sup> «Пале-Рояль» — гостиница в Петербурге (Пушкинская ул., 20). Успенский останавливался здесь в 1883—1886 годах, занимая постоянно № 51. В 1880-е гг. в «Пале» подолгу жили Н. К. Михайловский, А. И. Эртель, С. Н. Южаков, Н. В. Шелгунов. Обычное место писательских вечеринок. Ср.: «...приедешь в Пале-Рояль, думаешь пойти туда-то и туда и поговорить перед отъездом о деле, а вместо того пьешь дня три и уезжаешь едва жив» (Успенский Г. И. Полн. собр. соч.: В 14-ти т., 1951, т. 13, с. 493).

ленческому движению.<sup>39</sup> В это время «трудно назвать в его творчестве произведение о деревне, в котором не упоминалось бы о переселенцах».<sup>40</sup> С этим интересом связана неизвестная до сих пор исследователям биографии писателя, первая по времени, попытка Успенского отправиться в Сибирь.

Успенский, как видно из публикуемых ниже документов, обратился с этой целью весной 1884 года в Министерство внутренних дел с просьбой о причислении его к земскому отделу министерства, занимавшемуся переселенческим вопросом.<sup>41</sup> Однако обычная в таких случаях проверка политической благонадежности, обязательная при приеме на службу в министерство, привела к отклонению прошения писателя: департамент полиции в благонадежности Успенского усомнился.

Успенский состоял под надзором полиции с 1873 года «ввиду стремления к сближению с крестьянами в Самарской губернии. Из наблюдений за Успенским в Петербурге обнаружена его дружба с государственными преступниками Исаевым и Саблиным и связи вообще с лицами политически неблагонадежными».<sup>42</sup> Публикуемые материалы<sup>43</sup> еще раз свидетельствуют о пристальном внимании к писателю со стороны органов политического сыска.

Управляющий  
Земским отделом                      Конфиденциально  
Милостивый государь  
Вячеслав Константинович!<sup>44</sup>

Ввиду предполагающейся Министерством внутренних дел командировки нескольких чиновников для содействия

крестьянским переселениям, направляющимся в Восточную Россию и в Сибирь,<sup>45</sup> писатель Глеб Успенский заявил Министерству внутренних дел ходатайство о причислении его к министерству и командировании его с этой целью в город Златоуст.

Предварительно каких-либо распоряжений по сему ходатайству долгом считаю обратиться к Вашему Превосходительству с покорнейшей просьбой не отказать меня уведомить в том, не привлекался ли Г. Успенский по какому-либо политическому делу и не был ли над ним учрежден полицейский надзор.

К сему неизлишним считаю присовокупить, что обязанности господина Успенского в случае, если бы его командировка могла состояться, заключались бы в регистрировании проходящих переселенцев, сообщении им сведений о свободных казенных и частных землях, где они могут водвориться, и маршрутов по этим землям, в оказании переселенцам медицинской и в исключительных случаях материальной помощи, в принятии мер к предупреждению распространения при посредстве переселенцев эпидемических болезней и эпизоотии и, наконец, в предупреждении администрации тех мест, через которые проходят переселенцы, о движении переселенцев массами.

Отзывы о личности господина Успенского было бы крайне желательно получить в возможно непродолжительное время, так как посылка чиновников по настоящему делу не терпит отлагательств.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.

С. С. Зыбин.<sup>46</sup>

Директор  
Департамента полиции                      Конфиденциально

Милостивый государь  
Сергей Сергеевич!

Вследствие письма от 22 марта за № 10 долгом считаю уведомить Ваше Превосходительство, что командирование писателя Глеба Успенского от Министерства внутренних дел для содействия

<sup>39</sup> Западов А. В. Глеб Успенский и переселенческое движение. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1952. Сер. филол. наук, вып. 17, с. 350—376.

<sup>40</sup> Соколов Н. И. Г. И. Успенский: Жизнь и творчество. Л., 1968, с. 278.

<sup>41</sup> В архиве МВД должно было находиться письменное заявление Г. И. Успенского. Обнаружить его пока не удалось. Возможно, оно содержалось в уничтоженном деле «По просьбам разных лиц о зачислении в министерство» за 1884 год (ЦГИА, ф. 1284, оп. 45, 1884, № 1).

<sup>42</sup> Материалы департамента полиции по негласному надзору за Г. И. Успенским см. в кн.: Глеб Успенский, с. 218—224. См. также: Бухштаб В. Я. Глеб Успенский под надзором полиции. — В кн.: Глеб Успенский: Материалы и исследования, т. 1, с. 539—546; Гудкова И. Новые материалы о Глебе Успенском. — Красный архив, 1941, № 2, с. 147—156.

<sup>43</sup> ЦГАОР, ф. 102, 1884, № 315, л. 1—6.

<sup>44</sup> В. К. Плева (1846—1904) — с 1881-го по 1884 год директор департамента полиции.

<sup>45</sup> В 1884 году в Томскую губернию был послан прикомандированный к МВД П. П. Архипов, а в Тобольскую — И. В. Васильчиков, с широкими полномочиями. В инструкции, данной Архипову, говорилось: «Сущность обязанностей, которые будут на Вас лежать... сводится к принятию всех мер, которые окажутся необходимыми для облегчения переселенцам передвижения и устройства их на новых местах» (ЦГИА, ф. 391, оп. 1, № 12, л. 7).

<sup>46</sup> С. С. Зыбин (1847—1887) — в 1882—1886 годах управляющий земским отделом МВД.

крестьянским переселениям, отправляющимся в Восточную Россию и Сибирь, едва ли представляется желательным в том внимании, что хотя против Успенского и не было возбуждено преследования по обвинению в совершении государственного преступления, тем не менее однако же имеющиеся в делах Департамента неблагоприятные относительно названного лица сведения, знаком-

ство коего с несколькими серьезными государственными преступниками вполне установлено, казалось бы, могут служить достаточным основанием к возбуждению сомнения в его благонадежности.

Примите, милостивый государь, уверения в совершенном моем почтении и преданности.

В. К. Плеве.

4 апреля 1884 года.

К. М. Азадовский, Р. Д. Тищенко

## К БИОГРАФИИ Н. С. ГУМИЛЕВА

(ВОКРУГ ДНЕВНИКОВ И АЛЬБОМОВ Ф. Ф. ФИДЛЕРА)

Хранящиеся в Отделе рукописей Пушкинского Дома дневники и альбомы Федора (Фридриха) Федоровича Фидлера (1859—1917) содержат яркий и обильный материал по истории русской литературы конца XIX—начала XX века. Немец по происхождению, Фидлер известен прежде всего как поэт-переводчик, на протяжении многих лет знакомивший Германию с творчеством крупнейших русских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина, Надсона, Фета, А. К. Толстого, Некрасова, Тютчева и других. Фидлер переводил и прозу (Фонвизина, Гоголя), а также современных ему поэтов, в том числе — символистов (например, Брюсова, В. Иванова). Значительная часть его стихотворных переводов печаталась также в России — на страницах немецкой петербургской газеты «Герольд», в которой Фидлер сотрудничал и как театральный критик.<sup>1</sup>

По роду своей служебной деятельности Фидлер был педагогом. В течение нескольких десятилетий он преподавал немецкий язык в различных учебных заведениях Петербурга: реальном училище и гимназии Я. Г. Гуревича, женской гимназии А. А. Оболенской и др. Однако в столичных литературных кругах Фидлер был известен в первую очередь как неутомимый собиратель и создатель уникального «музея», разместившегося в его частной квартире на Николаевской улице 67 (ныне — ул. Марата). Страстный поклонник литературы, прежде всего русской, Фидлер с неослабеваю-

щим энтузиазмом отыскивал для своей коллекции письма, рукописи, портреты писателей, карикатуры на них и т. д. К «музею» примыкала и богатейшая библиотека Фидлера, насчитывавшая несколько тысяч книг, в основном — с дарственными надписями авторов.<sup>2</sup> К сожа-

<sup>2</sup> О «музее» Фидлера и его создателе не раз сообщалось как в русской, так и в немецкой печати. Перечень статей, приводимый ниже, не претендует на полноту.

*Duktmeier F.* Wen ich in Petersburg bei Friedrich Fiedler kennen lernte. — *Düna-Zeitung (Riga)*, 1890, № 168, 26. Juli, S. 2; *Виктор Русаков «Либрович С. Ф.»*. Фидлеровский музей русских литераторов. — *Новый мир*, 1902, № 94, 5 ноября, с. 310—312; *Андрей Зарин*. Друг писателей. — *Воскресенье*, 1904, № 1, 4 янв., с. 30; *Либрович С. Ф.* Фидлеровский музей русских литераторов. СПб., 1907; *Старцев Гр.* Заметки дня. — *Телеграф*, 1907, № 4, 24 янв., с. 3; «без подп.» Немец, каких не много. — *Задушевное слово*. Еженедельный журнал для старшего возраста, 1909, т. 50, № 5, 29 ноября, с. 1—2; *Кожевников П.* Музей русских литераторов. — *Руль*, 1910, № 266, 26 дек., с. 2; *М. Л-ин.* Фидлеровский музей русских литераторов. — *Солнце России*, 1911, № 47 (87), сент., с. 1; *Измайлов А.* Литературный музей Ф. Ф. Фидлера. — *Огонек*, 1912, № 23, 12/25 июня, с. 8; *Вялкин Г.* Столичные письма. — *Сибирская жизнь*, 1913, № 237, 29 окт., с. 3; *Зубовский Ю.* Фидлеровский музей (письмо из Петрограда). — *Эпоха (Киев)*, 1915, № 10, 5 апр., с. 12; *Либрович С.* «Винновник великой войны». — *Журнал журналов*, 1916, № 35, с. 15; «без подп.» Фидлеровский музей русских литераторов. — *Биржевые ведомости (веч. вып.)*, 1916, № 15858, 12 окт., с. 4; «без подп.» некролог. — *Историч. вестник*, 1917, т. 148, № 4, с. 303—304; *Городецкий С.* Три венка. — *Кавказское слово*, 1917, № 145,

<sup>1</sup> О литературной деятельности Фидлера см.: *Тальский М.* Русская поэзия в немецких переводах. — *Русская мысль*, 1901, № 11, с. 128—143; *Позняков Н. И.* Друг русской литературы. — *Новости и биржевая газета*, 1903, № 241, 2 (15) сент., с. 2; *Данилевский Р. Ю.* Переводчик русских поэтов Ф. Ф. Фидлер. — *Русская литература*, 1960, № 3, с. 174—177, и др.

ленно, после смерти Фидлера его богатейшее собрание распалось и частично пошло по рукам.<sup>3</sup>

Общаясь почти исключительно с литераторами, Фидлер считал своим долгом письменно запечатлеть все наиболее интересные беседы и встречи, участником и свидетелем которых ему доводилось быть. Так появились на свет двадцать девять тетрадей (дневников) под неизменным названием «Из мира литераторов. Характеристики и суждения, собранные Фидлером». «Эти дневники — истинные сокровища для закулисной истории русской печати», — отмечал В. И. Немирович-Данченко, близко знавший Фидлера.<sup>4</sup> Помимо ежедневных дневниковых записей (по-немецки) Фидлер вел и своеобразные «альбомы», предназначенные для различных житейских ситуаций — «У меня», «В ресторане», «В пути», «В гостях», «Товарищеские обеды» и т. п. Каждую из таких ситуаций Фидлер спешил использовать для того, чтобы пополнить свое собрание автографов, предлагая знакомым (а часто и малознакомым) литераторам увековечить себя шуточной записью в его альбоме. «Эти альбомы, — вспоминал Оскар Гросберг (1862—1941), в свое время редактор «Герольда», — содержали стихотворные экспромты и изречения всех русских писателей последних тридцати лет <...> В них были тонко отточенные шутки, безобидные каламбуры, едкие эпиграммы, но также и глубокие мысли, плоды минутного вдохновения...»<sup>5</sup> «Альбомы Фидлера составляют самостоятельный отдел его огромной и действительно ценной коллекции писательских автографов», — отмечал другой современник.<sup>6</sup> Отдельные, наиболее выразительные и удачные писательские

экспромты из альбомов Фидлера были напечатаны еще при его жизни.<sup>7</sup>

Фидлер был знаком и не раз встречался со многими русскими писателями первой величины — Чеховым, Горьким, Короленко, Маминным-Сибиряком, Куприным, Л. Андреевым и др. Записи, им посвященные, занимают в дневниках Фидлера немалое место; некоторые из них уже появлялись в печати.<sup>8</sup> Другие имена, тоже достаточно известные, представлены в тетрадях Фидлера более скромно. К числу последних принадлежит и Н. С. Гумилев.

Знакомство Фидлера с Гумилевым восходит к 90-м годам XIX века. Дело в том, что в 1896-1900 годах Гумилев был учеником той самой петербургской гимназии Я. Г. Гуревича, где Фидлер с 1890 года преподавал немецкий язык.<sup>9</sup> Гимназию Гуревича поэт очень не любил. «Будучи уже взрослым, — вспоминает невестка поэта А. А. Фрейгант-Гумилева, — он говорил, что одна эта Лиговская улица, где находилась гимназия, наводила на него бесконечную тоску. Все ему там не нравилось. И был очень рад, когда ему пришлось покинуть сте-

<sup>7</sup> Афоризмы. Впервые появляющиеся в печати записи из альбомов литературного музея Ф. Ф. Фидлера. — Журнал журналов, 1915, № 36, с. 12—13; Афоризмы (Из альбомов литературного музея Ф. Ф. Фидлера). — Там же, 1916, № 1, с. 8; *Фидлер Ф. Ф.* Из моего литературного архива. Там же, 1916, № 7, с. 15. См. также: *Рейсер С. А.* Из альбомов Фидлера. — Звезда, 1961, № 2, с. 208—209.

<sup>8</sup> См.: *Фидлер Ф. Ф.* Из дневника. — В кн.: Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. Свердловск, 1962, с. 239—247; Из дневника Ф. Ф. Фидлера / Предисловие и публикация К. М. Константинова «К. М. Азадовского». — Лит. наследство, 1982, т. 92, кн. 3, с. 831—838; *Азадовский К. Ф.* Фидлер. Встречи с Горьким. — Литературное обозрение, 1984, № 8, с. 100—106; *Азадовский К. М.* Достоевский глазами современников. По материалам дневников Ф. Ф. Фидлера. — Новый мир, 1985, № 8, с. 213—219; *Азадовский К.* Ключев и Есенин в октябре 1915 года (по материалам дневника Ф. Ф. Фидлера). — Cahiers du monde russe et soviétique, 1986, vol. 36, № 3—4, p. 413—424, и др.

<sup>9</sup> В той же гимназии учился с 1895 года и старший брат Н. С. Гумилева — Дмитрий (1884, Резекне — 1922, Рига). Ф. Ф. Фидлер, принимавший у него в 1895 году экзамен по немецкому языку, записал в ведомости: «Читать умеет, но не знает ни одного немецкого слова...» (ЛГИА, ф. 171, оп. 2, ед. хр. 973, л. 2, об.; личное дело ученика Д. С. Гумилева). Сохранилось и личное дело Н. С. Гумилева (ЛГИА, ф. 171, оп. 2, ед. хр. 972).

2 июля, с. 3; *Потапенко Н.* Человек, заслуживший хорошие поминки. — Красная газета, 1927, № 169, 26 июня, с. 1; *Тумановский Р.* Фидлеровский музей. — Лит. газ., 1967, № 3, 18 янв., с. 6.

<sup>3</sup> О судьбе коллекции Фидлера см.: <без подп.> Основатель музея русских писателей. — Задушевное слово. Ежедневный журнал для старшего возраста. 1917, № 47, 24 септ., с. 1—2; <без подп.> Судьба автобиографий. — Литературный еженедельник, 1923, № 43, с. 13.

<sup>4</sup> *Немирович-Данченко Вас.* Печальные поминки. — Русская воля (веч. вып.), 1917, № 57, 11 апр., с. 1.

<sup>5</sup> *Grosberg O.* Das Fiedlersche Museum. — In: Deutsches Leben im alten St. Petersburg. Ein Buch der Erinnerung. Hrsg. von H. Pantenius und O. Grosberg. Riga, 1930, S. 81—82.

<sup>6</sup> *Лукиан Сильный* «С. Либрович». Кое-что об альбомах писательских автографов. — Вестник литературы, 1916, № 4, с. 98.

ны „нудной“ гимназии». <sup>10</sup> (В 1900 году Гумилев уехал с родителями в Тифлис, а вернувшись в 1903 году, продолжал учение уже в Николаевской Царскосельской гимназии).

Учился Гумилев тогда неважно. В письме к В. И. Анненскому-Кривичу от 2 октября 1906 года Гумилев признается в своей «прошлой, гимназической лени». <sup>11</sup> Но особенно не ладилось у него с немецким языком. <sup>12</sup> У Фидлера Гумилев перебивался с двойки на тройку. <sup>13</sup> Встретившись вновь в 910-е годы, Фидлер и Гумилев неизменно вспоминают о своих прошлых и весьма нелегких взаимоотношениях учителя и ученика.

Первое упоминание о Гумилеве в дневнике Фидлера содержится в записи от 15 марта 1911 года. Посетив накануне «башню» В. И. Иванова, Фидлер застал там компанию неизвестных ему молодых поэтов, читавших стихи: А. Ахматову, В. Н. Княжнина, М. Л. Моравскую, О. Э. Мандельштама и др. <sup>14</sup> По поводу Ахматовой Фидлер заметил: «Хорошенькая жена моего ленивого

бывшего ученика Гумилева, который сейчас находится в Африке». <sup>15</sup>

25 марта 1911 года Гумилев возвращается в Петербург из своего второго абиссинского путешествия. А 16 апреля 1911 года Фидлер встречает своего бывшего ученика на очередном из «Вечеров Случевского» в доме известного писателя И. И. Ясинского.

\* \* \*

Кружок поэтов и поэтесс «Вечера Случевского», объединявший до конца 1917 года многих петербургских стихотворцев, играл заметную роль в литературной жизни столицы. Традиция «вечеров» зародилась еще в 90-е годы XIX века, когда столичные поэты собирались по пятницам у Я. П. Полонского; там часто бывал и Фидлер. После его смерти эстафету принял К. К. Случевский; на его квартире были в конце 1898 года «утверждены» и стали регулярно (обычно — два раза в месяц) проводиться поэтические «пятницы». Эти собрания поэты рассматривали как своего рода «академию»: они читали друг другу свои новые произведения, тут же обсуждали их, сочиняли произведения на определенную заданную тему. «Пятницы» Случевского не прервались с его смертью осенью 1904 года; по предложению Фидлера решено было — в память о покойном — создать кружок его имени и собираться попеременно на квартирах постоянных участников «Вечеров». <sup>16</sup> Первым председателем кружка

<sup>10</sup> Гумилева А. Николай Степанович Гумилев. — Новый журнал (Нью-Йорк), 1956, № 46, с. 111.

<sup>11</sup> Неизвестные письма Н. С. Гумилева / Публикация Р. Д. Тименчика. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1987, т. 46, № 1, с. 52.

<sup>12</sup> В. С. Срезневская, знавшая Гумилева с юных лет по Царскому Селу, вспоминала, как она и Аня Горенко (Ахматова), видя нелюбовь Гумилева к немецкому языку, дразнили его чтением вслух стихотворения Уланда «Проклятие певца» (сообщено Л. Д. Стенич-Большинцовой).

<sup>13</sup> Впрочем, и другие языки давались ему в детстве с трудом. В ведомости за 1899/1900 учебный год у него стоят двойки по греческому, латинскому, немецкому и французскому языкам. (Постановление Педагогического совета: «Оставляется на второй год»). В гимназическом деле Н. С. Гумилева хранится также заявление его отца от 20 апреля 1900 года с просьбой освободить ученика 4-го класса Николая Гумилева «по малоуспешности во французском языке <...> совсем от уроков оного» (ЛГИА, ф. 171, оп. 2, ед. хр. 972, л. 9 и 5). Однако в последующие годы Гумилев изучал французский язык и по окончании Царскосельской гимназии имел по этому предмету четверку (см. его университетское дело — ЛГИА, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 61522, л. 43).

<sup>14</sup> Этот отрывок из дневника Фидлера использован Суперфином Г. Г. и Тименчиком Р. Д. в их публикации «Письма А. А. Ахматовой к В. Я. Брюсову». — Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1972, т. 33, с. 274.

<sup>15</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 14, л. 318. Здесь и далее все переводы с немецкого языка выполнены К. М. Азодским.

<sup>16</sup> См. подробнее: *W.* «Пятницы» и «Вечера» Случевского. — Петербургские ведомости, 1909, № 28, 5 (18) февраля, с. 2—3 (автором этой юбилейной статьи был В. В. Уманов-Каплуновский, секретарь кружка, — см. его письмо к В. И. Кривичу от 11 декабря 1908 года (ЦГАЛИ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 100, л. 4), его же письмо к И. И. Ясинскому от 7 февраля 1909 года (ГПБ, ф. 901, ед. хр. 875, л. 1), а также письмо С. В. Штейна к В. В. Уманову-Каплуновскому от 6 февраля 1909 года (ГПБ, ф. 124, ед. хр. 4911); *Соколов М. А.* Кружок поэтов имени Случевского. — Вестник литературы, 1910, № 9, с. 256—257; «без подп.» Кружок Поэтов имени К. Случевского «шпичочно напечатано: С. Ключевского». — Златоцвет, 1914, № 4, с. 16 (автором этой статьи был скорее всего поэт Д. М. Цензор, участник «Кружка Случевского» и заведующий в 1914 году литературно-художественным отделом журнала «Златоцвет»); *Смирнский В. В.* К истории пятниц К. К. Случевского. — Русская литература, 1965, № 3, с. 216—226.

«Вечера Случевского» был избран Фидлер, впоследствии сложивший с себя этот титул, но до конца оставшийся бесшумным «товарищем председателя». Поэт В. В. Уманов-Каплуновский, секретарь «Вечеров Случевского», в своем письме к Фидлеру от 15 ноября 1909 года называет его «душою» Кружка.<sup>17</sup>

С годами в Кружке сложился определенный устав. Посетители «Вечеров» строго разделялись на постоянных участников и «гостей». Доступ для посторонних был весьма затруднен. Вступить в Кружок было тоже не просто: требовалось иметь, во-первых, изданную книгу стихов и, во-вторых, согласие большинства его членов. Желающий попасть в Кружок сначала вводился в него кем-либо из постоянных участников в качестве «гостя». После чтения им своих стихотворений решался вопрос о допуске его к баллотировке (она проводилась закрыто) на следующем собрании. Претендент обязан был иметь не менее троих рекомендателей (также из числа «кружковцев»). Собрания, проводившиеся ежемесячно (с октября по май),<sup>18</sup> носили интимный характер. Одни читали (каждый приблизительно по три стихотворения), другие обменивались впечатлениями. Затем собравшимся предлагался ужин, который нередко затягивался до раннего утра.

Ситуация и соотношение сил в Кружке постепенно менялись. Первоначально Кружок объединял в основном поэтов «традиционалистов», хотя в него входили и символисты (например, Минский, Сологуб). В середине 900-х годов Кружок освежается новыми силами: А. А. Кондратьев, В. И. Кривич-Анненский, С. В. Штейн. Наконец, его членами становятся в 1906 году такие поэты, как Блок и В. И. Иванов (впрочем, ни тот, ни другой не проявляли особого интереса к собраниям Кружка и практически не посещали их). В марте 1908 года был поднят вопрос о легализации «Вечеров Случевского», и 17 апреля Кружок получает официальный статус. Председателем легализованного Кружка, насчитывавшего тогда свыше 50-ти человек, избирается поэт Ф. В. Черниговец-Вишневецкий (через год его сменил Н. Н. Венгцель); двое членов Кружка были «товарищами председателя», троем поручались обязанности «секретарей» (рассылка повесток, хранение альбомов и др.). Именно тогда, весной 1908 года, в Кружке появляется новый посетитель — Н. С. Гумилев; молодой поэт только что вернулся из Парижа и стремился как можно скорее войти в российскую литературную жизнь (в это

время он начинает сотрудничать как рецензент в газете «Речь»).

Когда именно Гумилев впервые посетил «случевцев»? Точного ответа на этот вопрос пока не находится. А. А. Кондратьев, участник Кружка с 1906 года и его энтузиаст, рассказывает в своих воспоминаниях:

«Около 20 лет тому назад на собрании петербургского кружка поэтов и поэтесс, носившего название „Вечера Случевского“, встретился я в первый раз с Н. С. Гумилевым.<sup>19</sup> Как теперь помню, что этот вечер состоялся в квартире покойного профессора В. М. Грибовского, и Николай Степанович явился к нам в кружок в качестве гостя. Он читал тогда свои стихи об индусском раджэ, предпринявшем безумный поход на далекий север, где и погибло в снежных сугробах все его войско.<sup>20</sup> Из этого стихотворения мне запомнился лишь художественный образ заносимых метелью и падающих от утомления на колени слонов... Заочно я был знаком с Гумилевым и раньше<sup>21</sup>... Мне же Гумилев показался интересным не менее своих стихов, и я с удовольствием познакомился с ним».<sup>22</sup>

Какой же именно вечер описывает Кондратьев? Гумилев возвратился из Парижа в Петербург в конце апреля 1908 года, однако на встрече поэтов и поэтесс у В. М. Грибовского, состоявшейся 26 апреля, его не было; во всяком случае его фамилия отсутствует в перечне участников, названных как в дневнике Фидлера,<sup>23</sup> так и в альбоме Кружка.<sup>24</sup> Скорей всего память измени-

<sup>19</sup> В других, более ранних своих воспоминаниях Кондратьев пишет, что впервые увидел там Гумилева, «уже вернувшегося из Парижа» (*Кондратьев А. Андре Шенье русской революции. — Слово (Рига), 1926, № 238, 15 авг.*).

<sup>20</sup> Имеется в виду поэма «Северный раджэ», посвященная В. И. Кривичу-Анненскому.

<sup>21</sup> Ср. с письмом Кондратьева к И. Ф. Анненскому от 16 июня 1908 года: «Из молодых меня интересуют он <С. М. Соловьев> и Б. Садовской в Москве и Гумилев с Ауслендером в Петербурге. Гумилев подает большие надежды и, когда по примеру Брюсова перестанет ломаться, безусловно даст несколько хороших вещей» (ЦГАЛИ, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 334, л. 4).

<sup>22</sup> *Кондратьев А.* Из литературных воспоминаний. Н. Гумилев. — Последние известия (Таллин), 1927, № 48, 20 февр., с. 2.

<sup>23</sup> См. запись от 27 апреля 1908 года. — ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 12, л. 75—76.

<sup>24</sup> Альбом кружка поэтов и поэтесс «Вечера Случевского» <26 апреля 1908 — 24 апреля 1910>. — ИРЛИ, Р. I, оп. 42, ед. хр. 94, л. 2—2, об.

<sup>17</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 3, ед. хр. 96, л. 6.

<sup>18</sup> За четыре сезона (с осени 1904 до весны 1908 года) состоялось 28 собраний Кружка.

ла мемуаристу, и описанное им знакомство с Гумилевым произошло позднее — возможно, 20 декабря 1908 года (см. ниже). К тому времени Гумилев был уже, однако, полноправным членом Кружка: он баллотировался на собрании, проведенном 24 мая 1908 года у В. И. Кривича (сына И. Ф. Анненского) в Царском Селе.<sup>25</sup> О подробностях этого вечера рассказывает В. И. Кривич в письме к М. Г. Веселковой-Кильштет 29 мая 1908 года:

«Были: Черниговец, Вентцель, Ф. Зарин, Грибовский, Уманов-Каплуновский, Соколов, Коковцев, Афанасьев, Штейн, гость Н. Гумилев, Мазуркевич<sup>26</sup> — со мной 12.

Было очень оживленно, стихов читали достаточно, большинство мелкие вещи, а Вентцель и Зарин прочли произведения довольно длинные: Вентцель свой перевод из репертуара Старинного театра, а Зарин — последнюю свою вещь „Сон Королевы“, поэму из времен Французской революции.

На собрании был выбран новый член — Н. С. Гумилев. Это близкий товарищ и по гимназии, и так, в жизни,

<sup>25</sup> Мы не располагаем достаточным количеством сведений для того, чтобы воссоздать картину отношения Гумилева к основателю и мемориальному патрону Кружка — К. К. Случевскому. В сонете-акrostихе «ПОЭ[Е]Т СЛУЧЕВСКИЙ [И]», написанном на заданную тему во время ужина на вечере Кружка 26 января 1913 года, Гумилев отзывался о нем как о поэте, понимавшем мир

«Огромною игрушкой сатаны,  
Еще не сделанным, где сплетены  
Тьма с яркостью и ложное с неложным»  
(ЦГАЛИ, ф. 512, оп. 2, ед. хр. 3а, л. 15, об.).

<sup>26</sup> Названы поэты — члены кружка «Вечера Случевского»: Черниговец-Вишневский Федор Владимирович (1838—1916); Вентцель (псевдоним — Бенедикт) Николай Николаевич (1855—1920), Зарин Федор Ефимович (1874—?), Грибовский Вячеслав Михайлович (1867—1924), Уманов-Каплуновский Владимир Владимирович (1865—1939), Соколов Иван Иванович (1868—?), Коковцев Дмитрий Иванович (1887—1918), Афанасьев Леонид Николаевич (1864—1920), Штейн Сергей Владимирович (1882—1955), Мазуркевич Владимир Александрович (1871—1942?). Большинство перечисленных поэтов были завсегдагатаями «Вечеров Случевского»; Черниговец-Вишневский, Вентцель, Соколов и Уманов-Каплуновский составляли «президиум» легализованного кружка, куда входили также отсутствовавшие на вечере Фидлер и Веселкова-Кильштет Мария Григорьевна (1861—1931).

Д. И. Коковцева и мой хороший знакомый, — молодой поэт, вернувшийся недавно из Парижа, куда уехал по окончании гимназии слушать лекции в Парижском Университете. Человек он очень талантливый, литературное детище Брюсова, который руководит им, имеет два сборника стихов, пишет много — одним словом, быть в кружке имеет право. Декадент он, так сказать, строгого рисунка и стихов „сологубовских настроений“ не пишет.

Сидели мы до первого поезда, как и предполагалось, и досидели совсем легко, без всяких натяжек...»

Отец мой на собрании быть не мог: он чувствовал себя не вполне здоровым и, вернувшись из города, сразу ушел к себе.<sup>27</sup>

О литературном событии, описанном в письме Кривича, сообщалось и в периодической печати. «У В. И. Анненского (Кривича) в Царском Селе 24 мая, — рассказывал анонимный корреспондент «Петербургской газеты», — состоялся очередной вечер Случевского. Несмотря на исключительную погоду, собрание было довольно многолюдно, и „вечер“ незаметно перешел в „утро“. Дебютировавший на этом вечере молодой поэт Н. Гумилев был избран членом „Вечеров Случевского“. Свои произведения читали поэты: Леонид Афанасьев, Вентцель-Бенедикт, Федор Зарин, Валентин Кривич, Грибовский, Ив. Соколов, Черниговец-Вишневский, Уманов-Каплуновский, Мазуркевич, Штейн (переводчик славянских поэтов), Коковцев, Гумилев».<sup>28</sup>

Вечер Кружка, состоявшийся 24 мая, был последним в сезоне 1907—1908 года. Встречи поэтов возобновляются, как обычно, осенью (25 сентября 1908 года в квартире М. Г. Веселковой-Кильштет собрался «президиум» для выработки программы «Вечеров Случевского»). 14 ноября 1908 года Гумилев, вернувшись из Египта, сообщает В. В. Уманову-Каплуновскому о том, что «был бы очень рад снова принять участие в вечерах имени Случевского».<sup>29</sup> Следующие после этого письма Гумилева собрания Кружка состоялись 20 ноября 1908 года (у В. П. Авенариуса), 20 декабря 1908 года (у В. М. Грибовского), 10 января 1909 года (у В. В. Уманова-Каплуновского) и 5 февраля 1909 года (юбилей-

<sup>27</sup> ИРЛИ, ф. 43, ед. хр. 165, л. 2—2, об. и 3, об.

<sup>28</sup> Петербургская газета, 1908, № 145, 28 мая, с. 4 (заметка под названием «Вечера Случевского»); см. также: Последние новости, 1908, № 108, 26 мая, с. 3 (раздел «Наука и искусство»).

<sup>29</sup> Письмо опубликовано Р. Д. Тименчиком. См.: Незвестные письма Н. С. Гумилева. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1987, т. 46, № 1, с. 57.

ный ужин в ресторане Палкина<sup>30</sup>). Гумилев присутствовал на трех первых собраниях;<sup>31</sup> на одном из них он читал свое стихотворение «Варвары» («Когда застала страна под немилостью божьей...»), что вызвало неудовольствие М. Г. Веселковой-Кильштет, ревностной блюстительницы «классических» правил русского стиха.<sup>32</sup> Об этом она рассказывает 13 февраля 1909 года в письме к А. Е. Зарину (брату Ф. Е. Зарина):

«Дебютировал Дм. Цензор <...> одна беда, как многие новаторы, он рифму стремится заменить „ассонансом“: например, „вечер“ рифмуется с „нечем“ и ссылается на русские пословицы. <...> Из молодежи талантливей всех Анненский-Кривич. Коковцов («студент с подвыванием») тоже молодец. <...> Но кто решительно не в моем вкусе — это Н. С. Гумилев. Юнец 22 лет с великим апломбом. Жанр — экзотический, но пахнет Иловайским<sup>33</sup> и то кратким. Подробности с налетом порнографии. Характернейшее явление, — что-то болезненное, недоедланное, но... олимпийец, хотя и пишущий „слоновой кости лагерь“ и „пращи“ вместо „пращи“, но делающий замечания за ударения „темны“ или „горды“... Мне в его присутствии читать настоящая пытка. Чувствую себя под шпиритенами Сологуба, который, кстати, перестал у нас вовсе появляться и даже не был» на нашем 10-летии» у Палкина. <...> Ах, как Вы мне нужны, Андрей Ефимович, и не мне одной, всем нам любящим русский язык московских просвирен, чтобы бороться против „слоновой кости“ и „траурных дам“... За это выражение влетело Анненскому почти от всех стариков, хотя остальное — одна прелесть...»<sup>34</sup>

Письмо Веселковой-Кильштет симптоматично. В Кружке всегда ощущалось

известное противостояние «модернистов» и «традиционалистов». Взгляды первых выражал, например, Ф. К. Сологуб. Согласно записи в дневнике Фидлера, он отказался от обязанности помощника председателя в легализованном Кружке по той лишь причине, что его «ближайшие литературные товарищи» М. А. Кузмин и А. М. Ремизов до сих пор не являются участниками «Вечеров Случевского».<sup>35</sup> Мнение же противоположной группы (в сущности — большинства «случевцев») хорошо передал А. Ф. Мейснер, один из ветеранов Кружка, в письме к Блоку 14 ноября 1907 года: «Давно я прочел обе Ваши книжки.<sup>36</sup> Есть прекрасные строчки и целые стихотворения, и целые страницы. Но почему от стихов новой школы не замечаешься в пути, под звон колокольчика? Почему не так скоро запомнишь их? У каждого из нас есть неуловимые чувства, еще не затронутые в поэзии, есть, может быть, и свежие мысли. Неужели старые формы для этого бедны и нужно искать новых, менее ясных! <...> Есть стихи прекрасные, но они были бы еще прекраснее, если бы были вдвое проще, вдвое яснее и, пожалуй, вдвое шаблоннее по форме, — вернее, по форме были бы менее оригинальны <...> Почти не сомневаюсь, что — пройдет 5-6 лет и простота и ясность в искусстве опять восторжествуют».<sup>37</sup> Такая откровенная апология «ясности» и «шаблона» объясняет ситуацию, сложившуюся на «Вечерах Случевского» в начале 1909 года.

Насколько можно судить, обстановка в Кружке была особенно накаленной именно в то время. 23 февраля 1909 года М. Г. Веселкова-Кильштет благодарит В. В. Уманова-Каплуновского за то, что его «благоразумие» одержало верх и он не допустил «раскола» в Кружке. «Ведь первое условие существования всякого кружка, — пишет М. Г. Кильштет, — взаимная терпимость и миролюбие, а потому еще раз благодарю Вас за то, что Вы не омрачили наш дом распадом ядра наших „Вечеров“».<sup>38</sup> Речь идет о со-

<sup>30</sup> См. заметку «Ужин поэтов». — Петербургская газета, 1909, № 38, 8 февр., с. 9.

<sup>31</sup> Об этом свидетельствуют его собственноручные росписи в альбоме Кружка (ИРЛИ, Р. I, оп. 42, ед. хр. 94, л. 7, об., 9 и 10).

<sup>32</sup> Это могло быть либо 20 декабря 1908 года, либо 10 января 1909 года, так как на собрании 20 ноября 1908 года М. Г. Веселкова-Кильштет отсутствовала (см. ее письмо к В. В. Уманову-Каплуновскому от 23 ноября 1908 года — ГПБ, ф. 124, ед. хр. 2010).

<sup>33</sup> Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — известный историк и публицист консервативно-националистического направления, автор школьных учебников по русской истории.

<sup>34</sup> ЦГАЛИ, ф. 208, оп. 1, ед. хр. 133, л. 4—4, об. Выражение «траурные дамы» — из стихотворения Кривича «Она была невестой белой...» (текст его полностью приведен в письме М. Г. Веселковой-Кильштет).

<sup>35</sup> Запись от 27 апреля 1908 года. — ИРЛИ, ф. 649, оп. 2, ед. хр. 12, л. 76.

<sup>36</sup> Имеются в виду «Стихи о Прекрасной Даме» и «Нечаянная Радость» (или «Снежная маска»). См.: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях. — В кн.: Лит. наследство, 1982, т. 92, кн. 3, с. 103 (комментарий А. Е. Парниса).

<sup>37</sup> ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 328, л. 1—2.

Последняя фраза проясняет, возможно, то обстоятельство, что именно А. Ф. Мейснер оказался через пять лет одним из рекомендателей Ахматовой (чьи ранние стихи воспринимались как «простые») в члены кружка «Вечера Случевского».

<sup>38</sup> ГПБ, ф. 800, ед. хр. 6, л. 2.

бранши Кружка вечером 21 февраля в квартире М. Г. Веселковой-Кильштет, но что именно послужило причиной инцидента, остается невыясненным. (Гумилева на этом вечере не было).

Противоборством различных литературных вкусов была вызвана и скандальная история, разыгравшаяся в недрах Кружка вокруг П. П. Потемкина. На собрании у И. И. Соколова 18 апреля 1909 года избралось в члены кружка В. В. Гофман, И. К. Маркузе,<sup>39</sup> А. Ф. Радченко и П. П. Потемкин. Последнего рекомендовали Гумилев,<sup>40</sup> Кондратьев и Кривич.<sup>41</sup> Однако «старикш» забаллотировали Потемкина; решающую роль в этом сыграла, видимо, одиозная репутация молодого «модерниста», к тому же считавшегося «кошкодавом». Особенно непримиримо была настроена опять-таки Веселкова-Кильштет, готовая даже выйти из Кружка в случае всгупления в него Потемкина.<sup>42</sup> Пытаясь убедить ее в том, что приток молодых сил в Кружок — залог его жизнеспособности, Н. Н. Вентцель (отличавшийся гораздо большей терпимостью, чем другие «традиционалисты») писал ей 10 октября 1909 года:

«Вас шокирует, что Гумилев читал в кружке стихотворение, показавшееся вам „странным“.<sup>43</sup> Но разве не читались у Случевского еще более странные стихотворения — ну, хотя бы Ф. К. Сологуба? А шуточные экспромты часто носили совсем нецензурный характер. Но мы — поэты, а не цензора, и для нас

<sup>39</sup> Маркузе Иван Карлович (1846—1916) — сотрудник «Нового времени», в прошлом — секретарь В. В. Крестовского. Подобно Фидлеру, Маркузе переводил на немецкий язык сочинения русских авторов.

<sup>40</sup> Присутствие Гумилева на этом вечере удостоверяется его росписью в альбоме Кружка (ИРЛИ, Р. I, оп. 42, ед. хр. 94, л. 17).

<sup>41</sup> См. письмо В. В. Уманова-Каплуновского к М. Г. Веселковой-Кильштет от 4 апреля 1909 года (ИРЛИ, ф. 43, ед. хр. 389, л. 5, об.). На повестке этого собрания среди лиц, рекомендующих Потемкина в члены Кружка, был ошибочно указан С. В. Штейн (см. письмо Штейна к М. Г. Веселковой-Кильштет от 14 апреля 1909 года — ИРЛИ, ф. 43, ед. хр. 418).

<sup>42</sup> См. письмо Н. Н. Вентцеля к М. Г. Веселковой-Кильштет от 8 октября 1909 года (ИРЛИ, ф. 43, ед. хр. 193, л. 5).

На собрании Кружка 23 января 1910 года (у В. П. Авенариуса) состоялась перебаллотировка, в результате которой Потемкин вновь не был избран постоянным членом «Вечеров Случевского». (Рекомендующими его лицами на этот раз были: Н. Н. Вентцель, Л. Е. Габрилович, В. М. Грибовский и А. А. Кондратьев).

<sup>43</sup> Возможно, имеется в виду стихотворение «Варвары» (см. выше).

свобода творчества должна быть выше всяких других соображений. Но так как принципом кружка, подобного нашему, должна быть свобода суждений, то и Вы имели полное право отнестись к произведению Гумилева критически, и если бы Ваши доводы оказались достаточно убедительными, то, может быть, и он сам воздерживался бы на будущее время от искушения писать „странные“ произведения».<sup>44</sup>

Напряженность, возникшая в начале 1909 года между Гумилевым и частью Кружка, угадывается и в записях, которые были сделаны во время «гоголевского» вечера. Гумилев, расписавшись (видимо, одним из первых) в верхнем углу листа, ниже добавил: «Был на Гоголевском вечере и ничего о Гоголе не слышал. „Скучно на этом свете, господа!“» Эти строки прокомментировал А. А. Кондратьев: «Зачем же убежать в 11 часов» вечера? Да еще к Верховскому?!» А в самом низу страницы раздраженно сделал примечание В. В. Уманов-Каплуновский: «Вечер начался с ухода Гумилева. Неудивительно, что он о Гоголе ничего не слышал. „Чему смеетесь? Над собой смеетесь!.. Эх, вы!“»<sup>45</sup>

Таким образом, за первый год своего пребывания в Кружке (май 1908—апрель 1909) Гумилев посетил его собрания в общей сложности шесть раз. Затем наступает длительный перерыв, вызванный прежде всего отсутствием Гумилева в Петербурге (с конца ноября 1909 года до февраля 1910 года длилось его первое абиссинское путешествие, с 23 сентября 1910 года по 25 марта 1911—второе). Но ясно и другое: Гумилев, со своей стороны, быстро разочаровался в Кружке. Посредственная, в основном подражательная поэзия большинства поэтов-«традиционалистов» должна была его раздражать и отталкивать. Не встретил он единомышленников и среди молодых царскосельских литераторов, участников Кружка (В. И. Кривич, С. В. Штейн), с которыми ранее был дружески связан; обостряются также его отношения с недавним приятелем Д. И. Кокорцевым.<sup>46</sup> Гораздо более близкой оказалась для Гумилева атмосфера «на башне» Вячеслава Иванова, куда он

<sup>44</sup> ИРЛИ, ф. 43, ед. хр. 193, л. 7, об.

<sup>45</sup> ИРЛИ, Р. I, оп. 42, ед. хр. 94, л. 16.

<sup>46</sup> Характерно отсутствие Гумилева на собрании поэтов у Д. И. Кокорцева в Царском Селе 13 мая 1909 года (см.: Царскосельское дело, 1909, № 21, 22 мая, с. 2). В № 40 той же газеты 2 октября 1909 года появился пасквиль, озаглавленный «„Остов“ или Академия поэтов на Глазовской улице» и подписанный «Д. В. О-е» т. е. «двое». В нем содержались издевательства над стихами Гумилева и даже его внешностью, сообщалось о неискреннем отношении «Бриллиантина Вятича» т. е. Валентина Кри-

впервые попал в поябре 1908 года. Позднее — по мере формирования «Цеха поэтов» (осень 1911 года) и акмеистической группы — связи Гумилева с кружком еще более ослабевают: он появляется на поэтических вечерах сравнительно редко и рассматривает свое участие в Кружке скорее как светское времяпрепровождение, нежели как серьезную школу поэтического мастерства.

\* \* \*

На вечере поэтов, состоявшемся 16 апреля 1911 года у И. И. Ясинского, присутствовали как старые знакомые Фидлера, завсегдагаи Кружка (А. Е. Заря, А. А. Коринфский, В. И. Кривич, В. А. Мазуркевич, А. Ф. Мейснер, И. И. Соколов, Ф. К. Сологуб, В. В. Уманов-Кашлуновский, Е. А. Чебышева-Дмитриева, С. В. Штейн и др.), так и неизвестные ему лица; среди них — Гумилев. «Этот Гумилев, — записывает на другой день в своем дневнике Фидлер, вспоминая о нерадивом гимназисте, — был лет пятнадцать назад моим учеником в

вича» к «Гуми-Коту». Пасквиль был написан Д. И. Коковцевым, по-видимому, в соавторстве с П. М. Загуляевым. Авторство Коковцева устанавливается по включенному в текст пасквиля экспромту «Заря зажглась так дивно ало...», позднее обнародованному под подлинным именем автора (Бенедикт «Н. Н. Вентцель». Об экспромте «так!». — Столица и усадьба, 1914, № 8, с. 7).

Ср. также ироническое упоминание о Гумилеве в письме Коковцева к М. Г. Веселковой-Кильштет (из Парижа, 17 января 1912 года): «Очень позабавило меня сообщение о „вечере Случевского“ у Гумилева. Сей господин, оказывается, пишет новую книгу, озаглавленную „Дон Жуан в Египте“. Почему же однако в Египте, а не в более экзотической стране?» (ИРЛИ, ф. 43, ед. хр. 277, л. 46—46, об.; имеется в виду собрание кружка «Вечера Случевского» у Гумилевых в Царском Селе 19 ноября 1911 года).

Ни об одном из сборников Коковцева Гумилев не отозвался печатно. Зато близкий к Гумилеву в ту пору С. Ауслендер писал о сборнике Коковцева «Вечный поток» (1911) как о «совсем ненужной» книге, в которой все «очень гладко, даже прилизано <...> Ни одно стихотворение не является чем-либо иным, как простой штамп» (С. Ауслендер. Страшная мания. — Речь, 1911, № 306, 7 ноября, с. 5). Взаимоотношения самолюбивого Гумилева с его бывшим одноклассником отчасти проясняются воспоминаниями Н. Оцуца, воссоздающего атмосферу Царского Села: «Гумилева похвалявали, но всегда ставили ему в пример Митеньку Коковцева» (Оцуц Н. Современники. Париж, 1961, с. 25).

гимназии Гуревича; он посещал ее примерно до третьего класса, и все учителя считали его лентяем. У меня он всегда получал одни только двойки и принадлежал к числу наименее симпатичных и развитых моих учеников».<sup>47</sup> Впервые увидел Фидлер в тот вечер и Л. И. Лемана, автора книги рассказов «Веселая жизнь» (СПб., 1910), принимавшего участие в собрании поэтов на правах гостя, в прошлом — соученика Гумилева по гимназии Я. Г. Гуревича. Воспоминанием о Гумилеве объясняется, видимо, и помета, сделанная Фидлером рядом с фамилией Кривича — «тоже в прошлом мой ученик, только симпатичный».<sup>48</sup>

Главным событием этого вечера оказался инцидент, виновником которого был захмелевший А. А. Коринфский (в свое время — бессменный секретарь «пятниц» Случевского). «Когда читал Гумилев, — отмечено у Фидлера, — он «Коринфский» воскликнул: „Это меня за душу задело!“<sup>49</sup> и пошел, шатаясь, к нему, т. е. к людям, сидевшим справа и слева от него, с возгласами: „Где же он? Я хочу пожать ему руку!“ Сидевшие, смеясь, показывали один на другого: „Вот он“. Но когда Гумилев стал читать снова, «Коринфский» воскликнул: „Нет, это уже глупости!“<sup>50</sup>

На вечере присутствовал также не упомянутый Фидлером поэт А. А. Кондратьев. Его воспоминания о Гумилеве, частично уже цитированные, представляют собой ценное дополнение к записи в дневнике Фидлера.

«Как теперь помню, — пишет А. Кондратьев, — один из „Вечеров Случевского“, происходивший на квартире

<sup>47</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 15, л. 6, об. Ср. с записью от 22 ноября 1915 года: «Гумилев был моим учеником в гимназии Гуревича лишь один учебный год — 1896/1897, и притом только в первом классе. Его четвертные отметки у меня были такие: 3, 2, 3, 2; Годовая отметка — 3 — ... Если память мне не изменяет, он был исключен за неспособность к учебе (во всяком случае, я хорошо помню, что и другие учителя жаловались на него в учительской), вернее, ему было предложено самому покинуть гимназию. О его поведении я не могу сказать ничего плохого. И все-таки он был одним из самых несимпатичных моих учеников. Меня он тоже недолюбливал — я видел это по нему, хотя он это и не слишком показывал» (ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 25, л. 78).

<sup>48</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 15, л. 6, об.

В. И. Анненский учился в гимназии Гуревича в 1889—1890 годах — в то время там преподавал его отец, И. Ф. Анненский.

<sup>49</sup> Слова, выделенные курсивом, написаны в оригинале по-русски.

<sup>50</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 15, л. 6.

И. Ясинского. После обеда (вместо обычного ужина) началось чтение стихов. Когда дошла очередь до Николая Степановича, последний начал читать свое „Ослепительное“ („Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню“). Все обратились в слух.

Утомившийся за день и прикурнувший на диване в одном из укромных уголков очень просторной комнаты, где мы сидели, поэт А. А. Коринфский внезапно очнулся от дремоты и стал подобно всем нам внимательно вслушиваться в негромким спокойным голосом приносимые стихи:

И снова властвует Багдад,  
И снова странствует Синдбад,  
Вступает с демонами в сору,  
И от египетской земли  
Опять уходят корабли  
В великолепную Бассору.

Взрыв искренних дружных аплодисментов заключил декламацию... Затем следовало читавшееся тоже в первый раз стихотворение „У камина“:

Наплывала тень... Догорал камин,  
Руки на груди, он стоял один.

А. А. Коринфский не выдержал и, окончательно воспрянув, стал, полусогнувшись, на дыпочках, медленно и осторожно красться к читавшему.

Мы рубили лес, мы копали рвы,  
Вечерами к нам подходили львы, —

невозмутимо читал заметивший приближившегося слушателя Гумилев.

Нагнув слегка голову с гривой, которой позавидовал бы любой из африканских львов, Коринфский замер, как бы готовясь к прыжку.

И когда прозвучало последнее четверостишие о женщине, которая „храня злое торжество“, слушала поэта, Коринфский, изменив уже позу, отрывистым голосом спросил у смотревшего на него все время бесстрастно Николая Степановича:

— Кто вы?  
— Гумилев.  
— А!

И с этим междометием на устах вполне удовлетворенный слышанным, спокойно отправился обратно вновь дремать в своем уголку представитель старшего поколения поэтов.<sup>51</sup>

Следующая встреча Фидлера и Гумилева состоялась 11 февраля 1912 года. В дневниковой записи от 12 февраля, перечисляя участников собрания, прошедшего на этот раз в квартире И. И. Соколова, Фидлер называет А. А. Бурнакина, З. Д. Бухарову, Б. Б. Глинского, А. Ф. Мейснера, В. А. Мазуркевича, А. Ф. Радченко, Ф. К. Сологуба, В. В. Уманова-Каплуновского. Присутствовал

<sup>51</sup> Последние известия (Таллин), 1927, № 48, 20 февр., с. 2.

и Гумилев, заявивший, что воспоминание о первом учителе немецкого языка «до сих пор угнетает его как страшный сон».<sup>52</sup> В тот же вечер Гумилев написал Фидлеру в один из его альбомов («В гостях») следующий акростих:

«Фидлер, мой первый учитель  
И гроза моих юных дней,  
Дивно мне! Вы ли хотите  
Лестных от жертвы речей?  
Если теперь я поэт, что мне в том,  
Разве он мне не знаком,  
Ужас пред вашим судом?!»<sup>53</sup>

На собрании Кружка, проводившемся у Гумилева в Царском Селе 19 ноября 1911 года, Фидлера не было. Не довелось Фидлеру видеть Гумилева и на «многолюдном» вечере 7 января 1912 года: в перечне его участников фамилия Гумилева отсутствует.<sup>54</sup> Судя по всему, их следующая встреча состоялась 28 января 1912 года на собрании Кружка в квартире М. Г. Веселковой-Кильштет, куда Фидлер прибыл вместе с молодой поэтессой Н. В. Грушко. «Вечер Случевского» у М. Г. Веселковой-Кильштет был приурочен к 75-летию годовщины со дня смерти Пушкина. «... Кроме своих собственных произведений члены кружка читали стихотворения великого поэта, а также переводы из него на иностранные языки», — говорилось в кратком отчете об этом вечере.<sup>55</sup> Несомненно, что и Фидлер читал свои стихотворные переводы. Среди «гостей» вечера, претендовавших на вступление в Кружок, присутствовали, помимо Н. В. Грушко, Е. А. Зноско-Боровский, секретарь редакции журнала «Аполлон», и В. В. Курдюмов. Избрание их членами Кружка состоялось на следующем собрании, 10 марта 1912 года, у Н. Н. Вентцеля. Е. А. Зноско-Боровского рекомендовал Гумилев; Фидлер поддерживал Н. В. Грушко. «При выборе новых членов, — записывает Фидлер 11 марта, — Наташа <Н. В. Грушко> получила тринадцать голосов „за“ и один „против“».<sup>56</sup> О двух других новоизбранных членах Кружка, Зноско-Боровском и Курдюмове, Фидлер, однако, не упоминает. На этом же вече-

<sup>52</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 16, л. 158.

<sup>53</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 2, ед. хр. 9, л. 5. Этот текст, как и два других цитируемых далее стихотворения Гумилева из альбомов Фидлера, впервые опубликованы Р. Д. Тименчиком в статье «Неизвестные экспромты Николая Гумилева» (Даугава, 1987, № 6, с. 112—113).

<sup>54</sup> Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии (далее — Известия Вольфа), 1912, № 2, с. 19.

<sup>55</sup> Известия Вольфа, 1912, № 3, с. 33—34.

<sup>56</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 16, л. 112.

ре присутствовал в качестве гостя близкий товарищ Гумилева по «Щеху поэтов» Владимир Нарбут, который «с завыванием прочитал несколько своих стихотворений, что вызвало всеобщий смех».<sup>57</sup> В заключение вечера, как сообщалось в печати, состоялось обычное «круговое» чтение новых стихотворений, в котором приняли участие и Гумилев, и Фидлер.<sup>58</sup> На этом же вечере Гумилев сочинил экспромпт:

«На Дуксе ли, на Бенце ль я, —  
Верхом на какаду,  
На вечер в доме Венцеля <так!>  
Всегда я попадаю».<sup>59</sup>

20 ноября 1912 года Фидлер вместе с Н. В. Грушко посещает вечер (первый в сезоне 1912—1913 года), состоявшийся у В. П. Авенариуса. Из краткой, но выразительной записи в дневнике Фидлера можно понять, что ситуация в поэтическом кружке с годами менялась. Кружок разрастался (в нем насчитывалось уже около 70 человек), и все более очевидным становилось размежевание его участников на отдельные группы, причем не только литературные, но и политические.<sup>60</sup> Ф. Ф. Фидлер с его либераль-

<sup>57</sup> Там же. Скорее всего, именно Гумилев ввел Нарбута в кружок петербургских поэтов. В 1912—1913 годах он относился к его поэзии с большим вниманием, о чем свидетельствует, в частности, одобрительный отзыв Гумилева о сборнике «Аллилуйя», изданном весной 1912 года (Аполлон, 1912, № 6, с. 54). «... Я совершенно убежден, — писал Гумилев А. А. Ахматовой весной 1913 года, — что из всей послесимволистской поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажутся самыми значительными» (Новый мир, 1986, № 9, с. 220; публикация Э. Г. Герштейн). В апреле 1912 года Нарбут подарил Гумилеву свой стихотворный сборник «Аллилуйя» — «с чувством нежным» (РО ГБЛ).

<sup>58</sup> Известия Вольфа, 1912, № 4, с. 52—53. В заметке говорится также о том, что собравшиеся на вечере почтили вставанием память недавно скончавшегося писателя и артиста В. П. Далматова, а кроме того, решили отправить в Париж приветственную телеграмму К. Д. Бальмонту (в связи с отмечаемым там 19 января 1912 года 25-летием литературной деятельности поэта).

<sup>59</sup> ЦГАЛИ, ф. 512, оп. 2, ед. хр. За, л. 11, об.

<sup>60</sup> В Кружке и ранее возникали столкновения на политической почве. В заметке Борея (В. А. Шуфа), напечатанной в «Новом времени» 19 апреля 1908 года, говорилось о том, что один из членов «Вечеров Случевского» исключен из Кружка по политическим причинам, а другой вышел из него сам. На вырезке с этой заметкой Ф. Ф. Фидлер пометил в отношении первого лица — «Ка-

ными общественными взглядами все более отдалялся от «справого» крыла консервативных верноподданнически настроенных писателей, получивших в Кружке явное превосходство. «Скучно было у Авенариуса, — читаем в дневнике Фидлера (запись от 22 ноября). — Целая группа черносотенцев: Кильштет, Грибовский, Хвостов (он прочитал оду в честь великого князя), Радченко, противный Уманов-Каплуновский,<sup>61</sup> милый Вентцель-Бенедикт, Мазуркевич; затем — Мейснер, Цензор, Катанский, Курдюмов, Умов, И. И. Соколов, А. Зарин, Кривич-Анненский и Гумилев».<sup>62</sup>

Болезненно переживая эти перемены в Кружке, особенно проявившиеся после его легализации, Фидлер реже, чем прежде, появляется на «Вечерах Случевского»<sup>63</sup> и одно время (с началом

саткин-Ростовский), а в отношении второго — «Шуф» (ЦГАЛИ, ф. 518, оп. 1, ед. хр. 7, л. 20). О князе Ф. Н. Касаткине-Ростовском, офицере лейб-гвардии Семёновского полка, участвовавшем в расстреле рабочих 9 января 1905 года, упоминает В. М. Грибовский в очерке «Загадочный герой 9/22 января 1905 г. (Из личных воспоминаний)». Очерк Грибовского в целом посвящен Гапопу, но в нем говорится, что Ф. Н. Касаткин-Ростовский «имел личное столкновение с Федором Сологубом» в кружке Случевского, и дело «чуть было не окончилось дуэлью» (Сегодня (Рига), 1921, № 19, 23 янв.).

<sup>61</sup> Тем не менее весной 1912 года Фидлер перевел несколько стихотворений Уманова-Каплуновского и напечатал их в воскресном приложении к «Герольду» (Feuilleton-Blatt des St. Petersburg Herald, 1912, № 119, 29. Apr., S. 1).

<sup>62</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 17, л. 195. Упомянуты второстепенные литераторы Н. П. Умов и Л. Е. Катанский.

<sup>63</sup> Еще 18 апреля 1909 года на заседании Кружка, состоявшемся у И. И. Соколова (с участием Гумилева) Н. В. Корецкий предлагал «уполномочить Д. М. Цензора лично переговорить с товарищем председателя Ф. Ф. Фидлером, предполагает ли он и на будущее время оставить за собой это звание или, ввиду непосещения „Вечеров Случевского“, откажется от него» (ИРЛИ, Р. I, оп. 42, ед. хр. 94, л. 18).

Не участвовал Фидлер, как явствует из его дневника, и в собрании Кружка 15 декабря 1912 года (у М. Г. Веселковой-Кильштет), на котором баллотировалась А. А. Ахматова; ее рекомендовали Гумилев, Кривич-Анненский и Мейснер (см. письмо В. В. Уманова-Каплуновского к И. И. Ясинскому от 10 декабря 1912 года — ГПБ, ф. 901, ед. хр. 875, л. 9, об.). Ахматова была избрана, и уже 20 февраля 1913 года А. А. Кондратьев писал Уманову-Каплуновскому (в связи с предстоящими выборами но-

войны) совсем перестает в них участвовать. Поэтому его встречи с Гумилевым в 1913—1914 годах (по-прежнему редкие) происходят независимо от собраний Кружка. Так, в ноябре 1913 года Фидлер встречается с Гумилевым на банкете, который состоялся в петербургском «Отель де Франс» в честь приехавшего в Россию Верхарна. Содержание этого вечера достаточно подробно передано в отчетах столичной прессы, поэтому ограничимся лишь фрагментом дневниковой записи, относящимся непосредственно к ее автору.

«Собралось около восьмидесяти человек, но, кажется, лишь немногие знали его в лицо. Когда Верхарн, маленький седой человек, скромно вошел в зал, никто не двинул рукой; лишь когда я начал аплодировать, все присоединилось. Евг[енний] Петр[ович] Семенов<sup>64</sup> представил меня Верхарну как „последнего переводчика русских поэтов на немецкий язык“, и мы обменялись парой незначащих слов по-французски и по-немецки. Я подарил ему томики (в переплете) своих переводов Некрасова, Тют-

вого председателя Кружка): «Мне, лично, очень нравятся Тэффи. Не прочь также я подать голос за Анну Ахматову или за Гумилева. Только вряд ли эти трое пройдут. Некоторые, в том числе Н. Н. Вентцель, говорят о необходимости омолодить кружок» (ГПБ, ф. 248, ед. хр. 343). На собрании Кружка поэтов и поэтесс, состоявшемся 2 марта 1913 года, председателем был избран И. И. Ясинский (взамен отказавшегося от этого звания Н. Н. Вентцеля).

Отсутствовал Фидлер и на других вечерах, в которых, согласно журнальной хронике или летописи Кружка, принимал участие Гумилев: 26 января 1913 года у Н. Н. Вентцеля, 30 марта 1913 года и 18 января 1914 года у Д. И. Ковцева (о последнем собрании см.: Известия Вольфа, 1914, № 2, с. 25; Златоцвет, 1914, № 4, с. 16) и 22 марта 1914 года у Н. Н. Вентцеля (см.: ЦГАЛИ, ф. 512, оп. 2, ед. хр. За, л. 21 и 24, об.). На вечере у Н. Н. Вентцеля 26 января 1913 года Гумилев оставил в альбоме жены хозяина, М. И. Вентцель (Пузыревской) такое четверостишие:

Какое счастье в Ваш альбом  
Вписать случайные стихи.  
Но ах! Узнать о ком, о чем,  
Мешают мне мои грехи.

(Альбом — в разрозненном виде — находится в собрании М. С. Лесмана (Ленинград); экспромт Гумилева публикуется с любезного разрешения Н. Г. Лесман).

<sup>64</sup> Семенов Евгений Петрович (наст. фамилия и имя — Коган Соломон Моисеевич, 1861—?) — журналист и переводчик; жил подолгу в Париже и сотрудничал в различных французских изданиях.

чева, Фета, Майкова и Полонского. После банкета он сделал для меня дарственную надпись на своем портрете, который я подал ему...»<sup>65</sup> Далее Фидлер перечисляет гостей, не упомянутых в газетах: М. В. Ватсон, Э. А. Венгерова, И. А. Гриневская, Н. С. Гумилев, Е. П. Леткова-Султанова, Е. А. Ляцкий, С. К. Маковский, П. П. Потемкин, И. Д. Сургучев.

Интерес Гумилева к Верхарну вполне понятен: он еще в 1908 году посвятил ему статью (в связи с изданием на русском языке в переводе Эллиса драмы Верхарна «Монастырь»), проникнутой, впрочем, весьма двойственным отношением к бельгийскому поэту. «...Преклоняясь перед Верхарном как перед поэтом и творцом новых литературных форм, надо отвергнуть его как мирового гения».<sup>66</sup> Еще более скептически воспринял выступления Верхарна в Петербурге С. М. Городецкий, ближайший соратник Гумилева по «Цеху поэтов».<sup>67</sup>

Встретившись с Гумилевым, Фидлер предложил ему сделать запись в одном из его альбомов («В ресторане»). Гумилев откликнулся на это предложение следующим шутивным четверостишием:

«На вечере Верхарена  
Со мной произошла перемена,  
И, забыв мой ужас детский (перед  
Вами),  
Я решил учиться по-немецки».<sup>68</sup>

В тот же вечер известный мастер стихового экспромта П. П. Потемкин написал на другой странице альбома:

«Хоть вы терзали Гумилева  
Во первоклассные года,  
Но я пишу свои два слова,  
Переверхарновшись сюда.  
Ф. Фидлер, я привык к авансам,  
Как Вы, Ф. Ф., привыкли к ним.  
И вас я словлю этим стансом,  
Как и себя я словлю им».<sup>69</sup>

Через два с половиной месяца Гумилев и Фидлер встречаются снова, на этот раз — в ресторане «Мало-Ярославец», где 8 февраля 1914 года состоялся тради-

<sup>65</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 19, л. 153.

<sup>66</sup> Речь, 1908, № 287, 24 ноября, с. 3.

<sup>67</sup> См. стихотворный фельетон Городецкого «Верхарн в России» («Мэтр Эмиль на Русь собрался...») — Биржевые ведомости (веч. вып.) 1913, № 13879, 28 ноября, с. 4.

<sup>68</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 2, ед. хр. 13, л. 31. Скопировав эту запись в своем дневнике, Фидлер сделал следующую приписку о Гумилеве: «Он был у меня одним из самых ленивых и озорных учеников. Теперь он рассказал, что всегда меня очень боялся» (ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 19, л. 186).

<sup>69</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 2, ед. хр. 13, л. 32.

ционный ужин участников романо-германского семинара (в связи с празднованием в этот день годовщины Петербургского Университета). Согласно записи в дневнике Фидлера, на вечере присутствовали: ректор Университета, историк Э. Д. Гримм, известные профессора Ф. А. Браун (декан историко-филологического факультета), Е. В. Аничков, испанист Д. К. Петров, Ф. Д. Батюшков, философ И. И. Лапшин, историк западной литературы К. Ф. Тиандер и др. «Произносились речи на всех живых и мертвых языках. Был там и Гумилев, написавший мне в альбом „В ресторане“ бессмысленный и бесформенный акростих:

Федор Федорович, я Вам  
Фейных сказок<sup>70</sup> не создам:  
Фею ресторанный гам  
Испугает — слово дам.  
Да и лучше рюмок звон,  
Лучше Браун, что внесен,  
Есть он, все иное вон,  
Разве не декан мой он?!»<sup>71</sup>

Присутствие на академическом банкете двух литераторов, и притом столь различных по возрасту и устремлениям, может показаться несколько неожиданным. Думается, что Фидлер принял участие в юбилейном ужине по приглашению своего старого товарища Ф. А. Брауна. (В свое время, с 1879-го по 1884 год, Фидлер был студентом историко-филологического факультета, где слушал лекции известных профессоров: А. Н. Веселовского, В. И. Ламанского, О. Ф. Миллера, А. И. Незеленова, М. И. Сухомлинова и др.). Гумилев же, поступивший в 1908 году на юридический факультет, перевелся в сентябре 1909 года на историко-филологический;<sup>72</sup> как раз в 1912—1914 годах он часто посещал университетские занятия и — в отличие от гимназических лет — весьма прилежно учился.<sup>73</sup> Поэт был непосредственно

<sup>70</sup> Обыграно название известной книги Бальмонта «Фейные сказки. Детские песенки» (М., 1905).

<sup>71</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 19, л. 279—280. Против 6-й и 7-й строк — восклицание Фидлера: «Что означает сей бред?».

В альбоме Фидлера экспромт озглавлен Гумилевым: «Акростих восьмерка» (ИРЛИ, ф. 649, оп. 2, ед. хр. 23, л. 26).

<sup>72</sup> См.: ЛГИА, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 61522, л. 30.

<sup>73</sup> О Гумилеве-студенте рассказывает К. В. Мочульский в своих письмах 1912—1913 годов к В. М. Жирмунскому (оба были также студентами историко-филологического факультета, причем Жирмунский был командирован тогда для научной работы в Германию). 22 октября 1912 года Мочульский сообщает Жирмунскому, что познакомился с Гумилевым, который ему не попра-

и близко связан с романо-германским семинаром, т. е. студенческим кружком романо-германистов при историко-филологическом факультете. Руководителем этого кружка, созданного в конце 1909 года, был профессор Д. К. Петров, помощником-распорядителем — один из студентов романо-германского отделения (например, весной 1910 года — Б. А. Кржевский, в осеннем семестре 1910 года, в 1911 году и в весеннем семестре 1912 года — В. М. Жирмунский, осенью 1912 года — К. В. Мочульский и т. д.). «Система занятий рефератная, — говорилось в отчете о деятельности кружка, — кроме того, от времени до времени, предположено устраивать собрания, на которых члены кружка могли бы читать свои собственные литературные произведения».<sup>74</sup> В 1910—1915 годах в кружке выступали с докладами С. М. Боткин, А. А. Гвоздев, В. М. Жирмунский, Б. А. Кржевский, К. В. Мочульский, В. А. Пяст и другие видные впоследствии ученые и литераторы; некоторые из них читали свои стихи (Вас. В. Гишнус, В. М. Жирмунский) и переводы (В. А. Пяст). В 1915 году примкнувший к романогерманцам Б. М. Эйхенбаум прочитал доклад «О поэзии Анны Ахматовой». Заседания кружка посещали проф. Ф. А. Браун, приват-доценты К. Ф. Тиандер, В. Ф. Шинмарев и др.

Гумилев и другие участники «Цеха поэтов», обучавшиеся в то время на ис-

вился: «...неподвижное, грубо вылепленное лицо с бесцветными глазами». Но уже через несколько месяцев отношение Мочульского к своему университетскому товарищу резко меняется: «Я последнее время очень сблизился с поэтом Гумилевым, который мне очень симпатичен (представь!), в котором я нашел больше того, чего ждал, — пишет он В. М. Жирмунскому в самом начале февраля 1913 года. — Он готовится теперь к проверочным испытаниям по греческому и латинскому языкам и я занимаюсь с ним этими предметами (...). Для того, чтобы литературная деятельность не отвлекала его от сурового пути классических штудий, Гумилев поселился в одном доме со мной, этажом выше. И часто вечерами мы плаваем с ним в облаках поэзии и табачного дыма, обсуждая все вопросы поэтики и поэзии; споря и обсуждая новое литературное течение „акмеизм“, майгеом которого он себя считает. Все это хоть и не вполне соответствует моим вкусам, тем не менее очень оригинально и интересно. При встрече расскажу подробней» (ИРЛИ, Р. 1, оп. 17, ед. хр. 582, л. 22, 40, об. 41—41 об. Указанием на этот материал авторы обязаны Н. А. Жирмунской).

<sup>74</sup> Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского университета за 1910 год. СПб., 1911, с. 301.

торико-филологическом факультете (Вас. В. Гиппиус, М. Л. Лозинский, О. Э. Мандельштам), принимали в деятельности романо-германского кружка самое живое участие. Так, 28 ноября 1912 года они все присутствовали на торжественном заседании, посвященном 350-летию со дня рождения Лопе де Веги.<sup>75</sup> В начале февраля 1913 года Гумилев читает в кружке свой реферат об «Эмалях и камнях» Теофила Готье; вскоре после него выступил и О. Мандельштам с докладом о Франсуа Вийоне.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Это заседание живописно описано в письме К. В. Мочульского к В. М. Жирмунскому от 29 ноября 1912 года. Мочульский рассказывает, что Гумилев, Лозинский и Мандельштам вели себя во время юбилейного собрания непринужденно, переговаривались, сидя на последней скамейке, за что и получили замечание от Д. К. Петрова. После вечера отдельные его участники (Боткин, Вас. В. Гиппиус, Гумилев, Кржевский, Лозинский, Мандельштам, Мочульский и Пяст) отправились в трактир на 1-ой линии Васильевского острова, а оттуда — в известное литературно-артистическое кафе «Бродячая собака». «Там мы тоже устроили чествование Лопе де Веги, — пишет Мочульский. — Боткин и Кржевский с эстрады сказали несколько слов о нем, но в более легкомысленном стиле. Я познакомился с Кузминым, Потемкиным, Судейкиным и прочими знаменитыми людьми; было много угара, шампанского, споров, импровизаций. Появились какие-то очаровательные артистки (...). Когда же Кузмин зашел „Коль славен наш Господь“, Боткин заговорил по-испански, а Гумилев стал изясняться мне в любви, я решил, что наступает *mañus gradus* и очень ловко удрал. Было 5 часов» утра...» (ИРЛИ, Р. I, оп. 17, ед. хр. 582, л. 19, об. и 20).

О Мандельштаме — студенте Петербургского университета см. воспоминания К. В. Мочульского (Даугава, 1988, № 2, с. 112—113).

<sup>76</sup> См. отчет о деятельности кружка романистов-германистов в кн.: Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского университета за 1913 год. СПб., 1914, с. 384.

Первоначально предполагалось, что доклады Гумилева и Мандельштама будут прочитаны одновременно. «Следующее заседание кружка состоится в эту среду (5 декабря), — писал Мочульский В. М. Жирмунскому 29 ноября 1912 года, — и будет посвящено двум докладам — Мандельштама о Франсуа Виллоне и Гумилева „О Франсуа Виллоне, Теофила Готье и их отношении к современной литературе“ (*Pardonnez du peu!*) (прон.: всего-навсего! фр.) Итак, как видишь, кружок процветает...» (ИРЛИ, Р. I, оп. 17, ед. хр. 582, л. 19—19, об.).

Участники романо-германского кружка стремились и к созданию литературных объединений. 22 октября 1912 года К. В. Мочульский сообщает В. М. Жирмунскому о том, что Гумилев «собирается учредить кружок изучения поэтов (вероятно, в том числе и самого себя), в котором будут участвовать многие достославные люди: Мандельштам, Гиппиус, Пяст, Лозинский, Лебедев(?)», Шлейко и прочие. Записался и я.<sup>77</sup> 13 ноября 1913 года романо-германским кружком был проведен «Вечер стихов», на котором выступали Вас. В. Гиппиус, Гумилев, Г. Иванов, Мандельштам, Пяст и другие поэты.<sup>78</sup>

Доклад Мандельштама состоялся, видимо, в феврале-марте 1913 года, поскольку его статья «Франсуа Виллон» была помещена в апрельском номере «Аполлона» за этот же год (за статьей Мандельштама следуют фрагменты из «Большого завещания» Вийона, переведенные Гумилевым).

<sup>77</sup> ИРЛИ, Р. I, оп. 17, ед. хр. 582, л. 22—22, об.

Вероятно, по этому же поводу писал и М. Л. Лозинский Вас. В. Гиппиусу 29 октября 1912 года: «...Сегодня <К. А.> Вогак, Мандельштам и я сообщили вкратце Брауну о нашем кружке. Браун отказался быть руководителем за недостатком времени, но просил прийти к нему завтра, во вторник, в 7 часов для беседы о целях и характере кружка» (ИРЛИ, ф. 47, ед. хр. 30, л. 1; Вогак Константин Андреевич (1887—1938) — поэт и театральный критик, член «Цеха поэтов»). Ср. с письмом К. В. Мочульского к В. М. Жирмунскому от 1/14 ноября 1912 года: «Был я как-то во вторник у Федора» Александровича «...» Ему жаль, что наш уютный (?) литературный семинарий прекратил свое существование: каждую субботу он чувствует, что ему чего-то недостает. Тогда я нежным голосом спросил, нельзя ли будет в следующем году восстановить это милое дело; он рассмеялся и очень утешительно ответил, что это возможно» (ИРЛИ, Р. I, оп. 17, ед. хр. 582, л. 15—15, об.).

<sup>78</sup> См.: Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского университета за 1913 год, с. 384.

Кроме того, Гумилев читал свои стихи в романо-германском кружке вечером 28 января 1915 года. На другой день Ю. А. Никольский, начинающий историк русской литературы, писал к Л. Я. Гуревичу: «Вечером я был у поэтов, т. е. в романо-германском кружке. Был Гумилев и война с ним что-то хорошее сделала. Он читал свои стихи не в нос, а просто, и в них самих были отражающие истину моменты — недаром Георгий на его куртке. Это было серьезно — весь он, и благоговейно. Мне кажется, что это очень много» (ЦГАЛИ,

Сохранились и другие свидетельства современников об участии Гумилева в романо-германском кружке.<sup>79</sup> В целом же о деятельности этого студенческого объединения с его «духом обновления и модернизма» дают представление написанные позднее воспоминания Г. В. Адамовича: «Само собой возник интерес к романо-германским семинариям и среди студентов других отделений. Здесь иногда можно было услышать доклад о Рихарде Вагнере как поэте, — правда, к некоторому удивлению проф. Брауна — или, под руководством проф. Петрова, анализ новейших течений французской прозы.<sup>80</sup> Здесь устраивались литературные выступления, на одном из которых я впервые увидел Анну Ахматову, здесь была штаб-квартира недавно возникшего акмеизма, здесь же постоянно бывали первые русские формалисты, впоследствии люди с крупными именами...»<sup>81</sup> Естественно, в этой «штаб-квартире акмеизма» Гумилев был одной из наиболее заметных фигур.

Обед в «Мало-Ярославце» завершился групповым снимком, на котором запечатлены и Гумилев, и Фидлер.<sup>82</sup> После этого Гумилев и его бывший учитель отправились в «Бродячую собаку». В дневнике Фидлера читаем: «Тот же Гумилев повез меня потом в кабаре „Бродячая собака“, где я оказался в первый и в последний раз. Тесно, мрачно, мерзко, неинтересно. В людском

ф. 131, оп. 1, ед. хр. 161, л. 115). О том же чтении Гумилевым своих стихов см. в письме Б. М. Эйхенбаума к Л. Я. Гуревич от 29 января 1915 года: «Вчера мы остались очень довольны Гумилевым, — ему война дала хорошие стихи» (ЦГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 201, л. 139; подробнее цит. в статье М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса в кн.: Б. Эйхенбаум. О литературе. Работы разных лет. М., 1987, с. 10).

<sup>79</sup> См., например, упоминание Влад. Б. Шкловского о встречах с Гумилевым в этом семинаре: Книга и революция, 1922, № 7 (19), с. 57.

<sup>80</sup> Гумилев был слушателем лекций Д. К. Петрова. См.: Чулаковский С. Памяти псаповеда проф. Д. К. Петрова (1872—2.05.1925). — За свободу (Варшава), 1928, № 92, 21 апреля. Своим учителем Гумилев считал и В. Ф. Шиншмарева. Сохранился номер «Гиперборея» (1913, № 7, «ноябрь»), целиком занятый драмой Гумилева «Актеон», с надписью: «Многоуважаемому Владимиру Федоровичу Шиншмареву от преданного ему его ученика Н. Гумилева» (хранится в частном собрании; сообщено Н. М. Иванниковой).

<sup>81</sup> Адамович Г. Петербургский университет (К 150-летию со дня его основания). — Новое русское слово (Нью-Йорк), 1969, 7 марта.

<sup>82</sup> См.: Даугава, 1987, № 6, с. 112.

клубке я видел Цензора, Шеголева, Ашешева и Иорданского...»<sup>83</sup> Видимо, Гумилев и Фидлер появились в подвале «Бродячей собаки» уже тогда, когда завершились прения после проходившего в тот вечер оживленного диспута «О новом слове», устроенного футуристами, с участием поэтов, журналистов, ученых (под председательством профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ). С докладами выступали Н. И. Кульбин, В. Б. Шкловский, Вл. Пяст; стихи читали Ахматова, Г. Иванов, Р. Ивнев, А. Крученых и др.<sup>84</sup>

Последняя запись в дневнике Фидлера, где упоминается Гумилев, сделана 22 ноября 1915 года. Накануне Фидлер посетил очередное собрание кружка «Вечера Стучевского» и встретил там Гумилева, недавно вернувшегося из действующей армии. «Я спросил Гумилева, который принимал участие в военных действиях на трех фронтах, приводилось ли ему быть свидетелем жестокостей со стороны немцев. Он ответил: „Я ничего такого не видел и даже не слышал! Газетные враки!“ „Значит, немецкую жестокость Вы испытывали только тогда, когда были моим учеником в гимназии и получали у меня единицы?“ — спросил я. Он подтвердил, засмеявшись».<sup>85</sup>

Слова Гумилева, сказанные им Фидлеру, совпадают по содержанию с одним из писем поэта к М. Л. Лозинскому. «При наступлении все герои, при отступлении все трусы, — пишет ему Гумилев 1 ноября 1914 года, — это относится и к нам, и к германцам. В частности, относительно германцев, ничто так не возмущает, как презрительное отношение к ним наших газет. Они — храбрые воины и честные враги, и к ним невольно испытываешь большую симпатию, потому что как-никак ведь с ними творишь великое дело войны. А что касается грабежей, разгромов, то как же без этого, ведь солдат не член Армии Спасенья, и если ты перечтешь шиллеровский „Лагерь Валленштейна“, ты поймешь эту психологию».<sup>86</sup> Слова эти чрезвычайно характерны для тогдашних настроений Гумилева, склонного к «эсте-

<sup>83</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 19, л. 280. Упомянуты поэт Д. М. Цензор, известный историк-пушкинист П. Е. Щеголев, писатель-публицист Н. П. Ашешов и журналист Н. И. Иорданский.

<sup>84</sup> См.: Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки». В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1983. Л., 1985, с. 226. О диспуте см. также: Эйхенбаум. Б. О литературе. Работы разных лет. М., 1987, с. 11—12.

<sup>85</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 25, л. 77.

<sup>86</sup> Архив М. Л. Лозинского (Ленинград). Текст письма любезно предоставлен И. В. Платоновой-Лозинской.

тизации» войны, но далекого от националистического, псевдорусского пафоса.

На вечере у В. П. Лебедева также присутствовали, согласно записи в дневнике Фидлера: В. П. Авенаршус, поэтесса Т. К. Берхман, И. М. Булацел, почтенный библиограф и знаток поэзии П. В. Быков, Н. Н. Вентцель, И. А. Гриневская, Ф. Е. Зарин, Зинаида Ц. (псевдоним Э. И. Быковой, урожд. Цесаренко), Д. И. Коковцев, А. А. Кондратьев, В. В. Курдюмов, М. Е. Левберг, В. А. Мазуркевич, А. Ф. Мейснер, А. К. Слуцкая (дочь поэта), И. И. Соколов, И. И. Ясинский. Молодая поэтесса Мария Левберг не была еще к тому времени полноправным членом Кружка (она баллотировалась 8 мая 1916 года на собрании у И. И. Ясинского). У В. П. Лебедева, как сообщает Фидлер, Левберг появилась вместе с В. В. Курдюмовым, который «прилежно пил вместе с ней» и, если верить предположению обычно проницательного Фидлера, находился с ней в близких отношениях.<sup>87</sup> Деталь эта весьма любопытна: именно осенью 1915 года у Гумилева был роман с Левберг. Ей посвящен первый вариант стихотворения «Змей»; она же — адресат не опубликованного ранее стихотворения Гумилева «Ты, жаворонок в горной высоте».<sup>88</sup>

<sup>87</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 25, л. 77.

О Всеволоде Валерпановиче Курдюмове (1892—1956) см.: Советские детские писатели. М., 1961, с. 212; *Тименчик Р. Д.* По поводу «Антологии петербургской поэзии эпохи акмеизма». — *Russian Literature*, 1977, № 4, с. 316—317. О поэтессе, драматурге и переводчице Марии Евгеньевне Левберг (1894—1934) см.: Литературный Ленинград, 1934, № 47, 14 сентября, с. 4 (некролог).

<sup>88</sup> Приводим полный текст стихотворения:

Ты, жаворонок в горной высоте,  
Служи отныне стих мой легкокрылый  
Ее неяркой, но издавна милой,  
Такой средневековой красоте;

Ее глазам, сверкающим зарницам,  
И рту, где воля превзошла мечту,  
Ее большим глазам, двум странным  
птицам,

И словно нарисованному рту.

Я больше ничего о ней не знаю,  
Ни писем не писал, не слал цветов.  
Я с ней не проходил навстречу маю  
Средь бешеных от радости лугов.

И этот самый первый наш подарок,  
О жаворонок, стих мой, может быть,  
Покажется неловким и случайным  
Ей, ведающей таинства стихов.

(В 20-е годы автограф этого стихотворения хранился у М. Е. Левберг; по ее словам, оно было написано между ноябрем 1915 года и январем 1916 года

В прошлом Левберг также училась у Фидлера (в 1909 году она закончила гимназию Оболенской). «На выпускном экзамене она получила у меня пятерку, — вспоминает Фидлер (запись того же дня). — Она была одной из самых болтливых моих учениц (не переставая, болтала со своей соседкой Вольф; их называли Макс и Морис). Однажды она воспела меня в стихотворении, написанном по-русски».<sup>89</sup>

Появление Левберг в сопровождении Курдюмова Гумилев должен был воспринять болезненно. Тем более что к самому Курдюмову он, по-видимому, не питал особых симпатий. В 1912 году Гумилев критически отозвался в «Аполлоне» о его первом стихотворном сборнике «Азра».<sup>90</sup> «Я был принят в общество поэтов „Кружок Слуцевского“, — рассказывает Курдюмов в своей автобиографии, — через год я выпустил свою вторую книгу стихов „Пудренное сердце“ <...> Гумилев меня снова жестоко разнес, его поддержал Георгий Иванов в журнале „Гиперборей“.<sup>91</sup> <...> И все же тот же Гумилев пригласил меня в руководимый им и С. Городецким „Цех поэтов“.<sup>92</sup> Когда я там впервые выступил, меня окончательно разнесли, но с этого дня, как мне кажется, началось освоение мною настоящей стихотворной культуры. Дальнейшие мои работы все чаще снимывали одобрение моих товарищей по Цеху и даже такого большого мастера, как М. Кузмин».<sup>93</sup> Представляется поэтому не случайным, что Гумилев

в Музее антропологии и этнографии, где Гумилев и Левберг осматривали экспонаты. Передавая ей стихотворение, Гумилев предупредил, что оно недоделано, в особенности последняя строфа. Сообщено Л. В. Горнунгом).

<sup>89</sup> ИРЛИ, ф. 649, оп. 1, ед. хр. 25, л. 77—78.

Сохранилось стихотворение М. Левберг «Бывают мгновенья печали и скуки...», обращенное к Фидлеру («На память милому Федору Федоровичу»). В тексте: «...поэт Ваш любимый <рукой Фидлера помечено — «Гейне»> живой и прекрасный, Помог мне прекрасное в жизни найти“ <...> Макса Левберг. VI класс» А. 19 января 1908 г.» <рядом помета рукой Фидлера — «гимназия» княгини Оболенской>. — ЦГАЛИ, ф. 1346, оп. 1, ед. хр. 214.

<sup>90</sup> Аполлон, 1912, № 5, с. 51.

<sup>91</sup> Отзыв Гумилева о стихотворном сборнике Курдюмова «Пудренное сердце» (СПб., 1913) см.: Аполлон, 1913, № 3, с. 75; отзыв Г. Иванова — Гиперборей. Ежемесячник стихов и критики, № 6. СПб., 1913, с. 30.

<sup>92</sup> В «Цех поэтов» Курдюмов был принят 16 февраля 1913 года. См.: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме. — *Russian Literature*, 1974, № 7/8, с. 37.

<sup>93</sup> Музей Государственного центрального театра кукол (Москва).

уехал до окончания вечера — «не расписавшись», как отмечено в альбоме Кружка.<sup>94</sup>

Вечер у В. П. Лебедева 22 ноября 1915 года был, видимо, последним собранием Кружка, которое посетили и Фидлер, и Гумилев. В более поздних записях Фидлера, как и альбоме Кружка, имена обоих отсутствуют. Впрочем, отношения Гумилева со «случевцами» на этом не прерываются. Так, 15 декабря 1915 года он дарит свою только что выпущенную в свет книгу «Колчан» В. П. Авенариусу с надписью: «Многоуважаемому Василию Петровичу Авенариусу от давнего и искреннего поклонника его чистых и печальных произведений Н. Гумилев».<sup>95</sup> Любопытно, что через несколько дней (19 декабря) у В. П. Авенариуса состоялось юбилейное (50-е) собрание Кружка, на котором Гумилева, по всей видимости, не было.

З. И. Ясинская в своих воспоминаниях рассказывает, что зимой или «поздней весной» 1916 года видела вместе Есенина и Гумилева на одном из вечеров Кружка, проводившемся в доме ее отца. «Тогда Есенин, очевидно, впервые увидев Гумилева, так и впился в него. <...> Гумилев не выступал с критикой, он только читал стихи».<sup>96</sup> Такой ве-

<sup>94</sup> ЦГАЛИ, ф. 512, оп. 2, ед. хр. 3а, л. 35.

<sup>95</sup> Хранится в собрании М. Е. Кудрявцева (Москва). Текст надписи сообщен Н. М. Иванниковой.

<sup>96</sup> Ясинская З. И. Мои встречи с Сергеем Есениным. — В кн.: С. А. Есенин в воспоминаниях современников. М., 1986, т. 1, с. 260. «Молоденькая поэтес-

чер в доме П. И. Ясинского на Черной речке состоялся 8 мая 1916 года. Правда, Есенина, если верить его биографам, в те дни в Петрограде еще не было: он вернулся с Юго-Западного фронта только 16 мая.<sup>97</sup> Гумилев же находился тогда в Петрограде, куда был отпущен с фронта для лечения, и, конечно, мог присутствовать у Ясинского. Однако в перечнях участников этого вечера ни он, ни Есенин не упомянуты.<sup>98</sup> Другой вечер у П. И. Ясинского состоялся 22 января 1917 года, но в этот день Гумилев был на фронте. Нет также сведений и о том, что кто-либо из них появлялся на других вечерах Кружка в сезоне 1916/1917 года.<sup>99</sup>

са), упомянутая в этом очерке, — по-видимому, М. Е. Левберг или М. М. Тумповская.

<sup>97</sup> См.: Вдовин В. А. Материалы к биографии Есенина. — Вопросы литературы, 1970, № 7, с. 170.

<sup>98</sup> Известия Вольфа, 1916, № 6, с. 80; ЦГАЛИ, ф. 512, оп. 2, ед. хр. 3а, л. 38—38, об.

<sup>99</sup> Последнее собрание Кружка состоялось 4 ноября 1917 года у баронессы Таубе (Софьи Ивановны Аничковой; 1888 — после 1941 года). — ЦГАЛИ, ф. 512, оп. 2, ед. хр. 3а, л. 44. Ее воспоминания о Кружке см. в кн.: Аничкова С. (баронесса Таубе). Загадка Ленина. Из воспоминаний редактора. Прага, «1935», с. 8—11. О хранившихся у нее в эмиграции листках с экспромтами Гумилева и других авторов см.: Ильинская О. У Петербургской лампы. Литературные вечера у баронессы Таубе. — Рубеж (Харбин), 1938, № 40, с. 5.

В. И. Глоцер

## ПИСЬМО ЧАРСКОЙ ЧУКОВСКОМУ

Имя актрисы Александринского театра Лидии Чуриловой, или, как с некоторых пор стали писать в программах, «г-жи Чарской», было знакомо в начале 900-х годов небольшому кругу людей, театральных завсегдатаев. Характерная актриса, она играла третьи, редко — вторые роли (Радушка в «Снегурочке» А. Островского, Като в «Жеманницах» Мольера, Дашенька в «Свадьбе» А. Чехова и т. п.). Зато имя писательницы Лидии Чарской (1875—1937) было известно в 900-х годах по всей России. Повести и романы для детей и юношества, а также для взрослых («Записки институтки», 1902, «Княжна Джаваха», 1903, «Людя Власовская», 1904, «Мощкара», 1905, и другие) становились излюбленным чтением во многих и многих семьях. «Чарская — уже не псевдо-

ним, а узаконенная моя фамилия, по которой я живу», — писала Л. А. Чарская 1 сентября 1905 года библиографу П. А. Дилакторскому.<sup>1</sup>

Она была очень плодовитым автором,<sup>2</sup> сочиняла по три-четыре повести или романа в год, а еще стихи, сказки, песни, рассказы «для малюток» и «для юношества». Печаталась и во взрослом «Новом мире» и в детском «Задушевном слове». Ученый комитет Министерства народного просвещения почти неизменно рекомендовал ее книги в библиотеки

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, ед. хр. 388.

<sup>2</sup> «Работаю 12½ лет, а вся в долгу с головою, — признавалась она в письме к Б. А. Лазаревскому. — Пишу же буквально день и ночь» (ГПБ, ф. 418, ед. хр. 12).

учебных заведений, а Главное управление военно-учебных заведений — в ротные библиотеки кадетских корпусов.

«Л. А. Чарская — талантливая переказчица исторических событий для детей среднего возраста», — писал «Голос Москвы».<sup>3</sup> «Имя Л. А. Чарской, как писательницы для детей, пользуется заслуженной популярностью. Рассказы ее живы, увлекательны и с удовольствием читаются не только детьми, но и взрослыми»,<sup>4</sup> — говорилось в другой рецензии, на ее повесть «Паж цесаревны». А рецензент «Московских ведомостей» считал вполне убедительным одно лишь слово — *достаточно*, когда утверждал, что «имя Л. А. Чарской, как талантливой писательницы книг для юношества, *достаточно* известно, чтобы само могло служить *достаточно* рекомендацией для этой книги».<sup>5</sup>

И, наконец — едва ли не первое по авторитетности — мнение педагога и историка русской детской литературы Н. В. Чехова: «Если считать наиболее популярным писателем того, чьи сочинения расходятся в наибольшем числе экземпляров, то самым популярным детским писателем должна быть признана в настоящее время г-жа Л. Чарская. Актриса по профессии, г-жа Чарская обладает живою фантазиею и вполне литературным слогом. Сочинения ее всецело принадлежат к романтическому направлению в детской литературе: главный интерес их в занимательности рассказа, необычайных приключениях и выдающихся характерах героев и героинь».<sup>6</sup> И т. д., и т. п.

Слава ее росла год от года. «Известия книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф» (а большая часть романов и повестей Чарской выходила в роскошных изданиях Вольфа) рекламировали в каждом номере от трех до десяти ее книжек.<sup>7</sup> В рубрике «Rossica» тех же «Известий» читателю сообщалось о переводах произведений Чарской на французский, чешский и немецкий языки и о восторженных отзывах на эти книги западноевропейской прессы.<sup>8</sup> Составная часть «Известий», ежемесячный

«Вестник литературы», помещал подробные рецензии на книжки г-жи Чарской. Одна из них начиналась так:

«„Взрослый человек обладает правом иметь любимые книги, почему же не предоставить этого права маленькому человеку — ребенку, если в этом любимом чтении нет ничего ни опасного, ни вредного? К чему, пользуясь преимуществами сильного, посягать на его вкусы и симпатии и стараться переделывать их по-своему?“

Эти слова, — продолжал рецензент, — взятые мною из известного критического указателя „Что читать народу?“, приходят мне всегда на память, когда я слышу, с каким увлечением и восторгом читают и дети, и подростки произведения Л. А. Чарской.

Действительно успех автора „Княжны Джаваха“ среди читателей представляет собой явление почти небывалое, можно даже сказать, стихийное. Но г-жу Чарскую не только читают: ее любят. Между тем за последнее время раздаются правда немногие и единичные голоса против г-жи Чарской. Впрочем, безуспешно: дети и юношество за Чарскую».<sup>9</sup>

Кто эти «единичные голоса», установить не удалось. Скорей всего это были изустные мнения.

А поток восторгов бушевал все сильнее и сильнее.

Двум пространным статьям, появившимся позже в педагогической печати и содержавшим упреки Чарской в том, что ее произведения из институтской жизни — «пасквиль на педагогов»<sup>10</sup> и что девушки находят в них «отзвук проснувшимся половым чувствам»,<sup>11</sup> сдержать этот поток было явно не под силу. Наоборот, своей сбивчивостью и нелитературностью претензий они лишь подогревали ажиотаж вокруг популярного имени.

И вдруг — среди нарастающих гимнов, среди упоенных голосов «во славу» — раздался голос Корнея Чуковского. 9 сентября 1912 года в воскресном номере газеты «Речь» была напечатана его статья «Чарская».

«Слава Богу: в России опять появился великий писатель, и я тороплюсь поскорее обрадовать этой радостью Россию.

Открыла нового гения маленькая девочка Леля. Несколько лет назад Леля заявила в печати:

<sup>3</sup> Голос Москвы, 1909, № 294, 23 дек.  
<sup>4</sup> Театральный день (Вильна), 1909, № 3, 31 мая, с. 8.  
<sup>5</sup> Николай Т. Книжки для подарков. Издания М. О. Вольф. — Московские ведомости, 1909, № 294, 23 дек. (Курсив мой, — В. Г.).  
<sup>6</sup> Детская литература / Сост. Н. В. Чехов. М., Книгоиздательство «Польза», 1909, с. 141.  
<sup>7</sup> См., например: Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии, 1910, № 1, с. 2—3; № 2, с. 3—4, и т. д.  
<sup>8</sup> См., к примеру, «Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф», 1910, № 2, стлб. 27; № 1, стлб. 10, и прочее.  
<sup>9</sup> Гловский Мариан. Задушевная поэсса. — Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф (Вестник литературы), 1910, № 2, стлб. 40—41.  
<sup>10</sup> Масловская З. Наши дети и наши педагоги в произведениях Чарской. — Русская школа, 1911, № 9, с. 123.  
<sup>11</sup> Фриденберг В. За что дети любят и обожают Чарскую? — Новости детской литературы, 1912, № 6, 15 февр., с. 5.

— „Из великих русских писателей я считаю своей любимой писательницей Л. А. Чарскую“.

А девочка Ляля подхватила:

— „У меня два любимых писателя: Пушкин и Чарская“.

А девочка Лилия прибавила:

— „Своими любимыми писателями я считаю: Лермонтова, Гоголя и Чарскую“.

Эти отзывы я прочтал в детском журнале „Задушевное слово“, где издавна принято печатать переписку детей, и от души порадовался, что новый гений сразу всеми оценен и признан. Обычно мы чествуем наших великих людей лишь на кладбище, но Чарская, к счастью, добилась триумфов при жизни. Вся молодая Россия поголовно преклоняется пред нею, все Лилечки, и Лялечки, и Лелечки.<sup>12</sup>

Статья была полна критического сарказма. «Детским кумиром доныне считался у нас Жюль Верн. Но куда же Жюлю Верну до Чарской!»

К. Чуковский высмеивал «чудесные детские книжки» «обожаемой Лидии Алексеевны», окрестив их «фабрикой ужасов», потому что, по его наблюдению, ни одна повесть Чарской не обходилась без серии ужасов, обмороков, истерик. «Она так набила руку на этих обмороках, корчах, конвульсиях, что изготавливает их целыми партиями (словно папирсы набивает!): судорога — ее ремесло, надрыв — ее постоянная профессия, и один и тот же „ужас“ она аккуратно фабрикует десятки и сотни раз. И мне даже стало казаться, что никакой Чарской нет на свете, а просто — в редакции „Задушевного слова“, где-нибудь в потайном шкафу, имеется заводной аппаратик, с дюжиной маленьких кнопочек, и над каждой кнопочкой надпись: Ужас. — Обморок. — Болезнь. — Истерика. — Злодейство. — Геройство. — Подвиг, — и что какой-нибудь сонный мужчина, хотя бы служитель редакции, по вторникам и по субботам засучит рукава, подойдет к аппарату, защелкает кнопками, и через два или три часа готова новая вдохновенная повесть, азартная, вулканически-бурная, — и, рыдая над ее страницами, кто же из детей догадается, что здесь ни малейшего участия души, а всё винтики, пружинки, колесики!.. Конечно, я рад приветствовать эту новую победу механики. Ведь сколько чувств, сколько вдохновенный затрачивал прежде человек, чтоб создать „произведение искусства“! Теперь, наконец-то, он свободен от ненужных творческих мук!»

Точной и едкой демонстрацией сквоз-

<sup>12</sup> Речь, 1912, № 247 (2201), 9 (22) сент. Цитирую по изданию: Корней Чуковский. От двух до пяти (6-е изд. Л., 1936), в котором статья «Лидия Чарская» воспроизводится с небольшой стилистической правкой автора.

ных фраз и слов Чуковский вскрывал нехитрую поэтику Чарской.

«Что же это такое, обожаемая Лидия Алексеевна? — вопрошал критик. — Как это случилось, что вы превратились в машину? Долго ли вам еще придется фабриковать по готовым моделям всё те же ужасы, те же истерики, те же катастрофы и обмороки? Кто проклял вас таким страшным проклятием? Как должно быть вам самой опостытели эти истерные слова, истерпанные образы, застарелые, привычные эффекты, и с каким должно быть скрежетом зубовным, мучительно себя презирая, вы в тысячный раз выводите все то же, все то же, все то же...»

Но, к счастью, вы и до сих пор не догадались о вашем позоре, и, когда простодушные младенцы воспевают вас как счастливую соперницу Пушкина, как недостижимо-великого гения, вы примете эти гимны как должное... Я тоже почитаю вас гением, но, вопреки, гением пошлости. Превратить свою душу в машину — и значит стать пошляком: чувствовать и думать по инерции. Если какой-нибудь Дюркгейм захочет написать философский трактат „О пошлости“, рекомендую ему сорок томов сочинений Лидии Чарской. Лучшего материала ему не найти. Здесь так полно и богато представлены все оттенки и переливы этого мало исследованного социального явления: банальность, вульгарность, тривиальность, безвкусица, фарисейство, ханжество, филлистерство, косность (огромная коллекция! великолепный музей!), что наука должна быть благодарна трудолюбивой писательнице».

«Особенно недостижима, по словам критика, Чарская в пошлости патриотиказарменной...», («е книги — лучшая прививка детским душам казарменных чувств»). А воспеваемый ею институт («Люда Влассовская», «Белые пелеринки», «Большой Джоз» и другие) «есть гнездилище мерзости, застенки для калечения детской души».

Чуковский не оставлял камня на камне от литературной репутации «обожаемой Лидии Алексеевны», от пустых заверений рецензентов, будто «„чуткое“ сердце есть прежде всего у самой писательницы» и родители и педагоги могут-де сами «убедиться в благотворном влиянии литературной деятельности» Чарской.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> См. уже цитированную статью Маряна Гловского.

Статья о Чарской была одной из выношенных, продуманных работ критика. Уже в 60-е годы, на закате жизни, размышляя о принципах своей критической деятельности, Корней Чуковский писал: «Второе мое правило (первое состояло в том, что он «лишь тогда... считал себя вправе писать о какой-нибудь книге», когда у него «создава-

Статья К. Чуковского имела оглушительный резонанс, и несомненно в противовес ей, чтобы как-то нейтрализовать ее, Вольф издал в следующем, 1913 году, брошюру Виктора Русакова «За что дети любят Чарскую?» Чуковский в ней не один раз именуется «злейшим врагом и хулителем» Чарской,<sup>14</sup> а тон его статьи охарактеризован как «не литературный и лишенный элементарной порядочности».<sup>15</sup>

Десятилетия спустя, в наши дни, читательский успех Чарской, однако, оценивался по-разному, порой совершенно противоположно. «...Клавдия Лукашевич и Лидия Чарская были, в сущности, скромными поставщиками Вольфа и Девриена. Они не вписаны в своем успехе...», — писал в 1933 году С. Маршак.<sup>16</sup> «...Чарская имела головокружительный успех, и теперь, поняв, как это трудно — добиться успеха, я вовсе не нахожу, что ее успех был незаслуженным», — писала много позднее Вера Панова.<sup>17</sup>

Леопид Борисов вспоминает, как в начале 1920 года на склад Вольфа, продукция которого подлежала реквизиции, заглянула актриса Большого драматического театра и в то время заместительница комиссара просвещения по художественным делам в Петрограде М. Ф. Андреева. Она заинтересовалась: «Нет ли Чарской?» и взяла несколько ее книжек. Недели через три М. Ф. Андреева вернула их со словами: «Не понимаю, как могли издавать сочинения Чарской, почему, по крайней мере, никто не редактировал ее, не убрал фальшь и порою, очень часто, неграмотные выражения? Кто-то, забыла, кто именно, хорошо отделал эту писательницу...»<sup>18</sup>

Этим «кто-то» и был Корней Чуковский. Его статья о Чарской запомнилась современникам.

Итак, все ясно: насмешливый, беспощадный критик, ненавидящий в лю-

лось собственное свежее мнение о ней, не совпадающее с общепринятым мнением», — В. Г.) никогда не писать скандалка. Критик обязан изучить свой материал досконально. Чтобы написать небольшую статью о плодотворной беллетристике Лидии Чарской, я прочитал все 64 ее книги» (Архив К. Чуковского).

<sup>14</sup> Русаков Виктор [С. Ф. Либрович]. За что дети любят Чарскую? СПб.; М., Издание Т-ва М. О. Вольф, 1913, с. 38, а также, с. 6, 32.

<sup>15</sup> Там же, с. 32—33.

<sup>16</sup> Маршак С. О наследстве и наследственности в детской литературе. — В кн.: Маршак С. Воспитание словом. М., 1961, с. 290.

<sup>17</sup> Панова Вера. Заметки литератора. Л., 1972, с. 150.

<sup>18</sup> Борисов Леопид. Родители, педагоги, поэты... Книга в моей жизни. 2-е изд. М., 1969, с. 82.

тературе ремесленничество и фальшь, расправился с «детским кумиром», а вернее сказать, с литературным кумиром мецанской России.

Здесь, пожалуй, и кончается известное об этом весьма заметном литературном эпизоде 900-х годов. Но в недавнее время открылись новые документы, рассказавшие об отношениях Чуковского и Чарской через десять лет после опубликования его статьи. Эти отношения складывались как бы *вне* литературы, они лежат за ее пределами, но может быть поэтому сильнее всего говорят об отношениях людей в литературе, в деле, кровном для них.<sup>19</sup>

5 сентября 1922 года Чуковский записывает в дневнике:<sup>20</sup>

«Вчера познакомился с Чарской. Боже, какая убогая. Дала мне две рукописи — тоже убогие. Интересно, что пишет она малограмотно. Например: перед *что* всюду ставит запятую, хотя бы это была фраза: „Не смотря ни на, что“. Или она так изголодалась? <sup>21</sup> Ей до сих пор не дают пайка. Это безобразие. Харптон получает, а она, автор 160 романов, не удостоилась. Но бормочет она чепуху, и видно совсем не понимает, откуда у нее такая слава».

Корней Чуковский участвовал в судьбе многих литераторов. Но что он хлопотал о Лидии Чарской, против которой была направлена одна из самых гневных и острых его критических статей,<sup>22</sup> предположить было трудно.

В ту пору Чуковский часто встречался с молодым американским филологом Кини, представителем Ара (Ассоциации помощи голодающим) в России.

<sup>19</sup> Уже после того как статья «Письмо Чарской Чуковскому» была написана и предложена редакциям, вышли воспоминания невестки К. Чуковского, Марины Чуковской, в которых есть такая фраза: «Известны хлопоты Корнея Ивановича за писательницу Лидию Чарскую» («В жизни и в труде». — В кн.: Воспоминания о Корнее Чуковском / Сост. К. И. Лозовская, Э. С. Паперный, Е. Ц. Чуковская. М., 1977, с. 150). Может быть, про это широко рассказывала сама Чарская? Или Корней Чуковский? Или кто-то уже писал об этом до меня? Ни то, ни другое, ни третье. Очевидно, слово «известны» следует понимать так: мемуаристка в свое время слышала, знала о хлопотах Корнея Чуковского из семейных источников или же знакомилась с Дневником К. Чуковского после его смерти.

<sup>20</sup> Архив К. Чуковского. Благодарю Елену Цезаревну Чуковскую, которая предоставила мне архивные материалы.

<sup>21</sup> Судя по письмам Чарской разных лет, хранящимся в ЦГАЛИ, в ГИПБ и в ГБЛ, писала она грамотно.

<sup>22</sup> Кстати сказать, потом перепечатанная в его сборнике «Лица и маски» (СПб., «Шиповник», 1914).

18 января 1924 года Чуковский записывает в дневнике:

«Замечательно эгоцентрична Х. <...> Кини попросил меня составить совместно с нею и Замятинным список нуждающихся русских писателей. Я был у нее третьего дня: она в постели. Думала, думала, и не могла назвать ни одного человека! Замятин тоже — обещал подумать. Это качество я замечал также в другом талантливом человеке — Добужинском. Он добр, готов хлопотать о других, но в 1921 году», сталкиваясь ежедневно с сотнями голодных людей, когда доходило дело до того, чтобы составить их списки, всячески напрягал ум и ничего не мог сделать.

Вот список для Кини, который составил я: Виктор Муйжель, Ольга Форш, Федор Сологуб, Ю. Верховский, В. Зоргенфрей, Ник. С. Тихонов, М. В. Ватсон, Иванов-Разумник, Лидия Чарская, Горнфельд, Рима Николаевна Андреева (сестра Леонида Андреева) и Ахматова.<sup>23</sup>

Включая Лидию Чарскую — наряду с Ахматовой и Сологубом — в свой список, Чуковский, конечно же, меньше всего думал о ее месте в литературе. Но он не забывал, что она труженица и что сейчас она бедствует. Поэтому в том, что она попала в его список, нет ничего удивительного. Неожиданной узнать, что Чарская писала Корнею Чуковскому письмо, полное неподдельной благодарности, ибо одно лишь сочетание имен — Чарская и Чуковский, казалось, навсегда исключает самую возможность подобного послания. Но в архиве Чуковского обнаружено ее письмо с пометкой рукою владельца: «Получено от Лидии Чарской 3 февраля».

Напомню, что после 1918 года произведения Чарской уже не издавались,<sup>24</sup> но она продолжала играть на сцене бывшего Александринского театра, в котором служила непрерывно, начиная с 1898 года.

А К. Чуковский в эти годы — если иметь в виду его деятельность только на ниве детской литературы — немало сил отдает новой литературе для детей, строящейся во многом на отрицании принципов прежней, предреволюционной. Он фактически ее основоположник: выступает с рецензиями и статьями о детских книгах, подсказывает владельцу возникшего издательства «Радуга» Льву Клячко идею выпускать книжки для маленьких (и в «Радуге» впервые выйдут ныне знаменитые книжки для детей), дружески поддерживает начинающих в детской литературе С. Маршак и Б. Житкова, пишет лучшие свои сказки («Тараканище», 1921, «Мойдодыр»,

1921, «Муха Цокотуха», 1923,<sup>25</sup> и другие).

Однако вернемся к письму Л. Чарской. Вот оно:

«1/2 24 г.

Глубокоуважаемый Корней Иванович. Нет достаточно слов, которыми я могла бы выразить Вам мою искреннюю сердечную благодарность за то, что Вы сделали для меня в этот ужасный год несправедливого моего сокращения в театре и в дни болезни.

Два дня тому назад я узнала лишь о том, что получкой дров из Американской Секции и получением помощи (ежемесячной) в КУБУ<sup>26</sup> я обязана Вам.

Спасибо Вам, дорогой, за все. Слов нет. Спасибо Вам, что пришли мне на помощь в такую исключительно тяжелую для меня минуту жизни. И так деликатно, так чутко! Я получила 2 сажени, и трехнедельными деньгами. (На выбор: или 3 сажени). Взяла первое.) Думаю, что Вам это можно сказать. В Кубу в этом месяце получила 110 миллиардов. (За январь)

У Вас есть дети, и за то доброе, что Вы делаете другим, они должны быть счастливы и будут, если существует справедливость на земле.

Верите ли, за весь этот год со дня моего сокращения Юрьевым из группы<sup>27</sup> и перевода в „сезонные“ до мая, я впервые почувствовала, узнав о Ваших хлопотах, что свет не так уж плох, раз на земле живут такие светлые люди, как Вы и Вам подобные.

Еще раз огромное Вам спасибо за все.

Искренне преданная Вам  
Лидия Чарская.<sup>28</sup>

«Думаю, что Вам это можно сказать», «... я впервые почувствовала, узнав о Ваших хлопотах, что свет не так уж плох...» — это безусловно не просто вежливые фразы, и они приобретают особый смысл, когда вспоминаешь об отношениях в литературе Чуковского и Чарской.

В этом, кажущемся на первый взгляд частным и бытовым, эпизоде проглядывает многое. Он живое свидетельство того, что представляла собой подлинная литературная критика, что такое истинный критик и каковы были реальные отношения, даже глубоко не согласных между собой в понимании искусства, литераторов.

<sup>25</sup> Первые издания под заглавием «Мухина свадьба» (Л.; М., «Радуга», 1924, и т. д.).

<sup>26</sup> В Комиссии по улучшению быта ученых.

<sup>27</sup> Актер Ю. М. Юрьев (1872—1948) в 1922—1928 годах заведовал художественной частью б. Александринского театра.

<sup>28</sup> ГБЛ, ф. 620 (Чуковского), к. 72, ед. хр. 53.

<sup>23</sup> Архив К. Чуковского.

<sup>24</sup> Хотя сообщу, что позднее, в 1925—1929 годах, под псевдонимом Н. Иванова, выйдет в свет несколько ее книжечек для малышей.

М. В. Черняков

## О СТИХОТВОРЕНИИ МАЯКОВСКОГО «ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ» \*

(ПУБЛИКАЦИЯ О. Е. ПАРТИГУЛ-ЧЕРНЯКОВОЙ)

Полвека — срок такой, что даже произведение, однажды поразившее художественное воображение современников, прочно вошедшее в их духовный мир, может впоследствии затеряться в литературном потоке и, потесненное другими, оказаться преданным забвению. Полвека — время совершенно достаточное, чтобы подлинно значительное создание человеческого духа было в полной мере осознано потомками поэта как художественный феномен, не утративший своего значения с годами и неподвластный им.

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» — одно из стихотворений поэта, вызванных к жизни обстоятельствами своего времени, — так прочно связано со своим временем, что, может показаться, принадлежит лишь ему. Между тем все новые поколения ценителей стиха вот уже сколько лет кряду перечитывают каждый раз по-новому волнующие их строки, погружаясь в созданную художником поэтическую вселенную, обживая и осваивая ее, обогащая познанным свой духовный, свой нравственный опыт.

Не случайно настойчивое стремление к все более углубленному прочтению именно этого стихотворения то и дело обнаруживают современные, в том числе и новейшие, интерпретаторы поэта — от такого внимательного и многоопытного исследователя поэтики Маяковского, как З. Паперный, до Ф. Пицкель — автора серьезной работы «Маяковский: художественное постижение мира».

Известная исследовательница русской лирики справедливо указывала в свое время на «сравнительно небольшой про-

цент действительно замечательных „вечных стихов“ на фоне огромной массы более или менее „рядовых“, просто хороших стихов, даже очень хороших поэтов».<sup>1</sup>

Принципиально трудно не согласиться с однажды замеченным. Применительно к творчеству Маяковского, его знаменитому «Письму товарищу Кострову...» в частности, более существенным представляется другое: понять, какими чертами стихотворение заявляет и отстаивает свое право на поэтическое долголетие.

Но поначалу о самом стихотворении — таком, каким оно пришло к читателю стиха Маяковского тогда, в 1928 году.

«Письмо к любимой Молчанова...», «Письмо писателя Владимира Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому», «Письмо Тагяне Яковлевой»... и еще стихотворные послания с названиями, лишь более или менее прозрачно маскирующими лирический жанр, который Маяковский любил, которым пользовался охотно не только в полемических, но и в исповедальных целях, поэтику которого в разные годы тщательно разрабатывал и совершенствовал...

«Слышал — вас Молчанов бросил, будто он предпринял это, видя, что у вас под осень нет „изячного жакета“...»

«Алексей Максимович, как помню, между нами что-то вышло вроде драки или ссоры. Я ушел, блестя потертыми штанами; взяли Вас международные рессоры...»

«Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови, дай про этот важный вечер рассказать по-человечьи...»

И наконец, вот это, теперь известное чуть ли не каждому, кто хоть однажды вчитывался в поэта: «Простите меня, товарищ Костров, с присущей душевной ширью, что часть на Париж отлученных строф на лирику я растранирю...»

Кто такой Иван Молчанов, что у него вышло с любимой девушкой в уже бесконечно далеком сейчас 1927 году, почему в отношении между поэтом Иваном Молчановым и оставленной им девушкой публично вмешался Маяковский, что это за «Бабыя банда», которая фланировала по Петровке в привезенных

\* Черняков Марк Владимирович (1912—1983) — кандидат филологических наук, доцент Харьковского государственного университета. Автор книги «Поэзия и эпоха. Из истории русской советской поэзии 30-х годов» (Харьков, 1968), а также многочисленных статей о поэзии, посвященных Н. Тихонову, Э. Багрицкому, М. Светлову, Н. Ушакову и др. Участник Великой Отечественной войны. Автор стихотворных сборников «Сердце солдата» (Харьков, 1945), «Память» (Харьков, 1947). Статья о стихотворении Маяковского «Письмо товарищу Кострову из Парижа...» взята из подготовленной М. В. Черняковым к печати, но еще не опубликованной книги «Долголетие стиха».

<sup>1</sup> Сильман Т. Заметки о лирике. М., 1977, с. 14.

контрабандой из тогда еще панской Польши жакетах, и какое все это имело отношение к поведению «литературной шапки», мешающей «мобилизациям и маневрам»? И в конечном счете, почему стихотворение Ивана Молчанова «Свидание», напечатанное в № 219 «Комсомольской правды», вызвало такую гневную отповедь Маяковского, заклеившего стихи своего современника не только как дурное стихотворение, но и как дурной поступок («Припомадась и прикрасясь, эту гадость вливши в стих, хочет он марксистский базис под жакетку подвести»)?

Или в другом случае: что это за «драка или ссора», которая залегла в свое время между Горьким и Маяковским и дала повод последнему для публичного объяснения с писателем, стоявшим у самых истоков молодой советской литературы? Какими реальными фактами современной литературной жизни были вызваны упреки старшему собрату по перу в литературной всеядности и невзыскательности («Вы и Луначарский — похвалы повальные, добряки, а пишущий бесстыж...»)? Чем вызвана публичная полемика с Горьким по поводу романа Ф. Гладкова «Цемент» — книга, которая, казалось бы, должна была импозировать Маяковскому, ратовавшему за художественное постижение современности («Продают „Цемент“ со всех лотков. Вы такую книгу, что ли, цените?»)? Кто такой Калинин и что за калининковские «мощи», за открытие которых Маяковский так решительно осуждает Горького («Затыкаешь ноздри, нос наморщишь и идешь верстой болотца длинненького. Кстати, говорят, что Вы открыли мощи этого... Калининва»)? Кто такой профессор Шенгелл и почему его литературно-педагогическая деятельность вызвала такую резкую оценку поэта («А рядом молотобойцев ааапестам учит профессор Шенгелли. Тут не поймешь просто-напросто, в гимназии вы, в шинке ли?»)? В конечном счете, в чем был прав Маяковский, отважившийся на открытую полемику с Горьким, в чем он, ограниченный знанием и пониманием фактов, в ряде случаев несомненно опрометчиво толковал и оценивал их?

И наконец, если иметь в виду специально занимающее нас «Письмо товарищу Кострову...», кто такой Тарас Костров и почему именно к нему обращается поэт, стремящийся уяснить важнейший для себя вопрос «о сущности» любви? Почему именно у него просит прощения за то, что «часть на Париж отпущенных строф» решается «растранжирить» на лирику? И кто такая эта красавица, «в меха и бусы оправленная», диалог с которой о сущности любви поэт и поведет в присутствии Тараса Кострова? И против кого ополчается поэт, когда с удивительной исповедальностью и темпераментом обра-

щается к своему, не названному в этом случае, но совершенно реальному противнику: «Не поймать меня на дряни, на прохожей паре чувств. Я ж навек любовью ранен — еле-еле волочусь»? И кого имеет в виду, когда славит любовь такой силы, чтобы она оказалась способной «подымать, и вести, и влечь, которые глазом ослабли. Чтob вражки головы спиливать с плеч хвостатой сияющей саблей»?

Сколько лет минуло с тех пор, когда были написаны эти острые, каждый раз вызываемые важнейшими для своего времени явлениями социальной и нравственной жизни общества стихи. Все решительнее сужается круг читателей, для которых бесспорна значимость поднятых в них общественных и нравственных вопросов. Все необозримее оказывается круг читателей Маяковского, которые, лишь прибегнув к помощи специального комментария, погружаются в атмосферу, вызвавшую к жизни некогда такой злободневный, такой спиюнито значимый стих. А между тем стихи, может показаться написанные «на случай», прорываются через годы времени», через «голова поэтов и правительств» ко все новым поколениям читателей, с которыми поэт продолжает вести свой не оборванный временем диалог.

Но вернемся к «Письму товарищу Кострову...». А, собственно говоря, что скажет сегодня это имя воображению читателя? Самый дотошный из них, навевая справки, узнает, что Тарас Костров — псевдоним известного в 20-х годах критика и публициста А. С. Мартыновского, редактора «Комсомольской правды» и «Молодой Гвардии». Самый любознательный разыщет на одном из бульваров в Гагре хорошо ухоженную могилу с надгробием, на котором обозначено имя Тараса Кострова, человека теперь уже мало кому известного. Порывшись в периодике середины 20-х годов, современный читатель стихотворения окунется в спор о лирике вообще, о любовной лирике в частности, спор, дальше эхо которого то и дело отдается в «Письме...». Обо всем остальном нужно догадываться уже, вчитываясь в стихотворение, в котором чуть не каждая строчка нуждается в наших дни в раскодировании. И все это — с самого начала стихотворения, буквально с первой же строфы его.

«Простите меня, товарищ Костров, с душевной ширью, что часть на Париж отпущенных строф на лирику я растранжирю», — начинается Маяковский свое стихотворное послание (в черновом автографе: «Прости, комсомол и товарищ Костров, прости с комсомольской ширью, но часть Парижу отпущенных строф на лирику я растранжирю»). И у современного читателя, конечно же, совершенно естественно возникает вопрос: а почему, собственно, Маяковский должен отчитываться перед Тарасом Кост-

ровым в том, какое количество строк он по-деловому «истратил» на Париж, а какое своевольно «растранижил» на почему-то запретную сейчас лирику. Чтобы уяснить это, теперь уже ставшее «темным», место стихотворения, нынешнему читателю стиха нужно знать много. Он должен знать, что, открывая литературный вечер, организованный 10 сентября 1928 года в Красном зале МК ВКП(б), редактор «Комсомольской правды» тов. Тарас Костров сказал, что перед отъездом за границу Маяковский хочет побеседовать со своими читателями о том, что и как ему писать о заграничке, хочет получить задание, «командировку» — не ту командировку, по которой надлежащие ведомства выдают заграничный паспорт, а словесный мандат, «наказ» от своей аудитории. Он должен помнить, что выступившие затем в прениях комсомольцы единодушно давали свои подписи на «командировку» Маяковского, а резолюция, предложенная собранию читателей «Комсомольской правды», признавала необходимым «командировать» тов. Маяковского за границу и была принята участниками собрания единогласно.<sup>2</sup>

«Представьте: входит красавица в зал, в меха и бусы оправленная...», — доверительно продолжает Маяковский свой диалог с симпатичным ему, хотя и весьма взыскательным собеседником. А поэт, фактически очень мало обеспокоенный тем, что читателю по существу ничего не известно о женщине, рассказ о любви к которой займет все художественное пространство стихотворения, говорит с нею так, будто все, касающееся ее, до последней точки известно и читателю стиха, которому теперь достаточно лишь напомнить какие-то подробности, а он уж сам восстановит все во всей сложности происходящего: «Вы к Москве порвали нить. Годы — расстояние. Как бы вам бы объяснить это состоянье?». Читатель только в самом общем виде узнает о чувстве любви к женщине, овладевшем его лирическим героем, а герой этот, не щадя себя, посвящает его в такие детали и подробности своего романа, которые обычно скрывают от постороннего взгляда и уж, во всяком случае, не афишируют: «Любить — это с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику, его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником».

И так от начала и до конца: то стихотворение всеми своими деталями и обстоятельствами оказывается настолько тесно связано со своим временем, с общественным и литературным бытом, так тесно привязано к нему, что, кажется, может быть уяснено лишь в контексте

этого времени, то вдруг так подымается над своим временем, так решительно освобождается от конкретных примет, этим временем порожденных, что предстает перед нами прежде всего как проявление надвременного, всеобщего, непреходящего, вечного.

Но вот же что примечательно: все эти мысли о сложном соотношении и взаимодействии жизненно достоверного и поэтически домысленного, исторически конкретного и философски обобщенного, сиюминутного и вечного приходят потом, когда ощущение единства и цельности, неотступно сопутствующее нам при чтении стихотворения, отступает перед попыткой рационально истолковать его.

И если прочные корневые связи стихотворения со своим временем придают стихотворению Маяковского ту историческую достоверность, ту подлинность, которая всегда делала поэтическое слово его не только «зримым», но и «весомым», то неизменная устремленность к всеобщему, характерная для лучших стихов поэта, гарантирует ему возможность той «долгой жизни», на которую стихотворение по самому своему замыслу претендовало.

Но в чем же в таком случае сущность замысла, давшего жизнь этому творению поэта? Проще всего сказать, что это стихотворение о любви. Определив его тему этим словом, не ошибешься. И потому, что тема эта заявлена поэтом в самом названии стихотворения, появившись уже, так сказать, на фронте его, и потому, что тема эта варьируется уже в лирическом зачатке стихотворения, давшем движение внутреннему лирическому его сюжету («Не поймать меня на дряни, на прохожей паре чувств. Я ж навеки любовью ранен — еле-еле волочусь»), и, наконец, потому, что, варьируясь на протяжении всего стихотворения, именно она определила внутренних лирический пафос его: «Ураган, огонь, вода подступают в ропоте. Кто сумеет совладать? Можете? Попробуйте...».

Стержневая для стихотворения тема оказалась, разумеется, не случайной для творчества поэта в целом. Не раз опробованная, не однажды перепетая, она постоянно ощущалась им как тема, возвращение к которой неизбежно: «В этой теме, и личной и мелкой, перепетой не раз и не пять, я кружил поэтической белкой и хочу кружиться опять». Выкричанная только шесть лет назад и отметившая тогда одну из самых драматических страниц творчества Маяковского, тема эта теперь, хотя и не «оттерла», как в свое время, остальные («Эта тема пришла, остальные оттерла и одна безраздельно стала близка»), тем не менее опять «заявилась гневная, приказала — „Подать дней удила!“», вызвав к жизни произведение

<sup>2</sup> Комсомольская правда, 1928, 12 сент.

сложное и многоплановое, но в конечном счете поэтически осваивающее все ту же, издавна волнующую поэта проблему.

Своеобычно и по-своему глубоко значимо поэтическое окружение («Письма товарищу Кострову...»: «Даешь хлеб!» и «Дядя Эмэспэ», «Екатеринбург—Свердловск» и «Сердечная просьба», «Лицо классового врага» и «Даешь тухлые яйца», «Бей белых и зеленых» и «Служака», «Готовься...» и «Дождется ли мы стилия хорошего...», «Помпадур» и «Стих не про дрянь, а про дрянцо...»). Короче говоря, стихи «о нашей сегодняшней трудной были» и о том, что мешает осуществиться всему великому в нашей жизни, стихи о том, как «у нас на глазах городище родится из волн Урала, труда и энергии», и о том, как «в меру и черны и русы, пряча взгляды, пряча вкусы, боком, тенью, в стороне, пресмыкаются трусы в славной смелыми стране», стихи о том, что чувствует, что понимает литейщик Иван Козырев, вселяющийся в новую квартиру, и о том, как при новом «краснофлаговом строе» пытается благоустроить свою жизнь обыватель, который «Давно канареек выкинул вон, нечего на птицу тратиться. С индустриализации завел граммофон да канареечные абажуры и платица. Устроил уютную постельную нишку. Его некультурной ругать ли гадиною?! Берет и с удовольствием перелистывает книжку, интереснейшую книжку — сберегательную».

«Громада-любовь» и «Громада-ненависть», всегда жившие бок о бок в творчестве поэта, теперь, когда социализм вставал перед ним во всей своей конкретности («встает настоящий, правдошный»), а страх за судьбу его ни на минуту не оставлял в покое, проблема любви закономерно возникла в творчестве Маяковского во всей сложности своей и во всех мыслимых для поэта аспектах. Не как тема любви «какой-нибудь Любы к любимому Вове», а как тема важнейшая для него прежде всего в силу своей универсальности, глобальной значимости.

«... Исчерпывает ли для меня любовь все? — спрашивал он в одном из писем, написанных в период работы над поэмой «Про это». — Все, но только иначе. Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и все пр. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявиться во всем...»

Впрочем, всегда лично важная для Маяковского, тема любви, несомненно, возникла перед ним в середине 20-х годов и как проблема существенно значимая своими общественными аспектами. Он то обращается к ней в стихотворении «Секрет молодости», решительно ополчаясь на ту часть молодежи,

«кто восхода жизни зарево, услышав в крови зудеж, на романы разбазаривает», то снова и снова перетолковывает в стихотворении «Любовь» — произведении, в котором тема любви возникает как проблема не только нравственная, но и политическая: «Мир опять цветами оброс, у мира веселый вид. И вновь встает нерешенный вопрос — о женщинах и о любви». «Нерешенный вопрос» этот и рассматривается в стихотворении на разных уровнях и в различных аспектах. Но точка зрения, с которой поэт судит о нем, оказывается так высока, что читатель вовлекается в обсуждение самой сути проблемы, а не частных случаев и следствий, из нее вытекающих.

Не будем забывать, у Маяковского в 1928 году не было недостатка в личных мотивах, которые могли вызвать к жизни стихотворение типа «Письма товарищу Кострову из Парижа о сущности любви». Исполненная драматизма история его чувства к Татьяне Яковлевой давала поэту достаточно поводов для размышлений о реальных обстоятельствах, связанных с предстоящей встречей с любимой женщиной, в сложных перипетиях отношений с которой ему еще предстояло разобраться. Круг мыслей и чувств, которые при этом волновали Маяковского, был так значителен, что фактически совершенно одновременно дал начало двум произведениям, близким друг другу не только по жизненному сюжету, типу и характеру конфликта, нравственной проблематике, но и по самому своему тону, по удивительной исповедальности стиха («Душа певца, согласно излитая, разрешена от всех своих скорбей»). Оба стихотворения написаны были «по личным мотивам», и естественно, что оба они, разумеется, каждое по-своему, исследовали и запечатлевали сложнейшие движения души человека, который меряет силу своей любви самой высокой мерой человечности и гражданственности.

В центре того и другого стихотворения не воображаемый, а совершенно реальный, тщательно прописанный и запечатленный крупным планом портрет любимой женщины (в одном случае нарочито обобщенный: «Представьте: входит красавица в зал, в меха и бусы оправленная...», в другом — подчеркнутый приближенный к читателю и по-своему детализированный: «Ты одна мне ростом ровнее, стань же рядом с бровью брови, дай про этот важный вечер рассказать по-человечьи»). Ему в лирической композиции сопутствует разносторонне охарактеризованный и на различных уровнях исследованный образ любящего человека, одержимого высокой страстью и готового ради нее на любые жертвы (в одном случае: «Не поймать меня на дряни, на прохожей паре чувств. Я ж навек любовью ранен — еле-

еле волочусь», в другом: «Ты не думай, щурясь просто из-под выпрямленных дуг. Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук»). Острая конфликтная ситуация, движущая драматический сюжет лирической композиции в каждом из двух стихотворений, оборачивается любовным поединком, из которого лирический герой стихотворения выходит измученным, но нравственно созревшим, духовно возмужавшим (в одном случае: «Себя до последнего стука в груди, как на свиданьи, простаивая, прислушиваюсь: любовь загудит — человеческая, простая. Ураган, огонь, вода подступают в рожоте. Кто сумеет совладать? Можете? Попробуйте...», в другом случае: «Не хочешь? Оставайся и зимуй, и это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем»).

Но так же как и «Письмо Татьяне Яковлевой», написанное «по личным мотивам» и уже хотя бы только в силу этого многими своими чертами близкое ему «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» существенно отличается от него. Прежде всего тем, что оно в большей мере, чем то, вызывалось потребностями общего дела, было обращено к «общему быту», стремилось оказывать воздействие на него.

Написанное в 1926 году, программное по своему характеру, стихотворение «Любовь» оставалось актуальным и в 1928 году, а вывод, к которому тогда приходил поэт, и на новом этапе представлялся жизненно важным:

Нет!

Но мы живем коммуной плотно,  
в общежитиях грязнеет кожа тел.  
Надо

голос

поднимать за чистоплотность  
отношений наших

и любовных дел.

Естественно предположить, что тревожно прозвучавшая здесь мысль не могла не сказаться на формировании замысла стихотворений «Письмо Татьяне Яковлевой» и «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви».

Вызванные к жизни одними и теми же обстоятельствами духовного бытия поэта, запечатлевшие одни и те же жизненные обстоятельства и исследующие одни и те же настроения его, оба стихотворения, вероятно, сформировались поначалу как части единого глубоко исповедального лирического замысла и могли существовать в воображении поэта как некая художественная целостность. Об этом свидетельствует не только общая для двух стихотворений любовная коллизия, осложненная глубокими общественными противоречиями, но и те тщательно отобранные и рельефно прописанные детали, соотнесение кото-

рых придает особую достоверность изображаемому. Но постепенно, в ходе обдумывания и первоначального опробования темы «личные мотивы», может стать, все решительнее теснили «общий быт», и это угрожало стихотворению такой дисгармонией, при которой нарушилось бы обычное для Маяковского-лирика художественное равновесие.

Стремясь восстановить его, поэт на каком-то этапе, вероятно, и пошел на то, от чего решительно отказывался в других случаях. Он выделил из все очевиднее прорисовывающегося замысла то, что диктовалось прежде всего «личными мотивами», определялось ими, обособив это в удивительное по силе своей исповедальности, по глубине чувства, по прямоте и остроте поэтического высказывания произведение, видимо не предназначавшееся для печати и ставшее впоследствии известным под названием «Письмо Татьяне Яковлевой». Все остальное в этом замысле — и то, что диктовалось «личными мотивами», и то, что по-маяковски прямо и непосредственно соотносилось в его воображении с «общим бытом», — отлилось в «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», которое и сформировалось как произведение, написанное «по личным мотивам об общем быте».

Разумеется, стихотворение при этом не только не «очищалось» от всего личного, но и отдавало щедрую дань ему, именно благодаря элементам этого личного, органически входящего в лирическую композицию, обретающего в ней ту силу достоверности, которая вообще характерна, типична для лирической системы Маяковского.

Сопоставление «Письма товарищу Кострову...» с «Письмом Татьяне Яковлевой» убеждает нас в том, что в первом из двух стихотворений Маяковский не отказывается в конечном счете ни от одной подробности, которые будут с такой открытостью запечатлены в непредназначенном для печати «Письме Татьяне Яковлевой».

И общая восторженная оценка любимой женщины («Представьте: входит красавица в зал, в меха и бусы оправленная...») — в одном случае, «Мы теперь к таким нежны — спортком выпрямитесь не многих, — вы и нам в Москве нужны, не хватает длинноногих» — в другом). И горечь непонимания, разделяющая любящего человека с далекой, но от того не менее строго любимой женщиной («Вы к Москве порвали нить. Годы — расстояние. Как бы вам бы объяснить это состояние?» — в одном случае, «Я не люблю парижскую любовь: любовь самочку шелками разукрасьте, потягиваясь, задремлю, сказав — тубо — собакам озверевшей страсти» — в другом). И готовность бороться за свое право любить и быть любимым, определяющая внутренний пафос двух стихотворений

(«Себя до последнего стука в груди, как на свиданьи, простаивая, прислушиваюсь: любовь загудит — человеческая, простая» — в одном случае, «Ревность, жены, слезы... ну их! — вспухнут веки, впору Вию. Я не сам, а я ревную за Советскую Россию» — в другом).

При всем этом, однако, совершенно очевидно и иное: «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» гораздо непосредственнее и решительнее обращено к «общему быту», чем «Письмо Татьяне Яковлевой», вероятно, как уже было сказано, возникшее в процессе обдумывания «Письма товарищу Кострову...», но в ходе работы отпочковавшееся от возникшего замысла и обособившееся в один из лирических шедевров поэта.

И так естественно, что эта обращенность к «общему быту» оказалась закрепленной уже в самом названии стихотворения: «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви». Не о частном любовном эпизоде, каким бы, впрочем, значительным он ни был или ни представлялся, а именно о *самой сущности* того чувства, которое поэт считал двигателем всего сущего и борьбе за чистоту которого придавал всегда, на этом этапе в особенности, первостепенное значение.

Любопытно, что в беловом автографе «Письма товарищу Кострову...», появившемся в свое время в записной книжке поэта 1928 года (по публикации Р. Яковсона), стихотворение называлось: «Тов. Кострову. Письмо о любви». Не «о сущности любви», а просто: «Письмо о любви». Когда и при каких обстоятельствах название уточнилось, отлившись в известное нам сегодня, сказать так же трудно, как трудно однозначно решить и вопрос о том, чем конкретно это уточнение было вызвано. Существенно важным в любом случае представляется то, что изменение названия связано с изменением, а еще точнее, с углублением замысла: стихотворение о любви в ходе работы над ним поэта совершенно очевидно оброчивалось стихотворением *о сущности любви*.

Но стихотворение *о любви* и стихотворение *о сущности любви*, как было сказано по другому поводу, «дьявольски разные вещи». Первое, как правило, — лишь воспоминание о чувстве, рассказ о чувстве, изложение фактов и эмоциональных сдвигов, это чувство сопровождающих, тогда как второе — прежде всего уяснение природы и сложной диалектики бытования чувства.

Отчеканенное много лет спустя Борисом Пастернаком: «Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины» — не просто формулирует одну из общих важнейших закономерностей творческого процесса, характеризующих ис-

полненную напряженности жизнь подлинного стиха, но и с большой мерой достоверности вводит нас в художественный мир Маяковского, стремящегося с помощью многослойной лирической композиции постигнуть существо того человеческого чувства, которое было им воспето «не раз и не пять».

Вот это-то стремление поэта проникнуть за видимость явления в самое существо его, в самую его сердцевину и предопределило лирическую композицию стихотворения многоотемного и многопроблемного, многослойного и вследствие этого стилистически неоднородного, но в конечном счете художественно весьма цельного и единого.

Было сказано: «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» — произведение многоотемное. Но прежде всего это, конечно же, стихотворение о любви. И в центре его лирический герой — крупная личность, обращенная к миру, живущая радостями этого мира, оценивающая окружающее его масштабам, меряющая себя его меркой.

Все в этом герое подчеркнуто и как бы нарочито укрупнено («Я, товарищ, — из России, знаменит в своей стране я...»; «Девушкам поэты любви. Я ж умен и голосист...»; «Если б я поэтом не был, я бы стал бы звездочетом»). Крупная личность, герой этот, и ведет себя в жизни не как раб, а как властный хозяин и распорядитель этой жизни («Я эту красоту взял и сказал: — правильно сказал или неправильно?»; «Мне, товарищ, в высшей мере наплевать на купола»; «Подымает площадь шум, экипажи движутся, я хожу, стипки пишу в записную книжку»). Личность особого измерения, лирический герой стихотворения и благоустраивает окружающий его мир как прекрасное жилище для себя: «Не поймать меня на дряни, на прохожей паре чувств»; «Мне любовь не свадьбой мерить: разлюбила — уплыла. Мне, товарищ, в высшей мере наплевать на купола».

Под стать лирическому герою оказывается и само чувство любви, которое ему суждено испытать и в котором он только и познает себя.

«Будет любовь или нет? Какая — большая или крошечная?» Вопрос этот, впервые возникший перед поэтом еще в 1914—1915 годах в знаменитом «Облаке», снова вставал перед ним во всей своей сложности и снова требовал ответа. Но как же все с той поры переменялось! Тогда смятенный поэт в растерянности перед обступившим его страшным миром на минуту останавливался в поисках правильного ответа: «Откуда большая у тела такого: должно быть, маленький, смиренный любяночек. Она шарается автомобильных гудков, любит звоночки коночек». Теперь он узнал главное: любовь — чувство не только огромное, но и великое: «Любовь не в том, чтоб кипеть крутей, не в том, что жгут

угольями, а в том, что встает за горами грудей над волосами-джунглями», понял, что «Нам любовь не рай да кущи, нам любовь гудит про то, что опять в работу пущен сердца выставший мотор», и гимн этой громаде-любви определил внутренний пафос стихотворения, в центре которого оказалось не изображение частного любовного эпизода, а глубокое раздумье о самой сущности любви как чувства всеильного и всевластного.

Так в стихотворении возникает тема любви как выражение дарованных человеку самой природой недюжинных, способных творить чудеса физических сил («Любить — это значит: в глубь двора вбежать и до ночи грачей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи»). Так естественно входит в него тема любви как тема торжества организованных человеческого разумом усилий, направленных на преобразование мира («Нам любовь не рай да кущи, нам любовь гудит про то, что опять в работу пущен сердца выставший мотор»). Так тема любви оборачивается в нем, может стать, самой привлекательной своей чертой — неиссякающим творческим началом («Подымает площадь шум, экипажки движутся, я хожу, стишки пишу в записную книжицу. Мчат авто по улице, а не свалят наземь. Понимают, умницы: человек — в экстазе»). Так шаг за шагом поэт вводит читателя в круг идей, в котором простое и великое чувство любви проявляется в своем универсальном значении: как чувство, способное «подымать, и вести, и влечь, которые глазом ослаблп», и как сила, которая способна «вражьи головы спливать с плеч хвостатой сияющей саблей», т. е. как чувство не только лично, но и общественно глубоко значимое.

И так естественно, что на всем в этом стихотворении лежит печать вот этой значимости, этой огромности.

Все в нем поражает воображение своими масштабами. Все выполнено не карандашом, не пером, а размашистой кистью. Все дано не в статике, а в движении. И женщина, о которой с первых же строк идет речь, не просто привлекательное существо, которое может и должно обратить на себя внимание, а необыкновенная красавица, которая не может не стать предметом всеобщего восхищения: «Представьте: входит красавица в зал...». И одета она необычно, а входит в стихотворение, как драгоценная камя, «в меха и бусы оправленная». И чувство, возникающее к ней у лирического героя, не обычное и обыкновенное, а совершенно исключительное: «Я ж навек любовью ранен — еле-еле волочусь». И ревность, это чувство любви

омрачающая, выливается в формы несдержанные и гипертрофированные: «Любить — это с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику, его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником». И слова, способные запечатлеть эти чувства, оказываются сродни тем, которыми человек говорит с целым миром, вселенной, человечеством. Они не проносятся, а «когда докипело это» вдруг до звезд взвиваются «золоторожденной кометой». И жпвут они в стихотворении своей особой, праздничной, необычной и необыкновенной, не земной, а космической жизнью: «Распластан хвост небесам на треть, блести и горит оперенье его». И вот уже слово о любви, «из сердца» придуманное, а не «из ваты», обретает удивительные свойства, которые нпкто и никогда еще с ним не связывал. Оно оказывается способным «подымать и вести и влечь, которые глазом ослаблп», и оно же может «вражьи головы спливать с плеч хвостатой сияющей саблей».

Так постепенно из самой логики монолога «о сущности любви» выкристаллизуются два, может показаться, взаимоисключающих, а фактически лишь дополняющих друг друга образа. С одной стороны, совершенно земной и поземному достоверный образ простого и великого человеческого чувства: «Себя до последнего стука в груди, как на свиданьи, протаивая, прислушиваюсь: любовь загудит — человеческая, простая». С другой стороны, образ надмирной, всечеловеческой, всесокрушающей, космической страсти, которой преодолеть и перед которой устоять мы не можем: «Ураган, огонь, вода подступают в ропоте. Кто сумеет совладать? Можете? Попробуйте...».

Рассказ о человеке и мире, о себе и своем большом человеческом чувстве, отмеченный предельной открытостью и исповедальностью, размышление о природе глубокого и сильного любовного чувства и о наиболее гуманистических формах его проявления, раздумье о любви как о творческом активной силе и мощном двигателе общественной жизни человека, ода человеку, сердце которого открыто самым высоким порывам человеческого духа, и гимны времени большевиков, в котором этим порывам дано осуществиться, и определяют нравственную атмосферу и художественную многозначность стихотворения поэта, в котором все связано с эпохой, давшей ему жизнь, и все устремлено в бесконечность, где ему суждена счастливая судьба произведения, пережившего свое время.

## ТРАДИЦИИ Л. ТОЛСТОГО В ТВОРЧЕСТВЕ И. НОВИКОВА

(РОМАН «МЕЖДУ ДВУХ ЗОРЬ»)

Огромное воздействие творчества Л. Толстого на писателей, входивших в литературу в конце XIX—начале XX века, общеизвестно и неоднократно освещалось в литературоведении. Его не избежали в той или иной степени А. Чехов, И. Бунин, А. Куприн.<sup>1</sup> В большинстве работ анализируются толстовские традиции в литературе 1900-х годов. Но влияние Толстого продолжалось и после революции 1905 года и сказывалось на развитии разных жанров. Характер этого процесса в период 1910-х годов остается до настоящего времени наименее исследованным, особенно в области эволюции романа.

Особое значение для литературы начала века имел роман Толстого «Воскресение» (1899). Как уже отмечалось, он одновременно и завершал линию классического социально-психологического романа XIX века, и имел качественно новые черты, в дальнейшем развитые романом XX века.<sup>2</sup> «Социальная дедукция» Толстого, изображение пробуждающегося сознания человека из народа и идейного прозрения героя из обезпеченного и образованного слоя русского общества были восприняты и художественно освоены романистами начала века. Так, например, традиции Толстого подхвачены и качественно преобразованы Горьким в романе «Мать» (1907).<sup>3</sup> Однако вопрос о воздействии творчества Тол-

стого, и в частности романа «Воскресение», на роман 1910-х годов остается, по-существу, неизученным.<sup>4</sup>

Вопрос об особенностях романного жанра в литературе рубежа веков был впервые в советском литературоведении поставлен в коллективной монографии «Судьбы русского реализма начала XX века». Здесь в статье К. Д. Муратовой «Роман 1910-х годов. Семейные хроники»<sup>5</sup> была проанализирована дискуссия о «возрождении романа», разгоревшаяся в критике, и исследован ряд произведений, упоминавшихся ее участниками в качестве показательных примеров современных романов. Среди них упомянут роман И. А. Новикова «Между двух зорь. (Дом Орембовских)» как «настоящий общественный роман, в котором подводится добросовестный, кропотливый итог переживаниям последнего времени».<sup>6</sup> Большинство рецензентов<sup>7</sup> этого произведения отметило, что в нем представлен ряд характерных как сильных, так и слабых черт нового социально-психологического романа. В связи с этим освещение воздействия Л. Толстого на творчество Новикова, и в частности на его роман «Между двух зорь», является значимым при изучении литературного процесса 1910-х годов.

<sup>4</sup> В фундаментальных исследованиях, посвященных анализу литературного процесса начала века — трехтомнике «Русская литература конца XIX—начала XX в.» (М., 1968—1972) и IV томе «Истории русской литературы» (Л., 1983), — имя Толстого возникает при анализе произведений 1910-х годов, относящихся в основном к жанрам повести и рассказа. В монографии «Русский реализм начала XX века» (М., 1975) В. А. Келдыша лишь в общей форме отмечена взаимосвязь творчества Толстого с процессом видоизменения реалистического романа начала века.

<sup>5</sup> Судьбы русского реализма начала XX века. Л., 1972, с. 97—134.

<sup>6</sup> Колтоновская Е. Возрождение романа. — Русская мысль, 1916, № 5, с. 25.

<sup>7</sup> Гвоздев А. Литературная летопись. — Северные записки, 1915, № 11—12, с. 227—233; Ожигов Ал. [Ашешов Н. П.] Романы послереволюционного краха. — Современный мир, 1916, № 3, отд. 2, с. 152—153; Крайний А. [Гиппиус З. Н.] Предмет десятой необходимости. — Утро России, 1916, 17 сент., с. 5; Чеботаревская А. И. Новиков: Между двух зорь. (Дом Орембовских). М., 1915. — Биржевые ведомости, 1916, 23 сент., с. 5.

<sup>1</sup> Лакшин В. Я. Толстой и Чехов. 2-е изд. М., 1975; Чехов и Лев Толстой. М., 1980; Каштанова И. А. Л. Н. Толстой и А. И. Куприн: (К вопросу о творческих связях). Тула, 1984; Кучеровский Н. М. «Мундир» толстовства: (Молодой И. А. Бунин и толстовство). — В кн.: Из истории русской литературы XIX века. Калуга, 1966, с. 110—131.

<sup>2</sup> См.: Купрянова Е. Н. Л. Н. Толстой: «Воскресение». — В кн.: История русского романа. М.; Л., 1964, т. 2, с. 526—550; Муратова К. Д. Возникновение социалистического реализма в русской литературе. М.; Л., 1966, с. 44—48; Тагер Е. Б. Новый этап в развитии реализма. — В кн.: Русская литература конца XIX—начала XX в.: Десяностые годы. М., 1968, с. 92—116.

<sup>3</sup> Фарбер Л. Два типа воскресения: (Нехлюдов и Нилова). — Русская литература, 1966, № 3, с. 172—178; Карлова Т. С. Толстой и Горький: (Проблема нравственного воскресения в романе «Мать»). — В кн.: Яснополянский сборник: Статья, материалы, публикации. Тула, 1968, с. 128—137.

\* \* \*

Представитель старшего поколения советских писателей Иван Алексеевич Новиков (1877—1959) известен главным образом как автор популярных романов «Пушкин в Михайловском» (1936), «Пушкин на юге» (1944) и переводчик «Слова о полку Игореве». Меньше знакомо читателям дореволюционное творчество Новикова. Между тем к 1917 году он был писателем почти с 20-летним стажем литературной работы. Им было опубликовано три романа, четыре сборника повестей и рассказов, два сборника стихотворений.

Жизненный и творческий путь Новикова во многом типичен для человека, принадлежавшего к демократической интеллигенции начала века. Он родился в деревне Ильково Мценского уезда Орловской губернии в семье «вольноотпущенного» крепостного, управляющего А. П. Новикова. В доме любил чтение. Будущий писатель еще в детстве познакомился с классиками, писал стихи, редактировал домашний журнал «Семячко». После окончания городского училища он поступил в Московскую земледельческую школу, а затем, вслед за старшими братьями, — в сельскохозяйственную Петровскую Академию. Служил в Киеве, потом в Орле ученым агрономом первого разряда. В Киеве Новиков сблизился с революционными кругами. В годы первой русской революции он выступал в демократической печати с публицистическими статьями. В 1910-е годы жил в Орле, где работал секретарем Орловского общества любителей сельского хозяйства.

Главное место в ранней прозе Новикова занимает изображение правдивных поисков молодых интеллигентов: гимназистов, студентов, курсисток. В лирических тонах рисуется становление личности юных героев. Предпочитаемая автором субъективная форма повествования дает возможность углубленного анализа душевных движений героя, постепенного изменения его мировосприятия под влиянием происходящих в России событий. При этом надо учесть, что сильнейшее впечатление на самого писателя оказали его поездки 1898—1899 годов «на голод» в Казанскую губернию и Бессарабию, где он организовывал столовые для крестьян. Во многих его ранних произведениях, начиная с первого опубликованного рассказа «Сон Сергея Ивановича» (1899), герои находят выход из личных переживаний в общественном служении: помощи голодающим. Новиков понимает, что эта деятельность может занять их ум и сердце лишь на время. Ищущие «настоящего дела» герои туманно представляют себе его характер. Неясен он и для самого автора. Первый сборник рассказов и повестей Новикова был так и назван — «Искания» (Киев, 1904). Неясность ав-

торской позиции была отмечена критикой. Так, рецензент «Русского богатства» В. В. Каррик писал, что «идеи почти всех рассказов и драматических произведений, объединенных заглавием, служат недовольство чем-то, отречение от чего-то, стремление к чему-то... Люди разочаровались в звучной фразе и стремятся к делу. Но если мы поставим вопрос: в какой фразе они разочаровались и к какому делу стремятся — то ответ будет или совсем пессим или очень уж навесел».<sup>8</sup>

Направленность духовных исканий героев Новикова была тесно взаимосвязана с общественно-политической атмосферой русской жизни начала века. Персонажи его рассказов периода революции пашли цель жизни в борьбе против царизма («Марсель» (1905). «В черной шапочке, с поднятым воротником...» (1906), «Небо молчало» (1906)). Но в большинстве они были не последовательными борцами, а лишь попутчиками революции, увлеченными общественным подъемом. Поэтому в годы реакции молодой герой прозы Новикова оказался растерянным и разочарованным. Подобные настроения наиболее ярко преломились в романе «Золотые кресты» (1908). В нем самоубийство предстало как единственный путь спасения от мрачной действительности. Однако писателю было ясно, что не вся молодежь поддавалась пессимизму. Большая ее часть мучительно искала новые жизненные ценности. Их постепенное обретение стало объектом пристального внимания Новикова в итоговом для его дореволюционного творчества романе «Между двух зорь. (Дом Орембовских)» (1909—1914).

Рукописи романа, хранящиеся в ЦГАЛИ и Рукописном отделе Орловского государственного музея И. С. Тургенева, свидетельствуют, что работа над текстом проводилась в несколько этапов. К 1909 году относится текст неоконченной повести «Дети на рельсах». В ней рассказывается о юноше-революционере, долгое время скрывавшемся от полиции. Затем он возвращается в родной город, чтобы предстать перед судом. Его временным убежищем стал дом родителей невесты — обедневших дворян Орембовских. Уже в этой повести была показана судьба молодежи, вступающей в жизнь в «ночь» после революционной битвы. Автор писал о недавних днях и сменившей их поре безвременья: «То была пора, когда весь народ стал или казался — юношей, вся страна была одного юного возраста: старые помолодели... а подростки были как взрослые; в бою — каждый солдат на счету; в национальном подъеме — и дитя гражданин. И вот свершился отлив. И на опу-

<sup>8</sup> Русское богатство, 1904, № 7, отд. 2, с. 123—124.

ствем морском берегу снова спокойно и тихо. Старая жизнь будто бы снова вступает в права. Но все ли по-старому? Сохранила ли мать скорбной молитвой своих детей от погибели?»<sup>9</sup> Первоначально избранный автором жанр повести вскоре перестал соответствовать расширившемуся замыслу Новикова: рассказать о судьбах всего молодого поколения — воплощения будущего России. Для обозначения этого поколения писатель использовал термин «дети», утвердившийся еще в русской литературе XIX века. В одной из подготовительных заметок к роману он так сформулировал главную задачу произведения: «Надо дать: ясный отчет во всем. „Россия — страна детей“... дать дело всем действствующим лицам... вообще смысл бытия».<sup>10</sup> В 1909—1910 годах Новиков создал первый вариант романа «Дети на рельсах», имевший эпиграф: «Не проходите мимо детей. Из письма».<sup>11</sup> Главными героями теперь стали молодые члены семьи Орембовских, их друзья и сверстники. В планах романа сохранился своеобразный «реестр» задуманных персонажей, как бы олицетворяющих разные грани жизни молодежи тех лет:

«У одного ночные чтения — апатия — пощечина

Другой борется и отстаивает

Третьего «глубокие» «внутренние» страсти

Четвертый — во все тяжкие

Пятый — чистый, чуткий, ломающийся (смерть)

Шестой — во все тяжкие

Первая — сохранила всю наивность и чистоту

Вторая — младшая сестра — понимающая и «прзб.» глаза»

Третья — узнавшая все

Четвертая — неземная (смерть)» (л. 40).

Дальнейшая работа автора над романом, в основном сюжетно уже сложившимся в 1911 году, заключалась в многократной переработке ключевых сцен и в изменении композиции произведения. К 1912 году относится второй вариант романа под заглавием «Дом Орембовских». Последнее стало подзаголовком к окончательному названию «Между двух зорь». Итоговая стилистическая правка была проведена, вероятно, перед первой публикацией 1915 года.

Время действия романа «Между двух зорь» — годы реакции после поражения

революции 1905 года. «Тихое» течение жизни в провинциальном городе N исполнено внутреннего трагизма: все лучшие казнены, посажены в тюрьмы, изгнаны из учебных заведений. Роман насыщен реалиями русской жизни тех лет. Политические процессы, изгнание либеральных учителей из гимназий, активизация деятельности черносотенных организаций, возникновение «лиг любви» — вот факторы, влияющие на юных героев. Писатель особо останавливается на анализе кризисных и ущербных явлений в психологии молодого поколения. Для Новикова оно — жертва безвременья. Именно с этой точки зрения оценивается им цинизм гимназиста Ростовского, постоянно как бы проверяющего свои возможности преступать нравственные нормы. Его поступки — результат психологической драмы юноши, потрясенного жестоким подавлением революционных выступлений в городе. Такими же жертвами являются и те герои, которые кончают или пытаются окончить жизнь самоубийством. Раскрывая жизненные тупики, в которых по воле обстоятельств очутилось молодое поколение, Новиков не ограничивается простой констатацией фактов. Его прежде всего волнует вопрос о будущем этого поколения, с которым взаимосвязан и вопрос о будущем России. В романе Новиков раскрывает свою концепцию исторических перспектив ее развития.

Авторская оценка изображаемых явлений складывается из множества выводов его героев. «Как можно меньше от автора» (л. 40), — записывал Новиков в заметках к роману. Происходит субъективизация всего повествования. Размышления персонажей перерастают в лирические авторские отступления. При этом наиболее близки Новикову два героя: юноша Михаил Орембовский и писатель Кристилибов — человек старшего поколения, с тревогой следящий за жизнью молодежи.

Идейная концепция и поэтика романа Новикова во многом восходят к «Воскресению» Л. Толстого. Воздействие Толстого на писателей той поры было качественно иным, чем влияние Достоевского и Тургенева. Толстой был и «классик», и современник. Его мнение о сиюминутно происходящих событиях можно было узнать из только что появившейся статьи, Толстому можно было написать о волнующих проблемах или просто прийти в Ясную Поляну и поговорить о них. Эта потенциальная возможность личного общения с Толстым и вероятного последующего постижения каких-то бытийных вопросов была одной из психологических реалий мышления многих интеллигентов начала века.

Новиков послал Толстому свой первый сборник «Искания» с дарственной надписью: «Глубоко и искренне уважаемому Льву Николаевичу Толстому — от

<sup>9</sup> ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 5, тетрадь 3, л. 37.

<sup>10</sup> Новиков И. Планы, заметки, варианты к роману «Между двух зорь». — ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 6, л. 2. Далее ссылки на этот источник даны в тексте.

<sup>11</sup> ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 1, л. 1.

автора. Киев 7 мая 1904».<sup>12</sup> К книге было приложено следующее письмо.

7 мая 1904. Киев

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Посылаю Вам свою книгу и обращаюсь с этим письмом, как маленький ребенок, к большому и дорогому мне человеку, с образом которого вырос с детства. Много раз бывал я возле Ясной Поляны, но всегда мешало побыть там какое-то чувство неловкости, а вот теперь, издалека, уже взрослым человеком, обращаюсь к Вам с самым дорогим для меня — моей первой книгой — шлю Вам свои сомнения, и искания, и душевную боль.

Я вырос, как и все учившиеся люди, скоро потеряв веру в бога, и только быть может раньше других, еще студентом, почувствовал весь ужас такого существования. И я ищущу бога, абсолютной правды, чего-то вечного и непреложного, на что можно было бы опереться, ищущу чистой, нравственной, истинно человеческой жизни. Ищущу и делюсь с людьми своими исканиями, пишу о них и думаю, что для многих ищущих я этим даю что-то. И эта вера в мою работу поддерживает меня в настоящем.

Я ищущу, но еще не отыскал. Я еще мучаюсь и страдаю и жадно ловлю каждую, светлую точку и верю, в конце концов, во что-то глубоко-хорошее, основное в человеке, и с этой верой пока живу.

С большим волнением посылаю я Вам свою книгу, в которой сказал все это. Мне так бесконечно важно было бы Ваше мнение о ней — хоть несколько слов. Это, и позволение иногда обращаться к Вам письменно.

Иван Новиков.

Мой адрес: Киев, Бибиковский бульвар, 9, сельскохозяйственная лаборатория, Ивану Алексеевичу Новикову.<sup>13</sup>

Толстой не ответил, но Новиков продолжал посылать ему свои новые книги. Теперь они хранятся в Яснополянской библиотеке. В 1909 году произошла личная встреча молодого литератора с Л. Толстым. Новиков писал в поздней автобиографии, что считает ее одним из самых значительных событий своей жизни: «В 1909 г. пришел пешком из Тулы к Л. Толстому, пробыл целый день».<sup>14</sup>

Эта встреча оставила неизгладимый след в судьбе Новикова как человека и писателя. В течение жизни он неоднократно

кратно вспоминал об этом свидании, каждый раз раскрывая новые грани их краткого, но такого значимого для него общения. К 1910-м годам относятся сохранившийся в орловской части архива писателя портретный набросок Толстого, сделанный Новиковым, и краткий план статьи о нем: «„Лев Толстой“ 1) Мы никогда не умеем быть справедливыми к современникам (Тургенев). 2) Я видел его утром в саду под старой цветущей яблоней. Заря падала на его лицо. 3) Я бы нарисовал его, как и не знаю, но как огромную птицу, которая почувяла потребность — конечную неизбежность свободы; и вот-вот тяжко поднимет крылья и снимется со своего векового гнезда».<sup>15</sup> Первые опубликованные воспоминания Новикова о Толстом относятся к 1911 году.<sup>16</sup> В статье «Пешком от Толстого к Тургеневу» образ Толстого неразрывно связан с образом буйно цветущей природы. Лирическое описание летнего утра, когда автор пешком уходит из Ясной Поляны, как бы пронизано эмоциональным впечатлением от посещения: «...простые цветы русских полей — живая память о том, чье сердце было: живая любовь».<sup>17</sup> В этой статье ничего не говорится о содержании его беседы с Толстым. Следующее «скрытое» воспоминание об их встрече находим в рассказе Новикова «Время просеивает» (1916) — своеобразном футурологическом произведении, действие в котором относится к 1942 году. Старый инженер Пименов вспоминает о своей давней встрече с Толстым, по обстоятельствам соответствующей реальной встрече Толстого и Новикова. Здесь дано описание внешности Толстого: «Он не был высок, хотя казался высоким; глаза небольшие, голубые, неяркие, но с изумительно ярким огнем, когда оживлялся... вот разве руки — старческие, с узлами жил и загорелые, но чрезвычайно изящные и в себе тающие силу... он ничем не подавлял, и говорилось с ним и даже спорилось просто. Однако при споре он легко раздражался, тотчас себя, впрочем, сдерживая».<sup>18</sup> Появляется и сообщение о беседе Толстого с молодым писателем, пришедшим одновременно с Новиковым. Толстой ответил на заданный ему вопрос о ценности того или другого литературного произведения: «Время просеивает» (фраза, врезавшаяся в память Новикова). И опять-таки Новиков ничего не сообщает о содержании своей беседы с Толстым. Ее краткое изложение он опубликует только в 1928 году.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Орловский музей И. С. Тургенева, инв. № 14513, ОФ, л. 1—1, об.

<sup>16</sup> Московская газета, 1911, 4 сент., с. 2.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Книга. Пг., [1916], сб. 1, с. 91—92.

<sup>19</sup> Новиков И. Живой Толстой: Воспоминания. — Огонек, 1928, № 37, с. 9.

<sup>12</sup> Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне: Библиографическое описание. М., 1975, кн. 1, с. 68.

<sup>13</sup> Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого, ф. Л. Н. Толстого.

<sup>14</sup> ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 7, ед. хр. 390, л. 86.

Воспоминания 1928 года подтверждают, что паломничество Новикова к Толстому летом (точнее, 11 июля) 1909 года не было случайным. Именно в это время он начал работу над романом «Между двух зорь», одна из рукописей которого имеет датировку: «начат 6.VI.1909».<sup>20</sup>

Таким образом, «приход» Новикова к Толстому был вызван потребностью «проверки» выстраданных раздумий. В очерке «Живой Толстой» (1928) Новиков вспоминал, что в беседе с Толстым речь шла об опубликованном романе Новикова «Золотые кресты» и о замысле нового романа — «Между двух зорь»: «В первом романе в центре внимания было так называвшееся тогда „новое христианство“, трактованное мною с художественно-полюемической остротой; в „Между двух зорь“ (тогда еще носивших название «Дети на рельсах») выведена была молодежь эпохи безвременья — после девяносто пятого года — со всеми ее крутыми невзгодами. К первой теме Толстой отнесся скептически, это слабо его занимало; зато вторая тема чрезвычайно его заинтересовала, и он подробно меня расспрашивал о том, как я ее понимаю и развиваю. Он придавал большое значение правдивому изображению молодого поколения, он понимал все трудности его бытия; большой живой человек с высоты своих восьмидесяти лет по-юношески горячо волновался за судьбу молодежи, детей, как если бы это были его товарищи, сверстники: это было о жизни, о живом, становящемся человеке. „Это важная тема, — повторял он мне несколько раз, — об этом надо писать“».<sup>21</sup>

После данного разговора в дневнике Толстого появилась краткая запись: «Было 7 посетителей: юноша с сочинениями, потом совсем сочинитель, умный, Новиков».<sup>22</sup> Для Толстого молодой писатель был лишь одним из многочисленных посетителей Ясной Поляны. Для Новикова же эта встреча стала событием необычайной важности. Разговор о теме задуманного произведения и ее трактовке помог писателю определить некоторые из важнейших идейных ориентиров будущего романа.

Имя Толстого неоднократно упоминается в планах и набросках к роману. Иногда создается впечатление, что Новиков как будто мысленно возвращается к их разговору. Примером этому может служить его помета, сделанная при чтении первого варианта романа и датированная 2 сентября 1912 года: «пункт» 16 Толстой: время просеивает» (л. 12). (Напомним, что первое печатное упоминание об этой фразе Толстого относится к 1916 году). Среди вариантов заглавия

одни сопровождаются словами: «Посвящается Толстому» (л. 43). В процессе работы Новиков отказался от упоминания имени Толстого на титульном листе романа, однако намеревался особо огорворить значение этого писателя для понимания художественной концепции произведения. Он писал в черновом предисловии 1911 года: «И если я не посвящаю прямо эту книгу памяти гения, покинувшего нас (слишком недавно), то это потому, во-первых, что не имею на это достаточно очевидного для всех права, и еще потому, что в наше время всеобщей и исключительной подозрительности мог бы подать повод к обвинению в спекуляции именем Л. Н. для рекламы, что было бы для меня горше горького. Но если я счел все же необходимым вспомнить о своем посещении Толстого и разговоре с ним о романе „Дети на рельсах“, то это потому что это объясняет и оправдывает, если оправдание это нужно, появление его фигуры в заключительных главах романа и потому, наконец, что его одобрение моей темы слишком дорого лично для меня самого».<sup>23</sup>

Обдумывая название произведения (варианты: «Дети и история», «Дети на рельсах», «Неопалимая купина», «Орёмбовские и другие», «Ставка на жизнь», «Под микроскопом», «Всех скорбящих»), Новиков сначала останавливается на заглавии «Дети на рельсах» (л. 15). Эта метафора неоднократно возникает в тексте романа. В символической форме она раскрывает его основную тему: катастрофизм состояния русской жизни и положения молодого поколения. Так, например, она скрыто звучит в разговоре двух отцов. Один из них, приветствуя «стабилизацию» русской жизни, утверждает: «Все нынче входит в норму... Россия... теперь стоит на прямых и правильных рельсах». На что его собеседник отвечает: «У меня дети по тюрьмам, а я езжу банки ревизую... Банки, прогресс, культура — да на кой все это черт, если и детям на земле, нашим с вами, места не стало?»<sup>24</sup>

Для Новикова, как и для Толстого, страшно, что молодежь волюно или неволюно попадает под воздействие атмосферы реакции. О губительности ее влияния Толстой писал в статье 1908 года «Не могу молчать»: «О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как

<sup>20</sup> ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 1, л. 2.

<sup>21</sup> Огонек, 1928, № 37, с. 9.

<sup>22</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1952, т. 57, с. 94.

<sup>23</sup> Новиков И. А. Записная книжка 1911 г. — Архив М. Н. Новиковой-Принц.

<sup>24</sup> Новиков И. А. Между двух зорь. 2-е изд. М., 1917, с. 48—49. Далее ссылки на это издание в тексте.

прежде шли на охоту».<sup>25</sup> Рассматривая губительную «воспитательную» функцию правительственного насилия, Толстой показывает, что оно деформирует нравственность молодежи, смещает их представления о добре и зле.

Как бы развивая толстовскую мысль, Новиков делает кульминацией своего романа террористический акт, совершенный гимназистом Петунниковым. Его выстрел в учителя становится символом бунта «детей» против враждебного им мира, на насилие которого они отвечают насилием. Автор так изображает собрание тайного кружка гимназистов: «Мальчики, из которых старшему шел семнадцатый год, решали сегодня, уже без всяких теоретических дебатов, практический вопрос дня: кого надо убить в первую очередь из тех взрослых людей, которых они считали своими и всех детей непримиримыми врагами и угнетателями, и кому выпадет жребий выполнить это постановление». Ваня «протянул отцовскую старую шапку, в которую... сестры его укладывали на ночь спать кукол. Сегодня он у них ее отобрал и куклы остались без мягкого ложа, а шапка служила урной для смертного жребия в этой новой, вечерней игре» (с. 106—107). Постепенно при описании подготовки и свершения террористического акта несобственно-прямое повествование от лица исполнителя покушения (Петунникова) включается в объективно-авторское, под конец полностью поглощая его. Описание выстрела воспроизведено при помощи внутреннего монолога мальчика, чье сознание инстинктивно бунтует против свершения убийства. Нравственная недопустимость содеянного отчетливо выявляется в словах автора, неожиданно, с резкой моральной оценкой вторгающихся во внутреннюю речь героя: «Он чувствовал все равно: надо идти и сделать, что надо; воли в нем не было, все было предрешено, одного хотелось мучительно: скорей, скорей... За минуту до выстрела Гриша не думал: „убить, не убить“, вся страшная суть этого страшного дела не представлялась ему, никак не задевала его» (с. 150). Подобный характер повествования восходит к толстовскому «Воскресению».

Для Новикова, и в этом он близок к взглядам Толстого, насилие, даже если оно социально обусловлено, не может быть оправдано морально. В данном случае жертвой покушения оказывается совершенно невинный человек — просто строгий учитель, не понятый учениками. Отметим, что одним из главных конструктивных принципов построения романа является принцип своеобразного двойничества образов, ситуаций, сюжетных ходов. Таким об-

разом, явление из единичного становится характерным, приобретает особое значение. Параллельно с замыслом покушения на учителя разворачивается история его сына Федя. Навязчивой идеей мальчика становится желание повторить поступок матери, казненной за убийство жандармского ротмистра. Лишь узнав, что гимназисты стреляли в его отца, Федя преодолевает как бы фатальную тягу к свершению террористического акта.

Новиков во многом идет за Толстым, решая, как преодолеть столкновение государственного насилия и революционного сопротивления ему. В романе «Между двух зорь», как и в ряде статей Толстого, проблема насилия рассматривается как проблема нравственная. При этом одно из решающих мест в ее решении принадлежит категории «совести». У Толстого, пишет Г. Я. Галаган, «идея человеческого единения, основанного на нравственной солидарности, способна трансформироваться из утопической в реальную... лишь при самом активном участии голоса совести как проявления сознания уже не частного, а собирательного».<sup>26</sup>

Одну из центральных сюжетных линий романа Новикова составляют судьбы революционера Ивана Броневского, добровольно явившегося на суд, и его обвинителя прокурора Евстигнеева. Как и в «Воскресении», понятие «суда» в романе многозначно. С одной стороны, это государственная процедура, из которой выхолощено нравственное значение, с другой — это внутренний «суд совести» героев над собой. В результате него каждый из участников переходит к качественно новой ступени жизненного опыта.

История «преступления» Броневского частично совпадает с историей одной из героинь «Воскресения» — политической каторжанки Марьи Павловны, сыгравшей существенную роль в духовном «воскресении» Катюши Масловой. Она была арестована на квартире с тайной типографией и взяла на себя выстрел, которым кто-то из революционеров в темноте убил одного из жандармов. Броневский вместе с другими защищал от полиции типографию революционной газеты, причем в ходе перестрелки был убит жандарм. Герой успевает скрыться. Но известие, что был убит человек и, может быть, убит им, производит переворот в его душе. Броневский появляется на страницах романа уже «познавшим истину» толстовской идеи о непротivлении злу насилием. В кратком конспекте содержания произведения Новиков так обозначил противостояние Броневского и Ев-

<sup>25</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., 1957, т. 37, с. 87.

<sup>26</sup> Галаган Г. Я. Л. Н. Толстой: Художественно-этические искания. Л., 1981, с. 58.

стигнеева: «Суд в окружном суде. Толстолец и ястреб» (л. 49). В своем последнем слове Броневский говорит: «Я... не отказываюсь от того, что писал, ни от всего того хорошего времени, которое минуло... Ложь в моей жизни была... но она была как раз не в словах. Ложь была в том, что насилью мы противопоставили насилие же и тем обесценили наши слова, где рукопапная, там не до убеждений» (с. 261—262).

Прослеженное по черновым рукописям видоизменение «истории» Броневского свидетельствует, что ее толстовская трактовка не была у Новикова первичной. В неоконченной повести «Дети на рельсах», датируемой июнем—июлем 1909 года, ее главный герой Броневский возвращается в город просто потому, что ему надоело прятаться, заботясь лишь о личной безопасности. Комплекс вины за пролитую кровь, мысли о непротивлении у героя повести отсутствуют. Только в первом варианте романа, начало работы над которым относится ко второй половине 1909 года,<sup>27</sup> «история» Броневского приобрела тот вид и смысл, которые она сохраняет, с небольшими стилистическими различиями, и в основном тексте. Это свидетельствует об усилении толстовского влияния в процессе работы Новикова над произведением.

Внутренняя сущность антагониста Броневского, молодого прокурора Евстигнеева, первоначально всецело определяется его иерархическим положением на служебной лестнице. При этом в манере авторского описания этого героя ощутимо воздействие толстовского метода «срывания всех и всяческих масок». Рассказывая о Евстигнееве, Новиков вначале неизменно называет его «прокурор», т. е. низводит личность к занимаемой им должности. Вместе с тем ему важно установить возможность саморазвития души героя — пробуждения в нем нравственного начала. Толстой писал в статье «Не могу молчать»: «Люди-братья! Опомнитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы. Ведь вы прежде, чем быть палачами, генералами, прокурорами, судьями, премьерами, царями, прежде всего вы люди».<sup>28</sup> Толчком к духовному возрождению прокурора служит любовь к гимназистке Оле Ге. Как только начинает изменяться его сознание, в объективно-авторское повествование все больше и больше включается несобственно-прямая речь героя. Таково, например, описание внутренней перемены, постепенно происходящей в Евстигнееве:

«...душа его за это последнее время, можно было бы сказать — *похудела*; самодовольство и самолюбование спали до минимума и контуры облегченной души стали резче... Прежний, доселе царивший в нем безраздельно *прокурор* все более уступал место *Михаилу Никифоровичу*, человеку... Прокурор никогда не задумывался глубоко над сущностью того, что он собственно делает. Для него аксиомой, в которой он вырос, был несложный ряд положений, сводившийся к тому, что преступления, по человеческой природе, суть неизбежны, что неизбежна с ними борьба и роль его в этой борьбе легко и сразу приплась по нем. Каждый поступок влечет за собой наказание, это в порядке вещей, естественно и закономерно... Но теперь иногда он чувствовал... все это было не так легко и понятно... Что дело тут не в Броневском, а только по поводу этого дела, он теперь наверное знал; было что-то другое, общее и глубже» (с. 238—239). Начавшаяся внутренняя работа в душе Евстигнеева сопровождается (и это черта, также идущая от толстовских героев) спором в его сознании как бы двух голосов: одного, продолжающего повторять привычные истины, и другого, противоречащего ему. Такой спор происходит в душе героя накануне суда над Броневским. Наедине с собой Евстигнеев не только переоценивает всю свою прошлую жизнь как неправильную, но и подходит к мысли о ложности самой идеи возмездия, о его нравственной недопустимости. Примечательно, что именно здесь, при изображении саморазвития души Евстигнеева, в романе появляется прямое указание на соприкосновение взглядов героя с нравственной концепцией Толстого: прокурор вспомнил «о колодниках на вокзале, и о Толстом, о самой сущности идеи возмездия», о победе в нем «на краткое время духа евангельской кротости» (с. 256). Поддавшись голосу ложной гордости, Евстигнеев все же произносит обвинительную речь против Броневского. Однако вся эта сцена построена на противостоянии совершаемого поступка и его самооценки героем. На внутреннем «суде совести» прокурор осуждает самого себя. Для автора в этом залог последующего духовного «воскресения» Евстигнеева. В дальнейшем он подает в отставку и начинает бороться за спасение Броневского.

Таким образом, «суд совести», через который в романе проходят обе стороны столкнувшихся между собой сил, приводит и Евстигнеева, и Броневского к мысли о нравственной неоправданности насилия. И здесь ощутима тесная связь романной концепции со взглядами Толстого. Он писал в статье 1907 года «Наше непонимание», что не признает права употреблять насилие ни за правительством, ни за революционером-

<sup>27</sup> Новиков И. А. Между двух зорь. I вариант. Окончание. — ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 4.

<sup>28</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 37, с. 95—96.

ми, «ни за кем, потому что всякое насилие по существу своему противно признаваемому нами основному закону человеческой жизни — любви».<sup>29</sup>

В романе «Между двух зорь» любовь является важнейшей миросозидающей силой, помогающей «воскресению» его героев. Она способствует единению человека со всем миром. При этом, как и у Толстого, высшим проявлением этого чувства предстает любовь к другим людям, к народу.

Особая роль в романе принадлежит Михаилу Орембовскому, всецело сосредоточенному на постижении судьбы своего поколения. Об особой синтезирующей роли этого персонажа в структуре романа свидетельствует и черновой графический план действующих лиц (л. 3):

Параллели: две струи одновременно

уклон к покорности (Иван Брончевский) Наташа		и к воле Гаврюшка Гриша Петунни- ков Михаил
--	--	---

В уста Михаила вкладывает Новиков заветные мысли о будущем страны. Он первым среди молодых героев понимает, что будущее интеллигентов только в слиянии с народной жизнью. «Михаил все больше и больше связывал свою личную жизнь с чем-то очень большим, лежащим не в нем самом... с народным» (с. 192). Михаил приходит к выводу, что в свете будущего всей России горести молодого поколения интеллигенции являются лишь малой частью испытаний народа. В осознанной сначала Михаилом, а затем и некоторыми другими героями потребности «сопрягать» свою жизнь с жизнью народа явственно ощутима связь с исканиями толстовских героев.

Кульминационным моментом в соприкосновении Михаила с «правдой народной» является его случайная встреча в поезде со странником Николаем. Этот эпизод романа генетически восходит к сцене из «Воскресения» — встрече на пароме Нехлюдова и странника — «свободного мужика». Образ Николая, как и образ «свободного мужика», воплощает этическую концепцию, которая, как видится обоим авторам, и есть высшая ступень развития народного сознания. Новиков считает, что в основе этого миросозерцания лежит представление о гармонии мироздания, о слиянии всего живого. Истоки трагизма человеческой жизни обусловлены утратой этой связи с миром, но через страдания и нравственное «воскресение» человек вновь обретает ее. Высшее проявление этой гармонии — любовь ко всем людям, всеобщее «духов-

ное братство». В конце разговора со странником Михаил спрашивает его: «И много вас таких?» На что тот отвечает: «Нет, нас немного, да только все будут с нами. Иначе нельзя» (с. 288). Таким образом, будущее предстает как смена разобщенности «духовным братством» людей. Новиков намеревался (это видно из подготовительных материалов к произведению) «заклечь» роман «картинной» предчувствуемой гармонии» (л. 3). В свете этой концепции понятен завершающий роман уход правдоискателя Михаила странствовать «по Руси».

Связь финала романа с толстовскими идеями последовательно отражена в многочисленных поглавных планах произведения. При различной последовательности глав имя Толстого появляется в названиях финальных глав, а в окончательном плане завершает его. Конец плана, датированный 3 октября 1912 года: «XXIV. Уход Михаила. XXV. Толстой. XXVI. Тетухка и учитель». Две девочки. Монастырь. XXVII. Ночь над миром и благословение. Отец небесный. Мир одет ризой». Конец следующего варианта плана: «XVI. Уход Михаила» (с Алешей простился в парке). XVII—XVIII. Толстой. XIX. Петр Николаевич». XX. Наташа. Монастырь. Заключение». Наконец, последний вариант плана «XV. Уход Михаила. XVI. Толстой. Собственные мысли (о самомнении)» (л. 9—10, об.).

Как пишет Е. Н. Купреянова, «социальным эквивалентом умозрительной категории „всеобщности жизни“ и столь же умозрительного идеала приближения „отдельной“ личности к этой всеобщности посредством любви выступили в сознании и творчестве Толстого „общая жизнь“ крестьянских масс и приобщение к ее нравственным нормам».<sup>30</sup> Новиковская трактовка высшей ступени народного сознания и изображение стремления героя-интеллигента постичь это сознание, уйдя «в народ», теснейшим образом связаны с философско-этической концепцией Толстого. Сам Михаил говорит, что его цель — «повидать людей старой веры, живой стариной возле них подышать, да все подалее, подалее от людных мест, городов, обходя их сторонкой, от каменных замков, все равно будь то острог, театр, университет или казарма...» (с. 204). Желание Михаила познать народ носит пантеистически-религиозную окраску.

В финале романа еще раз подчеркнута связь судьбы молодого поколения с исторической судьбой России. Взаимопроникновение этих двух тем отражено и в трансформации значения второго заглавия романа «Дом Орембов-

<sup>29</sup> Там же, с. 25.

<sup>30</sup> Купреянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого. М.; Л., 1966, с. 77.

ских». Сначала это место действия, затем — семья, живущая в доме. Его третье значение раскрывается в последних фразах романа: «Михаил оставил родной свой дом позади, но и то, что впереди — было как тот же родной, кровный, единственный дом. Михаил тронул палкою, пошевелив, маленький камешек во влажной траве, и пошел своей дорогой» (с. 314). У всех героев романа только один настоящий «дом» — их Родина, Россия.

Новиков осознал, что учение Толстого, его проповедь нравственного сопротивления злу ненасилием может быть лишь одним из путей преобразования жизни. Его произведение — не художественная иллюстрация к толстовской доктрине. Наряду с героями, так или иначе воспринявшими это учение (Броневский, Михаил), в романе действуют и герои-бунтари. Они активно выступают против социальной несправедливости, хотя их способы борьбы с ней не всегда верны (гимназист Петунников, рабочий Гаврюшка Тулубьев и др.). Истины, обретаемые персонажами, не сводятся только к концепциям Толстого. Вместе с Михаилом в романе выведен писатель Кристлибов, дающий свою трактовку будущего России и путей его достижения. Метафора, скрытая в заглавии («Между двух зорь»), развернута в его размышлениях. Страна ждала наступления новой жизни («дня»). Люди полагали, что ее можно достичь путем революции («красной кровавой зарей»), но после ее поражения пришла реакция («ночь»). Современность — это переходный период «между двух зорь», между временем прошедшей революции и эпохой будущего изменения русского общества («стоящей у порога зарей настоящего дня с солнцем и светом, быть может, такой же бурной зарей нового возрож-

дения» — с. 121). Кристлибов надеется, что это будет нравственное «воскресение» всех слоев и классов русского общества, но не исключает и того, что «день» придет в результате новой «бурной зарей» — грядущей революции.

Итак, личные и художественные «соприкосновения» Новикова с Толстым отразили некоторые характерные черты воздействия Толстого на литературу и общественную жизнь начала XX века. Уже в молодости Новиков обращается к Толстому, видя в нем «учителя жизни», чьи нравственные уроки помогут разрешить волнующие его проблемы. Став писателем, Новиков возвращается к Толстому как к литературному наставнику. Роман «Между двух зорь» воплотил в себе многие существенные стороны реалистических романов 1910-х годов, авторы которых обращались к поиску выхода из социальной и психологической дисгармонии. Он стремился наметить перспективы развития России, исследуя связи личности с обществом, с природой, бытием вселенной. Типичным стало обращение романистов (и произведение Новикова — яркий тому пример) к творчеству Толстого, не только мастера социально-психологического романа, но и страстного обличителя социального зла и автора утопической концепции нравственной борьбы с ним.

В 1910-е годы широко использовалась традиция многолинейной композиции романов Толстого. Однако в большинстве случаев стремление романистов к достижению масштабности повествования при помощи усложненности сюжета не подкреплялось ясностью авторской концепции. Это способствовало утрате художественной целостности произведения, распаду романа на отдельные звенья. Немногие из этих романов выдержали «испытание временем».

Е. В. Свиясов

## АНТИЧНАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ И ПОДРАЖАНИЯХ XVII—XX ВЕКОВ. О БИБЛИОГРАФИИ

Огромно влияние античной литературы, античного мира на русскую литературу и культуру. Начиная с середины XVIII века поэтические образцы, античные герои, античная мифология покоряли умы целых поколений, были не только им близки, но и пленяли воображение, развивали способность к ассоциативному мышлению, столь необходимому для любой творческой личности, будь то филолог или поэт, философ или музыкант.

Монументальные исторические фигуры тираноборца Брута и добродетельного Катона, бесстрашного Леонида, коварного Тиберия, маньяка Калигулы были едва ли не осязаемыми образами, пришедшими из глубины веков.

Этот феномен можно отнести не только к отдельным личностям, но и к целым общественным группам. Если яковинцы пытались возродить культ героя, если многочисленная и многогранная символика их празднеств

должна была утвердить непосредственную связь республиканской патетики с античной свободолобивой традицией, то русская параллель этому явлению — преклонение декабристов перед античностью, существовавший в их среде культ Спарты, почитание Брута и Тиртея, интерес к Плутарху, римским историкам. Поэтому закономерен был экскурс К. Ф. Рылеева в античную историю накануне восстания: «В ней (история, — Е. С.) имя Брута стоит выше Цезаря».<sup>1</sup> В этой реплике заключалось признание права на убийство тирана, эти слова были гражданским и политическим самоутверждением и самооправданием Рылеева.

Не случаен тот факт, что наши предки всегда ощущали невосполнимость утраты многовековой античной традиции. Так, профессор русской и латинской словесности в Царскосельском лицее, преподаватель А. С. Пушкина Н. Ф. Кошанский писал в предисловии к изданному им сборнику греческих буколических поэтов «Цветы греческой поэзии» (М., 1811):

Потух во мгле веков блиставший свет  
Эллады,  
И Муз и Граций сонм объяла скорбь  
тень.

Не следует думать, что такого рода состояния характерны только для филологов-классиков, особенно остро воспринимавших «закат» и неповторимость античного мира. Эти настроения разделяли многие поэты XIX века: достаточно вспомнить стихотворения Е. Баратынского (отрывки из «Воспоминаний», 1820), М. Л. Михайлова («Эллада», 1847), А. Н. Апухтина («Греция», 1859) и мн. др. Причем нередко образ ушедшего мира был непосредственно связан с представлениями поэтов о свободе. Он входил в ткань поэтического произведения как всеобъемлющий символ и мог дорастать до ассоциаций общественно-политической значимости. Вот строчки из упомянутого стихотворения М. Л. Михайлова:

Как часто я тоскующей душою  
Безумно рвусь в твой чудный древний  
мир,  
Святая Греция! Как часто я мечтаю,  
Молюсь тебе! Низвергнутый кумир!..  
Ты спишься мне с свободой святою;  
Я вижу твой роскошный вольный шир.

«Античность в России» — историко-литературное явление, к сожалению, малоизученное. Внимание, которое уделяют литературоведы этому явлению, не адекватно всевозрастающему интересу к нему современного читателя. Более то-

го, подчас эта обширнейшая тема становится предметом преимущественного изучения зарубежных ученых.<sup>2</sup>

На путях изучения «Античности в России» стоят своего рода «предубеждения», характерные для ряда ученых-филологов. Остановимся на одном из них. Утверждают, что, поскольку античность пришла к нам через западноевропейскую литературу, западные языки, достаточно ограничиться изучением этих литератур, чтобы оценить ту роль, которую играл древний мир в России в XVIII—XIX веках. Это «предубеждение» необходимо рассеять, хотя было бы антинаучно отрицать то большое влияние, которое оказали западноевропейские литературы и западноевропейские языки-посредники, в первую очередь французский и немецкий, на восприятие античности в России. Сошлюсь на раннюю переводческую практику с древних языков, в частности на переводы Горация, осуществленные учеником М. В. Ломоносова Н. Поповским, создавшим в период становления новой русской литературы собственные образцы переводов с латинского языка.

Следует вспомнить и значительный историко-литературный факт, лежащий на поверхности, но только в силу невнимания к рассматриваемой теме выпавший из поля зрения исследователей: первым эквиритмичным переводом в России отдельного полного стихотворения был выполненный А. С. Сумароковым перевод так называемой оды (гимна) Сафо Афродите с подстрочника Г. Козицкого. И что особенно важно, переведена она была весьма «экзотическим» для русской поэтической практики того времени размером — «сапфической строфой».

Исследовательский вакуум, существующий вокруг темы «Античность в России», создает почву, на которой строится миф о «вторичности» античной культуры в России. Одна из задач будущих историков литературы этот миф развенчать.

Тема «Античность в России» является богатой лишь в своей перспективе, но на современном этапе практически закрыта, поскольку отсутствует полная библиография переводов и подражаний античной поэзии в России — СССР. Именно этот дефицит и создает дополнительные трудности уже при первом обращении к настоящей проблеме.

В течение многих лет я работаю над библиографией такого рода, и теперь, когда она практически завершена, считаю своим долгом рассказать о ее задачах и структуре.

<sup>2</sup> Приведу лишь один пример: богатейшая тема «Гораций в России» стала объектом изучения западногерманского филолога В. Буша. См.: *Busch W. Horaz in Russland*. Munchen, 1964.

<sup>1</sup> Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951, с. 10.

\* \* \*

Специальных библиографий переводов античных авторов в России издано не было. Неполные, выборочные сведения о наиболее известных переводах приводятся в библиографиях, посвященных развитию классической филологии в России, СССР.

Существует фундаментальная библиография П. И. Прозорова,<sup>3</sup> в которой приводятся переводы греческих авторов, в том числе и древнегреческих лирических поэтов, в хронологическом порядке. Если эта библиография и дает все же, хотя и минимальное, представление о переводах с древнегреческого языка в России, то этого нельзя сказать о библиографии Д. И. Нагуевско-го.<sup>4</sup> Это весьма поверхностная библиография, в которой даются крайне скудные сведения о развитии классической филологии в России (Древний Рим), и еще более скудные — о переводах с латинского языка. А ведь именно римская литература (в отличие от греческой) была наиболее переводима в России (Гораций, Овидий) в XVIII—1-й половине XIX века.

Современная библиография по классической филологии, составленная А. И. Воронковым,<sup>5</sup> по широте охвата и полноте в какой-то мере сходна с библиографией П. И. Прозорова. Но и в этом справочном издании сведения о переводах также приводятся суммарно. Составитель не ставил целью полной фиксации переводов, в частности включенных в различные поэтические сборники, альманахи. Кроме того, эта библиография доведена лишь до 1959 года, а следовательно, в нее не вошли сведения о переводах последних лет, значительно пополнявших наши представления об античной лирической поэзии.

Подготовленная мною библиография является новым видом справочного издания, поскольку она изначально преследует иные задачи: свести воедино — по возможности полно — все переводы античных лирических поэтов, осуществленные почти за три века развития русской литературы.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Прозоров П. И. Систематический указатель книг и статей по греческой филологии с XVIII столетия по 1892 год на русском и иностранных языках. С прибавлением за 1893, 1894 и 1895 гг. СПб., 1898, 374 с.

<sup>4</sup> Нагуевский Д. И. Библиография по истории римской литературы в России с 1709 по 1889 гг. Казань, 1889. 43 с.

<sup>5</sup> Воронков А. И. Древняя Греция и древний Рим: Библиографический указатель изданий, выпущенных в СССР: (1895—1959 гг.). М., 1961. 523 с.

<sup>6</sup> Составитель, естественно, отдает себе отчет в том, что в любой библиографии, в том числе и предлагаемой,

В библиографию вводятся тот поэтический материал, который объективно можно соотносить с тем или иным произведением античного автора. Так, из большого количества стихотворений, созвучных со второй одой Сафо, в том числе сохранившихся в песенниках XVIII века, в состав библиографии вошло лишь два; см.: Приложение, Сафо № 7, 9 и 11 с пометкой: Атрибутировано Е. Свиясовым.

Определение «лирическая» — важный элемент в заглавии библиографии: составитель, исходя из ряда особенностей, характерных для античной литературы, отказался от фиксации эпических произведений (Гомер — «Илиада», «Одиссея», Овидий — «Метаморфозы» и др.). Сведения о переводах больших поэтических полотен вполне доступны, а учет бесчисленных переводов отрывков из такого рода произведений нарушил бы принципы, положенные в основание труда.

Греческая лирическая поэзия в значительной своей части дошла до нас фрагментарно и нередко благодаря цитациям античных прозаиков (Геродот, Плутарх, Платон, Афиней, схоластики и мн. др.). Не раз эти фрагменты соединялись воедино в персоналиях или группах персоналий (например: Лесбосские поэты. Сафо и Алкей). Наиболее компетентными в настоящее время признаны издания Бергка и Дили.<sup>7</sup> Эти

могут быть лакуны. Однако сама структура библиографии и объем просмотренного материала дают возможность утверждать, что пропуски незначительны (неучтенные нами переводы и подражания следует искать в забытых провинциальных изданиях или газетах).

Переводы из античных авторов порой можно найти в совершенно неожиданных по своей тематике книгах, а возможно и журналах. Так, на досуге читая мемуары известного советского дипломата И. М. Майского, я был приятно обрадован пополнением моей библиографии: еще одним (30-м!) переводом знаменитой оды Горация (II, 10, «К Лицинию»), который был осуществлен Майским-студентом в конце 1890-х годов и опубликован через много десятиков лет на страницах воспоминаний.

В этой связи нельзя не привести любопытную параллель: в ГПБ хранится перевод оды Горация (II, 14) выдающегося советского государственного деятеля Г. В. Чичерина (перевод примерно того же времени). Однако этот перевод в библиографию не попал, поскольку он не опубликован, как не попало и большое количество обнаруженных мною неизданных переводов античных авторов, хранящихся в различных архивах страны.

<sup>7</sup> Poetae Lyrici Graeci. Lipsiae / Ed. Bergk, 1882, v. 3; Anthologia Lyrica Graeca. Lipsiae / Ed. Diehl, 1955. Ed. 3. Fasc. 2.

издания и стали структурообразующей основой первой части библиографии (исключения оговариваются специально).

Структура библиографии, принципы ее организации вырабатывались и уточнялись на протяжении всего периода работы над нею. Но уже на самом раннем этапе, исходя из интересов как филологов-русистов, так и филологов-классиков, а также потенциальных переводчиков с античных языков, я пришел к убеждению, что библиография должна опираться на античную персоналию. Свод переводов с античных языков фактически привел бы к формальной фиксации переводческой деятельности того или иного отечественного автора. Такой подход в любом случае не удовлетворил бы исследователя, который, занимаясь каким-либо русским, советским поэтом (переводчиком), неизбежно должен был бы обратиться к компетентным изданиям их произведений, например в серии «Библиотека поэта».

Сведения о переводе каждого античного стихотворения (отрывка), приводимые в хронологическом порядке, дают объективную картину деятельности русских поэтов (переводчиков), равно как и свидетельствуют об интересе к тому или иному произведению античного автора, а в своей совокупности — к творчеству этого автора в целом на различных этапах развития отечественной литературы.

В соответствии с таким принципом переводы, например, знаменитого «Памятника» Горация (их в библиографии насчитывается 21) не будут «рассыпаны» по русской персоналии, будет дан полный свод переводов (и подражаний) этого стихотворения, осуществленных в России со времен Феофана Прокоповича до наших дней. Именной указатель переводчиков, находящийся в справочном отделе библиографии, даст ссылки на все переводы и подражания, выполненные тем или иным поэтом (переводчиком).

Библиография делится на три части:

I. Греческая лирическая поэзия

II. Латинская (римская) лирическая поэзия

III. Греческая и латинская эпиграммы

Приближенный объем библиографии 40—50 авт. листов. Библиография снабжена следующими указателями:

I. Именной указатель русских переводчиков

II. Алфавитный указатель первых строк

III. Список сокращений

IV. Структура библиографического описания античных персоналий

Свод переводов каждого автора делится, если такое деление возможно, на три раздела:

1. Полные переводы и переводы избранных произведений

2. Переводы отдельных произведений или фрагментов отрывков

3. Псевдоавторы (например: Псевдосафо).

Если в первый раздел входят полные переводы (например, переводы Горация, Марциала, осуществленные Фетом, переводы Вакхилида и Пиндара — М. Л. Гаспаровым и пр.), то второй части они не расписываются по отдельным произведениям или фрагментам.

Если перевод произведений того или иного автора осуществлен не полностью (избранное), но имя автора сохранено в названии книги, то такие издания упоминаются в первом разделе, далее расписываются по отдельным произведениям и фрагментам с указанием в первой части: см. далее по библиографии.

Так, полностью расписываются сборники переводов Сафо и Алкея, осуществленные Вяч. Ивановым (1914), Архилоха и Сафо в переводе Вересаева (1915). Составитель считает, что такой подход оправдан, поскольку библиография рассчитана не только на исследователей истории русской литературы, но и на филологов-классиков, и, что важно, на потенциальных переводчиков, которых данная библиография избавит от дополнительных разысканий не переведенных еще отрывков, сопоставлений и пр.

Вот как, например, выглядит первый раздел к главе «Сафо в русских переводах и подражаниях».

#### I. Отдельные произведения<sup>8</sup>

1. \*Виноградов Ив. Стихотворения Сафы лесбийския стихотворицы, пер. с греч. Изданы с описанием жития сея славныя своими дарованиями, любовию и происшедшими от оныя злоключениями женщины, и присовокуплением песней, переведенных из Анакреонта, и других стихотворений. СПб., 1792. Далее: Стихотворения Сафы, 1792.<sup>9</sup>

2. \*Голенищев-Кутузов П. Стихотворения Сафы. М., 1805.

Перевод ложно приписанных ей поздних подделок и подражаний. См. также: Отдел III «Псевдосафо».

3. \*Анастасевич В. Стихотворения Сафы, объясненные примечаниями. СПб., 1808.

<sup>8</sup> Нумерация в библиографии носит сплошной характер, что облегчит пользование справочным аппаратом. В настоящей статье каждый пример имеет собственную нумерацию.

<sup>9</sup> Знак \* (астерик) означает, что перевод сделан рифмой, отсутствие этого знака предполагает, что перевод осуществлен размером подлинника или сделана попытка перевести стихотворение размером подлинника.

Перевод ложно приписанных ей поздних подделок и подражаний. См. также: Отдел III «Псевдосафо».

4. Иванов Вяч. Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинников Вячеслава Иванова со вступительным очерком его же. М.: изд. Сабашниковых, 1914; 2-й тираж: М., 1915.

5. Вересаев В. В. Сафо. Стихотворения и фрагменты. Перевел с греческого размерами подлинника В. Вересаев. М., 1915. То же: В кн. В.: Полн. собр. соч. М.: Недра, 1929, т. 10, с. 167—193; Соч. М.: Огиз, 1948, т. 3, с. 379—398; ЭлП, 1963, с. 233—260.

6. Сафо. Лирика. Кемерово. 1981. Избранная лирика в переводах В. В. Вересаева, Вяч. Иванова и др.

Структура второго раздела, в который, как мы сказали выше, входят сведения о переводах отдельных произведений или фрагментов, видна из приложения к настоящей статье, где представлены переводы и подражания 2-й оде Сафо. Там же в подстрочных комментариях к тому или иному частному случаю даются особенности описания того или иного перевода.

\* \* \*

В III раздел (псевдоавторы) входят только те стихотворения, которые сам автор соотносит с тем или иным античным поэтом, например по цензурным соображениям. Только в редких случаях составитель брал на себя смелость соотносить то или иное стихотворение с подлинником.

Вот как, например, будет выглядеть этот раздел в главе «Сафо в русских переводах и подражаниях».

### III. Псевдосафо

1. Впногорадов В. В. На розу («Когда Зевес бы восхотел...») — В кн. В.: Стихотворения Сафы, 1792, с. 19—20; также в кн.: Сафо, 1981, с. 52.

2. Карамзин М. Н. Песнь Сафина («Пою, о бог немилосердный...») В кн. К.: Мои безделки. М., 1784. Ч. 2, с. 212—213; также в кн.: Аглая, 1796, ч. 2, с. 247; также в кн. К.: Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Сов. писатель, 1966, с. 132—134 (Б-ка поэта, Б. серия).

3. Шаликов П. Отрывок из сочинений древней стихотворицы Сафы («Прощайте места, прощайте предметы!..») — ПППрВр, 1798, ч. 17, с. 81—88.

«Перевод с греческого»

4. Востоков А. Х. Седьмая ода по французскому переводу («Утеха сердца моего!..») (1802) — В кн.: Свиток муз. СПб., 1803. Кн. 2, с. 62—63; также в кн. В.: Стихотворения. [М]: Сов. писатель, 1935, с. 252 (Б-ка поэта, Б. серия).

5. Ода. Сон. Сафо в первый раз чувствует нужду любить; сон ее сие воз-

вещает («На мягкой мураве в долине ароматной!..») — Друг просвещения, 1805, ч. 3, № 8, с. 115—117.

6. Б. Отрывки из Сафы («Уже вечерняя звезда во тьме блистает!..») — Лицей, 1806, ч. 1, кн. 2, с. 12.

7. Альбицкий Д. Ода Сафы на измену ее любовника («Царица ночи! ты все зрела с облаков!..») — Лицей, 1806, ч. 2, № 1, с. 11—12.

8. Востоков А. Х. Сафо («О Хариты! ныне ко мне склонитесь!..») В кн. В.: Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах. СПб., 1806. Ч. 2, с. 47—49; также в кн. В.: Стихотворения. СПб., 1821, с. 130—133; Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1935, с. 171—172 (Б-ка поэта, Б. серия); также в кн.: Поэты-радищевцы. Л.: Сов. писатель, 1961, с. 270—272 (Б-ка поэта, Б. серия).

9. Бюгословский «А.». Ода Сафы («К тебе Киприда прибегаю!..») Северный Меркурий, 1811, ч. 10, № 16, с. 44—46.

10. Чюрков В. Ода Сафо («О мать любви, душа всего творенья!..») — ТОЛРС, 1816, ч. 10, с. 81—82 (отд. поэзии).

11. Саларев С. Г. Сафо, Романс («Прости навек! — мой рок свершится!..») — ТОЛРС, 1820, ч. 17, с. 41 (отд. поэзии).

12. Майков А. Н. «Зачем венком из листьев лавров!..» 1841. — В кн. М.: Стихотворения. СПб., 1842. Кн. 1, с. 105; также в кн. М.: Стихотворения. СПб., 1858. Кн. 1, с. 109; Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 1, с. 38; Избр. произв. Л.: Сов. писатель, 1977, с. 66. (Б-ка поэта, Б. серия).

13. Майков А. Н. «Звезда божественной Киприды!..» 1841. — В кн. М.: Стихотворения. СПб., 1842. Кн. 1, с. 108—109; также в кн. М.: Стихотворения. СПб., 1858. Кн. 1, с. 111; Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 1, с. 38; Избр. произв. Л.: Сов. писатель, 1977, с. 66—67 (Б-ка поэта, Б. серия).

14. Павлов Н. Песнь Сафо («Опять судьба послала!..») — Русский вестник, 1856, № 3, с. 172.

15. Иванов А. Памяти Анакреонта. Подражание Сафо. («Ты, муза, с высоты златого трона!..») — Гермес, 1913, № 18, с. 480.

16. Иванов Вяч. «Дева, в томных розах стыда и неги!..» В кн. И.: Алкей и Сафо, 1914, с. 198.

17. Иванов Вяч. Обиженной («Хмуришь бровь, на ласку мою не хочешь!..») В кн. И.: Алкей и Сафо, 1914, с. 88; также в кн.: Сафо, 1981, с. 51.

\* \* \*

Источниками настоящей библиографии явились периодические историко-литературные, а также научные издания, сквозной просмотр которых составитель осуществлял в течение семнадцати лет. Просмотрены:

1. Все журналы XVIII—XIX вв., имеющие хотя бы в малейшей степени отношение к литературе; с 1860-х годов — журналы общественно-литературного характера.

2. Все альманахи и сборники с XVIII века до 1860-х годов, а с 1860-х годов до начала XX века — выборочно, с учетом справочников.<sup>10</sup>

3. Отечественные авторские поэтические сборники и издания с XVIII до начала XX века. Сведения о таких изданиях были почерпнуты из книжных росписей, рецензий, картотеки отдела редкой книги БАН СССР и др., а также из библиографии А. Н. Тарасенкова.<sup>11</sup>

4. 1-е и 2-е издания «Библиотеки поэта».

5. Большинство научно-художественных изданий, имеющих отношение к классической филологии.

6. Курсы по истории литературы и пр.

7. Все издания хрестоматии по древнегреческой и римской литературе.

Учены, атрибутированы и зафиксированы в библиографии все переводы античных прозаиков, как выше говорилось, постоянно цитировавших античных поэтов. Так, «Описание Эллады» Павсания (перевод С. П. Кондратьева; М., 1938—1940) содержит несколько сот греческих эпиграмм, вкрапленных в прозаический текст. С целью выявления поэтических цитат просмотрено большинство сочинений античных прозаиков, выходявших с XVIII века до наших дней в русском переводе. Однако, как выяснилось в результате просмотра, русские переводчики на протяжении XVIII—XIX веков переводили стихотворные цитаты белым стихом, ритмической прозой. Исключение составляет лишь перевод «Жизнеописания» Плутарха, осуществленный в 1814—1818 годах Г. С. Дестунисом. В библиографию вошли стихотворные переводы Дестуниса, но только развернутые, в которых есть рифма или она прослеживается.

Библиографические данные сверены с рукописными библиографиями А. Д. Умикина (ГПБ), Н. Н. Бахтина (ИРЛИ).

Настоящая библиография дает возможность впервые представить историю русского перевода на материале древних языков. Будучи изданной, она позволит поставить ряд вопросов, затрагивающих глубинные проблемы изучения русской литературы, например тему развития классицизма в России на примере переводческой деятельности поэтов (переводчиков) XVIII века.

<sup>10</sup> Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII—XIX вв.: (Библиографический указатель). М., 1965 и др.

<sup>11</sup> Тарасенков А. Н. Русские поэты XX в.: 1900—1955. Библиография. М.: 1966.

Я не случайно уже привел факты, связанные с интересом русских поэтов к творчеству Сафо, в частности ко 2-й оде. В библиографии этой оде посвящено 47 номеров (переводы и подражаний).<sup>12</sup> Со всей определенностью можно сказать, что из всех стихотворений — античных, западноевропейских и пр. — это стихотворение имеет в России наибольшее количество переводов и подражаний, а следовательно, является самым популярным произведением, к которому когда-либо обращались русские переводчики.

Исследователям еще предстоит оценить этот феномен — «Сафо в России», если учесть и другой историко-литературный факт: в русской поэзии Сафо, ее легендарной любви к Фаону, Сафопозтессе, стоящей у истоков мировой любовной лирики, посвящено более 70 стихотворений, в том числе Г. Р. Державина, Вяч. Иванова, В. В. Капустина, П. А. Катенина (кантата!), А. С. Пушкина, К. Ф. Рыльева, Н. Ф. Щербини и многих других менее известных авторов.

Ни одному античному автору, в том числе и наиболее популярному в России — Горацию, а возможно, ни одному западноевропейскому (за исключением Байрона), не посвящалось такого количества стихотворений в России, как Сафо.<sup>13</sup>

Издание настоящей библиографии тем более становится актуальным, что в стенах Пушкинского Дома предполагается осуществить фундаментальное исследование по истории русской переводческой деятельности.

\* \* \*

Библиография дает возможность оценить такое яркое явление, существовавшее в переводческой практике, как поэтическое состязание, продолжавшееся на протяжении трех веков развития русской литературы. Нередко этому состязанию способствовали сами издатели журналов и альманахов и пр.

Возьмем, например, ограниченный промежуток времени — 1804—1805 годы. Данные библиографии свидетельствуют о том, что за эти два года уже упоминавшаяся ода Сафо интенсивно переводилась и публиковалась, что среди ее переводчиков были Г. Р. Державин, С. С. Бобров и Н. А. Радищев.

<sup>12</sup> Мною обнаружен неопубликованный перевод этой оды — М. А. Лобанова, который предполагается опубликовать среди других, ранее не издававшихся переводов античных поэтов.

<sup>13</sup> Количественные данные почерпнуты из моей рабочей картотеки «Античность в России», в которой собран как поэтический, так и прозаический материал, имеющий отношение к этой теме, с середины XVIII до начала XX века.

Вот как это поэтическое соревнование представлено в библиографии:

\*Державин Г. Р. Гимн Сафы Венере («Бессмертная Венера!») 1800 — В кн. Д.: Анакреонтические песни. СПб., 1804, с. 135—137; также в кн. Д.: Соч., 1808. Ч. 3, с. 154—156; Соч. СПб., 1865. Т. 2, с. 349—352; АП, 1986, с. 75—76.

\*Б[обров] С. Имн Венере («Многопрестольна, несравненна...») — Сев вест, 1805, ч. 8, № 10, с. 72—74.

«Сей Имн почтается мастерским произведением славной греческой стихотворщицы Сафы. Он переложен с лучших переводов особенно с латинского и английского».

\*Радищев Н. А. Гимн Сафы («О дщерь властителя вселенной...») — Сев вест, 1805, ч. 8, № 11, с. 171—172; также в кн.: Поэты-радищевцы. Л.: Сов. писатель, 1935, с. 507—508 (Б-ка поэта, Б. серия); то же: 2-е изд.: 1979, с. 372—373.

Впервые подпись: «ев»

Наиболее интенсивно в России переводился Гораций. Многие оды Горация имеют более 20 переводов. Перечень переводов и подражаний великого римского поэта занимает более 1000 номеров (единиц) — свыше 5 а. л.

Вот пример состязания на материале популярной в России оды Горация (книга III, № 9):

\*Г[агарин] П. Гораций и Лида. Ода («Счастливец земных властителей я был...») — Чтение для вкуса, разума и чувствований, 1792, ч. 7, с. 244—246.

«Сия ода, говорит г. Переводчик, которого за такую посылку мы искренне благодарим, может почесться мастерским произведением славного Горация, в рассуждении тонкости и нежности своей; а как разговор, то не имеет себе подобной. Мы присовокупим, что Скаликер ее, и третью оду четвертой книги, которую также мы сообщим со временем в переводе, почитает слаще амброзии и нектара, говоря, что Горациевы оды вообще исполнены неподражаемой прелести и приличия. Такая красота ее побуждает нас (сообщаемый нам сделан с французского перевода герцога Нивернуа) приложить перевод и с самого подлинника, дабы читатели, всякий по своему вкусу определили по изволению цену, и древним красотам оригинала, и новым частью от французского переводчика прибавлением».

\*В. Гораций и Лида. Ода. Та же с латинского («Когда твой взор меня не находил милее...») — Чтение для вкуса, разума и чувствований, 1792, ч. 7, с. 247—248.

«Как бы перевод близок ни был, но перевод со стихов на стихи, все много теряет красот оригинальных».

Библиография дает возможность проследить и за другим весьма интересным явлением, бытовавшим в русской переводческой практике, когда публикация перевода и подстрочника (прозаическо-

го перевода) — публикация подчас одновременно — становится важным фактором для понимания и восприятия читателем всех оттенков подлинника, своеобразной страховкой от неправомерного (ограниченного) истолкования поэтического наследия античного автора. В приведенном ниже образце см. №№ 2, 3.

Нередко сам переводчик публиковал одновременно как прозаический, так и поэтический перевод. Так делал А. Котельницкий, печатавший на рубеже XVIII—XIX веков как оригинальные, так и переводные стихотворения.

Например:

Котельницкий А. Книга I. Ода II. — ПШПрВр, 1796, ч. 11, с. 27—29.<sup>14</sup>

\*Котельницкий А. Прекращение междоусобий. Мирное правление Августово («Уже снегов, как гор, громады...») — ПШПрВр, 1796, ч. 11, с. 29—32; также в кн.: Поповский Н. Оды Горация. СПб., 1801, с. 35—40.

Коль речь зашла о А. Котельницком, нельзя не упомянуть об одном важном обстоятельстве: этот малоизвестный поэт был крупнейшим переводчиком Горация. К сожалению, им опубликована лишь незначительная часть переводов од Горация. В ГПБ сохранились переводы полных двух первых книг Горация — 58 од!<sup>15</sup>

К сожалению, эти переводы (до Котельницкого ни один переводчик не перевел целиком ни одной полной книги од Горация) не привлекали внимания исследователей, чему способствовала одна техническая «накладка»: в «Отчетах» Публичной библиотеки они ошибочно отнесены к публиковавшимся не раз переводам В. В. Капниста.

Полезность библиографии подтверждается и тем фактом, например, что ее данные позволили без труда определить автора этих переводов, после того как первые строки были сверены с первыми строками од Горация, приведенных в библиографии. Несколько первых строк переводов, опубликованных некогда Котельницким, совпали с первыми строками рукописи. Автор переводов был найден!

Правильность этой атрибуции подтверждается следующим: в архиве Державина, в части, хранящейся в Рукописном отделе ИРЛИ, есть первые две книги прозаических переводов од Горация, осуществленных Котельницким (имя переводчика там указано);<sup>16</sup> текст ряда этих переводов совпал с опубликованными и зафиксированными в библиографии.

Остановлюсь теперь на пользе от издания библиографии, которую извлекают переводчики с античных языков.

<sup>14</sup> Отсутствие в библиографическом описании первой строчки означает, что перевод сделан прозой.

<sup>15</sup> ГПБ, ф. 247, Г. Р. Державин, т. 38.

<sup>16</sup> ИРЛИ, ф. 96, оп. 14, № 15.

Возьмем, например, эпиграмму. Мне, как переводчику древнегреческих эпиграмм, понятна озабоченность моих коллег в связи с отсутствием такого рода библиографии. Из огромного количества эпиграмм, входящих в Палатинскую антологию и ее дополняющую (более 5-ти тысяч), в России и СССР переведено около одной трети, причем они помещены не только в популярных сборниках, таких, как «Греческая эпиграмма» (М., 1960), но и в изданиях, известных только узкому кругу специалистов («Византийский временник», например). Положение осложняется еще тем, что огромное количество эпиграмм «разбросано» в прозаических текстах, т. е. в переводах Плутарха, Платона, Диогена, Страбона, Павсания и мн. др. В настоящее время переводчику греческой и латинской эпиграмм приходится продельвать огромную работу по библиографическим разысканиям, чтобы выяснить, была ли переведена та или иная эпиграмма на русский язык. Или переводить заново! А это неоправданная роскошь, если иметь в виду, что огромное количество эпиграмм еще ждут своих переводчиков. Библиография несомненно облегчит их труд.

Насущной потребностью филологической науки является сохранение исторической памяти нашего народа, его культурного наследия. Об этом постоянно напоминает нам в своих выступлениях и работах Д. С. Лихачев. Настоящая библиография в значительной степени соответствует этой устремленности, ибо тема «Античность в России» — тема огромной культурной традиции.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

Библиография переводов и подражаний так называемой «Второй оды»

Сафо 2 (2) <sup>17</sup>

1. Тредиаковский В. К. «Огонь восприняв в себя, разлила внутрь пламы по жилам...» — В кн. Т.: Тилемахида или странствование Тилемаха сына

<sup>17</sup> Нумерация отрывков дается по изд. Дила (после точки с запятой); изд. Бергка (в скобках).

В дополнении (после общих сведений с новой строки) даются следующие сведения:

а. Нумерация переведенных строк, если перевод осуществлен не полностью (сокр.: ст.).

б. Редакторские или авторские примечания (в кавычках).

в. Указания на то, что данный перевод атрибутирован составителем.

г. Авторское или редакторское указание, с какого языка осуществлен перевод.

д. Первоначальная подпись.

Одиссеева. СПб., 1766. Т. 1, с. 52; также в кн. Т.: Соч. СПб., 1849. Т. 2, ч. 1, с. 91; также в кн.: Дерюгин А. А. Тредиаковский-переводчик. Саратов, 1985, с. 180.

Ст. 5—7, 9—10.

2. \*Сумароков А. П. Сафина ода («Благополучен тот, кто всякой день с тобою...») — ЕС, 1755, ч. 2, № 8, с. 148—149; также в кн. С.: Полн. собр. всех соч. М., 1781. Т. 2, с. 146; то же: 2-е изд.: 1787. Т. 2, с. 146 (под заглавием: «Перевод II Сафиной Оды»).

3. К[озицкий] Г. В. На девицу. — Тр. пчела, 1759, № 11, с. 677—678.<sup>18</sup>

4. \*Осипов Н. Сафические стихи («Счастливы, кто близ тебя, и для тебя вздыхает...») 1771 — Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской, 1960, т. 86, № 7, с. 34—35.

«Перевел из г. Боало Осипов».

5. \*Львов Н. А. Перевод из Сафы 23 марта 1778. Ода вторая («Счастливы, кто быв с тобой, тобою вздыхает...») — В кн.: Глумов А. Н. А. Львов. М.: Искусство, 1980, с. 28.

6. \*Муравьев М. Н. Три первые строфы сохраненной Лонгином Сафовой оды, следуя г. Буало («Счастливы, кто близ тебя тобою единой тлеет...») — СПб вест., 1778, ч. 2, № 11, с. 402—403; также в кн. М.: Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1967, с. 250 (Б-ка поэта, Б. серия); также в кн.: Парнас, 1980, с. 394.

7. \*«Мучь меня, жестокая любовь...» — Лекарство от скуки, 1786, ч. I, с. 277—278.

Атрибутировано Е. Свиясовым.

8. \*Виноградов И. И. Ода Сафы к девице («Богов тот счастьем превышает...») — Растущий виноград, 1786, № 1, с. 91—92; также в кн. В.: Стихотворения Сафы, 1792, с. 16.

В изд. 1792 другая редакция перевода.

9. \*Ревность («Божественну тот часть вкушает...») — В кн.: Собрание новейших песен и разных любовных стихотворений. М., 1791. Ч. 1, с. 216—217.

Атрибутировано Е. Свиясовым.

10. \*Карабанов П. Выражение любви стихотворицы Сафо к Фаону. Перевод с французского («Что часто близ тебя бывает...») — Зритель, 1792, ч. 1, с. 182; также в кн. К.: Стихотворения. СПб, 1801, с. 183; Стихотворения. М., 1812, с. 217.

Впервые без заглавия.

<sup>18</sup> Отсутствие первой строчки означает, что перевод осуществлен прозой. В этом случае приводится только название перевода, если таковое имеется. Прозаический перевод входит в библиографию только в том случае, если он имеет литературно-художественную основу, что характерно для литературы XVIII века. Переводы, осуществленные с научной целью, не оговариваются.

11. \*X[ованский] Г., кн. Послание к Е. П. С. («Счастлив, кто для тебя единой вздыхает...») — ПППрВр, 1795, ч. 5, с. 307.

Атрибутировано Е. Свиясовым.

12. \*Эмин Н. Ф. «Благополучен тот, кто близ тебя стонает...» — В кн. Э.: Подражания древним. СПб., 1795, с. 48.

13. \*Люпенко Е. П. Перевод оды из Сафо («Блажен, кто для тебя единой вздыхает...») — ПППрВр, 1796, ч. 11, с. 320.

Подпись: «Елцюкон».

14. \*Державин Г. Р. «Блажен богам подобен тот...» 1790-е гг. — В кн. Д.: Соч. СПб., 1865. Т. 2, с. 42, примеч. 1.

1-я редакция перевода с фр. языка.

О девяти редакциях этого перевода см.:

Ильинский Л. К. Из рукописных текстов Г. Р. Державина. Пг., 1917, с. 50—65.

15. \*Державин Г. Р. Сафы второй перевод («Счастлив, подобится в блаженстве тот богам...») 1802 — В кн. Д.: Соч. СПб., 1808. Ч. 3, с. 191; также в кн. Д.: Соч. СПб., 1865. Т. 2, с. 39—41; Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1933, с. 354 (Б-ка поэта, Б. серия).

С фр. перевода Н. Буало.

16. \*Державин Г. Р. Сафо («Блажен, подобится богам...») 1794 (?). — В кн.: Аониды. М., 1797. Кн. 2, с. 234—235; также в кн. Д.: Анакреонтические песни. СПб., 1804, с. 103; Соч. СПб., 1808. Т. 3, с. 118; Соч. СПб., 1865. Т. 2, с. 42—43; Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1933, с. 338—340 (Б-ка поэта, Б. серия); Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1957, с. 259 (Б-ка поэта, Б. серия); также в кн.: Парнас, 1980, с. 381—382.

Перевод сделан с подстрочного перевода с греч. языка.

17. \*Марин С. Н. Ода. Перевод с Сафо («Блажен, кто близ тебя вздыхает») 1800-е гг. — В кн. М.: Полн. собр. соч. М., 1948, с. 41 (Летописи Гос. лит. музея. Кн. 10).

18. \*Ст—н Н. Восторг («Какое чувство ощущаю?») — Новости русской литературы, 1802, ч. 1, с. 383—384.

«Удачное подражание известной превосходной оде Сафо». — Примеч. издателя.

19. \*Мартынов И. И. «Тот сходен, кажется, с богами...» — В кн.: Лонгин. О высоком или величественном. СПб., 1803, с. 74—75; также в кн.: Лонгин. О высоком. СПб., 1826, с. 49—50.

20. \*Хвостов Д. Ода Сафо («Блажен, кто близ тебя и о тебе вздыхает...») — Друг просвещения, 1804, ч. 1, с. 28.

21. \*Б[утырский]. «Блажен, как жители небесны...» — Лицей, 1806, ч. 1, № 2, с. 12.

22. \*Тейльс А. Сафо. Перевод из Деллия («Счастлив, кто близ тебя вздыхает...») — Лицей, 1806, ч. 1, № 2, с. 14—15.

«Помещена для сличения с напечатанного выше перевода». — Примеч. издателя.

23. Анонимный проз. перевод — Минерва, 1806, ч. 4, № 8, с. 113—114.

В статье «Сафо».

24. \*Жуковский В. А. Сафина ода («Блажен, кто близ тебя одним тобой пылает...») 1806 — ВЕ, 1807, ч. 32, № 5, с. 44; также в кн. Ж.: Соч. СПб., 1857. Т. 12, с. 19—20; Полн. собр. соч. СПб., 1902. Т. 1, с. 27; Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1940, т. 2, с. 166 (Б-ка поэта, Б. серия); Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1956, с. 76—77 (Б-ка поэта, Б. серия); Собр. соч. М.; Л.: Гослитиздат, 1959. Т. 1, с. 45—46; также в кн.: Парнас, 1980, с. 410; Сафо, 1981, с. 97.

Раннюю редакцию перевода см.: изд. 1940 г. — с. 458.

25. \*Богословский А. Сафо к своей сопернице («О ты! счастливая из смертных!») — Северный Меркурий, 1810, ч. 8, № 23, с. 110—114.

26. \*Бунина А. П. Стансы. Подражание лесбосской стихотворицы («Блажен, кто воздухом одним с тобою дышит!») — В кн. Б.: Неопытная муза. СПб., 1812. Ч. 2, с. 141—142; также в кн. Б.: Собрание стихотворений. СПб., 1819, ч. 1, с. 151—153.

27. \*Рылеев К. Ф. Вольный перевод из Сафы («Блажен, как бог, кто слух вперяет...»). Между 1812—1820 гг. — В кн.: Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912, прилож. с. 28; также в кн. Р.: Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1934, с. 343 (Б-ка поэта, Б. серия); Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель. Л.: Сов. писатель, 1971, с. 305 (Б-ка поэта, Б. серия); также в кн.: Парнас, 1980, с. 420—421.

Близко по теме — стихотворение Р. «Романс»

(«Как счастлив я, когда сижу с тобою...») 1819).

28. \*Пушкин А. С. К\*\*\* («Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный...») 1818 — В кн. П.: Соч. СПб., 1855. Т. 1, с. 346; также в кн. П.: Полн. собр. соч. [М.; Л.]: изд. АН СССР, 1947. Т. 2, кн. 1, с. 66; Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1955. Т. 3, с. 32 (Б-ка поэта, Б. серия). Ст. 1—4.

29. \*О...ий Я... Ода Сафы («Блажен, кто близ тебя, кто дышит лишь тобою...») — Благонамеренный, 1825, ч. 31, с. 221.

30. Мерзляков А. Ф. К счастливой любовнице («Равным бессмертным кажется оный...») — В кн. М.: Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев. М., 1826. Ч. 2, с. 59; также в кн. М.: Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1958, с. 129 (Б-ка поэта, Б. серия).

31. \*Хвостов Д. И. «Счастлив кто, восхитясь прелестной красотой...» — В кн. Х.: Полн. собр. стихотворений. СПб., 1830. Т. 5, с. 102.

32. Катенин П. А. Песнь Сафы Фаошу («Кто он блажен, равен богам...») 1838. — В кн.: Уч. зап. ЛГУ, 1939, № 33, вып. 2, с. 295—296, Серия филолог. наук; также в кн. К.: Избранные произведения. М.; Л.: Сов. писатель, 1965, с. 241—242 (Б-ка поэта, Б. серия); также в кн.: Парнас, 1980, с. 419—420.

Входит в кантату «Сафо».

33. \*Кроль Н. Сафо. К любимой женщине («Не равен ли богам тот юноша счастливый...») — В кн. К.: Эскизы. СПб., 1857, с. 71—72.

34. \*Водовозов В. И. «Блажен, подобится богам...» — Совр., 1857, № 8, с. 153—154.

35. \*Крестовский В. В. К своей любовнице («Блаженством равен тот богам...») — Время, 1862, № 9, с. 356; также в кн. К.: Соч. СПб., 1862. Т. 1, с. 124—125; Собр. соч. СПб.: Общественная польза, <1899>. Т. 4, с. 240.

36. \*Майков А. П. Из Сафо («Он — юный полубог, и он у ног твоих!...») 1875. — Огонек, 1881, № 17, с. 324; также в кн. М.: Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 1, с. 204; Избранные произведения. Л.: Сов. писатель, 1977, с. 174 (Б-ка поэта, Б. серия).

37. \*Герра К. «О, богу равен он, тот юноша высокий...» — В кн. Г.: Лирика любви. М., 1891. Ч. 1, с. 207.

38. \*Прощание («О, как боги в высоте небесной...») — В кн.: Алексеев, Древнегреческие поэты, 1895, с. 201; также в кн.: Коган П. С. Греческая литература. 7-е изд. М.: Учпедгиз, 1937, с. 146.

39. \*Корш Ф. Е. «По мне, тот не смертный, а бог безмятежный...» — Вопросы философии и психологии, 1899, № 1—2, с. 135; также в кн. К.: Римская элегия и романтизм. М., 1899, с. 5, также в кн.: Круаза А. п М. Руководство по греческой литературе. М., 1907. ч. 1, с. 159—160; также: Гермес, 1916, № 7—8, с. 138; также в кн.: Дератани Н. Ф. и Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной литературе. М.: Учпедгиз, 1965. Т. 1, с. 101.

Перевод с перевода Катутла.

40. «Счастливы, мне мнится как счастливы боги...» — Живописное обозрение, 1899, № 49, с. 378.

41. Церетели Г. Ф. «Равным бога по счастью считаю того я...» — В кн.: Круаза А. п М. История греческой литературы. СПб., 1912, с. 157—158.

42. \*Рудаков А. «Тот к богам нетленным счастьем приравненный...» — Гермес, 1914, № 5, с. 162.

43. \*Иванов А. Ревность («О, сколь мне кажется подобен он богам...») — Гермес, 1913, № 17, с. 451—452.

44. Иванов Вяч. Любовь («Мнится мне: как боги, блажен и волен...») — В кн. И.: Алкей и Сафо, 1914, с. 85; также в кн.: Греческая литература. М.: Сов. писатель, 1939, с. 103.

45. Вересаев В. В. «Богу равным ка-

жется по счастью...» — В кн. В.: Сафо, 1915, с. 23; также в кн. В.: Полн. собр. соч., т. 10, 1929, с. 169; ЭлП, 1963, с. 234; также в кн.: Ал, 1968, с. 56; Парнас, 1980, с. 86; Сафо, 1981, с. 9—11.

46. Церетели Г. Ф. «Мнится мне: сравнялся с богами счастьем...» В кн. Ц.: ИГЛ, 1927, с. 42.

47. \*Радциг С. И. «Тот, мне кажется, богу подобен...» — В кн.: Р.: ИГЛ, 1959, с. 149; то же: 5-е изд.: 1982, с. 128—129.

#### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Алексеев, Древнегреческие поэты, 1895 — Алексеев В. А. Древнегреческие поэты в биографиях и образцах. СПб., 1895.

АЛ — Античная лирика. М.: Худ. лит-ра, 1963 (Б-ка всемирной лит-ры).

Алкей и Сафо, 1915 — Иванов Вяч. Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинников Вячеслава Иванова со вступительным очерком его же. М.: изд. Сабашниковых, 1914; 2-й тираж: М., 1915.

ВЕ — Вестник Европы.

Виноградов, Стихотворения Сафы, 1792 — Виноградов Ив. Стихотворения Сафы, Лесбийския стихотворицы, пер. с греч. Изданы с описанием жития сея славныя своими дарованиями, любовию и происшедшим от оныя злоклучениями женщины, и присовокуплением песней, переведенных из Анакреонта, и других стихотворений. СПб., 1792.

Державин, АП, 1986 — Державин Г. Р. Анакреонтические песни. М.: Наука, 1986 (Лит. памятники).

ЕС — Ежемесячные сочинения.

Парнас, 1980 — Парнас. Антология античной лирики. М.: Московский рабочий, 1980.

ПППрВр — Приятное и полезное препровождение времени.

Радциг, ИГЛ, 1959 — Радциг С. И. История греческой литературы. М.: Учпедгиз, 1959, 5-е изд.

Сафо, 1915 — Вересаев В. В. Сафо. Стихотворения и фрагменты. Перевел с греческого размерами подлинника В. Вересаев. М., 1915.

Сафо, 1981 — Сафо. Лирика. Кемерово, 1981.

Сев вест — Северный вестник.

Совр — Современник.

СПб вест — Санкт-Петербургский вестник.

ТОЛРС — Труды общества любителей российской словесности.

Тр пчела — Трудолобная пчела.

УчЗКазУн — Ученые записки Казанского университета.

Церетели, ИГЛ, 1927 — Церетели Г. Ф. История греческой литературы. Тифлис, 1927. Т. Ла. Образцы.

ЭлП, 1963 — Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева. М.: Гослитиздат, 1963.

# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

К. Д. Мурт ова

## ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ М. ГОРЬКОГО

1

Полные своды писем обычно многосторонне раскрывают личность и творческую целеустремленность писателей, их роль в литературно-общественной борьбе, их взаимоотношения с современниками. Это своеобразные летописи жизни и творчества деятелей литературы и вместе с тем ценнейшие источники постижения духовной культуры их времени.

Прочитав два тома только что вышедших писем В. Г. Короленко, М. Горький писал 18 декабря 1925 года его жене: «Письма имеют глубокое историческое и историко-литературное значение» и пожалел при этом, «что издаются они не очень „научно“, мало примечаний, а те, какие есть, часто слишком кратки».<sup>1</sup> Такое же глубокое историко-литературное значение имеет эпистолярное наследие самого М. Горького, раскрывающее жизнь еще более сложную и еще более богатую связями с знаменательными историческими и литературными событиями, чем у Короленко.

Начатое в 1968 году академическое Полное собрание сочинений М. Горького обязывало тотчас же после завершения публикации художественных произведений начать подготовку к печати двух других серий — литературно-критических и публицистических статей и писем. Последний том (25-й) художественных произведений вышел в 1976 году, а вариантов к ним (т. 10) — в 1982 году. Однако подписка на следующие серии не была объявлена.

Академические собрания сочинений (издательство «Наука»), несмотря на сложность подготовки их текстов и комментариев, должны обладать, подобно собраниям сочинений, реализуемым другими издательствами, непрерывностью в появлении очередных томов. Такая непрерывность была присуща полным собраниям сочинений А. Герцена, И. Тургенева, А. Чехова, заканчивающемуся собранию сочинений Ф. Достоевского. Длительный перерыв в издании статей и писем Горького не правомерен, так как трудности, возникающие при их подготовке, носят обычный характер. В настоящее время готовятся к печати

письма Горького, но вопрос о времени объявления подписки все еще не решен.

К началу издания Полного собрания сочинений Архив М. Горького располагал уже основным массивом горьковских писем. Сейчас, по заявлениям архивистов, их собрано более 10 000. Столь же велико и собрание писем к Горькому. Бурный XX век не раз изменял имена корреспондентов писателя, но социальный состав пишущих оставался тем же. Среди адресатов Горького имена известных и только что начинающих литераторов, крупных революционных, общественных и научных деятелей, а также рядовых тружеников города и деревни. Разнородная переписка позволяла Горькому пристально следить за настроениями различных общественных кругов, за жизнью культурных центров и далекой провинции. Горький дорожил своей огромной перепиской. В 1913 году он писал уральцу А. Г. Туркину: «Право, я считаю себя очень счастливым тем, что живые и серьезные люди дарят мне письма, подобные Вашему: эти подарки, всегда ценные, очень позволяют мне чувствовать русскую жизнь вернее, чем могут позволить газеты, хотя я читаю их немало».<sup>2</sup> Горький хранил эти письма и старался не оставлять своих корреспондентов без ответа.

Конечно, в архиве не все еще собрано. Потребовались и еще потребуются сложные розыски писем Горького в Советском Союзе и за рубежом. Но от пропусков не гарантировано ни одно издание. Вслед за выходом Полного собрания сочинений Тургенева предпринято второе издание, в котором раздел писем значительно пополнится новыми текстами, опубликованными зарубежными исследователями.

Нельзя сказать, что сейчас читатель лишен широкого знакомства с письмами Горького. Многие вошли в серийное издание сборников «Архив А. М. Горького»<sup>3</sup> и в последние тома Собрания сочи-

<sup>2</sup> Урал, 1968, № 3, с. 150.

<sup>3</sup> В «Архив А. М. Горького» (далее — АГ) вошли письма: в т. 4 — к К. П. Пятницкому; в т. 5 и 9 — к Е. П. Пешковой; в т. 7 — к писателям начала XX века и И. П. Ладыжникову; в т. 8 — к зарубежным писателям; в т. 10, кн. 1 — 2 — к деятелям советской печати; в т. 11 — к И. А. Груздеву; в т. 13 — к сыну,

<sup>1</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1955, т. 29, с. 450 (далее ссылки на это издание в тексте).

нений писателя (т. 28—30. М., 1954—1955). Значительное число писем включено в два тома «Литературного наследства» (переписка с советскими писателями — т. 70. М., 1963; переписка с Леонидом Андреевым — т. 72. М., 1965). Издавались сборники писем к ученым, художникам, молодежи и т. д. Многие письма появились в периодической печати.

Однако письма к отдельным лицам не всегда включались в указанные издания в их полном составе, а так как это обстоятельство редакторами не оговаривалось, освещение взаимоотношений этих людей с Горьким порою было предвзятым. Так случилось, например, с письмами Горького к товарищу по издательству «Знание» К. П. Пятницкому. Последние публикуемые письма свидетельствовали о разрыве долгого дружеского сотрудничества. Извещенный об исчерпанности своих денежных сумм (паевого взноса и гонораров), Горький требует проверки материального положения «Знания» и своих дел в нем. Проведенная проверка показала, что Пятницкий был точен в своих расчетах: Горький не только истратил причитавшиеся ему деньги, но и остался в долгу у Пятницкого.<sup>4</sup> Примирения не последовало. Но незадолго до смерти, 8 апреля 1936 года, Горький отправил Пятницкому письмо, в котором вновь назвал его своим другом и признал, что их дружбу «усердно» расшатывали третьи лица.

Отсутствие такого письма в специальном томе писем к Пятницкому (отрывок из него был опубликован Б. А. Бяликом в «Литературной газете», 1964, 21 марта; полностью опубликовано: АГ, т. 11, с. 363), так же как и отсутствие комментария о результатах проверки, явно говорило о необъективности публикаторов. Упрек в недобросовестности Пятницкого был снят лишь через десять лет, после выхода 4-го тома. Не вошли в него и некоторые письма Горького из Америки.

Максиму Пешкову; в т. 14 — к А. В. Луначарскому, Н. Е. Буренину, Д. А. Лутохину и др. лицам.

<sup>4</sup> За 1900—1912 годы Горький получил в «Знании» 339 827 руб. 88 коп. Однако эти деньги быстро исчезали. Горький давал большие суммы на революционную работу, на организацию рабочих библиотек, на стипендии учащимся в России и за рубежом, на оказание помощи отдельным лицам. Так, после смерти своего товарища Н. З. Васильева (см. рассказ «О вреде философии») Горький долгое время содержал его семью. Большая сумма была им истратена на Каприйскую школу для рабочих. Паевой взнос в значительной мере поглотили издания по договору с ЦК РСДРП «Дешевой библиотеки» марксистских книг, 15 из которых были конфискованы.

Публикаторы, порою подчиняли отбор писем распространенным в ту пору суждениям о Горьком-критике. Переписка с Е. Чириковым (АГ, т. 7), например, была прервана на письме 1907 года, в котором давалась негативная оценка его последних произведений. О более позднем письме с июно оценкой нового произведения Чирикова было умолчено. Таким образом, Горький выступал в роли непримиримого критика творчества бывших знаньевцев. Предвзятая выборочность была проявлена также в публикации горьковских писем к ряду советских писателей. Следует отметить к тому же, что и примечания к письмам, в большинстве случаев неразвернутые, не помогают читателю в выяснении отношений Горького с современниками и не выявляют поводов появления отдельных горьковских писем.

Полное издание тщательно выверенных текстов, расположенных не в персональном, а хронологическом порядке, поможет более полно воссоздать облик Горького-человека, писателя-новатора, революционера, пламенного народного просветителя.

В настоящее время изучение жизни и творчества Горького, несмотря на обилие статей и книг о нем, не радует. Большинство исследователей как бы утратило вкус к постановке больших проблем в связи с творческой деятельностью писателя. Внимание обращено преимущественно на разработку более частных тем. Стала заметна повторяемость в выборе анализируемых материалов и в их трактовке.

Издание полного свода писем и статей несомненно оживит исследовательскую мысль, показав, как много еще нераскрытого в изучении горьковского наследия и как необходим пересмотр укоренившихся догматических утверждений. Издание писем Горького необходимо и для обогащения нашего представления об эпистолярной культуре новейшего времени.

Высокая культура письма с многообразием его видов, столь характерная для литераторов и общественных деятелей первой половины XIX столетия, подверглась, как известно, в дальнейшем значительным изменениям, все более приближаясь к письму информационному. В конце века утрата письмами их художественной функции, философского и дневникового характера стала уже ощутимой. И все же процесс таких утрат не был стремителен.<sup>5</sup>

Высокая культура письма оказалась не только усвоена, но и своеобразно обо-

<sup>5</sup> О развитии эпистолярной культуры в России см. в статье М. П. Алексева «Письма И. С. Тургенева» в кн.: *Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30-ти т. Письма: В 18-ти т. 2-е изд.* М., 1982, т. 1, с. 9—116.

гачена символистами. Характерно упорство, с каким только что входящий в литературу Брюсов готовил себя к роли руководителя нового литературного направления. В подготовке этой большую роль сыграла его переписка 90-х годов. Он взыскательно работал над письмами, стремясь раскрыть в них свои общественные, философские, эстетические и этические воззрения. Дружеская переписка помогала оттачивать мысли и превращала отдельные письма в творческие заготовки для будущих выступлений в печати. Брюсов не только тщательно избирал тему письма, но и столь же тщательно работал над своим эпистолярным стилем. В период интенсивной переписки у него даже возник замысел книги «Мои письма», в состав которой должна была войти наиболее значимая часть писем к друзьям.<sup>6</sup> Они и писались с ориентацией на эту книгу.

Как к особому литературному жанру относился к письму Иван Коневский (Ореус). Его письмо к Вл. В. Гиппиусу от 2 июля 1898 года воспринимается как эпистолярный очерк о заграничном путешествии. Отдельные части этого письма были затем включены Коневским в свою прозу.<sup>7</sup> Такое же отношение к письму встретим и у других символистов. В 1900-е годы в их среде культивируется особый тип дружеской переписки, свидетельствующей о сложных личных и литературных взаимоотношениях. Порою она принимала характер литературной игры, не лишенной полемической окраски.<sup>8</sup>

Мастера эпистолярного жанра в реалистическом лагере использовали письмо прежде всего как письмо-информацию о современной литературе, общественной, политической и личной жизни или как письмо-размышление, в котором информация лишь повод для обсуждения и постановки сложных современных проблем.

В то же время в начале XX века частное письмо к определенному лицу нередко принимало характер публицистической статьи или же полемического выпада, становящихся достоянием печати.<sup>9</sup> Вместе с тем в реалистическом ла-

гере стало наблюдаться равнодушие к эпистолярному жанру. Небогато эпистолярное наследие Ивана Бунина. В письмах ряда реалистов начинает преобладать бытовая тематика, большее место уделяется материальной необеспеченности.

В целом же эпистолярная крупнейшая литература конца XIX—начала XX века широко отразила литературно-общественную и этическую атмосферу своего времени. Изучение истории литературы предоктябрьской поры невозможно без обращения к этому материалу, как невозможно без него и воссоздание облика самой эпохи.

## 2

Остановимся на некоторых примечательных чертах горьковской эпистолярной.

Во вступительной статье к письмам Ф. М. Достоевского Г. М. Фридендер пишет, что для современного читателя письма эти являются «наиболее полным выражением его личности и самым полным рассказом о его жизни».<sup>10</sup>

Письма Горького не являются таким рассказом. Многие периоды его жизни отражены в них весьма скупо, о многом умолчено. Писатель не мог говорить открыто о своих связях с революционным движением: письма подвергались цензуре. Существуют пробелы и в освещении его литературно-организаторской деятельности. Многого решалось путем личных встреч, редакционных заседаний, различного рода мероприятий. К тому же не следует забывать, что в начале нового века изменились темпы самой жизни, и это неизбежно сказывалось на характере эпистолярного наследия эпохи. Горький был вовлечен в вихрь быстро менявшейся общественной и политической жизни, для писем часто не оставалось времени. Так, о деятельности издательства «Знание», живой душой которого был Горький, мы узнаем не столько из писем писателя, сколько из различных документов и писем других лиц. А ведь работа в «Знании» по существу определила и дальнейшие издательские начинания Горького. Письма не поведали о задачах «Дешевой библиотеки» художественных произведений, возникшей в «Знании» в противовес дешевым книжкам «Посредника», а ведь это была одна из форм борьбы за духоподъемную литературу, столь характерной для Горького. Вариации мысли о «Дешевой библиотеке» и ее читателях мы встретим и в более поздних издательских начинаниях писателя.

Переписке крупных авторов всегда присущ особый общественно-личный колорит. Но если, как пишет Г. М. Фридендер, письма Достоевского представляли «исповедь, подробный, писавшийся

<sup>6</sup> В настоящее время к печати подготовлен том «Литературного наследия» «Брюсов и его корреспонденты».

<sup>7</sup> См. вступительную заметку И. Г. Ямпольского к письмам И. Коневского в «Ежегоднике рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год» (Л., 1979, с. 79—87).

<sup>8</sup> См. переписку В. Брюсова и А. Белого со вступительной заметкой А. В. Лаврова и С. С. Гречишкина в «Литературном наследстве» (1970, т. 85, с. 327—427).

<sup>9</sup> Таково, например, письмо М. Горького к В. И. Брееву, известное в печати как «Письмо монархисту».

<sup>10</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1985, т. 28, кн. 1, с. 5.

непосредственно им самим, день за днем рассказ о себе».<sup>11</sup> то письма Горького, за исключением первых томов, куда войдут письма к героине рассказа «О первой любви» О. Ю. Каминской и письма к невесте, а затем жене Е. П. Пешковой, по существу лишены исповедальности. Это обусловлено принципиальным нежеланием писателя раскрывать перед другими свой личный мир, свои личные переживания. Об этом он не раз скажет — и порою весьма резко — близким ему адресатам. Нередки и его сотования на тягу русских интеллигентов к душевным излияниям и жалобам на судьбу. Примечателен следующий эпизод: Горький вернулся с Лондонского съезда РСДРП в приподнятом настроении. Съезд был для него «праздником», утвердившим веру в неиссякаемость революционного духа пролетариата. Встреча на Капри с Леонидом Андреевым оказалась встречей людей, живущих в различных психологических сферах и обладающих различными временными представлениями. Андреева, тяжело переживавшего смерть любимой жены, тянет к исповедальности, к рассказу о том, как много значило для него общение с ушедшей Шурой. Горький же не приемлет эту исповедальность ни для себя, ни для друга. Возникшая отчужденность усилила душевную подавленность Андреева. Через несколько лет он напишет Горькому: «... ты никогда не позволял и не позволяешь быть с тобою откровенным... Почти полгода прожил я на Капри бок о бок с тобою, переживал невыносимые и опасные штурмы и драги, искал участия и совета именно в личной, переломившейся жизни — и говорил с тобою только о литературе и общественности».<sup>12</sup> В письмах 1890—начала 1900-х годов у Горького еще можно встретить отзвук некоторой исповедальности (письма к А. П. Чехову), с течением времени он все более зампрает. Характерно, что когда после похорон сына (1934) с Горьким заговорили об умершем, он ответил: «Это не тема для разговора».

И все же у Горького, избегавшего в письмах «личное», были, как и у других литераторов, свои особые, назовем их опорными, переписки, которые наиболее впечатляюще раскрывали духовный мир, мировоззрение, общественную и литературную позицию писателей, а следовательно, их большой личный мир. У Чехова такой долго длившейся перепиской оказалась переписка с А. С. Сувориным, у Горького переписка с Леонидом Андреевым, В. И. Лениным и Роменом Ролланом.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Лич. наследство, 1965, т. 72, с. 324 (далее — ЛН).

<sup>13</sup> Первая издана с тщательными комментариями В. Н. Чувакова (ЛН,

Переписка Горького и Андреева уникальна по своему тону, душевной открытости, по своей проблемной насыщенности. Уникальна она и по своей стилистике. Это письма литераторов несхожего таланта, несхожего мировидения. Они непрерывно спорят о своем творчестве, о современной литературе, о позиции художника в общественной борьбе, о своем отношении к Человеку и Разуму. Один славит Разум, позволяющий человечеству двигаться вперед; другой, признавая эту силу, предостерегает: мысль двойственна, она может служить злу, все большему угнетению и даже уничтожению человечества. Андреев для Горького необычный талант, обогащающий русскую литературу своеобразием тем и художественных форм. Он скажет, что сейчас Андреев самый интересный литератор Европы. Горький же для Андреева — Рыцарь духа, который, слив воедино литературу и революционную борьбу, отразил в своем творчестве пафос времени. Многим современникам горьковская поэма «Человек» показалась риторичной, Андреев увидел в ней выражение пафоса личности Горького. Его пленяет это, он был чуть ли не единственным писателем, приветствующим появление романа «Мать».

Вместе с тем переписка писателей носит ярко выраженный трагедийный характер. В мемуарном очерке «Леонид Андреев» Горький назовет его единственным другом среди литераторов; то же он повторит, по свидетельству К. Федина, в последние годы своей жизни. И тем не менее эта личная и творческая дружба, питавшая обоих писателей, была разорвана. Здесь сказались верность Горького борьбе за духоводъемную демократическую литературу. В годы реакции он счел Андреева изменившим боевому знамени, под которым они еще недавно сражались. Отрицательные отзывы о рассказе «Гьма», а затем о романе «Сашка Жегулев», который сам Андреев считал значительным литературным явлением, закрепили начавшееся расхождение, хотя оба продолжали ценить друг друга.

Больше у Горького не было такого «совопросника души», т. е. человека, с которым ему хотелось бы поделиться особо дорогими раздумьями или замыслами. Будучи разными, они умели чувствовать и понимать друг друга. Никто из литераторов уже не обладал для Горького столь притягательной силой,

т. 72). Переписка с В. И. Лениным включена в сб.: В. И. Ленин и А. М. Горький. 3-е изд., доп. М., 1969. Переписка с Роменом Ролланом опубликована частично. Предполагаемое одновременное издание этой переписки, подготовляемой в Париже и Москве, к сожалению, не осуществилось, несмотря на ее большую ценность.

ни с кем в письмах он не говорил о литературе так пламенно, ни с кем более у него как литератора не возникало столь значимой длительной переписки.

В полном собрании письма к Андрееву разбредутся по разным томам, попадут в окружение других посланий. Это неизбежно изменит характер их восприятия читателями. Однако место этой переписки в эпистолярном наследии Горького столь значимо, что будущим комментаторам следует раскрыть ее особый эмоциональный настрой. Особо тщательного комментирования потребует и названная выше переписка с В. И. Лениным и Роменом Ролланом.

Максимализм требований, нередко предъявляемых Горьким к современной литературе, определялся высоким представлением о миссии писателя, о его роли в жизни. В восприятии Горького это «глашатай правды» и «вещий колокол», создатель «священного писания» о людях. Это «герольд своего народа, его боевая труба и первый меч».<sup>14</sup>

С течением времени определения значимости писателя будут принимать иные словесные выражения, но суть самого определения сохранится. Подвергая в отдельные периоды своей жизни суровой переоценке собственное творчество, Горький неизменно будет приходить к выводу, что он национально-нужная фигура, что он ближе других современных авторов к правде, необходимой народу.

Имел ли право значительный социалистического реализма говорить так? Да, имел. Таким его видели многочисленные читатели, социал-демократическая печать, таким его признавали литераторы различной литературно-общественной ориентации. Широко известна статья А. Блока «О реалистах» (1907), в которой говорилось, что если существует «реальное понятие „Россия“, или, лучше — *Русь*», то выразителем его «приходится считать в громадной степени — Горького».<sup>15</sup> Еще более отчетливо сказал об этом Н. Минский, возражая Д. Философову, уверенному в недолговечности влияния Горького: «... революция, принося с собой переоценку всех ценностей, между прочим бросила новый свет и на Горького... Горький столько же писатель, сколько носитель чувства целого народа, пророк своей эпохи».<sup>16</sup>

«Священное писание» о человеке с его сурово правдою требовало неустанной борьбы за него. Горький был борцом по натуре, и это находило многократное выражение в его письмах.

Литературный и моральный авторитет Горького как писателя и обществен-

ного деятеля был огромен. Многие писатели хотели узнать, как относится к их творчеству Горький, хотя и побаивались его требовательности. Ответные письма содержат множество оценок. Были ли они всегда бесспорны?

В 30—50-е годы это считалось неоспоримым. Такой уверенности способствовала малая изученность литературного процесса дооктябрьской поры (исследовательская работа только начиналась) и то, что часть крупных литераторов, не приняв Октября, оказалась за рубежом. Оценки их творчества неизбежно носили отпечаток продолжавшейся литературно-общественной борьбы. Ведь еще в 1925 году писатели-эмигранты претендовали на выступление от лица современной русской литературы на предполагавшемся международном конгрессе литераторов в Париже.

Теперь, когда литература рубежа веков широко изучается и опубликовано немало архивных материалов, в том числе писем, помогающих этому изучению, полезно вернуться к анализу позиции Горького — критика и публициста — в свете развития литературного процесса в целом. Такой анализ требует, как и ранее, обращения к горьковским письмам, но с учетом того, что полемика есть полемика, и в пылу обостренной борьбы Горький прибегал к заострению своих негативных суждений. Впоследствии, когда острота боев ушла в прошлое, он взглянул на ряд отвергнутых им произведений как историк литературы. Так, им была пересмотрена оценка романа «Сашка Жегулев». В горьковском предисловии к изданию романа в Америке (1925) говорилось, что Андреев правдиво отразил романтическое стремление молодежи к героизму, которое в период разгула реакции после революции 1905 года нередко вырождалось «в авантюризм и бандитизм». Ранее Горький рассматривал роман в свете его соответствия реальной действительности. Подобные споры писатели вели уже не раз. Теперь Горький признает право Андреева на романтическое обобщение примечательного явления русской жизни, привлечшего внимание В. И. Ленина.<sup>17</sup>

Весьма примечательной в плане раскрытия горьковской полемичности явится публикация как известных, так и неизвестных писем, посвященных фольклору (в том числе писем к М. С. Грушевскому). О Горьком-фольклористе существует множество работ, авторы которых воссоздают стройную систему высказываний писателя о народном творчестве. На самом деле и эти суждения были сопряжены с борьбой за активизацию воли народа. Примером может служить разительная несхожесть отно-

<sup>14</sup> Подборку таких высказываний Горького см. в кн.: Русские писатели о литературном труде. Л., 1956, т. 4.

<sup>15</sup> Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1962, т. 5, с. 103.

<sup>16</sup> ИРЛИ, ф. 39, № 17.

<sup>17</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 14, с. 4—5.

шения Горького к образу Иванушки-дурачка до Октября и позднее.<sup>18</sup>

Сейчас историко-литературный подход к изучению литературной борьбы Горького начинает все более заявлять о себе. Так, примитивные разработки темы «Горький и декаденты» успешно заменила книга Н. Е. Крутиковой «В начале века. Горький и символисты» (Киев, 1978). Но многое предстоит еще пересмотреть.

Пора показать Горького как одного из деятельных участников литературного процесса, который, темпераментно борясь за свое понимание задач современной литературы и ее связей с новым читателем (к этому Горький постоянно возвращался в своих письмах), тем не менее не был ригористом. Образ поучающего и указующего Горького, долгое время существовавший в нашем литературоведении, не соответствует характеру его личности. Убежденность в общественно-литературной значимости своего таланта не мешала Горькому видеть значимое в творчестве других авторов, порою даже ему чуждых.

В работах, посвященных сопоставительному анализу «Городка Окурова» и произведений других писателей о подобных городках, повесть Горького нередко служила эталоном, а повести других оценивались в зависимости от их близости к образцу. Сам же Горький в подобных случаях ценил писателей за несовпадение, так как оно свидетельствовало о многозначности жизненных явлений. Порою он даже подчеркивал это. Так, в «Сборниках товарищества „Знание“» одновременно были опубликованы «Враги» и «Король» С. Юшкевича (сб. 14), «Лето» и «Зыбь» Ф. Крюкова (сб. 27).

### 3

Среди огромного числа животрепещущих тем, затронутых в эпистолярии Горького, были и темы сквозные, обретающие, однако, каждый раз свой колорит. Остановлюсь на одной из них.

Влечение писателя к изображению в своих повестях и романах жизни нескольких поколений связано со свойственным его художественному мышлению историзмом.

Вспоминая о раннем чтении произведений классиков, Горький обычно говорил, что быстро уловил различие между тем, как живут и думают представители одной и той же социальной среды в старой и современной литературе. Это повлекло за собой многолетнее раздумье о том, чем обусловлены не только помеченные различия, но и сходства.

Стремясь как можно глубже проникнуть в противоречивость народной психики, Горький увлеченно читал труды историков и исследования фольклористов. Ему важно понять историческое формирование этой психики и вместе с тем ее историческую изменчивость. В феврале 1910 года он пишет начинающему литературный путь А. П. Чапыгину: «Надо знать историю тех людей, о которых рассказывает: Ключевский интересно освещает историю народа, но — Соловьев еще интереснее рассказал ее, и вы его почитайте. Почитайте также фольклористов: в первую голову Афанасьева, и не верьте, если вам скажут, что он устарел» (ЛН, т. 70, с. 632). В декабре того же года Горький советует П. Х. Максимову настойчиво учиться и прочитать как Историю Ключевского, так и «Очерки по истории русской культуры» П. Н. Милокова. Они скажут «кто Вы исторически, чем Вы были в прошлом, в Ваших предках, может быть, укажут и на то, чем Вы должны быть теперь» (т. 29, с. 147). О необходимости овладения исторической памятью Горький будет говорить постоянно.

Считая литературу человековедением, Горький приходил к выводу, что художник более историк, чем историк-профессионалы («Подлинную историю человека пишет не историк, а художник» — ЛН, т. 70, 482): те приверженцы фактов, писатель же видит то, что стоит за ними, выражаясь в психике и поступках людей. К таким художникам Горький причислял и себя. Во время работы над «Жизнью Матвея Кожемякина» в его сознании возникла длинная вереница воскрешенных памятью людей разных сословий и профессий, и каждый просил «записать себя» (не напрасно же они жили), а, кроме Горького, сделать это некому.<sup>19</sup> Такое авторское признание не являлось преувеличением, ведь нельзя отрицать, что среди писателей, вступивших в литературу в канун нового века, только Горький обладал масштабностью знания русской жизни. Его отзыв о Лескове как литераторе, который «пронзил всю Русь», с полным правом приложим к его собственному творчеству.

«Жизнь Матвея Кожемякина» Горький считал национально-нужной книгой, отразившей увечья и здоровые начала русской психики. Суровая картина провинциальной жизни, в которую все настойчивее проникали новые веяния, должна была, по мысли автора, заставить читателя задуматься над тем, от чего ему следует избавляться, что необходимо скорее преодолеть. В одном из горьковских писем 1912 года сказано: «Мир держится деяниями и — чем далее, тем более становится активен, человек

<sup>18</sup> См. мою статью «М. Горький и фольклор. (Оценка образа Иванушки-дурачка)» в кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Л., 1969, с. 191—200.

<sup>19</sup> Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные произв.: В 25-ти т. М., 1971, т. 40, с. 721.

же, утверждающий пассивное отношение к миру, — кто бы он ни был, — мне враждебен, ибо я всю жизнь утверждал необходимость отношения активного к жизни, к людям. Здесь я фанатик» (ЛН, т. 72, с. 327).

Среди писем, раскрывающих историческую позицию Горького, особенно интересны письма, затрагивающие вопрос о русском национальном характере и его историческом формировании,<sup>20</sup> в том числе письма, знакомящие с малоизвестным горьковским замыслом.

В связи с приближающимся 300-летием царствования Романовых, Горький решает организовать издание истории русского народа, которая будет противостоять тому, что станут писать в ознаменование юбилейной даты. Следовало показать не историю отдельных царствований, а жизнедеятельность народа как основного субъекта исторического процесса. Горьковский замысел вызвал сочувствие И. Д. Сытина, соглашавшегося издать необычную книгу о народе. Для реализации ее необходимо было немедленно создать авторский коллектив. Но кто мог войти в него? Воплощение горьковской идеи требовало свежей мысли, преодоления традиционных схем. Нужны были единомышленники, понявшие социальную направленность задуманного труда. Таких единомышленников среди известных историков Горький не видел. Работу над книгой соглашалась взять на себя группа эмигрантов, обосновавшихся в Париже. Однако создать новую историю народа без предварительной подготовки было невозможно. Заменить ее должна была серия книг из истории русской народной жизни. Но вскоре выяснилось, что Горький и будущие авторы различно понимают научно-общественные задачи издания: преодоление старого изображения исторического процесса оказалось сложным делом. Программа, которую представил группы А. М. Устинову прислал на Капри, показала: горьковский замысел был либо не понят, либо чужд ей. Исторический субъект в лице народа и здесь оказался подчинен привычной исторической фактографии. 12 (25) июня 1911 года Горький писал Устинову: сначала надо говорить не о том, что сделано и как сделано, а о том, кто делал и с какими намерениями он вступал на поле истории, чего хотел, чего достиг, почему не удалось так, как хотелось. То, что предполагалось написать, не соответствовало тому, чего, по мысли Горького, требовало время и о чем еще никто не писал. Программа не раскрывала историческую судьбу народа. В письме к тому же Устинову от 28 июля (10 августа) писатель вновь разъясняет свою позицию:

издание следует открыть очерком, освещающим историю народного мироощущения и мировоззрения и воссоздающим тем самым душу народа и ее видоизменения на протяжении нашего исторического бытия. Надо начинать с познания самого народа, среды, в которой он жил, которая его создавала и прививала свои достоинства и свои недостатки. К недостаткам, привитым волевому народу в ходе его суровой истории, Горький причислял прежде всего ненавистный ему пассивизм, корни которого следовало в данном случае выявить. Именно в этом писатель видел важнейшую задачу издания, которая ведет «не к самоосуждению, а к пониманию народа и самих себя в нем, в нем — подчеркиваю».

Замысел истории русского народа не был реализован, но интерес к противоречивому формированию русских характеров у Горького не исчез. В 1912 году он выступил с циклом «По Руси», показавшим пассивизм русской жизни и сопротивление ему. Характерен в этом плане рассказ «Ледоход», о котором М. Пришвин сказал: «Там уж весь Горький высказался» (ЛН, т. 70, с. 324). В образе старосты плотничьей артели Осипе Горький воплотил причудливое сочетание умения работать с нежеланием «утруждать себя», пассивного отношения к жизни с «крылатостью» души и скрытыми чертами воеводства. Писатель раскрывает подоплеку трудовой неторопливости плотников: работник в них «подох, а хозяин — не родился». В трактовке этого рассказа порою проskalъзывала мысль, что Горький имел в виду собственническую натуру своего персонажа. Однако это не соответствует общему духу «Ледохода». К вопросу же о том, как трудно было многочисленным Осипам почувствовать себя хозяевами страны, Горький в дальнейшем не раз возвращался в своих письмах и публицистических статьях.

Со становлением исторических взглядов Горького связана статья «Две души», которую необходимо рассматривать в общем контексте горьковских суждений об активном и пассивном началах в русской жизни, восходящих в своих истоках к спорам западников и славянофилов. Горький в данном случае принадлежал к западникам.

Полагаю, что письма, собранные воедино, привлекут внимание исследователей к более глубокому изучению горьковского историзма. Характерно постоянное тяготение писателя к широким историческим обобщениям того, чему он был свидетелем. Примером тому служат письма о смерти Льва Толстого. Смерть эта вызвала у Горького чувство огромной личной и общенациональной утраты и в то же время острое осознание того, что вместе с Толстым как выразителем «духа нации» уходит в прошлое сама патриархальная Русь. Революция 1905

<sup>20</sup> Освещение литературной дискуссии на эту тему см.: Русская литература, 1968, № 3, с. 52—65.

года обозначила новый этап в формировании психики русского человека, и Горький пристально следил за этим явлением.

Характерно, что, вернувшись в конце 20-х годов в Советский Союз, Горький быстро ощутил упадок общественного внимания к прошлому народа и, будучи возмущен этим, вскоре выступил с инициативами издания серии книг, посвященных различным сторонам исторической жизни России (история городов, история фабрик и заводов, история деревни и др.).

## 4

Отдельные периоды жизни Горького до сих пор остаются малоосвещенными. Одной из причин тому является недостаточная публикация писем и различного рода документов. К малоизученным все еще относится каприйский период, хотя к нему давно уже привлечено внимание исследователей.

Неудовлетворенность литературой, испытывавшей в годы реакции воздействие антиобщественных идей, и пребывание вдаль от родины ослабили связи Горького с литературным миром. Новые же налаживались с трудом. Это особенно выразительно показали письма, посвященные истории редактирования журнала «Современник» (1912—1913). Горькому трудно было обеспечить литературный отдел нового ежемесячника яркими произведениями. У него нет близких соратников. В письме к К. П. Пятницкому он с горечью скажет, что «дьявольски» одинок как литератор. Об ощущении чувства одиночества он напишет Е. П. Пешковой.

Обширная переписка с А. В. Амфитеатровым, также жившим в Италии, вызвана именно этим обстоятельством. Амфитеатров был одним из немногих, с кем можно было быстро обменяться суждениями о русской литературе, журналистике, текущей общественной жизни. Амфитеатров, с успехом выступавший в то время в роли критика, несомненно был незаурядным заочным собеседником. Однако после возвращения в Россию Горький утерять интерес к нему; возникали новые литературные дела, появились новые собеседники.

Опубликованных писем к Амфитеатрову немного, доступ к другим был затруднен, и это невольно сузило представление об отношении Горького ко многим литературным и общественным явлениям. В настоящее время в печати находится том «Литературного наследства», посвященный литературно-организаторской деятельности Горького в области журналистики начала 1910-х годов. Туда войдут и письма к Амфитеатрову, во многом обогащающие наше представление о литературно-общественной позиции Горького-каприйца.

Мало известны в печати письма периода первой мировой войны, а между

тем эта пора была для Горького не менее сложна, чем последующие. Возвращение с Капри в Россию выявило несоответствие литературной обстановки социальному оптимизму писателя. Одиночество продолжается, Горькому кажется, что в среде литераторов исчез «дух активности». И не умея «жить для себя», он вновь пробует активизировать русскую жизнь. Денег для «своего издательства» и «своего журнала» достать сразу не удалось, и Горький начинает вновь заводить «хороводы» с чужими с целью сплотить неорганизованные демократические силы. На просьбу С. В. Малышева (1915) написать об общественной обстановке в столице Горький отвечает развернутым письмом, проясняющим одновременно его собственную позицию. «Атмосфера вообще — душная. Никогда я не чувствовал себя таким нужным русской жизни и давно не ощущал в себе такой бодрости, но, милый товарищ, сознаюсь, порою руки опускаются и в глазах темнеет. Очень трудно. Особенно обидно за свою интеллигенцию, так все вялы, так ленивы, неаккуратны, недеятельны — отчаяние! Но все же кое-что удается. Удается, главным образом, потому, что очень хороших людей воспитал петерский пролетариат» (т. 29, с. 337).

Недостаточная изученность отдельных периодов жизни Горького связана и с тем, что под воздействием времени изменялся сам характер горьковской переписки. Особенно сказалось это изменение в первые годы Социалистической революции.

В конце октября—начале ноября 1917 года Горький был тяжело болен: проявилась новая вспышка туберкулеза с обильным кровохарканьем, к ней присоединилось обострение ревматизма. Горький был прикован к постели и тем самым оказался изолированным от непосредственного восприятия дней, «которые потрясли мир». Это же лишило его личного контакта с теми, кто совершил Октябрьский переворот. Ни публицистика, ни письма Горького величие Октября не отразили. Некоторые из этих писем удивят читателя своим обывательским тоном. Источники информации о том, что происходит в Петрограде, были у него ограничены и не всегда достоверны.

Однако Горький оставался все тем же неустойчивым искателем социальной правды и, несмотря на тягостные настроения, вызываемые углубившимся трагизмом жизни, экономической разрухой, голодом, сразу же включился в огромную культурную работу Советской России, проявив во всю силу свой талант просветителя. Он постоянно будет напоминать, что перерыв в развитии культуры грозит стране гибелью, что народ должен сохранить память о своем прошлом.

Вот неполный перечень дел писателя в 1918—1921 годах. Он не только призы-

вадет к спасению культурных ценностей, но и организует деятельную охрану памятников культуры и искусства, содействуя также пополнению музеев новыми экспонатами.

По инициативе Горького создается Большой драматический театр и возникает программа серии кинокартин, которые должны показать развитие человечества от древних времен до современности.

Горький становится во главе издательства «Всемирная литература», привлекая к работе в нем большое число писателей, переводчиков и литературоведов. В годы разрухи план этого издательства носил романтически-утопический характер, но Горький все же начал осуществлять его с целью показать грандиозность культурных задач, которые ставит перед собой революционный народ. О целях «Всемирной литературы» Горький скажет в предисловии к издательскому каталогу.

Горького волнуют судьбы современной литературы. Он борется с догмами пролеткультовцев и уделяет много внимания общению с молодежью, вступающей в литературу. Всячески помогает он и писателям старшего поколения.

Озабочен Горький также сохранением научного потенциала страны, ее научных кадров. Много сил отняла у него Петроградская комиссия по улучшению быта ученых (КУБУ). В то же время Горький не забывает и о научно-просветительской пропаганде. При его непосредственном участии работает Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук. Принял он активное участие также в деятельности общества «Культура и свобода». Горького воспринимали как активнейшего посредника в деле сближения интеллигенции с советской властью.

Писатель был перегружен работой; удивляет, как он мог справиться с нею. Номинальность (только числюсь), столь распространенная в наше время, в те годы отсутствовала. О всей этой кипучей деятельности, о неимоверной затрате жизненной энергии мы узнаем из документов и воспоминаний современников. Письма самого Горького бедны сведениями о себе и носят преимущественно деловой характер. По существу только несколько писем к Е. П. Пешковой (они не вошли в опубликованный том писем Горького к ней) и к Ленину, о которых мы узнаем из ответных писем Владимира Ильича, раскрывают тревожные и пессимистические настроения Горького. В других письмах он только бегло упоминает о них. «Живу я, как всегда, в тревогах и волнениях» — сказано в письме к Г. Уэллсу (т. 29, с. 395). Об «усталости души» будет упомянуто в январском письме 1921 года к Ромену Роллану. Суждения о роли крестьянства и интеллигенции в революции найдут отражение в публицисти-

ке и более поздних письмах, в которых Горький сам раскроет суть своих ошибочных представлений.

## 5

Отъезд за границу в октябре 1921 года был связан не только с необходимостью лечения. Горький ехал с заданием организовать помощь голодающей России. Она нуждалась в хлебе и медикаментах, в снабжении ученых новой научной литературой. Авторитет Горького был, как и ранее, очень высок. То, что именно он выступал как представитель революционной России, было немаловажно. И Горький с честью выполнил поручение, обратившись с воззванием к общественности ряда европейских стран («...я делаю все, что могу»,<sup>21</sup> — скажет он). С просьбой помочь организации такой помощи Горький обращался и к отдельным лицам.

Но была и еще одна немаловажная причина: Горький надеялся вернуться к литературной работе. Ведь он всегда утверждал, что литератор прежде всего должен писать. В письме к А. П. Чехову (1899) сказано: «Как это хорошо, что Вы умеете считать литературу первым и главным делом жизни» (т. 28, с. 73).

Однако и за рубежом время для литературного труда оказалось ограниченным. Горькому явно не хватало активности и интеллектуальной напряженности русской жизни. Не одному Горькому, но и другим приезжавшим тогда из России духовная жизнь современной Европы в сопоставлении с широкими начинаниями, выдвинутыми революционным временем, казалась тусклою. И Горький не торопился оборвать свои связи с начатыми на родине делами. Его письма все еще переполнены деловыми хлопотами и заботами. Он не может отказать от ставшей привычной редакционно-организаторской деятельности. Возникает журнал «Беседа» (Берлин, 1923—1925), в котором предполагалось сотрудничество советских и зарубежных писателей и ученых.

Писатель уехал, не преодолев своих политических заблуждений. До Октября и после В. И. Ленин не раз говорил, что Горький плохой политик. Об этом свидетельствует и его книжка «О русском крестьянстве», вышедшая в 1922 году в Берлине. В письмах начала 20-х годов можно встретить немало упоминаний о современной деревне. Они неоднозначны, и судить об отношении к этой деревне Горького следует не по отдельным выхваченным высказываниям, а по их совокупности. Письма показывают, что негативные явления все более вытесняются стремлением отметить проявление новых начал в крестьянской среде. Пи-

<sup>21</sup> В. И. Ленин и А. М. Горький, с. 220.

сатель все чаще возражает корреспондентам, которые не замечают этого. Да и публикация самой книжки о крестьянстве сопровождалась сомнениями. «Я написал статью о крестьянстве и хотел бы посоветоваться с Вами — стоит ли печатать ее? — пишет Горький И. П. Ладыжникову 8 января 1922 года. — Напечатать мне что-нибудь необходимо, покоя нет от писем и телеграмм с просьбами о статьях. Но — нужно сделать это с тактом» (АГ, т. 7, с. 240). В ряде писем промелькнет сожаление: так ли уж прав он, Горький, в своих суждениях.

Утверждения буржуазной и эмигрантской прессы о том, что Горький находится в оппозиции к советскому правительству, вызывали решительный протест писателя. Он высоко ценил социальный опыт победившего народа и неоднократно заявлял об этом в своих публицистических статьях, в том числе в «Обращении к народу и трудовой интеллигенции» (1918), быстро ставшем известным за рубежом. На измышлении зарубежной прессы Горький ответил письмом в редакцию газеты «Накануне» (Берлин, 1922, 21 сентября): «Советская власть является для меня единственной силой, способной преодолеть инерцию массы русского народа и возбудить энергию этой массы к творчеству новых, более справедливых и разумных форм жизни. Уверен, что тяжкий опыт России имеет небывало огромное и поучительное значение для пролетариата всего мира, ускоряя развитие его политического самосознания».

Писем 20-х годов (до приезда писателя в СССР) опубликовано мало, а они очень важны не только для выявления литературной и общественной позиции Горького, но и для понимания сложного процесса пересмотра им своих воззрений. Суровой переоценке подверглось отношение к интеллигенции. Наблюдения за деятельностью бывших политических и общественных деятелей за рубежом и эмигрантская пресса приводили к горестным выводам. Горький делится этими наблюдениями в письмах, но о своих тяжелых раздумьях предпочитает умалчивать. О горьковских настроениях, о том, что его волнует, мы узнаем теперь из его переписки с Роменом Ролланом. В 20-е годы он становится самым близким ему адресатом.

Они не были знакомы лично, и переписка их ранее не была оживленной. Теперь Горький чувствует, что Роллан-гуманист глубже других может понять его тревоги, сомнения, надежды. Переписка с Ролланом столь же уникальна, как и переписка с Леонидом Андреевым. В письмах говорится о судьбах России, русском человеке, о величии и значении Льва Толстого, о собственном творчестве, о Франции и ее духе, о русской и французской литературе. Это письма высокого интеллектуального звучания. Раздумья о свершившейся

революции порою будут отражены Горьким в письмах, не имеющих на первый взгляд прямого отношения к русской теме. Остановимся на одном примере.

Заметки, открывающие отдельное издание «Несовременных мыслей» (Пг., 1918),<sup>22</sup> выявляли критерии, с которыми Горький подходил к оценке текущих событий. Один из них был связан с утверждением, что романтизм «не иссяк, и романтики живы, если именем романтика мы можем почтить — или обидеть — человека, страстно влюбленного в свою идею, в свою мечту» (с. 6). По мысли Горького, «романтизм духа» несут в себе «вечные революционеры», творцы новой истории. Они истинные наследники культуры и ее новые строители. Но наряду с ними существует и другой тип революционера. То «революционер сего дня», догматический фанатик, не умеющий мыслить творчески, и люди для такого революционера лишь строительный материал. В своей практической культурной работе Горький сталкивался как с творцами идей, так и с догматиками.

Горький был потрясен смертью В. И. Ленина, которого он воспринимал как творца новой истории, новых идей. 3 марта 1924 года он писал Роллану: «Я — знаю, что он любил людей, а не идеи, вы знаете, как ломал и гнул он идеи, когда этого требовали интересы народа».<sup>23</sup> Писатель всегда с глубоким уважением и любовью говорил о ленинцах. И все же после смерти Ленина перед ним встает тревожный вопрос, какой тип революционера теперь проявит себя более в Советской России? Горького страшит догматический фанатизм. Об этом он напишет Роллану в прямой форме, а затем волнующая его проблема фанатизма и догматизма зазвучит в статье «Об Анатоле Франсе» (1924). Горький говорит в ней о национальном духе Франции, который кажется ему лишенным фанатизма и догматизма. Роллан вступил с Горьким в спор по поводу его оценки Франса и французского духа,<sup>24</sup> в которой нашел отзвук более широких раздумий русского писателя. С Ролланом Горький поделится и другими тревожащими его вопросами, не отразившимися в переписке с другими лицами.

<sup>22</sup> О Горьком-публицисте 1917—1918 годов и его ошибочной позиции этих лет см. в кн.: *Овчаренко А. И.* Публицистика М. Горького. 2-е изд., доп. М., 1965.

<sup>23</sup> В. И. Ленин и А. М. Горький, с. 336.

<sup>24</sup> См. статью Ж. Перюса «М. Горький и Р. Роллан об Анатоле Франсе» (Русская литература, 1958, № 3, с. 173—181). Ему же принадлежит работа «Romain Rolland et Maxime Gorki» (Paris, 1968. 367 p.).

20-е годы (первая половина их) были годами сложного пересмотра Горьким своей послеоктябрьской позиции. Переписка с Ролланом многое проясняет в этом плане. Без знакомства с нею невозможно изучение духовного развития Горького. Роллан стал как бы поверенным тревожных дум русского писателя (в 30-е годы переписка меняет свой характер), и так как думы эти не совпадали с упрощенным восприятием личности Горького, переписка эта до сих пор остается неопубликованной. В связи с такой публикационной ущербностью 20-е годы продолжают оставаться нераскрытыми страницами в жизни Горького.

Знакомя Роллана с русскими проблемами, Горький скажет в одном из писем 1925 года, что, оглядываясь на свой путь, он видит человека, который неистовствует и заблуждается. Но неистовствует он, никогда не оставляя веру в социализм, в социалистическое переустройство общества. Это хорошо чувствовал В. И. Ленин. В упомянутом уже письме от 3 марта Горький писал о своем друге: «Я его любил и — люблю. Любил с гневом. Говорил с ним резко, не падая его. С ним можно было говорить так, как ни с кем иным, — он понимал то, что лежит за нашими словами, каковы бы они ни были».

Сказанное о Горьком относится также к публицистическому и эпистолярному наследию других литераторов начала века. Так, явно назрела потребность в публикации полного свода публицистических статей, дневников и писем В. Г. Короленко. Она необходима не только для воссоздания творческого и житейского пути крупнейшего писателя-гуманиста, но и для освещения жизнедеятельности определенного круга русской интеллигенции. В 1910-е годы Горький отметил некоторое совпадение между современными наблюдениями своими и Короленко. Следовало бы сопоставить общественные позиции писателей после Октября, выявив их общие и противостоящие особенности. Однако сделать такое сопоставление затруднительно из-за отсутствия в печати необходимых материалов. В исследованиях о Короленко говорится о его письмах 1920 года к А. В. Луначарскому с изложением своего отношения к революции. Письма должны были вместе с ответами адресата, вступающего в публицистический спор, стать достойным печатю. Но двухсторонняя переписка не состоялась, а письма Короленко появились лишь за рубежом (Париж, 1922), и потому читатель должен довольствоваться далеко не полным изложением их сути.

Но вернемся к Горькому. Вначале он не считал свое пребывание за рубежом длительным. Советские газеты неоднократно извещали о его близком возвращении. Но в 1924—1925 годах писатель сообщил ряду лиц, что не может вер-

нуться, так как должен писать. К тому же у него снова обострился туберкулез (пришлось даже уехать из Сорренто в Неаполь для лечения). Было и еще одно немаловажное обстоятельство: многочисленные письма говорили писателю, что, вернувшись, он, как и несколько лет назад, попадет в орбиту неустroенных жизней, лишений, невзгод и снова будет поглощен ими. «Я попаду — обязательно! — в поток слез и жалоб, как это уже было со мною», — читаем в письме к А. Е. Богдановичу от 16 мая 1925 года. Горькому хорошо было памятно письмо В. И. Ленина от 31 июля 1919 года, убедительно показавшее, что, попав в такой поток, он невольно сузил свое восприятие революционной действительности. Памятен был и совет Ленина вернуться, не будучи политиком, к литературной работе. Но и в 1924—1925 годах, прекратив свою редакторскую деятельность (к тому времени журнал «Беседа» перестал существовать, была закончена работа по подготовке своего Собрания сочинений для издательства «Книга»), Горький все же не смог ограничиться только собственной творческой работой. Вновь обострилось чувство писательского долга: как литератор с большим жизненным и художественным опытом он обязан помочь молодым авторам в нелегком овладении неведомым ранее жизненным материалом (современному «нет аналогов»), а талантливых было немало, хотя «у многих шапки набекрень, мозги — тоже, но — это пройдет!» (ЛН, т. 70, с. 152). На Первом Всесоюзном съезде писателей Горький скажет о необходимости каждому литератору чувствовать ответственность не только за собственное творчество, но и за современную литературу в целом. Такая ответственность Горькому была свойственна издавна. Никто не возлагал на него такую ответственность, то было веление горячего сердца. Труд товарищей по перу — и опытных, и начинающих — тревожил его не менее, чем личный. Несмотря на напряженную работу над «Делом Артамоновых», а затем «Жизнью Клима Самгина» (первоначально предполагалось окончить ее в 2—3 года), Горький становится старшим собратом, благожелательным другом литературной молодежи. Это было не наставничество, о котором так часто пишут. Алексей Максимович постоянно — и в первый период своей литературной деятельности, и в пору зрелости — повторял, что выступает как вдумчивый читатель, а не учитель. Он никогда не требовал следования своей художественной манере и с восхищением говорил об одновременном цветении несхожих талантов в литературе XIX века. Удивляло его «сорадование» художественному успеху других, его настойчивые поиски талантливых людей, его неустойчивое желание облегчить вхождение в литературу на-

чинающих. Советские писатели старшего поколения в своих письмах и воспоминаниях сказали немало весомых слов о том, как много значили для них одобрительные и вместе с тем высказательные письма Горького. «Когда будет готов роман, — непременно и в первую голову пошлю его Вам, дорогой Алексей Максимович, — писал 22 июня 1924 года Вениамин Каверин. — Больше никому не верю — шикто про самого себя не знает, как пишет и что делает» (ЛН, т. 70, с. 184).

Переписка Горького с литераторами всегда была интенсивна, но теперь число обращающихся к нему за советом и помощью сильно возросло. И он читал все присланные ему книги и рукописи «с жадностью». В 30-е годы он даже стал изнемогать от ежедневного многочасового чтения. Это было уже подвижничеством. И все же в силу все той же ответственности — не проглядеть бы талант, не опоздать бы поддержать его — читал, хотя на письменном столе лежал незавершенный том собственного романа.

Горьковские письма о литературе в 20-е годы сыграли значительную роль в становлении этико-эстетической мысли советских писателей; письма к одному из них часто становились известны многим. Их значение не утратилось и сейчас. Вместе с тем письма эти имели немалое значение и для самого Горького. Многие вопросы, затрагиваемые в переписке, были также вопросами, возникающими во время работы над «Жизнью Клима Самгина». И хотя тексты горьковских писем в большинстве случаев были обусловлены присланными в Италию произведениями и письмами, горьковские ответы далеко выходили за пределы конкретных поводов, помогая глубже уяснить и начальный период в развитии советской литературы, и творческие раздумья Горького. Беседы о мастерстве и задачах новой литературы сочетались в этих письмах с оттачиванием собственного восприятия новой действительности и собственного мастерства.

В отличие от писем дооктябрьского периода, письма Горького 20-х годов о литературе в основном уже не носят полемического характера. Он ведет переписку преимущественно с молодыми авторами, они еще не готовы для серьезного спора с ним, Горьким. Исключение составляла лишь переписка с К. Фединым.

Горький говорит в своих письмах о задачах литературы, призванной запечатлеть жизнь революционной России, о трудностях овладения новым материалом. Он выступает против ретивых критиков, стремившихся регламентировать как тематику произведений, так и ее трактовку. Горький напишет А. А. Демидову, что революция, поставившая «перед собою столь огромные задачи» и

выполнявшая их «с таким героическим напряжением сил», возлагает на них, «молодых писателей, обязанность мужественно, правдиво и независимо» делать свое «большое, важное дело — дело правды, дело правдивого освещения всего, что творится на земле». Они не должны забывать, что пишут для людей, которые «жаждут создать новый мир» (ЛН, т. 70, с. 151, 152).

Молодые авторы писали Горькому о тяжелых материальных условиях, в которых им приходилось жить, и не менее тяжелой литературной обстановке, осложняемой групповщиной. Они делились с Горьким своими творческими затруднениями: им не удавалось должным образом запечатлеть положительные явления жизни. В годы ломки старого уклада, старого мышления вопрос этот был весьма актуален. Что скажет об этом Горький?

Горький знает, как сложна жизнь, наблюдаемая молодежью, и предостерегает от упрощения жизненных процессов, а вместе с тем и опрощения человека. 15 марта 1926 года Горький пишет С. Т. Григорьеву: «Жизнь становится все интересней, сложней, а я — за сложность и против всяческих „опрощений“, хотя бы они сулили счастье всем близким моим. Тревога — богаче покоя. Жизнь становится все более виртуозной, а человек подобен виолончели: она не играет, если до нее не дотрагивается смычок артиста» (ЛН, т. 70, с. 136). Писатель напоминает о противоречивости жизненного процесса и непростоте самого человека. Он поясняет: изображение нового не дается потому, что его хотят показать в очищенном, обнаженном виде, в то время как новое рождается в сложном сплетении со старым.

В связи с этим вставал издавна волновавший русских писателей вопрос: кем — свидетелем или судьей людских судеб — должен стать литератор. Горький высказывается за писателя-свидетеля, хотя в своем творчестве выступает и как судья («Враги», «Последние», «Мать» и др.). Борьба между тем и другим скажется на создании сложного образа Клима Самгина, отнесенного в блистательной статье А. В. Луначарского о романе «к скрытой сатире».

Переписка с литераторами 20-х годов позволяет проследить за становлением молодой советской литературы и роли Горького в ее развитии. Росла литература, и все более углублялись требования писателя и формы его организаторской работы. И хотя об этом сказано уже многое,<sup>25</sup> новые своды писем и критических статей, видимо, познакомят

<sup>25</sup> Общая характеристика переписки Горького с советскими писателями 20—30-х годов дана в статье Л. И. Тимофеева, предпосланной 70-му тому «Литературного наследства».

нас не только с возросшей ролью Горького в развитии литературного процесса 30-х годов, но и с трудностями, с кото-

рыми сталкивался Горький как организатор, независимый критик и мудрый опекун молодых талантов.

Л. Н. Гумилев

## СЛАВИСТЫ И НОМАДИСТЫ \*

Ни одной теме не уделяла столько внимания древнерусская литература, как юго-восточной границе Киевской, а затем Московской Руси. Это не удивительно. От Западного мира Киевскую Русь отделял славяно-пруссский барьер, от Византии — Черное море, а степные тюрки были рядом и их отношения со славянами не прекращались ни на минуту. Когда же в XIII веке немецкий «натиск на восток» достиг русской земли, то и тут вопрос о том, быть или умереть, решали взаимоотношения с восточными соседями, и не только для князей, но и для народных масс, которым в книге А. А. Шенникова «Червлёный Яр» наконец-то уделено должное внимание.

В этой книге на примере одного сравнительно небольшого района — между речья Дона и Хопра — рассматривается история юго-восточной Руси в XIV—XVI веках. Опровергаются две традиционные, давно конкурирующие между собой версии славистов — историков, этнографов, филологов и других, — согласно которым в половецкую и золотоордынскую эпохи славянское население юго-восточной Руси либо вообще исчезло и было затем в XVI—XVIII веках заменено новыми русскими и украинскими переселенцами, либо укрылось в лесах и, оказывая сопротивление половецким и татарам, дождалось прихода московских войск. Обе версии основаны на одном и том же постулате о наличии некоего «извечного антагонизма» между оседлыми и кочевниками, земледельцами и скотоводами, славянами и тюрками, европейцами и азиатами, Западом и Востоком и т. д.<sup>1</sup> Теперь оказывается, что «юго-восточная Русь не лишилась полностью славянского населения, но оно вошло в состав нового населения, образовавшегося не только из славян» (с. 4).

В частности, на хоперско-донском междуречье образовалось объединение

восточнославянских, татарских (бывших половецких) и, по-видимому, мордовских общин без феодалов, с военизированной организацией вроде позднейшей казачьей, полуавтономное по отношению к Золотоордынскому государству, под общим названием Червлёный Яр. В конце XVI века это население отчасти вошло в хоперскую группу донских казаков, а отчасти в состав московских «служилых людей», ставших впоследствии крестьянами-однодворцами. Автор кратко упоминает еще ряд подобных полиэтнических образований XIV—XVI веков в соседних районах — Елецкое княжество, «Яголдаеву тьму», княжество Глинских (потомков Мамая), — из чего следует, что Червлёный Яр был явлением, характерным для своего времени и места, не единственным в своем роде и не случайным. Концепция «извечного антагонизма» оказывается вполне несостоятельной.

Не меньше, чем древнерусские авторы, об отношениях Руси и Великой степи писали историки и писатели — авторы исторических повествований, так что не только древнерусская, но и советская историческая литература попала в поле зрения автора книги. Список использованной литературы насчитывает 280 названий. В их числе сочинения не только славистов, но и номадистов (специалистов по степным неоседлым скотоводам) и вообще востоковедов, включая специалистов по истории Золотой Орды. Обе группы ученых во многом не согласны между собой, те и другие создали обширную литературу вопроса, причем номадисты внимательно изучают труды славистов, а слависты на номадистов не ссылаются (с. 4). Но самым ценным в книге является не эрудиция автора, а самостоятельность его подхода к предмету, синтез трех наук — истории, филологии и географии.

Исторический жанр, будь то эпос, беллетристика или научная монография, требует от автора не только логичного повествования, но и уважения к фактическому материалу. Анахронизмы недопустимы, выборочность данных противопказана, соответствие выводов фактам и строгость локализаций — обязательное условие, без которого нельзя обойтись, иначе произведение будет не историческим, а фантастическим. Таковым и оказался роман писателя Чивилихина

\* Шенников А. А. Червлёный Яр: Исследование по истории и географии Среднего Подонья в XIV—XVI вв. Л.: Наука, 1987. 142 с.

<sup>1</sup> Например: Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси: Феодальная Русь и кочевники. М., 1967.

«Память», где история и география принесены в жертву предвзятой мысли о том же «антагонизме» между «кочевниками» и цивилизованными государствами, а успехи монголов XIII века приписаны дурному характеру монгольских ханов династии Борджигинов.

Увы, наши предки тоже грешили предвзятостью, а потому некритическое восприятие даже аутентичных текстов ведет к искаженным представлениям об описанных событиях и характеристиках их героев. Кроме того, известно, что слова, в том числе термины, с течением времени меняют смысл, а без точного знания значений мы обречены на непонимание сочинений, которые уже стали нам дороги. Короче говоря, филология — наука необходимая.

Однако, как найти критерий истинности? Обычно это достигается путем сравнения независимых друг от друга текстов. А если их нет? И вот тогда на помощь Каллиопе, музе эпоса, приходят ее сестры: Клио, муза истории, и Урания, муза естествознания. Именно этим путем пошел автор рецензируемой книги.

К научному синтезу ведут две дороги: дедукция и индукция. Первый путь предполагает широкий охват предмета исследования, в данном случае ойкумены, постепенное сужение темы, пока в поле зрения не окажется поставленная проблема, легко решаемая путем соответствия с окружением: раз везде так, то и тут не иначе, а мелкие несоответствия легко скорректировать. Второй путь — от частного к глобальному — при точном описании приводит к тем же результатам, но частный пример должен быть репрезентативным, т. е. наглядным. Этот путь более трудоемок, но именно его избрал А. А. Шенников.

Исследованный район, до сих пор слабо изученный историками, вполне отвечает поставленной задаче. Это район, где сейчас наиболее известны такие населенные пункты, как станица Вешенская, города Урюпинск, Новохоперск, Борисоглебск. До того как в XVIII—XIX веках здесь была уничтожена большая часть лесов и распаханы степи, это был классический пример сопредельной части двух ландшафтных зон — лесостепной и степной. Полосы леса вдоль рек перемежались с полосами степи на междуречьях. Климат был мягкий, степные ветры сюда не доходили. Местное население сейчас говорит по-русски и по-украински, но антропологические типы разнообразны. В природе и населении края, как в фокусе микроскопа, совместились все особенности пограничья леса и степи и все закономерности евразийского этногенеза. Автор все это учел и объяснил с привлечением большого количества специальной физико-географической, ботанической, почвоведческой и прочей естественно-научной литературы, т. е. в пол-

ной мере отдал должное музе Урании.

Литература — явление сложное. Она состоит не только из авторского замысла и текста, но и восприятия читателя, которому текст адресован. Если же литературное произведение переживает века, что бывает часто, то восприятие неизбежно меняется, так что возникает нужда в комментариях. Этот на первый взгляд банальный тезис часто упускается из вида, тем более что меняются не только состав читателей, их подготовка, лексическая семантика, быт, но и природная среда, формирующая психологию и читателя, и самого автора. Недоучет этих изменений ведет к искаженному пониманию великих произведений как простым читателем, так иногда и ученым. Тогда на месте реального повествования возникают фантастические абстракции, вроде «извечной» вражды кочевых скотоводов и оседлых земледельцев или «белой» и «желтой» рас.

Такие мифы отнюдь не безобидны. Они обманывают доверчивых читателей, меняют их поведенческие стереотипы и часто ведут к бессмысленному кровопролитию. Бороться с этим бедствием — обманом доверившегося — можно только путем научного синтеза, позволяющего провести проверку любого тезиса. Узкоспециализированная наука такой возможностью не обладает.

В исторической литературе тривиальная концепция противостояния Древней Руси и Великой степи сформулирована красочно и блестяще. «Рыцарственная Русь и тревожная степь, разлившаяся безбрежным морем от Волги до Дуная... Степь полна топота и ржания конских табунов, дыма становищ, скрипа телег; рыщут волки, кружатся над Полем хищные птицы, тучами идут несметные войска половецких ханов, распугивая антилоп и туров. Духами зла и смерти, огня и несчастий наполняет степь фантазия поэта... На сотни верст вдоль русской границы раскинулось необъятное степное море, ежегодно, ежедневно угрожавшее ураганами и штормами воинственных и хищных половецких орд».<sup>2</sup>

А на самом деле обитатели западной окраины Великой степи не только не были, но и не могли быть кочевниками. А. А. Шенников проделал обстоятельный анализ основных понятий и терминов, связанных с оседлостью и неоседлостью, и впервые предложил основы общей теории хозяйственно-бытовых укладов, относящейся ко всем, а не только скотоводческим типам неоседлости (с. 72—93). Этот очень важный теоретический раздел, по своему значению выходящий далеко за пределы поставленных в книге задач, интересен отнюдь не только для

<sup>2</sup> Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 8, 35.

филологов и заслуживает специального разбора. Здесь заметим только, что в физико-географических условиях юго-восточной Руси настоящее скотоводческое кочевничество было вообще технически невозможно. Толщина снегового покрова там часто и надолго превышает 30 см, что исключает зимнюю пастбу лошадей. При той малой плотности населения, при которой было рентабельно преимущественно скотоводческое хозяйство, степные скотоводы были вынуждены большую часть года жить в постоянных зимних селениях, летом запасая на зиму сено и кочуя со стадами обычно не более чем на 200—300 км, т. е. они могли быть только полукочевниками, а не кочевниками. Настоящие кочевники-скотоводы в Восточной Европе известны лишь в прикаспийских полупустынях, где снеговой покров тонкий, но сейчас речь идет не о них.

А северо-западные соседи тюркоязычных восточноевропейских полукочевников, в том числе и славяне, не были столь оседлыми, какими их считают слависты. Переложные системы земледелия (подсечная в лесу и залежная в степи) требовали перемены полей и, соответственно, сезонных переселений к дальним полям и периодического переноса селений в пределах общинных территорий.<sup>3</sup> Это было тоже полукочевничество. К тому же, если у тюркоязычных соседей славян имелось, кроме скотоводства, еще и земледелие, хотя не ведущее, но заметное, то и у славян имелось, кроме земледелия, скотоводство, на степных окраинах Руси тоже требовавшее элементов неоседлости (однотраслевых типов хозяйства — чисто скотоводческих или чисто земледельческих — вообще не бывает).

Таким образом, разница в хозяйстве и хозяйственно-бытовых укладах была не принципиальна и не настолько существенна, чтобы служить основанием для антагонизма между славянами и тюрками.

А. А. Шенников уделяет много внимания вопросу о регулярности кочевания, о соблюдении сезонных и многолетних ритмов переселений и постоянстве их маршрутов и приходит к выводу, что нерегулярных, беспорядочных переселений не совершали и в принципе не могли совершать ни степные полукочевники-скотоводы, ни какие-либо другие неоседлые группы населения. Поэтому их соседям не приходилось ожидать от

них каких-либо «ежегодных» или «ежедневных» непредсказуемых «ураганов и штормов» (см. цитированное выше мнение слависта об этом). Ханы, мурзы, беки и огланы со своими войсками-ордами действительно перемещались по степи беспорядочно, руководствуясь военными и политическими соображениями, но ведь так же поступали и русские князья с дружинами. А «услужные люди» ханов и прочих степных правителей, т. е. рядовые полукочевники-скотоводы, трудом которых кормились ханы с ордами, кочевали со стадами по своим общинным территориям вполне регулярно, из года в год в из века в век по одним и тем же маршрутам, точно так же как крестьяне русских князей, переселявшиеся столь же регулярно от своих деревень к дальним полям, паштникам или сенокосам и обратно. Значит, и в отношении регулярности передвижений принципиальных различий тоже не было.

В цитированном славистском сочинении упоминается как характерный для степных соседей Руси «скрип телег». Но скрипят только плохо смазанные телеги, при плохой смазке ломается любая ось, так что «скрип телег» свидетельствует о необходимости покупать деготь у соседей, т. е. славян, для чего дружественные контакты полезнее военных. И такие контакты были нужны не только ради дегтя, но и ради многого другого. На конкретном примере из истории Червленого Яра А. А. Шенников выясняет, что русская часть этого общинного объединения помогала татарской части заготовлять на зиму сено для скота, что было одним из оснований для хозяйственного и военно-политического симбиоза обоих этносов (с. 94—97).

Половцы и их потомки ордынские татары в XII—XIV веках охотно принимали православие, сражались в войсках восточнославянских князей и были не менее усердными читателями, а при неграмотности слушателями житий, летописей и былинных поэм, нежели северные помеси славян с мерей, муромой, всею и корелой. Такова была читательская масса, для которой и ради которой творили талантливые и часто безымянные авторы древнерусской литературы. Писатель не может быть без читателя. Лирический поэт А. А. Ахматова сказала мне: «Даже соловей поет для соловьяхи, а не для розы!» Поэтому анализ такого культурного феномена, как литература без учета природных условий и этнического наполнения будет неполноценным. Урагия необходима Каллиопае.

Иные отношения сложились между Каллиопой и Клио. Здесь действует не прямая, а обратная связь. «Серапионовы братья», встречаясь, говорили друг другу: «Здравствуй, брат, писать очень трудно». Не легче было и древнерус-

<sup>3</sup> Кроме рецензируемой книги, см. об этом также: Шенников А. А. 1) Земледельческая неполная оседлость и «теория бродяжничества». — В кн.: Этнография народов СССР. Л., 1974, с. 80—88; 2) Крестьянские усадьбы Среднего Поволжья и Прикамья с XVI до начала XX в. — В кн.: Этнография народов Восточной Европы. Л., 1977, с. 15—16.

ским авторам, но они все-таки описывали события, развертывавшиеся вокруг них. Так на Руси развился нарративный жанр, занимающий первое место среди исторических источников.

Однако доверие к литературным опусам историку противопоказано. Ведь эти опусы писались с целью убедить читателя в том, что автор их считал нужным и полезным. А был ли он всегда прав? Да наверняка нет! Прежде всего, любой автор XIII—XVI веков имел значительно меньше информации, чем историк XX века, хотя при этом он знал некоторые детали ныне неизвестные. Это еще не беда. Критика, как компаративная, так и внутренняя, позволяет внести необходимые коррективы. Хуже другое: древние авторы силой своего таланта умели навязывать свои мысли читателю, а историк должен уметь думать сам.

Это значит, что читателю древнерусских творений следует видеть в них не справочник по истории и не развлекательное чтение, а рассматривать сам факт появления любого шедевра как событие культурной и политической жизни или, точнее, как памятник русскому народному гению. При этом подходе создание «Задонщины» становится в один ряд с победой на берегах Непрядвы; то и другое — факты становления нашего народа и превращения Древней Руси в Великую Россию, чего не случилось бы, если бы не было русской литературы.

И наконец, писатель исторического жанра всегда связан эстетическими канонами, как в любом другом жанре. Композиция книги всегда требует отбора материала, чтобы не оказалась утраченной тема, ради которой проведена тяжелая работа. Такой отбор с позиции Каллиопа — достоинство, а по мнению Клио — беда. Поясним на общеизвестном примере.

Царевич Тохтамыш «ис Синяя Орды» имел весьма бурную биографию. Сначала он добивался трона Белой Орды в Восточном Казахстане — и добился при поддержке Тимура. Потом, при поддержке Дмитрия Московского, он победил Мамаю в 1380 году. Затем, вовлеченный в интриги суздальских князей, сделал по их наущению набег на Москву и Рязань, чем крайне навредил себе, так как потерял симпатии русских, которые в дальнейшем не оказали ему активной поддержки в войне с Тимуром. Эту войну он проиграл и погиб у себя на родине в Сибири.

И вот русские авторы XIV—XV веков отмечают только безобразное вторжение 1382 года, лишь попутно упоминая о грязной роли Василия и Семена Дмитриевичей Суздальских. Зато персидские панегиристы Тимура подробно описывают битвы между регулярной армией Тимура и ополчением татар, генерически измотавших противника на-

столько, что Тимур ограничился взятием Ельца и был вынужден отступить для подавления сопротивления татар у себя в тылу.

В XV веке русские авторы объяснили спасение от могучего и безжалостного врага чудом — явлением Владимирской богоматери Тимуру во сне. Ту же легенду приводят мусульманские авторы, только заменив деву Марию на пророка Хызра (с. 39—40). Татары и русские в XV веке обменивались литературными сюжетами, а не только товарами.

И самое важное: они вместе сражались с иноземцами. Елец, имевший в то время также тюркское название Карасу (Черная Вода), защищали вместе с русскими татары царевича-чингисида Бег-Ярык-оглана, героя войны с Тимуром, ушедшего вырваться из окружения вместе со старшим сыном и спасшегося в России. Тимур, пораженный его доблестью, приказал отправить за ним вслед его семью, захваченную в плен. Но тюрко-славянское население по обеим берегам Дона было истреблено.

Историки-слависты не признали в трагедии Ельца «ничего интересного и ценного по истории Руси».<sup>4</sup> Даже наличие у города одновременно двух названий их не заинтересовало. А оно позволяет А. А. Шенникову сделать вывод о наличии в этом районе смешанного населения — потомков славянских выходцев из района Чернигова и половцев (с. 39). Это смешанное тюрко-славянское население вместе с ордынцами Бег-Ярык-оглана оборонялось от иноземного врага. Так оказывается мифом «извечный антагонизм» Руси и Степи.

И вот говорит Клио: «Чудо действительно было: потомки половцев, ордынские татары, измотали силы лучшей армии своего времени настолько, что спасли Россию от страшной участи, постигшей Иран, Индию, Грузию, Сирию и Малую Азию, ибо гульмам (удальцам) Тимура не могли противостоять ни грозные янычары при Ангоре, ни рыцари-иоанниты в Смирне. Силою вещей татары спасли Россию». А Каллиопа может принять как подарок исторический комментарий, поясняющий причины подъема русской культуры эпохи Андрея Рублева и Нила Сорского, которых иначе бы не было.

Синтез истории, филологии и географии в книге А. А. Шенникова можно проследить на примере разбора событий XV века. В этом столетии история не только Червленого Яра, но и всей юго-восточной Руси прослеживается лишь по ничтожному количеству разрозненных исторических источников, которые удастся связать между собой лишь при использовании разнообразных косвенных данных.

<sup>4</sup> Греков В. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л. 1950, с. 369.

Несколько исследователей пришло к выводу, что в XV веке Червлёный Яр запустел (с. 43—44). Основывались главным образом на том, что в 1395 году Сарай был уничтожен Тимуром и больше не возрождается, из чего делают вывод, что Золотая Орда превратилась в чисто кочевое государство, неспособное успешно защищать прежнюю центральную часть своей земли, где находился Червлёный Яр, от набегов крымцев и ногайцев. Но А. А. Шенников, с одной стороны, учитывает невозможность полного кочевничества в данном районе, с другой стороны, приводит и сопоставляет много фактов из разнообразных источников, прямо или косвенно говорящих о том, что городское поселение, служившее столицей Золотой, а затем Большой Орды, после тимуровского разгрома продолжало существовать до 1480 года, хотя, по-видимому, сместилось с территории города, разрушенного Тимуром, вследствие чего археологи пока не выявили его остатков (с. 44—45). Таким образом, Червлёный Яр, сохранявший лояльность по отношению к Орде, имел с ее стороны защиту против набегов ногайцев и крымцев, тем более что заволжские ногайцы в это время находились еще в составе Орды и под ее контролем, а крымцы, хотя и отделились, но были еще слабы для столь далеких набегов.

Свидетельством существования Сарая до 1480 года А. А. Шенников считает в числе прочего имевшие место в этом году известные события, связанные с походом Ахмед-хана на Москву, «стоянием на Угре» и полным разгромом Большой Орды (с. 45—49).

Основным источником по этим событиям считается группа русских летописей, составленных в конце XV—начале XVI века в разных городах Руси, но дающих в общем одно и то же их описание, только изложенное разными словами, в одних случаях пространно, в других кратко. По этим летописям, долгое «стояние» войск Ахмед-хана и Ивана III на противоположных берегах Угры расценивается как результат нерешительности Ивана III, влияния на него дурных советников и даже прямо трусости и глупости великого князя. По некоторым сведениям, будто бы московское население прямо требовало от него наступательных действий, на которые он, однако, так и не решился. Затем последовало внезапное, ничем не мотивированное и притом одновременное отступление обеих войск с Угры, причем отход ордынцев изображается как чудо, как божий промысел, спасший Москву, а отход русского войска как еще одно подтверждение трусости Ивана III. Напомним, что и упомянутый выше отход Тимура из Ельца в 1395 году изображается в этих же летописях тоже как чудо, хотя, как уже сказано, дело обстояло совсем иначе. Дальнейшее отступление войска Ахмед-хана на Север-

ский Донец, восстание заволжских ногайцев против Большой Орды, захват ими центрального района Большой Орды, а затем, в 1481 году, их поход на Северский Донец, нападение там на войско Ахмед-хана и убийство последнего изображаются как события, не связанные непосредственно с Угрой и действиями Ивана III.

Но в одной русской летописи, а именно Казанской, составленной позже, но с использованием не только русских, а и татарских источников и независимой от упомянутых остальных русских летописей, события изображены иначе. Сообщается, что во время «стояния на Угре» Иван III послал в тыл ордынским татарам большой отряд из русских воинов и касимовских татар под командой русского воеводы князя Василия Ноздреватого Звенигородского и крымского татарина-эмигранта Нур-Даулета. Отряд уничтожил весь центр Большой Орды, перебил там почти все население, а затем весь район был занят восставшими заволжскими ногайцами, которые добились всех тех, кого не добились русские и касимовцы (А. А. Шенников не без оснований предполагает, что Иван III и ногайцы тут действовали согласованно).

Если это верно, то совершенно понятно, что именно этот разгром Сарая и был истинной и главной причиной отхода Ахмед-хана с Угры. Так и поняли ситуацию первые ее серьезные исследователи — М. М. Щербатов и Н. М. Карамзин. Но с середины XIX века некоторые историки, вплоть до современных, стали подвергать сомнению рассказ Казанской летописи и придумывать другие объяснения событий, в большей или меньшей степени принимая на веру попытки московских летописцев опорочить Ивана III. Это был односторонне-филологический подход к источникам, когда исследователи, увлекшись текстологическим анализом вариантов московской летописной версии с целью выяснить, какой вариант сочинен раньше, и не доверяя Казанской версии лишь потому, что она не подтверждается московскими летописями, упустили из виду логику событий и их общий исторический фон. Думаем, что А. А. Шенников восстанавливает справедливость, считая, что имело место хорошо организованное одновременное тенденциозное редактирование всех летописей, кроме Казанской, кем-то из многочисленных врагов Ивана III — скорее всего митрополитом Геронтием. В данном случае Клио поправляет Каллиоу.

Попутно привлекается к делу и Уралия, с помощью которой отклоняется версия В. Н. Татищева (ныне поддерживаемая В. В. Каргаловым), считавшего, что рейд Ноздреватого и Нур-Даулета был совершен будто бы не на Сарай, а на Болгар. Пребывание большеордынских татар поздней осенью в районе

Болгара оказывается противоречащим правилам меридионального кочевания, связанного с климатическими условиями. В это время года ордынцы должны были кочевать не на севере, а на юге своей территории, в районе Сарая.

Весь этот экскурс в область политической и военной истории, как будто не связанный прямо с темой книги, понадобился А. А. Шенникову, чтобы показать, что Червленый Яр мог иметь защиту со стороны Большой Орды и Сарая до 1480 года и что до этого времени нет оснований предполагать его запустение. Но в то же время здесь дается если не новое (вспомним М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина), то, по нашему мнению, правильное решение очень важного вопроса русской истории.

После 1480 года Червленый Яр действительно мог запустеть, оказавшись без союзников и защитников среди обширной малонаселенной местности, и притом, вероятно, в напряженных отношениях с Москвой. Но тут А. А. Шенников привлекает источник, вообще известный, но до сих пор не использованный никем из исследователей, интересовавшихся Червлым Яром. В изданной в 1880 году книге И. Попко о гребенских казаках содержится изложение предания, записанного в 1830-х годах, согласно которому первоначальное ядро гребенских казаков составили не пикетдонские казаки, явившиеся на Терек, как принято считать, в 1580-х годах, а «рязанские казаки» из «волости Червлый Яр» на Хопре, переселившиеся в 1520—1530-х годах. Рассказ вызвал острую дискуссию между историками донского и северокавказского казачества, вплоть до обвинения И. Попко даже в фальсификации источника, хотя вместе с тем ряд авторов выступил и в его защиту. Дискуссия фактически остается незаключенной, ее отголоски до сих пор временами всплывают в специальной литературе, но все авторы, вспоминающие об этой дискуссии, интересуются ею только с точки зрения истории гребенских казаков, но не ставят вопрос о сущности Червлого Яра.

А. А. Шенников анализирует прежде всего обстоятельства появления рукописи, использованной И. Попко, равно как и обстоятельства публикации ее изложения и затем довольно странного ее исчезновения после смерти И. Попко. Выясняется достаточно сложная политическая подоплека дела. С одной стороны, запись предания была сделана каким-то сосланным на Северный Кавказ и вскоре там погибшим профессором Виленского университета, судя по всему, участником известного восстания 1830—1831 годов. В связи с этим имеются основания подозревать, что полной публикации текста препятствовала цензура. С другой стороны, публикация этого рассказа подрывала версии донских новочеркасских генералов, изучавших историю донского казачества, о

приоритете «пизовых» донских казаков как в зарождении и развитии собственно донского казачества, так и в истории всех русских казачьих войск вообще; а эти версии сочинялись для оправдания претензий донских генералов на руководящую роль во всех казачьих войсках. Обвинения в фальсификации оказываются недостаточно обоснованными, так как, например, существование на Хопре казачьего городка Червленый Яр, впервые упомянутого в изложении И. Попко, подтверждено опубликованными впоследствии документами, которых И. Попко не знал. Вместе с тем слишком очевидна заинтересованность критиков в дискредитации версии И. Попко.

В то же время А. А. Шенников выявляет в изложении И. Попко ряд несообразностей, не замеченных критиками. Например, червленоярцы не могли называться «рязанскими казаками». А главное, переселение червленоярцев не могло произойти в 1520—1530-х годах, оно явно неверно датировано. Привлекая и сопоставляя многие дополнительные источники, нередко далекие на первый взгляд от темы исследования, автор выясняет, что ошибки И. Попко объясняются некрптическим использованием некоторых исторических сочинений, прежде всего Д. Иловайского и С. М. Соловьева, и показывает, что описанные события могли произойти и, по-видимому, действительно произошли не в 1520—1530-х, а скорее всего в 1480-х—начале 1490-х годов. Но переселились на Терек не все червленоярцы, а лишь некоторая их часть, другие остались. Отсюда А. А. Шенников делает вывод, что Червленый Яр в течение всего XV века продолжал существовать. Исследования, проведенные для получения этого вывода, в ряде случаев имеют самостоятельное значение.

Так, автору пришлось выяснять происхождение и значение термина «казак». Оказалось, что на Руси в XV веке существовало два совершенно различных значения этого слова, а в середине XVI века добавилось еще и третье значение. Во всех трех случаях слово относилось к группам населения, не имевшим между собой ничего общего и не произошедшим ни друг от друга, ни от каких-либо общих предков.

Одна из этих групп, которую А. А. Шенников условно назвал неорганизованными казаками, — это профессиональные конные воины, приспособленные к действиям в степных условиях, лично свободные, обычно состоявшие в разбойничьих шайках или нанимавшиеся на пограничную военную службу к государству, граничившим со Степью. По-видимому, они не имели ни хозяйства, ни сколько-нибудь постоянного местожительства. Они не создали никаких более организованных групп, чем разбойничьи шайки. Возможно, что первоначальное

их ядро составили остатки разгромленного войска Большой Орды. Затем они базировались в основном на Мещерский Городок (Касимов) и на турецкий Азов. При Иване IV активно участвовали в качестве наемников в завоевании Среднего и Нижнего Поволжья, но затем были выгнаны оттуда за систематические разбои и постепенно сошлись со степи. Казаки этого рода, служившие России, фигурируют в русских источниках обычно под названием мещерских казаков, по имени их основной базы, что, однако, не свидетельствует ни о их постоянном местожительстве в районе, называвшемся Мещерой, ни о происхождении от какой-либо из этнических групп, в разные времена называвшихся мещерой. Вероятно, эти казаки представляли собой в этническом отношении весьма пестрое образование; во главе их отрядов нередко оказывались татары.

В этот же период появилась под названием казаков другая группа населения — разновидность регулярных войск в пограничных со Степью крепостях соседних государств. В Московском государстве они под названием городских казаков имелись затем до конца XVII века в составе «служилых людей» наряду с другими группами — стрельцами и пр. Таковы были и все украинские казаки, кроме запорожских, и казаки на турецко-крымской службе — азовские, перекопские. Эти казаки набирались, как и другие виды регулярных войск, из населения тех стран, которым служили, наделялись землей, имели постоянное местожительство и хозяйство. Всех подобных казаков А. А. Шенников условно называет служилыми казаками. К их числу относилась и небольшая, весьма специфическая группа, известная под названием городецких казаков, формировавшаяся исключительно из касимовских татар и служившая фактически гвардией московских великих князей и затем царей, которой поручались самые ответственные операции.

Третий род казаков, с середины XVI века известный под названием просто казаков, — это группы населения, существовавшие в некоторых случаях задолго до XVI века, но не называвшиеся тогда казаками, за пределами официальных границ Московского и Польско-Литовского государств, имевшие развитое сельское хозяйство (хотя не всегда преимущественно земледельческое) и специфический территориально-общинный строй без феодалов, с демократическим самоуправлением и сильной военной организацией. Червеноярцы составляли одну из древнейших подобных групп, появившуюся не позже конца XV века. Таковы же были севрюки на Украине. К середине XVI века оформились запорожская и донская группы подобных казаков, в состав донских затем вошла под названием хоперских казаков часть червеноярцев. Этнический состав подоб-

ных групп казаков был, как правило, сложным и изменялся со временем.

Неверно распространенное мнение, что все казаки везде и всегда формировались и пополнялись только или главным образом за счет беглых крепостных крестьян Московского и Польско-Литовского государств и, соответственно, были изначально русскими или украинцами. Массовое бегство русских и украинских крестьян в казачьи области могло начаться вообще не ранее середины XVI века, и только к казакам типа запорожских и донских, а не к неорганизованным или служилым. Но это, как справедливо замечает А. А. Шенников, вторая глава в истории казачества, первая же глава только теперь начинает вырисовываться перед нами в самых общих контурах (с. 124).

А. А. Шенников на основе проведенного анализа истории термина «казак» показывает несостоятельность восходящей к В. Н. Татищеву и С. М. Соловьеву версии о происхождении донских казаков от рязанских. Последние на самом деле были типичными городовыми, служилыми казаками и не имели никакого отношения ни к донскому казачеству, ни вообще к русской колонизации Подонья (с. 58—65). Но вопрос о термине «казак» имеет более широкое и принципиальное значение. На этом примере видно, что слова, обозначавшие этнические, социальные или региональные группы населения, в средние века могли часто менять значения, могли иметь одновременно несколько значений, могли переходить с одной группы населения на другую, причем часто название группы было не самоназванием, а присваивалось ей соседями. Установление или смена таких названий происходили обычно стихийно, из-за разных исторических недоразумений и случайностей. А. А. Шенников в других местах своей книги приводит еще некоторые подобные примеры: так, долгую и сложную эволюцию значений претерпели этнонимы «татары», «ногаи», «черкасы» (с. 61, 84—87). Незнание этих обстоятельств уже породило много ошибок в русской историографии, когда идентифицировались совершенно различные группы населения, случайно объединенные общим названием, или, наоборот, противопоставлялись друг другу группы в общем одного народа, случайно получившие в разное время и от разных соседей разные названия, — например, половцы, золотоордынские татары и ногайцы. Все это следствия неувязок между историей и филологией, между Клио и Каллиопой.

При анализе той же загадочной рукописи виленского профессора в изложении И. Попко А. А. Шенников находит и упомянутое выше подтверждение хозяйственной взаимосвязи между червеноярцами и ордынскими татарами — потомками половцев. Именно здесь он и

получает повод для широких теоретических обобщений о неоседлости вообще и о ее физико-географической подоплеке в конкретных условиях Среднего Подонья. А эти обобщения, в свою очередь, позволяют правильно понять исследуемый источник. Так неразрывно переплетаются исторические, филологические и географические методы при изучении одного источника. Клий, Каллипа и Урания действуют согласованно и получают результаты, которых ни одна из них самостоятельно не могла бы получить.

Мы привели лишь несколько подобных примеров, а их в книге А. А. Шенникова можно найти еще немало. Это и исследование митрополичьих грамот о Червленом Яре XIV века — первых источников по данной теме; и новое прочтение с пересмотром датировки такого известного, традиционного объекта филологических исследований, как «Хождение Пименово в Царьград и Иерусалим»; и разбор, опять-таки с новым пониманием, менее известного памятника письменности — послания Ивана III к рязанской великой княгине Аграфене; и пересмотр традиционного понимания некоторых мест из дипломатической переписки ногайских мурз с Иваном IV и других источников, касающихся истории

донских казаков того времени; и попадающая в поле зрения автора в связи с книгой И. Попко особая тема, заслуживающая дальнейшей разработки, об истории гребенских казаков со сравнительным анализом нескольких записей преданий и других документов.

Бесспорно, что слависты, особенно филологи, — эрудиты в своей области. Но недостаточное внимание к общей истории, к физической географии и к учению об этногенезе делает их дефиниции несколько однобокими. В частности, вредит работам славистов-медиевистов их слабое знакомство с исследованиями номадистов и востоковедов, чем вызваны неоднозначные, местами резкие, но справедливые замечания в книге А. А. Шенникова (например, с. 129—131).

Книга А. А. Шенникова является полезным пособием для историков, филологов и историко-географов. В частности, филологов она избавляет от трудоемких изысканий в грандиозной библиографии, позволяет сберечь силы для осмысления загадочных несообразностей в показанных источниках, уточняет значение забытых терминов и обнаруживает смысл записанных, но не понятых легенд. Это очень нужная книга. Пожелаем ей долгой и счастливой жизни.

Я. С. Вилкинс

## ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ \*

Эта книга и открывается, и заканчивается размышлениями о нашей профессии. Завершение ее так и называется: «Вместо заключения. Профессия: литературовед». Автор, посвятивший себя труду литературоведа, определяет возможности, отстаивает достоинство и значение того, чем мы занимаемся.

Есть ли сейчас такая необходимость? Ведь еще Кант в «Критике способности суждения» утверждал, что «произведение гения (по тому, что в произведении следует приписать гению, а не возможной выучке или школе) — это пример не для подражания (иначе в нем было бы утеряно то, что в нем есть гений и что составляет дух произведения), а для преемства со стороны другого гения, в котором оно пробуждает чувство собственной оригинальности и стремление быть в искусстве свободным от принудительности правил таким образом, чтобы само искусство благодаря этому получило новое правило и тем самым талант проявил себя как образцовый. Но так как

гений — баловень природы и его следует рассматривать лишь как редкое явление, то его пример создает для других способных людей школу, т. е. методическое обучение по правилам, насколько их можно извлечь из указанных порождений духа и их особенности; в этом отношении изящное искусство есть для этих людей подражание, которому природа дает через посредство гения правило».<sup>1</sup> Тем самым уже тогда было дано, собственно, обоснование нашим занятиям — выяснению того, как же именно входит в искусство, заявляет себя «новое правило», что и как извлекается из «указанных порождений духа». Выражая это по-иному, можно сказать, что уже тогда, в сущности, были намечены задачи исторического изучения искусства вообще и литературы в частности.

Однако еще очень долго после Канта историзм в подходе к литературе оставался весьма относительным. Во всяком случае он охватывал далеко не всю сферу ее изучения. «Поэтику не только XVII—XVIII, но и XIX века можно не без

\* *Манн Юрий.* Диалектика художественного образа. М.: Советский писатель, 1987. 320 с.

<sup>1</sup> *Кант Иммануил.* Соч.: В 6-ти т. М., 1966, т. 5, с. 335.

основания назвать поэтикой *постолдних величин*, — верно констатирует Г. М. Фридлиндер. — Она полагала, что основные понятия поэтики, основные „единицы“ художественной выразительности одинаковы для всех времен. Эти единицы она видела прежде всего в описанной еще Аристотелем системе поэтических родов и художественных тропов, которые всякий раз, с ее точки зрения, подвергались в истории литературы новым сочетаниям — и в то же время всегда лежали и лежат в основе всякой поэтической речи, составляют ее наиболее глубокое и сокровенное внутреннее ядро.<sup>2</sup>

В нашем уже веке «формалисты» выдвинули принцип построения истории литературы *как таковой*. Они называли себя «спецификаторами» и хотели передать процесс смены именно литературных форм. Во многом они и сумели уловить смену с ходом истории «единиц художественной выразительности» (если воспользоваться употребленным Г. М. Фридлиндером понятием). Их наблюдения оказались соответственными и даже созвучны естественным научным открытиям времени. Именно так: соответственны и созвучны, а не подогнаны под другие науки. Но как раз *историками* в своей области «формалистам» стать не удалось: объяснить, почему вместо «этих» форм и «единиц художественной выразительности» пришли те, что пришли, а не какие-нибудь другие, оставаясь внутри литературного ряда, было невозможно. История литературы как таковая могла быть построена, как теперь очевидно, лишь на внелитературном основании.

Стремление, осознанное или неосознанное, действительно обрести это основание в недавние времена нередко оборачивалось призывами к литературоведам высказываться в качестве критиков о литературных новинках, связь которых с реальностью открыта и, так сказать, наглядна, или приблизиться к литературе в самом строе своего мышления. В результате мы получили, скажем, статью Д. Д. Благого о шолоховской «Судьбе человека» или очерки Б. А. Бялика и В. Я. Кирпотина об их поездках в горьковские места или места пребывания Достоевского в Сибири. Работы эти сами по себе были ничуть не хуже привычных произведений того же рода, но к истории литературы они просто не имели отношения, размещались за ее пределом.

И престиж истории литературы как особой области изучения неуклонно падал. Вряд ли будет преувеличением заявить, что ныне господствует представление об историко-литературных исследованиях в собственном смысле как о чем-то скучном, отсталом и нуждающемся так или иначе в «преодолении».

Мы приведем только несколько фактов, подтверждающих наш тезис. Подтверждающих по-разному и с разных сторон, но потому и с особенной, как представляется, убедительностью.

Очень известно, какое широкое распространение и популярность приобрели каких-нибудь два-три десятилетия назад структуралистские установки в «освоении» литературы. Не решая здесь вопроса о степени их новизны и плодотворности, нельзя не признать, что во всяком случае литература здесь рассматривается не в ее собственном качестве, но по аналогии с совсем иными сферами культуры.

Классические художественные создания все чаще освещаются нами как причастные к сегодняшней злободневности, анализируются критиками и в критической манере. Иногда это делается тонко и убедительно. Но сама задача тут все же другая, никак не историко-литературная.

И вот уже в своей только что перепечатанной в сборнике его работ «По живому следу. Духовные искания русской классики» (М., 1987) прекрасной статье о лермонтовском «Герое нашего времени», как раз обладающей и многими достоинствами подлинного историко-литературного исследования, И. Виноградов спешит от истории литературы откеститься и обозначает сборник в целом как «литературно-критические статьи», хотя тут есть и другие еще сочинения историко-литературного характера. Л. Я. Гицбург, достигнув, наверно, наибольших высот все-таки в литературоведении, сетует, имея в виду собственный опыт, что человек, обратившийся когда-то по каким-то своим причинам к «Старой записной книжке» Вяземского, начинает считаться «специалистом по Вяземскому». Я отдаю все должное необыкновенной широте устремлений, интересов, личности Лидии Яковлевны, понимаю, что к запискам Вяземского все это никак не сведешь, но в огорченности тем, что в ней видят и «специалиста по Вяземскому», я не могу не усматривать, среди многого прочего, и отражение малой престижности для нас же самих наших сугубо специальных «штудий». А рядом материал для «горестных замет» И. Г. Ямпольского множится и множится, становясь почти вопиющим. И утрачиваются замечательные традиции советской текстологической школы...

Нет, Ю. Манн не напрасно так открыто и подчеркнуто выступает за честь и значение нашей профессии. В подтексте здесь очень ошутим даже некоторый полемический запал, вообще-то автору отнюдь не свойственный. Его, этот запал, нельзя не почувствовать, когда еще в заметке «От автора» Ю. Манн, никак не возражая против развертывания новых направлений в литературоведении, против «уточнения и обогащения литературоведческих приемов», продол-

<sup>2</sup> Русская литература, 1970, № 1, с. 30.

жает свою мысль так: «...но не забудем при этом, что и на обыкновенном человеческом языке мы сказали еще друг другу далеко не все» (с. 6).

«На обыкновенном человеческом языке» автор и соотносит романы Парезного с общеевропейским развитием жанра, характеризует конфликты, разрабатывавшиеся «натуральной школой», устанавливает, как определилось у Тургенева непреходящее и поныне значение его Базарова или как мемуары могут стать «эстетическим документом»... Все это «исполнено» на большом материале с привлечением множества разнообразных источников, с опорой всякий раз на сделанное предшественниками по теме. Последнее хочется отметить особо.

Мы редко бываем внимательны к чужим открытиям и уж тем более к не бросающимся в глаза находкам. Ю. Манн же в этом смысле щепетлив до чрезвычайности. Он упоминает не только тех, кому хоть чем-нибудь обязан в движении своей мысли, но едва ли не всех, кто до него высказывался по тому же вопросу. Здесь и статья, затерявшаяся в мало кому известных сборниках, и публикации на иностранных языках. Вклад самого автора предстает как ступень в длительном и сложном процессе, имеющем в науке свою внутреннюю направленность и целеустремленность.

Ссылается Ю. Манн и на тех, кому мы обязаны сегодняшними методологическими позициями нашей науки, хотя бы позиции эти и определились в далеких от него областях литературоведения. Так, статью о типологии конфликтов «натуральной школы» он начинает ссылками на «Морфологию сказки» В. Я. Проппа.

В предмете своем Ю. Манн неизменно и последовательно стремится выяснить, что из чего возникало, что к чему шло. Историзм, историко-литературный подход заложены в самом существе, в самой природе его мысли. Но уже в заголовках мы зачастую встречаемся с проблемами теоретическими — «О движущейся типологии конфликтов», «Метаморфозы литературного героя», «О понятии игры как художественном образе»... Да и книга в целом совсем не все, не громкой фразы ради называется «Диалектика художественного образа». Тут заявляет о себе такая особенность истинно современного литературоведения, как органическое единство историко- и теоретико-литературного аспектов изучения, их неразрывность, их постоянный переход друг в друга. Вспомним, что по такому принципу была построена и коллективная трехтомная «Теория литературы», созданная сотрудниками того самого Института мировой литературы им. М. Горького, где трудится и Ю. Манн, и явившаяся заметной вехой в развитии нашей науки.

Неразрывность историко- и теоретико-литературных интересов, новая напол-

ненность для него самого понятия об историко-литературном исследовании позволили Ю. Манну в рассуждениях о «Маскараде» (статья «О понятии игры как художественном образе»), оставаясь историком литературы в самом точном смысле этих слов, обращаться не только к «Игрокам» Гоголя, близким к «Маскараду» по времени их создания, но и к «Физикам» Дюрренматта, появившимся, как известно, в середине нашего столетия. И это помогло автору в историко-литературном осмыслении лермонтовской пьесы, в выяснении ее своеобразия, ее единственности. Историк литературы не отстает в Ю. Манне ни ради каких других целей.

Первоначальное назначение работ, сведенных сейчас под одной обложкой, было различным. Есть тут статья («Базаров и другие»), первые напечатанная в «Новом мире» А. Твардовского и обладающая рядом признаков этой своей природы. Некоторые из статей — предисловия или комментарии к массовым изданиям (Парезного, Вельтмана, Тургенева). Большинство (о «натуральной школе», о Гоголе) имеют сугубо научное «пропсхождение». Но в существе своем все они друг от друга отличаются мало. Всюду предпринимается серьезное исследование. Всякий почти раз автору удается дойти в самом деле до ядра историко-литературной проблемы.

Вот, скажем, комментируя тургеневский «Дым» и идя тут по пути, по которому до него прошли уже многие, Ю. Манн считает необходимым уточнить, что произошло здесь в «романной поэтике» Тургенева: «Нет, — говорит он, — Литвинову не отказано в „централизующей роли“ — только эту роль он играет по-новому. Она проявляется не столько в полемике, в спорах, в борьбе, не столько, выражаясь современным языком, в открытой конфронтации, сколько в молчаливом отталкивании и отклонении. Это связано с особой природой Литвинова... Между тем, поскольку мотив ухода реализует не только момент идеологического противостояния (сам по себе очень важный), но тонкую игру симпатий или антипатий, близости или отчужденности — словом, все многообразие человеческих отношений. — то он, этот мотив, становится объединяющим началом романного действия» (с. 137). И очень кокетливо выявляется, как все глубинные изменения в «романной поэтике» возникают в стремлении литературы возможно полней «охватить» повую сложность человеческих взаимодействий.

Обращаясь в той же статье к «Нови», Ю. Манн прослеживает, наряду со многими другим, символику «вывихнутости» в последнем тургеневском романе и констатирует, что она «проведена не без назидчивой, почти схематической правильности» (с. 153). Так выясняются пути и формы утверждения новой поэтики, про-

черчивается «издали» движение к символизму в русской литературе.

Освещая «эпизод из истории вечных образов» (так называется одна из статей, вошедших в книгу), Ю. Манн слушом нашего современника остро улавливает неожиданность в ту пору взгляда Тургенева на Дон Кихота как на «выражение прогресса» (с. 117), непривычность соотношения его «на равных» с Гамлетом.

Причастность к литературному процессу наших дней, занятия эстетикой, выполнение литературоведческой работы разного рода счастливо сошлись в Ю. Манне как историке литературы, и это единство приносит свои плоды.

На страницах книги автор справедливо утверждает, что реально историко-литературные концепции не живут вне материала, в котором они укоренены. И у самого Ю. Манна все его анализы в высшей степени плотны и наполнены. Они не только ведут к некоей итоговой мысли, подчинены ей, к ней направлены — именно в них она постоянно формируется. Потому в «пересказе», в изложении работы исследователя многое теряют; в них надо и стоит вчитываться внимательнейше.

Сомнения, замечания мои будут очень немногочисленны.

Завершая книгу, Ю. Манн пишет о том, что нельзя с уверенностью полагать, будто «сегодняшний выросший читатель требует от литературоведения того-то и не принимает того-то». Ожидания «сегодняшнего выросшего читателя» в самом деле многообразны, и многообразны задачи и перспективы нашей науки. Но сам-то автор словно бы готов вдруг последним огорчиться. Вслед за приведенными только что его словами

идет: «Увы, „принимает“» (с. 309). И разговор о сосуществовании, взаимодействии методов и приемов на сегодняшнем этапе сползает в иную плоскость — об «уровнях» читателей и «уровнях» подхода, что, как говорится, уже из совсем другой оперы.

Вряд ли можно признать вполне корректным, что, показывая преодоление Гоголем «двоирия» в русской комедии (в статье «Парадокс Гоголя-драматурга»), автор соотносит гоголевские пьесы лишь с произведениями Фонвизина, Княжнина, Капниста, Шаховского, но никак не касается «Горя от ума».

Жаль, что Ю. Манн не остановил внимания на таких, к примеру, фактах художественного развития, как создание С. Прокофьевым своей оперы по «Игроку» Достоевского целиком на основе прозаического текста самого романа или обнаруженное венгерским исследователем И. Месеричем «музыкальное построение» в «Записках из подполья». Тут ведь можно было бы увидеть результаты очень глубинного изменения «единиц художественной выразительности»... Но мало ли чего еще хочется!

Главный же итог рассмотрения той книги Ю. Манна, что сейчас перед нами, несомненен. Он в том, что на протяжении более чем двух десятилетий, выступая в печати на очень разные темы и по разным поводам, автор строго держался принципов историко-литературного исследования, понимая их вместе с тем широко и свободно. И это-то и позволило его статьям, внешне друг с другом вроде бы не связанным, естественно сложиться в книгу, которая по праву названа столь ответственно и даже рискованно.

И. Н. Сухих

## ДВИЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ \*

Первая книга А. П. Чудакова о Чехове появилась более пятнадцать лет назад. О «Поэтике Чехова» (М., 1971) много писали. Если бы наряду с индексом цитируемости ввести индекс полемичности, дискуссионности, работа А. П. Чудакова в 70-е годы оказалась бы, вероятно, на одном из первых мест. С выдвинутой автором концепцией «случайной» поэтики Чехова бурно спорили, ее осторожно корректировали — полностью ее поддержавших чеховедов, кажется, не было (если судить по печатным откликам). Автор книги в этих полемических баталиях видимого участия

не принимал. Он комментировал литературоведческую классику, выступал в дискуссиях о современной литературе, писал новые работы о Чехове. Его развернутый ответ явился теперь в форме новой книги — «Мир Чехова: Возникновение и утверждение».

Впрочем, и в ней А. П. Чудаков не переходит к прямому «выяснению отношений», полемика не превращается в развернутые ответы на возражения (такие «критики» и «антикритики» часто оказываются малопродуктивными). Она возникает лишь по ходу рассмотрения конкретных проблем, но более всего проявляется в самой структуре книги, ее проблемах, методике их рассмотрения. «Термин „случайный“», возможно, не совсем хорош, хотя бы потому, что

\* Чудаков А. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М.: Советский писатель, 1986. 380 с.

дал повод заподозрить его автора в мыслях об отсутствии отбора в искусстве, — замечает автор. — Но другие слова, относящиеся к этому качеству чеховского видения мира — „сиюминутное“, „единственное“, „преходящее“, „индивидуальное“ — покрывают его еще меньше. Оставляем „случайностное“ как привычный уже объект полемики (с. 152). «Мир Чехова», таким образом, рассматривается автором как развитие и продолжение его прежней книги, полемичность здесь выражается прежде всего в верности уже высказанным идеям, в том числе и «концептуальному ядру» первой монографии. Об этом отчетливо сказано в старомодно-почтительном примечании, заключающем введение: «С точки зрения хронологии (и генезиса) творчества Чехова новая книга должна предвзвешивать прежнюю, в учебных же целях — наоборот. Читатели, преследующие таковые, благоволят сначала обратиться к „Поэтике Чехова“, менее загруженной историко-литературными доказательствами» (с. 12). Так что обращение рецензента к обоим книгам, их сравнение и сопоставление задано самим автором.

Как и в прежней работе, А. П. Чудаков опирается в «Мире Чехова» на «уровневое» представление о структуре произведения. Но выделение уровней, членение художественного текста становится несколько иным. «Предметный, сюжетно-фабульный и уровень идей», а также «повествовательный уровень», находящийся в иной плоскости, — так выглядела исходная схема анализа в «Поэтике Чехова».<sup>1</sup> «Мы выделяем в художественной системе Чехова следующие уровни, или сферы: внешнего и внутреннего мира, сюжетно-фабульный, сферу героя и сферу идеи, — сказано в «Мире Чехова». — Сюда нужно присоединить и повествовательный (словесный, стилистически-языковой) уровень, лежащий в другой плоскости — или, если угодно, пронизывающий остальные по вертикали» (с. 11). «Герой», впрочем, присутствовал и в первой книге, но в качестве «категории, находящейся в одной плоскости с фабулой-сюжетом, входящей в тот же уровень системы».<sup>2</sup> Такое уточнение, придание понятию «герой» самостоятельного статуса кажется оправданным, оно в большей степени отвечает природе восприятия художественного образа.

Но ни в первой, ни во второй книге каждый из выделяемых уровней (или сфер) не анализируется с одинаковой обстоятельностью. Исходя из представления об «изоморфизме» разных уровней, А. П. Чудаков разворачивает свою концепцию на материале какого-то одного из них, а потом иллюстрирует своеобра-

жение ее проявления в иных сферах. Главным героем «Поэтики Чехова» было «повествование». Именно структуре повествования посвящено около половины книги. Доминантой «Мира Чехова» становится «предметный мир»: о нем — тоже примерно половина новой книги.

Чеховская художественная система (и предметный мир прежде всего) рассматривается автором в трех очень широких контекстах. Сама концепция «случайности» чеховской поэтики появилась в свое время как результат осмысления взглядов «изнутри» — критических отзывов современников Чехова о его произведениях. В «Мире Чехова» этот историко-литературный фон еще более расширен. Автор опирается на десятки и сотни работ о Чехове, разбросанных по страницам дореволюционной периодики. Как сообщено в предисловии, А. П. Чудаков предпринял фронтальный просмотр множества столичных и провинциальных изданий — подготавливаемый им библиографический указатель «Чехов в прижизненной критике», безусловно, будет важным источником для всех, кто занимается литературой конца века.

Второй контекст книги наиболее привычен. Своеобразие предметного мира Чехова выявляется — по контрасту — на фоне традиции большой русской литературы. Предмету у Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского были посвящены специальные статьи А. П. Чудакова — результаты этих изысканий отразились в книге.

В поисках же генезиса чеховской художественной системы автор монографии обращается к массовой литературе эпохи 50—70-х годов. В «Мире Чехова» она, пожалуй, впервые рассмотрена с такой широтой и обстоятельностью. В Билибин, Н. Лейкин, И. Мясницкий присутствуют в этой книге наравне с Толстым и Тургеневым. Именно в жанрах и формах массовой беллетристики видит А. П. Чудаков истоки чеховского новаторства: «На основе явлений, существовавших в современной литературе в одних случаях в полухудожественном, а в других — скорее предчувствованном, чем осуществленном, виде, в творчестве Чехова был создан новый художественный язык. Общие, ничейные и разрозненные элементы под его пером сложились в систему, создав новый тип литературного мышления» (с. 140). Это определение привлекает своей гибкостью, диалектичностью. Чехов не сводится к массовой беллетристике эпохи (масштаб его таланта и творчества постоянно учитываются), но в то же время не противопоставляется ей (чем увлекались многие чеховеды). Его творчество *выводится* из литературы эпохи.

Внимание к «фону» — принципиальная установка автора книги, очень важная потому, что вплоть до самого последнего времени (да и сегодня) литература чеховского времени изучена на

<sup>1</sup> Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971, с. 3—5.

<sup>2</sup> Там же, с. 228.

гораздо меньшую глубину, чем, скажем, пушкинская эпоха или 60-е годы. Лишь недавно, после большого перерыва, появились публикации текстов восьми- и девятидесятилетников (антология, составленные В. Катаевым и С. Букинским, сборник Л. Авилловой), немногочисленные проблемные статьи. «Изучить литературный фон необходимо еще и потому, что непонимание к нему приводит к неточностям, граничащим иногда с историко-литературными заблуждениями, — замечает автор в предисловии. — Так, в ряде работ 30-х годов (и некоторых современных) Чехов удостаивается больших похвал за краткость описания в его сценах обстановки, отсутствие развинутой характеристики героя и выявление его психологии в диалоге и т. п. Но все эти черты — общи для сценки 70—80-х годов XIX века» (с. 7). И это совершенно справедливо. Суждения такого рода встречаются и в современных работах о Чехове. В преодолении некоторых историко-литературных иллюзий и стереотипов работа А. П. Чудакова играет свою роль.

Сам «новый тип литературного мышления» определен в «Мире Чехова» уже знакомой по «Поэтике...» категорией «случайности»: «Как новый тип литературного мышления случайностный способ изображения был осознан только в творчестве Чехова» (с. 152). Эта мысль варьируется в книге неоднократно: «Видение мира в его индивидуально-случайностной неперархической целостности, равнозначительное к крупному и мелкому, с его особым отношением к внешнему складывает свой отпечаток на самую атмосферу бытия человека в чеховском изображенном мире» (с. 314); «Индивидуально-случайное в мире Чехова имеет самостоятельную бытийную ценность и равное право на воплощение наряду с остальным — существенным и мелким, вещным и духовным, обыденным и высоким» (с. 365). Однако в ее обосновании, в системе доказательств, кажется, появились существенные акценты. Автор, на что мы уже обратили внимание выше, советует воспринимать обе книги как две части единого исследования. Представляется, что с не меньшим основанием их можно рассматривать как *два этапа* живой, развивающейся мысли, сходной в предисловиях, по уточняющей саму себя.

В «Поэтике Чехова» идея обосновывалась резко, графично, безапелляционно, «случайные» детали напрямую связывались с «адогматизмом» бытия: «Абсолютно адогматично единственно само бытие, сама текущая жизнь. Она неразумна и хаотична; и только ее смысл, ее цели неизвестны и не подчинены видимой идее. Чем ближе созданный мир к естественному бытию в его хаотичных, бессмысленных, случайных формах, тем больше будет приближаться этот мир к абсолютной адогматичности бытия.

Мир Чехова — именно такой мир».<sup>3</sup> Рассматривая через несколько страниц вопрос о характере чеховского идеала, автор тут же останавливает себя: «Следует сделать одну существенную оговорку. В такой принципиально адогматической модели мира, как чеховская, понятие „чеховский идеал“ очень условно. Оно означает лишь то, что этот идеал наиболее часто обсуждается в чеховских произведениях и что ему отдано авторское сочувствие».<sup>4</sup> Оговорка здесь лишь подчеркивала непримиримость авторской концепции.

В «Мире Чехова» система доказательств становится более гибкой, уступчивой, резкие контуры размываются полутонами, оговорки носят уже не обостряющий, а уточняющий характер. К одной из главок А. П. Чудаков нашел, мне кажется, очень удачный эпиграф из Г. Гессе: «Чем четче и непреклоннее мы формулируем тезис, тем неумолимее он требует своего аптитезиса» (с. 190). В ней отмечается, что «оппозицией „неслучайное—случайное“ и композиционно-стилистической организацией с доминированием эффекта случайности сложность структуры чеховского предметного мира не исчерпывается» (с. 190). «Вводя индивидуальную деталь, рождающую главный требуемый эффект — изображение жизни в неотобразной целостности, индивидуально-текущих чертах, — рассуждает далее автор, — Чехов одновременно, посредством этой же детали воздает другой эффект — поэтической необходимости ее для целого» (с. 193). Т. е., рассуждая в системе предложенных А. П. Чудаковым категорий, случайное на предметном уровне оказывается необходимым и *системным* на уровне повествовательном. В одной из последующих глав идет речь — уже без всяких оговорок — о характере чеховского этического идеала: непреклонно сформулированный в первой книге тезис и здесь дополняется «антитезисом», концепция становится более гибкой. Концепция «случайности», изложенная в «Мире Чехова», думается, вызовет меньше споров и возражений. Она та же и все-таки иная.

Но эту книгу нельзя читать только ради концепции. Она насыщена тонкими наблюдениями, разборами, замечаниями: о специфике жанра «сценки», о характере чеховского психологизма, пейзажа, о роли быта в его произведениях, о проблемах циклизации и прототипов...

Книга «Мир Чехова», думаю, будет интересна не только для специалистов по Чехову. Задача создания исторической поэтики (поставленная А. Н. Веселовским, В. Я. Проппом, М. М. Бахтиным) применительно к позднейшей русской литературе сегодня из сферы желаемого постепенно переводится на ста-

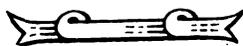
<sup>3</sup> Там же, с. 263.

<sup>4</sup> Там же, с. 266.

дию практической реализации. Кажется, для этого уже есть некоторый фундамент. В 70-е годы появились «Поэтика русского романтизма» Ю. В. Манна и «Поэтика русского реализма» Г. М. Фридендера, работы о «поэтиках» и «мирах» Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого. В 1986 году вышел сборник «Историческая поэтика: Итоги и проблемы изучения», одним из участников которого был и автор рецензируемой книги. Однако эти довольно многочисленные уже работы используют разный категориальный аппарат и методiku анализа, что затрудняет будущее сведение их результатов в непротиворечивую систему. «Если говорить об изучении структуры художественного мира, то больше всего здесь сделано поэтикой (в лучших ее образцах). При этом, однако, примеры целостного анализа *всего* мира писателя назвать весьма затруднительно», — точно фиксирует сегодняшнюю ситуацию А. П. Чудаков (с. 3). И его работу можно рассматривать как

еще один поиск в этом направлении, как попытку дать парадигму анализа разных художественных систем (миров) в их основных аспектах (причем предметный мир рассмотрен в книге на материале почти всего XIX века). Правда, выделение уровней и в новой книге вызывает ряд вопросов. Скажем, внутренний мир, кажется, логичнее рассматривать не как особую сферу, а как аспект характеристики героя, персонажа. Не совсем ясно также, как совместить традиционный стилистический анализ и анализ предметного мира (в статье в сборнике «Историческая поэтика...» А. П. Чудаков затрагивает эту проблему, но мимоходом), какое место займет в общей схеме бахтинская категория «хронотопа» (вероятно, предметный мир — это часть пространственно-временной организации художественного мира).

Как и всякая серьезная поисковая работа, книга А. П. Чудакова, давая ответы, вызывает новые вопросы.



# ХРОНИКА

## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ

В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР 2 ноября прошлого года состоялась юбилейная конференция, посвященная 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Открывая конференцию, директор Института доктор филол. наук Н. Н. Скотов отметил, что она посвящена выдающейся дате и имеет все приметы праздничности: по времени проведения, по характеру докладов и по направленности их. В то же время это именно рабочая конференция, ставящая целью уяснить, в каком состоянии подходит к знаменательной вехе на нашем историческом пути филологическая наука, какое место занимают в ней работы, созданные и подготовленные в Пушкинском Доме. Поэтому наряду с докладами, имеющими общеметодологический характер, будут представлены сообщения, приобретающие значение своеобразных отчетов. Обязывающая к подведению итогов дата — 70-летие существования нашей страны — не носит внешний характер. Само наше общество переживает состояние, которое предполагает новый синтез всех плодотворных усилий предшествующих десятилетий: с этой точки зрения особый смысл сейчас приобретает предложенная советской академической наукой теория открытого социалистического искусства.

В докладе канд. филол. наук А. А. Горелова «Советская фольклористическая русистика за 70 лет» было охарактеризовано сложное становление и развитие советской фольклористики, имевшее в разные периоды свои вершины и спады. Возникшая на базе демократического народознания и академической дореволюционной науки, которая занимала ведущие позиции в европейском и мировом научном процессе, советская наука достаточно быстро (об этом говорят труды 20-х годов, представленные именами Б. М. и Ю. М. Соколовых, А. П. Скафтымова, А. И. Никифорова, М. К. Азадовского, В. Я. Проппа и др.) достигла серьезных результатов. Окончательное утверждение марксистско-ленинского мировоззрения во всей сфере исследования и истолкования фольклора относится к 30-м годам, хотя вместе с тем тогда же в науке произошел целый ряд отступлений от программ объективного и полного изучения народной культуры фольклорного извода, на что

в особенности повлияла обстановка второй половины тех же 30-х годов. В докладе были охарактеризованы основные линии движения советской фольклористической русистики последующего времени, приведшие к выдающимся итогам в области издания и осмысления русского фольклора, что в свою очередь способствовало укреплению возникших с 20-х годов национальных ветвей советской науки о народной поэзии в республиках СССР. В заключение докладчик остановился на неотложных задачах фольклористики в условиях перестройки советского общества, определенной XXVII съездом КПСС.

Доктор филол. наук О. В. Творогов выступил с докладом «Изучение древнерусской литературы за годы Советской власти». Он осветил основные направления исследований и привлек внимание к достижениям последних десятилетий. Во-первых, это существенное расширение исследовательской базы: изучены и научно изданы многие десятки памятников древнерусской литературы, открыто много неизвестных памятников, введены в научный оборот вновь открытые жанры и литературные школы. Во-вторых, глубоко исследована художественная специфика древнерусской литературы, созданы обобщающие труды по поэтике и истории литературных стилей. В-третьих, развитие литературы древней Руси представлено как процесс, обусловленный развитием древнерусского общества, литература тесно увязывается с современными ей явлениями в других областях русской культуры. Наконец, важнейшим достижением отечественной медиевистики явилось то, что знания о литературе и культуре древней Руси вошли в основной фонд современной гуманитарной культуры, привлекли интерес широких кругов читателей, стали существенным элементом патриотического воспитания нашего общества.

Доклад доктора искусствоведения Ю. К. Герасимова «Русская классическая литература в научном освещении: Актуальные проблемы» был посвящен анализу проблематики текущей работы отдела и перспективам его дальнейшего научного развития. Отдел сосредоточен на изучении русской литературы XVIII, XIX и начала XX века. На первом месте в отделе продолжает оставаться работа над академическими изданиями (Достоевский, Тургенев, Некрасов, Блок), в

процессе которой осуществляется выход сборников типа «Материалы и исследования», индивидуальных монографий, а в ближайшем будущем намечено создание коллективных трудов, обобщающих опыт текстологического прочтения и комментирования классиков, а также обобщающего труда «Итоги и проблемы изучения Достоевского». В том же ряду стоят «Летописи жизни и творчества» (Достоевского, Тургенева). В замыслах отдела — академические издания Сумарокова, Фонвизина, Грибоедова, Гончарова. Идет работа над коллективным трудом «Великая французская революция и русская литература», готовится новый щедринский сборник.

Актуальной проблемой, продолжал докладчик, является изучение поэтики, эстетики и стилистики русской литературы. В отделе задумано несколько сборников по этой проблематике — сборник о Веселовском, включающий публикации из рукописного отдела ИРЛИ, стиховедческий сборник, труд «Русский рассказ: История и теория жанра». В отделе назрела потребность пересмотреть, уточнить, а главное, расширить круг проблем, встающих при изучении истории русской критики. Сборник, посвященный малоизученным вопросам истории критики, будет началом исследований в этой области.

Докладчик также остановился на некоторых аспектах изучения таких важных проблем, как «интерпретация литературного произведения», «фольклор и литература». В заключительной части доклада рассматривались проблемы изучения русской литературы начала XX века. Ближайшей задачей, по мнению Ю. К. Герасимова, может стать изучение модернистской прозы, что приблизило бы к решению принципиальных вопросов, связанных с концепцией литературного развития данного периода.

Доктор филол. наук Н. А. Грознова в своем докладе рассмотрела некоторые вопросы теории социалистического реализма («результаты дискуссии 70—80-х годов о социалистическом реализме как „открытой“ системе»; «проблема реализма в социалистическом реализме»; «роль концепции преемственности в оформлении теории социалистического реализма» и др.). Особое внимание было уделено литературным группировкам 20-х годов; было подчеркнуто, что литературные группировки этого времени чаще всего выражали идеи сюрреалистического толка и не способствовали обогащению литературного процесса пореволюционного периода. Н. А. Грознова рассмотрела ряд работ последнего времени, посвященных творческому методу советской литературы.

В докладе доктора филол. наук А. Н. Иезуитова «Октябрьская революция и развитие литературы (вопросы методологии)» было показано непреходящее значение ленинского понимания револю-

ции как конкретно-исторического явления, «в непосредственном значении этого слова», и революции как длительного исторического процесса, имеющего свои этапы и специфические особенности, для верного понимания характера послеоктябрьского литературного развития вплоть до современности. В связи с этим докладчиком были рассмотрены следующие вопросы: о прямом и опосредованном воздействии Октябрьской революции на литературу; о специфике начального периода пролетарской революции как периода «революционного вихря» и его отражений в литературе (А. Блок, В. Маяковский, Б. Лавренев и др.) через образно-семантический ряд «буря — ветер — вихрь»; о соотношении явлений и понятий «революция» и «революционные приемы», «революция» и «революционная реформа» применительно к развитию советской литературы, включая современную. В докладе было раскрыто также своеобразное наполнение в современных социально-исторических условиях понятий «революционное» и «хозяйское» отношение к жизни, важнейших для теории и практики литературы социалистического реализма. При этом подчеркивалось, что в марксистско-ленинском понимании революционное, хозяйское отношение человека к жизни не имеет ничего общего с волюнтаристским подходом к ней во имя сиюминутных интересов и потребностей, а предполагает как духовно-нравственную обязанность самое бережное отношение человека к окружающему миру, заботу об охране его от всякого угрожающего ему вреда, бед и зла, активное и продуманное использование лишь в гуманных целях.

Содержание доклада доктора филол. наук В. В. Бузник — проблемы изучения ранней советской прозы. В значительной мере они обусловлены общим состоянием современной филологической науки. Наряду с достижениями последних десятилетий отчетливо обозначаются нерешенные задачи. Среди последних едва ли не самой главной представляется задача всемерного соединения усилий истории литературы и ее теории. Пока что историко-литературные труды нередко страдают эмпиричностью, тогда как теоретические обнаруживают недостаточность уважения и внимания к реальным фактам литературной истории. В результате многие важные проблемы развития ранней прозы Октября остаются неразработанными. Такова, например, проблема своеобразия 20-х годов как периода, отличающегося внутренней цельностью и завершенностью. Между тем теоретически направленное исследование этой проблемы на материале конкретных фактов, явлений ранней советской прозы могло бы не только прояснить общие закономерности развития литературы, рожденной революцией, но и пролить свет на некоторые острые вопросы теку-

щей литературы, пока что бесплодно и умозрительно дебатлируемые критикой. «Личность и общество», «человек и природа», «живое и железное», «разум и чувство», «документ и вымысел», «символ и правда жизни» — всеми этими проблемами в свое время мучительно переболела молодая революционная проза. Ее опыт, таящий в себе немало поучительных уроков, нуждается в современном осмысленном исследовании.

Канд. филол. наук В. В. Базанов в докладе «Историко-литературные материалы революционных лет в рукописном отделе Пушкинского Дома» охарактеризовал хранящиеся в архивах советских писателей и различных собраниях коллекционеров разнообразные документы и материалы периода Октябрьской революции и гражданской войны, многие из которых являются не столько, так сказать, историко-литературными материалами с различной степенью информативности и ценности, сколько прежде всего примечательными человеческими документами, на редкость ярко раскрывающими сами судьбы людей и их мировосприятие в переломную для каждого человека в отдельности и для страны в целом эпоху революционного обновления мира.

Около 300 фондов рукописного отдела Пушкинского Дома содержат различные материалы, имеющие самое непосредственное отношение к литературному процессу первых лет Октября. Наряду с архивами широкого круга писателей — и тех, чья творческая биография началась задолго до Октября и продолжалась после революции (А. Блок, В. Брюсов, Ф. Сологуб, М. Волошин, Вас. Князев и мн. др.), и тех, кто в революционные годы делал первые шаги в литературе, лишь много позднее в полной мере ощутив себя писателем (Ф. Гладков, Ю. Либединский, Б. Лавренев, М. Зощенко, Н. Тихонов, А. Прокофьев и мн. др.), — несомненный интерес представляют архивы многих литературоведов и критиков той поры, редакционно-издательских работников, ряда журналистов и т. д., а также имеющиеся в Пушкинском Доме архивы отдельных периодических изданий тех лет, некоторых издательств и различных литературных организаций и объединений.

Научные итоги конференции подвел доктор филол. наук Н. Н. Скатов, который отметил, что она послужит важным стимулом для дальнейших научных исследований коллектива Пушкинского Дома.

**В. К. Петухов**

## НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ИЗДАНИЯ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ А. С. ПУШКИНА

24—25 ноября 1987 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР прошла научно-практическая конференция, посвященная проблемам издания Полного собрания сочинений А. С. Пушкина. Она собрала ведущих специалистов страны, плодотворно работающих в области изучения творчества Пушкина.

Конференцию открыл доктор филол. наук, директор ИРЛИ Н. Н. Скатов. Целью конференции, сказал он во вступительном слове, является выработка принципов нового академического собрания сочинений Пушкина. У задуманного издания — солиднейший фундамент: это и Большое, шестнадцатитомное собрание сочинений (1937—1949), и последовавшее за ним малое академическое издание под редакцией Б. В. Томашевского. Однако в настоящий момент эти издания не удовлетворяют ни специалистов, ни массового читателя. Причина этому — неполнота состава, а также характер комментариев: их краткость, а по сути зашифрованность определяет необходимость в **объемном, полном** комментарии

всех пушкинских произведений, всех текстов, вышедших из-под пера великого поэта.

В своем докладе доктор филол. наук, зав. Отделом пушкиноведения ИРЛИ С. А. Фомичев напомнил присутствующим о тех требованиях, которые предъявляются к академическим изданиям классиков: полнота и точность текстов, развернутый комментарий к ним. В Большом академическом собрании сочинений Пушкина эти принципы выдержаны не были: в нем нет томов «Рисунки» и «Рукою Пушкина», не включена поэма «Тень Баркча», нет полного свода всех редакций и вариантов произведений. Например, из шести редакций «Домика в Коломне» приведены лишь три, а из двух «Русалки» — ни одной, все они рассыпаны по вариантам и комментариям. Не удовлетворяет и жанровая дифференциация, проведенная в Большом академическом собрании сочинений, в особенности это касается томов пушкинской лирики, куда попали отрывки из поэм, сказок, драматических произведений Пушкина разных лет.

В ходе обсуждения для всех спорных в жанровом отношении произведений должно быть найдено обоснованное место, не нарушающее жанрового принципа размещения текстов в изданиях.

Общий план издания и основные этапы его подготовки сводятся к следующему. Академическое полное собрание сочинений и писем Пушкина включает в себя все произведения писателя (как законченные, так и незаконченные) с полным сводом редакций и вариантов, а также пушкинские записи, выписки и официальные бумаги. Таким образом, из собрания сочинений не уstraшено ничего, что было написано рукою Пушкина. Каждый пушкинский текст сопровождается текстологическим, историко-литературным и реальным комментарием.

Издание построено по жанрово-хронологическому принципу и включает в себя следующие разделы: лирика, стихотворные произведения больших жанров (в том числе всю драматургию), проза (художественная, критико-публицистическая, историческая, автобиографическая), переписка. Внутри каждого подраздела (например, художественная проза) вначале в хронологической последовательности печатаются произведения законченные и предназначенные для печати (включая произведения, не опубликованные при жизни писателя по цензурным причинам), затем произведения незаконченные, наброски и планы (как правило, они занимают отдельные тома). В томах лирики произведения размещаются по годам (внутри каждого года сначала идут произведения законченные, затем незаконченные). Издание заключается справочным томом.

Все издание делится на две серии, первая из которых (массовая) включает дефинитивные тексты (как законченных произведений, так и незаконченных) с историко-литературным и реальным комментарием, вторая, рассчитанная на специалистов и выпускаемая ограниченным тиражом, в зависимости от заявок подписчиков, — полный свод редакций и вариантов, текстологический комментарий и нетворческие записи Пушкина. Издание планируется в 20-ти томах (35-ти книгах), причем т. 1—15 делится на два полутома (первой и второй серии), которые готовятся, утверждаются к печати и выходят в свет одновременно.

Состав издания: 1. Лицейские стихотворения. 2. Лирика 1817—1824. 3. Лирика 1824—1829. 4. Лирика 1830—1836. 5. Поэмы. 6. Сказки. Поэмы и сказки (неоконченные). 7. «Евгений Онегин». 8. Драматургия. 9. Художественная проза. 10. Художественная проза (неоконченное). 11. Автобиографическая проза. Рукою Пушкина. 12. Критика и публицистика. 13. Критика и публицистика (неоконченное). 14. Историческая проза. 15. Историческая проза (неоконченное). 16—20. Переписка. Справочный том.

Том «Лицейские стихотворения» (в составе двух полутомов) будет издан к 1990 году отдельным изданием и по выходе из печати обсужден, что поможет внести окончательные коррективы в план, структуру и принципы издания перед объявлением подписки на него. Подготовка томов 2—15 будет вестись одновременно под руководством утвержденных редакторов (в необходимых случаях принципиальные и сложные вопросы подготовки отдельных томов будут выноситься на заседания редколлегий издания). Каждый том до утверждения в печати на Ученом совете ИРЛИ проходит контрольное рецензирование, результаты которого рассматриваются на заседании редколлегии. Работа над полновинной томов всего издания закончится в 1992 году, когда можно будет объявить подписку на Полное собрание сочинений А. С. Пушкина.

Канд. филол. наук, вед. научн. сотр. ИРЛИ В. Э. Вадуру посвятил свой доклад проблемам, связанным с изданием лицейских стихотворений Пушкина. Как известно, лицейская лирика (1813—1817) подвергалась Пушкиным правке на протяжении едва ли не десятилетия после окончания им Лицея. Что же в таком случае подлежит публикации в первом томе академического собрания — стихи, вышедшие из-под пера Пушкина в лицейский период, или же тексты, выправленные зрелым уже поэтом? Редакторы, следовавшие в своей практике по первому пути, нарушали, с современной точки зрения, авторскую (последнюю) волю. С другой стороны, такой подход обпаруживает и свои плюсы, ибо позволяет увидеть творения юного поэта. Иной путь избрали редакторы гихловского десятилетнего издания, публиковавшие тексты в соответствии с последней авторской волей. Однако в таком случае пушкинская лирика, которую принято называть лицейской, перестает в некотором смысле быть таковой. При подготовке первого тома нового собрания сочинений поэта в основу был положен принцип публикации стихотворений по последней лицейской редакции. Но при таком подходе стал необходим дополнительный раздел текстов, которые правилось Пушкиным в последующие за лицейскими годы. Работа велась не на пустом месте. Как известно, существуют корректурные листы первого тома полного собрания сочинений Пушкина, подготовленного к печати М. А. и Т. Г. Цявловскими. Проведенная ими работа нуждалась прежде всего в редакторских сокращениях, проверке, наконец, в учете новейших достижений пушкиноведения. Комментаторы первого тома собрания сочинений Пушкина руководствовались представлениями о том, что комментарий академического издания не должен быть исследовательским. Предельная объективность в подведении итогов изучения того или иного стихотворения

Пушкина — вот основное требование. Необходимыми в комментарии представляются и какие-либо попытки интерпретации. В комментаторском деле много тонкостей. Так, осторожность требуется при выборе необходимых для объяснения реалий; множественность установленных реминисценций также может порой насторожить как свидетельство незнания общих мест поэзии определенного периода.

Доклад канд. педагог. наук, ст. научн. сотр. ИРЛИ Я. Л. Левкович был посвящен проблемам издания автобиографической прозы Пушкина. Определение состава пушкинского тома, который бы включил такого рода произведения, одна из сложнейших текстологических проблем пушкиноведения. Наша наука не знает двух изданий сочинений Пушкина с идентично составленными томами таких произведений. Это связано и с фрагментарностью автобиографической прозы, и с ее содержанием — автобиографические по своему характеру записи Пушкина сливались порой с описанием общественных событий, литературными портретами, критическими заметками, анекдотами. Некоторые из творческих начинаний Пушкина, которые принято обозначать как «заметки», «отрывки», «наброски», возможно, относятся к автобиографической прозе, но не учитываются в соответствующих разделах сочинений Пушкина, некоторые, наоборот, присоединяются к автобиографической прозе без достаточных оснований. Я. Л. Левкович проанализировала в своем докладе соответствующие разделы 16-томного собрания сочинений, малого академического (различные его издания) и гихловского десяти томного изданий. Далее она остановилась на проблеме формирования тома автобиографической прозы Пушкина в будущем Полном собрании его сочинений. При составлении его следует учитывать тот факт, что замысел Записок Пушкина на протяжении 15 лет претерпел эволюцию, в ходе которой менялись и их установка, и тематика, и композиция, и повествовательные принципы. Поэтому произведения, первоначально задуманные Пушкиным как подступы или фрагменты своих мемуаров, утратили присущие этому жанру признаки и вошли в иной раздел сочинений поэта («Путешествие в Арзрум», «Исторические замечания», «Опровержения на критики»). Если редколлегия в ходе обсуждения решит все же не включать эти произведения в том автобиографической прозы, то особый их характер должен быть специально оговорен в комментарии.

Доктор филол. наук А. Л. Гришунин (ИМЛИ) напомнил присутствующим о вышедшем в 1935 году VII томе Полного собрания сочинений Пушкина, которому суждено было остаться единственным, томом без издания. Причиной этому были жесткие сроки, установленные

для выхода всего академического собрания: при столь обстоятельном комментарии выпустить его к юбилею 1949 года было невозможно. Выход этого тома был событием в пушкиноведении; под председательством М. А. Цявловского Пушкинская комиссия обсудила его в Москве 21 апреля 1936 года. Стенограмма этого заседания сохранилась в архиве Н. Ф. Бельчикова. Главной темой дискуссии была проблема пушкинского текста. Интересные суждения по этому вопросу высказали С. М. Бонди, Д. П. Якубович, Г. О. Винокур, В. В. Вересаев и Д. Д. Благой. Свообразный итог дискуссии подвел Б. В. Томашевский. Принцип подготовки текстов для академического издания он назвал принципом «максимальной робости» — когда исправления допускаются только при стопроцентной уверенности в их правильности. Печатается не документ, а пушкинское произведение. Документы для нас равноправны, и мы даем наиболее вероятные чтения. В выборе варианта всегда есть риск, есть спорные вопросы. Нельзя смотреть на академическое издание как на Священное писание; это научное исследование и, как таковое, оно верно не на все 100%. Далее участники совещания обсудили комментаторскую часть седьмого тома. Комментарий в нем С. М. Бонди охарактеризовал как «наиболее полный». Это было одобрено большинством выступавших. По мнению Д. Д. Благого, комментарий академического издания и должны быть больше; две пятых объема тома на комментарии можно считать нормой. Обсуждение седьмого тома в 1936 году — важный этап истории советского академического издания сочинений Пушкина. Все обсуждавшиеся на нем вопросы сохраняют свою актуальность также и в наши дни.

Доклад научн. сотр. ИРЛИ Т. И. Краснородько был посвящен проблеме полного издания всего комплекса документов, выписок, помет, расчетов Пушкина, т. е. его нетворческих рукописей. Начавшееся в 1937 году издание пушкинских сочинений предполагало включение в собрание всего, «что было написано собственной рукой Пушкина». Однако впоследствии жесткие сроки окончания издания потребовали сокращения объема ряда томов, и весь комплекс деловых бумаг Пушкина был исключен из XII тома. Таким образом, вышедший в 1935 году сборник «Рукою Пушкина» остается и по сей день единственным далеко не полным сводом пушкинских текстов нетворческого характера. В архиве Цявловских уцелела часть машинописи запланированного тома и два проекта плана, которые предусматривали иное деление на главы и иную их последовательность, чем в книге «Рукою Пушкина». Все тексты нетворческого характера были разделены на две крупные категории: имеющие

отношение к литературной деятельности и составляющие материал для биографии Пушкина. В каждой текст распределены по нескольким разделам. С учетом работы, проделанной Т. Г. Цявловской, а также и того плана, который лег в основу книги «Рукою Пушкина», сотрудниками Отдела пушкиноведения в настоящее время составлена картотека всех пушкинских бумаг нетворческого характера. Часть из них, которую можно приурочить к конкретным произведениям, «уйдет» в соответствующие тома как начальный этап работы над ними. В том автобиографической прозы Пушкина может быть включена большая группа записей и помет биографического характера. При всем этом корпус бумаг «Рукою Пушкина» остается довольно объемным, причем значительное место в нем составляют документы, не поддающиеся дифференциации по какому-либо признаку; они должны составить раздел «Разное». Туда войдут и тексты, которые еще не расшифрованы и представляются довольно любопытными в биографическом плане.

В докладе канд. ист. наук Р. Г. Жуйковой (ВМП, Ленинград) «Проблемы издания рисунков Пушкина» был сделан краткий обзор истории изучения графики поэта. В работах А. М. Эфроса, Т. Г. Цявловской, М. Д. Беляева и др. было положено начало целой отрасли пушкиноведения. Вместе с тем в ней существует ряд пробелов, связанных с недостаточной изученностью автоиллюстраций, пейзажных рисунков, наконец, с невысоким теоретическим уровнем понимания этой стороны творчества Пушкина. Настораживает разноречивость в атрибуциях портретных зарисовок поэта, отсутствие оценки различных методов, положенных в основу такого рода операций. В настоящее время ведется работа по созданию каталога атрибуций портретных рисунков, осуществляемая на основе картотеки ВМП. В этих условиях необходимость опубликования полного свода рисунков Пушкина как основного условия их научного изучения абсолютно ясна. Напомним, что половина из них вообще еще ни разу не воспроизводилась. За единицу воспроизведения должна быть принята вся целиком страница с рисунком и текстом (а не только графический фрагмент страницы), что позволит показывать рисунки в их естественной композиции и представить графику как органический компонент рукописей. Исходя из количества материалов (только страниц с рисунками 900, по подсчету Т. Г. Цявловской), недостаточно запланировать один том, посвященный графике. В преддверии 200-летнего юбилея поэта этот долг по отношению к его творческому наследию должен быть наконец выполнен советским пушкиноведением. Полное собрание графики Пушкина, несомненно, станет событием нашей науки.

Заседание 25 ноября было посвящено обсуждению докладов, а также тех вопросов, которые непосредственно связаны с практической работой по изданию Полного собрания сочинений Пушкина. Выступившие на нем высказали свое мнение по поводу плана издания, инструкции по комментированию произведений, а также тома лицейских стихотворений, который был предложен для обсуждения участников конференции.

Заседание было открыто выступлением доктора филол. наук Л. С. Сидякова (Рига). По его мнению, предложенное в докладе С. А. Фомичева разделение текстов на оконченное и неоконченное не может быть на практике осуществлено вполне удовлетворительно. Попытка такого рода при издании десятитомника ГИХЛ закончилась плачевно. Что же касается вопроса о структуре всего издания, то он может быть решен следующим образом: большое академическое и вслед за ним малое. Впрочем, решение этой проблемы может быть несколько отодвинуто во времени. Другой вопрос требует своего немедленного и точного решения: что отличает редакцию от вариантов в ходе правки произведения? Здесь необходима выработка единого подхода всех редакторов издания. Л. С. Сидяков остановился на проблеме жанровой дифференциации пушкинских произведений. Передвижки внутри уже сложившихся разделов должны быть взвешены, дабы не нарушить ненужными новациями традиций, ставших уже достоянием культуры. Далее докладчик поддержал высказанное В. Э. Вацуру мнение о том, что комментарий текста не должен подменять собой исследование. Большие сложности встают при публикации и комментировании пушкинских деловых бумаг. По-видимому, не все должно быть распределено по вторым полутомам; необходим особый том «Рукою Пушкина», охватывающий самый разнообразный пласт нетворческих рукописей Пушкина. Л. С. Сидяков высказал отдельные замечания по поводу предложенных для обсуждения документов, призванных регламентировать будущее пушкинское издание.

Канд. филол. наук, ст. научн. сотр. ИРЛИ Н. Н. Петрунина начала свое выступление сожалением по поводу того, что такая важная для судеб нового академического издания конференция проводится в отсутствие председателя Пушкинской комиссии Д. С. Лихачева. Вынесенный на обсуждение «Общий план издания» в 1980—1987 годах не раз служил для пушкинистов предметом дискуссий, в ходе которых серьезнейшие замечания были высказаны прежде всего пушкинистами старшего поколения, начинавшими свою работу под руководством тех, кто готовил существующее академическое издание Пушкина. Две отличительные особенности этого проекта связаны между со-

бой. Это: 1) совмещение в одном издании академического и популярного, 2) последовательное разделение произведений Пушкина по степени завершенности. Осуществление такой программы приведет к тому, что издание не будет отвечать ни нуждам ученых, ни интересам широкого читателя.

Академическое издание — это издание, которое в первую очередь отвечает потребностям развивающейся науки о Пушкине. Пушкинисты 20—30-х годов не мыслили себя вне задач культурной работы высокого просветительского накала. Не случайно, завершив Пушкина академического, они оставили нам и два типа массового издания — десятиптомники московский, Гослитиздата, и ленинградский, АН СССР. Первый из них наруживает неудобства, которые несет с собой осуществленный на практике принцип деления текстов на оконченные и неоконченные. Структура московского десятиптомника чрезвычайно затрудняет пользование этим изданием. Помимо неудобств такого рода проект С. А. Фомичева, по мнению Н. Н. Петруниной, вызывает и непродуктивное наращивание объемов (об этом можно судить хотя бы по повторению заголовочных данных во вторых полтумах). И это не говоря уже о том, что текстологический комментарий и история текста попадут в разные полтума. Свое выступление Н. Н. Петрунина закончила призывом к большей коллективности в работе по подготовке нового Полного собрания сочинений Пушкина.

Докт. филол. наук А. П. Чудаков (ИМЛИ) в своем выступлении высказался в поддержку проекта издания, изложенного в докладе С. А. Фомичева. Проект содержит ряд положительных моментов, которые помогут развернуть задуманное издание в действительно полное собрание сочинений Пушкина. Когда мы говорим об издании пушкинских томов в двух книгах, то в этом нет ничего от желания совместить популярное и научное издание. Однако возможность приложить второй полтом к основному корпусу сочинений Пушкина значительно расширяет границы публикации вариантов, редакций, деловых бумаг Пушкина и комментариев к ним по сравнению с теми, что определяются ныне практикой издания «сплошных» академических собраний сочинений. Вместе с тем все эти плюсы будут работать лишь при одном условии: если оба полтума будут выходить одновременно. А. П. Чудаков остановился на проблеме оконченого и неоконченного у Пушкина. Такое деление может быть единственно возможным в отношении наследия других художников, что же касается Пушкина, то здесь необходим учет сложившейся культурной традиции. Далее докладчик высказал свое впечатление о первом томе лицейских стихотворений Пушкина, предложенном для обсужде-

ния участникам конференции (ред. В. Э. Вадуро). Он отметил излишнюю краткость комментария в нем. Комментарию недостает не только интерпретаторских моментов, но и историко-литературных реалий; в нем отсутствует критика источников, анализ исследовательских и редакторских ошибок, лингвистический комментарий. А. П. Чудаков поддержал предложение Т. И. Краснородько о введении раздела «Разное» при публикации «Рукою Пушкина». В заключение он указал на те мероприятия, которые могли бы стать своего рода «спутниками» издания: периодические научно-практические конференции, факсимильные издания тетрадей поэта и др. Московские пушкинисты, сказал Чудаков, с большим интересом следят за подготовкой издания и готовы принять в нем самое активное участие, в особенности в томах художественной прозы Пушкина.

В своем выступлении доктор филол. наук А. А. Макаров (ИМЛИ) поддержал проект издания, изложенный в докладе С. А. Фомичева. Идея издания отдельных пушкинских томов в двух книгах в сущности развивает те предположения относительно академического собрания, которые не смогли применить на практике во всей полноте создатели ныне существующего издания академического Пушкина. Далее Макаров поделился своими воспоминаниями о беседах с Т. Г. Цявловской по поводу издания тома лицейских стихотворений Пушкина, который, как известно, сохранился в корректурных листах в ее архиве. В пушкинских стихах лицейского периода Т. Г. Цявловской были выделены 5 слов поправок. По ее мнению, печатать лицейские стихи Пушкина следовало по их первой редакции, в хронологическом порядке воспроизводя далее все слои пушкинской правки. Такой подход к изданию лицейских стихотворений Пушкина дает ощущение одновременности их создания, некоего творческого единства. Строгое соблюдение принципа хронологии в первом томе необходимо перед лицом того факта, что жанровый принцип в нем фактически отброшен. По мнению А. А. Макарова, следовало бы с большим вниманием отнестись к заветам великих пушкинистов, работа которых была положена в основание первого тома, предложенного ныне для обсуждения участников конференции.

Канд. филол. наук, науч. сотр. ИРЛИ Н. С. Никитина высказала удовлетворение выступлением Н. Н. Петруниной, внесшей, по ее мнению, ясность в вопрос о принципах задуманного издания. Н. Н. Петрунина изложила иную концепцию нового собрания сочинений Пушкина, нежели та, что была предложена в докладе С. А. Фомичева. Предложения последнего вызывают целый ряд возражений. Почему заведующий Отделом пушкиноведения считает, что текстологическая часть комментария не нужна

широкому читателю? Почему ее нужно выносить во второй полутом? Первый том, предложенный на обсуждение участников конференции, сделан по «старым» академическим принципам, отсюда можно сделать вывод о невозможности применения на практике новаций С. А. Фомичева. В данном случае отсутствие образца говорит само за себя. По мнению Никитиной, Отдел пушкиноведения при подготовке инструкций задуманного собрания сочинений Пушкина не учел всего опыта по изданию классиков, накопленного в ИРЛИ. Далее она остановилась на недостатках комментария стихотворения Пушкина «Погасло дневное светило», который был предложен для обсуждения участников конференции.

Доктор филол. наук, гл. научн. сотр. ИРЛИ Г. М. Фридендер свое выступление начал с напоминания трагической истории издания шестнадцатитомного собрания сочинений Пушкина. Оно во многом отразило изменения в жизни общества, сопутствовавшие годам, когда оно осуществлялось. В этом смысле и Полное собрание сочинений Горького, продвигающееся и поныне, было компромиссом для своего времени; отсюда и необходимость издания его сериями. Для изданий ИРЛИ это не должно стать традицией. Новое Полное собрание сочинений Пушкина должно быть издано по «старым» академическим принципам, одним тиражом — и художественные произведения, и варианты, и деловые бумаги поэта. В соответствии с традициями Пушкинского Дома, сложившимися не только в академических изданиях классики, но и в изданиях древнерусского сектора, и в ряде изданий серии «Литературные памятники», — традициями, обоснованными теоретически в работах Д. С. Лихачева и Б. В. Томашевского, — каждый том должен быть подготовлен научно и давать всю историю текста в его динамике, т. е. содержать основной текст, раздел «Другие редакции и варианты» и комментарий. При этом, естественно, он может быть разбит при большом объеме на два полтума, но они непременно должны составлять единое целое и давать материал в общепринятой для научных изданий последовательности. В заключение Г. М. Фридендер указал на приблизительность расчетов по объему отдельных томов предполагаемого издания.

Канд. филол. наук К. А. Баршт (Ленинград) выступил в прениях по поводу доклада Р. Г. Жуйковой. Он высказал свои соображения о возможной полноте издания рисунков Пушкина и их комментария.

Канд. филол. наук, научн. сотр. ИРЛИ В. Е. Ветловская высказалась в поддержку выступления Н. Н. Петруниной. По ее мнению, комментарий академического издания неразрывен, поэтому необходимо следовать «старым» опробованным принципам в подготовке Полного собра-

ния сочинений Пушкина. Проект, изложенный в докладе С. А. Фомичева, содержит целый ряд не продуманных до конца моментов, что делает невозможным непосредственную практическую работу над изданием. Далее В. Е. Ветловская развила в своем выступлении полемическое по отношению к докладу В. Э. Вацура положение об исследовательском характере комментария в академическом издании, который вовсе не исключает элемента интерпретации.

Г. В. Степанова (Ленинград) также подвергла критике доклад С. А. Фомичева. Она выступила против деления корпуса того или иного тома на две книги. В этом смысле проект издания, предложенный Фомичевым, не продуман до конца и не может быть положен в основу работы над собранием. Проект издания должен быть разработан редколлекцией, которая и определит тип и принципы Полного собрания сочинений Пушкина. По мнению Степановой, задуманное издание должно опираться на «старые» академические традиции такого рода собрания классиков. О том, каким будет «академический» Пушкин, расскажет читателям печать. Люди, которые подпишутся на это издание, должны знать, что собрание сочинений Пушкина, выпущенное академическим институтом, включает в себя и редакции, и варианты, и текстологический комментарий. Особое значение приобретает в таком издании комментаторская работа. Комментарий к тому или иному произведению поэта — это в полном смысле исследование, и вряд ли здесь уместны ограничения, связанные с требованием предельной объективности, высказанные в докладе В. Э. Вацура. В заключение Г. В. Степанова высказалась в пользу начала подготовительной работы над справочным томом всего издания.

Доктор филол. наук, вед. научн. сотрудник ИРЛИ Ф. Я. Прийма выступил против проекта издания, развернутого в докладе С. А. Фомичева. Новый «академический» Пушкин должен быть строго научным. Перед такого рода изданиями не ставится задача соответствия запросам так называемого массового читателя. По мнению Ф. Я. Приймы, задуманному изданию должно сопутствовать переиздание шестнадцатитомного собрания, которое давно уже стало редкостью. В заключение он выразил сомнения в намеченных сроках издания отдельных томов, назвав их утопичными.

А. Л. Осповат (Москва) выразил в своем выступлении озабоченность по поводу положения, сложившегося в архиве ИРЛИ. Тургеневский архив не разобран до сих пор, а он, как хлеб, необходим историкам литературы, обращающимся к пушкинской эпохе. По мнению Осповата, «спутниками» нового «академического» Пушкина могли бы стать переиздания классических трудов по пушкинистике (прежде всего Анненкова и

Бартенева). А. Л. Осоват высказал свою точку зрения по вопросу о структуре справочного тома. Возможно, что в ходе обсуждения будет признано необходимым приблизить его к типу «Путеводителя». В нем могли бы быть даны краткие справки об исторических лицах, которые позволили бы избежать повторов при комментировании пушкинских произведений.

В заключительном слове С. А. Фомичев подвел итог работе конференции. Он с удовлетворением отметил, что всех выступивших на ней объединяла одна мысль: издание полного собрания сочинений Пушкина, к работе над которым приступили сотрудники ИРЛИ, должно быть сделано на самом высоком научном уровне. Замечания, высказанные по поводу предложенных на обсуждение участников конференции инструкций, не зачеркивают проделанной Отделом пушкиноведения работы. Она осуществлялась и будет осуществляться в опоре на те принципы, которые были выработаны на организационном этапе работы над изданием. Основной документ, определяющий ее направленность, — инструкция по комментированию пушкинских текстов. Выступления показали, что в целом она не вызвала нигилистического к себе отношения. Пожелания, высказанные в выступлениях, помогут точнее определить ее цели и задачи. Таким образом, инструкция по составлению комментария есть, а значит разговоры, будто принципы будущего издания неопределенны, беспочвенны. У нас есть фундамент, в опоре на который работа над изданием может продолжаться.

В ряде выступлений говорилось о каких-то нетрадиционных принципах академического издания, которые якобы

предложены в докладе. Это недоразумение. Принципы жанровости, завершенности, серийности общепризнанны. Все дело только в их разумном осуществлении, которое, конечно, будет опираться на научную разработку конкретных проблем. Серийность, в частности, — это особенность современного этапа издания академических собраний сочинений классиков, связанная со своеобразием тиражной политики на данном этапе. Впрочем, вопрос о сериях по отношению к нашему изданию является неактуальным на подготовительной стадии работы. Важно вести подготовку издания, разбив его на жанровые отделы. Когда встанет вопрос о выпуске томов, тогда и будет окончательно решен вопрос об их делении или неделении на серии.

Прозвучавшая на конференции критика по поводу определения сроков издания отдельных томов Пушкина связана с недопониманием следующего обстоятельства. Сроки во многом определяются возрастом редакторов задуманного издания, которые являются воспитанниками первого поколения пушкинистов, носителями их традиций. Нового такого поколения мы подготовить не сумели. Эти соображения и заставили определять сроки издания отдельных томов таким образом, что в одном из выступлений они были названы фантастическими. В заключение С. А. Фомичев сообщил собравшимся о приблизительных сроках утверждения Отделением литературы и языка АН СССР редколлегии и текстологической комиссии издания (февраль 1988 года). Отделом пушкиноведения запланировано проведение совещания, посвященного проблемам пушкинской орфографии и пунктуации. Оно состоится в январе 1988 года.

*С. В. Березкина*

## СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ КОЛЛОКВИУМ ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ВЗАИМОСВЯЗЯМ РОССИИ И ФРАНЦИИ В XIX—XX веках

(ЗАМЕТКИ УЧАСТНИКА)

С 11 по 13 ноября 1987 года в Париже состоялся коллоквиум, посвященный литературным взаимоотношениям России и Франции в XIX и XX веках. С французской стороны в нем участвовали научные сотрудники Дома наук о человеке, Института славистических исследований и двух парижских университетов — Сорбонны и Новой Сорбонны (М. Кадо, М. Окютюрье, В. Трубецкой, А. Звигильский, М. Гург, А. Маркович, Ж. Бонамур и др.). Из советских уче-

ных на коллоквиуме выступили с докладами и в прениях члены-корреспонденты АН СССР Н. И. Балашов и Г. Г. Гамзатов; А. Д. Михайлов, И. В. Корецкая, Л. Г. Федосеева, В. А. Никитин (ИМЛИ АН СССР), В. Б. Катаев (МГУ) и Е. П. Кушкин (ЛГУ). От Пушкинского Дома на коллоквиуме присутствовал я. Кроме того, в коллоквиуме принимали участие ученые из других университетов Франции, из Швейцарии и США.

Коллоквиум прошел очень оживлен-

но, при большой активности участников. В прениях подробно рассматривались и тщательно обсуждались предложенные отдельными докладчиками интерпретации трудных мест художественного текста, спорных вопросов русского и французского поэтического перевода. Вообще вся атмосфера colloquium была проникнута взаимной доброжелательностью, стремлением к максимальной научной объективности, конкретности и точности в решении каждого вопроса, привлекавшего интерес и внимание участников. Кроме шести научных заседаний, на которых было прочитано 27 докладов, вызвавших живой обмен мнений, были проведены круглый стол, посвященный вопросам о перспективах и программе дальнейшего сотрудничества, ряд дружеских встреч участников, а также заключительное заседание, на котором директор Дома наук о человеке проф. Эллер, Н. И. Балашов и А. Д. Михайлов подвели итоги проделанной участниками colloquium коллективной работы. Следует особенно подчеркнуть большую и плодотворную деятельность по организации и проведению colloquium проф. Эллера и сотрудницы Дома наук о человеке М. Эмар, которые всемерно способствовали успешному проведению встречи советских и французских ученых и стремились придать ей откровенный, дружеский и непринужденный характер.

Прочитанные на colloquium доклады французских ученых были посвящены нескольким главным темам. Первая из них — это подведение предварительных итогов той весьма впечатляющей работы, которая была проделана во Франции в последние годы в области изучения русско-французских литературных связей, перевода и популяризации произведений русской классической и советской литературы. Этой теме были посвящены доклады М. Кадо, К. де Грев и К. Магнан. Другой проблемой, которая объединила доклады ряда французских участников colloquium, был вопрос об эволюции принципов поэтического перевода с русского на французский и с французского на русский язык. В Трубецкой отметил большую заслугу бельгийского поэта А. ван Хассельта и его последователя француза А. Грегуара в выработке принципов переводов русской сыллаботоники средствами французского стиха. Ф. Лесур проанализировала с точки зрения современных требований к художественному переводу стихотворные переводы И. Анненского из Малларме. А. Маркович дал тонкую характеристику французских переводов М. Цветаевой стихотворений Пушкина и Лермонтова, удачно продемонстрировав, как отразился в них стиль самой Цветаевой и ее эстетические принципы. М. Кадо отметил новаторское значение новых французских изданий поэтического творчества Пушкина и Лермон-

това, выполненных под руководством проф. Е. Эткинды, который широко воспользовался для этих изданий опытом советской школы художественного перевода, и в частности принципами студийной переводческой работы, обоснованными Н. Гумилевым и М. Лозинским.

Отдельным эпизодом русско-французских литературных связей XIX—XX веков были посвящены доклады Э. Анри-Сафье (русские образы и темы в творчестве П. де Жюльвекура), А. Звигильского (французский правый публицист П. Дерулед и его отношения с Л. Н. Толстым и И. С. Тургеневым), Л. Аллена (Н. Гумилев и Франция), А. Соля (русские футуристы и французские дадаисты) и др.

Наиболее интересными из докладов французских участников оказались те, которые содержали сведения о малоизвестных (или вовсе не исследованных до сих пор) материалах по русской литературе XX века: Ж. Кл. Ланна — «Хлебников и Г. Флобер», Э. Берар — «И. Эренбург и А. Мальро», Л. Робеля — «Фонды архива Л. Арагона и Э. Триоле и их значение для исследования русско-французских литературных связей XX века». Доклад Р. Дютли «Франция в творчестве позднего Мандельштама» вызвал оживленную дискуссию: докладчику удалось расшифровать в нем ряд сложных культурно-исторических ассоциаций, на которых построено стихотворение Мандельштама «Я прошу как жалости и милости...», но он не уловил сквозящего в нем иронического отношения Мандельштама к непримемлемому для поэта чертам жизни буржуазной Франции 30-х годов, противоречащим его представлениям о ее щедром, вольном и человеколюбивом историческом прошлом.

В моем докладе, прочитанном на открытии colloquium, я постарался осветить то громадное, принципиальное значение, которое имело и продолжает иметь в наши дни постоянное творческое взаимодействие русской классической (а ныне советской) литературы с особенно близкой ей по своему гуманистическому и вольнолюбивому духу, широте охвата действительности, напряженной и беспокойной мысли литературой Франции в лице ее лучших, мыслящих представителей. Именно типологическое родство русской и французской литератур, свойственный им пафос общественных и нравственных исканий, их открытость интересам жизни, непримиримость к злу и страданиям, стойкость в защите добра и правды сделали исторически закономерными постоянные взаимосвязи и контакты между ними, которые всегда вели и ведут к обогащению обеих наших литератур при сохранении их национальной самостоятельности, опирающейся на накопленные ими богатые культурные традиции. Опушение родства русской и французской

литератур — неотъемлемая черта сознания советских людей, видящих в развитии связей между нашими народами и литературами в условиях сегодняшнего дня дело, важное не только для наших народов, но и для всего человечества.

Н. И. Балашов посвятил свой доклад текстологическим проблемам русского издания «Цветов зла» Бодлера, подготовленного под его редакцией, А. Д. Михайлов — литературным взаимоотношениям Франции и России в 30-е годы XIX века и причинам неприятия русскими писателями и журналистикой тогдашней французской «пейстовой» словесности, В. А. Никитин — восприимчивости и переводам в России второй половины XIX века поэзии Гюго, И. К. Корецкая — отношениям русских символистов к их французским собратьям. Член-корр. АН СССР Г. Г. Гамзатов особо акцентировал в своем интересном докладе тему Кавказа и Дагестана в общем контексте русско-французских культурных и литературных связей, указав при этом на общее значение национально-исторической проблематики при разработке проблем современного сравнительно-исторического литературоведения. Широкому и особенно важному в наши дни кругу во-

просов, связанных с пониманием литературы как культурной ценности, а диалога литератур как могучего средства духовного обогащения личности отдельного человека и всего человечества, был посвящен доклад Л. Г. Федосеевой.

Думается, что приведенные заметки достаточно характеризуют, хотя и кратко, широту диапазона поднятых на коллоквиуме вопросов, свидетельствуют о перспективности нынешнего, нового этапа сотрудничества литературоведов Франции и СССР. По предложению Г. Гамзатова участники коллоквиума приняли решение провести следующий советско-французский литературоведческий коллоквиум в СССР, в Махачкале, уделив в нем внимание, наряду с другими актуальными темами, теме ориентализма в литературе XIX—XX веков во Франции и России. От имени Парижского института славистических исследований проф. Ж. Бонамур и Ж. Катто пригласили также ученых Пушкинского Дома подготовить в 1988 году ряд статей для номера журнала, посвященного теме «Великая французская революция XVIII века и славянский мир».

*Г. М. Фридендер*

## НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А. С. БУШМИНА В ВОРОНЕЖЕ

После смерти академика А. С. Бушмина, который был директором Пушкинского Дома, состоялось решение о проведении регулярных научных чтений, посвященных его памяти. Первые такие чтения состоялись в 1984 году, вторые — в 1985-м в Ленинграде. Третьи чтения были организованы Воронежским государственным университетом им. Ленинского комсомола и Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Состоялись они 15—16 октября 1987 года в Воронеже, на родине академика А. С. Бушмина. В них приняли участие ученые Москвы, Ленинграда, Киева, Воронежа, Одессы, Белгорода, Кишинева.

Открыл чтения проректор Воронежского университета проф. В. В. Гусев. Он подчеркнул важное значение проводимых чтений не только для развития литературной науки в целом, но и для активизации литературоведческих исследований в Воронежском крае, уроженцами которого были такие выдающиеся советские литературоведы, как М. С. Ольминский, П. Е. Щеголев, А. С. Бушмин, В. А. Путинцев, здесь жили и учились Б. М. Эйхенбаум и И. В. Владиславлев,

а сейчас в Воронеже работает большой отряд литературоведов, в своих работах решающий важнейшие проблемы истории и теории литературы, фольклора, журналистики, литературного краеведения. В своем выступлении В. В. Гусев высказал пожелание относительно создания совместно с Пушкинским Домом сборника, который был бы посвящен памяти академика А. С. Бушмина и продолжил бы традиции, заложенные им в отечественной литературной науке.

Заведующий кафедрой истории русской литературы Воронежского университета проф. Б. Т. Удодов отметил разносторонность научных интересов и личности академика А. С. Бушмина. Следует надеяться, отметил он, что Чтения памяти академика А. С. Бушмина, впервые проводимые в Воронеже, еще больше укрепят наши контакты с Пушкинским Домом как одним из крупнейших центров советской литературной науки и послужат объединению усилий в общем деле — в исследовании русской литературы, в развитии национальной культуры и просвещения.

С докладом «Академик А. С. Буш-

миш — исследователь русской литературы и организатор литературной науки» выступил канд. филол. наук В. Н. Баскаков (Ленинград). Работая на протяжении четверти века рядом с академиком А. С. Бушминым, будучи его учеником и сотрудником в области щедриноведения, а впоследствии и его заместителем в руководстве Пушкинским Домом, В. Н. Баскаков в своем докладе отразил четкое и обоснованное представление об А. С. Бушмине как ученом и человеке, как организаторе науки и коммунисте. Проследив его сложный и трудный путь в литературную науку, заметив главнейшие направления его исследовательской деятельности, В. Н. Баскаков отметил, что А. С. Бушмин оставил не просто след в науке, а проложил в ней новые пути, по которым долгие годы будут идти его последователи и ученики. Научные искания А. С. Бушмина, не раз освещавшиеся в печати, развивались целеустремленно и стремительно, естественно переходя из одной области литературоведения в другую, точно и принципиально координируясь с его работами по организации науки. Труды академика А. С. Бушмина, созданные на прочном методологическом основании и посвященные важным проблемам литературоведения, надолго останутся в нашей науке и в «культурном накоплении» нашего общества, сказал в заключение В. Н. Баскаков.

Доклад доктора филол. наук В. А. Мыслякова (Ленинград) сделан на основе статьи «Герцын и Щедрин», опубликованной в «Русской литературе» (1987, № 4).

С докладом «Идеал и действительность в сатире Салтыкова-Щедрина» выступила канд. филол. наук Л. С. Амбокадзе (Одесса). Она подчеркнула, что писатель на протяжении всего творчества оставался верен своему резко отрицательному отношению к мелочной «регламентации подробностей» будущей жизни. В то время как «злые начала» обличаемой действительности назывались в его произведениях весьма определенно и представляли в конкретных образных обобщениях, идеал сатирика раскрывался в символических образах, намеках, иносказаниях. Понятия Истории, Правды, Совести, Стыда выступают в произведениях сатирика теми нравственно-этическими и социальными началами, которые «держали» всю систему щедринского отрицания.

Канд. филол. наук З. Т. Прокопенко (Белгород) в докладе «Щедринская „История одного города“ как сатира на эпоху 1860-х годов» остановилась на проблеме соотношения истории и реальной действительности в художественном контексте этого произведения и его загадочном финале. По мнению исследовательницы, если в реальной действительности царское правительство, вынуждаемое ходом истории, втайне от обществен-

ности вело подготовку к реформам, то в «Истории одного города» «великая драма освобождения» запечатлена Щедриным в виде смерча разрушительной силы. «Оно ворвалось с „севера“, под колокольный звон и сопровождалось всеобщим волнением и страхом». Такое толкование финала «Истории одного города» З. Т. Прокопенко не учитывает характера художественного и публицистического осмысления крестьянской реформы в произведениях Салтыкова-Щедрина 1860-х годов и принципиально противопоставлено предшествующим решениям этой проблемы в советском литературоведении, в разное время разработанным А. С. Бушминым, С. А. Макашиным, Е. И. Покусаевым и др.

В докладе «От М. Е. Салтыкова-Щедрина к А. П. Чехову: эволюция комического в русской литературе 1880—1890-х годов» канд. филол. наук Л. Е. Крочник (Воронеж) показал, что движение от Щедрина к Чехову — это движение от щедринского реалистического гротеска к чеховскому психологическому комизму. Движение это вытекает из творческой эволюции писателей, связанной как с общими закономерностями развития отечественной словесности, так и с особенностями художественных систем Щедрина и Чехова. По мнению докладчика, реалистический гротеск, выступающий как организующий творческий принцип в произведениях Щедрина, отражает обостренно-критическое отношение художника к действительности. Развивая традиции Щедрина в изображении социально-нравственного бытия человека, Чехов разрабатывает принципы психологического комизма, в основе которых лежит признание права на переживание за комическим персонажем, усиливая психологическую мотивировку поступков героя. Суть этой принципиально новой комической системы, как показал докладчик, в отказе от резких форм заострения, в ориентации на внешнее правдоподобие изображения действительности, в движении от комической маски к психологически достоверному характеру.

В. П. Саватеев (г. Талдом, Моск. обл.) в докладе «Семейные месяцесловы Салтыковых как материал для щедринской хроники и музея „Пошехонская старина“» рассказал о большой подготовительной работе местных краеведов по созданию этого третьего в стране щедринского музея (после г. Кирова и Калининна) в селе Спас-Угол ныне Талдомского района Московской области. Докладчик подчеркнул, что одним из источников для установления во многом автобиографической основы щедринской хроники «Пошехонская старина» являются салтыковские семейные месяцесловы — календаря XVIII—XIX веков. В Талдомском краеведческом музее в настоящее время находится 21 такой месяцеслов салтыковского рода. Они охватывают пе-

риод начиная с 1791-го по 1865 год, т. е. почти 75 лет. А с учетом того, что в одной книге записи часто делались на несколько лет, то временной охват еще обширнее — с 1781 года. Свообразный «домашний дневник» вели три поколения: бабушка писателя Н. И. Салтыкова, отец Е. В. Салтыков и, видимо, его мать О. М. Салтыкова, а позже и их дети. Тематика месяцесловов довольно обширна — от церковных до природных, сельскохозяйственных. Воспроизводится родословная Салтыковых, содержатся данные о салтыковской вотчине, ее расширении, укреплении (покупка села Заозерье, сельца Ермолино и т. д.). Можно найти интересные факты о положении крепостных крестьян, особенно в примыкающих к месяцесловам документах — подлинных приказах, соглашениях, «удостоверениях» личностей. Из всех этих документов, пусть и фрагментарно, отрывочно, но довольно определенно складывается картина бывшей «Пошехонской старинки». Не являясь чем-то принципиально новым для исследователей, они тем не менее подтверждают, а также заметно дополняют, расширяют уже известные реальные источники так называемых «автобиографических» произведений Щедрина, отметил в заключение В. П. Саватеев.

Доклад канд. филол. наук О. Г. Ласунского (Воронеж) был посвящен богатым филологическим традициям Воронежского края. Докладчик подчеркнул важность регионального подхода к изучению литературных явлений для того, чтобы проанализировать интересную диалектику взаимоотношений между общерусским началом и местной спецификой. Известно, какой значительный вклад внесла Воронежская земля в общерусскую литературу. Истоки филологических традиций этого края, как показал исследователь, уходят к концу XVIII—началу XIX века и связаны с многообразной и плодотворной деятельностью Е. А. Болховитинова и его кружка. Его важнейшим достижением явилось создание здесь первой типографии в 1798 году. Господствующее положение в литературно-общественной жизни Воронежского края принадлежало разночинной линии: появился в дальнейшем литературно-философский кружок семинаристов во главе с А. П. Серебрянским, прославило свой край творчество стихотворца-прасола А. В. Кольцова. Внимание к филологии резко возросло в середине XIX века, когда в Воронеже возник так называемый Второвский кружок, ядро которого составляли демократически настроенные люди. Им удалось наладить многообразные контакты с обеими столицами, выпустить литературный сборник «Воронежская беседа на 1861-й год». Обилие учебных заведений, где работало немало талантливых педагогов-словесников, развитая местная литературная традиция, подчеркнул О. Г.

Ласунский, привели к тому, что здесь сложился хороший научный и творческий потенциал. На этой основе с конца 1860 года появился журнал «Филологические записки», который выходил вплоть до 1917 года. Долгое время это было единственное в провинции периодическое издание по филологии. По составу сотрудников это было поистине всероссийское издание: его основателю и многолетнему редактору А. А. Хованскому удалось привлечь к сотрудничеству многих крупных ученых, например, Бодуэна де Куртене, Буслаева, Александра Веселовского, Галахова, Грота, Миллера, Потембу, Срезневского. Сам же Воронеж стал восприниматься как «филологический город». «Филологические записки» воспитали целую плеяду молодых ученых, которые продолжили в новых исторических условиях сложившиеся традиции. С первых лет советской власти Воронеж становится университетским городом, филологическая жизнь в нем приобретает многие новые качества.

Доклад доктора филол. наук С. А. Фомичева был посвящен проблемам нового академического издания сочинений А. С. Пушкина, которые требуют широкого обсуждения в связи с началом работы по его подготовке. Большое значение подготовке нового издания придавал А. С. Бушмин, который счастливо соединял талант исследователя и талант организатора науки и в последние годы жизни активно работал для осуществления этого огромного научного предприятия. Академическое издание сочинений А. С. Пушкина 1937—1949 годов было образцовым, но по ряду причин оно оказалось лишенным научного аппарата, в нем нет текстологического комментария. Не выдержан также и принцип полноты — нет деловых записей, не опубликованы рисунки поэта. Новое издание должно быть абсолютно полным. Оно должно включать все варианты и все редакции. Например, если в издании 1937—1949 годов даны только варианты поэмы «Домик в Коломне», редакции же не выделены, то в новом издании они должны быть приведены.

Необходимо также иметь в виду, подчеркнул С. А. Фомичев, что большая часть произведений самим Пушкиным не была опубликована. Тексты их взяты из черновиков, сам же поэт не считал эти произведения законченными. Публикация таких текстов — это научная проблема, которая решается только гипотетически. Поэтому обязательно должно быть произведено деление на законченные и незаконченные произведения. Сейчас же они печатаются вперемешку, например в томе поэмы.

Здесь возникает одна практическая задача — найти оптимальное решение, как совместить необходимость большого научного аппарата академического издания с его массовым тиражом. Многие

варианты и редакции, текстологический комментарий массовому читателю не нужны, это со всей определенностью показала практика академического издания сочинений Ф. М. Достоевского. Поэтому, как предлагает С. А. Фомичев, каждый том лучше всего издавать в двух книгах. В первый полутом, изданный большим тиражом, войдут тексты произведений (законченных и незаконченных), историко-литературный и энциклопедический комментарий. Во второй полутом, изданный меньшим тиражом, должны войти все варианты и все редакции произведений и текстологический комментарий, который ни в коем случае не должен сокращаться. Это предложение издавать полтума разными тиражами поддерживал А. С. Бушмин, но после его смерти издание Пушкина было задержано. Только теперь дело двинулось, в ноябре состоится научно-практическая конференция по проблемам академического издания Пушкина. В заключение С. А. Фомичев ответил на многочисленные вопросы о пушкинском издании и о работе отдела пушкиноведения ИРЛИ.

Доклад доктора филол. наук В. А. Малкина (Воронеж) «„Моцарт и Сальери“ А. С. Пушкина. (Литературно-педагогические раздумья)» был посвящен вопросам преподавания творчества Пушкина в вузе и в школе.

Доктор филол. наук И. Я. Заславский (Киев) рассказал о современном состоянии пушкиноведения на Украине. К сожалению, отметил докладчик, недостаточно еще прояснен творческий результат украинских впечатлений Пушкина, не раскрыт, в частности, подлинный смысл «киевских и каменных обидяков». Во многих исследованиях освещается роль Пушкина в судьбах украинской литературы. И если ранее основные усилия литературоведов направлялись на регистрацию сходных сюжетных мотивов, образных параллелей или текстуальных подобию, то авторы лучших современных работ, используя возможности историко-типологических и контактно-генетических соотнесений, стремятся показать, как эстетические открытия и завоевания Пушкина обретают новую оригинальную силу у писателей Украины. Но задачи эти, как показал И. Я. Заславский, еще в значительной степени не решены. Активно изучается также история читательского восприятия пушкинского наследия на Украине, большой размах приобрел труд украинских переводчиков Пушкина. Пушкинистика стала заметным явлением не только в украинской литературной науке и критике, но и во всей духовной жизни Советской Украины.

Канд. филол. наук В. А. Свительский (Воронеж) построил свой анализ «Войны и мира» Л. Н. Толстого на разграничении собственно авторской оценки, логической, однозначной, прямо выраженной, и более широкой, универсальной оценки

художественной. Это разграничение, по мнению исследователя, оправдывает себя применительно к психологической прозе. В «Войне и мире» оно прослеживается в динамике внутренних взаимоотношений между «трактатом» и «романом». У собственно-авторской и художественной оценок свои различающиеся критерии. Они могут совпадать, дополнять друг друга, но в ряде случаев и спорят между собой. Например, важнейшее для Толстого понятие «настоящая жизнь людей» названо на «трактатных» страницах великой книги, но как решающий критерий оно осуществляется в художественной оценке. Фигура Наполеона, ее освещение — тот случай, когда авторская оценка «палача народов» подтверждается и углубляется в оценочном строе художественного изображения. Взаимодействие между собственно-авторской и художественной оценками составляет внутреннее взаимодействие, на нем основано все произведение.

С докладом «Методологические аспекты современного толстоведения: итоги, задачи, перспективы» выступил канд. филол. наук В. Б. Ремизов (Воронеж). Он отметил, что единство типологического и историко-функционального подходов в процессе изучения истории гуманитарных наук позволяет не только обобщить опыт прошлого, но и выявить актуальные вопросы развития научной мысли, рассмотреть их в связи с современными духовными запросами общества. Пафос вышедших за последние два десятилетия работ о Толстом был направлен на восстановление ленинского диалектического метода при изучении творчества великого мыслителя и художника. Но сделано в этом направлении далеко не все. Так, социально-исторической обусловленности противоречий Толстого посвящено огромное количество работ, но до сих пор недостаточно соотношение осознанного и бессознательного, мало исследован характер взаимодействия противоречивых исторических традиций и психологии патриархального крестьянства в творчестве Толстого. На сегодня основательно изучены, по мнению докладчика, социально-политические, классовые, историко-литературные и эстетические аспекты проблемы «Толстой и эпоха». Другие же сферы намечены контурно. На протяжении нескольких десятилетий о слабых сторонах толстовского мировоззрения предпочитали говорить в общем. Теперь же стало очевидным, что без рассмотрения «предрассудков» Толстого трудно достичь объективной оценки всей совокупности его взглядов. Сделать это необходимо, подчеркнул В. Б. Ремизов, с целью подлинно научного противостояния всевозможным идеалистическим концепциям творчества Толстого, которых так много в буржуазном литературоведении. В заключение В. Б. Ремизов отметил, что советское толстоведение, пройдя труд-

ный путь становления и развития, сегодня занимает одно из ведущих мест в историко-литературной науке. Но новое время ставит перед учеными и новые проблемы, многие из которых слабо исследованы не только в литературоведении, но и в философии. В этих условиях еще большее значение приобретает ленинская методология изучения личности и творчества Л. Н. Толстого.

Доклад доктора филол. наук В. А. Ковалева (Ленинград) «Ленинская концепция становления социалистической литературы в России» был сделан на основе статьи, опубликованной в № 2 за 1987 год журнала «Русская литература».

Канд. филол. наук Е. Г. Муценко (Воронеж) в докладе «Горьковская концепция человека и мира в современной советской литературе» отметила, что в советской литературе система представлений о мире и человеке идет от Горького, который выделил не постоянство общечеловеческих нравственных ценностей, но движение человека во времени, в движении самой жизни. Горьковская концепция человека и мира — следствие революционной эпохи, поэтому для молодой советской литературы она стала эстетической платформой для последующего развития. Современная же советская литература, по мнению Е. Г. Муценко, не отказываясь от горьковских эстетических ориентиров, создала систему представлений о человеке и мире, более сложную и более драматичную, поскольку бесконечность развития человека и мира поставлена обстоятельствами сегодняшнего дня под сомнение. Равноположенным миру уже не может быть просто человек, а лишь сообщество людей, «мы» всего человечества, в котором каждое «я» берет на себя всю меру ответственности за мир в целом. Мысль о двуличности добра и зла становится одной из центральных в таких произведениях 80-х годов, как «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева, «Отставший» В. Макашина и многих других. «Вотум недоверия», оказанный современной литературой человеку и миру, вызвал такие понятия в критике, как «жесткий» реализм, «жесткая» проза. Но наряду с жесткостью писательских оценок, как отметила Е. Г. Муценко, в последние годы в литературе все заметнее тенденция сделать шаг от затянувшегося жизнеописания к жизнестроительству. В этом отношении показательны «Длинный день» В. Токаревой, «Перелом» И. Грековой, «Зубр» Д. Гранина. Литература стала отходить от «так живем» к «так надо жить», от двуличности добра и зла к однозначности нравственных общечеловеческих идеалов. Это новый шаг к Горькому, подчеркнула Е. Г. Муценко, с его великим доверием к человеку, разуму, положительному историческому опыту.

В докладе «Человек как предмет литературы. (К современной постановке

вопроса)» доктор филол. наук Б. Т. Удодов отметил несостоятельность эстетических концепций, согласно которым предметом литературы как искусства является вся действительность или же так называемые эстетические свойства действительности. Первая точка зрения, по существу отказывающая предмету литературы в какой-либо специфике, находит все меньше сторонников. Второй же, по мнению докладчика, также присуща излишняя абстрактность и недостаточное внимание к специфике искусства слова. Основа же понимания целостного человека как главного предмета художественной литературы заложена представителями прогрессивной мировой эстетической мысли, в том числе русской революционно-демократической критикой в лице Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова. А так как человек связан тысячами нитей со всеми сторонами жизни и, по определению К. Маркса, представляет собой «совокупность общественных отношений», то литература, познавая человека, познает и самые различные стороны действительности. И следует прямо сказать, отметил Б. Т. Удодов, что наша современная литературная наука явно отстает от других наук (философия, социология, психология, этика) в изучении целостного человека. Ведь до сих пор у нас бытует концепция, согласно которой в структуре образа героя выступают два определяющих начала — естественное, подлинно человеческое, и противостоящее ему, искажающее его социально-историческое начало. Все «отрицательное» в человеке рассматривается как детерминированное обществом, «положительное» же от этой детерминации не зависит, больше того — ей противостоит, являясь чисто природным «вечным» началом. Однако, по убеждению Б. Т. Удодова, сегодняшний уровень литературоведения подводит к необходимости более дифференцированного подхода к рассмотрению философско-эстетических концепций человека в творчестве писателей XIX века. И вряд ли правомерно сводить художественную концепцию человека в русской классической литературе к руссоистско-просветительской теории «естественного человека». Как подчеркнул исследователь, гораздо более существенна ориентация на выявление в человеке не только естественно-природного и конкретно-социального начал, но и начала общесоциального, общен исторического, т. е. родового. В европейской и русской философской и художественно-эстетической мысли XIX века идея родового человека занимала даже большее место, чем идея «естественного человека». Ее развивали Кант, Гегель, Фейербах. Историко-материалистическое обоснование родовой сущности человека как общественного по своей природе дал впервые К. Маркс, показав, что наиболее «естественный» человек — это чело-

век общенсторический, ибо его родовые сущностные силы суть «силы общения». Белинский рассматривал конкретного человека как подвижное единство особенного и всеобщего, родового, подчеркивая не механическое их сосуществование, а диалектическое взаимодействие. В том же русле, как показал Б. Т. Удодов, шли поиски Герцена, Веневитинова, Одоевского. Эти традиции развивают и советские философы.

Соотношение в индивидуальном человеке видового и родового, особенного и всеобщего, конкретно-исторического и общечеловеческого с развитием литературы все определеннее выступало как главный ее предмет. В русской литературе всегда подчеркивалось главенствующее значение в человеке родового начала перед видовым как реальной основой идеала в искусстве, объективная основа непреходящей ценности его образов. Открывая в обособленном человеке человека родового, общественного, русские писатели показывали в своих героях даже самого индивидуалистического склада, таких как Печорин или Раскольников, их нестремимое влечение к другим людям, к общению, что делало их, вопреки их рационалистическим и индивидуалистическим убеждениям, по сути своей общественными. В образах классической русской литературы получил отображение процесс многогрудного, противоречивого рождения «в человеке человека», личности с ее вечной двуединой проблемой — исторически неизбежной обособленности и такой же исторически обусловленной и правдиво неодолимой неотделимостью от общества, народа, человечества, — сказал в заключение Б. Т. Удодов.

В докладе канд. филол. наук Л. В. Жаравиной «Литературный процесс как методологическая проблема» (Кишинев) выделены две принципиально различные точки зрения на литературный процесс, условно названные онтологической и гносеологической. Согласно первой, литературный процесс отождествляется с понятием литературная жизнь, литературная эпоха, им охватывается вся национальная литература в ее многообразии. Гносеологический подход видит в литературном процессе чисто теоретическое понятие, отвлекающее логику реального художественного развития от бесконечного многообразия ее проявлений. По мнению Л. В. Жаравиной, данному понятию следует придать статус философско-методологической категории, что значительно расширило бы его семантические и функциональные возможности. Это предполагает обязательное обращение к понятию-категориальному аппарату диалектической логики, использование ее специфического содержания, включение в литературоведческий анализ философско-логичеких посылок. Будучи методологической категорией, литературный процесс синтезирует суще-

ствующие представления истории и теории литературы, дает диалектическое единство онтологического и гносеологического единства. Именно в таком аспекте, по мнению Л. В. Жаравиной, целесообразно ставить вопрос о создании философии истории литературы, необходимость в которой назрела.

Доктор филол. наук С. Г. Лазутин (Воронеж) выступил с докладом «Методологические вопросы изучения русской народной лирики». Общеметодологические вопросы и приемы исследования в фольклоре имеют яркое жанровое проявление. По мнению докладчика, это особенно важно иметь в виду при подготовке Свода русского фольклора, в котором материалы будут публиковаться по жанрам. И вообще исходным моментом в исследовании фольклора является его классификация по жанрам и жанровым разновидностям. Докладчик отметил недостатки при классификации русской народной лирики в современных работах. При разработке методологического принципа историзма в фольклоре особое значение имеет проблема генезиса, взаимосвязи, преемственности различных жанров народной лирики. С. Г. Лазутин показал недопустимость субъективизма в применении сравнительно-исторического метода при рассмотрении вопроса об использовании писателями народной лирики, подверг обоснованной критике догматическое подверствывание живого материала под излюбленную автором теорию, часто искусственно выделенную из высказываний кого-либо из авторитетных ученых.

По мысли доктора филол. наук А. М. Абрамова (Воронеж), назвавшем его доклад «От мифа о человеке к „человеку просто“». Искусство вчера, сегодня, завтра» можно обозначить и путь искусства, и его природу. А. М. Абрамов проанализировал развитие живописи с древнейших времен до наших дней, показав могучие корни реализма в реальной действительности, к постижению которой стремится в своем развитии искусство. Но, по мнению докладчика, в конце XIX века, особенно в начале XX века, обнаружилась попытка прервать такой путь искусства. Это означало растерянность известной части художников перед жизнью, перед ее новыми, действительно трагическими явлениями и вело искусство к самоликвидации. А. М. Абрамов очень ярко, темпераментно дал развернутую критику модернизма в искусстве. Но современные литературоведение и искусствоведение, по его мнению, капитализировали в значительной степени перед разрушительными тенденциями модернизма. Между тем в природе искусства заложена возможность его бесконечного развития. Доказательством этого является все лучшее, что появляется и сейчас в русле реалистического искусства. Поэтому изучение и всесторонняя поддержка этого искусства — не столько

искусствоведческая задача, сколько борьба за спасение самого человека, подчеркнул в заключение А. М. Абрамов.

Обсуждение докладов вылилось в бурную дискуссию, носило характер живого обмена мнениями. Завершая прения, Б. Т. Удодов отметил полемичность многих выступлений.

Заключая чтения, С. А. Фомичев подчеркнул, что форма конференции как форма научного общения ни в коем случае не отмерла. Знакомство друг с другом, живое общение между учеными очень полезны. Мы делаем общее дело и должны знать друг друга. Формы конференций могут быть различными: возможен и «круглый стол», или один дискуссионный доклад с последующим обсуждением, или что-нибудь иное. С. А. Фомичев отметил большой смысл того,

что на этих чтениях было собрано вместе столько разнообразных докладов, так как А. С. Бушмин занимался и русской классической литературой, и советской, и методологией литературоведения. Ведь очень часто мы уже не понимаем друг друга, все стали узкими специалистами. Это, конечно, обедняет гуманитария, для которого очень важна широта кругозора. В заключение С. А. Фомичев поблагодарил кафедру русской литературы Воронежского университета за организацию такой конференции — этого очень большого и сложного дела.

Замечательным завершением чтений стала интереснейшая экскурсия по литературным местам Воронежа, которую провел известный знаток города О. Г. Ласунский.

*А. К. Михайлова*

## КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ СЛАВЯНО-РУССКОГО РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ

С 28 по 30 сентября 1987 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР проходила конференция молодых специалистов «Вопросы славяно-русского рукописного наследия». Несмотря на «молодежный» состав конференции, большой интерес к ней проявили крупные ученые-медиевисты.

Открыл конференцию доклад В. И. Галко (Гомель) «„Слово о Мартине, мнихе туровском“ — малоизвестный памятник древнерусской литературы». Обнаружение списка «Слова...» XIV—начала XV века позволяет, по мнению докладчика, вновь вернуться к вопросу о времени его написания. Анализ языка древнейшего известного списка «Слова...» показывает, что в памятнике имеются языковые явления, которые устанавливаются со 2-й половины XVII века. Это, а также содержащееся в произведении указание на источник сведений — самого Мартина, подтверждает датировку «Слова...» XII веком.

О древнейшей из известных восточнославянских рукописей, написанных на бумаге и пергамене, говорилось в выступлении М. Г. Гальченко (Москва). До сих пор существовало мнение, что бумага появилась в Древней Руси лишь в середине XIV века. Недавно О. А. Князевская обнаружила бумагу в древнерусской рукописной книге (Архивской Лествице, хранящейся в ЦГАДА, ф. 181, № 452), которая, по предположению М. Г. Гальченко, написана не позднее XIII века. Рукопись состоит из бумажных и пергаменных листов, расположенных «в прокладку». Один и тот же по-

черк на бумажных и пергаменных листах свидетельствует о том, что бумага в рукописи присутствовала изначально. Орфография Архивской Лествицы указывает на галицко-волынское ее происхождение. Хотя на бумаге и нет водяных знаков, графико-орфографическая система и почерк рукописи имеют признаки XIII века.

И. М. Грицевская (Горький) затронула вопрос об индексах «истинных» книг в рукописях XV—XVII веков. К исследованию было привлечено 86 списков. Рассматривался индекс, включающий как канонические, так и неканонические «истинные» книги (индекс такой структуры прежде специально не изучался). 64 списка из 86-ти рассмотренных И. М. Грицевская подразделяет на 4 редакции, различающиеся между собой по объему, по репертуару книг, по наличию славянских имен.

Доклад «„Сказание о Молукитцких островах“ и „Повесть о Лоретской Богоматери“ из сборника XVI века (БАН, Архангельское собр., Д. 193)» сделал Д. О. Цыпкин (Ленинград). Кодикологический анализ статьи о Молукитцких островах, находившейся в сборнике РО ГПБ под шифром Q. IV. № 412 из собр. Савваитова, позволил исследователю заключить, что данный текст первоначально являлся частью сборника Арханг. Д. 193. В докладе была предпринята попытка определить место текста в сборнике Арханг. Д. 193. Рассматривая литературное окружение Сказания, Д. О. Цыпкин подробно остановился на тексте «Повести о Лоретской Богоматери».

В докладе приводится ряд аргументов, указывающих на принадлежность ее перевода Дмитрию Герасимову.

Е. В. Крушельницкая (Ленинград) рассматривала автобиографические «Записки» Мартирия Зеленецкого, основателя Троицкого Зеленецкого монастыря в Тихвинском уезде. Исследовательница отметила жанровое своеобразие «Записок», их значение в становлении жанра автобиографической повести. К анализу также было привлечено Житие Мартирия Зеленецкого, составленное на основе автобиографических «Записок» в XVII веке.

Группа докладов была посвящена исследованию памятников с точки зрения истории языка. Так, в докладе Е. Э. Бабаевой (Москва) «Из истории русской грамматической мысли начала XVIII века» рассматривались рукописные тексты, атрибутированные докладчицей Федору Поликарпову, филологу петровского времени. Рукописи представляют разные этапы работы Федора Поликарпова над сочинением по русской грамматике. В отличие от известных типов грамматик (Мелетия Смотрицкого, Федора Максимова) грамматика Федора Поликарпова ставит задачи не синтеза, а анализа, подразумевая путь не от языка к тексту, а от текста к языку.

С докладом «Издание Библии 1717—1721 годов на голландском и церковнославянском языках и культурно-языковая ситуация петровского времени в России» выступила М. А. Бобрик (Москва). Свообразное издание Библии 1717—1721 годов осмыслено исследовательницей как одно из проявлений петровской политики реформ.

Вопрос о нормализации церковнославянского языка в переводах Максима Грека (на материале переводов Псалтыри) был затронут московским лингвистом Е. В. Тарасовой. Уже первые переводы Максима Грека вводят в церковнославянский язык новые правила употребления грамматических форм. Е. В. Тарасова проиллюстрировала мысль о целенаправленности переводческой практики Максима, стремлении создать правила употребления на основе собственных представлений о книжном языке. Данный опыт нормализации, как отмечалось в докладе, был обусловлен сопоставлением церковнославянского и греческого языков при переводе, желанием переработать церковнославянские парадигмы по типу греческих.

В ряде докладов шла речь о литературном наследии старообрядчества. А. В. Вознесенский (Ленинград) поделился своими наблюдениями над старообрядческими изданиями конца XVIII—начала XIX века. На их основании был сделан вывод о существовании по крайней мере четырех неизвестных ранее крупных типографий, печатавших старообрядческие книги в конце XVIII—начале XIX века.

И. В. Сесекина (Ленинград) в докладе «Старейший список „Книги бесед“ протопопа Аввакума (к проблеме изучения и издания «Книги бесед»)» обратилась к двум спорным источниковедческим вопросам, связанным с этим произведением. Первый из вопросов, освещенных И. В. Сесекиной, касался состава «Книги бесед». Основное содержание произведения заключено во введении и 9-ти сочинениях (без традиционного включаемой 7-й беседы), посвященных мировоззренческим, историческим и другим проблемам. Второй вопрос относился к проблеме авторского текста. Список АК (БАН, 45.6.7 (Нов.)), наиболее ранний из известных, является, с точки зрения И. В. Сесекиной, не только полным, но и самым исправным списком «Книги бесед».

О влиянии украинско-белорусских полемистов на русское старообрядчество на материале истории создания теории о трех «отступлениях» рассказала Т. А. Опарина (Новосибирск). Исследовательница отметила несколько этапов складывания теории, показала, что созданная на Украине «Книга о вере» (включавшая главу об Антихристе и Страшном суде с данной теорией) имела рукописную традицию до издания в Москве. Вероятно, острая эсхатологическая направленность этой главы привлекла внимание «ревнителей древнего благочестия» и послужила причиной перевода и издания «Книги о вере».

Доклады Т. З. Сеидовой (Ленинград) и Ф. В. Панченко (Ленинград) касались древнерусской певческой традиции. Древнерусский покаянный стих «Плакася Адам», рассмотренный Т. З. Сеидовой, встречается в певческих крюковых рукописях в подборках покаянных стихов. Изучение рукописей XVI—XVII веков позволило исследовательнице выявить 4 певческие версии стиха и дать их подробную характеристику.

Сообщение Ф. В. Панченко о песнопениях в честь Богородичных икон в древнерусской певческой традиции сделано на материале рукописи третьей четверти XVIII века (ИРЛИ, собр. Шклярова, № 1). Ф. В. Панченко выявила ряд важных черт, характеризующих традицию, указала на наличие средств индивидуализации песнопений.

В докладе В. Н. Козлякова, историка из Ярославля, литературные памятники ярославско-костромского Поволжья были привлечены в качестве исторического источника. Многообразие литературы Ярославского края исследователь подразделяет на три группы. В первой рассмотрены «Житие Иринарха Борисоглебского» и «Сказание об убиении Иоанна Никифоровича Челюсова, угличского нового страстотерпца»; во второй группе, включающей сказания об иконах, анализировалась «Повесть о построении нового девича монастыря в Ярославле» и другие памятники. Третья группа —

новости о событиях городской истории — в докладе была представлена «Сказанием вкратце о бывшем пожаре града Ярославля» и записями о пожаре в Ярославле в середине XVII века.

М. В. Мелихов (Ленинград) сопоставил «Историю Иудейской войны» Иосифа Флавия с «Повестью о взятии Царьграда турками». Замечания о зависимости последней от «Истории...» встречались в исследовательской литературе и ранее, однако М. В. Мелихов установил непосредственные заимствования из «Истории...». Указав на сознательную ориентацию автора «Повести...» на «Историю...» Иосифа Флавия, докладчик рассмотрел использование одного произведения в другом.

В докладе А. В. Пигина (Ленинград) «„Повесть о Соломоне“ в ряду фольклорных и литературных разработок мифа об инкубах» шла речь об одном из известных произведений древнерусской литературы. Докладчиком прослеживались связи «Повести о Соломоне» как с литературной, в частности агнографической, так и с фольклорной («сверхъестественный рассказ») традициями.

Были выслушаны также доклады О. А. Савельевой (Новосибирск) о «Страстях Христовых», литературном памятнике XVII века; Е. В. Беляковой (Москва) — о «Слове избранном... еже на латыню...». Вопросы о пародийной смеховой культуре XVIII века (следственное дело о «Служебе кабаку» в комплексе документов о богохульстве и кощунстве) касалась Е. Б. Смiliansкая (Москва). В сообщении Б. М. Пудалова (Горький) рассматривался Измарагд. На славянских переводах «Мученичества Климента папы римского» остановился москвич С. В. Дурасов. А. И. Мальцев (Новосибирск) рассказал о становлении взглядов Евфимия Странника и старобрядческой традиции. С. Ю. Темчи

(Москва) поделился своими соображениями о возможности реконструкции объема и состава текста первоначального славянского перевода Евангелия. Выступление А. А. Булычева (Москва) было посвящено публикации деяний собора 1620 года в московских печатных требниках конца 30-х годов XVII века. К вопросу о движении Ивана Балаша в годы Смоленской войны обратился С. Г. Жемайтис (Ленинград). Доклад москвички Т. Л. Мпроновой исследовал русские статьи в составе Прологов XIII века в историческом и лингвистическом аспектах. Завершил выступления доклад О. И. Трофимовой (Ленинград) «Древнерусские поучения о почитании книжном (по материалам рукописей ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина)».

С заключительным словом обратился к молодым ученым академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он отметил высокий уровень представленных докладов, а также доброжелательный тон полемики. Обратив внимание слушателей на то, что доклады относились к разным областям источниковедения, Дмитрий Сергеевич подчеркнул, что настоящий филолог должен быть и литературоведом, и лингвистом, и историком, что филологу необходимы знания других, более или менее близких, наук. Узкая специализация не должна мешать ученому быть универсалом. Д. С. Лихачев указал и на тот отрицательный факт, что почти все исследования основывались на текстологическом анализе.

Третий день конференции завершился выступлением фольклорного ансамбля Ленинградской государственной консерватории под руководством А. М. Мехнецова. Участники конференции были также приглашены в Государственный Русский музей на выставку строгановской иконы и шитья.

*Е. Г. Водолазкин*

## ВТОРЫЕ ШОЛОХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Первые Шолоховские чтения, состоявшиеся в ноябре 1985 года, положили начало традиции: один раз в два года проводить в станице Вешенской научно-теоретическую конференцию, посвященную творчеству М. А. Шолохова.

Работа Вторых Шолоховских чтений проходила с 17-го по 19 сентября 1987 года. Они были организованы Северо-Кавказским научным центром высшей школы, Государственным музеем-заповедником М. А. Шолохова и Ростовским государственным университетом им. М. А. Суллова. С докладами выступили уче-

ные из многих городов нашей страны: Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Волгограда, Одессы, Вильнюса, Краснодара, Брянска, Якутска и др. Особенно представительными были делегации из Ростова-на-Дону и Днепропетровска.

Перед началом первого пленарного заседания участники Вторых Шолоховских чтений возложили цветы на могилу М. А. Шолохова, а затем посетили вдову писателя — Марию Петровну Шолохову. Мария Петровна выразила сердечную признательность всем приехавшим в Вешенскую за то, что они связали

свою исследовательскую работу с творчеством М. А. Шолохова. От имени ленинградцев к ней обратилась доктор филол. наук Н. И. Желтова, которая, в частности, сказала, что Пушкинский Дом гордится тем, что чудом уцелевшие автографы «Тихого Дона» хранятся в его рукописном отделе. В конце беседы, состоявшейся на крыльце шолоховского дома, Марья Петровна пожелала участникам научной конференции успешной работы.

Первое пленарное заседание открыла секретарь Шолоховского райкома КПСС А. В. Абрамовская, рассказавшая об экономическом и культурном развитии края, о станции Вешенской, навсегда связанной с именем великого писателя XX века.

Об итогах, проблемах и перспективах развития Музея-заповедника М. А. Шолохова весьма обстоятельно рассказал его директор Н. А. Булавиц — человек большой общественной активности, один из друзей писателя, один из тех «районщиков», которых так любил и уважал последний.

Доктор филол. наук А. В. Огнев (Калинин) выступил с докладом «Национальный характер в изображении М. А. Шолохова». В центре внимания исследователя находился характер Андрея Соколова (соотношение в нем традиционного и нового). Эта же тема была посвящено развита и в докладе доктора филол. наук И. Т. Круга (Киев) «Черты народного характера в романе М. А. Шолохова „Они сражались за Родину“ и в других произведениях советской литературы о войне».

«История и личность в художественном мире М. А. Шолохова» — так назывался доклад канд. филол. наук В. М. Трофимова (Волгоград), который, главным образом на материале эпосов «Тихий Дон», высказал целый ряд интересных соображений по ключевой проблеме шолоховского творчества.

В докладе канд. филол. наук П. В. Бекедина (Ленинград) «Проблемы шолоховской текстологии» на ряде конкретных примеров было продемонстрировано неблагоприятное положение в сфере текстологии шолоховских произведений. Текстология, подчеркнул докладчик, едва ли не самый запущенный участок науки о Шолохове. Без срочного решения этой проблемы издание академического Собрания сочинений писателя практически невозможно. И мы не должны себя успокаивать тем, что произведения новой литературы (в том числе и книги Шолохова) искажаются при печати не радикально, а в деталях.

Вопросам этимологии в «Словаре языка произведений М. А. Шолохова», над созданием которого в настоящее время работают лингвисты Ростовского государственного университета, был посвящен построенный на богатом фактическом материале доклад канд. филол.

наук Б. И. Проценко (Ростов-на-Дону).

К теме «М. А. Шолохов и А. Т. Твардовский» обратилась в своем докладе канд. филол. наук А. М. Минакова (Москва), связав ее с проблемой эпического в литературе и с вопросом об общем и особенном в эстетике социалистического реализма. Доклад А. М. Минаковой, отличавшийся подчеркнутой теоретичностью, открывает новые подходы к произведениям как Шолохова, так и Твардовского.

Зам. директора шолоховского музея-заповедника по научной работе Л. П. Разогреева выступила с докладом «М. А. Шолохов и читатели». Анализ читательских суждений об авторе «Тихого Дона» позволил Л. П. Разогреевой показать основные особенности «народного шолоховедения», раскрыть некоторые грани народности шолоховского творчества.

Освещая проблему «В. И. Ленин в изображении М. Горького и М. А. Шолохова», доктор филол. наук Н. И. Желтова обратила внимание на определенную близость трактовки ленинской темы у двух великих советских писателей, подчеркнув при этом, что у Шолохова данная тема решается на новом социальном материале. В докладе Н. И. Желтовой был особо выделен философско-методологический аспект рассматриваемой проблемы.

Канд. филол. наук С. Х. Ахмедов (Махачкала), выступивший с докладом «М. А. Шолохов и литература Дагестана», на ряде конкретных произведений продемонстрировал плодотворность шолоховских традиций, показал различные формы проявления последних.

В докладе канд. филол. наук Е. А. Костина (Вильнюс) «Гуманизм М. А. Шолохова («Родовой человек» в творчестве писателя)», вызвавшем большой интерес, было подчеркнуто, что шолоховское восприятие жизни включает в себя идею целостности мира, единства истории и личной судьбы, человека и природы и что Шолохов всячески содействует становлению, укреплению и победе подлинного гуманизма, в котором неразрывно сплетены свобода активной, разумной личности и гармония человека с природой.

Раскрывая тему «Народное сознание (фольклорные тенденции) в эпопее „Тихий Дон“», канд. филол. наук Т. И. Тумилевич (Ростов-на-Дону) пришла к обоснованному выводу, что произведения Шолохова являются своего рода энциклопедией донского фольклора. Касаясь состояния изучения шолоховского фольклоризма, Т. И. Тумилевич высказала немало критических замечаний в адрес имеющихся работ, грешащих, по ее мнению, неполнотой, неточностью отдельных теоретических положений, а иногда и глухотой к народной поэзии.

Первый день работы конференции завершился докладом канд. филол. наук Н. С. Бурмировой (Брянск) «Мир дет-

ства в творческой практике М. А. Шолохова». Освещение данной темы было подчинено уяснению своеобразия шолоховского гуманизма.

В перерыве между заседаниями участники конференции осмотрели выставку «М. А. Шолохов: Жизнь и творчество», которая была впервые открыта к 80-летию со дня рождения великого советского писателя и общественного деятеля. Экспозиция размещена в здании бывшей гимназии, где Шолохов учился в 1918 году.

Затем состоялось посещение мемориального дома-музея в станице Вешенской, в котором Шолохов жил и работал с 1927-го по 1935 год. Именно здесь были написаны им первые книги эпопей «Тихий Дон» и первая часть романа «Поднятая целина».

18 сентября был день работы четырех секций: «Творчество М. А. Шолохова и советская многонациональная литература», «Идейно-жанровое своеобразие творчества М. А. Шолохова», «Поэтика произведений М. А. Шолохова» и «Проблемы языка прозы М. А. Шолохова». В общей сложности было прочитано свыше сорока докладов, многие из которых отличались новизной и глубиной анализа, состоялось их живое и заинтересованное обсуждение. В связи с тем что секции работали одновременно, мы не можем рассказать обо всех прозвучавших на них докладах. Остановимся лишь на работе первой секции — «Творчество М. А. Шолохова и советская многонациональная литература», где нам довелось присутствовать (ею руководили Н. И. Желтова и Е. А. Костин).

Канд. филол. наук Г. М. Холодова (Ленинскан) выступила с докладом «Традиции Ф. М. Достоевского в творчестве М. А. Шолохова», в котором была предпринята попытка найти линии схождения между романом «Братья Карамазовы» и эпопеей «Тихий Дон». В докладе канд. филол. наук В. М. Перверзина (Якутск) «„Хождение по мукам“ А. Н. Толстого и „Тихий Дон“ М. А. Шолохова» особое внимание было уделено жанровому аспекту. Полемицируя с некоторыми исследователями, находившими в трилогии А. Н. Толстого то те, то другие «изъяны», докладчик убедительно показал необоснованность подобных утверждений.

Доклад канд. филол. наук Ю. А. Дворянина (Ишим) «Формирование шолоховской традиции в русской советской прозе 30-х годов» выделяется новизной, «необжитостью» привлекаемого для анализа художественного материала («деревенская» проза предвоенной поры) и оригинальностью выводов, позволяющих лучше понять истоки шолоховского направления в отечественной литературе.

Сравнительному анализу ранних рассказов М. А. Шолохова и А. П. Платонова был посвящен доклад канд. филол.

наук И. Н. Роменской (Таганрог). Преподаватели Краснодарского института культуры Т. Ф. Ченцова, М. Б. Солодкая и Д. Т. Тимошенко выступили соответственно с докладами «Традиции М. А. Шолохова в романе П. С. Вишневого „Перед грозой“», «М. А. Шолохов и современная проза Кубани о колхозной действительности» и «М. А. Шолохов и В. П. Астафьев (к проблеме «Человек и природа»)». Канд. филол. наук Т. О. Осипова (Ростов-на-Дону) выявила шолоховский элемент в изображении народного характера в повести В. А. Закруткина «Мать Человеческая». В докладах канд. филол. наук Г. Ш. Куваевой (Майкоп) «„Поднятая целина“ М. А. Шолохова и „Дорога к счастью“ П. А. Керашева» и канд. филол. наук М. А. Крижановской (Армавир) «М. А. Шолохов и А. Боков» помимо установления шолоховского начала речь шла о формировании общесоветских художественных традиций.

И в ходе работы секции и по ее окончании велось горячее обсуждение прочитанных докладов. Было столкновение разных точек зрения, шла интересная полемика. В прениях выступили многие участники конференции: А. В. Минакова, Н. И. Желтова, П. В. Бекедин, Г. Ш. Куваева, И. Н. Роменская и др.

Во второй половине дня участники конференции ознакомились с местами, связанными с жизнью и творчеством Шолохова: побывали в хуторе Кружлинском и в станице Каргинской, осмотрели окрестности Вешенской.

Заключительное пленарное заседание состоялось 19 сентября. На нем заслушано два доклада. Канд. филол. наук С. Е. Иванова (Рига) выступила с докладом «Творчество М. А. Шолохова в Латвии», пронизанным тревогой за то, что в некоторых союзных республиках уменьшается исследовательский интерес к русской литературе и культуре вообще и к творчеству Шолохова в частности. Острой полемичностью отличался доклад доктора филол. наук Н. И. Глушкова (Ростов-на-Дону) «Эпика М. А. Шолохова в разночтениях современного литературоведения».

Затем с сообщениями выступили руководители четырех секций, была проведена общая дискуссия и приняты очень важные рекомендации конференции, которая, несомненно, имела большое научное, культурное и общественное значение и которая, безусловно, послужит хорошим импульсом для дальнейшего изучения шолоховского наследия. Было объявлено, что материалы Вторых Шолоховских чтений будут изданы отдельной книгой в 1989 году (материалы же Первых Шолоховских чтений должны выйти в свет в ближайшее время).

В дни работы конференции в станице Вешенской находилась группа московских кинематографистов во главе с народным артистом СССР С. Ф. Бондарчу-

ком. С. Ф. Бондарчук готовится к созданию 13-серийного художественного телевизионного фильма «Тихий Дон», работа над которым займет около пяти лет. Несмотря на чрезмерную занятость, С. Ф. Бондарчук любезно согласился выступить перед участниками Вторых Шолоховских чтений. Он поделился своими соображениями о художественном мире Шолохова, о проблематике «Тихого Дона», кратко остановился на тех принципах, которые будут положены в основу экранизации шолоховского произведения, рассказал о встречах с писателем, дал высокую оценку только что вышедшей тогда книге С. Н. Семанова «В мире „Тихого Дона“» (М., 1987). В конце своего содержательного и откровенного выступления С. Ф. Бондарчук выразил решительное несогласие с точкой зрения, согласно которой Шолохов не является писателем-философом, а его произведения далеки от философской насыщенности. В книгах Шолохова, подчеркнул С. Ф. Бондарчук, мы находим философичность самого высокого порядка — *философию в образах*. Мудрость Шолохова-художника, по убеждению С. Ф. Бондарчука, не знает себе равных, хотя в его произведениях как будто и нет писательской «воли», писательского «взгляда». В этой способности самоуглубления, которой наделен лишь «врожденный гений» (И.-В. Гете), заключается одна из тайн шолоховской поэтики.

Участники конференции поблагодарили С. Ф. Бондарчука за интересную беседу, пожелали ему здоровья и выразили уверенность в том, что новая экранизация «Тихого Дона» доставит нашему зрителю большое эстетическое наслаждение.

Гостей станицы Вешенской ждала еще одна памятная встреча: в последний день работы конференции выступил старший сын писателя Михаил Михайлович Шолохов, полковник МВД, кандидат философских наук, живущий и работающий в Ростове-на-Дону. М. М. Шолохов от имени родных выразил благодарность всем участникам Вторых Шолоховских чтений за интерес и любовь к творчеству своего отца, за то, что они, преодолев большие расстояния, приехали в далекую станицу и выступили с содержательными докладами. М. М. Шолохов признался, что ему трудно и неловко говорить об отце, поэтому свое выступление он посвятил краткой характеристике современного шолоховедения. «Собираясь что-нибудь написать об отце, — сказал, в частности, М. М. Шолохов, — я вынужден был обратиться

к основной литературе о Шолохове, к спорам о „Тихом Доне“ и о других произведениях. Меня ждало очень много огорчений. Я встретился и с фактами поразительного непонимания книг отца, и с грубыми схемами, и с узостью, косностью критической мысли. Но это все же полбеда (ибо прогресс какой-то есть). Беда состоит в следующем: наши маститые шолоховеды, так часто спорящие друг с другом, в первую очередь озабочены не стремлением к истине, не правильным прочтением Шолохова, а защитой своего авторитета в науке и критике, „охраной“ своих концепций... они нередко претендуют на то, чтобы „монополизировать“ Шолохова. И это все вызывает чувство досады. Я очень рад, что в зале так много молодых лиц: именно от молодых филологов... следует ждать нового слова о творчестве Шолохова, именно молодые ученые способны накопленное количество перевести в новое качество. Думается, что изучение шолоховского творчества очень многое дает тем, кто этим занимается. Вспомним, что талант Белинского вырос на осмыслении творчества Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Книги Шолохова тоже способны породить большие литературоведческие имена... Произведения отца, обладающие большой художественной и познавательной ценностью, оказывали и оказывают плодотворное влияние не только на развитие литературы, но и на развитие критики». М. М. Шолохов выразил надежду, что ставшие уже традиционными Шолоховские чтения будут стимулировать шолоховедческую мысль, и пригласил всех собравшихся вновь побывать в станице Вешенской.

В дни работы конференции для всех ее участников очень полезным было общение с секретарем М. А. Шолохова А. А. Зимовновым. Его рассказы помогли лучше узнать Шолохова-человека, войти в творческую лабораторию писателя. В настоящее время А. А. Зимовнов разбирает шолоховский архив, оказывает всяческую помощь М. П. Шолоховой.

Было немало бесед и на улицах станицы: вешенцы охотно делятся своими воспоминаниями о Шолохове.

Участники конференции покидали Вешенскую с надеждой приехать сюда на Третьи Шолоховские чтения, которые состоятся в мае 1990 года и будут посвящены 50-летию со дня завершения работы М. А. Шолохова над эпопеей «Тихий Дон».

**П. В. Бекедин**

## НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАМЯТИ МАРФЫ ИВАНОВНЫ МАЛОВОЙ

28 октября в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР состоялись научные чтения, посвященные памяти Марфы Ивановны Маловой (1907—1978).

Чтения открыла заведующая рукописным отделом Пушкинского Дома канд. филол. наук Т. С. Царькова, напоминая собравшимся о жизненном и научном пути М. И. Маловой. Марфа Ивановна родилась в Куйбышеве, в 1930 году окончила Горский педагогический институт в г. Орджоникидзе, преподавала русский язык и литературу в средней школе. Затем, более четырех десятилетий (с 1934 года и до последнего дня), она сотрудник рукописного отдела Пушкинского Дома, с одним лишь «перерывом»: с 1941 по 1945 год Марфа Ивановна — рядовой Ленинградского фронта; имела боевые награды.

Овладев всеми видами архивной работы, М. И. Малова стала секретарем рукописного отдела, заместителем заведующего, ученым хранителем фондов. Ее непосредственными руководителями и коллегами были такие ученые, как Л. Б. Модзалевский, Н. И. Мордовченко, Н. В. Измайлов, К. Д. Муратова. Марфа Ивановна не имела ученой степени, однако о высоком научном уровне, объеме и значении ее работы красноречиво свидетельствует характеристика, принадлежащая доктору филологических наук, известному пушкинисту Н. В. Измайлову: «М. И. Малова является высококвалифицированным архивистом, литературоведом, текстологом и библиографом, авторитетным наставником всех нынешних сотрудников рукописного отдела, прошедших и проходящих под ее руководством школу архивоведения. М. И. Малова — живая история рукописного отдела... лучший знаток его фондов; к ней постоянно прибегают за консультациями не только сотрудники Пушкинского Дома, но и приезжающие к нам со всех концов страны исследователи».

М. И. Маловой принадлежат важнейшие научные описания рукописей Лермонтова, Чехова, Некрасова, Кольцова, Салтыкова-Щедрина в «Бюллетенях ру-

кописного отдела Пушкинского Дома», а также архивные публикации и подготовка текстов в томах «Литературного наследства», «Библиотеки поэта», журнале «Русская литература» и т. д.

Затем слово для научного доклада «Из архивных разысканий» было предоставлено кандидату филологических наук В. Э. Вадуру. Предварив доклад рассказом о действенном и бескорыстном участии М. И. Маловой в архивных поисках исследователей, В. Э. Вадуру сообщил о не введенных в научный оборот документах, связанных с одной из попыток Н. А. Некрасова поступить в Петербургский университет.

Далее с сообщением «М. И. Малова и Древлехранилище» выступил В. П. Бударагин, который рассказал о некоторых эпизодах подвижнической собирательской деятельности М. И. Маловой и основателя Древлехранилища Пушкинского Дома В. П. Мальшева, назвав их «прямыми наследниками письменной культуры минувших времен». Марфа Ивановна принимала ближайшее участие в основании и пополнении собрания древнерусских рукописей Пушкинского Дома. Последний вклад — Святцы, переписанные на севере Карелии в 1837 году, — поступил в Древлехранилище уже после смерти Марфы Ивановны, приобретенный на завещанную для этой цели сумму.

Затем прозвучали воспоминания коллег, сослуживцев, учеников М. И. Маловой: К. Н. Григорьяна, П. П. Ширмакова, Е. А. Ковалевской, Б. И. Капелюш, Н. И. Хомчук, Л. П. Архиповой, Э. И. Власовой, Л. Н. Ивановой. П. П. Ширмаков внес предложение, горячо поддержанное собравшимися: учредить регулярные чтения с докладами и сообщениями на материалах архивных разысканий в рукописном отделе Пушкинского Дома.

После окончания чтений их участники ознакомились с небольшой экспозицией, посвященной М. И. Маловой (научные труды, фотографии, документы), подготовленной сотрудниками рукописного отдела.

*Л. Н. Иванова*



## НОВЫЕ КНИГИ

- Авдонин А. М.** Пушкин и Симбирский край. Саратов; Ульяновск, Приволжское книжное изд-во, 1987. 62 [2] с.
- Басманов А. Е.** Старые годы. (Эпизоды истории, искусства и лит-ры). М., «Советский писатель», 1987. 285 [2] с.
- Березкин В. И.** Художник в театре Чехова. М., «Изобраз. искусство», 1987. 236 [2] с.
- Виноградов И. И.** По живому следу. Духов. искания русской классики. Лит-критич. ст. М., «Сов. писатель», 1987. 382 [1] с.
- Влияние науки и философии на литературу.** [Сб. ст. Отв. ред. Н. В. Забурова]. Ростов н/Д, Изд-во Ростовского ун-та, 1987. 142 [2] с.
- Герцен А. И.** Мысли об искусстве и литературе. [Сб. Сост., вступ. ст. и примеч. М. Г. Зельдовича]. Киев, «Мистецтво», 1987. 351 [1] с.
- «Горе от ума» на русской и советской сцене. Свидетельства современников.** [Ред., сост. и автор вступ. статьи О. М. Фельдман. Примеч. Н. Н. Панфиловой, О. М. Фельдмана]. М., «Искусство», 1987. 406 с.
- Гуминский В. М.** Открытие мира, или Путешествия и странники. [О рус. писателях 19 в.]. М., «Советский писатель», 1987. 284 [2] с.
- Гурвич А. О.** О развитии художественного мышления в русской литературе (конец XVIII—первая половина XIX в.). Ташкент, Фан, 1987. 118 [2] с.
- Дедюхин Б. В.** Глубины памяти народной. [Ист.-лит. ст. о русской лит-ре]. Саратов, Приволжское книжное изд-во, 1987. 254 [2] с.
- Доблаев Л. П.** Анализ и понимание текста. Метод. пособие. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1987. 69 [2] с.
- Достоевский Ф. М.** О русской литературе. [Сб. Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. И. Селезнева]. М., «Советский писатель», 1987. 398 [1] с.
- Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. Переписка. Воспоминания. Дневники.** В 2 т. [Т. 2. Сост., и вступ. очерки и примеч. В. В. Кунина]. М., «Правда», 1987. 702 [1] с.
- Иванов В. Д.** Златая цепь времен. (Статьи, этюды, письма). [Сост., предисл. и примеч. В. Путиловой]. М., «Советский писатель», 1987. 379 [2] с.
- Искусство звучащего слова.** [Вып. 34. Пушкину посвящается. Сб. Сост. С. Т. Овчинникова]. М., «Сов. Россия», 1987. 127 [1] с.
- Исследование памятников письменной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг. Воспоминания и дневники.** [Сб. науч. тр. Науч. ред. Г. П. Енин]. Л., ГИИ, 1987. 159 с.
- История русской литературы XIX века. Вторая половина.** [Учеб. пособие... Под ред. Н. Н. Скатова]. М., «Просвещение», 1987. 608 с.
- Карпец В. И.** Муж отечестволюбивый. Ист.-лит. очерк. [О А. С. Шишковой]. М., «Молодая гвардия», 1987. 94 с.
- Киселева Л. И.** Редкие книги Библиотеки Академии наук СССР. Отв. ред. В. А. Филов. Л., «Наука», 1987. 68 [1] с.
- Комарова В. П.** Славянский фонд Библиотеки Академии наук СССР и его отражение в каталогах. Л., БАН, 1987. 37 [1] с.
- Кудряшов О. Л.** Театр А. В. Сухова-Кобылина. Режиссер. коммент. М., «Сов. Россия», 1987. 155 [2] с.
- Курсовые работы по русской литературе XX века (дооктябрьский период) и русской советской литературе.** [Учеб. пособие для студентов-заочников 5-го курса фак. рус. яз. и лит-ры пед. ин-тов]. М., «Просвещение», 1987. 63 [2] с.
- Лежнев А. З.** О литературе. Статьи. [Вступ. ст. Г. А. Белой. Коммент. М. Г. Коминарский]. М., «Сов. писатель», 1987. 429 [2] с.
- Лихачев Д. С.** Великий путь. Становление русской лит-ры XI—XVII вв. М., «Советский писатель», 1987. 299 [2] с.
- Лихачев Д. С.** Избранные работы. В 3 т. [Т. 2. Великое наследие. Смех в Древней Руси. Заметки о русском]. Л., «Худож. лит-ра», 1987. 493 [2] с.
- Лихачев Д. С.** Избранные работы. В 3 т. [Т. 3. Человек в литературе Древней Руси. О «Слове о полку Игореве», Литература—реальность—литература, О садах]. Л., «Худож. лит-ра», 1987. 519 [1] с.
- Ломоносов и русская литература.** [Сб. ст. Отв. ред. А. С. Курилов]. М., «Наука», 1987. 389 [1] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Мейлах Б. С.** Декабристы и Пушкин. Страницы героико-трагич. истории. Иркутск, Восточно-Сиб. книжное изд-во, 1987. 367 с.
- Научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения К. Н. Батюшкова (1987; Вологда).** [Тезисы докладов...]. Вологда, Упрполиграфиздат, 1987. 78 [1] с.
- Неелов Е. М.** Сказка, фантастика, современность. Петрозаводск, «Карелия», 1987. 124 [2] с.
- Одинокое В. Г.** Поэтика русских писателей XIX в. и литературный процесс. Отв. ред. К. А. Тимофеев. Новосибирск, «Наука», 1987. 155 [2] с.
- Опыт исторического словаря о российских писателях. Из разных печ. и рукоп. кн., сообщ., известных и слес. преданий.** [Собрал Н. Новиков]. М., «Книга», 1987. 264 с. (Опыт словаря. Факс. изд. СПб., 1772).
- Плеханов С. Н.** Охота за словом. [Об этнографе и фольклористе С. Максимове]. М., «Сов. Россия», 1987. 271 [1] с.

- Плотников В. И. Фольклор и русское изобразительное искусство второй половины XIX века. [Вступ. ст. Г. Арбузова, В. Гусева]. Л., «Художник РСФСР», 1987. 282 [2] с.
- Порудоминский В. И. «Половина жизни моей...» [Рус. писатели в изобразит. искусстве. Для сред. и ст. шк. возраста]. М., «Детская лит-ра», 1987. 315 [4] с.
- Птушкина И. Г. Александр Иванович Герцен. (175 лет со дня рождения). М., «Знание», 1987. 63 [1] с.
- Рехо К. Русская классика и японская литература. М., «Худож. лит-ра», 1987. 352 с.
- Русская драматургия XVIII—XIX веков. (Жанровые особенности. Мотивы. Образы. Язык). [Межвуз. сб. науч. тр. Отв. ред. М. С. Силина]. Куйбышев, КГПИ, 1986. 108 с.
- Славянские литературы в процессе становления и развития. От древности до середины XIX в. [Сб. ст. Отв. ред. А. В. Липатов]. М., «Наука», 1987. 334 [2] с.
- Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник [1878—1932 гг. Сост., вступ. ст. и примеч. Т. Н. Волковой]. М., «Правда», 1987. 573 [2] с.
- Таратута Е. А. История двух книг: «Подпольная Россия» С. М. Степняка-Кравчинского и «Овод» Э. Л. Войнич. М., «Худож. лит-ра», 1987. 254 [1] с.
- Творчество А. П. Чехова. (Особенности худож. метода). [Межвуз. сб. науч. тр. Редколлегия: В. Д. Седегов (отв. ред.) и др.]. Ростов н/Д, РГПИ, 1986. 130 с.
- Титова Л. В. «Беседа отца с сыном о женской злобе». Исследования и публикация текстов. Новосибирск, «Наука», 1987. 413 [2] с.
- Фридкин В. М. Пропавший дневник Пушкина. Рассказы о поисках в зарубежных архивах. М., «Знание», 1987. 205 [2] с.
- Фризман Л. Г. 1812 год в русской поэзии. М., «Знание», 1987. 63 с.
- Чагин Г. В. Декабристы в Москве. Худож.-докум. очерк. [Для сред. и ст. возраста]. М., «Детская лит-ра», 1987. 172 [2] с.
- Черкасов В. Г. Путешествия. Рассказы о писателях России. М., «Современник», 1987. 222 [2] с.
- А. П. Чехов (Проблемы жанра и стиля). [Межвуз. сб. науч. тр. Редколлегия: В. Д. Седегов (отв. ред.) и др.]. Ростов н/Д, РГПИ, 1986. 119 с.
- Шумит Арагва предо мною... 150 лет со дня смерти А. С. Пушкина. [Сб. Сост. В. Шадури]. Тбилиси, «Мерани», 1987. 130 [1] с.
- Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исслед. и материалы. [В 2-х кн. Кн. 1. Вступ. ст. и примеч. Я. Л. Левкович]. М., «Книга», 1987. 430 [1] с.
- Щеголев П. Е. Первенцы русской свободы. [Сб. Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. Н. Емельянова]. М., «Современник», 1987. 494 с.
- Эйхенбаум Б. М. О литературе. Работы разных лет. [Вступ. ст. М. О. Чудаковой, Е. А. Тоддес]. М., «Сов. писатель», 1987. 540 [2] с.
- Айдаев Ю. А. Зеркало жизни. (Сб. лит.-критич. ст.). Грозный, Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1987. 147 [2] с.
- Ашплатов А. И. На встречу с читателем. Размышления о современ. прозе и поэзии. М., «Современник», 1987. 187 [2] с.
- Буханцов Н. С. Волжское притяжение. [О прозе писателей Волгогр. обл.]. Волгоград, Нижне-Волжское книжное изд-во, 1987. 15 [2] с.
- Васинкин А. А. Героические годы. Жанр воен. романа в лит-ре народов Поволжья. Йошкар-Ола, Марийское книжное изд-во, 1987. 127 [2] с.
- Вилеккин В. Я. В сто первом зеркале. [Об А. Ахматовой]. М., «Сов. писатель», 1987. 316 [2] с.
- Воспоминания о Павле Антокольском. Сборник [Сост. Л. И. Левин и др.]. М., «Сов. писатель», 1987. 527 [1] с.
- Глушкова Т. М. Традиция — совесть поэзии. М., «Современник», 1987. 411 [3] с.
- Гордейчев В. Г. Памятные страницы. Записки литератора, встречи, годы, книги. Воронеж, Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1987. 253 [2] с.
- Гришунин А. Л. «Василий Теркин» Александра Твардовского. Отв. ред. Г. В. Степанов. М., «Наука», 1987. 142 [2] с.
- Дангулов С. А. Художники. Лит. портреты. М., «Сов. писатель», 1987. 622 [2] с.
- Дворецкий Д. П. Дороге сердцу имена... [Воспоминания]. М., «Московский рабочий», 1987. 141 [2] с.
- Ершов Л. Ф., Кузьмичев И. К. Волшебный кристалл. Соц. реализм сегодня и завтра. М., «Современник», 1987. 206 [2] с.
- Есипенко Р. Н. В интернациональном единении. Драматургия народов СССР в театрах Сов. Украины. Киев, «Мистецтво», 1987. 130 [2] с.
- Житкова Л. Н. Б. А. Тимофеев. Очерк жизни и творчества. Свердловск, Изд-во Уральского ун-та, 1987. 115 [2] с.
- Залыгин С. П. Критика, публицистика. М., «Современник», 1987. 383 [1] с.
- Кондратович А. И. Призвание. Портреты, воспоминания, полемика. [Послел. Г. А. Соловьева]. М., «Сов. писатель», 1987. 444 [1] с.
- Корнейчук М. Ф. И в памяти, и в сердце. [Об А. Е. Корнейчуке]. М., «Правда», 1987. 46 [1] с.
- Ленинизм и развитие реализма как мировой эстетической системы. [Сб. науч. тр. Отв. ред. Д. В. Затопский]. Киев, «Наук. думка», 1987. 331 [2] с.

- Леонид Леонов. Творческая индивидуальность и литературный процесс. [Сб. ст. Отв. ред. В. А. Ковалев и Н. А. Грознова]. Л., «Наука», 1987. 308 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Лесневский С. С. Земля поэта. [Ст. и очерки]. М., «Правда», 1987. 46 с.
- Литература и искусство в идейно-политическом воспитании советского народа. [Сб. науч. тр. Под ред. В. М. Полевого, Т. М. Суриной]. М., АОН, 1986. 131 с.
- Литературный текст: проблемы и методы исследования. [Межвуз. сб. науч. тр. Редколлегия: Н. И. Толстой (отв. ред.) и др.]. Калинин, КГУ, 1987. 164 [2] с.
- Мешков Ю. А. Николай Асеев: творческая индивидуальность и идейно-художественное развитие. Свердловск, Изд-во Уральского ун-та, 1987. 270 [2] с.
- Михайлов О. Н. П. А. Бунин. Жизнь и творчество. Тула, Пропкое книжное изд-во, 1987. 317 [2] с.
- О партийности литературы. Лит-ра, идеология, эстетика: опыт современности. [Сборник. Сост. Г. Гудожник, А. Романов]. М., «Худож. лит-ра», 1987. 46 [1] с.
- Осипов В. О. Книга молодости по М. Шолохову. М., «Знание», 1987. 61 [3] с.
- Очерки литературной критики Сибири. [Сб. ст. Отв. ред. Л. П. Якимова]. Новосибирск, «Наука», 1987. 189 [2] с.
- Перевод — средство взаимного сближения народов. Худож. публицистика. [Сб. Сост. А. А. Клышко; предисл. С. К. Апта; коммент. С. А. Сухарева]. М., «Прогресс», 1987. 638 [1] с.
- Перспектива '86. Сов. лит. сегодня. [Сб. ст. Сост. В. П. Балашов, А. М. Банкетов]. М., «Сов. писатель», 1987. 460 [3] с.
- Песня о Буревестнике. [Сборник]. Горький, Волго-Вятское книжное изд-во, 1987. 189 [2] с.
- Писатели-критики. [Материалы науч.-теорет. конференции «Проблемы писательской критики», 26—28 мая 1987 г. Редколлегия: А. М. Манпязов (отв. ред.) и др.]. Душанбе, «Дониш», 1987. 242 с.
- Поэт, рожденный Октябрем. Воспоминания, ст., стихотворения о Б. Корнилове. [Сост. и авт. примеч. и коммент. К. Поздняев]. Горький, Волго-Вятское книжное изд-во, 1987. 302 [1] с.
- Проблемы стиля и взаимодействие литератур. [Сб. науч. тр. Редколлегия: К. Ш. Кереева-Канафиева (науч. ред.) и др.]. Алма-Ата, КазГУ, 1987. 94 с.
- Разумихин А. М. Поговорим... [Пробл. соврем. лит. героя]. М., «Современник», 1987. 301 [1] с.
- Руднева Е. Г. Роль художественной литературы в нравственном воспитании личности. Учеб.-метод. пособие. М., Изд-во МГУ, 1987. 52 [2] с.
- Сидоров В. М. Рукопожатие на расстоянии. [Сов.-инд. культ. связ]. М., «Сов. Россия», 1987. 131 [1] с. (Писатели о творчестве).
- Сидоров Е. Ю. Евгений Евтушенко. Личность и творчество. М., «Худож. лит-ра», 1987. 206 с.
- Современная русская советская литература. Кн. для учителя. В 2 ч. [Ч. 1. Под ред. А. Г. Бочарова, Г. А. Белой]. М., «Просвещение», 1987. 253 [3] с.
- Современность и литература. Материалы пленума правления Союза писателей СССР, 27—28 апр. 1987 г. М., Б. и., 1987. 114 с.
- Творческие методы и литературные направления. [Сб. ст.]. М., Изд-во МГУ, 1987. 203 с.
- Турков А. М. Федор Абрамов. Очерк. М., «Сов. писатель», 1987. 234 [1] с.
- Туровская М. И. Памяти текущего мгновения. Очерки, портр., заметки. М., «Сов. писатель», 1987. 365 [3] с.

Технический редактор Г. А. Смирнова

Корректоры О. И. Буркова, С. И. Добрянская и Н. Г. Каценко

Сдано в набор 5.02.88. Подписано к печати 28.04.88. М-25089. Формат 70×108<sup>1/16</sup>. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 23.10. Усл.-гр. отт. 23.55. Уч.-изд. л. 28.83. Тираж 12789. Тип. зак. 111

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука», Ленинградское отделение  
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская линия, 1  
Редакция журн. Русская литература, тел. 218-16-01

Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая типография издательства «Наука» 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12